# ПОЛИТОЛОГИЯ
# НОВЫЙ ЛЕКСИКОН

*Под редакцией*
*профессора А.И. Соловьева*

*Издание второе, исправленное и дополненное*

АСПЕКТ ПРЕСС
**Москва**
**2024**

УДК 327
ББК 66.4
П50

Рецензенты
доктор философских наук *В.С. Комаровский*
доктор политических наук, доктор исторических наук *Я.А. Пляйс*

**П50** **Политология. Новый лексикон** / Под ред. А.И. Соловьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2024. — 525 с.

ISBN 978-5-7567-1322-0

Представленные в книге статьи раскрывают понятия и категории, характеризующие актуальные формы традиционных политических процессов на современном этапе развития общества, а также описывают ряд новых явлений и процессов, находящихся на стадии концептуализации. Тексты содержат новые теоретические материалы, демонстрируют ряд нетривиальных идей и подходов, позволяют увидеть различные междисциплинарные связи при исследовании мира политики.

Книга предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, изучающих политическую науку, а также для всех, кто интересуется проблемами современной науки.

УДК 327
ББК 66.4

ISBN 978-5-7567-1322-0

© Коллектив авторов, 2024
© ООО Издательство «Аспект Пресс», 2024

Все учебники издательства «Аспект Пресс»
на сайте и в интернет-магазине **https://aspectpress.ru**

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к первому изданию . . . . . 5
Предисловие ко второму изданию . . . . . 8

**Раздел I**

**КОНЦЕПТЫ, ТЕОРИИ, ДИСЦИПЛИНЫ**

Интеллектуальная среда в пространстве политики . . . . . 12
Критическая расовая теория . . . . . 23
Математика и политика . . . . . 34
Политический альтернативизм . . . . . 44
Политический инцидент-менеджмент . . . . . 54
Политическое конструирование действительности . . . . . 64
Социолингвистика политического . . . . . 75
Теория вето-игроков . . . . . 88
Теория селектората . . . . . 97
Экономическая политология . . . . . 106

**Раздел II**

**ВЛАСТЬ, ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ**

Государственная состоятельность . . . . . 116
Деинституализация правящей политической элиты . . . . . 127
Институциональный дизайн . . . . . 138
Кликократия . . . . . 150
Латентная сфера политики . . . . . 161
Медиатизация политики . . . . . 171
«Недостойное правление»: генезис, механизмы и последствия . . . . . 179
Неформальное правление . . . . . 190
Ойкофобия . . . . . 200
Политическая стабильность . . . . . 210
Политическая культура нации . . . . . 218
Политические скандалы . . . . . 229
Политическое оспаривание . . . . . 240
Политическое пространство . . . . . 251

Публичная политика . . . . . 261
Публичное управление . . . . . 271
Разделенные общества: концепты и социально-политические реалии . . . . . 282
Регион и регионализм . . . . . 294
Сетевая публичная политика . . . . . 310
Символическая политика . . . . . 320
Современный популизм . . . . . 326
Социальные арены публичной политики . . . . . 338
Фронтир: политические ракурсы . . . . . 348
Цифровое гражданство . . . . . 358

**Раздел III**

**ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА**

Антикризисная государственная политика в условиях инфодемии . . . . . 370
Государственная политика в области здравоохранения . . . . . 381
Государственные решения . . . . . 391
Коммуникативная эффективность в публичной политике и управлении . . . . . 403
Конвергентные технологии и государственная политика . . . . . 410
Международная передача знаний . . . . . 420
Патриотизм versus национализм . . . . . 429
Политика и образование . . . . . 441
Политика национальной идентичности . . . . . 455
Политизация религии и атеизм в политике . . . . . 466
Секьюритизация политики идентичности . . . . . 479
Современные миротворческие операции . . . . . 485
Цифровое государственное управление . . . . . 496
Этнополитика в глобальном измерении . . . . . 504
Экологический патриотизм . . . . . 515

Авторы . . . . . 522

# Предисловие к первому изданию

Публикация данной книги в известной степени является продолжением книги «Политология. Лексикон», изданной в 2007 г. и посвященной базовым категориям политической науки[1]. Однако прошедшее время показало потребность не только в теоретическом уточнении целого ряда параметров, казалось бы, хорошо известных явлений, но и необходимость отображения политических процессов, разворачивающихся под влиянием современных геополитических и геокультурных конфликтов, цифровизации экономики и государственного управления, неумолимо влияющих на жизненное пространство человека инфодемии и экологического кризиса, а также иных проблем, побуждающих трансформацию связей политики с разнородными социальными и природными конструкциями. Отчетливо видно и то, что национальные политии, да и мировое сообщество в целом самым непосредственным образом испытывают целый ряд вызовов, связанных с угрозами применения ядерного оружия, рисками климатических катастроф и нерегулируемым распространением вирусов, миграционными волнами, ломающими политико-культурные комплексы коренного населения, и иными угрожающими человечеству серьезными опасностями.

Понятно, что приметы нынешнего времени не только заставляют по-новому прочитывать традиционные коллизии политического развития (связанные, к примеру, с новыми сочетаниями демократии и автократии, гражданского активизма и административно-политическими барьерами, импортом институтов, транзитом власти, противоречиями медиадискурса и др.), но и ставят перед исследователями новые задачи, вызванные неразгаданными траекториями развития несостоявшихся государств, эволюцией идентификационных моделей или же неисследованными формами влияния цифровых комплексов (с использованием искусственного интеллекта) на системы государственного управления.

Немалые сложности в аналитическом отображении всех этих процессов создают и все более ощутимые, скрытые от населения формы коммуникации и применения власти. И, прежде всего, со стороны тех политических тяжеловесов, которые «рулят», «не отбрасывая тени» и действуя «в тени иерархии» (Б. Джессоп). Не случайно поэтому все больше ученых ориентируется на изучение латентной, публично недекларируемой программатике действий и неформальных договоренностей правящей элиты, которая, собственно, и провоцирует необъяснимые для общества «повороты» и «зигзаги» правительственной политики.

Нельзя не видеть и того, что новые формы выстраиваемой политической архитектуры сегодня сопрягаются с нарастанием непримиримости позиций политических конкурентов, провоцирующей усиление взаимной враждебности и агрес-

[1] Политология. Лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. М.: Российская политическая энциклопедия, 2007.

сивности, углубляющей социокультурные расколы и сеющей недоверие между народами. Причем такое воспламенение далеко не лучших «человеческих» черт *homo politicus* (Э. Баталов) затрагивает как мотивы элитарных групп (с я-концепциями лидера и его окружения), так и сознание коллективного актора со свойственными ему стереотипами, мифами и предрассудками. Важно, однако, что наиболее острые формы конфронтационного восприятия действительности не просто усиливают амбивалентный характер межгосударственных отношений или политического регулирования в отдельных странах. По сути, такие чувства и представления, обусловливая постоянное соскальзывание правящих режимов к проектам, разжигающим нетерпимость между народами, провоцирующим силовое решение противоречий или масштабных рестрикций, в конечном счете разрушают рациональные основания современного мироустройства. Впрочем, возможно, более существенным последствием таких ментальных изменений является изживание гуманистических оснований политических методов управления конфликтами. А это, в свою очередь, позволяет помыслить и о социальных границах политики как таковой, ее способности к сохранению договорных возможностей при урегулировании противоречий между различными социальными (национальными, конфессиональными, территориальными и проч.) акторами. Особенно в условиях резкого обострения проблем, связанных с выживанием человеческого сообщества.

Как бы то ни было, но смешение традиционной логики политического позиционирования государств и постсовременных практик проектирования будущего стремительно уничтожает нормативные постулаты политической теории, предвосхищающие «конец истории», неизбежность демократизации (со всем шлейфом присущих ей механизмов) или преимуществ «ценностно-цивилизационной» траектории государственного развития. На этом фоне неизбежно расширяются не только идеологические и технократические трактовки событий, но и качественно увеличивается объем используемой метафорики для объяснения развертываемых процессов и конфликтов. Не случайно в науке постоянно используется префикс *post* для маркировки не до конца артикулируемых событий, который всего лишь олицетворяет ряд новых процессов. Впрочем, сегодня такой путь, видимо, остается единственно возможным для достижения некой научной конвенции.

В качестве фактора, смещающего ориентиры в аналитической рамке научных исследований современных процессов, стоит упомянуть и роль политико-административного контроля, побуждающего внутреннюю цензуру и конформизм специалистов, предпочитающих профессиональной этике политическую лояльность. Отечественная история сохранила в памяти академического сообщества все издержки и девиации научного знания, стремящегося «след в след» идти по дороге, указанной «правящей партией». В любом случае нынешняя повестка требует от ученых изживать гипертрофический сервилизм, толкающий их к идеологизации политологического знания и не позволяющий формировать научную картину мира политики.

Образование нестандартных форм политических изменений укрепляет потребность в дальнейшем развитии отечественных научных школ, творческом освоении ими достижений современного языка мировой науки о политике, усилении противостояния теоретическому империализму, отрицающему правомерность сущностного оспаривания политических категорий (У. Галли) и порождающему пределы в отображении новых оттенков смысла. В то же время нельзя игнорировать и тот когнитивный шлейф, который тянется за сложившимися интерпретациями явле-

ний и так или иначе влияет на их современное истолкование и переосмысление. Так что, только органически сочетая эти интеллектуальные потоки, можно адекватно отобразить складывающиеся политические изменения, успешно решить противоречия, вызванные расхождением смыслов с динамикой содержательных превращений власти, политики, государства и иных базовых для политической науки явлений.

Одним словом, сегодня научное знание о политике выстраивается не только в силу противоречивого, но в целом привычного тренда, связанного с переплетением усилий различных научных школ и направлений, стремящихся уловить основные политические изменения, но и под давлением условий, находящихся за границами контролирующих возможностей государства и общества, в конечном счете умножающих опасности и риски мирового развития. В силу этого нынешняя стадия эволюции мира политики заставляет с еще большим вниманием относиться к суждениям Ж. Дерриды, полагавшего, что политические тексты не имеют раз и навсегда заданных значений, предлагая для следующих поколений людей и ученых их новое и неопределенное множество. Однако сегодня такая установка не только побуждает интенсификацию теоретических изысканий, но и позволяет проблематизировать вопрос о достижении политикой принципиальных пределов своего исторического функционала, способности к несиловому предотвращению рисков и купированию насилия при регулировании человеческих конфликтов.

Такие содержательные трансформации мира политики, освещающие новые грани политических процессов и помогающие уловить субстанциональные черты их эволюции, требуют как уточнения новых акцентов в их интерпретации, так и обновления многих методологических подходов. Иначе говоря, сложности нынешней стадии политгенеза усиливают конфликт концептуализации и теоретизации научных исследований, отбор базовых и критически важных переменных для релевантной схематизации объекта. И хотя набор понятий не исчерпывает всего перечня новых теоретических инструментов, итогом исследований всегда должно быть приращение знаний, преобразующих содержание разрабатываемых эпистем.

Собственно, эта установка и объединяет ученых, принявших участие в написании этой книги и постаравшихся познакомить читателей со своим видением ряда проблемных зон политической теории и политгенеза. Акцентируя внимание на универсальных и национальных особенностях развертывания когнитивных и политических процессов, наши авторы (ряд из которых за последние годы сделали заметный вклад в развитие отдельных направлений отечественной политологии) представили некий эскиз современных представлений о выбранных ими нетривиальных сюжетах политической науки. Понятно, однако, что наряду с этим многие — не менее актуальные — проблемы и даже целые научные направления (политическая психология, политическая коммуникативистика, биополитика и др.) были опущены, как в силу ограниченного объема книги, так и научной специализации участников проекта. Что, впрочем, оставляет научное пространство для расширения подобных изданий в дальнейшем.

С точки зрения структуры работы текст обобщен в три раздела: «Концепты, теории, дисциплины», «Власть, политика, управление» и «Государство и государственная политика». Надеемся, что книга станет полезной для всех, кто интересуется политикой и политической наукой.

*А.И. Соловьев*

# Предисловие ко второму изданию

Прошло немного времени по сравнению с выходом первого издания «Нового Лексикона», но потребность в расширении проблемного поля стала вполне очевидной. Это не только связано с нарастающей актуализацией ряда традиционно значимых вопросов политической теории, но и с динамичным изменением фоновых, средовых параметров общественного развития, в том числе и интеллектуальной атмосферы как общества в целом, так и научных исследований. Эти многообразные факторы побуждают политологов обновлять и даже по-новому выстраивать конфигурацию научного поиска.

При подготовке первого издания мы уже отмечали, что новые вызовы интенсивно меняют и усложняют партитуру проблемного поля науки, в известной степени обесценивая прежние основания для обобщения и типизации политических структур и процессов. Однако такие накапливающиеся проблемы, обладая известным дефицитом возможностей их эмпирического истолкования, подталкивают ряд ученых к запуску новых версий теоретического обращения (переиздания) уже накопленных знаний и выводов. При таком освоении актуального опыта исследования идут по кругу, тиражируя прежде доминировавшие подходы и удовлетворяя ученых образами, не побуждающими рефлексию и черпающими «новое» в давно минувших представлениях.

Такая в известной степени архетипизация идей подогревается и некоей прагматической разумностью, превращающей аналитика в адепта повседневности, остро чувствующего доминирующие в обществе политические зависимости. Однако понятно, что идеи с такой степенью «глубокого залегания» не просто существенно ограничивают поисковый компонент научного знания (демонстрируя установление учеными персональных границ постижения реальности), но и провоцируют тиражирование не подлинных, а правдоподобных истин. Иначе говоря, приверженность таких ученых принципам «когнитивного империализма» вкупе с их исследовательской «разумностью» изживает доверие общества как к поиску истины, так и к собственному «я».

Отметим, что такой интерпретации подвергаются не только базовые конфликтные диспозиции власти и неравенства (которые нередко обретают оттенки эсхатологической мысли) или же принципы теоретического моделирования. К ним относятся и традиционные для науки проблемы, например, определения идентификационных моделей (раскрывающих диспозиции я-мы-они), политизации религиозных ценностей (оппонирующих атеистическому мировоззрению), формирования политических конструкций образовательных систем, волатильности националистических и патриотических измерений политической действительности, трансформации интеллектуальной среды в поле политики и многие другие.

Конечно, трудности научного освоения нового не сводятся к обозначенным проблемам. Чего стоит хотя бы формирование теоретических схем, выпадающих

из прежних объяснительных конструкций и потому – с учетом остроты ситуации и дефицита достоверной информации – переходящих на широкое использование метафорики и транскриптов профанного дискурса. Такая парадоксальная ситуация показывает, что образы настоящего меняют устоявшиеся модели и гипотезы на основе интуиции и воображения ученых, заменяющих им теоретические абстракции.

В этом контексте политическая рефлексия, сталкиваясь с законсервированной архаикой, конфликтующей с (пост)модернистскими идеями, демонстрирует, как исследовательские регистры усиливают субъективированные интерпретации властно-политических коллизий, подталкивая исследователей к идеологизированному прочтению настоящего, что называется, до краев переполненного оценками с противоположными значениями. В то же время на этом интеллектуальном фоне политологическое знание одновременно сталкивается и с многочисленными нетривиальными подходами, будирующими обновление теоретико-методологического аппарата. Например, с посткосмическими идеями (принижающими уникальность «человека-политического» как преобразующего действительность актора) или с постгуманистическими подходами, рассматривающими его в рамках усиления целостной комбинации «природы», «животного мира» и (особенно под влиянием цифровизации) «объектов технического характера» (отражающих все возрастающую пластичность политических акторов в вопросах единения с «аппаратными структурами» (К. Дойч). Понятно, что проецирование этих широких смысловых конструкций — как неких новых «отблесков духовности» (З. Юнг) — на поле политики заставляет не только по-новому воспринимать, но и в какой-то степени репрессировать теоретические аксиомы прошлого. Неудивительно, что в рамках такой познавательной ситуации схематизм и апелляция к устойчивым образам прошлого сталкиваются как с усилением методологической разнородности научного поиска, так и с распространением интуитивно очевидных (но слабо подтвержденных эмпирически) оценок и интерпретаций политических реалий.

Коротко говоря, нарастающая сложность политических процессов увеличивает не только интеллектуальную емкость исследуемых проблем, но и демонстрирует зависимость анализа от сенситивных и ментальных оснований политологического сообщества. Это касается не только истолкования эмпирической реальности, но главное – особенностей проникновения в тайны политического волеизъявления, рассекречивания обезличенных политических процессов, скрывающих разнообразные формы преобразующей действительность политической воли. Основным же следствием сочетания политической динамики вкупе с гетерогенностью научного общества становится формирование разрозненной ритмики и скорости осмысления нового в различных научных школах, умножающих ситуативные и локальные взгляды на складывающуюся реальность.

Одним словом, сложность и релятивность происходящего, не укладывающихся в канонические схемы, свидетельствуют о нарастании потребности в аналитике, соответствующей сегодняшнему дню, способной справиться с новыми вызовами. Эту задачу надо решать, даже если разрозненные формы теоретического восприятия происходящего еще не складываются в его устойчивые образы, требуя коллаборации различных областей знаний и сочетания эпистемологических технологий, используемых различными отраслями научного знания.

Учитывая обозначенные трудности, отражающие новые вызовы, в книге появилось несколько новых работ, раскрывающих ряд актуальных идей и подходов в области политологических исследований. В то же время, понимая, что ни одно новое издание не может угнаться за жизненными превращениями поля политики, невольно задаешься вопросом: а не стоит ли превратить «Новый Лексикон» в формат некоего периодически обновляющегося Альманаха, в издание, пусть даже в экспериментальном ключе сопутствующего реальным изменениям в поле политики? И учитывая, что инициированные политикой проекты подчас достаточно далеко выходят за ее границы, провоцируя системность идущих превращений, может быть, стоило бы сделать этот альманах междисциплинарным? По крайней мере, в недалеком прошлом у Российской Ассоциации политической науки был весьма успешный опыт такого рода проектов в виде ее систематически издаваемых Ежегодников.

*А.И. Соловьев*

Раздел I

# Концепты, теории, дисциплины

# Интеллектуальная среда в пространстве политики

Интеллектуальная среда — это постоянно развивающееся явление, воспроизводящее свою сущностную природу в разных, обусловленных темпорально-пространственными факторами формах. Так, в период европейского Средневековья интеллектуальная среда развивалась преимущественно в рамках церковного пространства, при этом ее разные сегменты — религиозный, научный, образовательный и культурный — существовали во взаимно смешанном состоянии. В Новое время в процессе секуляризации культурного и научно-образовательного сегментов интеллектуальной среды произошло институциональное и содержательное размежевание ее структурных компонентов, обусловившее их последующие структуризацию и специализацию. В настоящий период мы переживаем этап интердисциплинарной синергии и переформатирования интеллектуального пространства, происходящий под влиянием новых информационных технологий.

Как некое целое, развивающееся в процессе постоянной смены своих *временных и цивилизационных форм*, интеллектуальная среда еще не обрела устойчивого понятийного оформления. В частности, в настоящее время ее понятийная характеристика осуществляется через такие термины, как интеллектуалы (*intellectuals, free floating intelligentsia*)[1], носители знания (*knowledge holders*)[2], сообщество знания (*knowledge society*)[3], интеллектуальная сфера (*intellectual sphere, intellectual milieu*)[4], поле символического производства, культурный капитал (*cultural capital*)[5], эпистемологическое сообщество (*epistemological community*)[6] и многие другие. По нашему мнению, интеллектуальная среда как особое социальное явление представляет собой *сообщество людей, связанное определенным коммуникативным полем и нацеленное на создание социальнозначимого интеллектуального* (*творческого*) *продукта*. Представляя некий кумулятивный субъект, производящий инновационные продукты, интеллектуальная среда (как составная часть общественного пространства) отвечает за производство, обмен, распределение и воспроизводство интеллектуальных ресурсов. Продуцируемое и организуемое ею коммуникативно-социальное пространство (поле) может как способствовать, так и препятствовать актуализации творческого потенциала общества, что превращает его в важнейшую предпосылку

---

[1] *Mannheim K.* The Problem of a Sociology of Knowledge in English translation in his Essays in the Sociology of Knowledge, 1952. P. 134–190.

[2] *Pels D.* Mixing Metaphors: Politics or Economics of Knowledge? // Theory and Society. 1997. Vol. 26. No. 5. P. 685–717.

[3] *Stehr N.* Modern Societies as Knowledge Societies // M. Adolf (ed.). Nico Stehr: Pioneer in the Theory of Society and Knowledge. Pioneers in Arts, Humanities, Science, Engineering, Practice. 2018. Vol. 16. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76995-0_20.

[4] *Gellner E.* Plough, sword, and book: The structure of human history. University of Chicago Press, 1989; *Burke P.* Social history of knowledge: From Gutenberg to Diderot. John Wiley & Sons, 2013.

[5] *Bourdeu*. Homo Academicus, English translation. Cambridge, 1984; *Сапиро Ж.* Интеллектуальные профессии между государством, предпринимательством и промышленностью // Символическая власть. Социальные науки и политика. 2011. С. 97–126.

[6] *Foucault* (1980) Power/Knowledge / Ed. by C. Gordon, Brighton, Ophir A. and S. Shapin. The Place of Knowledge. Science in Context 4. 1991. P. 3–21.

и одновременно составную часть производства инновационного продукта и самого субъекта творческого труда.

Пространственно-коммуникативная характеристика интеллектуальной среды демонстрирует, что «интеллектуал» как единичная и относительно обособленная, но в то же время творческая частица социума, образно говоря, не имеет «массы покоя», функционируя в качестве не отдельной частицы-корпускулы, а в виде источника и формы существования «интеллектуального поля». И если талантами нас наделяет природа, то коммуникативное поле, в пространстве которого формируются, существуют и взаимодействуют эти таланты, есть социальный продукт, создаваемый людьми[1].

Другими словами, когда речь идет о том, что реальным субъектом создания интеллектуально-творческого продукта и, следовательно, формирования *интеллектуальной среды* являются люди, погруженные в творческую деятельность, мы констатируем, что продукт такого интеллектуально-творческого труда (а в равной степени и его деятельный субъект) обладают специфическим и непосредственно-общественным характером. Коротко говоря, интеллектуальная среда — это не информационное поле, окружающее творцов, а коммуникативное пространство, постоянно наполняемое творческой активностью каждого из участников этой сетевой архитектуры. Причем такие контакты означают не просто горизонтальные формы общения и обмены готовыми интеллектуальными продуктами, а образование энергетических потоков, продуцирующих формирование и развитие творческих продуктов.

*Институциональная структура* интеллектуальной среды выражена в наличии таких компонентов, как учебные заведения разного уровня (дошкольные учреждения, школы, университеты), научные (академии, научно-исследовательские институты) и научно-информационные учреждения (журналы, порталы, информационные каналы, телеканалы, радио, библиотеки), административно-управленческие институты соответствующего профиля (министерства, ведомства, комиссии, рабочие группы), художественно-творческие институты (театры, музеи, музыкальные объединения, концертные организации, художественные галереи и форумы, структуры киноиндустрии, эстрадные объединения и площадки), финансово-коммерческие организации, рекламные и продюсерские центры, а также религиозные организации. Однако институциональная структура — это лишь формализованная верхушка творческого «айсберга», возвышающаяся над «подводной», неформализуемой частью интеллектуального пространства, постоянно наполняемого коммуникациями ученых и деятелей искусства, стремящихся к реализации своего творческого потенциала.

Благодаря особенностям своего общественного местоположения, отражающего результаты исторической логики ее формирования и развития, интеллектуальная среда неразрывно связана с экономической, политической, информационной, культурной и другими социальными подсистемами. В этом контексте интеллектуальная среда не только испытывает воздействие со стороны этих подсистем, но и оказывает на них — заданное историческим и национальным контекстами — определенное влияние. И в первую очередь это касается ее влияния на политику, отражающую наиболее мощную систему управления развитием общества.

---

[1] *Батищев Г.С.* Познание и творчество // Теория познания: В 4 т. Т. 2: Социально-культурная природа познания. М.: Мысль, 1991. С. 136–169; *Вернадский В.И.* Научная мысль как планетное явление. М.: Рипол Классик, 1991; *Ильенков Э.В.* Философия и культура. М.: Политиздат, 1991.

Определение возможностей интеллектуальной среды в части ее воздействия на политику в значительной степени обусловлено характером восприятия этой сферы жизни в контексте ее исторической эволюции. Так, характер, масштаб и сила влияния интеллектуальной среды на пространство политики во времена Гоббса и Локка рассматривались через механизмы столкновения и согласования индивидуальных интересов, во времена Сен-Симона и Маркса это понимание стало дополняться конфликтами социальных классов, а начиная с Вебера, расширилось за счет учета диспозиций социальных страт и статусных группировок (чьи стратификационные позиции стали служить основанием интерпретации институционального дизайна власти). В настоящее время идентификация политики и политического процесса во все большей степени зависит не только, а временами и не столько от (пере)позиционирования социальных групп, сколько от *различий базовых типов групповой и микрогрупповой деятельности*, изменяющихся в результате постоянной переинтерпретации ими своих интересов и, как следствие, содержания выдвигаемых (поддерживаемых ими) политических проектов.

Как показывает практика, характер политических отношений, а также интенсивность *политизации* интересов групп обусловлены переплетением социально-экономических оснований их жизнедеятельности (в том числе отношением к собственности), характером производимых ими общественных продуктов и параметрами их профессиональной активности (рабочей силы). Полагаем, что в конечном счете сочетание этих параметров и побуждает групповых акторов к использованию политических методов достижения своих интересов, что, по мнению многих специалистов, позволяет говорить о постепенном (подогреваемом нынешними кризисными условиями) возникновении нового качества политического процесса. Как бы то ни было, различные формы и типы воспламенения политической активности групп, обладающих различными формами базовой идентификации, превращают политизацию их интересов в источник высокой неопределенности направлений и перспектив общественного развития.

По нашему мнению, наибольшее влияние интеллектуальная среда оказывает на различные формы политической активности кластеров бюрократии, бизнесменов, наемных работников и самих интеллектуалов. Деятельность этих групп не только обладает существенным значением для общества в целом, но и позволяет (несмотря на гибкость, текучесть и неоднородность социального поля) провести четкую границу относительно характерных для этого типа людей базовых форм их деятельности и идентификационной принадлежности. В свою очередь, учет социальной неоднородности способен стать источником совершенствования политических методов управления и урегулирования групповых конфликтов.

Несмотря на групповые различия, принадлежащие к трем первым кластерам люди объединены одним существенным моментом — все они в той или иной степени заняты *отчуждаемым* типом труда. Иначе говоря, тем видом труда, который осуществляется не ради него самого и даже не ради непосредственного продукта, а ради того, что будет получено в качестве компенсации за потраченные усилия. Так, компенсацией и непосредственной целью наемного работника выступает заработная плата, компенсацией предпринимателя выступают прибыль и стоимость, компенсацией бюрократа выступают место в служебной иерархии и связанные с ним разного рода привилегии. И хотя без творческой жилки и самоотдачи не обходится ни один из этих видов деятельности, существа дела это не меняет.

При этом единственный кластер, который специализируется именно на неотчуждаемом типе деятельности, — это кластер интеллектуально-творческого труда, целью которого является его непосредственная деятельность по созданию творческого продукта. И даже тот факт, что данный вид предметно направленной активности приобретает *форму* отчужденной деятельности (сопряженной с получением компенсации затраченных усилий либо в стоимостных, либо в символических формах), он сохраняет свой специфический характер и в пространстве политики.

Впрочем, в данном случае следует различать тип социальной деятельности и его содержание. Так, интеллектуал, обслуживающий бизнес или бюрократию, может, не утрачивая своего творческого начала, выступать в качестве служебной, вспомогательной активности бюрократического или коммерческого кластеров (когда, к примеру, интеллектуал выступает в качестве наемного работника, действующего на возмездной основе). В этом случае в качестве таковых акторов действуют советники, консультанты, эксперты и др. В то же время и сам интеллектуал может стать организатором собственного бизнеса по продаже продуктов индивидуальной творческой деятельности либо результатов аналогичной деятельности тех лиц, которых он объединяет под своим началом. Как можно видеть, в современном обществе, пронизанном товарно-стоимостными формами взаимодействия, большая часть людей, занятых интеллектуально-творческим трудом, пребывают в статусе «бюджетников», то есть де-факто и де-юре являются наемными работниками на службе государства.

Наряду с этими соображениями следует подчеркнуть, что для политического пространства крайне принципиальным является вопрос о характере идеологической ориентации интеллектуального кластера. Разумеется, эти ориентации очень разнообразны, в разное время и в разных цивилизационных условиях они приобретали разные формы — от консервативно-религиозных и либеральных до профанно-коммунистических.

Представляется, что в целом идеологические предпочтения интеллектуалов, прежде всего, покоятся на отсутствии жесткой зависимости между их трудовым вкладом и вознаграждением. Это не означает, что интеллектуалы не готовы ценить свой труд, но это предполагает, что качество их труда далеко не в первую очередь стимулируется различными видами вознаграждения. В этом смысле такой тип активности и установок задает интеллектуалам, условно говоря, *левую* ориентацию в пространстве политики (сохраняющий, однако, уникальность и оригинальность их активности в качестве важнейших атрибутов своей индивидуально-творческой деятельности). В этом случае ценность такого «индивидуализма» сближает интеллектуалов с предпринимательским кластером и в значительной степени с либеральными политическими ориентациями. Однако такой *индивидуализм* интеллектуального кластера не разделяет, а объединяет его представителей, означая не столько конкурентные отношения внутри этой группы (хотя, конечно, творческое соревнование, так или иначе, здесь сохраняется), сколько взаимодействия партнеров, соперничающих не друг с другом, а с высокими творческими стандартами в своих областях профессиональной деятельности. По сути, это взаимодействия соратников по цеху, творческих собеседников, порождающих *коммуникативный индивидуализм*. В этом смысле думается, что идеология коммунитаризма в большей степени соответствует характеру деятельности интеллектуального кластера, выступая более аутентичной идейно-политической формой восприятия его интереса, нежели

классическая форма пристрастия к либеральному типу истолкования групповой идентичности. Представляется, что такое понимание позволяет объяснить стремление членов данного кластера к совершенствованию демократического устройства государства и общества через усиление его коммуникативных составляющих.

Отметим также и то, что интеллектуальная среда имеет определенное сходство и с формами политического восприятия своих интересов, характерных для бюрократического кластера. Хотя бы по той причине, что в целом обе эти группы по преимуществу существуют за счет бюджетной поддержки государства. В этом контексте и те и другие объективно заинтересованы в существовании устойчивого и богатого государства, способного обеспечивать их существование, создавая при этом благоприятные политические, экономические, социальные и культурные условия для их эффективной деятельности. Этот фактор объясняет склонность интеллектуалов время от времени отождествлять свою политическую идентичность с бюрократическим кластером и его представлениями об интересах государства. Однако не следует забывать, что характер деятельности, цели и задачи у интеллектуальной среды и бюрократии все-таки разные.

Политическая функция бюрократии состоит в осуществлении власти и управления через контроль и распределение ресурсов в рамках существующей системы правления, в поддержании устойчивости и целостности последней. Бюрократия же выполняет еще и такую важную функцию, как ограничение личных прав и свобод в интересах сохранения общественного целого. В силу этого едва ли не основным содержанием профессиональной деятельности бюрократии и основным «продуктом» ее «административной политики» являются контроль, надзор и управление. При этом бюрократия, за редким исключением периодов революционного энтузиазма, работает за вознаграждение и привилегии, обусловливающие ее позиционирование в политической системе. В свою очередь, интеллектуальный кластер сконцентрирован, прежде всего, на создании и воспроизводстве творческого продукта, который выступает для него в виде непосредственной цели его деятельности и по существу является неотчуждаемым от его деятельности. Таким образом, деятельность интеллектуалов объективно противостоит функциям госбюрократии и порождает с этим кластером весьма амбивалентные отношения.

Подчеркнем, однако, что такие формы структурной противоречивости вовсе не означают необходимость политического противостояния. Хотя бы по той причине, что политическая система может способствовать созданию благоприятных условий для развития национального интеллектуального кластера. Понятно, однако, что формирование условий для выражения идейно-политической ангажированности интеллектуальной среды (и сопряжения ее творческих интенций с ограничениями и контролем со стороны госбюрократии) отражает волатильность отношений такого рода и свидетельствует о принципиальной незавершенности политического и идеологического самоопределения интеллектуальной среды. На сегодняшний день устойчивым характером обладают лишь универсальные, общесоциальные основания функционирования интеллектуальной среды, по-разному обусловливающие ее идеологические интенции в различных политических системах — преимущественно неотчуждаемый тип деятельности, коммуникативный индивидуализм и непосредственно общественный тип самовоспроизводства.

В конечном счете гармонизация многообразных идейно-политических взаимоотношений в рамках интеллектуального пространства внутри национального

государства обусловлена задачами поддержания и обеспечения политического суверенитета (что одновременно является еще и условием эффективного функционирования интеллектуальной среды).

Ранее связь этих явлений носила опосредованный характер, отдавая непосредственный приоритет вооруженным силам, конкурентоспособной и самодостаточной экономике, высокому уровню легитимации власти, устойчивости правящих политических элит, международному влиянию и т.д. Однако даже эти параметры суверенитета, по сути, были неразрывно связаны с уровнем развития интеллектуальной среды, требуя определенного уровня развития знания и культуры (как минимум, сопоставимых с уровнем развития стран, представляющих угрозу политическому суверенитету государства). Однако сегодня роль интеллектуальной среды в обеспечении политического суверенитета государства выросла многократно, приобретя самостоятельное непосредственное значение. Причиной тому стали два взаимосвязанных процесса, ускорившихся во второй половине XX в., — это информационная революция и глобализация.

Первая превратила развитие знаний и инноваций из спорадического в непрерывно прогрессирующий и ускоряющийся процесс. В свою очередь, глобализация открыла беспрецедентные возможности для распространения (или же дистанцирования от инфопотока) знаний, снижая тем самым возможности суверенных правительств в области контроля за накоплением и оборотом информации, отдавая пальму первенства силам, занимающим лидирующие позиции на глобальном информационно-политическом рынке. В итоге сложилось существенное противоречие между нарастающим значением интеллектуальной среды в обеспечении государственного суверенитета и снижением возможностей суверенных государств в части контроля и поддержания основных параметров развития этого важнейшего ресурса. Разумеется, выход из этого противоречия мог бы быть найден на пути обеспечения суверенитета через усиление взаимовлияния и взаимозависимости между государствами.

Однако мы живем в эпоху интенсивной и крайне острой конкуренции за ресурсы и сферы влияния, что означает отсутствие условий для обеспечения равенства и исключения чрезмерной уязвимости слабых государств под давлением сильных. Причем, как показывает опыт, главной стратегической целью конкурентов все больше становится ослабление интеллектуальной среды соперника. Уже сейчас можно наблюдать интенсификацию такого рода действий, сокращающих условия и предпосылки развития научного творчества в национальных государствах (например, в виде искусственного поощрения массовой «утечки мозгов», манипулирования международными рейтингами университетов и журналов, расширения ограничений на доступ к научным базам данных или дискриминации ученых и продуктов их творчества, а также других аналогичных акций).

Учитывая сказанное, становится понятым, что важнейшей задачей должного позиционирования интеллектуальной среды в современной политике является такая организация ее функционирования, при которой бы сбалансированно учитывались глобальные и национальные источники и перспективы ее развития. В этом контексте, даже признавая, что в ряде случаев глобальные факторы могут создавать риски для отдельных аспектов национального суверенитета, следует предупреждать все акции, ведущие (под лозунгом сохранения национальной культурно-научной традиции от «экспансии инородных ценностей и смыслов») к максимальной закрытости и отгороженности государства от глобального ценност-

но-информационного воздействия, сохраняющего транснациональный характер науки и научного творчества. Коротко говоря, природа интеллектуальной среды неизбежно содержит общемировые, универсальные источники производства знаний и сферы культуры. В силу этого искусственная отгороженность от мирового опыта интеллектуальной активности ученых и специалистов в сфере художественного творчества не только не позволит усилить и защитить национальную интеллектуальную среду, но приведет к ее обеднению, провинциализации и, в конечном счете, к разрушению.

Следует подчеркнуть, что интеллектуальная среда обладает двойственной природой, влияющей как на формирование эффективной стратегии ее развития, так и на ее соответствующее позиционирование в пространстве политики. Интеллектуальная среда одновременно и национальна (с точки зрения условий, характера формирования и конкретной формы существования творческих продуктов), и глобальна (отрицая какие-либо ограничения в части распространения и масштабирования своих продуктов). И эти два аспекта неотделимы друг от друга.

По сути, национальное многообразие всех форм творческой активности интеллектуалов порождает богатство смыслов, неповторимость и оригинальность форм глобальной интеллектуальной среды как таковой. Поэтому всякая одномерность обедняет интеллектуальную среду, разрушает ее. Кроме того, разнообразие служит благодатной почвой для плодотворного взаимодействия и симбиоза культур, для того культурного синтеза, из которого рождаются шедевры и новые формы человеческой рефлексии.

Однако процесс культурного синтеза не так прост. Учитывая хотя бы то, что современные политические конфликты в мире разворачиваются по поводу определения типа и направлений глобального развития. И основным фактором здесь является характер позиционирования того или иного сообщества в структуре глобального интеллектуального пространства[1].

Впрочем, в мире существует и интегративный вариант решения этих противоречий, предполагающий усиление глобальной равномерности развития интеллектуальной среды (при сохранении ее сегментарного разнообразия), а также нарастание коммуникативных связей и отношений. Такой путь более перспективен с точки зрения дальнейшего прогресса и выживания человечества, предполагая выход за рамки устаревшей социально-экономической и политической индустриальной модели и расширение возможностей для развития нового типа общества с опорой на глобальное интеллектуальное пространство. Однако этот вариант более сложен в осуществлении, поскольку требует смены ведущих акторов социально-политического процесса и превращения интеллектуальной среды в самостоятельного актора, а ее социальное расширение и глобализацию — в источник определения целевых параметров мирового общественного развития.

Очевидно, что для политики здесь может быть только один вывод, а именно — использование ее механизмов и инструментов (мобилизующих потенциал экономических, социальных, финансовых, информационных и организационных

[1] *Kiessling T., Vlačić B., Dabić M.* Mapping the future of cross-border mergers and acquisitions: a review and research agenda // IEEE Transactions on Engineering Management. Vol. 201968. No. 1. P. 212–222; *Liu Z.* et al. Visualizing the intellectual structure and evolution of innovation systems research: a bibliometric analysis // Scientometrics. 2015. Vol. 103. P. 135–158; *López-Duarte C.* et al. International strategic alliances and national culture: Mapping the field and developing a research agenda // Journal of World Business. 2016. Vol. 51. No. 4. P. 511–524.

и иных общественных отношений) для максимального подключения и присутствия национальной интеллектуальной среды в глобальных научных сетях. И чем большее значение будет иметь тот или иной национальный сегмент в развитии глобальной интеллектуальной среды, тем большими возможностями будет обладать соответствующее государство в деле интеграции окружающего ее политического пространства[1].

Уверены, что никакого другого пути развития национального сегмента интеллектуальной среды, кроме ее максимального насыщения имеющейся на глобальном уровне информацией и обеспечения столь же максимальных возможностей для ответной культурной экспансии, попросту не существует. При этом не следует путать культурную экспансию с культурным насилием вроде запрета языков или «отмены культуры» по языковому или национальному признаку. Культурная экспансия предполагает распространение конкурентоспособного качественного интеллектуального продукта, способного стать важнейшим фактором мировой культуры и, следовательно, столь же значимым фактором воспроизводства глобальной интеллектуальной среды. Но не следует при этом думать, что само качество интеллектуального продукта автоматически гарантирует его включенность в глобальное интеллектуальное пространство. Нельзя забывать, что глобальная интеллектуальная среда функционирует в рамках глобального рынка капитала и является важнейшим источником прибылей и экономической конкуренции. Это остроконкурентное поле, заставляющее политиков научиться «играть» и «выигрывать» на его различных аренах и площадках и, следовательно, компетентно формировать стратегии по умелому позиционированию и продвижению своих интеллектуальных продуктов на глобальном уровне. Ситуация осложняется еще и тем, что в условиях политической конфликтности результаты научных исследований, так же как и привлекательность систем ценностей и популярность культурных трендов из элементов взаимного обогащения народов в рамках глобальной интеллектуальной среды, нередко превращаются в источники конфликтов и противостояний.

Коротко говоря, формы и направления встраивания в глобальное интеллектуальное пространство его национальных сегментов в решающей степени зависит от компетентности властей и учета ими в своих стратегиях *факторов,* способствующих этому процессу (и, следовательно, предопределяющих формирование соответствующих политических порядков, институтов и механизмов правления). Не углубляясь в эту проблему, отметим лишь наиболее существенные, на наш взгляд, факторы такого рода.

*Фактор автономии,* аттестующий интеллектуальную среду как качественно особую сферу общества, обладающую существенными чертами, не зависящими от времени и места. Эти характеристики касаются неотчуждаемой природы творческого процесса, непосредственно общественного и коммуникативного характера его формирования и воспроизводства, а также акторов творческого труда, универсальной ценности продуктов последнего и способов их потребления. В этом смысле любая интеллектуальная среда не может развиваться, если в обществе отсутствует необходимое пространство для ее автономии[2]. Масштабы этой автономии

---

[1] *Рубцов А.В.* Модели цивилизационного развития в контекстах универсального дискурса // Проблемы цивилизационного развития. 2021. Т. 3. №. 1. С. 128–172.

[2] *Bourdieu P.* Homo Academicus. Cambridge, 1984.

и формы ее обеспечения могут быть различными (независимыми от церковного диктата, бюрократического вмешательства, контроля и агрессивного давления рынка и т.д.). Но в любом случае существует критический уровень политической и духовной автономии, который должен быть обеспечен и гарантирован в качестве важнейшего условия эффективного развития интеллектуальной среды.

Разумеется, эта автономия никогда не была абсолютной, и интеллектуальная среда всегда «отвоевывала» часть социального и особенно политического пространства и при этом сохраняла свою фрагментарность (включая и объединяя включенных в творческий и исследовательский процесс людей и тех, кто был причастен к их финансированию и организации). Будучи, условно говоря, неким островом в океане политических ограничений, интеллектуальная среда предполагает наличие таких параметров государственного устройства, которые позволяли бы сохранять в ее коммуникативном пространстве возможности для свободного общения, сотворчества, обучения и обмена идеями, интенсивного трансферта знаний.

Второй важный политический аспект государственного устройства — это *фактор открытости,* обеспечивающий равенство возможностей творческих личностей, предполагающий их высокую социальную мобильность. И хотя уровни такого равенства и масштабы социальной мобильности могут отличаться весьма существенными параметрами, тем не менее следует говорить об их неких минимальных значениях, препятствующих развитию интеллектуальной среды и чреватых ее деградацией. Более того, наличие необходимой степени политической открытости будет способствовать регулированию доступа в интеллектуальную среду и установлению уровня ее функциональной готовности, востребуемого обществом в каждый конкретный период своего развития. Иными словами, политические институты и структуры власти должны сохранять необходимую для развития интеллектуальной среды *меру* социальной открытости и ее внутренней корпоративной целостности.

Следует отметить и значение *фактора политической субъективизации* интеллектуальной среды или условий ее *самоопределения* и *институционализации* в политическом пространстве. Учитывая, что интеллектуальная среда, формировавшаяся в контексте исторической эволюции различных, в том числе и ранее привилегированных, кластеров (церкви, буржуазии, ремесленников, служилой бюрократии и др., часть которых конкурировала, и даже боролась с ней, ставя под угрозу ее социально-политическую «автономию»)[1], как и ранее, представляет собой крайне индивидуализированное сообщество. Иначе говоря, даже склонность к внутренней солидаризации не способна изменить высокую волатильность ее политического самоопределения (зависящего от различных идеологических и мифологических интенций и позиций творческих личностей). Такое положение требует от государственной власти осуществления целенаправленных усилий, способных придать этому процессу ту политическую устойчивость, которая в любом случае будет сохранять конструктивный и эффективный характер творческой деятельности данного сообщества.

Выделим и *социальные аспекты* развития интеллектуальной среды или зависимость ее функционала от политически обеспечиваемых социальных гарантий, раскрывающих значение для ее базовых мотиваций уровня и качества образования,

[1] *Readings B.* The university in ruins. Harvard University Press, 1996; *Shumar W.* College for sale: A critique of the commodification of higher education. Psychology Press, 1997.

медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения. Заметим, что именно социальные гарантии и преимущества в оплате высококвалифицированного труда, а также достойный уровень пенсионного обеспечения используются западными странами для привлечения интеллектуальных ресурсов со всего мира (включая Россию и страны постсоветского пространства). Понятно поэтому, что политическая система, не ориентированная на достойное социальное обеспечение творческой деятельности, не способна обеспечить и необходимый для государства и общества уровень развития интеллектуальной среды. А следовательно, и для производства инновационных продуктов, укрепляющих самодостаточность развития общества и, в конечном счете, его суверенитет.

Своим особым значением обладает и *экономический фактор* развития интеллектуальной среды. Среди весьма разнообразных проявлений таких обстоятельств осуществления интеллектуальной деятельности следует обратить внимание на гибкое сочетание оплаты интеллектуально-творческого труда, исключающего жесткую зависимость между трудовым вкладом и вознаграждением, с оплатой производительной деятельности, не обладающей творческим характером (где человек не столько реализует свою индивидуальность, сколько тратит время и силы на производство необходимого для общества уже известного продукта)[1]. Думается, что государство обязано вырабатывать такие политические критерии экономической поддержки трудовой активности человека, которые обеспечили бы не просто гармоничное сосуществование обоих видов деятельности (в контексте устойчивого развития), но и продемонстрировали явные приоритеты именно творческой деятельности, способной стимулировать прорывной тип развития общества[2]. Несомненно, что такую политико-экономическую линию мог бы поддержать и сам интеллектуально-творческий кластер, в части предложения экономической программы и даже политической стратегии, направленных на успешную конкуренцию с другими государствами в части актуализации современных технологических достижений. Понятно, таким образом, что такой тип развития интеллектуальной среды неизбежно превратит интеллектуально-творческую страту в заметного игрока в поле политики.

В заключение отметим роль и *коммуникативного фактора,* предполагающего способность политической системы создать каналы интеллектуально-творческого общения, обеспечивающие эффективность функционирования интеллектуальной среды. В этой связи следует иметь в виду сочетание *темпорального уровня* коммуникации (означающего наличие ретроспективных связей с предшествующими поколениями и одновременно с сообществом современников, сужение каждого из которых провоцирует риски и угрозы для развития интеллектуальной среды), а также *уровня пространственного* (включающего коммуникативные процессы на уровне микрогрупп, региональных, национальных и глобальных сообществ). Учитывая реальное переплетение таких коммуникативных процессов, становится понятным, что для интенсификации творческого процесса государственная политика должна обеспечивать широкие возможности для свободного обмена информа-

---

[1] *Глинчикова А.Г.* Может ли быть товаром интеллектуал и продукт его труда? // Вопросы философии. 1997. № 3. С. 3–15.

[2] *Massaro M.* et al. Practitioners' views on intellectual capital and sustainability: From a performance-based to a worth-based perspective // Journal of Intellectual Capital. 2018. Vol. 19. No. 2. P. 367–386; *Secundo G.* et al. Sustainable development, intellectual capital and technology policies: A structural literature review and future research agenda // Technological Forecasting and Social Change. 2020. No. 153. P. 119917.

ционно-символическими потоками, повышения их открытости, инклюзивности и безопасности. Что, естественно, исключает запреты и санкции, препятствующие развитию интеллектуального пространства России[1].

Подытоживая сказанное, отметим, что потребности государства и общества в инновационном развитии с неизбежностью требуют не только самовоспроизводства, но и активной поддержки институтами политической власти базовых факторов развития интеллектуальной среды. По сути, государство, ориентированное на инновационный тип развития, призвано гарантировать: необходимый уровень автономности и самоуправления интеллектуальной среды, инклюзивности и роста ее репутационного капитала, расширения ее коммуникативного пространства. Такая политическая поддержка не только укрепит и повысит роль этого «инфраструктурного» источника общественной энергетики, защитив его авторитет и влияние в рамках глобальных интеллектуальных пространств, но и предопределит его должное политическое самоопределение, превратив интеллектуальный кластер в заметного игрока в поле отечественной политики.

*А.Г. Глинчикова*

**Литература**


1. *Аузан А.* Социокультурная экономика // Наука и инновации. 2017. Т. 2. № 168. С. 4–10.
2. *Батищев Г.С.* Социально-культурная природа познания. 1991.
3. *Вернадский В.И.* Научная мысль как планетное явление. Рипол, 1991.
4. *Глинчикова А.Г.* Может ли быть товаром интеллектуал и продукт его труда? // Вопросы философии. 1997. № 3. С. 3–15.
5. *Глинчикова А.Г.* Россия и Европа: два пути в эпоху Модерна. Культурная революция. 2014. — 607 с.
6. *Измайлов М.К., Пупенцова С.В.* Формирование интеллектуальной среды взаимодействия бизнеса и государственных органов управления в реализации концепции ESG // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Экономика и экологический менеджмент. 2022. № 3. С. 147–155.
7. *Ильенков Э.В.* Философия и культура. М.: Политиздат, 1991.
8. *Покровский Н.Е.* Трансформация университетов в ситуации глобального рынка // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VIII. № 4.
9. *Рубцов А.В.* Модели цивилизационного развития в контекстах универсального дискурса // Проблемы цивилизационного развития. 2021. Т. 3. № 1. С. 128–172.
10. *Сапиро Ж.* Интеллектуальные профессии между государством, предпринимательством и промышленностью // Символическая власть. М., 2011.
11. *Семенов Е.В.* Национальная сеть научных журналов как система: проблемы до и после санкций // Мир России. 2023. Т. 32. № 3. С. 145–166.
12. *Сорина Г.В., Гуров Ф.Н.* Гуманитарное импортозамещение: что стоит за исключением России из Болонского процесса? // Сибирский философский журнал. 2022. Т. 20. № 2. С. 57–67.
13. Социальные науки и политика. 2011. С. 97–126.
14. *Фадеева Л.А.* Дискуссии об интеллектуалах в контексте политической истории Запада // Диалог со временем. 2012. Т. 41. С. 108–138.
15. *Фуллер С.* Социология интеллектуальной жизни: карьера ума внутри и вне академии. Litres, 2022. — 371 с.


[1] *Семенов Е.В.* Национальная сеть научных журналов как система: проблемы до и после санкций // Мир России. 2023. Т. 32. № 3. С. 145–166; *Сорина Г.В., Гуров Ф.Н.* Гуманитарное импортозамещение: что стоит за исключением России из Болонского процесса? //Сибирский философский журнал. 2022. Т. 20. № 2. С. 57–67.

16. *Bourdieu P.* Homo Academicus (vertaald als Homo Academicus). Cambridge, 1984.

17. *Castells M.* End of millennium. John Wiley & Sons, 2010. Vol. 10.

18. *Kianto A., Sáenz J., Aramburu N.* Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation // Journal of Business Research. 2017. Vol. 81. P. 11–20.

19. *Kiessling T., Vlačić B., Dabić M.* Mapping the future of cross-border mergers and acquisitions: a review and research agenda // IEEE Transactions on Engineering Management. 2019. Vol. 68. No. 1. P. 212–222.

20. *Liu Z.* et al. Visualizing the intellectual structure and evolution of innovation systems research: a bibliometric analysis // Scientometrics. 2015. Vol. 103. P. 135–158.

21. *López-Duarte C.* et al. International strategic alliances and national culture: Mapping the field and developing a research agenda // Journal of World Business. 2016. Vol. 51. No. 4. P. 511–524.

22. *Massaro M.* et al. Practitioners' views on intellectual capital and sustainability: From a performance-based to a worth-based perspective // Journal of Intellectual Capital. 2018. Vol. 19. No. 2. P. 367–386.

23. *Readings B.* The university in ruins. Harvard University Press, 1996.

24. *Secundo G.* et al. Sustainable development, intellectual capital and technology policies: A structural literature review and future research agenda // Technological Forecasting and Social Change. 2020. No. 153. P. 119917.

25. *Shumar W.* College for sale: A critique of the commodification of higher education. Psychology Press, 1997.

26. *Subramaniam M., Youndt M.A.* The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities //Academy of Management journal. 2005. Vol. 48. No. 3. P. 450–463.

27. *Vătămănescu E.M.* et al. Bridging intellectual capital and SMEs internationalization through the lens of sustainable competitive advantage: A systematic literature review // Sustainability. 2019. Vol. 11. No. 9. P. 2510.

# Критическая расовая теория

Современные реалии западного общества, по оценке многих наблюдателей, все больше демонстрируют тот тип общественно-политического дискурса, который характерен для стран третьего мира, где приверженность базовой идентичности (такой, как расовая, религиозная, клановая или региональная) становится организационным принципом политической жизни в стране, разрывающим ее на части. По мнению ряда аналитиков, противоречивая президентская кампания 2020 г. в США больше походила на борьбу между племенами, когда избиратели дистанцируются друг от друга, руководствуясь соображениями идентичности, а не заботой о политическом будущем своей страны[1]. Нескончаемая череда массовых беспорядков, прокатившихся по стране летом того же года, привела к тому, что расовые трения в США достигли самого высокого уровня за целое поколение[2].

Одним из наиболее заметных, привлекающих всеобщее внимание явлений в публичном пространстве «культурной революции» в США является движение *Black Lives Matter* (*BLM*), за которым числятся наиболее массовые и радикальные протестные выступления. Под флагом борьбы с пережитками расизма и колониализма *BLM* развернуло широкомасштабную кампанию по пересмотру историче-

[1] *Brigety R.E.* The Fractured Power. How to Overcome Tribalism // Foreign Affairs. March/April 2021. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-16/fractured-power (accessed: 10.06.2021).

[2] Ibid.

ского прошлого евро-атлантической цивилизации, тотальному искоренению символических рудиментов традиционного уклада жизни американцев и европейцев, включая исторические памятники и имена, произведения литературы и искусства, названия и смысловое содержание мемориальных дат и связанных с ними ритуалов. Требования в части компенсаций за историческую несправедливость, допущенную белыми американцами и европейцами в отношении многих поколений расовых меньшинств, приобретают все более радикальный и масштабный характер, варьируясь в диапазоне от регулярных компенсационных выплат «потомкам рабов» и до создания на территории США самостоятельной «Республики Новая Африка» в границах так называемого Черного Пояса (включающего Южную Каролину, Джорджию, Алабаму, Миссисипи и Луизиану)[1].

Идеологический базис движения *BLM* составляет *критическая расовая теория* (далее — КРТ), оказавшаяся в последние годы объектом острейших дискуссий, судебных разбирательств и резонансных политических решений. Актуальность научного и общественного интереса к этому интеллектуальному течению подогревается тем, что имевшая место на протяжении многих лет практика внедрения преподавания и пропаганды КРТ в различных сферах образования, профессиональной подготовки и издательской деятельности, а также в медийном пространстве США порождает многочисленные конфликтные ситуации на всех уровнях и во всех сегментах американской публичной политики.

В сентябре 2020 г. президент США Д. Трамп ввел полный запрет на любые формы обучения, подготовки и тренинга, направленные на распространение и пропаганду постулатов критической расовой теории для всех федеральных государственных служб и учреждений[2]. Со сменой администрации Белого дома конфликтный потенциал этой проблематики оказался временно вытесненным в локальное пространство публичной политики, не утратив, однако, своей актуальности[3].

Характеризуя истоки и смысл критической расовой теории, следует вспомнить, что с 1960-х годов академическое сообщество США испытало мощное влияние идей Франкфуртской школы, фундаментальным принципом которой является стремление выявить и разоблачить доминирование всякого рода, которым

---

[1] «Республика Новая Африка» была провозглашена еще в 1968 г. сторонниками радикального черного политического лидера Малькольма Икс, однако вплоть до последнего времени оставалась скорее обращенной в неопределенное будущее экзотической мечтой, нежели практической программой действий, ориентированной на актуальное настоящее.

[2] Executive Order 13950 of September 22, 2020. «Combating Race and Sex Stereotyping».

[3] За последние годы по всей стране прокатилась волна протестов родителей против политики школьных советов и местных органов образования, направленной на расширение практики преподавания КРТ в начальной, средней и высшей школах (*Warren Steve and Gill Benjamin*. The Great American Parent Pushback Against Critical Race Theory: School Board Recall Efforts Surge // CBS News. 07.06.2021. URL: https://www1.cbn.com/cbnnews/2021/july/the-great-american-parent-pushback-against-critical-race-theory-school-board-recall-efforts-surge-across-us (accessed: 10.07.2021) и, по мнению протестующих, сеющей раскол и наносящей детям психологический ущерб. Так, за первое полугодие 2021 г. имела место по меньшей мере 51 кампания по отзыву, объектом которых стали около 130 избранных членов местных школьных советов. Это более чем в два раза превышает соответствующие среднегодовые значения (*Contreras Russell.* Critical Race Theory Sparks a New Wave of School Board Recalls // Axios. 2021. July 6. 2021. URL: https://www.axios.com/school-board-recalls-soar-critical-race-theory-86823daf-a7e1-4a55-965c-32f79b64954f.html (accessed: 10.07.2021). В то же время «Национальная ассоциация по вопросам образования» и крупнейший профсоюз учителей страны при поддержке президента Байдена выступает за дальнейшее внедрение критической расовой теории в образовательную практику (The Great American Parent...).

та или иная группа может обладать над другой[1]. Со временем этот подход нашел широкое применение в исследованиях проблематики расовых, гендерных, сексуальных и иных отношений и идентичностей. В своем обзоре КРТ Д. Суботник[2] в качестве отправной точки выбирает начало 1970-х годов, когда будущие соосновали этой идеологии профессора Р. Дельгадо и Д. Белл[3] обратили внимание на уже сложившийся академический дискурс о гражданских правах, в котором, по их утверждению, устойчиво доминировала белая мужская элита[4]. Наряду с ними еще одним источником КРТ принято считать сложившееся в академической среде левое оппозиционное движение, именовавшее себя Критической теорией права (*Critical Legal Studies*)[5]. Его сторонники настаивали на том, что закон не является аполитичным и нейтральным и, следовательно, право и правовые институты обязательно отражают и воспроизводят властные отношения. Отметим, что и ученые из числа цветных меньшинств также изначально тяготели к этому течению.

Развитие и сближение этих двух направлений исследований к середине 1980-х годов привело к появлению новой школы, которая впоследствии и стала называться КРТ и которая, по мнению Д. Белла, отражает «выведенную из практического опыта, критичную по своей форме и преобразующую по своей направленности озабоченность расовыми и другими социально сконструированными иерархиями»[6].

С середины 1980-х не только чернокожие, но и ученые латиноамериканского и азиатского происхождения оказались глубоко вовлеченными в изучение расовой проблематики, в силу чего новая школа за короткий срок стала доминирующей силой в американском академическом дискурсе по расовой проблематике. Секрет успеха основоположников КРТ и их единомышленников Д. Суботник объясняет специфической тактикой, выбранной ими в отношении своих потенциальных оппонентов и критиков, заранее осуждавшей коллег, способных изменить ход дискуссии, как нежелательных элементов[7].

---

[1] *Beckeld B.* Herbert Marcuse and the Left's Endless Campaign Against Western 'Repression'// Quillette Newsletter. 2022. March 2. URL: https://quillette.com/2022/03/02/herbert-marcuse/.

[2] *Subotnik D.* What's Wrong with Critical Race Theory. P. 683.

[3] Critical Race Theory: The Key Writings That Formed ф Movement / Ed. By Crenshaw K. et al. The New Press, 1996; *Subotnik D.* What's Wrong with Critical Race Theory: Reopening the Case for Middle Class Values // Cornell Journal of Law and Public Policy. Spring 1998. Vol. 7. Issue 3.

[4] *Delgado Richard.* The Imperial Scholar: Reflections on a Review of Civil Rights Literature // University of Pennsylvania Law Review. March 1984. Vol. 132. No. 3. P. 561–578.

[5] *Subotnik D.* Op. cit. P. 684.

[6] *Bell D.* Who's Afraid of Critical Race Theory? // University of Illinois Law Review. 1995. Vol. 4. P. 893–910.

[7] «Пришло время для белых либеральных авторов, специализирующихся в сфере гражданских прав, направить свои усилия в иное русло и побудить своих коллег сделать то же самое... — недвусмысленно призывал Р. Дельгадо, — есть немало других важных предметов изучения, которые могут и должны привлечь к себе их выдающиеся способности. Стоит этим ученым уступить дорогу, и природа возьмет свое в лице талантливых исследователей и комментаторов из числа [расовых] меньшинств» (*Delgado R.* The Imperial Scholar... P. 577). «Белые могут считать, что их мнения и суждения о расе столь же полны и убедительны, как и мнения и суждения жертв расизма», — развивают эту мысль Т. Грилло и С. Уайлдман. «Очевидно, — пишут они,— что в этом случае мы имеем дело с необоснованными претензиями, поскольку понимание, полученное через персональный жизненный опыт, не может быть воспроизведено незаинтересованным наблюдателем» (*Grillo Trina & Stephanie Wildman. Obscuring the Importance of Race:* The Implications of Making Comparisons between Racism and Sexism (or Other-isms) // Critical Race Theory: The Cutting Edge / Ed. by Richard Delgado, Jean Stefancic. 3rd ed. Temple University Press, 2013. P. 564, 569).

Устранив сильные фигуры с шахматной доски и установив контроль над академическим дискурсом в расовой тематике, апологеты КРТ перенацелили свое внимание с академической сферы на американскую культуру и социальный уклад жизни. Развивая свои методы, они обнаружили, что расовая обусловленность и расизм могут быть обнаружены в широком разнообразии существующих институтов и практик. Афроамериканцы не обретут достоинства и равноправия до тех пор, пока сам дух, лежащий в основании этих культурных феноменов и в значительной степени не доступный восприятию белых, не будет уничтожен, настаивали сторонники КРТ[1]. «Критическая расовая теория признает, что расизм эндемически присущ американской жизни... Нас интересует, каким образом... традиционные интересы и ценности... федерализм, приватность, имущественные интересы... служат инструментами расового господства», — писала М. Матсуда-Грюнвальд[2]. Одним словом, КРТ стала проповедником глубочайшего разочарования «в либерализме, существующей судебной практике и гражданском активизме в области правозащиты, вере в правовую систему и надеждах на социальный прогресс», — утверждает Р. Дельгадо[3].

Ключевыми для критической расовой теории являются концепты институционализированного расизма, структурного расизма и привилегии белых. Так, *институционализированный расизм* устанавливает системные барьеры, которые обеспечивают «дифференцированный доступ к товарам, услугам и возможностям общества по признаку расы»[4]. Практика узаконенной дискриминации, сегрегации, поражения в правах представителей расовых меньшинств в США имела место на протяжении нескольких столетий, как до, так и после Гражданской войны, формально положившей конец рабству. В этом смысле, несмотря на то что за последние десятилетия уровень открытого, институциализированного расизма (в духе законов о расовой сегрегации) практически сошел на нет, прогресс, по мнению сторонников КРТ, будет невозможен без борьбы с другими, менее явными формами расизма: «С отменой рабства расистское общество продолжает властвовать над чернокожими людьми более тонкими, но едва ли менее коварными способами, чем во времена рабства...»[5].

*Структурный расизм*, в свою очередь, означает систематическое воспроизводство «расовых иерархий, созданных в предшествующие эпохи, путем закрепления привилегий белых и ущемленного положения цветного населения в политике, институтах и культурных представлениях»[6]. Когда «расизм заложен в наши мыслительные процессы и социальные структуры, — утверждает Д. Робертс, — тогда сама повседневность общественных отношений — рутина, практики и институты, на которые мы полагаемся, чтобы повлиять на то, как этот мир работает, — будет удерживать меньшинства в подчиненном положении»[7].

---

[1] *Subotnik D.* Op. cit. P. 686.

[2] *Matsuda M.* et al. Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and The First Amendment. Boulder: Westview Press, 1994.

[3] *Delgado R.* Critique of Liberalism // Critical Race Theory: The Cutting Edge / Richard Delgado (ed.). Temple University Press, 1995.

[4] *Jones, Camara Phyllis*. Levels of Racism: A Theoretic Framework and a Gardener's Tale // American Journal of Public Health. 2000. No. 90. P. 1212–1215.

[5] *Bell D.* And We Are Not Saved: The Elusive Quest For Racial Justice. Basic Books, 1989. P. 205.

[6] *Roberts Dorothy E.* The Social and Moral Cost of Mass Incarceration in African American Communities. University of Pennsylvania Carey Law School, 2004; *Maxwell B.* White America, Denial Won't Erase Racism // St. Peterburg Times. 2000. December 6.

[7] Ibid. P. 22.

*Привилегии белых* в своей основе являются наименее явным, скрытым и не всегда очевидным проявлением расизма: «невидимым пакетом незаслуженно приобретенных активов», на которые белые люди могут полагаться, даже не догадываясь об их существовании[1].

До принятия «Закона о гражданских правах 1964 года» «привилегии белых» относились к юридическим и системным преимуществам, предоставляемым белым людям, таким как гражданство, право голоса или право на приобретение недвижимости по своему усмотрению. После того как с принятием Закона 1964 г. на смену явным формам дискриминации пришли более скрытые ее проявления, апологеты КРТ начали рассматривать привилегии белых как феномен скорее психологический и культурный, нежели юридический и институциональный[2]. Так, привилегии белых можно обнаружить в ежедневных трансакциях и в способности белого человека относительно легко продвигаться в рамках своего профессионального и личного пространства. Это зачастую простые повседневные вещи, удобства, о которых белые люди не привыкли задумываться: аптечка первой помощи с пластырем «телесного цвета», подходящего только белому человеку; ассортимент продуктовых магазинов, отражающий гастрономические традиции преимущественно белых людей, и т.д.

При кажущейся безобидности и незначительности таких проявлений, утверждают сторонники КРТ, эти привилегии символизируют то, что мы можем назвать «властью нормы», не заслуживающей пристального внимания. Если общественные места и блага ориентированы на удовлетворение потребностей одной расы и отводят представителям других рас лишь «специальные секции», это указывает на нечто более глубокое и зачастую неочевидное для наблюдателя. В этом плане белый человек с большей вероятностью будет перемещаться по миру в надежде, что его потребности будут быстро удовлетворены. Цветные же люди путешествуют по миру, осознавая, что их потребности имеют маргинальный характер. Белые люди также имеют больше шансов видеть положительные образы людей, похожих на них, в новостях, на телешоу и в кино. Они с большей вероятностью могут рассчитывать на сострадание, индивидуальный подход, снисхождение к допущенным ошибкам. Иными словами, они чаще пользуются преимуществами презумпции невиновности в широком смысле этого слова. Все это негативным образом отражается на цветных людях, которые без этой привилегии сталкиваются с последствиями расового профилирования, стереотипизации и отсутствия сострадания к своим проблемам. Все эти привилегии белых в форме «власти нормы» и «презумпции невиновности», утверждает КРТ, являются целенаправленными результатами расизма, который постоянно воспроизводит неравенство. Эти привилегии не существовали бы, если бы им не предшествовала практика системного расизма. В свою очередь, системный расизм не имел бы шансов на выживание в наши дни, если бы эти привилегии не продолжали существовать.

Следует подчеркнуть, что в рамках КРТ концепт «привилегий белых» адресован не столько цветным (которые, как предполагается, хорошо осведомлены об этом благодаря повседневному травматичному опыту), сколько именно белым. При этом от последних ожидается не только осознание их природы и признание своей вины

---

[1] *Wildman Stephanie M*. The Persistence of White Privilege // Washington University Journal of Law & Policy. 2005. No. 245.

[2] *Collins C*. What Is White Privilege, Really? Recognizing white privilege begins with truly understanding the term itself // Teaching Tolerance. Fall 2018. Iss. 60.

за соучастие в их воспроизводстве, но и готовность открыто выступать против, участвовать в борьбе цветных меньшинств с «режимом привилегий белых».

Так, Б. Гесс, характеризуя «этнографию белизны (*whiteness*)», выделяет восемь «идентичностей белого человека», упорядоченных согласно степени признания своей исторической вины и готовности к деятельному покаянию и борьбе против собственных привилегий[1].

1. *Белый супрематист* осознанно поддерживает, сохраняет и воспроизводит своими действиями «режим белизны».

2. *Белый вуайерист* не способен бросить вызов белым супрематистам и охраняемому ими режиму, однако проявляет интерес ко всему не-белому как чему-то экзотическому и эстетически привлекательному. Стремится потреблять плоды черной культуры, игнорируя при этом тяготы черной судьбы.

3. *Привилегированный белый* может подвергать критике супрематизм, однако не готов инвестировать сколь-нибудь значительные усилия в дело борьбы за справедливость и равенство, способствуя тем самым нормализации «режима белизны». Привержен ценностям «разнообразия».

4. *Белый бенефициарий* симпатизирует делу борьбы за справедливость и равенство, однако только в частном порядке. Не готов к публичному высказыванию своей позиции, так как пользуется некоторыми преимуществами, предоставляемыми «режимом белизны» (отдельные представители цветных меньшинств также попадают в эту категорию).

5. *Кающийся белый* признает отдельные проявления белизны, чтобы заручиться одобрением и пониманием со стороны представителей цветных меньшинств.

6. *Критически настроенный белый* открыто делает значительный вклад в критику «режима белизны» по широкому кругу направлений, отказывается подчиняться этому режиму. Ведет просветительскую работу среди других белых.

7. *Белый ренегад* деятельно отказывает «режиму белизны» в повиновении, называет вещи своими именами, мотивирован стремлением подрывать основания власти белых и говорить правду любой ценой. Является необходимым ресурсом в борьбе против правящих институтов.

8. *Белый аболюционист* является непримиримым борцом против существующего режима и его институтов, активно противостоит попыткам белизны восстановить утраченные позиции.

Однако, ожидая от белого человека самоотверженного участия в разрушении оснований существующего расистского уклада, апологеты КРТ принципиально отказывают даже проникшимся их идеями белым в каких-либо претензиях на ведущую роль, не говоря уже о лидерских позициях[2].

С учетом сказанного, имеются все основания поставить под вопрос научный статус КРТ как таковой. Ее апологеты между тем не склонны к рефлексии по поводу научности своих изысканий, зато их оппоненты с готовностью берут на себя эту миссию. Тем более что и основоположники КРТ, и их современные последователи дают изрядное количество поводов усомниться в своей строгой приверженности критериям научности и стремлении к объективной истине. По сути, сами методологические принципы КРТ исчерпывающим образом квалифицируют ее научный

---

[1] *Hesse B.* The 8 White Identities. URL: https://reverseracism.tumblr.com/post/57939811587/the-8-white-identities-by-barnor-hesse-breaking-down (accessed: 10.06.2021).

[2] *Collins C.* What Is White Privilege...

статус: «Критическая расовая теория настаивает на признании эмпирического знания цветных людей... [Для этого мы используем] элементы личных историй, притч, хроник, мечтаний, повествований, поэзии, сказаний...»[1].

Центральным элементом методологии КРТ является *пересказ историй* (*story telling*). И поскольку «абстрактный анализ и формальные эмпирические исследования в меньшей степени, чем повествовательные истории, способны передать понимание женщин и цветных людей»[2], то такие «истории могут приблизить нас к истине скорее, чем традиционные методы научного дискурса», подчеркивает одна из классиков КРТ, П. Уильямс[3].

Справедливо будет сказать, что КРТ никогда ине задумывалась как аскетичная дисциплина, нацеленная на производство инкрементальных истин посредством подавления личных ценностных предпочтений и кропотливого взвешивания доказательств. В большей степени КРТ является движением, целью которого всегда было, ни много ни мало, потрясение сложившихся эпистемологических и онтологических порядков. Свою методологическую миссию сторонники КРТ усматривают в последовательной смысловой деформации существующих категорий и правовых конструкций в целях выявления их скрытого интерсубъективного содержания[4]. Эти усилия, уверяет Р. Остин, обладают силой, преобразующей окружающую социальную реальность: «Наши интеллектуальные усилия должны генерировать статический заряд достаточной мощности, чтобы вносить искажения в каналы коммуникации господствующей идеологии и блокировать месседжи, направленные на подавление нашего негодования, сдерживание нашего активизма, перенаправление наших энергий и, так или иначе, включающие нас в воспроизводство нашего собственного подчиненного положения»[5].

Та завораживающая легкость и непосредственность, с которой апологеты КРТ подходят к решению методологических вопросов, могла бы быть уместной при условии, что интеллектуальные озарения и «статические заряды», генерируемые этими авторами, подвергались бы систематической апробации в рамках широкой и открытой научной дискуссии с участием оппонентов. Однако даже такое ограничение апологеты КРТ находят излишним, более того, глубоко оскорбительным для себя: «Запрещены две вещи: (1) публичная критика тех, кто решился бросить вызов большинству, осудить культурное господство и иные, принудительные элементы политики ассимиляции, а также (2) поведение, которое призвано оправдать несправедливость, принижает членов группы ... или помогает и поощряет акты угнетения. [Каждое из этих действий] — предательство, равносильное измене»[6].

Здесь нет места для компромиссов, ведь всякое сомнение в истинности и аутентичности сказанного способно разрушить тот *экстатический* эффект, который апологеты КРТ считают смыслом и целью всякой содержательной «дискуссии» и в которой скептически настроенным «чужакам» заведомо нет места: «Публичное выражение страдания призывает Господа в наш диалог... Осознавая боль,

---

[1] *Mari J Matsuda* et al. Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, And The First Amendment (New Perspectives on Law, Culture, and Society). Routledge, 1993.

[2] *Farber D., Sherry S.* Telling Stories Out of School: An Essay on Legal Narratives // Stanford Law Review. April 1993. Vol. 45. No. 4. P. 807–855.

[3] *Williams P.* The Alchemy Of Race And Rights. Revised edition. Harvard University Press, 1992.

[4] Ibid. P. 7–8.

[5] *Austin R.* Sapphire Bound! // Faculty Scholarship at Penn Law. 1989. No. 1347. P. 544.

[6] *Post D.W.* Reflections on Identity, Diversity and Morality // Berkeley Women's L.J. 1990. No. 136. P. 6.

порожденную угнетением или расизмом, отчуждением или насилием, мы переживаем момент озарения, когда ощущаем, что другие разделяют нашу боль. В такие моменты мы способны разрушать барьеры, разделяющие нас»[1].

Очевидно, что такая позиция исключает саму возможность открытой и содержательной дискуссии с теми, кто не склонен разделять ваши взгляды и «переживания». В итоге, за отсутствием вовлеченности основной части научного сообщества, актуальный сам по себе дискурс, который должен был проводиться на самом высоком научном уровне, оказался вытеснен сначала в учебные аудитории, а затем и на улицы, и в эфиры СМИ. Впрочем, такой сценарий не смущает сторонников КРТ, а скорее воодушевляет. «Пришло время задуматься о колоссальной власти современных СМИ, способных зажечь искру недоверия, — призывает П. Уильямс, практически цитируя В.И. Ленина, — чтобы из этой искры возгорелось пламя пожаров, несущих с собой ужас и возмездие!»[2].

Сказанное подводит нас к недвусмысленному выводу об идеологической, а не научной природе того корпуса публикаций, идей и дискурсивных практик, который наработан в последние полвека под маркой КРТ. Каково же ее место в идеологическом спектре?

На первый взгляд логично отнести КРТ к разновидности идеологемы марксистско-ленинского толка, поскольку она воспроизводит, пусть и в модифицированном виде, основные положения классического марксистского нарратива, включая такие постулаты, как:

— исторический антагонизм угнетателей и угнетенных, воспроизводимый на протяжении столетий (в данном случае — белых и «людей цвета» (*peopleofcolor*);
— классовая (в данном случае — расовая) обусловленность всех форм политических, экономических, общественных и культурных отношений и институтов в современном обществе, а также всех форм общественного сознания, включая культуру, науку, идеологию, религию и т.д.;
— классовая (расовая) природа государства как инструмента господства угнетателей;
— неизбежность и плодотворность классовой (расовой) борьбы, проявляющей себя во всех сферах общественных отношений;
— авангардная роль чернокожих как передового отряда во главе всех угнетенных и обездоленных (людей цвета);
— представление о том, что не все цветные, а только воспитавшие в себе классовое (расовое) самосознание способны сыграть решающую роль в этой борьбе (остальные в лучшем случае обречены на роль союзников и попутчиков);
— необходимость и целесообразность революционного (в противовес эволюционному) разрешения накопившихся противоречий ради утверждения нового, справедливого общественного порядка;
— идея гегемонии–диктатуры передового класса (людей цвета) на этапе революционного переустройства современного общества, обусловленной неизбежным сопротивлением исторически обреченных (белых) классов-гегемонов.

---

[1] *Lawrence Ch. R. & Mari J.M.* We Won't Go Back: Making The Case For Affirmative Action // New Labor Forum. Spring 1998. No. 2. P. 51–60.

[2] *Williams P.* The Rooster's Egg: On The Persistence of Prejudice. Revised edition. Harvard University Press, 1997. P. 108.

Понятна также причина обращения неомарксистских мыслителей к идее расовой (вместо классовой) войны как инструменту революционного преобразования существующего общественного уклада. «Люди цвета» представляются в начале XXI в. идеальной заменой промышленному пролетариату в качестве основной социальной базы и движущей силы, кровно заинтересованной в преобразовании капиталистического строя. Еще в 1960-е годы в работе «Одномерный человек»[1] Г. Маркузе, формулируя идею «Великого Отказа», или тотального неприятия Системы и ее ценностей, прямо указывал на то, что роль трансформирующего исторического фактора не способны взять на себя классы, интегрированные системой, в том числе рабочий класс. Ведущую роль в разрушении существующего общества способны сыграть лишь те, кто свободен от его интеграции, кто самим своим социальным положением предрасположен к отказу от всяких традиционных форм принадлежности. Это — изгои и аутсайдеры, отверженные, чужаки, эксплуатируемые, преследуемые национальные меньшинства, безработные и неработоспособные, жаждущие положить конец невыносимым условиям своего существования.

В самом деле, трансформация производственно-экономических отношений в постиндустриальную и информационную эпоху привела к размыванию и сокращению (как в абсолютных, так и в относительных значениях) доли промышленного пролетариата в структуре современного общества. Кроме того, стремительно сокращающийся (преимущественно белый) рабочий класс в политическом и идеологическом отношении за последние десятилетия все более заметно дрейфует в сторону правых, популистских сил (в случае США — в сторону республиканцев).

В поисках новой, к тому же демографически растущей социальной базы левые обращаются к «людям цвета», как наиболее обездоленной (в их представлениях) массе «униженных и оскорбленных», которым порой буквально «нечего терять, кроме своих цепей». Очевидная «левизна» проявляется и в том, что в качестве симптомов «белизны» сторонники КРТ все чаще указывают на нормы и ценности, которые по своей природе и содержанию представляют собой атрибуты «среднего класса», что также свидетельствует о совместимости классического «антибуржуазного» и критического расового нарративов. В частности, утверждается, что акцент на «рациональности над эмоциональностью» характерен для «белого мужчины», пользующегося своими «привилегиями»; такие понятия, как «объектное, рациональное линейное мышление», «трудолюбие» как «ключ к успеху», «нуклеарная семья» и вера в единого бога, не являются ценностями, которые объединяют американцев всех рас, а, напротив, являются «проявлениями и предрассудками белизны»[2].

Вместе с тем кажущиеся очевидными параллели между постулатами критической расовой теории и ключевыми положениями неомарксистского нарратива раскрывают лишь часть реальной картины, лежащую на поверхности, оставляя некоторую значимую ее долю скрытой от заинтересованного наблюдателя.

Для выявления этих скрытых деталей целесообразно обратиться к теоретическому наследию К. Мангейма[3], выделившего среди прочих форм идеологическо-

---

[1] *Маркузе Г.* Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 2003.

[2] Эти и другие примеры приведены в тексте Указа Президента США ExecutiveOrder 13950 of September 22, 2020. «Combating Race and Sex Stereotyping».

[3] *Мангейм К.* Идеология и утопия: диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994.

го (утопического) сознания так называемый «оргиастический хилиазм». По его мнению, идея о близости царства высшей справедливости с давних пор содержала революционизирующую тенденцию, однако при определенном сочетании исторических обстоятельств и предпосылок эти идеи «стали восприниматься как реализуемые здесь и теперь и наполнили социальные действия особой яростной силой... экстатически-оргиастической энергией»[1].

В чем ключевое отличие «оргиастического хилиазма» от классической «социалистическо-коммунистической утопии»? Хилиастический идеал имеет вневременный характер, и его достижение возможно лишь одномоментно (а не поэтапно), как результат некоего мистического озарения, радикального прорыва во вневременное пространство справедливости. Для марксистов, напротив, определяющей является идея прогресса как закономерного, необходимого и поступательного движения из прошлого в настоящее и из настоящего в будущее. Тем меньше для них было приемлемо «сектантское движение, целью которого является внезапный, не определенный во времени, мгновенный захват бастионов истории»[2] (что в полной мере может быть соотнесено с феноменом КРТ). Марксизм при этом обретает свою классическую форму в решающей борьбе с радикальным анархизмом, выступающим, по версии Мангейма, прямым наследником средневекового «оргиастического хилиазма» применительно к Новому времени. Осуществленный марксизмом «разгром хилиастической утопии был потрясающим по своей резкости и брутальности»[3].

Между тем можно предположить, что по мере обострения идеологического противоборства в современном мире складываются новые социальные и экзистенциальные предпосылки к тому, что в жизнеощущении и мышлении определенных слоев (подверженных утопическому мышлению) спонтанно возникают социальные структуры и интеллектуальные течения, воспроизводящие в новых исторических условиях сущностные черты оргиастической и хилиастической утопии. Движение *BLM*, вооруженное критической расовой теорией в качестве своей основополагающей идеологемы, и является именно такой структурой.

КРТ, представляющая собой серьезный вызов государственной политике и институтам большинства развитых стран Запада, с точки зрения интересов России на первый взгляд не представляется заслуживающим внимания предметом по двум причинам: 1) отсутствие в стране сколь-нибудь демографически значимой черной общины и 2) исторического опыта институционального рабства в его международно признанном понимании. Тем не менее в оценке потенциальной угрозы, исходящей от проповедников КРТ, следует понимать, что данная идеологема отличается высокой гибкостью и масштабируемостью, поскольку категория «угнетенного меньшинства» трактуется там весьма широко. Хрестоматийный тезис о России как «тюрьме народов» вполне органично укладывается в теоретико-методологические рамки КРТ. Неудивительно, что уже сегодня, на фоне резкого обострения отношений между Россией и коллективным Западом, активизируются попытки политических спекуляций на этой тематике. Так, в США вполне статусные политики и эксперты из Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (она же — Хельсинкская комиссия США)

[1] Там же. С. 181.

[2] Там же. С. 203.

[3] Там же.

всерьез говорят о том, что «деколонизация России является стратегическим и нравственным императивом»[1]. Кроме того, следует помнить, что КРТ тесным образом переплетается с идеями радикального феминизма, гендерной политики и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и тем самым способна создавать мультиплицирующий эффект в плане распространения практик, уже ограниченных действующим законодательством РФ .

С учетом сказанного, государственным органам, вырабатывающим политику в области безопасности, информации и образования, следует превентивно обратить внимание на угрозы и вызовы, с которыми уже столкнулись государственные институты США, Великобритании и ряда других стран Запада. В частности, упомянутый выше Указ Президента США 2020 г. подробно характеризует эти вызовы и угрозы. В этом документе КРТ прямо квалифицируется как «деструктивная идеология, [которая] опирается на искаженное представление об истории нашей страны и ее роли в мире», направленная «на то, чтобы разделить нас и помешать нам объединиться как единому народу в стремлении к общей судьбе для нашей великой страны»; «Все это противоречит основополагающим принципам, лежащим в основании нашей Республики». И нашей, заметим, тоже.

Сказанное позволяет заключить, что на сегодняшний день имеется значительный потенциал для налаживания межгосударственного сотрудничества, обмена опытом и, возможно, выработки скоординированной международной позиции по вопросам, связанным с превентивным купированием негативных последствий распространения и пропаганды постулатов КРТ в целях предупреждения деструктивных процессов, столь ярко проявивших себя в контексте нынешнего внутриполитического кризиса в США.

*С.Г. Туронок*

**Литература**


1. *Мангейм К.* Идеология и утопия: диагноз нашего времени, М.: Юристъ, 1994.
2. *Austin R.* Sapphire Bound! // Faculty Scholarship at Penn Law. 1347. 1989.
3. *Bell D.* Who's Afraid of Critical Race Theory? // University of Illinois Law Review. 1995. Vol. 4. P. 893–910.
4. *Brigety R.E.* The Fractured Power. How to Overcome Tribalism // Foreign Affairs. March/ April 2021.
5. *Collins C.* What Is White Privilege, Really? Recognizing white privilege begins with truly understanding the term itself // Teaching tolerance. ISSUE 60. Fall 2018.
6. Critical Race Theory: The Cutting Edge. Ed. By Richard Delgado, Jean Stefancic. 3rd ed. Temple University Press, 2013.
7. *Delgado R., Stefancic J.* Critical Race Theory: An Introduction. 2nd ed. New York University Press, 2012.
8. Executive Order 13950 of September 22, 2020. Combating Race and Sex Stereotyping Jones Camara Phyllis Levels of Racism: A Theoretic Framework and a Gardener's Tale // American Journal of Public Health. 2000. No. 90. P. 1212–1215.
9. *Maxwell B.* White America, Denial Won't Erase Racism // St.Peterburg times. 2000. December 6.
10. *Wildman S.M.* The Persistence of White Privilege // Washington University Journal of Law & Policy. 2005. P. 245.


[1] Decolonizing Russia. The Commission on security and cooperation in Europe (U.S. Helsinki Commission). June 23, 2022, Washington DC. URL: https://www.csce.gov/international-impact/events/decolonizing-russia.

# Математика и политика

Проблемы взаимосвязи математики и политической науки имеют глубокую традицию. В целом можно выделить три основные области взаимосвязи, где математика и политические исследования успешно взаимодействуют[1]. *Во-первых*, это использование статистических методов анализа, теории вероятностей и математической логики в обработке эмпирического материала с целью получения обоснованных суждений о дифференциации и взаимосвязи политических явлений, их группировки, влияния и динамики. *Во-вторых*, математика позволила обосновать механизмы взаимодействия людей в процессах публичного выбора в теории функций решения, пространственной модели коллективного принятия решений, стратегического голосования, теории коалиций и соглашений и др. *В-третьих*, политическая философия и философия математики часто оказываются взаимодействующими при обосновании фундаментальных метафизических или онтологических проблем политики. Известно, что «Математические рукописи» К. Маркса об исчислении переменных трактовались в аспекте диалектического материализма в природе и обществе. Теория политического Л. Витгенштейна опиралась на его логические и математические исследования. Концепции различий и деконструкции Ж. Деррида имеют много перекличек с философией математики А. Пуанкаре. Политическая онтология А. Бадью опирается на теорию множеств Г. Кантора, А.Н. Колмогорова и теорему неполноты К. Геделя. Обратим внимание на один из немногих моментов объединения математики и политики в концепции эпистемической демократии, где используется теория вероятности для обоснования корректности принятия решений на основе принципа большинства.

Обратимся к концепции эпистемической демократии, обосновывающей роль и значение знания массового участника принятия публичных решений. Если мы достигли определенного решения, то, согласно концепции, общественные ценности выражаются правильно посредством голосования или массового участия населения в публичных обсуждениях. «Эпистемическая демократия подчеркивает способность процессов коллективного принятия решений генерировать знания»[2]. И хотя существует проблема соотношения невежества и знаний в политике (и объем знания не всегда оценивается позитивно)[3], основной задачей легитимности демократии выступает все же ее способность обеспечивать решения истинным знанием. Демократия формирует институты, в рамках которых обычные люди проявляют большую когнитивную способность.

Концепция эпистемической демократии появилась в начале 1980-х годов и стала ответом на тенденции популизма в политике[4]. В 1985 г. Калифорнийский

---

[1] В данном случае, говоря о положительном взаимодействии, мы следуем пока доминирующей стратегии рассмотрения математики и математического способа мышления как основы научной стратегии в познании, в том числе и политики. Конечно, есть обширная критическая литература, которая вполне соотносится с суждением Аристотеля о том, что «справедливость... — это вовсе не число...» (*Аристотель*. Большая этика. Соч. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 296).

[2] *Peter F.* Democratic legitimacy and proceduralist social epistemology // Politics, Philosophy & Economics. 2007. No. 6 (3). P. 330.

[3] *König P.D.* Truth versus ignorance in democratic politics: An existentialist perspective on the democratic promise of political freedom // Contemporary Political Theory. 2021. No. 20 (3). P. 614–635; *Hannon M.* Are knowledgeable voters better voters? // Politics, Philosophy & Economics. 2022. No. 21 (1). P. 29–54.

[4] *Cohen J.* An Epistemic Conception of Democracy // Ethics. 1986. No. 97 (1). P. 26–38; *Goodin R., Spiekerman K.* An Epistemic Theory of Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2018.

технологический институт в США провел конференцию на тему объяснения и обоснования социальной теории. Главная проблема, которая возникала на конференции, заключалась в поиске ответа на вопрос: можно ли в процессе общественного выбора (концепция эпистемической демократии находится в конфликтных отношениях с теорией общественного выбора) получить обоснованный критерий правильности решений, который принимается на основании институтов массового голосования и обсуждения? У. Райкер в работе «Либерализм против популизма» (1982) утверждал о проблематичности в ходе общественного выбора достичь независимого критерия истинности решения: проблема состояла в том, есть ли независимый критерий истинности публичных ценностей. Популизм полагал, что всеобщая воля способна достигать обоснованной публичной ценности. Уильям Райкер скептически отнесся к популистскому суждению о том, что общая воля выступает критерием правильности общественного выбора. Он полагал, что выборы позволяют лишь менять политиков. Такой ответ не удовлетворил сторонников эпистемической демократии. Все же они полагали, что избиратель обладает определенными когнитивными качествами, а избирательный процесс строится на основе независимого критерия истинности, которым выступает справедливость и концепция общественного блага. Умеренная теория сторонников концепции стала заключаться в том, что таким критерием может быть «умная толпа». «Умная толпа» предполагает, что участники дискуссии обладают определенной информацией, которая несколько выше среднего избирателя.

В основе концепции эпистемической демократии, легитимизирующей когнитивные основания избирательного процесса, лежит теорема жюри присяжных Кондорсе, выдвинутая в 1785 г. Согласно теории на избирательные участки приходят участники с определенной информацией. Если на участки придет группа с вероятностью 50% получения правильного ответа, то эта группа с большей вероятностью получит правильный ответ. В этом смысле общий смысл теории присяжных заключается в том, что если у нас вероятность правильного решения 0,5, то сколько нужно людей, чтобы они приняли участие в голосовании? В этом случае увеличение числа присяжных повышает степень принятия правильного решения. Если вероятность принятия правильного решения меньше 0,5, то увеличение числа присяжных ведет к понижению шансов принять правильное решение. Есть, конечно, ограничения на теорему Кондорсе: она распространяется только на два предпочтения, интенсивность снижения вероятности также зависит от того, является ли эта вероятность меньше или больше 0,5. Кроме того, это зависит от числа предпочтений, которые включаются в процесс рассмотрения. В этом отношении мы получаем различные вариации количества участников для получения правильного ответа. При этом независимый критерий истинности достигается более компетентным участником решения, которым и является средний избиратель.

Правильный ответ возможен с точки зрения большинства обладателей правильной информации. В этом смысле выборы выполняют важную функцию: они обеспечивают независимый стандарт правильных решений, дают нам правильный отчет о справедливости или общем благе. Второй момент: они дают нам представление о правильной политике, при том что каждый отдельный гражданин мотивируется на участие в голосовании не своими личными предпочтениями, а представлениями относительно общего блага, с которыми сочетаются эти личные представления. Избиратель или любой участник публичных обсуждений,

который обладает когнитивным представлением о правильной политике, должен голосовать компетентно, независимо и искренне. Это важное свойство, которое мы должны иметь в виду, когда оцениваем те или иные выборы. Важно отметить, что социальное вычисление в этом процессе обеспечивается процедурой голосования, следуя которой получаются правильные решения на основе распределения индивидуальных голосов. Процедура справедливого и честного голосования способна приносить хороший результат и тем самым создавать легитимность выбора публичных ценностей. В этом отношении эпистемическая демократия говорит нам не только о том, что мы выбираем некоторых представителей, но и о тех институтах, которые способствуют выбору тех, кого нужно выбирать. Сами выборы лучше решают проблему сбора и использования информации для формирования правильной политики, формирования условий, которые определяют эту политику в соответствии с исходными публичными ценностями.

Смысл концепции эпистемической демократии состоит в ответе на вопрос, может ли массовый участник публичных решений дать правильное решение и что для этого нужно. Выражаются ли правильно общественные ценности посредством голосования? Выборы обеспечивают независимый стандарт правильных решений, т.е. отчет о справедливости или общем благе; они могут способствовать общественным дебатам, политической информации и политическим интересам. Голосование выражает убеждение в том, что является правильной политикой при надлежащей мотивации отдельных граждан голосовать за свое мнение относительно общей воли, а не за свои личные предпочтения (требования к избирателю голосовать компетентно, независимо и искренне). Процедуры справедливого и честного голосования в основном обладают общепризнанной способностью приносить хорошие результаты и тем самым создавать легитимность выбора. Как пишут авторы монографии «Эпистемическая теория демократии», «Претензия теоремы Кондорсе на применимость не зависит от того, что все знают все рассматриваемые истины, а скорее от того, что многие люди лучше, чем случайные, определяют их, а взгляды тех, кто не лучше, чем случайные, не являются систематически предвзятыми. Иными словами, мудрость множества зависит не от правильности каждого члена множества, а от ожидаемого большинства правильных голосов среди этого множества, что, в свою очередь, зависит от определенного уровня компетентности и отсутствия (или, во всяком случае, ограничения) систематической погрешности в любых ошибках»[1].

Эпистемическая демократия — через голосование — лучше справляется с мониторингом первоочередного распределения задач, чем рынки, бюрократия или судьи, отчасти из-за ее способности к сбору и обработке информации. Акцент на голосовании здесь не случаен. Именно этот институт вычисления информации долгое время считался лучшим способом общественного выбора. Однако в последние десятилетия на политическом горизонте стала проявляться тенденция, которая стала критически относиться к возможности осуществлять правильный выбор решения только посредством голосования. Отчасти с этим связана критика либерализма (неолиберализма) и его способности формировать правильную политику на основе вероятностного исчисления. «Улица» и «площадь» стали претендовать на адекватность выражения властных позиций для политического решения.

[1] *Goodin R., Spiekerman K.* An Epistemic Theory of Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 305.

Истинность результата голосования стала подвергаться сомнению и отвергаться сама процедура, основанная на вычислении средних мнений. В этом отношении популизм в качестве критерия обоснованности решений выдвинул политическую волю, а коммунитаризм обратился к политическому суждению. Где-то эти две позиции переплелись в общей легитимации прямых форм участия граждан в политике и управлении или в более мягкой форме использования гражданской науки при выработке политических решений властными органами. Здесь возникает что-то вроде «доказательной политики», которая базируется на широкой базе публичных знаний[1]. Общий пафос эпистемической демократии сместился в сторону обоснования критериев правильности выбора на основе коммуникации, а не голосования, убеждения, а не рациональности, консолидированного мнения, а не вынужденного согласия с большинством.

Способность массовых движений производить обоснованные суждения уже отмечалась в литературе. Так, в поисках выхода из противоречия между популистским и технократическим напряжением по вопросу истины и политики, представленного в работе С. Розельфельда «Демократия и истина»[2], З. Памук предлагает для решения две стратегии противостояния монополистическим тенденциям экспертных знаний: одна опирается на роль присяжных, другая — на социальные движения[3]. Первая стратегия где-то концептуально близка к процедуре голосования обычными гражданами по вопросу авторитетного экспертного знания. Вторая стратегия включает в рассмотрение потенциал социальных движений, когда они превращаются в публичные с политическими претензиями. Тема социальных движений возникает не случайно и связана не только с вопросом оценки экспертной истины, но и с возможностью включить в процедуру рассмотрения дифференцированные подходы, что свойственно этим формам объединений граждан. Эти дифференцированные знания находятся в определенной системе взаимосвязи. Следует подчеркнуть то, что системность этого производства обеспечивается публичным пространством: «Важным для разработанной здесь системной модели является то, что различные компоненты в публичном пространстве могут собирать и объединять различные формы рассредоточенных знаний, которые затем могут быть переданы уполномоченным демократическим форумам»[4].

Особое значение этот процесс производства суждений приобретает в условиях развития социального компьютинга, новых форм общественных вычислений, базирующихся на широте информации, ее разнообразии и способности массовых коммуникаций и движений на ее объединение. Как следует из исследований, «социальные вычисления и социальные сети связаны с пересечением социального поведения и вычислительных систем, создавая или воссоздавая социальные соглашения и социальные контексты с помощью программного обеспечения и технологий. Такие приложения оказывают глубокое влияние на социальное поведение

---

[1] *Соловьев А.И.* «Доказательная политика» и «политика доказательств»: дилемма постсоветских обществ // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. № 14 (5). С. 61–80.

[2] *Rosenfeld S.* Democracy and Truth. A Short History. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2019.

[3] *Moore A., Invernizzi-Accetti C., Markovits E., Pamuk Z. & Rosenfeld S.* Beyond populism and technocracy: The challenges and limits of democratic epistemology // Contemporary Political Theory. 2020. № 19 (4). С. 730–752.

[4] *Benson J.* Knowledge and Communication in Democratic Politics: Markets, Forums and Systems // Political Studies. 2019. No. 67 (2). P. 432.

и образ жизни, расширяя границы вычислительных технологий... В то же время социальные вычисления также меняют поведение людей и их повседневный образ жизни»[1]. В использовании термина «социальные вычисления» применительно к современной коммуникации, основанной на цифровых технологиях, не является формальным или простым метафорическим использованием для описания когнитивных процессов. Разрабатывая возможности компьютинга применительно к исследованию политического мира, Дж. Дэнзайгер писал, что полезно будет «понять “вычисления” в широком смысле как по структуре, так и по функциям, как понятие, включающее различные информационные технологии, которые (1) основаны на устройствах микроэлектроники; (2) могут выполнять определенные задачи по обработке информации; и (3) включать механические, концептуальные, человеческие и организационные компоненты»[2]. Социальные вычисления касаются отношений человека и вычислительных систем, которые (ре)конструируют социальные соглашения и социальные контексты, чтобы обеспечить взаимодействие, принятие обоснованных решений и сотрудничество. В наиболее радикальной постановке вопроса речь идет уже о трактовке социальных систем как сложных коллективных компьютеров. «Результаты такого проекта могут, в свою очередь, — пишет Дж. Эванс, — стать катализатором более социально информированной компьютерной науки, рекомендующей отойти от таких основных парадигм исследований, как проект искусственного (гуманоидного) интеллекта, и перейти к другому проекту, который соединяет человека с инопланетным интеллектом»[3].

Применительно к процессу познания мира индивидом понятно, что система человек–компьютер позволяет облегчить процесс познания и получить его результаты без предварительно установленной программы (можно сказать, без заранее ориентационной методологии). В публичном познании, основанном на суждении, прямая связь компьютера и человека преломляется в сетевые коммуникации, адекватные для получения обоснованности результата. В этом отношении поставленный в концепции эпистемической демократии вопрос о независимом критерии обоснованности публичного знания ставится в плоскости не формируемого по случаю большинства, а публичной сетевой коммуникации. В этом смысле публичное движение — это не просто субъект действия, а структура коммуникации, находящая логическое завершение в ее выявлении в публичном пространстве. Конечно, новые публичные движения, основанные на сетевой коммуникации, могут создавать угрозу политическому порядку, если последний не адекватен ее публичным ценностям. В этом отношении «по мере того, как вычисления вторгаются в наши личные миры, раздражая, прерывая или отвлекая нас, они потенциально еще более разрушительны в общественных местах, где друзья и незнакомцы одинаково ориентируются в сложном социальном контексте сосуществования».[4]

Свою эвристичность концепция эпистемической демократии уверенно демонстрирует при оценке выборов депутатов Государственной Думы в 2021 г., результаты которых известны, однако сохраняют и определенные вопросы. Высказывались суждения о нарушениях в ходе выборов, ЦИК РФ реагировала на часть из них.

---

[1] *Chen J. & Liu J.* Introduction: Social Computing and Social Networks // Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce. 2014. No. 24 (2–3). P. 119.

[2] *Danziger J.* Computing and the Political World // Computers and the Social Sciences. 1986. No. 2. P. 184.

[3] *Evans J.* Social Computing Unhinged // Journal of Social Computing. 2020. No. 1 (1). P. 4.

[4] *Shklovski I. & Chang M.F.* Guest Editors' Introduction: Urban Computing: Navigating Space and Context // Computer. 2006. No. 39 (9).

КПРФ, к примеру, с подозрением относилась к результатам голосования в Москве, социалисты отмечали сотни нарушений в первый день голосования. Особую критику вызвало дистанционное электронное голосование. Но ясно, что не все нарушения, которые были отмечены политическими партиями, можно подтвердить или они являются существенными для результатов выборов. При всех накладках 56 млн избирателей (около 52%) приняли участие в голосовании, и абсолютное число бюллетеней признано действительными, т.е. избиратели выявили свою волю. Недействительных бюллетеней оказалось не более 2%.

По сравнению с другими электоральными циклами выборы 2021 г. отличаются явной активизацией юридических механизмов организации выборов: все участники стремились находиться в границах законов и норм. Можно ли считать, что прошедшие выборы заложили новый этап в электоральных циклах России с 1993 г.?

В.В. Володин — председатель Государственной Думы — заявлял, что прошедшая кампания была одной из самых конкурентных за последнее время, уровень развития информационных технологий позволил сделать выборы прозрачными, открытость была максимальной. Возникает вопрос: достаточен ли был уровень конкуренции и повлияла ли она на правильность соответствующего выбора?

Если сравнить российские выборы с концепцией эпистемической демократии, то мы увидим ряд проблем. Самая главная из них состоит в том, что электоральный процесс в России понимается не как правильное выявление предпочтений, связанное с публичной политикой, публичными ценностями, а в качестве результата политической борьбы за обеспечение властных функций, в которой избиратель своей массовостью лишь легитимизирует соответствующий выбор. Но выборы имеют большее значение, так как позволяют в воле участвующих в голосовании увидеть распределение общественных предпочтений.

История российских выборов идет в этом правильном направлении: мы находимся на этапе формирования законных способов (процедур) управления электоральным поведением, обращая внимание на обеспечение независимого, искреннего, ориентированного на получение публичного блага поведения избирателей. В этом отношении результаты выборов 2021 г. демонстрируют частичное соответствие процедурам эпистемической демократии. Лишь стратегическое поведение доминирующей партии часто вступает в противоречие с этой тенденцией, ограничивая, а не расширяя пространство использования электорального научения. В аспекте эпистемической теории демократии отметим явный парадокс, касающийся размежевания на две части избирателей и две части партийного списка (рис.).

На рис. явно отмечается раскол между партией «Единая Россия» (ЕР) и остальными партиями. В чем причина этого раскола? Связан ли он только с деятельностью политических партий, или на него также повлияли качества избирателей?

Отмечается различная ориентация линий тренда для ЕР (прямолинейная положительная связь между явкой и голосованием) и КПРФ (прямолинейная отрицательная связь). Значимо ли это для оценки результата выборов? Что можно сказать в этой связи о поведении избирателей?

На рис. отличима область наиболее плюралистического поведения избирателей по голосованию за политические партии в центре при относительно небольшой явке. Что это говорит о выборах? И их результатах?

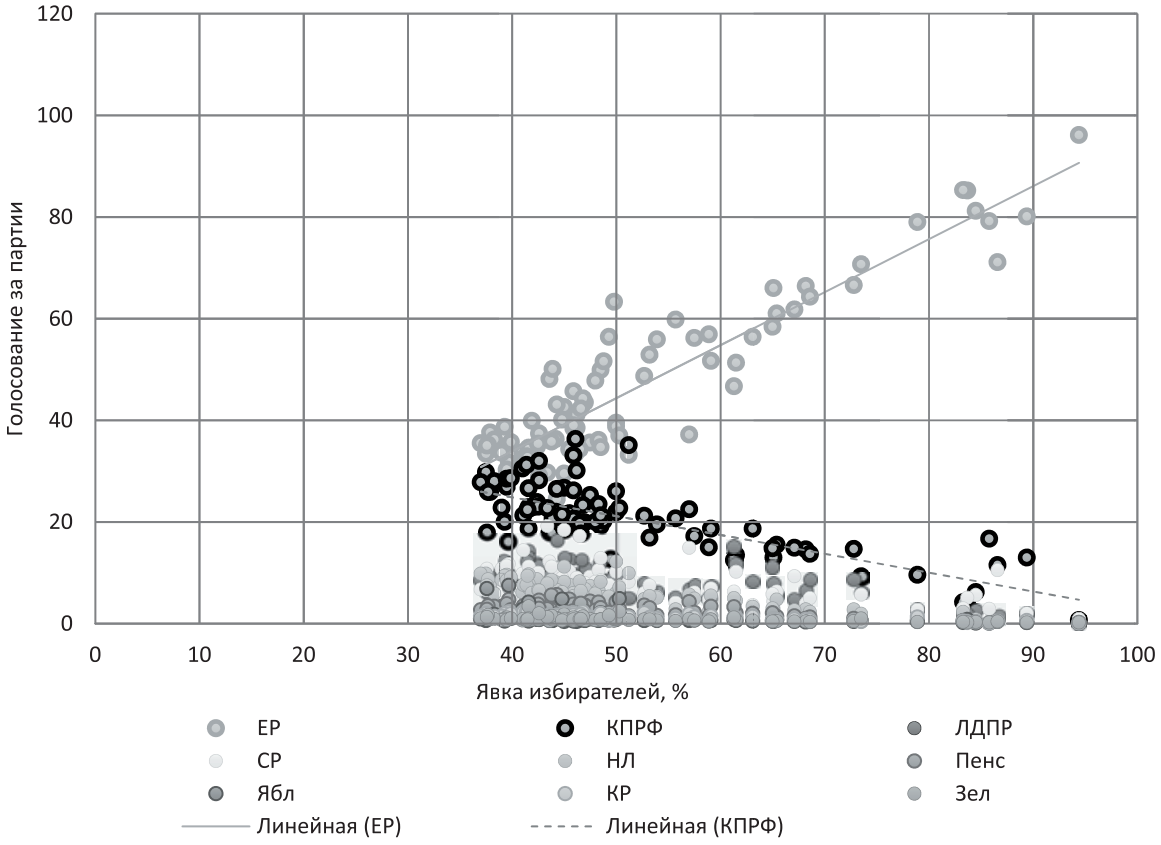


**Рис.** Явка избирателей и распределение голосов за политические партии на выборах депутатов Государственной Думы в 2021 г., %

Эти результаты можно объяснить в рамках концепции эпистемической демократии, акцентируя внимание на ведущей роли избирателей, а не только стратегии политических партий, которая в этом случае выступала вторичным фактором. Мы сознательно изменяем порядок переменных, чтобы подчеркнуть не конструктивистский характер избирательной кампании 2021 г. (партии формируют выборы), а зависимость партийной стратегии от настроений и знания избирателей.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на процент участия в выборах, на те 52% участия, которые стали выше, чем в 2016 г., но при этом некоторые считают, что такого процента недостаточно для легитимности. С точки зрения эпистемической концепции выборов наблюдаемый уровень участия свидетельствует о повышении уровня общей компетентности избирателя. В условиях сочетания снижения участия, повышения уровня плюрализма и конкурентности результат голосования был, как можно полагать, наиболее «правильным». Повышение средней компетентности избирателя с «чуть лучшей, чем случайное» до «чуть лучшей, чем считается» — вот что наиболее важно. Чем больше тех, чья собственная индивидуальная компетентность низка и кто не принимает участия в выборах (здесь, конечно, нет сопряжения), тем выше средняя индивидуальная компетентность тех, кто действительно голосует.

Если мы имеем в виду снижение участия в том плане, в котором оно связано с пониманием позиционирования каждой партии, за которую избиратель голосует на выборах, в сочетании с повышением уровня плюрализма и конкурентности

результатов голосования, то результат, конечно, будет правильным. Если мы говорим о результатах выборов в Государственную Думу, то можно сделать вывод, что правильный результат мы находим в зоне, в которой наблюдается взаимосвязь поведения избирателя в условиях плюрализма, конкурентности и искреннего участия. Как показывает простое наблюдение за избирательной кампанией 2021 г., все политические партии ориентировались на растущую, но умеренную явку. Поэтому, когда с середины августа некоторые крайние участники электорального процесса предлагали бойкотировать эти выборы, бойкот как политическая стратегия не был эффективен, так как ориентации и избирателей, и партий были направлены на умеренную явку.

Рассмотрим поведение политических партий. Доминирующая партия, которая получила в целом более 70% мест в Государственной Думе и около 50% по общефедеральному округу, ставила целью удержание политического господства путем институционального закрепления за собой политического пространства. Если мы сравним результаты выборов по единому федеральному округу и мажоритарным округам, то поведение избирателей и результативность их выбора «Единой России» были одинаковыми как при голосовании за партию в целом, так и в случае голосования за лица. Наблюдается высокий коэффициент корреляции между данными этих двух видов голосования (коэффициент корреляции Пирсона равен 0,93). По-видимому, это говорит о том, что избиратель понимал условия, в которые он поставлен ведущей партией. Результаты стратегического поведения доминирующей партии — это гомогенизация политического пространства в географическом и политическом смысле, ограничение или ликвидация зон политического доминирования для других участников, централизация информационных потоков и сужение плюрализма информации, создание доминантной системы политического рекрутирования и ориентация на взаимосвязанное стратегическое и идейно направляемое голосование своих сторонников в той части спектра взаимодействия со своими сторонниками, где можно было доминировать без учета большой степени конкуренции.

Ряд регионов явно демонстрирует эпистемическую направленность прошедших там выборов. К таким регионам следует отнести Омскую область, Костромскую область, Республику Саха (Якутия), Хабаровский край и др. — нами выделено двадцать таких регионов (табл.).

Ранжирование регионов по уровню конкуренции (приблизительно от 2 до 10 процентов), плюрализма предложений (индекс Рэ от 0,73 до 0,83) и эффективному числу электоральных партий (ENPV) (от 3,7 до 5,9) говорит о том, что, возможно, здесь наблюдалось искреннее, независимое и компетентное голосование, потому что все условия такого голосования были более или менее соблюдены. Если мы возьмем за основу регионы с высоким показателем эпистемического условия правильного выбора, то явка здесь составит в среднем 42,2%, результат «Единой России» — 33,5%, КПРФ — 28,8%. По-видимому, именно эти результаты следовало бы ожидать при соблюдении условий голосования в целом по России. Эта дифференциация регионов выступает важнейшим условием, которое определяет дальнейшую перспективность выборов. В регионах, где проводилось мобилизационное голосование, наблюдается низкая конкуренция, высокий уровень монополизации, низкий уровень партийной дифференциации, что делает процесс выборов зависимым и вряд ли компетентным. Менее разнообразные группы склонны приходить к худшим решениям, чем более разно-

*Таблица*

**Двадцать регионов России с наибольшими показателями плюрализма и конкуренции**

| | Явка, % | Голоса ЕР, % | Голоса КПРФ, % | Индекс Рэ | ENPV | Индекс конкуренции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Томская область | 41,5 | 32,7 | 22,4 | 0,81 | 5,263158 | 10,3 |
| Удмуртская Республика | 47,5 | 35,6 | 25,3 | 0,78 | 4,545455 | 10,3 |
| Новосибирская область | 37,7 | 35,2 | 25,9 | 0,78 | 4,545455 | 9,3 |
| Приморский край | 42,6 | 37,4 | 28,2 | 0,76 | 4,166667 | 9,2 |
| Республика Алтай | 46,2 | 38,5 | 30,1 | 0,74 | 3,846154 | 8,4 |
| Ивановская область | 38,3 | 36,2 | 28 | 0,77 | 4,347826 | 8,2 |
| Иркутская область | 37 | 35,5 | 27,8 | 0,77 | 4,347826 | 7,7 |
| Амурская область | 41,6 | 34,3 | 26,6 | 0,78 | 4,545455 | 7,7 |
| Сахалинская область | 39,9 | 35,7 | 28,6 | 0,77 | 4,347826 | 7,1 |
| Ярославская область | 43,4 | 29,7 | 22,7 | 0,81 | 5,263158 | 7 |
| Ульяновская область | 45,9 | 39 | 33,1 | 0,73 | 3,703704 | 5,9 |
| Республика Хакасия | 37,5 | 33,4 | 29,8 | 0,78 | 4,545455 | 3,6 |
| Алтайский край | 41 | 33,7 | 30,5 | 0,77 | 4,347826 | 3,2 |
| Республика Марий Эл | 46,1 | 33,4 | 36,3 | 0,74 | 3,846154 | 2,9 |
| Ненецкий АО | 42,6 | 29,1 | 32 | 0,79 | 4,761905 | 2,9 |
| Республика Коми | 39,5 | 29,4 | 26,9 | 0,81 | 5,263158 | 2,5 |
| Хабаровский край | 44,3 | 24,5 | 26,5 | 0,83 | 5,882353 | 2 |
| Республика Саха (Якутия) | 51,2 | 33,2 | 35,1 | 0,75 | 4 | 1,9 |
| Костромская область | 39,5 | 30,3 | 28,5 | 0,79 | 4,761905 | 1,8 |
| Омская область | 41,4 | 32,9 | 31,2 | 0,77 | 4,347826 | 1,7 |

образные группы. Это наиболее очевидно в крайних случаях: группа идеальных клонов, в которой все голосуют одинаково, не может получить выгоду от голосования и агрегирования. В этом случае коллективный результат будет таким же хорошим, как и у любого отдельного члена группы. Полностью положительно коррелированные клоны не становятся умнее в больших цифрах, поскольку их голоса полностью взаимозависимы[1].

Конкуренция на выборах 2021 г. была различной, но одинакова по общефедеральному округу и одномандатным округам, что свидетельствует о состоятельности поведения избирателей, об одинаковом влиянии систем голосования на конкурентность. В конкурентных регионах достигался более или менее правильный результат. Важным компонентом оценки выборов является позитивно и негативно коррелированное голосование. Позитивно коррелированное голосование — это группы индивидов, которые имеют одинаковые представления и голосуют за одну и ту же политическую силу. И негативно коррелированное голосование, когда отмечается более или менее разнообразное голосование и нет доминирования голосов за одну политическую партию. В этом отношении для получения правильного результата негативно коррелированное голосование наблюдается в группах избирателей в пределах явки от 40 до 60%, и его можно считать соответствующим цели голосования — получения правильной политики.

[1] См.: *Goodin R., Spiekerman K.* An Epistemic Theory of Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 96–100.

Смысл концепции эпистемической демократии состоит в ответе на вопрос, может ли массовый участник публичных решений дать правильное заключение и что для этого нужно. Эпистемическая демократия — через голосование — лучше справляется с мониторингом первоочередного распределения задач, чем рынки, бюрократия или судьи, отчасти из-за ее способности к сбору и обработке информации. Акцент на голосовании здесь не случаен. Именно этот институт вычисления информации долгое время считался лучшим способом общественного выбора.

В последние десятилетия стала проявляться тенденция, которая стала критически относиться к возможности осуществлять правильный выбор решения только посредством голосования. Истинность результата голосования стала подвергаться сомнению и отвергаться сама процедура, основанная на вычислении средних мнений. Общий пафос эпистемической демократии сместился в сторону обоснования критериев правильности выбора на основе коммуникации, а не голосования, убеждения, а не рациональности, консолидированного мнения, а не вынужденного согласия с большинством. В этом смысле эпистемическая демократия стала противопоставляться концепции делиберативной демократии.

*Л.В. Сморгунов*

**Литература**


1. *Аристотель*. Большая этика. Соч. Т. 4. М.: Мысль, 1983.
2. *Соловьев А.И*. «Доказательная политика» и «политика доказательств»: дилемма постсоветских обществ // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. № 14 (5). С. 61–80.
3. *Benson J*. Knowledge and Communication in Democratic Politics: Markets, Forums and Systems // Political Studies. 2019. No. 67 (2). P. 422–439.
4. *Chen J. & Liu J*. Introduction: Social Computing and Social Networks // Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce. 2014. No. 24 (2–3). P. 119–121.
5. *Cohen J*. An Epistemic Conception of Democracy // Ethics. 1986. No. 97 (1). P. 26–38.
6. *Danziger J*. Computing and the Political World // Computers and the Social Sciences. 1986. No. 2. P. 183–200.
7. *Denning P*. Computing Science: The Great Principles of Computing // American Scientist. 2010. No. 98 (5). P. 369–372.
8. *Evans J*. Social Computing Unhinged // Journal of Social Computing. 2020. No. 1 (1). P. 1–13.
9. *Goodin R., Spiekerman K*. An Epistemic Theory of Democrac*y*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
10. *Hannon M*. Are knowledgeable voters better voters? // Politics, Philosophy & Economics. 2022. No. 21 (1). P. 29–54.
11. *König P.D*. Truth versus ignorance in democratic politics: An existentialist perspective on the democratic promise of political freedom // Contemporary Political Theory. 2021. No. 20 (3). P. 614–635. URL: https://doi.org/10.1057/s41296-020-00436-y.
12. *Moore A., Invernizzi-Accetti C., Markovits E., Pamuk Z. & Rosenfeld S*. Beyond populism and technocracy: The challenges and limits of democratic epistemology // Contemporary Political Theory. 2020. No. 19 (4). P. 730–752. URL: https://doi.org/10.1057/s41296-020-00398-1.
13. *Peter F*. Democratic legitimacy and proceduralist social epistemology // Politics, Philosophy & Economics. 2007. No. 6 (3). P. 329–353.
14. *Rosenfeld S*. Democracy and Truth. A Short History. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2019.
15. *Shklovski I. & Chang M.F*. Guest Editors' Introduction: Urban Computing: Navigating Space and Context // Computer. 2006. No. 39 (9). P. 36–37.

# Политический альтернативизм

Обычно альтернативами[1] принято называть наличие неких *других* вариантов, т.е. не тех, которые приняты в настоящее время в науке или в практической жизни, а предполагающих нетрадиционный выбор, иное высказывание, выражение других мнений, позиций и т.д. В силу такого понимания в общественной жизни понятие «альтернативизм» обычно противопоставляется единомыслию, в то время как в политике альтернативизм означает необходимость выбора одной из двух или нескольких взаимоисключающих возможностей решения того или иного вопроса политической деятельности.

По мнению ряда ученых, альтернативная ситуация в политике, властной практике предполагает выбор наиболее эффективного варианта обсуждения и решения политических проблем, назревших задач[2]. Впрочем, следует учитывать, что в отдельных, например критических, обстоятельствах политические акторы могут использовать и экстрарациональные способы выбора альтернативных действий. Отметим также, что обозначенный термин применяется к медиа, общественно-политическим движениям и организациям, чья деятельность направлена против истеблишмента (например: альтернативная печать, альтернативные движения и т.д.), а также затрагивает характеристику предельно широких социально-политических процессов, раскрывая значение альтеркапитализма, альтернативной цивилизации, альтерглобализма и др.

Становлению политического альтернативизма в современных формах предшествовало появление контркультурного течения в 1940-х годах, восставшего против всевластья старой морали, искусства, быта и ставшего формировать собственные подходы в этих направлениях, вошедшие в конфликт с господствующими устоями. Считается, что понятие «контркультура», демонстрирующая отражение либеральных настроений в западном обществе в значении «протестующего миросозерцания» и протеста «против данного типа культуры, против данного типа цивилизации, против того «культурного кода», который способен уничтожить все живое на Земле»[3], в 1969 г. ввел американский социолог Т. Розак. В настоящее время этот термин в основном употребляется в двух смыслах. Прежде всего, для обозначения социально-культурных установок, противостоящих фундаментальным принципам, господствующим в конкретной культуре, а также для характеристики западной молодежной субкультуры 1950–1970-х годов, отвергавшей «культуру отцов» в виде движения хиппи, битников, панков, стиляг и т.д.

Что же еще послужило отправной точкой для возникновения политического альтернативизма во второй половине XX в. и что натолкнуло ученых на его исследование? Конечно, в первую очередь это изменившаяся общественно-политическая практика, впитавшая в себя память о крупнейших событиях XX в. (двух мировых войнах, трех русских революциях, развертывании научно-технической,

---

[1] *Alternative* от лат. *alter* — «один из двух», в англ. языке — «вариант» или «выбор».

[2] Власть. Политика. Государственная служба: Словарь. М.: Луч. В.Ф. Халипов, Е.В. Халипова, 1996.

[3] *Roszak Th*. The making of a counterculture: reflections on the technocratic society and its youthful opposition. N.Y.: Doubleday 6 Company, Inc.Garden City. — 303 p. URL: https://monoskop.org/images/b/b4/Roszak_Theodore_The_Making_of_a_Counter_Culture.pdf (accessed: 27.01.2022).

а затем информационно-коммуникационной революций, завоевании космоса, испытании ядерного оружия, истощении природных ресурсов и др.). Такое положение требовало осмысления и ответа на вопрос: куда идет человечество и какой путь следовало бы избрать? Старые идеи и идеологии уже не устраивали новое поколение, как и уровень и качество жизни.

Именно в это время появляется движение «новых левых» (*RAF*, «Красные бригады», «Черные пантеры», «Синоптики», йиппи и др.), чьей социальной базой были социальные аутсайдеры, изгои общества, деклассированные маргинальные слои населения, люмпены и национальные меньшинства. С помощью политического террора (тактики левых радикалов, большевиков, анархистов) эти группировки стремились обострить противоречия капитализма, создать предреволюционную ситуацию и «разбудить» обуржуазившиеся народные массы. Их вдохновителями были радикальные учения Л. Троцкого и Мао Цзэдуна. «Новые левые» выражали протест против бездуховности «общества потребления», обезличенности массовой культуры, унификации человеческой личности, выступали за «прямую демократию», свободу самовыражения, нонконформизм.

Одновременно в 1960-е годы в Европе появляется движение «новых правых», которые использовали политическую тактику, выработанную новыми левыми. Они восприняли идеи итальянского марксиста А. Грамши, в силу чего нередко называя себя «грамшистами справа». Новые правые выступали против мультикультурализма и смешения различных культур в одном обществе, протестовали против либеральной демократии и капитализма, предлагали модель «органической демократии», которая могла бы противостоять контролю общества со стороны олигархических кругов. Сторонники этого движения призывалии к возрождению европейской культуры и идентичности через «археофутуризм» или консервативную революцию (не обладавшую, впрочем, реакционными чертами). Идеология новых правых достигла большого признания в 1970-е годы, хотя позднее их популярность снизилась. Представители движения стали членами ряда политических партий, серьезно повлияв на программу Национального фронта во Франции.

Практически в это же время доминирующее влияние приобретает гуманистическая критика индустриальной цивилизации, представленная такими направлениями и философскими школами, как персонализм, экзистенциализм, Франкфуртская школа, Римский клуб, а также ряд футурологических течений. Общее, что роднит позиции перечисленных философских школ, состоит в констатации того, что прогресс науки и техники, рост всеобщего материального благосостояния на его основе не только не ведут к совершенствованию человека и общества, но и во многих случаях влекут за собой духовно-нравственную деградацию личности и дегуманизацию общественных отношений. С позиций гуманистической критики индустриальной цивилизации человек представляет высшую ценность и цель общественного развития, его главную движущую силу.

В 60-е годы XX в. в афронт критическому реализму возникает философское и научное течение *конструктивизма*, которое представляет познание не как отражение «объективной реальности», а как конструирование мира эмпирической реальности в результате познавательной активности человека. Термин конструктивизма в этом значении употреблял в конце 1960-х Ж. Пиаже. Его утверждение, что «разум организует мир, организуя самого себя», стало программным для радикального конструктивизма, оформившегося с выходом в 1981 г. сборника «Изо-

бретенная действительность» («*Die Erfundene Wirklichkeit*») австро-американских философов Э. фон Глазерсфельда, П. Вацлавика и Х. фон Фёрстера, говоривших о конструировании реальности. Для обновления политической практики большое значение имела и вышедшая в 1966 г. книга П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности», где были сформулированы основные тезисы социального конструктивизма как исследовательской парадигмы, исследующей формирование «консенсусной реальности» в различных культурах в результате социальных взаимодействий, включающих ценности и институты как составные части «объективного» миропорядка.

Это дало основание Ш. Муфф в середине 1970-х годов сформулировать основания для обоснования диссенсусного поведения субъектов политики. Известно, что еще в 30-е годы прошлого столетия немецкий философ К. Шмитт трактовал «политическое» и «политику» как отношения «друг–враг», положив в основу антагонизм взглядов, подходов и ценностей. Однако Ш. Муфф, не отрицая наличия и неизбежности антагонизмов (сохраняющих онтологический статус политического), противопоставляет им агонизм, т.е. такое отношение «мы–они», при котором конфликтующие стороны признают легитимность оппонента и его право на принятие собственного решения. Такое положение, аттестуя стороны конфликта как *«противников»*, а не *врагов*, означает, что конфликтующие стороны считают себя принадлежащими к единому символическому (современному, демократическому, плюралистическому) пространству, внутри которого и развертывается их соперничество. В этом смысле задачей демократии становится трансформация антагонизма в агонизм, означая, что важнейшей категорией демократической политики является «противник»[1].

Существенной гранью альтернативности является и ее отношение с политической оппозиционностью. Если политическая оппозиция всегда борется за власть, то для политических альтернативистов основной целью является не столько власть, сколько иные способы сосуществования человека и природы, иные — а не традиционные — пути решения назревших проблем. Конечно, в ряде случаев альтернативность и оппозиционность в поле политики согласуются, однако, не всегда. Альтернативности в большей степени присущ агонизм, в то время как оппозиционности — антагонизм. Даже если альтернативисты стремятся к той же цели, при этом делая акцент на других направлениях, то оппозиционеры чаще всего декларируют другую систему ценностей и другие пути достижения цели. При этом стоит различать легальную и нелегальную, системную и антисистемную оппозицию. Альтернативность присуща и той и другой в качестве принципа существования, однако при определенных условиях (жестких запретов, неприятия ее позиции под страхом угрозы жизни и безопасности) может перерасти в оппозиционность, в том числе и в радикальную.

В теоретическом плане диссенсуальная модель политического взаимодействия легитимизирует альтернативы. На примере анализа нынешней политической практики Ш. Муфф заявляет, что не всегда консенсус является лучшим выходом из политического противостояния. Бывают случаи, когда консенсус в принципе невозможен из-за принципиального различия политических парадигм. Брексит (выход Великобритании из Евросоюза) является примером именно такой диссенсуальной реакции на логику политического консенсуса и, взламывая его, обнару-

[1] *Муфф Ш.* К агонистической модели демократии // Логос. 2004. № 2 (42). С. 180–197.

живает сложные структурные образования общества и более сложную морфологию его самоопределений.

В качестве показательных примеров политического альтернативизма можно упомянуть альтернативные выступления «газет непочтения», появившиеся в США в студенческой среде в 1950-е годы во время разгула маккартизма и «охоты на ведьм», совпавшие с реформами в области образования, уничтожением военно-промышленного контроля в вузах, прекращением политики расовой дискриминации и демократизацией кампусов. Тогда участники этого движения требовали отмены клятвы лояльности властям, восстановления преподавателей, уволенных по политическим соображениям, выступали за право слушать профессоров, придерживающихся взглядов, отличных от официальных. В 60–70-е годы к студентам присоединилась интеллигенция, национальные меньшинства, женщины, безработные, эмигранты, чьи проблемы не освещала официальная печать. Благодаря усовершенствованной множительной технике и компьютеризации издательского дела альтернативисты издавали тысячи подпольных политических газет и журналов с миллионными тиражами. Это были антивоенные издания, армейские и студенческие, газеты протеста черных, чиканос (мексиканцев), пуэрториканцев, индейцев, издания хиппи, молодежной контркультуры. Все они выступали с идеей демократизации, создания альтернативного способа организации общества. Затем этот опыт распространился на Канаду и Латинскую Америку.

Альтернативные движения активно развивались в 1960–1970-е годы и в западноевропейских странах, прежде всего во Франции и ФРГ. Их опыт послужил толчком для развития подобных организаций во всех странах Западной Европы, Японии, Австралии, Новой Зеландии и др. В 1980–1990-е годы они стали создаваться в странах Восточной Европы и бывшего СССР (особенно экологического и пацифистского направлений). Наиболее организованными были *экологические течения*, создавшие во многих странах партии «зеленых» (сформировавших единую фракцию в Европарламенте), которые впоследствии вышли за национальные рамки, создав международные организации, активно развивавшие международные контакты с представителями движения за мир и гражданские права, противниками гонки вооружений и борцами против «запретов на профессии», различными национально-освободительными движениями и сторонниками «гражданских инициатив» (утверждавших альтернативный образ жизни, свою культурную и социально-политическую самобытность).

Альтернативные движения разнородны не только по проблематике, но и по социальному составу — процент участия молодежи в них выше, чем в традиционных общественных организациях. Активность альтернативистов приобрела различные организационные формы — от неформальных движений, НКО до партийной и парламентской деятельности. По их мнению, переустройство общества возможно посредством внедрения «малых ниш» альтернативного стиля жизни в «большой социум». Суть этого принципа выражена в постулате: «Малое — это прекрасно!» Их стратегия «малых дел» стала антиподом радикализма в сфере политического действия.

За редким исключением, все формы политического действия альтернативистов носят ненасильственный характер. В основе такого подхода лежит убеждение, что достичь высоконравственных целей переустройства современного общества можно только ненасильственными средствами. Слишком высокую цену приходится платить за революционные и насильственные действия. Примерами такой

практики на Западе являются самоорганизующиеся коммуны. Социально-политические идеи, которыми они вдохновляются, стали важным фактором политической жизни на исходе XX — в начале XXI в. Более того, сохранившиеся организации альтернативистов продолжают исповедовать свои основные принципы и даже смогли встроиться в современный политический мир.

Однако есть и другие примеры. Существенным элементом тактики альтернативных движений был захват пустующих помещений для организации сквоттов — городских коммун, многие из которых превращались в центры альтернативной жизни и культуры. Нередко незаконная деятельность сквоттеров провоцировала столкновения с полицией. Крупнейший из существующих сквоттов — община Христиания в Копенгагене, созданная хиппи на месте брошенных казарм, после неоднократных столкновений позже была легализована. В Христиании существуют полное самоуправление и собственная экономика (в частности, производство велосипедов). Легальный статус Христиании был долгое время не определен, и власти неоднократно пытались очистить помещения казарм, но безуспешно. 15 августа 2011 г. Христиания получила от властей полуавтономный статус, согласно которому ее жители получили возможность выкупить землю ниже себестоимости, а остальную территорию государство будет сдавать в аренду. Другой пример социального экспериментирования – это «Ферма», основанная американскими хиппи, но пережившая различные стадии в своем развитии, показав со временем трудности совместного проживания большого количества людей, склонных к такому образу жизни.

Всего в мире насчитывается несколько сотен альтернативных поселений и подобных инициатив, причем не только в Европе или Америке, но и в Индии и других странах. Их создание было связано с духовными исканиями людей, социальным экспериментированием и гражданскими инициативами, направленными на решение конкретных задач.

В конце 1990-х годов активно заявили о себе *антиглобалисты и альтерглобалисты*, ставившие перед собой цели реформирования или даже упразднения «нового мирового порядка», выстраивания качественно иной социальной организации и вектора развития миросистемы. Антиглобализм стремится к торпедированию фундаментальных институтов западной цивилизации — военной машины, дискриминационного этнического разделения труда, рынка, финансового сектора, ТНК, культурных форм и стилей, но главное, самодовлеющего буржуазно-потребительского образа жизни. В качестве средств выбираются как рациональные (например, идеологические конструкции, провоцирующие стихийную энергию масс)[1], так и иррациональные методы. Основными идейными источниками антиглобализма чаще всего выступают: 1) неомарксизм (молодежное левое движение, основанное на учении К. Маркса и Ф. Энгельса, теоретически и практически скорректированное В. Лениным, Л. Троцким, И. Сталиным, Н. Хрущевым, Э. Че Геварой и Ж.-П. Сартром, Э. Фроммом и Л. Альтюссером и др.); 2) экологизм («зеленое» движение); 3) феминизм; 4) молодежная идеология в виде контркультуры, основанной на «великом отказе» (Г. Маркузе); 5) анархизм.

[1] *Муза Д.Е.* Введение в глобалистику: Учеб. пособие. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2010. URL: http://www.studfiles.ru/preview/5056332/page:27/ (дата обращения: 09.06.2022).

В начале XXI в. внимание исследователей привлекли «актуальные левые», позиционировавшие себя через идеи «нового социализма». Однако в отличие от «новых левых», делавших акцент на приоритете постматериальных ценностей в отрыве от трудовых отношений, они выступали за «демократию дела», а не только «демократию слова» (полагая при этом, что демократия не должна служить прагматическим интересам частной собственности, а обязана создавать пространство для политического участия всех граждан). Основной акцент делают на возрождении принципов народовластия и прямой демократии.

Итак, можно выделить четыре периода альтернативных выступлений на Западе: антиавторитарное движение, формирование политических требований (1960–1975 гг.); мобилизация и идеологизация альтернативных движений (1975–1980 гг.); стагнация и политизация движений, частичный переход в традиционные партии (1980–2000 гг.); накопление новых идей и новых форм коммуникации через социальные сети и Интернет (настоящее время).

В СССР антитоталитарная, демократическая волна долгое время не была массовой. Первое оживление на политическом поле началось после XX съезда КПСС (1956 г.), когда стал осуждаться «сталинизм», вместе с «хрущевской оттепелью» и началом борьбы за права человека с помощью самиздата и тамиздата, поскольку политическая цензура в СМИ сохранялась. Как правило, там печатались произведения писателей, отвергнутые системой. Когда в сентябре 1965 г. были арестованы писатели А. Синявский и Ю. Даниэль, чьи романы под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак были опубликованы за рубежом, 5 декабря 1965 г. на Пушкинскую площадь вышло несколько десятков демонстрантов с плакатами: «Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем», «Уважайте советскую Конституцию». По сути, это была первая после 1927 г. публичная акция протеста. Этот день считается началом правозащитного движения в СССР. Начиная с тех плакатов, слово «гласность» теперь постоянно звучало в устах образовавшегося правозащитного движения, вбирая в себя широкий спектр требований, а именно: право искать, получать и распространять информацию любыми средствами независимо от государственных границ.

1968 год стал рубежным для сторонников демократизации жизни. В этом году состоялся суд над распространителями самиздата — Ю. Галансковым, А. Гинзбургом и другими, что послужило последующему регулярному выходу машинописного информационного бюллетеня «Хроника текущих событий», затем изданий «Варианты», «Призыв». Начались репрессии против издателей и авторов. С этих пор самиздат политизировался. Большой резонанс получила публикация в самиздате академика А.Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Видные ученые, писатели, артисты подписывают коллективные письма в адрес вождей СССР с требованием отменить политическую цензуру. За четверть века самиздат окреп в виде сборников, альманахов, журналов. Этому способствовало и распространение современной техники, тиражирующей издания. Для самиздата, кроме Сахарова, пишут Б. Пастернак, А.И. Солженицын, ставшие затем нобелевскими лауреатами.

Объявленные в 1985 г. М.С. Горбачевым перестройка и гласность положили начало широкому альтернативному движению и развитию альтернативной прессы. Их мишенью стали огрехи политической системы, основные политические институты, цели и ценности коммунистической идеологии. Возле альтернативных

газет стали создаваться политические клубы, движения, партии, а их темы постепенно перекочевывали на страницы официальной печати. В конце 1980-х в Москве большой популярностью пользовался клуб «Демократическая перестройка». Клуб занимался не только организацией дискуссий. Чем дальше, тем больше речь шла о митингах, листовках, сборе подписей, публикации статей и обращений к народу с призывом действовать. В 1988 г. были приняты законы о митингах и демонстрациях, готовились законы об общественных организациях, об альтернативных выборах. Клуб обсуждал проекты этих законов, выдвигал альтернативные проекты, затем участвовал в выборах, поддерживал демократических кандидатов в депутаты, организуя встречи и митинги.

Примерно в это же время в Ленинграде в ДК Ленсовета молодые ленинградские экономисты и социологи создают общественно-политический клуб «Перестройка». Кроме него в городе были созданы «клубы друзей» журналов «ЭКО», «Огонек», «Нева», газеты «Советская Россия», клуб молодых экономистов «Синтез», которые занимались развитием новых политических перспектив для страны. Как вспоминают организаторы этих образований, темы для дискуссий в обществе «подкидывали» в основном не питерцы, а москвичи — экономисты Г. Попов, Л. Абалкин, Н. Шмелев, Л. Попкова (Пияшева), социолог Т. Заславская.

Затем в обеих столицах стали создаваться Народные фронты, но особенно активно в столицах Прибалтийских республик, где выходили также альтернативные издания. Наиболее известная — газета Латвии «Атмода», издававшаяся в период с 1988 по 1992 г. Это было издание Народного фронта Латвии и первая независимая оппозиционная газета в Латвийской ССР. Его название было отсылкой к движениям латышского возрождения, названного латышским национальным пробуждением. Речь шла в этих организациях и печатных изданиях уже не о словесных проектах, а о реальных действиях по переустройству общества и страны в целом.

Если провести периодизацию альтернативного движения в тот период, то можно выделить три этапа до победы на первых альтернативных выборах президента Б.Н. Ельцина, которого поддерживали члены движения «Демократическая Россия» и либерально-демократических партий.

Первый этап развития альтернативных идей с 1985 по 1987 г. характеризуется «революцией сверху», когда инициативу взяла на себя правящая элита и официальные СМИ во главе с первым президентом СССР М.С. Горбачевым. Второй этап начинается с середины 1987 г. – времени создания первых альтернативных изданий — до конца 1989 г., когда формирующаяся контрэлита и общество начинают обсуждать конкретные проекты переустройства политической экономической системы: либеральную идею мирной конвергенции капитализма и социализма А.Д. Сахарова; построение социализма с человеческим лицом Р.А. Медведева; возрождение русских национальных и православных начал в жизни страны А.И. Солженицына. Альтернативные клубы, народные фронты пытались предложить свои идеи власти, но она их не слушала. Как следствие начинается «революция снизу». Стали создаваться новые политические союзы, партии и движения.

Третий этап с февраля 1990 г. — время первых массовых выступлений наиболее активного движения либеральных демократов — по август 1991 г., когда они окончательно приходят к власти, а их кандидат Б.Н. Ельцин становится пре-

зидентом России. Отменяется цензура, Ельцин санкционирует создание Дома свободной печати (ныне там располагается Совет Федерации Федерального собрания РФ) и даже снижает цены на бумагу для издания газет и журналов. Вместо ценностей коллективизма, интернационализма, братства в общественное сознание внедряются ценности либерального толка: индивидуализм, свобода, демократия, рынок, предприимчивость и т.д. Журналистика перестает быть моноидеологичной. Фактически альтернативные движения и клубы стали основой для создания многопартийной политической системы в стране, как об этом писали создатели Независимого информационного агентства «Партинформ». Фактическим политическим итогом альтернативистов в СССР стала победа лидера оппозиции с его программой ускорения и коренного обновления политической системы.

Сегодня политический альтернативизм проявляет себя в «новых медиа», к которым относятся такие виды компьютерной коммуникации, как: блогинг (*blogging*); подкастинг (*podcasting*); система онлайн-энциклопедий типа Википедии (*wikis*); и наконец, социальные сети (*social networking*). Главным принципом работы социальных сетей является «принцип-Само». Пользователи сами создают контент, сами его распространяют, сами выбирают, что смотреть, читать, слушать. Активность пользователей позволяет отслеживать, что читают люди, что им нравится, через инструменты лайка и репоста. Таким образом, развивается линия на дальнейшую субъективизацию социальных сетей в Интернете и активное участие в создании информационной социально-политической повестки дня[1]. Альтернативисты используют новые технологии протестной мобилизации через социальные сети в Интернете, флешмобы, сотовые телефоны.

Альтернативная пресса пытается создать действенный общественный контроль за деятельностью органов власти. К примеру, с 13 апреля 2011 г. начинает работать сайт altgazeta.ru. (Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области). Ее темы, как и в конце существования СССР, с интересом перенимают общероссийские и зарубежные издания. За это время перепечатано не менее 159 сюжетов и публикаций в «Российской газете», «Новой газете»[2], в «Московском комсомольце», газетах «Коммерсантъ», «Ведомости», «Собеседник», *The Moscow News*, РБК, международном журнале *Esquire*, на радио «Говорит Москва», *Deutsche Welle* («Немецкая волна»[3]) на телеканалах «Дождь»[4], НТВ, РЕН-ТВ, ТВ-Центр, 360ТВ, Москва 24, РОССИЯ-1, РОССИЯ 24, Первом канале и многих других.

В современной России можно найти примеры деятельности альтернативистов как неолиберальной, так и неосоциалистической и национально-консервативной ориентации. С 2011 г. в стране действует клуб, превратившийся позднее в общероссийское общественное движение «Суть времени» с центром в Москве и с филиалами в регионах России, включая во вновь присоединен-

---

[1] *Тимофеева Л.Н., Рябченко Н.А., Малышева О.П., Гнедаш А.А.* Цифровая социально-политическая повестка дня и ее осмысление в условиях новой медиаэкологии // Полис. Политические исследования. 2022. № 2.

[2] Лишена лицензии СМИ.

[3] Нежелательная организация в РФ.

[4] Выполняет функции иноагента.

ных Луганской и Донецкой областях[1]. У него есть собственный сайт, выходит газета с одноименным названием. В селе Александровское в Костромской области[2] создана коммуна, которая занимается деревообработкой и продажей древесины. Ее члены заявляют, что они там локально строят коммунизм. Это территория бывшей бумажной фабрики, которую выкупил С. Кургинян, лидер политического движения «Суть времени», известный режиссер московского театра «На досках». По его замыслу, в этой коммуне должна сформироваться новая российская элита, люди будущего, которые будут управлять страной[3]. Как считает Кургинян, «исторический опыт показывает, что в трудные времена на Руси была востребована именно элита служения, а не элита собственников. А нынешней псевдоэлите не под силу справиться с надвигающейся катастрофой»[4].

Правда, вокруг этого движения постоянно идут споры: во имя чего и кого она создана. Первоначально там собирался экзотически пестрый состав, включая сталинистов и троцкистов, марксистов и неонацистов, анархистов и монархистов, неоязычников и православных. Очевидцы утверждают, что, возможно, таков был замысел Кургиняна: показать на примере «Сути времени», как он в будущем будет сплачивать Россию с помощью своего ноу-хау под названием «СССР 2.0». Но именно эта «необыкновенная широта» Кургиняна стала причиной скандалов и ссор вокруг него. В марте 2014 г. в Александровском прошел Чрезвычайный слет «Сути времени», на котором Кургинян заявил: «...Сегодня мы говорим о создании партии ордена, партии нового типа. Патриотическое движение, построенное на принципах ордена, сможет опереться на традицию, на преобладание ценностей и священных символов над обыденной политикой. Грядущая партия будет напоминать религиозную общину, все члены которой — братья, добровольцы, объединенные священной целью»[5].

В стране есть альтернативные движения, провозглашающие национал-консервативные ценности. Так, организация «Русское общественное движение» существует с 2005 г. и имеет конкретные цели: борьбу с русофобией и информационную помощь русским, страдающим от дискриминации по национальному признаку. Оно нигде не зарегистрировано и тем не менее принимает участие в различных протестных акциях, по некоторым делам пытается влиять на решения судебных инстанций. РОД участвовал и в организации ряда культурных мероприятий — например, открытых семинаров «Русские чтения», в «Русском марше» в День народного единства и т.д.

Еще одно Общероссийское общественное движение — «Россия православная» было создано в 1997 г. с благословения московского патриарха с целью формирования общественного сознания на основе православной культуры, историче-

---

[1] См.: Суть времени. URL: https://eot.su/.

[2] *Примечание:* критики движения пишут, что решающим мотивом для Кургиняна стало совпадение топонимов: в Александровской слободе Владимирской области 450 лет назад находилась опричнина Ивана Грозного. Опричники, как известно, непосредственно подчинялись царю, жили по образцу монашеского ордена и были призваны веревкой и саблей избавляться от «плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах». URL: https://flb.ru/1/4078.html).

[3] *Кургинян С.* Качели. Конфликт элит или развал России? 2-е изд. М.: МОФ-ЭТЦ, 2018. — 772 с.

[4] См.: ИА Красная Весна. URL: https://rossaprimavera.ru/article/nam-nuzhna-politicheskaya-partiya-novogo-tipa/.

[5] Из заявления на Чрезвычайном слете «Сути времени» в Александровском 2 марта 2014 г. URL: https://eot.su/node/16709.

ских ценностей и христианской морали, альтернативных атеистической советской коммунистической идеологии. ООД «Россия православная» проводит ежегодные Покровские чтения, вечера «Жертвенное служение России», Рождественские фестивали искусств, а также устанавливает памятные знаки на местах разрушенных храмов и церквей.

Социально-либеральную альтернативу сегодня представляет Григорий Явлинский и его партия «Яблоко»[1]. Она выступила против присоединения Крыма, СВО на Украине, против официальных поправок в Конституцию РФ и отсутствия широкого общественного обсуждения, против национализма и популизма и т.д. Если не считать зарегистрированных в России либерально-демократических партий типа «Яблоко», «Правое дело» и др., официально участвующих в выборах, то альтернативные либеральные движения типа «Открытая Россия» (нежелательная организация в РФ) открыто заявляют себя в радикальной оппозиции к нынешней власти и действуют, как правило, за рубежом. Эмигрантская организация «Фонд свободной России» (*Free Russia Foundation — FRF*)[2], образованная в середине 2015 г., активно занимается координацией деятельности «продемократических русских диаспор» и оказывает информационную поддержку либеральной оппозиции в России. Главой *FRF* является Н. Арно (Будаева), бывшая до этого координатором Международного республиканского института (*International Republican Institute — IRI*) сенатора-русофоба Дж. Маккейна. Среди деловых партнеров *FRF* фигурирует Институт современной России (ИСР) П. Ходорковского (сына российского экс-олигарха)[3].

В целом участников альтернативных движений объединяет критическое отношение ко многим явлениям современного общества, вплоть до протеста против господствующего социального строя и требований перехода на «третий путь» развития, противопоставляемого как капитализму, так и социализму. Считается, что в современном обществе альтернативные движения и поселения представляют собой своего рода социальную лабораторию человечества, значение которой может возрасти в случае кризиса и деструкции существующих социальных систем. В то же время сами альтернативные движения подвержены влиянию финансово-экономической, административной и иных — не исключено — *враждебно* настроенных к стране зарубежных структур.

Сегодня мы наблюдаем новый всплеск политического альтернативизма как на Западе (например, противостоящие друг другу «Черные имеют право» — *BLM* и «Все имеют право» — *ALM*), так и в России. Основным принципом своей внутренней организации эти социальные движения считают «принцип базисной демократии», который включает в себя следующие положения: прямая децентрализованная демократия; постоянный контроль за должностными и выборными лицами со стороны масс, возможность сменяемости руководства любого уровня в любое время; действие так называемого «императивного мандата» (в партиях «зеленых»), который предписывает партийному руководству и фракциям этих партий в парламентах выполнение установок и требований массового базиса; принципы гласности и консенсуса. В целом альтернативные идеи родственны утопической

---

[1] «Яблоко». Тридцать лет: альтернативы и развилки. О принципиально иных реформах и направлениях развития государства, предлагавшихся в период с 1990 по 2022 год. URL: https://www.yabloko.ru/publikatsii/2022/10/14 (дата обращения: 14.10.2022).

[2] Является нежелательной организацией в РФ.

[3] Выполняет функции иноагента.

мысли прошлого: апеллирование к разуму и чувствам людей, антиисторизм, убежденность в возможности разрешения всех противоречий общества по какой-либо универсальной схеме. Для альтернативных концепций характерно использование идей из анархических, либеральных, консервативных и социалистических учений.

*Л.Н. Тимофеева*

**Литература**


1. «Актуальные левые» в международном и российском политическом контексте / Под ред. Л.В. Сморгунова, СПб.: Изд-во СПБу, 2007. — 215 с.
2. *Алексеева Л.* История инакомыслия в СССР: новейший период. 3-е изд. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. — 384 с.
3. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социол. знания. Л.; М.: Моск. филос. фонд, 1995. — 322 с.
4. *Бузгалин А.В.* Альтерглобализм: в поисках позитивной альтернативы новой империи // Век глобализации. Вып. № 1. 2008. С. 120–127.
5. В поисках альтернативного будущего общественного развития / АН СССР, Ин-т философии, Сов. оргкомитет по подгот. XVIII Всемир. филос. конгр. 21–27.08.1988 г., Брайтон / Ред.-сост. М.А. Султанова, Е.И. Федина. М.: ИФАН, 1988. — 144 с.
6. *Кургинян С.* Качели. Конфликт элит или развал России? 2-е изд. М.: МОФ-ЭТЦ, 2018. — 772 с.
7. *Муфф Ш.* К агонистической модели демократии // Логос. 2004. № 2 (42). С. 180–197.
8. *Муфф Ш.* Политика и политическое // Политико-философский ежегодник. Вып. 1. 2008. С. 88–102.
9. *Тимофеева Л.Н.* Альтернативизм в науке и политике // Современная политическая наука: Методология / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. 2-е изд. М.: Аспект Пресс, 2019. С. 525–550.
10. *Шмитт К.* Понятие политического / Пер. с нем.; под ред. А.Ф. Филиппова. СПб.: Наука, 2016. — 567 с.
11. *Штамм К.-Х.* Альтернативные коммуникации: продукция опыта новых социальных движений // Новые социальные движения и социокультурные эксперименты. Вып. 1. М., 1989. С. 372–398.
12. «Яблоко». Тридцать лет: альтернативы и развилки. О принципиально иных реформах и направлениях развития государства, предлагавшихся в период с 1990 по 2022 год. URL: https://www.yabloko.ru/publikatsii/2022/10/14 (дата обращения: 14.10.2022).
13. Canadian Center for Policy Alternatives. URL: https://www.policyalternatives.ca (accessed: 01.07.2023).
14. *Hasenklever W.-D.* Okologischer Humanismus // Die Grunen: Personen-Projekte — Programme. Stuttgart, 1980. S. 501.


# Политический инцидент-менеджмент

Политический инцидент-менеджмент (ПИМ) представляет собой современную многопрофильную управленческую концепцию, не имеющую строгих теоретических рамок и устоявшейся структуры, возникшую на рубеже 2010–2020 гг. на стыке теорий нового публичного менеджмента[1] и цифрового

[1] *Plastrik P., Osborne D.* Banishing bureaucracy: The Five Strategies For Reinventing Government. USA: Basic Books, 1997. — 397 p.

государственного управления[1], а также концепции «умного наблюдения»[2]. Несмотря на свою теоретическую незавершенность и необходимость более точного позиционирования в предметном поле политической науки, политический инцидент-менеджмент выступает одним из элементов системы реагирования органов государственной власти на негативные сообщения в информационно-коммуникационном пространстве, включая медиа и видеохостинги, открытые сообщества и чаты соцсетей и мессенджеров и т.д. ПИМ включает в себя как программно-технические инструменты, так и организационно-правовые механизмы взаимодействия органов власти и управления различных уровней и профилей, направленные на снижение уровня медианегативизации какой-либо политической, социальной и экономической проблемы или противоречия, в том числе через опровержение фейков, а также освещения практических мер по разрешению озвученной проблемы или противоречия, способных стать предметом политического столкновения и даже кризиса. Будучи цифровым инструментарием политического управления, ПИМ отражает стремление власти использовать в государственном секторе корпоративные стандарты работы с информационным пространством, быстро и эффективно реагировать на инциденты в онлайн- и офлайн-пространстве коммуникаций, нашедшие свое отражение в сообщениях и обращениях граждан как реакции на событийный ряд[3]. При этом под термином «инцидент» понимается штатная или нештатная ситуация, возникающая в рамках деятельности органов государственной власти и требующая оперативного реагирования и разрешения со стороны политической власти.

Основной целью политического инцидент-менеджмента выступает создание благоприятных условий для осуществления своевременного обнаружения, оперативного реагирования и закрытия инцидента — как в медиасфере (например, разоблачение фейка или блокирование призывов к незаконным действиям), так и в отношении конкретной практической проблемы (например, освещение работы ЦИК по расследованию нарушений избирательного законодательства или работы правоохранительных органов в отношении противоправных действий политиков, государственных служащих и др.). Важно учитывать, что данная работа ведется в интересах граждан как объектов информационного воздействия, потребителей информации, «цифровых граждан» информационного общества, но немаловажно и то, что она направлена на предотвращение и/или снижение негативного влияния инцидентов на выполнение административно-управленческих и шире — политических процессов в государстве, отдельном регионе или городе. Учитывая, что инциденты могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на рутинное функционирование государственных институтов и в итоге могут отразиться на жизни каждого гражданина, работа по их нейтрализации ведется исполнительными органами власти на постоянной основе и вписывается в приоритеты обеспечения государственной безопасности в Российской Федерации.

---

[1] *Dunleavy P., Margetts H.* The Second Wave of Digital Era Governance: a quasi-paradigm for government on the web // Philosophical Transactions of the Royal Society A. 2013. Iss. 1987. Vol. 371. P. 1–17.

[2] *Petersen J.K.* Introduction to Surveillance Studies. UK: Routledge, 2012. — 416 p.

[3] *Котляров М.В.* Технологии анализа и управления коммуникациями как индикатор изменения публичной сферы в России // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2019. № 2. С. 75–82.

В этой связи основными политическими задачами, решаемыми государством в сфере инцидент-менеджмента, в онлайн- и офлайн-пространстве являются:

— своевременное обнаружение инцидентов (на начальном этапе медианегативизации проблемы/объективного противоречия);
— оперативное реагирование на инциденты в соответствии с требованиями законодательства РФ (без необходимости пользоваться «жестким» инструментарием правоохранительной системы);
— координация деятельности работников структурных подразделений исполнительных органов власти федерального и регионального уровней в рамках процессов реагирования и закрытия инцидентов (синергия совместной работы различных органов власти по мере преодоления «узких мест» в управленческой практике);
— ведение базы данных зарегистрированных инцидентов, формирование цифровых профилей граждан и организаций, прямо или опосредованно связанных с инцидентами, моделирование сетевых взаимосвязей;
— накопление и повторное использование знаний по обнаружению инцидентов и реагированию на них;
— анализ, оценка эффективности и совершенствование процессов инцидент-менеджмента в РФ;
— предоставление руководству РФ, руководителям субъектов Федерации и главам соответствующих министерств и ведомств отчетной информации по результатам работы с обнаруженными инцидентами.

В таблице представлена существующая в Российской Федерации организационная структура политического инцидент-менеджмента федерального, регионального и муниципального уровней, включающая в себя вертикаль ситуационных центров (от уровня Президента России до уровня главы муниципалитета), настраиваемую в настоящее время иерархию Центров управления регионами и муниципалитетами под руководством Координационного центра Правительства России, а также проектируемую на уровне регионов, городов и муниципалитетов систему «умного управления». При этом следует отметить отсутствие у федерального центра единого подхода к проектированию и построению ПИМ на уровне всего государства, которое могло бы позволить в режиме реального времени реагировать на инциденты любого уровня в рамках целостной киберфизической инфраструктуры государства. На уровне Правительства России все еще нет координационного органа по вопросам ПИМ. Несмотря на то что во многих регионах строится киберфизическая инфраструктура государства — внедряются интеллектуальные системы обеспечения общественной безопасности на базе технологий умного видеонаблюдения (ГИС «Городская система видеонаблюдения» Правительства г. Москвы), создаются платформы для взаимодействия граждан, государства и бизнеса (интернет-портал Правительства Московской области «Добродел»), тестируются интеллектуальные центры городского управления (единые городские диспетчерские со сценариями реагирования на инциденты в г. Туле и г. Новомосковске[1]), применяются единые цифровые платформы умного города с возможностью прогнозирования тревожных ситуаций («Интегра 4D-планета Земля» в г. Самаре и в г. Новомосковске), — в мас-

[1] *Новиков Р.А.* Интеллектуальный центр городского управления // URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/09/2-intel-centr-tulskaja-oblast.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

*Таблица*

**Организационная структура политического инцидент-менеджмента в Российской Федерации**

| Инструментарий эпохи электронного правительства | Инструментарий эпохи цифрового государственного управления | |
|---|---|---|
| | существующий | перспективный |
| **Федеральный уровень** | | |
| Ситуационный центр Президента РФ<br>Ситуационный центр Правительства РФ<br>Ситуационные центры при федеральных органах исполнительной власти | Координационный центр Правительства РФ (ситуационная экспертная группа по реагированию на отклонения, задачи и инциденты) | Цифровое государственное управление:<br>Единая цифровая платформа обеспечения деятельности Президента, Председателя Правительства, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности, Администрации Президента, Аппарата Правительства РФ,<br>Единое окно цифровой обратной связи<br><br>Цифровое государство (в перспективе до 2030 г.): интеграция киберфизической инфраструктуры «умного управления» от федерального до муниципального уровня под руководством Координационного центра и ЦУРов |
| **Региональный уровень** | | |
| Ситуационный центр губернатора<br>Ситуационный центр Правительства субъекта Федерации<br>Ситуационные центры при региональных органах исполнительной власти | Центры управления регионами (при участии Минцифры, центра компетенций «Диалог Регионы» и высших органов исполнительной власти субъектов РФ) | Цифровой город (интеллектуальные системы общественной безопасности, «умное наблюдение»)<br>Цифровое городское управление (интеллектуальный центр городского управления, цифровые платформы для принятия решений) |
| **Муниципальный уровень** | | |
| Ситуационный центр муниципального образования | Центры управления муниципалитетами | Цифровая улица, цифровой двор и цифровой дом |

штабах всей страны подобных систем не существует даже на уровне федеральных проектов, не говоря уже о разработке соответствующей правовой среды[1].

Следует отметить, что на практике существующий в России цифровой инструментарий политического инцидент-менеджмента представляет собой три обосо-

[1] Концепция цифрового государства и цифровой правовой среды / Н.Н. Черногор, Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило и др.; под общ. ред. Н.Н. Черногора, Д.А. Пашенцева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 244 с.

бленные подсистемы (ситуационные центры, Координационный центр и ЦУРы, системы «умного управления» городами). Так, ситуационные центры, обеспечивающие поддержку процесса принятия управленческих решений на уровне руководителей органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней, позволяют президенту, премьер-министру, министрам, губернаторам и главам муниципальных образований оперативно реагировать на возникновение политических инцидентов, предоставляя им всю возможную информацию в одной точке. Координационный центр вместе с ЦУРами решает задачи по оперативному реагированию на инциденты, требующие совместной работы федеральных и региональных органов власти и их информационных систем, обеспечивает актуальными ведомственными данными Правительство России в процессе принятия государственных решений. Инструментарий «умного управления» городами и муниципалитетами представляет собой разрозненную совокупность региональных и местных цифровых продуктов, сопряжение которых может занять не один год, в то время как задача по реагированию на инциденты становится все более актуальной.

Объединение цифрового инструментария ситуационных центров, Координационного центра и ЦУРов, городских систем «умного управления» в единую систему политического инцидент-менеджмента наталкивается на отсутствие у государства не только единого подхода, но и базовой стратегии ПИМ, в котором нашли бы свое отражение вопросы сквозной интеграции цифровых платформ, порталов и облачных решений государства, повсеместного внедрения технологий умной видеоаналитики и интернета вещей, сбора и анализа больших данных и др. В результате каждый уровень и элемент ПИМ смог бы в режиме реального времени регистрировать и рассматривать по существу инциденты любого масштаба и концентрировать для работы с ним силы и средства институтов публичной власти (от экспертного, гражданского и медиасообществ до силовых органов и специальных служб).

Единственная интегрированная во властную вертикаль система политического инцидент-менеджмента, которая в настоящее время внедрена и охватывает практически все федеральные и региональные органы исполнительной власти, работает под управлением Координационного центра Правительства РФ и центров управления регионами, где идет постоянная обработка сообщений и обращений граждан и организаций, осуществляется мониторинг социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс Дзен») и мессенджеров (чат-боты органов власти в *Telegram, Viber* и др.). Являясь наиболее продвинутой системой политического инцидент-менеджмента в современной России, она представляет собой информационную систему управления коммуникациями в социальных сетях, включая мониторинг и многофакторный анализ медиасферы. Система позволяет проводить автоматизированное отслеживание штатных и нештатных ситуаций, вопросов, мнений и критических замечаний граждан и юридических лиц, охватывает наиболее распространенные соцмедиа, использует технологии искусственного интеллекта для их фильтрации и дает обратную связь в установленные сроки. С помощью данной системы Координационный центр Правительства РФ успешно осуществляет мониторинг общественного мнения, проводит регулярную оценку медиаобразов политиков на федеральном и региональном уровнях, оценивает качество их упоминаний в медиасфере, анализирует эффективность используемых

инфоповодов и площадок, оперативно контролирует региональные власти в вопросах качественного реагирования на негативные инциденты.

Благодаря широкому функционалу модули ПИМ устанавливаются в органах исполнительной власти как «окна» в сквозную платформу с целью оперативного реагирования на каждый инцидент на федеральном, региональном или муниципальном уровне с момента его регистрации в системе и до момента реализации сценарного решения. Так, специалисты ЦУРа и профильного ведомства, получив в своем личном кабинете задачу от системы ПИМ, обязаны ее обработать и отреагировать в рамках своих полномочий в течение 24 часов. При этом работа специалиста, инцидент-менеджера, по реагированию на инцидент разбивается на следующие этапы:

— этап обнаружения, оповещения и оценки, на котором путем анализа события и установленных критериев выявляется инцидент, производится оповещение ведомственной/межведомственной группы реагирования на инцидент, осуществляется его оценка и принятие решения о дальнейшем реагировании;
— этап сбора и фиксации информации по всем необходимым для работы с инцидентом критериям;
— этап реагирования на инцидент;
— этап закрытия инцидента, в том числе локализации и восстановления штатного функционирования органов государственной власти и управления, на котором происходит устранение негативных последствий от произошедшего инцидента;
— этап анализа собранной информации, относящейся к инциденту, и принятие управленческих решений по результатам реагирования на инцидент.

По всем обработанным и необработанным инцидентам ведется непрерывная статистика, которую в режиме реального времени могут отслеживать администраторы вышестоящего уровня вплоть до Администрации Президента.

Система ПИМ позволяет активизировать коллегиальный потенциал специалистов различных ведомств в процессе подготовки комплексных решений, использовать в полной мере инновационный характер проектных решений, давать возможность внедрять новые модели различных процессов и объектов, усиливать механизм верификации моделируемых ситуаций, постоянно совершенствовать процедуру подготовки и принятия решений, расширять типологию объектов управления и увеличивать число пользователей.

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед системой политического инцидент-менеджмента на всех уровнях публичной власти, является работа по отслеживанию и опровержению фейков, направленных в основном на цифровых граждан, потребляющих политическую информацию онлайн[1]. Учитывая положительный опыт использования системы инцидент-менеджмента органами публичной власти России за последние годы как инструмента реагирования на инциденты в субъектах Российской Федерации (по фасттреку обработка инцидента занимает от 3 до 24 часов), следует отметить, что она не может заменить собой активную гражданско-политическую позицию пользователей в отношении медиафактов и выявления фейковой информации. Более того, система инцидент-менеджмента на организационном уровне Координационного центра и ЦУРов не должна

[1] *Пырма Р.В.* Политические грани цифрового гражданства // Власть. 2019. № 4. С. 69–78.

заниматься фактчекингом, так как нацелена на выявление и обработку в крайне сжатые сроки всего массива поступающих сообщений и обращений. Осознавая данную проблему, крупные средства массовой информации и интернет-площадки (ТАСС, «Яндекс», *Mail.ru Group* и *Rambler&Co*, «Интерфакс», РБК, *Rutube*, *Ura.ru*, холдинг «Бизнес ньюс медиа», социальная платформа для коротких видео *Likee*, центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и др.) подписали меморандум о фактчекинге, в рамках которого проводятся дата-расследования и производится маркировка фейкового контента. Помимо СМИ в роли фактчекера работает АНО «Диалог», имеющий большой опыт фасилитации отношений с органами власти.

Политический инцидент-менеджмент, будучи программно-техническим и организационно-правовым инструментом реагирования на инциденты в онлайн- и офлайн-пространстве, призван стать важным элементом политического управления, будучи универсальным и максимально нейтральным инструментом отслеживания соблюдения установленных законом «правил игры» в информационном пространстве, в том числе касающихся политических процессов и отношений. Вместе с тем, несмотря на возможности ПИМ, как и всякой информационной системе, ей присущи определенные недостатки и уязвимости, способные подорвать ее эффективность и поставить под вопрос нормативную основу ее использования в гражданско-политическом измерении:

— инцидент-менеджеры и чиновники профильных ведомств при работе с инцидентами могут получать служебный доступ к персональным данным граждан, будучи в состоянии отслеживать публикации негативных сообщений от представителей правящих и оппозиционных политических партий и движений и передавать данные сведения заинтересованным лицам и правоохранительным органам. Собранные персональные данные, дополненные данными из соцсетей, могут стать объектом купли-продажи на черном рынке, выступая инструментом политического давления в отношении как оппозиции, так и власти. Согласно данным журналистских расследований, обезличенные персональные сведения уже продаются в Москве и Санкт-Петербурге, а находящийся на рассмотрении в Государственной Думе проект Минцифры России по созданию единого цифрового профиля россиянина, необходимого для идентификации каждого гражданина и оказания госуслуг, подвергается критике силовых органов. Создаваемый единый цифровой профиль россиянина позволяет государству уже с 2022 г. получать и обрабатывать более 30 видов информации от 12 основных поставщиков данных, выстраивая на их основе модели семейных и социальных связей человека, его личного и семейного дохода, потребительских привычек, социально-политических взглядов и оценок. Следует учитывать наличие невыявленных программных уязвимостей в системе ПИМ, которые позволяют злоумышленникам осуществлять незаконный сбор и использование информации. Доступ к ПИМ в их руках может стать эффективным инструментом давления или шантажирования представителей различных ведомств;
— по мнению ряда экспертов, мониторинг соцсетей представителей политического истеблишмента, крупных чиновников и руководителей государственных корпораций, а также руководителей правоохранительных органов изначально исключает возможность попадания их публикаций

в разряд политических инцидентов. Юридическая коллизия между необходимостью защиты данных групп политиков и государственных служащих и необходимостью соблюдения требований нормативно-правовых актов в сфере инцидент-менеджмента приводит к формированию слепых зон в онлайн-среде, в которые помимо государственных служащих может попадать неограниченный круг лиц. Слепые зоны в принципе затрудняют отслеживание политических инцидентов на уровне политико-административной элиты (состав и структура которой часто имеет латентный характер и не отражается в онлайн-активности ее представителей), затрудняют выявление конфликтов интересов по службе, при этом не позволяя повышать скорость реагирования на инциденты, инициируемые представителями киберпреступных группировок, зарубежных специальных служб через незаконный доступ к соцсетям политиков и чиновников. Безусловно, высокие стандарты обеспечения безопасности в отношении представителей политико-административного руководства страны и их близких родственников могут предполагать создание слепых зон в отношении их служебной или частной активности онлайн, однако встает вопрос о корректности распространения данного режима на их друзей и коммерческих партнеров;

— ранжирование в системе ПИМ пользователей соцсетей и мессенджеров в зависимости от характера их сообщений и обращений в онлайн-пространстве может вобрать в себя субъективный компонент оценивания граждан со стороны государства и онлайн-пользователей, став элементом политического преследования и буллинга. При этом в саму методологию ранжирования могут быть заложены политическая, экономическая, национальная, территориальная, гендерная и другие дискриминационные оценки положения индивида в социальной структуре, искусственно усложняя представителям менее обеспеченных или политически лояльных групп населения возможность получения экономических благ и услуг (не говоря уже о возможности незаконного внесения изменений в алгоритмы ранжирования). Ранжирование может стать инструментом ограничения прав человека на основе заложенных критериев, усиливая, а не ограничивая сложившиеся в обществе элементы неравенства и дискриминации. Без существенного гражданско-правового контроля государство, используя ранжирование, будет в состоянии де-факто отменить презумпцию невиновности и поражать людей в правах на основе субъективных шаблонов и заложенных в систему на программном уровне предрассудков, перестать доверять своим гражданам и сделать ранжирование, алгоритмы которого совершенствуются при помощи технологий искусственного интеллекта, безапелляционным критерием законности и справедливости;

— в систему ПИМ могут быть заложены критерии классификации пользователей по критериям их гражданской и политической благонадежности, различными стимулами подталкивая их на прекращение коммуникаций с теми лицами, с которыми государство не рекомендует общаться на постоянной основе, например с лицами, признанными иностранными агентами или представителями зарубежных СМИ. Более того, судебные приставы могут получить возможность в режиме реального времени определять

местонахождение лиц, не выполняющих решения суда или имеющих задолженности по исполнительным листам, передавать эти данные полиции для дальнейшего наблюдения и контроля, а также при помощи умных видеокамер отслеживать социальные контакты и перемещение должников. Данные лица могут быть под постоянным контролем, включая отслеживание отклонений от привычных маршрутов передвижения по городу, а общение с ними будет приводить к снижению благонадежности (рейтинга) того конкретного индивида, который, пообщавшись с ними и заметив снижение своего рейтинга, например, на портале госуслуг или в соцсети, в следующий раз уже будет стараться избегать подобных контактов. По мере внедрения технологий искусственного интеллекта в систему ПИМ центр принятия решений от инцидент-менеджера может сместиться в область программных алгоритмов, способных работать со всевозрастающим объемом данных, осуществлять «умное наблюдение» за миллионами граждан и вычислять их рейтинг;

— ПИМ может рассматриваться не только как инструмент обеспечения общественной безопасности, но и как способ политического сдерживания и контроля граждан, чья общественно-политическая деятельность, в том числе в социальных сетях, мессенджерах и медиасфере в целом, вступает в прямое противоречие с властными интересами, ценностными и идеологическими взглядами власти на публичные формы выражения политических требований и интересов. Данный инструмент позволяет правоохранительным органам составлять цифровую базу граждан, в отношении которых есть основания полагать, что они готовятся к совершению административных правонарушений, связанных с организацией или участием в несанкционированных публичных акциях, или уже совершали подобные действия ранее (ст. 5.38 и ст. 20.2 КоАП РФ);

— отдельного внимания заслуживает использование ПИМ в ходе оперативных мероприятий по поиску и задержанию граждан, лица и телефоны которых были распознаны на несанкционированных массовых мероприятиях (причем речь не всегда идет о гражданах, выкрикивавших экстремистские лозунги, осуществивших насильственные действия в отношении сотрудников полиции или других лиц). Анализ соцсетей и мессенджеров, обработка данных уличных видеокамер и использование системы оперативно-розыскных мероприятий, отслеживающей биллинг-данные по перемещению мобильных телефонов, анализирующей видеорепортажи средств массовой информации и видеозаписи операторов правоохранительных органов, практически не оставляет возможности посетить массовое мероприятие и остаться незамеченным. Деанонимизация отдельных участников и групп людей безусловно положительно влияет на безопасность массовых публичных мероприятий, однако значительно снижает потенциал внепарламентской политической оппозиции, чьим единственным инструментом надежного попадания в федеральную и региональную медиаповестку до недавнего времени оставалась организация митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, часть из которых нарушали согласованные с властями место, время и форму своего проведения. Опасения граждан, связанные с административным давлением на них или их работодателей по итогам посещения массовых

мероприятий, может существенно снизить мобилизационные возможности власти и системных политических партий (люди будут опасаться публично выражать свои взгляды), что усилит политический абсентеизм и аномию в широких слоях населения.

Ключевая проблема при рассмотрении конфликтного измерения практики политического инцидент-менеджмента состоит в том, что, несмотря на множественность и масштабность информационных инструментов мониторинга и наблюдения за гражданами, их функционирование не предполагает гражданского контроля или проверки соблюдения инцидент-менеджерами правовых регламентов по защите персональных данных. Получение несанкционированного доступа к информации может привести к использованию персональных данных в политических, коммерческих или сугубо криминальных целях, а внесение в них изменений — дестабилизировать функционирование административных механизмов на уровне государственного и политического управления в целом. Центры хранения и обработки данных ПИМ представляют собой наиболее очевидные объекты для совершения киберпреступлений. В открытый доступ могут попасть и порой попадают персональные данные о передвижениях людей, о посещаемых ими местах или мероприятиях, в том числе митингах и демонстрациях. Этой информацией пользуются не только политические субъекты, инициирующие отслеживание конкретных групп лиц и их социальных связей, но и мошенники или даже специальные службы иностранных государств, собирая персонализированное досье на того или иного политика, чиновника или гражданского активиста. Причем слабая нормативно-правовая база о защите персональных данных позволяет наращивать возможности политического наблюдения без необходимости сбора письменных или электронных согласий и де-факто создает огромные массивы данных, работа с которыми не контролируется какими-либо нормами, кроме ведомственных регламентов и распоряжений по работе с информационными системами.

*А.А. Косоруков*

**Литература**

1. *Котляров М.В.* Технологии анализа и управления коммуникациями как индикатор изменения публичной сферы в России // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2019. № 2. С. 75–82.

2. *Новиков Р.А.* Интеллектуальный центр городского управления // URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/09/2-intel-centr-tulskaja-oblast.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

3. Концепция цифрового государства и цифровой правовой среды: Монография / Н.Н. Черногор, Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило и др.; под общ.ред. Н.Н. Черногора, Д.А. Пашенцева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 244 с.

4. *Пырма Р.В.* Политические грани цифрового гражданства // Власть. 2019. № 4. С. 69–78.

5. *Plastrik P., Osborne* D. Banishing bureaucracy: The Five Strategies For Reinventing Government. USA: Basic Books, 1997. — 397 p.

6. *Dunleavy P., Margetts H.* The Second Wave of Digital Era Governance: a quasi-paradigm for government on the web // Philosophical Transactions of the Royal Society A. 2013. Iss. 1987. Vol. 371. P. 1–17.

7. *Petersen J.K.* Introduction to Surveillance Studies. UK: Routledge, 2012. — 416 p.

# Политическое конструирование действительности

Теория политического конструирования реальности и соответствующий ей политико-конструктивистский научно-исследовательский подход берут свое начало в «понимающе-историографической» позиции. Данная «школа мышления» трактует базовое понятие реальности следующим образом: «В отличие от реальности природы реальность общества обременена смыслом, вытекающим из намерений, мотивов и представлений человека о должном»[1]. Указанная позиция эксплицирует сознание феноменологически и потому принадлежит субъективистской парадигме в социальных науках.

Феномены, как содержания сознания, согласно Э. Гуссерлю (восприятия, образы фантазии, акты понятийного мышления, проявления воли, различные переживания), относятся к чувственному опыту. При этом данные содержания сознания рассматриваются Гуссерлем как составные части некоего единства и одновременно в качестве потока сознания, структурированного отдельными переживаниями и направленными на интенциональные объекты, имеющие ментальное существование[2]. Если в объективистском истолковании сознание зависимо и детерминировано внешними воздействиями, то в феноменологическом понимании ментальные акты переживающего сознания, напротив, изолированы и самопроизвольны. Это значит, что сознание не отражает и не репродуцирует, а самостоятельно устанавливает предметную область. Другими словами, феноменологически постигаемое сознание оперирует представленными предметами и не важно, существует ли интенциональный объект в действительности или он плод фантазии.

Согласно «конститутивной феноменологии» Гуссерля, сознание — это «система конституированных предметностей», где каждый факт сам есть структурное понятие[3]. В результате данных рассуждений становится очевидным, что именно ментальный конструкт выступает «фактом» в системе представлений, установленных самим же сознанием. По ходу этого сугубо творческого процесса сознание образует «осадок» в виде пластов, которые совокупно составляют «запас знания», и от содержания и конфигурации познанного зависит интерпретация. Так, сознание в своих креативных интенциональных актах конституирует миры-феномены или субъективные реальности, а сами эти реальности имеют сконструированный характер и структурно представляют смысловые миры.

Опираясь на Э. Гуссерля, основатель феноменологической социологии А. Шюц обозначил в качестве цели исследования выявление существующей смысловой структуры социального мира, для чего он конкретизировал значение термина «смысл» — это обозначение «угла зрения при взгляде на собственное

---

[1] *Вельцель Х.* Научно-теоретические и методические основы политологии // Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы политической теории. М.: ИНИОН, 2004. С. 108.

[2] *Гуссерль Э.* Собр. соч. Т. 3 (1). Логические исследования. Т. II (1). М.: Гнозис, 2001. С. 323, 324, 328, 350.

[3] *Гуссерль Э.* Картезианские размышления // Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцедентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. Мн.: Харвест, 2000. С. 423.

переживание»[1]. Кроме того, Шюц разводил понятия субъективного и объективного смысла. «Субъективный смысл» выражается в интерпретации индивидом своих собственных переживаний мира, помещенных в рамку интерпретативной схемы. «Объективный смысл» — то же истолкование, но рассматриваемое как интерсубъективный феномен. Понятие смысла тесно связано с теорией Шюца о конституировании множественных реальностей: генетически реальность субъективна, т.е. мы сами придаем ей характер реальности, и субъективная реальность установлена когнитивным стилем. Потому, согласно А. Шюцу, «именно значение наших переживаний, а не онтологическая структура объектов конституирует реальность»[2]. Тем самым сотворение смысла происходит по мере направления внимания на объект и по ходу дальнейшего означивания накапливающегося опыта и знаний. Отсюда реальность рассматривается как «конечная область значения», «комплекс наших переживаний», некий мир опыта. Тем самым Шюцем особо подчеркивалось, что не существует изначально данных фактов, составляющих «знание». В этой связи он сделал сущностный вывод насчет значения ментальных конструктов: «...Все наше знание о мире, как обыденное, так и научное, содержит конструкты, иными словами, набор абстракций, обобщений, формализаций и идеализаций, соответствующих определенному уровню организации мышления»[3]. При этом научные конструкты как конструкты второго порядка, согласно Шюцу, должны основываться на «конструктах здравого смысла», присущих обыденному знанию.

Авторская теория политического конструирования реальности отталкивается не только от социальной феноменологии А. Шюца, но и от социального конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана. На основании данных представлений и в контексте субъективистской парадигмы можно идентифицировать политический мир как один из феноменов жизненного мира человека, конституированный особой интенцией на политические объекты. Иначе говоря, политический мир как бы надстроен над повседневностью, базовой реальностью, и в этот мир-феномен человек мысленно перемещается, лишь переключаясь на политические проблемы и сосредотачивая на них свое напряженное внимание. Однако при этом человек вынужденно возвращается в повседневность, «навязанные» проблемы которой он не может игнорировать.

Политический мир, рассматриваемый под иным углом зрения, как автономная конфигурация, обладает двумя сферами — институциональной (объективной) и символической или миром значений (субъективной реальностью). Обе сферы носят сконструированный характер и имеют специфический онтологический статус. *Мир как политически сконструированная субъективная реальность оформляется в виде смыслового мира для истолкования и обоснования политического порядка*. Другими словами, человек имеет дело с конструкцией политического мира, которая уже заранее подготовлена, структурно упорядочена и заведомо предпослана ему в форме символической системы, объективации, доступной для восприятия. Потому человек политический и занят, по сути, тем, что воспринимает транслируемые характеристики политической реальности и интернализирует смысл и значения

---

[1] *Шюц А.* Смысловое строение социального мира // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 732.

[2] *Шюц А.* О множественных реальностях // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 424.

[3] *Шюц А.* Обыденная и научная интерпретация человеческого действия // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 8.

этих заготовленных символических конструкций. Данное воздействие осуществляется в контексте акта интерпретации и понимания, трактуемого феноменологически. Смыслы, придающие сущность феноменам, конституируются способом почти автоматическим — путем накладывания на то, что «схвачено» в акте восприятия, интерпретативной схемы (типизации, модели, архетипа). Интерпретативная схема и выступает «рамкой» понимания.

Из всего вышесказанного становится очевидным, что субъективный политический мир рождается посредством креативного акта конструирования реальности. Но сразу надо вывести за скобки нашего политико-конструктивистского подхода понятия «социального» (П. Бергер, Т. Лукман) и «медийного» (Н. Коулдри, А. Хепп) конструирования реальности. В первом случае утверждается, что люди в повседневной коммуникации создают социальный мир как мир смысла. Во втором доказывается, что коммуникация вместе со смыслами задана ее технологической инфраструктурой, потому «социальное» производится медиаплатформами в качестве уже медиатизированного.

В противовес бессубъектности данных конструктивизмов, анонимного диалектического круговорота социального конструирования реальности или неотвратимого технократически детерминированного медийного конструирования, в концепции политического конструирования реальности «конструктором» выступает политическая власть. Это значит, что имеет место конститутивная деятельность политической власти по производству значимой реальности, ее смыслополагающая активность, номинирующая политический мир и репрезентирующая себя в релевантных образах. В данной связи конституирование политической реальности включает в себя игру взаимных подмен дискурсов власти и справедливости, что, в свою очередь, подает «власть как репрезентацию и репрезентацию как власть»[1]. Относительно же специфики репрезентирующих дискурсов власти надо подчеркнуть, что «знание» и производство истин особо тесно связаны с властью, и потому «вокруг дискурсов, считающихся истинными, завязываются особые воздействия власти»[2].

Поскольку теория как авторская конструкция должна представлять собой совокупность научных понятий, то надлежит выделять релевантные формулировки. В контексте наших предыдущих умозаключений близким по значению термином для обозначения власти, конструирующей реальность, является «символическая власть» П. Бурдье. Согласно Бурдье, в обществе всегда позиционируются символические власти, определяющие и переопределяющие реальность, при этом они ведут конкурентную борьбу за легитимное право номинировать социальный мир. Другими словами, любая символическая власть, независимо от того, официальный у нее статус или она не носит правящего характера, является властью политической[3].

Однако у Бурдье конкретные конструкты-номинации мира, символически оформленные властью, имеют внешнее ограничение, выраженное в непреодолимом «структурном давлении», т.е. в его «конструктивизме наполовину» сохраняется идея социального детерминизма, а следовательно, Бурдье в принципе

---

[1] *Рикер П.* Память, история, забвение. М.: Изд-во гум. лит-ры, 2004. С. 374.

[2] *Фуко М.* Власть и знание // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 286, 301.

[3] *Бурдье П.* Социальное пространство и символическая власть. URL: http://bourdieu.name/content/socialnoe-prostranstvo-i-simvolicheskaja-vlast (дата обращения: 09.01.2023).

не допускает креативные и самопроизвольные действия символической власти. Вот почему для адекватного обозначения власти, самостоятельно творящей политический мир, мы вводим понятие «конструктивная власть». *Под конструктивной властью нами понимается разновидность политической власти, которая целенаправленно и самопроизвольно конституирует субъективную политическую реальность как смысловой мир, создает коммуникативно замкнутую конечную область значений и тем самым оформляет специфический комплекс переживаний в качестве особого мира опыта в политической сфере*.

Именно конструктивная власть способна необусловленно создавать миры-феномены: «советский», «американский», «русский» и т.п. Коммуникативная специфика данных субъективных политических реальностей в том, что, по сути, беспроблемна коммуникация внутри каждого из этих миров, обладающего для индивидов особой значимостью, но друг с другом данные миры смыслов принципиально не коммуницируют. Политическая власть-конструктор в указанных случаях миротворения совершенно не детерминирована социальной структурой и императивами, она самовластна.

Теория политического конструирования реальности, как совокупность понятий, включает в качестве основных категорий не только «власть», но и «легитимацию». И здесь добавляется еще одно важное для нас контекстовое понятие политической коммуникации, поскольку не подлежит сомнению, что субъективная политическая реальность коммуникативно опосредована. Это значит, что медиа превращают переживания политического в совместный опыт и данный, уже бытующий коллективный феномен, становится «реальным». О самом существовании субъективного политического мира и его особых характеристиках свидетельствует знание, полученное об этом мире.

Идентификация с официально манифестированными политическими ценностями и убежденность в «правильности» политического порядка, увязанного со смысловым строением политического мира, — все это зависит от «понимающих» эффектов коммуникации. Состоявшаяся политическая коммуникация (хотя коммуникация не бывает абсолютно успешной), когда смысл послания интернализирован без существенных искажений, предстает как управляемый феномен. В контексте же феноменологического понимания коммуникации надо подчеркнуть, что именно конструктивная политическая власть озадачена смыслом и правильным «прочтением» посланий, для чего она и предлагает релевантную интерпретативную схему. При этом даже конструктивная политическая власть, что кажется парадоксальным, не занимается организацией информационного процесса, но зато предоставляет когнитивную основу уверенности в реальности политических феноменов, т.е. именно она, образно говоря, работает на реальность, создавая и пересоздавая ее посредством конструирования «фактической» стороны. Политическая легитимация также возможна исключительно в коммуникативной форме и тоже представляет собой управляемый процесс, который подвергается все большему контролю политической власти по мере конструирования новых интегративных значений и моделирования актуальной политической реальности как смыслового мира.

В этом перманентном установлении политического порядка и смысловой целостности соконстуктором власти служат медиа. Медиа в данной связи мы рассматриваем в качестве коллективного субъекта, самостоятельно и творчески создающего медиадискурсы, медиатексты и медиаобразы. В ходе дальнейшего

определения понятия конструктивной политической власти мы солидаризируемся с «маркетинговой» концепцией медиакратии. Вообще в деле консолидации медиа и политики возникли такие феномены, как «медиакратия» и «медиаполитика», что неизбежно трансформировало политическую власть. При этом медиа окончательно утратили роль и даже статус нейтрального посредника, что, по существу, сказалось на политической коммуникации. В результате политическая власть превратилась в коммуникативную конструкцию, которую подвергают мониторингу и поддерживают медиа[1]. *Обе власти, политическая и медийная, сотрудничают в деле конструирования «правильной» реальности, вырабатывая общие медиафреймы и устанавливая релевантные структуры политических смыслов.*

Итак, субъективная политическая реальность в ходе соконструктивной деятельности двух властей представляется в виде мира медиаобразов, и в данной форме она кажется объективной действительностью тем, кто ее воспринимает в процессе состоявшейся политической коммуникации.

Человек политический по мере интернализации общего смыслового мира создает свой собственный мир политических представлений. Тем самым субъективная значимая реальность воспроизводится вновь и вновь, и это связано с процессом политической социализации. Политическая социализация, в нашем представлении, это вхождение в политический мир смысла, который призван обосновать значение объективной реальности политических институтов, т.е. перед нами некий производный процесс, сущностно связанный с легитимацией и структурно заданный базовой конституцией политического мира. При этом политическая социализация как вторичная интернализация создает такой мир смысла, который легко поддается разрушению[2]. Поэтому политическая социализация связана не только с присвоением смыслов, но и с постоянным переосмыслением мира.

Сегодня феномен ослабленного воздействия интернализации усугубляется тем, что социализация вообще и политическая в частности происходит в сетях, где смысл производится интерактивно[3]. В данной связи конструктивная политическая власть призвана определять структуру и управлять процессом политической социализации. В таком случае конструирование политической реальности осуществляется и посредством успешной социализации, когда индивид делает «своим» официально представленный ему смысловой политический мир. Как мы уже отмечали, такого рода означивание не вызывает идентификацию, обладающую качеством неизбежности, однако значения и смыслы в силу коммуникативно-символического способа их подачи оказываются предварительно оформленными. Потому *политическую социализацию* можно трактовать *как смыслонесущую политическую коммуникацию*. Это именно случай «социализирующей коммуникации», как называет ее М. Кастельс. Тогда знаковая политическая реальность у коммуницирующего субъекта приобретает четкую смысловую идентификацию, которую он может сочетать с выбранной индивидуальной позицией.

Уместно определять смыслонесущую политическую коммуникацию и в терминах семиотики с ее основным понятием текста. Под «политическим текстом» нами подразумевается содержательно целостная знаковая система, обладающая

---

[1] *Бодрунова С.С.* Медиакратия: современные подходы к определению термина // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2012. Сер. 9. Журналистика. Вып. 3. С. 210.

[2] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Academia-Центр; МЕДИУМ, 1995. С. 232.

[3] *Кастельс М.* Власть коммуникации. М.: Изд-во ВШЭ, 2016. С. 157.

структурой смыслов и существующая в контексте особой политической культуры. Любой текст, трактуемый в широком семиотическом смысле, имеет кодирующее устройство — язык, а понимание текста связано с реконструкцией кодов и последующей расшифровкой его смысловых феноменов. Текст, в семиотическом истолковании, представляет собой основную коммуникативную форму, поскольку сохраняет смысловое единство и способен передавать свое значение в коммуникативном пространстве, т.е. именно текст как «смыслопорождающее устройство» в коммуникации выполняет функцию передачи генерированных им новых смыслов[1]. Политический смысловой мир также может быть представлен как макротекст, состоящий из многочисленных знаков. Тем самым политическая коммуникация, передающая тексты, служит важным средством и непременным условием конструирования и поддержания субъективной политической реальности. Так индивид включается в политическую сферу на уровне сознания, принимая символическую атрибутику и присваивая смыслы.

К системе представляемых нами понятий политико-конструктивистского подхода примыкает и категория «символический универсум», введенная в оборот П. Бергером и Т. Лукманом для обозначения верхнего уровня легитимации. Они имели в виду высший уровень «смысловой интеграции», достигаемый путем создания всеобщей матрицы смыслов в символически оформленной целостности[2]. Однако данное суждение о легитимации, по нашему мнению, наиболее адекватно и полно выражает характеристики единственного и единого символического универсума тоталитарных обществ. В современных же демократических реалиях невозможно сконструировать «всеобъемлющий смысловой мир». Потому власти эпохи постмодерна приходится в текущих коммуникативно-медийных практиках постоянно и динамично переконструировать политическую реальность и когнитивно переобосновывать институциональный порядок.

Кроме того, в плюралистическом обществе всегда сосуществуют конкурирующие концепции, и хотя один из универсумов признается в качестве некой верховной субъективной реальности, все же он не может интегрировать все смыслы, передающиеся в процессе значащей политической коммуникации. Тем не менее официальная политическая власть и сегодня стремится репрезентировать общий смысловой мир, объясняющий институциональный порядок, который бы не оспаривался остальными частными универсумами. В данной связи *под легитимацией* мы будем понимать *политическое конструирование целостного смыслового мира, служащего рамкой соотнесения политической институциональной сферы с одобренной практикой ее символической репрезентации, с целью понимания, интерпретации и интернализации политического мира в целом*.

Центральной категорией политического конструктивизма как востребованного научно-исследовательского подхода выступает авторское понятие «политическая медиареальность». Данная реальность создается совместными конструктивистскими действиями политической власти и медиакратии в коммуникации, поддерживающей политические символы и смыслы. По сути, перед нами единственная доступная человеку политическая реальность. Медиа вообще, в силу своей природы, призваны к производству особой реальности — медиареальности, разновидностью которой и выступает политическая медиареальность. Политиче-

---

[1] *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров // Семиосфера. СПб., 2001. С. 155, 162.

[2] *Бергер П., Лукман Т.* Указ. соч. С. 157–158.

ская медиареальность — это промежуточный или переходный мир, т.е. она служит своего рода призмой, сквозь которую человек и воспринимает готовые политические медиаконструкции (тексты, образы, символы, модели). На основе восприятия данной особой реальности, которая как бы фильтрует процесс познания, и происходит формирование представлений и оценивание политического мира в целом.

Обращаясь далее к прояснению значения термина «политическая медиареальность», надо оговориться, что попытка определения ее понятия предпринималась нами и ранее[1]. В данном конкретном случае определение формируется нами в качестве концептуального механизма для устранения смысловой неопределенности и через соотнесение категории с другими известными понятиями. Потому утверждение смысла будет оформляться в виде дефиниции посредством двух категорий, выражающих сущностные связи. Первая категория — феноменологически трактуемая «реальность», которая сообщает во многом субстанциональный и одновременно номинальный характер дефиниции. Политические субъективные реальности представляют собой конституированные когнитивным стилем замкнутые области типа анклавов, обладающие особыми значениями и отличающиеся смысловыми структурами, которые и выявляет политико-конструктивистское исследование.

Различные политические смысловые миры, такие как миф, пропаганда, идеология и т.п., помещенные в форму символических системных конструкций, специально производятся и представляются для общественного восприятия. В итоге сконструированная объективность политических институтов подтверждается, обосновывается и репрезентируется многочисленными субъективными мирами, реальность которых поддерживается ментальными фактами-конструктами. Однако медиареальность заведомо не может быть абсолютно замкнутым «миром правды» с исключительно внутренним символическим обменом. Ее предназначение — это трансляция и передача сообщений, несущих смысл вовне, а также воздействие на сознание воспринимающей стороны и информационное пространство. Под информационным пространством здесь мы будем понимать совокупность носителей информации, самой информации и медиаобразов. В данном контексте *политическая медиареальность представляет собой знаково-символическое пространство, целенаправленно сконструированное для оказания влияния на сознание общества и представленное для восприятия, интерпретации и оценки в виде медиаобразов*. В семиотической же трактовке политическая медиареальность выступает в виде текстовой реальности, совокупности политических текстов, связанных коммуникативно-смысловыми отсылками. Несомненно, что политическая медиареальность может конструироваться и восприниматься лишь в процессе политической коммуникации как символического обмена.

Вторая категория, используемая нами для характеристики определяемого в качестве определяющего, позволяет пояснить природу медиареальности, опираясь на понятие «гиперреальности». «Гиперреальность», согласно Ж. Бодрийяру, противостоит «реальности». В объективистском понимании существует лишь одна изначальная и подлинная реальность, которую и отражает детерминированное ею сознание. При этом Бодрийяр отмечает, что отражения бывают адекватные и неадекватные, когда копии сильно отличаются от оригинала. Но гиперреальность,

[1] *Щербинина Н.Г.* Определение медиареальности и коммуникации в контексте теории политического конструирования реальности // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Политология. 2019. № 50.

по его мнению, совершенно иная, поскольку она симулятивна, суррогатна и совершенно не отражает аутентичное бытие. Моделирование гиперреальности производится по матричному принципу, потому она воплощается во множестве копий, т.е. гиперреальность совсем не имеет оригинала, тем не менее она подменила собой реальность.

В этой подмене и было утрачено качество репрезентации, подчеркивает Бодрийяр, как следствие, исчезло различие «реального» и «воображаемого». Это, в свою очередь, привело к созданию абсолютно «ложного» мира симулякров — знаков без референтов[1]. *Политическая медиареальность, как симуляция, выступает модификацией гиперреальности, не отражая происходящего в мире и не репрезентируя основополагающее политическое бытие*. Медиаобразы стали настоящими симулякрами без укорененности в объективной политической действительности, что наглядно демонстрирует мир политических партий, которые символически отстраиваются друг от друга и репрезентируют сами себя.

Перед нами, по сути, замкнутый мир партий-знаков и лидеров-знаков, в котором идет самодостаточная знаковая игра. Политика всесторонне виртуализируется и тем самым обретает иное бытие, а политическая виртуальная реальность превращается в еще одно пространство симулякров. Понятие «политической медиареальности» близко и к понятию «мира воображаемого». «Воображаемое же занимает лишь часть поля представления. Однако эта часть относится не к репродуктивной области, или, иначе говоря, к простому преобразованию в мыслительный образ, а к области изначально креативной, поэтической»[2]. Другими словами, особый онтологический статус виртуального политического мира поддерживается и за счет базового, чисто человеческого креативного качества символического конструирования политической медиареальности.

Однако, несмотря на симулятивность виртуальных миров, они представляют собой существующие реальности. *Под «медиареальностью»* здесь понимается *качество бытия, присущее медиафеноменам*. Само субстанциональное наличие, даже в некотором роде первичность медиареальности, обеспечивается активной конструктивистской деятельностью массмедиа по ее созданию. Политическая медиареальность возникает путем формирования целой структуры политических медиаконструктов, намеренно сотворенных «медиасодержаний» политического сознания.

Что же именно свидетельствует о подлинности виртуального бытия медиареальности? Определенно — наличие самого «знания» о феноменах медиареальности и признаках, отличающих этот мир от других реальностей. К знанию подключается и вера, проистекающая из доверия к источнику информации и знания. Поскольку невозможно воспринимать институциональный мир без медиа, напрямую, человеку политическому приходится делать допущение, что посредничество отвечает его информационным запросам. Феномен доверия к массмедиа в качестве источника информации, полагаемого достоверным, конечно, не нов. Так, первоначально эта роль принадлежала газете, включая интерпретирующую редакторскую статью; затем последовало суггестивное воздействие радионовостей, персонифицированное каким-либо ведущим, выступающим политическим экспертом; и, наконец, наступила эра телевидения с его магическим эффектом зримого присутствия. На заре

---

[1] *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. М., 2017. С. 6–9, 15.

[2] *Ле Гофф Ж.* Средневековый мир воображаемого. М., 2001. С. 6.

влияния Интернета возникла уверенность в абсолютной свободе выбора информационного сообщения в Сети, сейчас же все свелось к простому предпочтению информационного ресурса. Медиареальность во всех этих случаях репрезентирует политическую реальность, но в репрезентации, как обычно, операция подмены скрыта, и представительство не может быть полным по определению. Причина здесь, скорее, функционального свойства и лежит в профессиональной рутине, предписывающей создание искусственных медиафактов-конструктов и оформление их в «новость» или «событие».

Политическое конструирование реальности, если вести речь о способе, происходит посредством политико-культурного моделирования. Поскольку под политической культурой нами понимается контекстный смысловой мир, служащий для интерпретации и понимания всех значений, конституированных в политических субъективных реальностях, то культура, более широкий мир символов и смыслов, является сущностно родственным ей феноменом. Потому идею культурного моделирования мы экстраполировали из «интерпретативной теории культуры» К. Гирца.

Согласно Гирцу, в коммуникации именно модели культуры придают значение реальности (у нас — политической) и выступают в качестве образца для ее формирования. В этом символическом процессе прослеживается принцип структурного соответствия программы и программируемого[1]. Другими словами, *политическое конструирование реальности осуществляется при помощи символического моделирования*: знаковая репрезентация трансформируется в структуру смысловых значений политической реальности. Так, политически конструируется «значащая» политическая реальность, а политико-конструктивистское исследование способно реконструировать наличную структуру значений. Поскольку политическая культура может трактоваться как некая совокупность политических текстов, создающих смысловое пространство, она в качестве особой для каждого сообщества текстовой конфигурации входит и в запас политического знания через механизм памяти. Тем самым политическая культура предоставляет символы/репрезентации для программ, согласно которым и конструируется политическая реальность. Если же вести речь о субъекте моделирования, то им, естественно, выступает политическая власть в своей символической и конструктивной ипостаси.

Политическое конструирование реальности как символическое ее моделирование возможно лишь в процессе смыслонесущей коммуникации, дающей конструктивный эффект программирования. В качестве конкретного символического конструкта, произведенного в ходе успешной политико-коммуникативной практики, можно назвать смысловой мир тоталитарной России, для создания которого использовалась мифогероическая модель. Данная модель, как образ политического мира и одновременно его репрезентация, представляла собой символику героического мономифа или «путешествия героя». Символический ряд героического путешествия включал основные факты-конструкты особо означенного мира: от призыва к путешествию через преодоление препятствий и конструкцию двух побед над врагами, начальную и окончательную, к возвращению в исходную точку мифологического круга и спасению мира[2].

---

[1] *Гирц К.* Религия как культурная система // Интерпретация культур. М., 2004. С. 111–112.

[2] См.: *Щербинина Н.Г.* Мифогероическое конструирование политической реальности России. М., 2011.

На основе указанной мифомодели создавалась рамка «героических значений», которая и репрезентировала всеобъемлющий символический универсум. Помимо установления статусной иерархии героического политического лидерства, героическая активность привносилась в военную и трудовую деятельность, героические роли исполняли все организации и все герои вели борьбу с многочисленными врагами. Процесс миротворения, институты, общество, социализация, идентичность — все интегрировалось в смысловой, политически маркированный комплекс и обретало сугубую значимость. Основной формой политической коммуникации выступала тоталитарная пропаганда, которая конструировалась как «мир советской правды», и многие пропагандистские формы, например политические плакаты, наглядно представляли мифогероическую реальность. Соконструктивная роль массмедиа открыто подчеркивалась: они формировали и поддерживали «должный» образ политической реальности на уровне индивидуального и коллективного сознания. Объективацией идеологических интенций власти выступала стройная и сакрализованная символическая система, где все политические значения образовывали непротиворечивую в отношении мифогероической модели смысловую конфигурацию. И наконец, поскольку мифореальностям вообще свойственна «предельная легитимация», мифогероическая реальность тоталитарной России легитимировалась как существующий «справедливый мир». Это означает, что базовая символическая характеристика мира («демократический», «советский», «национальный») становится высшей политической ценностью и соотносится с космическим порядком.

Однако в сегодняшней постсовременности полная схема мономифа в моделировании политической реальности не используется, поскольку символические универсумы и пропагандистские коммуникации лишены тотального характера. Тем не менее конструирование медиареальности в виде постепенно разворачивающих повествование дискретных политических текстов по-прежнему основано на жанре рассказа, использующего архетипический сюжет. Перед нами политическая инсценировка извечной истории о конце света, героической жертве во спасение мира, а также суде и наказании виновного. Так медиа разыгрывают типовую коммуникативно-драматическую ситуацию и облекают ее в «упаковку» поучительно-моральной истории. Получается, что сегодня смысловые политические миры конструируются за счет моделирующей роли мифоконструкта «герой — враг».

При этом доминирует образ врага, который вообще играет конституирующую роль, так как именно с его формирования начинается конструирование антитетической политической медиареальности. Главной же моделью конструирования актуального знания о политическом мире служит сегодня информационно-политическая повестка, которая складывается на основе консенсуса двух властей. Если формирование политической повестки строго соотносить с актором (а основной политический актор — государство), то в теории получится, что политические проблемы устанавливаются лишь с помощью политической повестки дня. Однако подобное конституирование невозможно вне коммуникации, и потому следствием указанного действия выступает феномен политического конструирования медиареальности. При этом повестка, перечень тем и проблем, которые подаются как важные и первоочередные на предмет их решения, вызывает лишь практический эффект обсуждения включенных в повестку тем. И данная «разговорная» практика особенно заметна на телевидении и на интернет-площадках. Од-

нако «узлы» в политической коммуникации, в которых как бы оформляется само взаимодействие и концентрируется разговор на избранную тему (ток-шоу, блог), задает медиаповестка.

О значении «разговора», этого элементарного отношения, писал еще Г. Тард, и сегодня виртуализированная политическая коммуникация возвращается к аналогичному посредничеству устного медиа. В итоге главным следствием, казалось бы, конструктивного действия по созданию политической медиареальности выступает не конституированный в разговоре смысл, а осуществленный коммуникативный контакт. В данной связи можно вести речь о возникновении новой медиареальности, похожей на поддержание некоего культа, отправляемого людьми, имеющими коммуникативные способности и получающими удовольствие от процесса общения[1].

Итак, политическая власть для оказания влияния на сознание общества должна быть конструктивной в принципе и репрезентировать себя в политической коммуникации с помощью смыслотворящих текстов. Однако сегодня можно констатировать состояние общего «кризиса репрезентации» и в политической сфере, когда политический знак лишен представленности, что ведет к утрате сущности. Политический знак теряет свою знаковость, десемантизируется, и потому не образуется представление/образ. Коммуникация либо подменяется рутинным линейным информационным процессом, который не поддерживается сетевыми медиа, либо превращается в «пустой» разговор без обратной связи и смысловых эффектов. Иначе говоря, из субъективной политической реальности исчезает сам феномен смысла, а знаковая политическая коммуникация профанируется. *Кризис репрезентации политического знака существует на фоне деконструкции политических текстов*.

Деконструкция, понимаемая нами по Ж. Деррида, представляет собой не просто слом конструктивной целостности и системности, но и последующее воссоздание конструкции. Это как бы новое «прочтение текста», переосмысление его и перевод на другой язык. В отношении политического знака деконструкция сначала проявилась в том, что знак становился произвольным, не замещая более «вещь», и начинал симулировать и реферировать сам себя. Со временем форма стала играть настолько самостоятельную роль, что пространство политической медиареальности заполнили знаки, которые уже не означали даже сами себя. Перед нами воистину симулякры симулякров, и деконструкция политического знака пошла вглубь. Так, политическая медиареальность в целом подверглась волнам «разборки», и деконструкция до сих пор не завершена, не замещена новой репрезентацией. Все политические знаки по-прежнему актуально не означиваются и не переозначиваются, но при этом продолжают терять свои прежние значения. Ситуация сегодня такова, что необходимо так или иначе завершить деконструкцию политического знака, и для этого потребна конструктивная власть, создающая новые политические смысловые миры.

*Н.Г. Щербинина*

**Литература**

1. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Academia-Центр; «МЕДИУМ», 1995. — 323 с.

2. *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. М.: ПОСТУМ, 2017. — 320 с.

[1] *Больц Н.* Азбука медиа. М.: Изд-во Европа, 2011. С. 100.

3. *Бодрунова С.С.* Медиакратия: современные подходы к определению термина // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. 2012. Сер. 9. Журналистика. Вып. 3. С. 203–215.

4. *Бурдье П.* Социальное пространство и символическая власть. URL: http://bourdieu.name/content/socialnoe-prostranstvo-i-simvolicheskaja-vlast (дата обращения: 30.01.2023).

5. *Гирц К.* Религия как культурная система // Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 104–148.

6. *Шюц А.* Символ, реальность и общество // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом М.: РОССПЭН, 2004. С. 456–532.

7. *Щербинина Н.Г.* Мифогероическое конструирование политической реальности России. М.: РОССПЭН, 2011. — 287 с.

8. *Щербинина Н.Г.* Определение медиареальности и коммуникации в контексте теории политического конструирования реальности // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 219–232.

# Социолингвистика политического

Политическая жизнь общества строится на фундаментальных вербально-коммуникационных основаниях, что звучит аксиоматично. Для любых акторов на аренах властно-управленческих и социально-волевых отношений языковые ресурсы — это самые заметные средства артикуляции позиций, целеполагания, стратегий, привлечения сторонников и пр. Шире — язык предстает в виде среды, в которой функционирует все то, что охватывается понятием «политическое». В фокусе исследовательских и экспертных интересов естественным образом оказывается условный и высокопроблематичный концепт «язык политики».

В публикациях, трактующих соприсутствие языка и политики, часто приводятся слова М. Эйдельмана: «...политический язык и есть политическая реальность... язык является интегральным элементом политической сцены — не просто инструментом для описания событий, но и частью событий, оказывающей сильное воздействие на формирование их значения, содействуя оформлению политических ролей, которые признают и политические деятели, и общество в целом»[1].

При этом часто без обоснованного ответа остается вопрос: что такое «язык политики» в его онтологической самости? Проблематика различения «языка политики» и «языка власти» в большинстве случаев попросту не анализируется. Это, возможно, объясняется инициативной ролью в продвижении политической лингвистики профессионалов с языковедческим «бэкграундом». В работах зачинателей этого академического направления можно встретить прямые указания на тождество языков политики и власти. К примеру, Г. Лассвелл определяет: «Язык политики — это язык власти. Это язык решений. Он регистрирует решения и вносит в них поправки. Это боевой клич, вердикт и приговор, закон, постановление и норма, должностная присяга, спорные вопросы, комментарии и прения»[2].

Политическое и властное сами по себе обладают чрезвычайно многообразной онтологией, что предполагает неизбежную, нуждающуюся в рефлексии гете-

---

[1] Цит. по: *Герасимов В.И., Ильин М.В.* Политический дискурс-анализ // Политическая наука. 2002. № 3. С. 65.

[2] *Лассвелл Г.* Язык власти // Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург, 2006. С. 268.

роглоссию. В современных интерпретациях восприятие «языка власти» и «языка политики» в качестве чего-то неразделимого встречается не только в лингвистических, но и в политико-философских контекстах. Например, Т.В. Карадже, говоря о политической лингвистике, относит к «политическому языку» такие «составляющие», как: язык политических научных теорий и методологии исследования; язык политической публицистики; язык административных документов и нормативов; язык политической мифологии; язык политических символов и ритуалов; язык дипломатических отношений; язык политических действий и явлений[1].

Относительно корректности такой таксономии, ее полноты, вероятно, потребовался бы отдельный разговор. Здесь можно указать лишь на некоторые способы видения. Это — соединение структурных («секторальных») сегментов взаимодействия языка и политики с речевыми регистрами, с вербальными и невербальными составляющими («язык ритуалов», «язык действий», «язык явлений»).

Имеется множество оснований для оспаривания имеющихся в науке классификаций, оперирующих весьма различными основаниями при проведении этой логической процедуры, совмещающей функциональные стили, речевые акты, жанры, текстуальные «форматы», уровни и способы коммуникации и проч.[2] Попутно можно обратить внимание и на уместность оперирования такими понятиями, как «клиентура», «бизнес», «раздражение», «насмешка» в рассматриваемых контекстах властно-управленческих отношений. В интересах данного изложения, однако, наиболее принципиально то, что язык политики «обслуживает» предельно широкое коммуникативное пространство, включая административно-правовые и процедурно-переговорные феномены, а «юридический язык» предстает в виде структурного элемента «языка политики»[3]. Одним словом, «язык полити-

---

[1] См.: *Карадже Т.В.* Политическая философия. М.: Мысль, 2007. С. 489.

[2] К примеру, С.П. Поцелуев в статье «Язык политики» выделяет некоторые его формальные стороны предмета и стилистические элементы. Апеллирующий язык используется в ситуациях, когда необходимо вызвать широкую поддержку больших адресных групп: во время предвыборной борьбы, референдумов, парламентских дебатов и т.п. Юридический язык конституций, законов и кодексов, договоров, соглашений и т.д. в отношении синтаксиса сплошь состоит из дефиниций и предписаний. На публику это производит впечатление исключительной точности в формулировках социально-политических проблем. Бюрократический язык как язык административных правил, распоряжений, указов и т.д. обнаруживает некоторое сходство с юридическим языком (точный язык предписаний), однако отличается от него по некоторым важным формальным моментам: по пользователю языка (не публично избранная власть, а назначенные чиновники); по адресату (не электорат, а клиентура); по характеру массовой реакции на данный стиль (никакого сочувствия, только раздражение и насмешки). Язык переговоров, как и апеллирующий язык, используется для обретения поддержки определенной политической позиции. Но данные языки существенно различаются между собой по ситуации их применения, по характеру коммуницирующих сторон и по передаваемым в ходе языковой коммуникации значениям. Стороны переговоров предлагают друг другу не апелляции, а бизнес. «Публичный резонанс» при этом не только не желателен, но даже избегается. Словарь по политологии / Отв. ред. В.Н. Коновалов. Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2001. URL: https://rulib.pro/book/690724-slovar-po-politologii.

[3] Подводя итог первого десятилетия/полутора развития отечественной исследовательской практики, А.П. Чудинов писал: «Политическая лингвистика — это не модный фантом или симулякр, а объективно существующая научная реальность, и не столь важно, как именно ее определить — как одно из научных направлений лингвистической науки или же как одну из наук, которые в совокупности образуют филологическую федерацию. Впрочем, политическая лингвистика имеет не меньшие основания и для ее включения в состав федерации политических наук» (*Чудинов А.П.* Политическая лингвистика: наука — научное направление — симулякр // Экология языка и коммуникативная практика. 2015. № 1. С. 155).

ки» как лингвистическая сущность неизбежно оказывается в зоне онтологической проблематичности, в том числе в поле философии языка.

Весьма показательно, что А.В. Вдовиченко в контексте развития коммуникативной теории отрицает «самозначащий» или самотождественный характер вербального материала, предметного слова и абстракции «языка» как такового, поскольку все «аутентичные признаки естественного вербального материала» задаются исключительно коммуникантом. По его мнению, внесубъектное восприятие «языка» бессмысленно, ибо слово и смысл напрямую между собой не связаны лишь грамматически, «...в действительности *понимаются не слова, а действия коммуникантов*»[1]. «Для концепции “языка” главным неудобством становится свобода говорящего, которую традиционная “языковая” теория фактически вынуждена отрицать, констатируя общий “инструмент” говорения/понимания». В конечном счете, формулируя концептуальную перспективу, демонстрирующую феномен «языка политики» как чего-то онтологически проблематичного, А.В. Вдовиченко утверждает, что «попытки охватить весь узус на определенной территории, в определенном временном промежутке — т.е. найти общий для всех “инструмент выражения мыслей” — ведут к разрастанию номенклатуры терминов и произвольному социально-территориальному дроблению... Так возникают “языки” рекламы, средств массовой информации, детей, социальных низов, молодежи, жителей села N, Поволжья, верхненемецкий или среднеанглийский “язык”, поздняя латынь и пр., которые при ближайшем рассмотрении все равно оказываются индивидуальными “языками” отдельных говорящих (пишущих) — “языком” Гомера, Шекспира, Пушкина, Достоевского и пр.»[2].

Самоопределение политической лингвистики в виде кросс-дисциплинарной области социально-гуманитарного знания требует сосредоточиться на задачах установления многообразия «языков» как следствия многообразия «политик»; на диверсифицированной картине «языков власти», учитывавшей ветвление властей и иных структурно-функциональных измерений, а также различения «языков политики» и «языков власти» по отношению друг к другу.

Принципиальна сама возможность моделирования «языка политики» и «языка власти» как относительно самостоятельных идеализированных объектов, обладающих свойствами системности. Нет необходимости напоминать, что язык представляет собой систему, тогда как речь выступает в качестве деятельности, совокупности актов и практик, предпринимаемых в рамках названной системы (однако обыденное отождествление того и другого способно порождать различные аналитические недоразумения относительно понимания объекта и предмета политической лингвистики).

В научных публикациях поставленная задача формулируется развернуто и эксплицитно. Несомненная приоритетность в этом вопросе принадлежит П.Б. Паршину, предложившему понимание дилемм, с которыми сталкивается политическая лингвистика, с первых своих шагов концентрирующаяся вокруг исходной проблемы — что есть «язык политики»?[3] Как полагает Паршин, политическая

---

[1] *Вдовиченко А.В.* Расставание с «языком»: Критическая ретроспектива лингвистического знания. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С. 376, 378, 454.

[2] Там же.

[3] Как вопрошал П.Б. Паршин, «существует ли он как лингвистический феномен, и если да, то как охарактеризовать его изнутри, в собственно лингвистических терминах?». На одном и том же языке говорят Жириновский и Зюганов или на разных? «Но если это действительно разные языки,

лингвистика в случае преодоления дискриптивного этапа своего становления должна определять свой предмет по аналогии с идиоэтническим языком. Множество же «языков», используемых разнородными акторами, лишь в очень малой степени может быть идентифицировано в терминах грамматики и лексики. Таким образом, слово *язык* сохраняет свою многозначность, что позволяет в случае «политического языка» говорить об идиополитическом дискурсе и идиополитических дискурсных практиках[1].

Языки политики и языки власти, обладая многими сходными характеристиками, артикулируемые часто одними и теми же субъектами говорения, поразному организованы с точки зрения интенций, притязаний, обладают различной когнитивной маркировкой. Политика предполагает не только оспаривание властных ресурсов, но и претензии на легитимное представительство, на согласование интересов, а также коллективное целеполагание. Власть же зиждется на несколько иной интенциональности — на имплементации воли, которая уже прошла через фазы артикуляции, ранее уже получив изъявление и закрепление в структурах политического.

Различение языков политики и языков власти с собственно семантической точки зрения — что и предполагается соответствующими лингвистическими мотивами и контекстами — вероятно, нагляднее всего демонстрируется в связи со специфическими модальностями. По существу, любая из типологических антиномий применительно к категории модальности содержит потенциал, позволяющий выявлять дивергенцию политического и властного в их языковых выражениях.

*Во-первых,* в ряде случаев предлагается разграничивать моменты объективного и субъективного порядков (что, впрочем, вызывает споры). Объективная модальность (отношение сообщаемого к действительности или оценка внеязыковой реальности) присутствует в любом высказывании. Субъективная модальность (отношение говорящего к сообщаемому, оценка самого высказывания) может быть представлена в разной степени[2]. В языках власти субъективная модальность выглядит как признак факультативный. Применительно же к языкам политики этот признак становится одним из наиболее важных атрибутов.

*Во-вторых,* когнитивная природа языковой модальности включает три основных аспекта, соотносящихся с внеязыковой действительностью: а) реально / нереально; б) положительно / отрицательно; в) утвердительно / вопросительно / побудительно[3]. Очевидным образом эти типологические оппозиции могут служить репрезентативными признаками, отличающими языки политики и языки власти друг от друга. Политика может позволить себе рассуждения из области нереального, тогда как власть здесь рискует утратить всякую действенность. То же самое можно сказать в связи с модальностью вопрошаемого: риторически это вполне органично для языков политики и малоуместно для сферы властвования. В семантике

---

то принятое в науке представление о языке как абстрактной системе единиц и отношений оказывается не совсем корректным, ибо единицы и отношения, которыми пользуются названные политики, являются в основном одними и теми же и определяют их как современный русский» (*Паршин П.Б.* Исследование практики, предмет и метод политической лингвистики // Scripta linguisticae applicatae. Проблемы прикладной лингвистики — 2001. М., 2001. С. 193–194).

[1] Там же. С. 197.

[2] *Егорова Е.* Категория модальности в современных гуманитарных науках. URL: http://natapa.ry/sborniki/andreevskie_chteiya/egorova.htm.

[3] *Чикина Е.Е.* К вопросу о когнитивной природе языковой модальности. URL: http://www.vfnglu.wladimir.ru.

русской политической лингвокультуры «вопрос» (наиболее, пожалуй, распространенное клише в *канцелярите*) означает, скорее, не вопросительную модальность, а объектную и проблемную структуру. «Вопросы» чаще всего не «задают», их следует «решать» («порешать»), «расс-» / «отсматривать», с ними «выходят», их «подсвечивают» или «снимают» и т.п. Глагол же «спрашивать» («с кого будет спрос») в отличие от собственно «вопрошания» в отечественной традиции властвования имеет совершенно определенную семантическую нагруженность.

*В-третьих,* свойства модальности тесно связаны с прагматическими аспектами или системой правил, определяющих то, как язык применяется и воспринимается в тех или иных контекстах. Прагматика, согласно точке зрения, принятой в зарубежной лингвистике (В. Дресслер), — это отношение языкового элемента к его создателям, потребителям и получателям, находящимся в коммуникативной ситуации, в качестве производных чего возникают модальности.

Добавим к этому, что модальности, присущие языкам политики и языкам власти, важно соотнести с принципами модальной логики — с анализом суждений, в которых присутствует конкретизация устанавливаемых связей, с их оценкой. Такие понятия, как «необходимо», «возможно», «случайно», «знает», «полагает», «было», «будет», «обязательно» и т.д., можно разделять на *абсолютные* (приложимые к отдельным объектам и их свойствам) и *сравнительные* (относящиеся к парам объектов и отношениям между ними).

Виды модальностей хорошо изучены и систематизированы в логике и, будучи положены в основу методик квантификации, дают хорошую возможность их эффективного использования в исследовании языков политики и власти[1]. Существующая схематика модальностей как нельзя лучше подходит для решения задач идентификации языка (языков) политики, с одной стороны, и языка (языков) власти, с другой стороны, в их системных качествах идеализированных объектов.

В языке (языках) политики роль системообразующих начал играют, как уже было сказано, интенции представительства. Политик, упрощенно говоря, — тот, кто в явной или подразумеваемой форме претендует на роль выразителя интересов электората, кто является соискателем — или временным (в отличие от чиновника) держателем — соответствующего *мандата*. Приоритетным звучанием здесь будут обладать алетические модальности (ср.: «политика как искусство возможного»), а также эпистемические модальности — главным образом в категориях убеждения и аксеологические модальности в абсолютных и в сравнительных версиях. Властвующие акторы, то есть те, кто выступают функционерами уже агрегированной воли и кому делегированы полномочия по имплементации принятых решений, в первую очередь будут использовать модальные операторы деонтического рода («обязательно», «запрещено», «разрешено»), а во вторую

[1] Так, алетические модальности включают в себя разновидности логических модальностей [модальные операторы: логически необходимо / логически случайно / логически возможно] и онтологических модальностей [онтологически необходимо / онтологически случайно / онтологически возможно]; эпистемические модальности, включающие категории знания [модальные операторы: доказуемо (верифицируемо) / неразрешимо (непроверяемо) / опровержимо (фальсифицируемо)] и категории убеждения [полагает (убежден) / сомневается / отвергает / допускает]; деонтические модальности [обязательно / нормативно безразлично / запрещено / разрешено]; аксиологические модальности в категориях абсолютного [хорошо / аксиологически безразлично / плохо] и в категориях сравнительного [лучше / равноценно / хуже]; временны*е* (темпоральные) модальности в категориях абсолютного [всегда / только иногда / никогда] и в категориях сравнительного [раньше / одновременно / позже] (*Ивин А.А.* Логика норм. М., 1973. С. 29; Современная логика. М., 2009. С. 191–196).

очередь — эпистемические модальности в категориях знания и только потом — по убывающей приоритетности — модальности аксиологического порядка, эпистемического и т.д.

Языковое пространство властвования по преимуществу формируется вокруг императивной модальности, вокруг долженствования, вокруг наличных мандатов и уже делегированных полномочий. Ключевая модальность здесь — *приказ* (*директива, распоряжение, поручение, указание*...). Пространство с иным семантическим наполнением — пространство политического и его языковая аранжировка — опирается преимущественно на базовую модальность *призыва* (как правило, сопряженного с *обещаниями*, — возможно, в коннотациях), обрамляемого образами желаемого и возможного будущего, которое, в свою очередь, обусловлено желательной легитимацией намерений и действий.

Важно, разумеется, находить как черты сходства, так и качественную разнородность языков политики и языков власти. Одно дело, когда высказывание звучит из уст представителя правящей партии, другое — когда исходит от оппозиционера. Говорение действующего политика всегда чем-то будет отличаться от суждений эксперта, политтехнолога, интеллектуала, компетентного наблюдателя или от обывательских рассуждений на предмет политических материй. Такие же наглядные различия будут заметны в языке административных регламентов, в распорядительной документации, в бюрократическом обиходе, в том, что Владимир Даль метко назвал «*приказным диалектом*», с одной стороны, и в публично ориентированных посланиях высшего политического руководства страны, с другой стороны. В каждом из этих случаев присутствует своя качественная нюансировка в способах вербализации, в репрезентации позиций субъекта, в использовании языковых средств, семантических установок, если угодно, лингвокультурного капитала и ресурсов этого субъекта и возможностей целевой аудитории.

Самое существенное с точки зрения теории речевых актов в данном случае — это лингвистическая прагматика, определяющая коммуникативную направленность высказывания (его иллокутивную силу) через такие категории, как «утверждение», «оценка», «призыв». «В рамках противопоставления между модусом и диктумом утверждение оказывается особым типом модальности, — пишет А.Н. Баранов, — выражающим отношение говорящего к описываемому положению вещей — пропозиции. Модальность высказывания — это то же коммуникативное намерение, иллокутивная сила, но обращенная вовне — в сторону текста»[1]. Предлагаемые автором концептуальные разработки в области теории речевых актов (включающие общий инвариант призыва, утверждающий понимание языка политики в качестве системы, а не дискретных случаев речевого поведения акторов) способствуют успешному изучению модальных характеристик языков политики и языков власти. В общем инварианте призыв предполагает реализацию побудительной функции при условии, что «говорящий и адресат являются политическими субъектами или их представителями, а сам речевой акт рассматривается как часть общественно-политической коммуникации»[2]. На этой исходной установке разрабатывается типология призывов, имеющая как лингвистическую, так и политологическую релевантность.

---

[1] *Баранов А.Н.* Лингвистическая экспертиза текста. Теоретические основания и практика. М., 2007. С. 36.

[2] Там же.

В частности, призыв-лозунг предполагает, что «чаще всего и говорящий и адресат, будучи политическими субъектами, деперсонифицированы, а говорящий, как правило, не исключает себя из числа адресатов речевого акта». Наряду с этим призыв-апелляция отличается обращенностью к адресату — обществу, социальной группе или значимому субъекту — с целью побудить его выступить в качестве судьи в споре между говорящим и другим частным лицом или политическим субъектом. В то же время призыв-обращение выступает как сложный речевой акт в рамках общественно-политической коммуникации, представляя собой связный текст, содержащий структурно более простые призывы, которые предназначены для конкретного адресата (общества, социальной группы или значимого политического субъекта), и имеющий целью побудить его выполнить действие (совокупность действий), рассматриваемое в качестве важной составляющей общественно-полезной деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов или же побуждению адресата учитывать в своем повседневном поведении данные идеалы. Выделяется и призыв-воззвание, который составляется с учетом определенных правил и предназначен для деперсонифицированных адресатов в рамках общественно-политической коммуникации (общества, социальной группы или значимого политического субъекта)[1].

В качестве эпистемологической меры, способной уточнить предметную область вербально-коммуникативных начал в политике, можно предложить следующее: чтобы избежать и тавтологических, и редуцирующих издержек, сопровождающих использование терминов «язык политики» и «язык власти» (что всегда будет онтологически проблематично), целесообразно обратиться к категории «политическое». Имея в виду то фундаментальное обстоятельство, что социально-волевые позиции и действия осуществляются не только через посредство институционально понимаемой власти, но и влияния.

Так, в рамках политико-философских рефлексий конца XX в. по поводу уточнения категорий абсолютной власти, абсолютного государства и абсолютной революции А.М. Пятигорский и О.Б. Алексеев обращаются к их основаниям лингвистического свойства. «Вытеснение идеи абсолютной политической власти идеей политического влияния радикально изменяет *язык* политической рефлексии и прежде всего ее семантику», — считают они[2].

Не лишено смысла рассматривать не только и не столько *«язык политики»*, сколько *«язык(и) политического»*. В этом случае последнее будет подразумевать систему артикуляции *притязаний на легитимное представительство интересов различных общественных групп и со стороны различных акторов* (далеко не только правящих). В таком контексте языки политического погружаются в среду широких коммуникативных взаимодействий с участием разнородных общественных сил, всего спектра «действующих лиц». Однако соперничество за власть, оспаривание ресурсов власти — это важное, но не единственное сущностное основание политических отношений. Язык политики становится необходимым при когнитивной реконструкции действий по коллективному целедостижению, ориентированному на публичные блага. Причем доступ к средствам вербального оформления легитимного участия и влияния обладает здесь не меньшей значимостью, чем властно-управленческие иерархии.

---

[1] *Баранов А.Н.* Лингвистическая экспертиза текста. Теоретические основания и практика. М., 2007. С. 420–433.

[2] *Пятигорский А.М., Алексеев О.Б.* Размышления о политике. М.: Новое издательство, 2008. С. 76.

В том случае, если концепт «язык» в знаково-системном качестве применительно к сфере политического не обладает онтологической самоочевидностью и не представляет отдельного лингвистического образования, то вполне правомерно и состоятельно (эвристически перспективно) говорить о социолингвистических феноменах — измерениях, параметрах, характеристиках. Политическая деятельность, оформляемая вербально, содержит и *структурные* (социально-политическую дифференциацию языкового использования), и *функциональные* (вариативность, регистры, выбор языковых средств, переключение кодов) параметры. Очевидно, что последние — это предметные академические прерогативы социолингвистики.

Н.М. Вахтель расценивает социолингвистику как составляющую прагмалингвистики — дисциплины, сфокусированной на человеческом факторе, изучающей «отношения между знаком и его интерпретатором, то есть тем, кто его создает (продуцирует) и понимает»[1]. При этом своеобразная демаркация зон профессиональной специализации строится в виде следующих предметных граней: *риторики* (изучающей уместность и эффективность речи в соотнесении с ролевой ситуацией; регулирование общественно-речевой практики, волевые намерения оратора; топологии речей); *семиотики* (исследующей вневременные нормы и правила речи как формы материализации знаковой реальности отдельных текстов; выявляющей характер отношения знака к миру внеязыковой реальности и к использующему его коллективу); *стилистики* (выявляющей функциональные стили, соответствующие текстам определенной сферы общественной деятельности) и *социолингвистики* (исследующей соотношение языка и общества, языка и идеологии; взаимодействия языковых единиц и их зависимости от социологических переменных — статусов участников коммуникации и их ролевых отношений (начальника–подчиненного, пассажира–контролера, врача–пациента, отца–сына и т.п.)[2].

Очевидно, что каждая из приведенных субдисциплин содержит релевантные приложения к политологическим материям — социально-волевым установкам, соответствующим текстам, властно-управленческой сфере и представительству интересов общественных групп, статусным и ролевым характеристикам участвующих в общении. Согласно разъяснениям Л.П. Крысина, если «чистая» или «просто» лингвистика анализирует языковой знак сам по себе: его звуковую и письменную форму, его значение, сочетаемость с другими знаками, его изменения во времени», то «социолингвистика делает упор на то, как используют языковой знак люди, — все ли одинаково или по-разному, в зависимости от своего возраста, пола, социального положения, уровня и характера образования, от уровня общей культуры и т.п.?»[3].

Социолингвистика с ее фокусом на субъектность помогает уточнить предметные структурно-сегментарные зоны, а также агентивный состав. Специфические свойства «языка политики» в его коннотациях публичности явственно контрастируют с такой функциональной сферой, как аппаратная, или бюрократическая, коммуникация.

---

[1] *Вахтель Н.М.* Основы прагмалингвистики. Учеб.-метод. пособие для вузов. Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского гос. ун-та, 2008. С. 4.

[2] *Вахтель Н.М.* Прагмалингвистика в таблицах и схемах. Воронеж, 2006. С. 6.

[3] *Крысин Л.П.* Очерки по социолингвистике. М.: ФЛИНТА, 2021. С. 3, 13.

Начинать можно было бы с распространенного и дезориентирующего клише, когда всякое официальное использование языковых ресурсов управления расценивается как «новояз». Ссылаясь на авторитет Патрика Серио, так поступает Ю.Л. Воротников по отношению к политическим текстам советской эпохи. Один из признаков, на который здесь указывается, — это номинализация, итогом чего «становится “исчезновение субъекта, агента того, о чем говорится”[1]. В развитие метафоры М. Хайдеггера о языке как «доме бытия» автор пишет, что «если язык классической русской литературы был “усадьбой бытия”, то “новояз” сталинско-брежневских времен — “ГУЛАГом бытия, духа и мысли”»[2].

Однако, как отмечает Е.И. Шейгал, номинализацию применительно к политическому языку можно понимать вне каких-либо исторических или идеологических спецификаций, когда «упоминаются такие особенности грамматики, как, например, тенденция к устранению лица при помощи номинализированных конструкций-девербативов и безагенсного пассива»[3]. В.М. Алпатов, со своей стороны, подчеркивает, что «склонность к использованию отглагольных имен — скорее особенность русского (вероятно, не только русского) канцелярского (делового) стиля», что характерно и для дореволюционных времен, *во-первых*. *Во-вторых*, в этом же контексте задается совершенно правомерный вопрос: «И что тут изменилось после 1991 г.?»[4]. Для того чтобы убедиться в силе последнего аргумента, достаточно обратиться к частотным характеристикам словоупотребления «оптимизация», «диджитализация», «геймификация» и т.п.[5]

В жизни (и отчасти в науке) широко распространен феномен социально-лингвистической интерференции — смешение стилей, взаимное проникновение речевых особенностей различных социально-профессиональных групп. Это происходит, когда парламентарии изъясняются в стилистике «крепких хозяйственников», а те и другие — с использованием жаргонизмов, имеющих происхождение в низовых звеньях управленческого аппарата или просторечных лексемах, в многообразных социально-профессиональных сленгах — стратегическом и корпоративном менеджменте, *IT*-сфере, маркетинге, рекламе, *PR*-службах или в шоу-бизнесе. И в административно-управленческом обиходе, и в повседневном общении чрезвычайно распространены неформальные фигуры речи, взятые из самых разных «донорских» зон. Области наивной (прототипической) семантики расширяют свои границы и каналы взаимного функционирования, в том числе — за счет

---

[1] *Воротников Ю.Л.* Русский язык сегодня. Несколько штрихов к портрету. М., 2017. С. 26, 28.

[2] Там же.

[3] *Шейгал Е.И.* Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. С. 20.

[4] *Алпатов В.М.* Японистика. Теория языка. Социолингвистика. История языкознания. 2-е изд. М.: Издательский дом ЯСК: Языки славянской культуры, 2017. С. 348.

[5] О том, что подобные речевые приемы социально маркируют не столько политиков и идеологов, сколько бюрократов и аппаратчиков, о виртуозном владении казенным словом которых писал В. Новиков: «...даже новичок может довольно сносно говорить по-бюрократически, если запомнит всего одно правило: “смысловые глаголы в действительном залоге — золото, экономьте их”. Писать “мы убрали помещение” — бросать глаголы на ветер. Вместо этого рачительный чиновник напишет «нами было убрано помещение»: дефицитный действительный залог удалось заменить на дешевый страдательный. Конечно, в идеале нужно бы вовсе избавиться от полнозначного глагола, и это несложно сделать при помощи «работ по...». Получаем: «нами проведены работы по уборке помещения». Это не только правильно стилистически, но заодно и безопасно. Читатель теперь не поймет, убрали вы помещение или нет, зато обрадуется, что “работы проведены”» (*Новиков В.* Бюрояз. Пособие для начинающих. О том, стоит ли бросать глаголы на ветер. URL: http://slon.ru/blogs/vadimnovikov/post/284430/).

перетекания речевых привычек с аппаратно-административных этажей — в среду повседневных коммуникативных узусов[1]. Примечательной стороной речевых «укладов» в отечественном публично-информационном пространстве становится своеобразное манерничанье самых разных «действующих лиц». Если, к примеру, в Национальном корпусе русского языка задать запрос, содержащий словосочетание «лучшие практики», то ресурс выдаст примеры из литературной классики в том смысле, что это — «дельцы», оборотистые люди. Сегодня «лучшие практики» предлагается «масштабировать», «каскадировать» и т.п. Вместо глаголов «указать», «назвать», «определить» используется — «обозначить». Управлять каким-то действом в наши дни значит — «модерировать». «Инициация» в нынешнем узусе подразумевает не обряд посвящения, а проявление инициативы. Тематический предмет сплошь и рядом называют ходячим словечком «история». Или: это *«не про то», «а про это»* (что выглядит калькой с английского *“about”*).

Одним словом, отождествлять «новояз» (пусть так), с одной стороны, и «канцелярит» (по терминологии К. Чуковского), «бюрояз» и прочие варианты «компетентного слога» (по характеристике Ф.М. Достоевского), с другой стороны, как минимум, непродуктивно с аналитической точки зрения.

Прагматика, взятая в ее политико-социологических изводах, в конце прошлого столетия дала импульсы для парадигмальных подвижек в рассматриваемой области исследований, включая темы сознательного воздействия на языковые процессы и ситуации. Как пишет Т. Рисенто, «ключевой переменной, отделяющей старые позитивистски/техницистские подходы от новых критически/постмодернистских, является действие (agency, или опосредующая активность. — *Авт.*) или роли индивидов и коллективов в процессах языкового использования, в установках и, в конечном счете, — в политике»[2].

Прагматика занята исследованием отношения к знакам со стороны говорящих, так же как семантика — отношения знаков к объекту, а синтактика — от-

---

[1] Сегодня стало модным в СМС-переписке между начальниками и подчиненными или между коллегами словечко «принято». Или — металингвистические фигуры — «озвучить» («проговорить») вместо «сообщить», «высказаться» («обсудить»). На самых разных уровнях социально-коммуникативного пространства широчайшим образом в духе своеобразной свойскости используются уменьшительные суффиксы — «нефтянка», «оборонка», «социалка», «минималка», «административка», «субсидиарка», «нецелевка» и проч. и проч., чему несть числа. В свое время М.Е. Салтыков-Щедрин, описывая архетипическую фигуру отечественного бюрократа, писал: «Истинный администратор никогда не должен действовать иначе, как через посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие». В нынешних реалиях слово «мероприятие» можно легко заменить на слово «проект» (или — «презентация»), получившее тотальное господство в российском лексическом ландшафте.

Обратим внимание и на феномен экспансии предлога *ПО*, что специально исследуется языковедами-русистами именно в социолингвистических контекстах. Как пишет Л.П. Крысин, «Возникшая в чиновничьей среде конструкция с предлогом ПО — типа: переговоры по Югославии, голосование по кандидатуре *NN*, инициатива по Чечне, договоренность по Газпрому и т.п. имеет исключительно широкое распространение в современной речи. Как правило, синтаксическим хозяином в этой конструкции является отглагольное существительное (как в приведенных примерах), в норме не управляющее предложно-падежной группой с предлогом ПО (ср.: переговоры, договоренность о чем-либо, голосование за кого-либо, инициатива в чем-либо). Встречаются и сочетания, где в качестве подчиняющего компонента употребляется не существительное, а глагол, в литературном языке также не способный управлять предлогом *ПО:* Мы, кстати, встречались с Гайдаром и по банку, и по Парамоновой (В.С. Черномырдин); Необходимо договориться с МВФ по российскому долгу, по его реструктурированию (М.М. Задорнов, министр финансов)» (*Крысин Л.П.* Указ. соч. С. 207–208).

[2] Цит. по: *Hornberg N.H.* Frameworks and Models in Language Policy and Planning // An Introduction to Language Policy. Theory and Method. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. P. 34.

ношения между знаками. Первое, следовательно, ориентировано на субъектность, на агентивную роль. Акцент при этом смещается с языка как системы — на речевое поведение, а различия между лингвистическими образованиями (под- и субсистемными в том числе) рассматриваются в качестве одного из многих факторов политико-языковых отношений. «Неравенство связано со *способами языкового использования*, включая суждения относительно такого использования, но не с самими языками. И если мы собираемся с этим что-то поделать, нам следует усиливать осознание того, что дело не обязательно в том, на каком языке ты говоришь, но в том, *как* ты говоришь, *когда* ты говоришь *и для кого* это имеет значение. Это — вопрос *голоса*, а не языка»[1].

Показательным эпизодом в новейшей языковедческой рефлексии на предмет соприсутствия языковых и политических начал в российских условиях в прошлом и настоящем является полемика, состоявшаяся между авторитетными отечественными лингвистами относительно такого феномена, как *стёб*. Ю.Л. Воротников, анализируя трансформации в русском языке, берет в качестве отправной методологемы оппозицию *энкратического* и *акартического* языков, гипотетически выдвинутую Роланом Бартом в середине 1970-х годов. Проекция такого противостояния на советские реалии, по Ю.Л. Воротникову, — между «новоязом» сталинско-брежневских времен и стёбом («домом новой, препарирующей мысли и нового, оппозиционно-деструктивного бытия»)[2]. Происходящее сегодня порождает вопрос, «в современном российском языкознании не затрагиваемый: если стёб находился с “новоязом” в отношениях противостояния, ...не приходится ли признать еще один факт: русский язык сегодня существует в разделенном виде. ...однако это — дело специального исследования, пока никто не сумел (или не захотел?) осуществить». Если «новояз» разрушен, то «стёб продолжает существовать в своей главной функции — функции своего рода интеллектуальной лаборатории»[3].

Но, с другой стороны, рассуждения Ролана Барта на тему социолингвистической природы «разделения» или «войны языков» относительно социолектов как «типов письма» (знакового закрепления представлений) не следует схематизировать. Прямо и антиномически атрибутировать способы употребления языка как ресурса властных инстанций и оппозиции не совсем корректно. Французский семиолог прямо поясняет: «посредующее звено между властью и языками носит характер не политический, а культурный»[4]. Роль когнитивного ядра отводится концепту *«докса»* (расхожего мнения). Ее текучесть и немаркированный характер таковы, что делают невозможным «какую-либо внутреннюю типологию энкратических социолектов; языки власти *атипичны*, этот род не разделяется на виды»[5]. Уместен в таком случае вопрос: как возможно квалифицировать «новояз», используя критерий *доксы* и *парадоксальности*? Далее Р. Барт прямо отмежевывается от упрощений, говоря, что «*акратический* дискурс не выступает открыто *против* власти» и что дискурсы марксизма, фрейдизма, структурализма и гуманитарных наук в определенной мере тоже составляют акратический, *парадоксальный* социо-

---

[1] *Blommaert J.* The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 196.

[2] *Воротников Ю.Л.* Указ. соч. С. 28, 31.

[3] Там же.

[4] *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 529, 531, 532.

[5] Там же.

лект[1]. Приведем и еще одно из его умозаключений: «Любой социолект (энкратический или акратический), будучи порожден расслоением общества, живя среди воюющих друг с другом смыслов, сам стремится не дать говорить чужим, таков удел даже либерального социолекта»[2].

Разумеется, в данном случае возможны вопросы, пусть даже риторические, но не требующие какой-то особой семиологической искушенности: как приведенные суждения согласуются с антиномией «новояза» и стёба? Не сконструирован ли «новояз» как чисто искусственное семантическое образование на методологии парадоксальности, то есть сохранившее свою акратичность «пока, — оперируя словами Р. Барта, — продолжается активная борьба» и не ставшее еще энкратичным?

В этом контексте, возражая, В.М. Алпатов пишет, что традиция серьезного отношения к истории и к жизни, традиция приоритета духовного над физиологическим — «остается врагом стёба. ...А нынешний официальный дискурс в отличие от советского не образует единства, эклектичен и включает в себя стёб в качестве одной из составных частей»[3]. Стёб, в отличие от русского дореволюционного просторечия, получил второе рождение в жаргоне рок-музыкантов в значении, которое связано с вербальной агрессией, со стремлением поставить человека (но не противостоящий дискурс!) в неловкое положение[4]. Затем это слово стало ассоциироваться с ёрничеством, злым вышучиванием конкретной персоны и проч.

Так или иначе, это понятие не имеет каких-либо коннотаций в смысле обособленной структурно-социолингвистической формации. Скорее, это стилистическая фигура, прием, троп, или инструмент, к которому может прибегать кто угодно и без каких-либо коннотаций оппозиционности. Другое дело, насколько престижным становится он в определенной культурной и макролингвистической ситуации. «Стёб, ирония, аллюзии и реминисценции, тотальное высмеивание — все что угодно демонстрировала культура в последние десятилетия. Все, кроме новых смыслов. В них попросту не возникало потребности. Известный парадокс — литературный расцвет всегда приходится на период запретов, культура расцветает при тоталитаризме или войне. В тяжелые, словом, времена»[5].

Новейшие рефлексии по поводу российской коммуникативной повседневности склонны к тому, чтобы выдвинуть на позицию основного оппонента по отношению к вербальному официозу «новояз чувств», или «защитная стена, оберегающая от вторжения власти, идеологии и системы и служащая потенциалом для сопротивления им (резистанса)...»[6]. В результате эмоционализации пространства сетевого общения стал складываться «новый язык разговора о чувствах». *«Чувства»* уступают место *«эмоциям», «любовь» — «привязанности»* или *«отношениям»*, *«токсичной созависимости», «приставания» — «харрасменту»*. *Абьюз*, *газлайтинг* и т.п., как отмечают эксперты в области «психологического поворота», это

---

[1] Там же.

[2] Там же.

[3] *Алпатов В.М.* Указ. соч. С. 352.

[4] *Заярная О., Козлов А.* С чужого «стёба»? // Искусство кино. 1988. № 6. С. 51–58.

[5] Постмодернизм закончился. Мария Дегтерева о новых трендах в российской культуре // Газета. Ru. 2022. 30 ноября. URL: https://www.gazeta.ru/comments/column/s77906/15860497.shtml.

[6] Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности / П. Аронсон, И. Будрайтскис, Е. Великодворская и др.; под ред. П. Андерсон. М.: Individuum, 2022. С. 20.

не просто новые слова. «Новая этика» ...«становится маркером чего-то большего: отношения к России и к условному Западу в целом, к “традиции”, и к “прогрессу”, и так далее. ...терапевтический язык стал политически мобилизующим языком, очерчивающим границы тонко чувствующих сообществ продвинутых защитников человеческого достоинства от любых представителей силы и власти, будь они политики и функционеры, профессора, родители, мужчины или гетеросексуалы»[1].

Сказанное требует пристального исследовательского внимания и обдумывания «тонких» методик регулирующего воздействия, которое исходило бы из взвешенного баланса и позволяло бы воздерживаться от крайностей. Популистское потакание сетевым мемам (чего только стоит практически легализованное слово «патриотика»?) и коммуникативным нравам «зуммеров», так же как и злобное клеймление всего, что не вписывается в традиционные вербальные уклады старших поколений, — не просто ошибочно, но и непродуктивно для гражданской социализации. Это именно тот случай, когда политическое понимается не только в виде отправления или оспаривания власти, но и *влияния* со стороны носителей авторитетности в языковом употреблении, носителей эталонных моделей речевого поведения в среде управленческих и символьных элит.

В плане заключительных суждений уместно отметить некоторые исследовательские перспективы в предметном поле «язык — политика». Обе части этой конструкции демонстрируют оборачиваемость субъектно-предикатной роли. И логическим подлежащим, и логическим сказуемым способно становиться и то и другое. Термин «язык политики» по-прежнему будет порождать полемику на предмет своей онтологической значимости как нечто не самоочевидное, не «самотождественное» и не «самозначащее». Социолингвистические же составляющие вербально-коммуникативного устройства политической жизни — это предмет, обладающий несомненной эпистемологической легитимностью. Относительно социолингвистики могут и будут возникать различные варианты ее предметной интерпретации в качестве отрасли знания. Определенный консенсус возможен на основе простой и понятной формулы: социолингвистика — это *исследование* общественных измерений языка, тогда как *социология языка* — «это изучение общества в его отношении к языку»[2].

Речь, таким образом, не идет о какой-то жесткой делимитации междисциплинарных границ, а, скорее, о векторах исследовательского фокуса. Из этого следует, что новая гносеология вполне мыслима в перспективе самостоятельного научного направления политической социологии языка, где объектом будет не язык как нечто самозначащее, но политические факторы многосторонних отношений по поводу языкового использования и языкового функционирования.

*Н.М. Мухарямов*

**Литература**

1. *Алпатов В.М.* Стёб вчера и сегодня (размышления о статье Ю.Л. Воротникова) // Алпатов В.М. Японистика. Теория языка. История языкознания. 2-е изд. М.: Издательский дом ЯСК, 2017. С. 346–352.

2. *Бурдьё П.* О производстве и воспроизводстве легитимного языка // Отечественные записки. 2005. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/oz/2005/2/2005_2_9-pr.html.

---

[1] Там же.

[2] *Вахтин Н.Б.*, *Головко Е.В.* Социолингвистика и социология языка. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 2016. С. 13.

3. *Мухарямов Н.М.* «Планетарная вульгата» как политико-лингвистический феномен // Символическая политика. Вып. 2. Споры о прошлом как проектирование будущего. М., 2014. С. 232–249.
4. *Рыбин В.* Государственный язык как орудие власти. СПб.: Питер, 2018. — 256 с.
5. *Чудинов А.П.* Политическая лингвистика. М.: Флинта; Наука, 2006. — 256 с.
6. *Шейгал Е.И.* Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. — 326 с.
7. *Blommaert J.* The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. — 209 p.
8. The Cambridge Handbook of Pragmatics / Ed. by Keith Allan and Kasia M. Jaszczolt. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. — 776 p.
9. *Gorham M.S.* After Newspeak. Language Culture and Politics in Russia from Gorbachev to Putin. Ithaca and London, 2014. — 234 p.

# Теория вето-игроков

Как известно, политические системы мира отличаются друг от друга по своему институциональному дизайну. Этот факт позволил исследователям разработать различные типологии, демонстрирующие специфические комбинации его элементов. Типологии Х. Чебуба, Х. Линца, М. Дюверже, А. Лейпхарта, Дж. Сартори, Б. Геддеса и др. широко используются сегодня в компаративистике для изучения режимов, партийных и электоральных систем, моделей территориально-государственного устройства.

В рамках такого типа исследований и была разработана теория вето-игроков, автор которой, Дж. Цебелис, исходил из идеи о том, что различия между политическими системами определяются эффектами, которые они оказывают на принятие решений. По его мнению, отправной точкой для принятия каждого нового решения является предыдущее решение, или статус-кво, для изменения которого необходимо согласие ключевых акторов, вовлеченных в процесс его принятия. Сложность достижения этого согласия определяется конфигурацией институтов. При этом способность политической системы изменять статус-кво влияет на стабильность режима, устойчивость правительства, степень свободы бюрократии.

Теория вето-игроков получила широкое признание в компаративистике, поскольку позволяет преодолеть основную проблему при сравнении процессов принятия решений в разных странах — многомерность набора институтов, включенных в их инициирование, продвижение и легализацию. Понять процесс принятия решений в конкретной стране можно благодаря системному подходу, позволяющему увидеть не столько набор институтов, сколько последствия функционирования определенных институциональных комбинаций.

С нормативных позиций Дж. Цебелис утверждает, что в одних случаях желательно сохранение политической стабильности (неизменность статус-кво), в других — необходимы изменения. При этом институты могут привести как к изменению желаемого статус-кво, так и к сохранению нежелаемой стабильности. Предложенная им теория предсказывает, что *политическая стабильность*, понимаемая как невозможность изменения сложившегося в той или иной сфере государственного управления *статус-кво*, будет результатом существования большой

коалиции, участники которой сильно идеологически дистанцированы друг от друга. Вместе с тем политическая стабильность не рассматривается автором в качестве позитивной характеристики системы, она сдерживает ее развитие и делает невозможной адекватную реакцию на внешние шоки. Невозможность изменения статус-кво в кризисные периоды приводит к тому, что правительство проводит неэффективную политику и теряет власть в результате вынесения ему вотума недоверия в парламентских демократиях, а в президентских демократиях в силу отсутствия действенных механизмов отстранения от власти главы государства возможно даже применение неконвенциональных методов. Иначе говоря, политическая стабильность оборачивается своей противоположностью в случае неспособности системы приспособиться к неожиданным вызовам и оперативно изменить статус-кво.

В предложенной Дж. Цебелисом модели используется безличное понятие *«вето-игрок»*, заменяющее понятие «институт», а также понятие *«конфигурация вето-игроков»*, агрегирующее все институциональные характеристики политической системы для объяснения на их основе происходящих в ней изменений. В этой модели политические акторы и решения представлены как позиции в политическом пространстве конкретной страны, что позволяет строить прогнозы о стратегиях ключевых игроков, включенных в процесс принятия того или иного решения.

*Вето-игрок* — это индивидуальный или коллективный актор, чье согласие необходимо для изменения статус-кво. Другими словами, в каждой политической системе действуют акторы, имеющие возможность заблокировать те или иные решения и не допустить изменения статус-кво. *Статус-кво* — это политика, осуществляемая в текущий момент времени по каждой из проблем государственного управления.

В политической системе действуют два типа вето-игроков — *институциональные* и *политические*. Институциональные вето-игроки устанавливаются конституционно (глава государства, парламенты и правительства всех уровней). Политические вето-игроки являются результатом политического взаимодействия в конкретный момент времени. Типичный пример — парламентская партия, участвующая в правительственной коалиции и имеющая возможность заблокировать принятие решения. Партия становится вето-игроком не по причине конституционного закрепления за ней определенных полномочий по участию в процессе принятия решений, а по причине получения ею необходимой для этого электоральной поддержки, действия определенного типа избирательной системы и способа формирования правительственной коалиции. Позиции институциональных вето-игроков в системе стабильны, а комбинации политических вето-игроков изменчивы.

Кроме того, необходимо проводить различие между *индивидуальными вето-игроками* и *коллективными вето-игроками*. Так, парламент, принимающий решения любым возможным большинством (временные коалиции), является коллективным вето-игроком (ни один из депутатов не является отдельным вето-игроком, так как ни один из них не является необходимым для получения большинства). В противоположность парламент, в котором преобладает стабильная коалиция из нескольких партий, является комбинацией вето-игроков (каждая из партий необходима для получения большинства). Как следствие, сложнее изменить статус-кво при наличии стабильной коалиции, чем временной.

Для идентификации вето-игроков в политической системе первоначально выявляются институциональные акторы, а потом политические акторы, из которых они состоят, или действующие помимо конституционно установленных институтов.

Предположим, в изучаемой стране сложилась следующая институциональная структура: (1) глава государства, избираемый парламентом и не участвующий в законотворческом процессе, (2) многопартийная система, ведущая к формированию коалиционного правительства, участвующего в принятии решений совместно с (2) бикамеральным парламентом, каждая из палат которого простым большинством принимает решения по рассматриваемым законопроектам, (4) корпоративизм. В соответствии с теорией Дж. Цебелиса в политическом пространстве этой страны действуют три институциональных вето-игрока — это правительство, нижняя палата и верхняя палата легислатуры. При этом глава государства не является вето-игроком, потому что не обладает полномочиями по участию в законотворческом процессе.

Однако особенность этих акторов состоит в том, что некоторые из них обладают не индивидуальным, а коллективным характером. Если известно, что внутри одного коллективного игрока возможно только одно большинство, то происходит замена институционального коллективного игрока партийными игроками, составляющими стабильное большинство. Следовательно, следующий шаг состоит в выявлении элементов, из которых состоят коллективные институциональные акторы.

В фокусе внимания исследователя оказывается прежде всего парламентская коалиция, так как именно от нее зависят тип правительства и его политическое выживание. Например, если по итогам выборов в парламент вошли пять политических партий, а устойчивую коалицию сформировали три из них, то эти три партии будут рассматриваться как отдельные вето-игроки. Однако при подсчете вето-игроков необходимо принять во внимание один важный нюанс.

*Ситуация 1.* Если парламентская коалиция, контролирующая простое большинство в нижней палате, состоит из идеологически близких друг другу партий (например, левоцентристских), то количество вето-игроков не увеличивается, так как действует *«правило поглощения»*, в соответствии с которым некоторые вето-игроки не будут учитываться в силу схожести своих позиций с приоритетами других акторов. Иначе говоря, нижняя палата как институциональный вето-игрок не превращается в комбинацию политических вето-игроков. Если это верно для рассматриваемого примера, количество вето-игроков не увеличивается, их остается три.

*Ситуация 2.* Если в состав парламентской коалиции наряду с левоцентристскими партиями входит еще одна партия, придерживающаяся отличных от них взглядов, то она учитывается как политический вето-игрок, так как от ее позиции будет зависеть жизнеспособность коалиции и выживание правительства. Если это верно для рассматриваемого примера, то количество вето-игроков увеличивается до четырех, так как нижняя палата легислатуры как институциональный вето-игрок превращается в комбинацию из двух политических вето-игроков.

*Ситуация 3.* Если же все партии, формирующие парламентскую коалицию, имеют различные предпочтения в отношении проводимой политики, то каждый ее участник будет рассматриваться как политический вето-игрок.

Важно учитывать, что политические вето-игроки совсем не обязательно являются частью институциональных акторов. В каждой сфере государственного управления действует специфическая конфигурация вето-игроков, включающая, наряду с уже упомянутыми акторами, отраслевые группы интересов. В случае доминирования в стране корпоративистской модели взаимоотношений государства и групп интересов последние наделяются вето-полномочиями в своих сферах, что увеличивает количество вето-игроков. Однако следует также учитывать иде-

ологическую дистанцию между позицией группы интересов в конкретной сфере и приоритетами парламентской коалиции. Если в предложенном примере правительство в своей деятельности опирается на профсоюзы, то они превращаются в дополнительного вето-игрока при правоцентристском правительстве и «поглощаются» — при социалистическом правительстве.

Таким образом, для определения количества вето-игроков в политической системе необходимо принимать во внимание не только конституционно закрепленные полномочия акторов, но и конфигурацию политических акторов в каждой конкретной сфере государственного управления, а также идеологическую дистанцию между акторами, включенными в процесс принятия решений.

После идентификации всех вето-игроков необходимо графически отразить их предпочтения по конкретному решению в интересующем исследователя пространстве государственной политики (одномерное или двухмерное) для прогнозирования возможных комбинаций их стратегий по изменению или сохранению статус-кво.

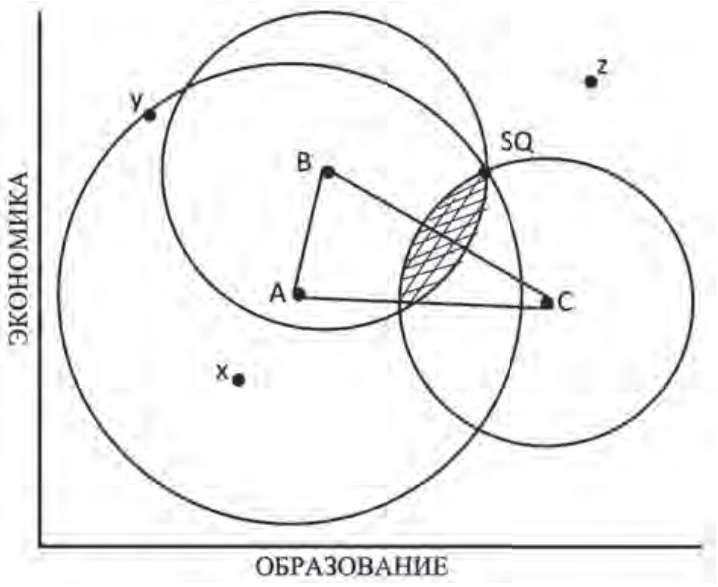


**Рис.** Потенциальная комбинация вето-игроков в двухмерном пространстве

На рис. в двухмерном пространстве точками *A*, *B* и *C* обозначены предпочтительные (идеальные) позиции трех вето-игроков по двум аспектам государственной политики — допустимый уровень государственного вмешательства в экономику и приемлемый объем государственных расходов на образование. Точка *SQ* — статус-кво — текущая политика. Вокруг каждой точки, обозначающей вето-игрока, через точку *SQ* проходят кривые, ограничивающие *пространство безразличия*, в которое попадают все возможные варианты изменения статус-кво, которые каждый из них готов принять, так как они расположены между идеальной позицией и действующим статус-кво на одинаковом расстоянии. Предположим, что в гипотетической политической системе действует только один вето-игрок *A* и он рассматривает несколько альтернатив существующему статус-кво (*X, Y, Z*). Он примет ту из них, которая графически находится ближе всего к его идеальной позиции (*X*), не встретив на своем пути никаких преград. Иначе говоря, актор примет ту политику, которая для него будет предпочтительнее имеющегося статус-кво.

Однако ситуация принципиальным образом изменяется, если количество вето-игроков увеличивается, например, до трех, как на рис. В этом случае для принятия решения об изменении статус-кво необходима единодушная поддержка всех вето-игроков. Это приводит к резкому сокращению *пространства выигрыша (win-set)*, в которое попадают альтернативы для изменения статус-кво. Оно находится на пересечении областей безразличия трех игроков (заштрихованный лепесток, идущий от точки *SQ*) и включает в себя множество выигрышных комбинаций политики. Только альтернативы, попадающие в это пространство, получат поддержку трех вето-игроков в соперничестве со статус-кво, так как это зона пересечения интересов всех игроков.

Для определения пространства выигрыша следует учитывать важный дополнительный фактор — какое большинство необходимо для принятия решения коллективным вето-игроком. Если решения принимаются квалифицированным большинством, то пространство выигрыша будет меньше, чем в ситуации, когда решение принимается простым большинством.

Размер пространства выигрыша определяет несколько важных аспектов. *Во-первых*, если размер этого пространства большой, то уровень политической стабильности снижается, потому что в него попадает значительное количество альтернатив, которые предпочтительнее статус-кво. И наоборот, сокращение этого пространства повышает уровень политической стабильности в силу сокращающегося числа принимаемых всеми акторами альтернатив. *Во-вторых*, небольшой размер пространства выигрыша позволяет предсказывать незначительные изменения в политике, которую можно двинуть в таком ограниченном пространстве только на незначительное расстояние. Если же эта зона большая, то и изменения могут быть как незначительными, так и весьма радикальными, потому что количество комбинаций приемлемых альтернатив огромное.

Помимо пространства выигрыша важное значение для анализа имеет *ядро единодушия (core)* — это наименьший многоугольник с углами на идеальных точках вето-игроков. На рис. ядро единодушия обозначено треугольником *ABC*. Оно не зависит от статус-кво, а зависит от предпочтений акторов, включенных в процесс принятия решений, и влияет на возможность проведения изменений или сохранения стабильности, потому что ни одно решение, находящееся вне его границ, не будет поддержано вето-игроками. Это означает, что в случае нахождения точки *SQ* внутри ядра единодушия вероятность изменения статус-кво равна нулю, оно устраивает всех вето-игроков. Если точка *SQ* находится вне ядра единодушия, как на рис., то из всех возможных альтернатив статус-кво, находящихся в пространстве выигрыша, вето-игроки будут рассматривать только те из них, которые находятся в ядре, а масштаб изменений будет зависеть от того, насколько единодушное согласие близко к точке *SQ*.

Несложно заметить, что количество вето-игроков, включенных в процесс принятия решений, сокращает пространство альтернатив действующему статус-кво, что стабилизирует политическую систему и защищает ее от радикальных преобразований по воле одного актора. В дополнение к количеству вето-игроков сдерживающую роль играет идеологическая дистанция между ними, с ее увеличением также сокращается размер пространства выигрыша, что снижает вероятность изменений. Таким образом, чтобы застраховать политическую систему от резких и значительных изменений текущей политики в разных сферах государственного управления, необходимо содействовать либо

увеличению числа вето-игроков, либо увеличению идеологической дистанции между ними.

Помимо этого, важно понимать, что существует прямая зависимость между размером ядра единодушия и политической стабильностью и обратная зависимость между размером пространства выигрыша и политической стабильностью.

Переводя положения теории вето-игроков в традиционную институциональную терминологию, можно прогнозировать, что вероятность изменения текущей политики будет низкой в периоды *разделенного правления*, когда исполнительная власть в стране контролируется одной политической партией, а большинство в законодательной — другой (при двухпартийной системе) или ни одной (при многопартийной системе). Разделенное правление возникает в президентских и в президентско-парламентских демократиях, в которых отсутствует взаимозависимость исполнительной и законодательной власти в вопросах формирования и политического выживания (президент и легислатура избираются независимо друг от друга).

В ситуации *единого партийного правления* вероятность резких и значительных изменений статус-кво существенно возрастает, так как оно снижает конфликтность между президентом и легислатурой, ускоряет процесс принятия решений, повышает вероятность реализации стратегически важных проектов. Президент, контролирующий легислатуру через одну партию, будет обладать значительной властью, идеологическая дистанция между двумя институциональными вето-игроками будет сведена таким образом на нет, вплоть до поглощения нижней палаты легислатуры как вето-игрока президентом.

Основная проблема президентских демократий состоит в том, что в них отсутствует оперативно действующий механизм сдерживания исполнительной власти, позволяющий отстранить от должности президента, проводящего неэффективную политику с опорой на большинство в нижней палате. Если в парламентской демократии исполнительную власть может сдержать угроза вынесения вотума недоверия, то в президентских для решения этой задачи в экстремальных случаях применяются неконституционные меры — насильственная смена власти в результате переворота. Таким образом, политическая стабильность, или неизменность статус-кво, будет содействовать стабильности режима в президентских демократиях.

Вероятность изменения текущей политики будет низкой в периоды нахождения у власти в парламентской демократии *коалиции с идеологически дистанцированными друг от друга участниками*. И наоборот, однопартийные правительства и миноритарные правительства будут более активны в принятии решений, ведущих к изменению статус-кво, в силу отсутствия идеологических противоречий. Дж. Цебелис отмечает, что миноритарное правительство не менее успешно в проведении изменений, чем однопартийное правительство, несмотря на то что оно не опирается на поддержку простого большинства в нижней палате легислатуры. Оно обладает позиционным преимуществом, так как формирующие его малые партии находятся в центре идеологического спектра, что позволяет миноритарному правительству инициировать изменения и формировать временные коалиции по конкретным законопроектам с партиями как из правой, так и из левой части спектра.

Кроме того, правительство часто контролирует парламентскую повестку дня, что усиливает его позиции и делает его положение как вето-игрока более страте-

гически выгодным. В таком положении вето-игрок может делать другим акторам предложения в стиле «бери или оставляй», прекрасно понимая свои ограничения и продвигая в качестве альтернативы ту, которая наиболее близка к его идеальным предпочтениям. В случае с миноритарным правительством премьер-министр без труда может превратить голосование за тот или иной законопроект в голосование в поддержку или против правительства под угрозой отставки и возможных новых выборов, оказывая таким образом давление на противников законопроекта. Существование миноритарного правительства свидетельствует о том, что одна или несколько крупных партий по понятным для них причинам отказываются участвовать в правительственной коалиции (кризис, падение электоральной поддержки, несовместимость идеологических позиций и пр.), но при этом готовы неформально и формально поддержать коалицию меньшинства, поэтому в случае осознания ими угрозы роспуска правительства или перевыборов с высокой долей вероятности поддержат альтернативу премьер-министра.

Вероятность изменения текущей политики будет низкой в ситуации, когда *две палаты бикамерального парламента контролируются разными политическими партиями*. В данном случае речь идет о политических системах, в которых верхняя палата легислатуры формируется на основе прямых выборов, благодаря чему она и наделяется вето-полномочиями в законотворческом процессе. Если же верхняя палата формируется иным способом, то возникает дефицит демократической легитимности. Это не позволяет наделять верхнюю палату равными с нижней палатой полномочиями, чтобы не допустить оспаривания ею решений, принимаемых избранной всеми гражданами палатой. Верхняя палата становится вето-игроком, если обладает равными с нижней палатой полномочиями по участию в законотворческом процессе и ее политический состав отличается от политического состава нижней палаты (представляют разные категории граждан страны). Аналогичным образом вероятность изменения текущей политики будет низкой, если центральное и региональные правительства в федеративной системе контролируются разными партиями.

В случае возникновения внешних шоков теория вето-игроков позволяет прогнозировать, что мультипартийные правительства будут терять власть, а им на смену будут приходить правительственные коалиции с меньшим количеством акторов или с меньшей идеологической дистанцией, способные договориться о проведении единой согласованной политики по преодолению кризисных явлений. Не случайно самыми эффективными, но в то же время радикальными правительствами считаются те, которые формируются однопартийным большинством в легислатуре.

В условиях политической стабильности растет уровень активности бюрократии как самостоятельного игрока в процессе реализации решений. Причина в том, что стабильность поддерживается многими вето-игроками с разными предпочтениями, что создает благоприятные условия для бюрократов интерпретировать текущую политику и реализовывать ее максимально близко к своей идеальной точке предпочтений, прекрасно понимая, что вето-игроки, не имея согласия в отношении принятия новых решений, не будут ей препятствовать.

Приведенный анализ определяет границы сохранения статус-кво при всех возможных конституционных и политических конфигурациях. Однако, как отмечает Дж. Цебелис, за скобками остаются правила, устанавливающие последовательность в принятии решений основными акторами. В частности, он утверждает,

что последовательность действий в законотворческом процессе сужает пространство поиска конечного решения. Несмотря на тот факт, что согласие всех вето-игроков требуется для изменения статус-кво или принятия нового решения, не все из них контролируют повестку. Первый шаг во взаимодействии всегда делает именно тот вето-игрок, который ее контролирует, он выбирает из множества альтернатив ту, которая ближе всего к его идеальным предпочтениям. Остальные вето-игроки поддерживают или не одобряют этот выбор. Таким образом, зная предпочтения актора, контролирующего повестку, можно предвидеть содержание конечного решения.

Например, в президентской системе конгресс формирует повестку, предлагая некоторый набор решений президенту, который может их принять или отклонить, наложив вето, которое, в свою очередь, преодолевается квалифицированным большинством легислатуры. Следовательно, конгресс обладает значительной властью по определению содержания законодательных решений, а президент только реагирует на его предложения. Однако тот факт, что исполнительная и законодательная власть в таких системах формируются изолированно друг от друга, все же делает их полноценными вето-игроками, каждый из которых имеет возможность поддерживать или блокировать принятие тех или иных альтернатив.

Иначе складывается ситуация в парламентских системах, где повестку контролирует правительство, а легислатура только реагирует на вносимые предложения, имея ограниченные возможности по внесению некоторых корректировок. Соответственно, окончательный вариант решения будет близок к правительственным, а не парламентским предпочтениям. Важен также тот факт, что в парламентских системах исполнительная власть избирается законодательной властью, а значит, парламент и правительство представляют одну и ту же коалицию (правительственная коалиция формируется на основе парламентской коалиции). Идеологическое расстояние между ними равно нулю, и нижняя палата легислатуры как вето-игрок, по сути, поглощается правительством, если оно опирается на поддержку парламентского большинства. Если же правительство не имеет стабильного большинства в парламенте, то входящие в него партии в любом случае включаются в состав любого возможного большинства, и происходит пересечение предпочтений.

Интересная конфигурация вето-игроков складывается в бикамеральных системах, где каждая из палат легислатуры самостоятельно рассматривает законопроекты и приходит к предпочитаемым каждой из них решениям. Если каждая из палат обладает правом вето, то для принятия закона необходимо получение поддержки большинства в каждой из них, что требует наличия общего понимания предпочтений в отношении конечного результата. При отсутствии согласия запускается процесс согласования позиций, при котором законопроект перемещается из одной палаты в другую до момента достижения согласия между ними, или же используется один из методов разрешения противоречий (создается согласительная комиссия, одна из палат преодолевает вето другой простым или квалифицированным большинством, происходит роспуск палат или выборы). Если принимается решение создать согласительную комиссию, то именно она становится актором, контролирующим повестку, так как вносит предложение, которое должно оказаться в пространстве выигрыша обеих палат.

Важные коррективы во взаимодействия вето-игроков вносит возможность проведения референдума, который рассматривается как альтернатива парламентскому законотворчеству. Вето-игрок, контролирующий повестку, может использовать

угрозу проведения референдума для обхода альтернативы решения, поддерживаемой легислатурой. Вместе с тем, если он использует такую стратегию, то должен хорошо понимать ожидания и предпочтения граждан и продвигать ту альтернативу, которая не только наиболее предпочтительна для него, но и будет поддержана гражданами в случае проведения референдума, который, в свою очередь, должен рассматриваться как крайняя мера, когда принимаемое легислатурой решение принципиально отличается от предпочтений вето-игрока, контролирующего повестку.

Иначе распределяются позиции в случае, если референдум может быть инициирован гражданами. В этом случае возникает конкуренция за контроль повестки, или за внесение в бюллетень вопросов, отражающих предпочтения. Например, эту позицию может занять ресурсный игрок, желающий изменения статус-кво в соответствии со своими предпочтениями, профинансировав сбор подписей и заручившись поддержкой крайне левых или крайне правых групп общества. В случае поддержки предложенной им инициативы на референдуме статус-кво по вопросу может сместиться сильно влево или сильно вправо. Незначительное смещение статус-кво и более точное отражение предпочтений общества происходит при участии волонтеров, собирающих подписи в поддержку инициативы без идеологических предубеждений и финансовой заинтересованности.

Незадолго до публикации основных положений теории вето-игроков другой исследователь, С. Мэйнворинг, представил результаты своего сравнительного исследования, эмпирически подтверждающего отдельные положения, сформулированные Дж. Цебелесом. С. Мэйнворинг исходил из идеи о том, что президентские демократии, в которых действуют фрагментированные легислатуры, менее устойчивы, чем аналогичные системы с низкофрагментированными легислатурами. Их неустойчивость объясняется высокой вероятностью возникновения тупиковых ситуаций между законодательной и исполнительной властями, что дестабилизирует демократическое правление. Под тупиковой ситуацией понимается противостояние парламентского большинства и президента как главы исполнительной власти, препятствующее законотворческому процессу в силу того, что парламентское большинство не настолько большое, чтобы преодолеть вето президента. Фрагментация парламента повысит вероятность того, что партия президента не будет контролировать большинство, это усилит угрозу возникновения тупиковых ситуаций в законотворческом процессе. Подобное невозможно в парламентских демократиях, где глава исполнительной власти всегда контролирует парламентское большинство.

С. Мэйнворинг изучил все страны, в которых в период с 1967 по 1992 г. имелся опыт демократического правления не менее 25 лет. Исследование выявило, что в этот период сохранились 24 парламентские демократии и только 4 президентские: Колумбия, США, Коста-Рика, Венесуэла. Отличительной особенностью устоявших президентских демократий, по сравнению с обрушившимися, по мнению автора, является действие двухпартийной системы. На момент 1993 г. только одна мультипартийная президентская республика сохраняла демократическое правление более 25 лет — Чили (1932–1973).

Приведенные эмпирические данные поддерживают ключевые положения теории вето-игроков, демонстрируя, что тупиковые ситуации есть залог сохранения политической стабильности в президентских демократиях, а увеличение числа вето-игроков ведет к дестабилизации режима.

Итак, можно видеть, что теория вето-игроков получила широкое признание в политической науке, предложив модель для исследования влияния институциональных комбинаций на результаты политики в отношении изменений и сохранения стабильности в различных сферах государственного управления. Она демонстрирует, что институциональные ограничения, типичные для той или иной политической системы, определяют стратегию поведения ключевых акторов, вовлеченных в процесс принятия решений, подчеркивая важность исследования возможностей не только каждого из них, но и их комбинаций, которые изменчивы и зависят от текущей политической конкуренции.

*О.В. Михайлова*

**Литература**

1. *Помигуев И.А.* Концепция вето-игроков: новый подход к изучению форм правления // Политическая наука. 2014. № 1. С. 199–210.

2. *Tsebelis G.* Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Multicameralism and Multipartyism // British Journal of Political Science. 1995. No. 25. P. 289–326.

3. *Tsebelis G.* Veto Players and Law Production in Parliamentary Democracies: An Empirical Analysis // American Political Science Review. 1999. No. 93. P. 591–608.

4. *Tsebelis G.* Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.

5. *Tsebelis G., Chang E.* Veto Players and the Structure of the Budgets in Advanced Industrialized Countries // European Journal of Political research. 2004. No. 43 (3). P. 449–479.

6. *Tsebelis G., Ha E.* Coalition Theory: A Veto Player's Approach // European Political Science Review. 2014. No. 6 (3). P. 331–357.

7. *Mainwaring S.* Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination // Comparative Political Studies. 1993. No. 26. P. 198–228.

# Теория селектората

Понятие «селекторат» не является новым для политической науки, его широко использовали исследователи, изучавшие партийное правление в демократических политических системах, маркируя им группу внутрипартийной элиты, обладающую властью выдвигать кандидатов для участия в выборах[1]. Существование такой группы внутри любой партии считается, с одной стороны, необходимым для организации ее деятельности, с другой стороны, это явно недемократический актор, контролирующий политическую конкуренцию.

По сути, селекторат осуществляет отбор до выборов, предлагая гражданам в день голосования отдать предпочтение не одному из тех кандидатов, которые действительно хотели бы участвовать в электоральной гонке, а одному из тех, кого предварительно отобрали партийные боссы, преследуя при этом узкогрупповые интересы[2]. Внутрипартийный отбор кандидатов не исключает конкуренцию, а также действие меритократического принципа, но приоритетное значение имеет лояльность кандидата селекторату, его способность стать прово-

[1] *Paterson P.* The Selectorate: The Case for Primary Elections on Britain. L.: MacGibbon & Kee, 1967.

[2] *Rahat G.* Candidate Selection: The Choice Before the Choice // Journal of Democracy. 2007. No. 18 (1). P. 157–170.

дником интересов партии в институтах законодательной и исполнительной власти. Политический вес селектората возрастает, если в стране действует пропорциональная избирательная система с закрытыми списками, когда для кандидата принципиально важно получить высокую позицию в этом списке, а избиратель не может повлиять на персональный состав легислатуры. Политические партии в современных демократиях предпринимают усилия по обеспечению открытости и прозрачности отбора кандидатов, расширяют возможности участия граждан в этом процессе, однако полностью избавиться от предварительного отбора не представляется возможным без риска утраты достигнутых политических позиций, поэтому до сих пор во многом процесс отбора, а не выборы определяет состав легислатур.

Понятие «селекторат» также использовали американские советологи, исследовавшие взаимоотношения лидера и партийной бюрократии[1]. Впоследствии оно стало применяться для изучения внутрипартийных отношений в других недемократических системах с одной доминирующей или гегемонистской партией[2].

Брюс Буэно де Москита с соавторами в начале 2000-х годов в русле уже сложившегося в науке понимания селектората предложил модель, объясняющую логику политического выживания лидера, а также условия материального благополучия граждан в разных типах политических режимов. Авторы рассматривают селекторат как один из элементов политического режима, а его размер по отношению к общей численности населения — как критерий, на основе которого возможно различать их типы. Функционально селекторат необходим для формирования коалиции некоторого размера (выигрывающая коалиция), которая гарантирует получение и/или сохранение властного положения лидера.

Размер этой коалиции, наравне с размером селектората, является ключевым институциональным фактором, определяющим политику режима. Иначе говоря, различия в проводимой лидерами политике следует объяснять различиями в размерах селектората и выигрывающей коалиции. Таким образом, авторы уходят от традиционных классификаций режимов, предлагая две решающие взаимосвязанные переменные для сквозного сравнения всех политических режимов путем отнесения их к тому или иному типу на основе оценки каждой из них.

Основное предположение авторов теории селектората состоит в том, что все политические лидеры мотивированы, прежде всего, желанием получить властные полномочия и их сохранить. Если политическому лидеру не удается сохранить власть, то на его место приходит конкурент, который смог приложить достаточно усилий и его попытка получить властные полномочия увенчалась успехом. Таким образом, политический лидер при любом типе режима постоянно вынужден вести конкурентную борьбу с оппонентами, оспаривающими его властное положение. В демократиях политическое противостояние лидера и его основного оппонента происходит публично, завершаясь в день голосования на выборах. В автократиях публичное пространство жестко контролируется, и оппонент диктатора сталкивается с серьезной угрозой потери свободы или жизни, поэтому предпочитает вести себя осмотрительно и сдержанно до тех пор, пока не сочтет, что настал подходящий момент бросить вызов автократу. По этой причине, в от-

---

[1] См., напр.: *Stern G.* Brezhnev and the Future: Leadership and the Problems of Succession in the Soviet Union // The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs. 1978. No. 68 (272). P. 340–347.

[2] См., напр.: *Shih V., Adolph Ch., Liu M.* Getting Ahead in the Communist Party: Explaining the Advancement of Central Committee Members in China // American Political Science Review. 2012. 106(1). P. 166–187.

личие от демократий, в автократиях крайне сложно идентифицировать оппонента, но это не означает, что политическая конкуренция отсутствует и властные позиции диктатора неуязвимы.

Будучи мотивированы сохранением власти, политические лидеры ведут себя по-разному: одни проводят политику, способствующую росту экономики и благосостояния граждан, другие, наоборот, совсем не заботятся об экономическом процветании страны и бесконтрольно, «хищнически», используют общественные ресурсы в собственных интересах, что ведет к росту коррупции и падению уровня и качества жизни граждан. Парадокс состоит в том, что, проводя хорошую политику, лидер сталкивается с большим количеством препятствий, усложняющих ему удержание власти, в отличие от лидера, проводящего плохую политику, но длительное время сохраняющего власть: «хорошая политика — это плохая политика, и плохая политика помогает лидеру остаться у власти»[1]. В этом несложно убедиться, сравнив основные показатели социально-экономического развития стран, в которых лидеры сменяются регулярно (демократии), и тех, где они находятся у власти многие десятилетия (диктатуры). Хотя нельзя не отметить, что если демократии, по сравнению с диктатурами, всегда демонстрируют высокие показатели материального благосостояния, то диктатуры неоднородны, среди них есть и страны с крайне низкими результатами экономической политики и сопоставимыми с демократиями.

Вариации в принимаемых лидерами решениях о распределении общественных ресурсов определяются институциональной средой, в которой они действуют. Так, любая политическая система, в понимании авторов этой теории, включает в себя: политического лидера, его конкурента (претендента), выигрывающую коалицию, селекторат и граждан (рис.).

**Рис.** Элементы институциональной среды в теории селектората

*Политический лидер (L)* — это один человек или группа должностных лиц, обладающих полномочиями по определению политики и распределению общественных ресурсов, находящихся в распоряжении государства. *Претендент (C)* — это человек, ставящий своей целью сместить политического лидера в соответствии

[1] *Bueno de Mesquita B., Smith A., Siverson R., Morrow J.* Political Competition and Economic Growth // Journal of Democracy. 2001. Vol. 12. P. 59–72. P. 59.

с правилами, установленными в политической системе, и получить контроль над государственной политикой.

*Граждане, или резиденты (N),* — все граждане, проживающие в государстве. Они вовлечены в экономическую активность государства, платят налоги и потребляют общественные блага. Это самая крупная группа, ее размер определяет масштаб политической системы, что важно для принятия решений о распределении ресурсов. При этом граждане делятся на две категории: те, которые включены в селекторат, и те, которые в него не включены (*бесправные*, или не обладающие правом участвовать в отборе лидера).

*Селекторат (S)* — это часть граждан, обладающих возможностью участвовать в отборе политического лидера. Не во всех странах у граждан есть право выбирать лидера, но во всех странах некоторая группа участвует в процедуре его отбора. Иначе говоря, селекторат не тождественен электорату. В политических системах устанавливаются различные ограничения на участие в отборе лидеров: чем больше таких ограничений, тем меньше размер этой группы. К таким ограничениям относятся: место рождения, родословная, навыки, убеждения, знания, богатство, пол, возраст, раса.

В некоторых типах автократий размер селектората незначительный, как, например, в монархиях, где он ограничен членами королевской семьи и в отдельных случаях некоторыми представителями высшей аристократии и духовенства, или в военных диктатурах, где его составляет высший генералитет всех родов войск. В других типах автократий, как, например, в диктатурах с доминантной партией, размер селектората существенно большой и включает все взрослое население страны. Проще всего определить размер селектората в демократиях, где он ограничен гражданами, имеющими право избирать, и их волеизъявление, действительно, играет роль в отборе лидера.

*Выигрывающая коалиция (W)* — это часть селектората, благодаря поддержке которой лидер наделяется властными полномочиями в политической системе. Специфика этой коалиции определяется двумя факторами: (1) ее поддержка необходима для сохранения властных позиций политического лидера, т.е. если ее участники перейдут на сторону претендента, то их невозможно будет быстро заменить и лидер потеряет власть; (2) ее участникам предоставляются привилегии, недоступные тем, кто в нее не входит.

Так, в демократиях для премьер-министра выигрывающая коалиция ограничена половиной численности нижней палаты парламента. При этом для парламентария выигрывающая коалиция состоит из половины от численности электората в избирательном округе (в условиях плюральной системы). В президентской республике размер выигрывающей коалиции главы государства составляет 50% + 1 голос от всего электората страны.

В недемократических системах устанавливаются дополнительные требования к участникам коалиции, которыми не обладают другие участники селектората. Например, селекторат формируется из всех граждан страны, достигших 18 лет, но для сохранения власти лидеру необходима поддержка половины членов его партии, чья численность может составлять 3–5% селектората. В военной диктатуре выигрывающая коалиция состоит из генералов, которые совместно контролируют все вооруженные силы страны.

Модель в теории селектората предполагает, что политический лидер и претендент инициируют процесс формирования коалиции, достаточно большой по размеру, чтобы удержать или завоевать власть. Они апеллируют к селекторату для соз-

дания выигрывающей коалиции, способной наделить каждого из них властью над остальной частью селектората и гражданами.

Политический лидер имеет объективное преимущество перед претендентом — в его распоряжении находятся средства государственного бюджета, которые он направляет на сохранение лояльности участников выигрывающей коалиции. Лояльность может быть обеспечена либо за счет предоставления им особых привилегий — *частных благ* (эксклюзивный доступ к государственным контрактам, предоставление дорогих земельных участков и пр.), либо проведением государственной политики, направленной на рост благосостояния всех граждан — *общественных благ* (увеличение расходов на образование, здравоохранение, социальную поддержку, инфраструктуру и пр.). Помимо производства общественных и частных благ лидер определяет ставку налога, от размера которой будет зависеть объем бюджетных средств, находящихся в его распоряжении, а также решение граждан о распределении своего времени, какую его часть потратить на экономическую активность, а какую на отдых.

Претендент, в свою очередь, оперирует только обещаниями, мотивируя присоединиться к его выигрывающей коалиции, но не может гарантировать, что они будут исполнены, поэтому предсказуемо испытывает дефицит доверия со стороны селектората. В своем стремлении сместить лидера, обращаясь к селекторату, он акцентирует необходимость производства общественных благ, критикует проводимую лидером политику, разоблачает его коррупционные махинации.

Проводимая лидером политика будет зависеть от требуемого для удержания власти *размера выигрывающей коалиции*. Лидер малой выигрывающей коалиции склонен производить частные блага, потому что их недоступность другим будет увеличивать преимущества участия в ней, а лидер широкой коалиции вынужден больше ресурсов тратить на производство общественных благ, потому что размер частных благ на каждого участника коалиции сокращается и становится непривлекательным, тем самым утрачивается преимущество лидера перед претендентом.

Например, если в распоряжении лидера имеется 1 млрд руб. при $W = 1000$ чел. (узкая коалиция), каждый из ее участников при равном распределении потенциально получает 1 000 000 руб., а при $W = 1\,000\,000$ чел. (широкая коалиция) — всего 1000 руб.

Иначе говоря, чем шире выигрывающая коалиция, тем больше ресурсов требуется на удовлетворение потребностей ее участников, и лидеру необходимо проводить хорошую политику, обеспечивающую экономический рост, и предоставлять общественные блага, чтобы поддерживать лояльность значительного числа сторонников. Лидер малой выигрывающей коалиции сохраняет равнодушие к общественным проблемам, потому что он обеспечивает свое окружение достаточным объемом частных благ для поддержания их лояльности.

Блага, требуемые членами селектората для присоединения к выигрывающей коалиции, зависят как от размера последней, так и от *размера самого селектората*. Соотношение $W/S$ позволяет лидеру оценивать вероятность сохранения лояльности членами выигрывающей коалиции и объем предоставляемых им благ. Чем меньше значение нормы лояльности, тем лояльность выше; чем оно больше, тем лояльность ниже (для участника выигрывающей коалиции растет вероятность стать членом коалиции претендента).

Другими словами, при узкой $W$ и более широком $S$ членство в выигрывающей коалиции имеет высокую ценность, так как в большом по размеру селекто-

рате имеется множество претендентов на занятие позиции в случае выхода из нее хотя бы одного участника. Однако, понимая, что члены выигрывающей коалиции высоко ценят нахождение в ней, лидер может сократить расходы на частные блага, а оставшиеся деньги направить на производство общественных благ, которые обещает претендент в случае прихода к власти, или присвоить себе. И наоборот, при широкой *W* и меньшем размере *S* участники выигрывающей коалиции будут склонны требовать от лидера бо́льшего объема благ, их лояльность будет ниже, а значит, меньше денег лидер сможет присвоить себе и у него появляется больше стимулов проводить хорошую экономическую политику, увеличивающую доходы бюджета, необходимые для сплочения многочисленной выигрывающей коалиции.

В интересах участников выигрывающей коалиции удержание ее в небольших размерах для сохранения гарантированного эксклюзивного доступа к частным благам при одновременном сокращении размера селектората для снижения вероятности их изгнания лидером и получения этих благ в большом объеме. В свою очередь, селекторат заинтересован в расширении выигрывающей коалиции, что повлечет за собой увеличение затрат бюджета на производство общественных благ и увеличение вероятности для его участников попасть в состав выигрывающей коалиции. Однако участники селектората не стремятся к расширению своей группы, что усиливает конкуренцию за попадание в выигрывающую коалицию. Эти опасения ослабевают по мере увеличения размера выигрывающей коалиции и роста производства общественных благ. Граждане, не входящие в выигрывающую коалицию, ожидают такого соотношения выигрывающей коалиции к селекторату, которое гарантирует производство в большом объеме общественных благ. А идеалом для лидера, но при этом худшим вариантом для общества является политическая система с маленькой выигрывающей коалицией, широким селекторатом и фиктивной электоральной системой, что позволит ему длительное время удерживать власть, становиться богаче за счет труда граждан и ограничить производство общественных благ.

Возможные комбинации размеров выигрывающей коалиции и селектората ассоциируются с разными типами политических режимов:

1) *наличие широкой выигрывающей коалиции* напоминает демократию, в которой лидеру для победы на выборах требуется значительное число сторонников, все граждане старше определенного возраста обладают избирательным правом, правительство предоставляет им в достаточном объеме общественные блага при высокой производительности экономики;
2) *небольшой размер выигрывающей коалиции и селектората* напоминает монархии и военные режимы, в которых лидеру для удержания власти требуется небольшое число сторонников из немногочисленных групп (аристократия, священнослужители, армия), правительством предоставляется гражданам незначительный объем общественных благ при явном доминировании частных благ для ближайшего окружения лидера;
3) *узкая выигрывающая коалиция и большой размер селектората* напоминает автократию, в которой лидеру требуется незначительное число сторонников для удержания власти, отбираемых из огромного числа людей, формально наделенных избирательным правом, правительство производит незначительный объем общественных благ, объем частных благ велик, а лидер присваивает себе значительные богатства, производимые гражданами.

Авторы теории селектората провели сравнение политических режимов с широкими и узкими выигрывающими коалициями на предмет обеспечения ими реальных темпом роста доходов на душу населения. Исследование охватывало страны с 176 наиболее демократическими лидерами и 179 с наиболее авторитарными в период с 1952 по 2000 г. В соответствии с полученными результатами, ежегодно среднестатистический демократ обеспечивает рост в 3,04%, автократ — 1,78%. Так образом, если бы две страны в 1952 г. имели одинаковые показатели дохода на душу населения — 500 долл., но при этом разные типы политических режимов, то к 2000 г. автократия обеспечила бы доход в 1200 долл., а демократия — 4480 долл.

Заметная разница в уровне экономического развития демократий и автократий также объясняется размером выигрывающей коалиции. В небольших по размеру выигрывающих коалициях лояльность ее участников лидеру поддерживается за счет предоставления дорогих частных благ. Однако здоровая экономика снижает их предельную полезность, это побуждает лидеров узких коалиций уменьшать размер экономики, подавлять ее рост, опасаясь, что экономические возможности снизят лояльность участников коалиции, способствуя тем самым росту бедности граждан.

В системах с крупными выигрывающими коалициями лояльность лидеру поддерживается за счет производства общественных благ, которые дешевы в расчете на душу населения и могут использоваться для удовлетворения потребностей одновременно множества людей в государстве. Вместе с тем особенность общественных благ состоит в неисключаемости их потребления, а значит, невозможно ограничить к ним доступ гражданам, не входящим в выигрывающую коалицию. В итоге все граждане страны получают пользу от производимых лидером общественных благ, это увеличивает продуктивность работы, благоприятствует росту экономики и благосостояния, снижая предельную полезность частных благ.

К авторам теории селектората неизбежно возникает резонный вопрос о влиянии не столько институциональных условий, сколько типа политического лидера и его личных устремлений на политику по производству частных и общественных благ. Они отвечают на него однозначно — наличие у лидера благородных устремлений в отношении общественных интересов не является ни достаточным, ни необходимым условием для проведения хорошей политики, для этого требуются институты, создающие условия для формирования широкой выигрывающей коалиции. Иначе говоря, если политические институты в стране таковы, что бо́льшая часть граждан может участвовать в отборе лидера, а лидер зависит от большой доли селектората для сохранения власти, только тогда у власти будут находиться политики, обеспечивающие высокое качество государственного управления. И не имеет значения, руководствуется ли он при этом благородными целями или следует логике политического выживания и сохранения власти.

Убедиться в этом можно, сравнив политику одного и того же лидера, правящего в двух разных институциональных конфигурациях. В этой связи хрестоматийным стал пример бельгийского короля Леопольда II (1865–1909), который вошел в историю страны как один из самых выдающихся ее правителей. За время нахождения у власти он предоставил своим подданным значительное количество общественных благ: успешные реформы, обеспечившие высокие темпы экономического и индустриального развития, расширение всеобщего избирательного пра-

ва, принятие законов, защищающих права рабочих, ограничение детского труда, содействие росту образования.

Улучшая качество управления государством в Бельгии, одновременно он проводил совсем другую политику в Конго, которой он также правил в этот период времени (1865–1908). За несколько десятилетий он превратил огромную страну в трудовой лагерь, в котором конголезцы работали в рабских условиях на каучуковых плантациях и добывали слоновую кость, что приносило огромные доходы королю, но не жителям этой страны. Для обеспечения своей власти Леопольд II создал низкооплачиваемые военизированные отряды, бойцы которых получили право на дополнительный доход от добычи каучука и слоновой кости, что мотивировало их использовать жестокие меры для принуждения жителей к труду и обеспечило высокий уровень лояльности королю. Леопольд II стал благодетелем для Бельгии и жестоким дельцом для Конго, потому что в Бельгии институционально была установлена конституционная монархия, в которой его правление было основано на поддержке всенародно избираемого правительства (широкая выигрывающая коалиция), а в Конго — его частная собственность, где ни один институт не сдерживал его действия, а опорой режима стал военизированный корпус, в интересах которого производились частные блага. Какой Леопольд II настоящий?

Наиболее уязвимым элементом теории селектората, признаваемым самими авторами, является измерение размеров выигрывающей коалиции и селектората на большой выборке стран. Надежные эмпирические данные для решения этой задачи отсутствуют, и исследователям приходится опираться на грубые показатели индексов режимов. По оценке авторов, отдельные индикаторы, используемые для измерения режимов, позволяют судить об искомых размерах, хотя и не в чистом виде.

Так, размер селектората определяется широтой участия граждан в формировании легислатуры; 0 — легислатура отсутствует в политической системе; 0,5 — невыборный способ формирования легислатуры; 1 — легислатура формируется на основе выборов. Иначе говоря, способ отбора в легислатуру является показателем инклюзивности селектората государства. Однако, как известно, не только в демократиях, но и в большинстве автократий легислатуры формируются на основе регулярно проводимых выборов, что при этом не позволяет говорить об одинаковом размере селектората в таких странах, как, например, Франция и Узбекистан.

Размер выигрывающей коалиции определяется по шкале от 0 до 1 как индекс четырех элементов с одинаковым весом. Первый элемент (25%) — тип режима, взятый из *Cross-National Time-Series Data Archive*[1]. *Остальные три элемента берутся из базы данных PolityI V*[2]*: XRCOMP* (конкурентность рекрутирования исполнительной власти), *XROPEN* (возможность для каждого активного гражданина страны получить высшую должность в исполнительной власти), *PARCOMP* (конкурентность участия). Однако, по справедливому замечанию критиков, более широкая выигрывающая коалиция коррелирует, но не тождественна демократическому режиму и высокому уровню политической конкуренции, ровно как и малый размер выигрывающей коалиции не всегда однозначно связан с автократией.

---

[1] *Banks A.S.* Cross-National Time-Series Data Archive. Binghamton, N.Y.: Databanks Intl., 2002.

[2] *Marshall M., Jaggers K.* Polity IV Project: Dataset Users' Manual. Integrated Network for Societal Conflict Research (INSCR) Program, Cent. Int.l. Dev. Confl. Manage. (CIDCM). University of Maryland, College Park, 2002.

Помимо проблемы измерения, критики обращают внимание на игнорирование авторами специфики смены власти в автократиях. В предложенной ими модели смена власти происходит в результате конкуренции, что позволяет ей хорошо работать в институционализированных демократиях, где происходит конвенциональная смена власти в результате выборов. Автократии существуют на принципиально иных основаниях, их лидеры правят в крайне непредсказуемых и неопределенных условиях, под давлением реальных и воображаемых угроз, исходящих из многих источников, в двух третях случаев[1] они оставляют власть в результате силового давления, смерти, а не выборов, что ставит под сомнение значимость размера выигрывающей коалиции для его политического выживания.

Авторы также оставляют за скобками тот факт, что в демократиях конституционно ограничено время нахождения лидера у власти, что может объяснять непродолжительность нахождения его у власти при проведении хорошей политики. По сравнению с ними автократы находятся в более благоприятных условиях, так как имеют возможность изменять электоральное законодательство, контролировать политическую конкуренцию и гарантировать лояльность всех институтов власти в целях увеличения периода своего нахождения во власти.

В обновленной версии теории селектората авторы отреагировали на критику, связанную с ролью граждан, не включенных в селекторат. Первоначально их единственный источник власти был связан с возможностью лишить лидера налоговых поступлений, выбрав досуг вместо работы в случае повышения ставки налога, представление благ этой категории граждан не имело никакого отношения к политическому выживанию лидера. Другими словами, авторы игнорировали революционный потенциал бесправных граждан, что позволяло им однозначно предсказывать, что предоставление общественных благ будет находиться на низком уровне в системах с малой выигрывающей коалицией. Впоследствии они внесли в модель революционный компонент, или возможность возникновения ситуации, при которой усилия лидера по подкупу потенциальных революционеров не увенчаются успехом. В итоге вероятность революции будет зависеть от ее цены, ожиданий в отношении нее лидеров и объема общественных благ, предлагаемых текущим лидером.

Несмотря на достаточно высокий уровень абстракции при изучении политических процессов, теория селектората завоевала авторитет среди исследователей, предложив рабочую модель для сравнения режимных характеристик политических систем с возможностью дальнейшей интенсификации изучения отдельных кейсов и уточнения национальных деталей.

*О.В. Михайлова*

**Литература**

1. *Заостровцев А.П.* Политико-экономический анализ: теория селектората // Вестник Удмуртского ун-та. Экономика и право. 2012. Вып. 2. С. 19–24.

2. *Bueno de Mesquita B., Morrow J.D., Siverson R.M., Smith A.* Political Competition and Economic Growth // Journal of Democracy. 2001. No. 12 (1). P. 58–72.

3. *Bueno de Mesquita B., Smith A.* Leader Survival, Revolutions, And the Nature of Government Finance // American Journal of Political Science. 2010. No. 54 (4). P. 936–950.

4. *Bueno de Mesquita B., Smith A.* Political Survival and Endogenous Institutional Change // Comparative Political. Studies. 2009. No. 42(2). P. 167–197.

[1] *Svolik M.W.* The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012.

5. *Bueno de Mesquita B., Smith A*. The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics. N.Y.: PublicAffairs, 2011.

6. *Bueno de Mesquita B., Smith A., Siverson R.M., Morrow J.D*. The Logic of Political Survival. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

7. *Rahat G*. Candidate Selection: The Choice Before the Choice // Journal of Democracy. 2007. No. 18 (1). P. 157–170.

8. *Shih V., Adolph Ch., Liu M*. Getting Ahead in the Communist Party: Explaining the Advancement of Central Committee Members in China // American Political Science Review. 2012. No. 106 (1). P.166–187.

# Экономическая политология

Понятие «экономическая политология» совсем недавно вошло в научный оборот. После концептуальной статьи А.Д. Богатурова в 2011 г.[1] ученые Института государственной службы и управления РАНХиГС развернули широкую научную дискуссию о статусе и проблемном поле экономической политологии.

В ходе научного дискурса на повестку дня были поставлены вопросы, позволившие уточнить потребность в формировании этой отрасли политической науки и новой учебной дисциплины, охарактеризовать специфику ее предметного поля, понять перспективы развития.

В контексте этого междисциплинарного дискурса ученые подчеркивали значение разворачивающегося в мире финансового экономического кризиса (способного привести к фундаментальному изменению характера современного капитализма), востребовавшего новых взаимоотношений государственных институтов и частного предпринимательства, обусловившего новое соотношение экономического и внеэкономического регулирования хозяйственно-(пере)распределительных процессов как в мировом масштабе, так и в рамках национального государства[2]. Иначе говоря, это отразило не только сложное переплетение тенденций усиления активности государства (в части усиления централизации как средства сохранения своих доминирующих позиций), но и повышение политической активности бизнеса, стремящегося использовать свой политический потенциал для получения необходимых финансово-экономических ресурсов.

Одновременно ряд специалистов подчеркивал, что политическая наука достигла такого уровня развития, когда она не только успешно интегрирует достижения других социальных наук, но и в состоянии оказывать реальное воздействие на конфигурацию и содержание экономических процессов.

И хотя вопрос стоял по существу, все же основные дебаты — видимо, обусловленные пониманием фактической неразделенности власти и собственности, наличия большого сегмента государственной собственности и теневой экономики, действия на рынке монопольных корпораций, отсутствия четких «правил игры»,

---

[1] *Богатуров А.Д*. Понятие экономической политологии и особенности ее проблемного поля в России // Полис. Политические исследования. 2011. № 4.

[2] Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингемана; науч. ред. русс. изд. проф. Е.Б. Шестопал. М., 1999.

слабости гражданского общества и т.д. — связывали появление экономической политологии с внутрироссийским контекстом.

По части уточнения объекта и предметного поля новой отрасли политической науки высказывались мнения, что классическая политэкономия изучает преимущественное влияние экономики на политику, в то время как экономическая политология — влияние политики на экономику. Преимущественное положение такой позиции дало возможность подтвердить ориентацию этой науки на изучение политических условий и практик функционирования бизнеса на различных аренах государства, а также его отношений с институтами и структурами власти различного уровня. Одновременно такое положение позволило дифференцировать ряд направлений экономической политологии. По мнению участников дискуссии спектр таких исследований простирается от изучения общих моделей взаимоотношения бизнеса и власти (демонстрирующих различный уровень отделения/объединения власти и собственности, влияющих на характер участия бизнеса в принятии политических решений) до (цифровых) технологий влияния субъектов предпринимательства на структуры государственного управления (в форме лоббирования, применения технологий *GR*, *PR*, государственно-частного партнерства), политические партии, НКО и другие гражданские и международные объединения, действующие в поле национальной и мировой политики.

В данном контексте дискуссия разгорелась относительно изменения политической роли третьего сектора, различения статуса государства как общественного и политического института (выполняющего роль структуры, поддерживающей социальный порядок, или являющегося одним из субъектов борьбы за власть).

Наряду со скепсисом, связанным, в частности, с признанием пересечения предметных полей новой субдисциплины с традиционными формами изучения хозяйственно-производственных и распределительно-перераспределительных отношений, высказывались предложения, позволяющие конституировать экономическую политологию. Так, Р.А. Явчуновская предлагала расширить предмет экономической политологии за счет изучения международных, идеологических, дипломатических, военных, правовых, конфессиональных и других факторов, влияющих на конфигурацию отношений власти, бизнеса и государства, а также возникающих в этих политических сегментах рисков. А.Р. Закиров указывал на необходимость изучения интеракций более дифференцированного набора акторов, представляющих интересы трех глобальных участников этих отношений (правительства, покупателей, продавцов), а Н.П. Игнатов обратил внимание на значение инновационных политических проектов бизнеса и роль «народной смекалки», при помощи которой удается обходить различные «бутылочные горлышки» в административном пространстве.

Тем не менее в целом преобладающее мнение ученых состояло в утверждении того факта, что заявка на новую отрасль политической науки вызвана тем, что российская политическая экономия, не вполне адекватно отражая роль внеэкономических, политически целесообразных корректировок экономических отношений, вольно или невольно «заужает» изучение пространства отношений, связанных с производством и (пере)распределением общественных благ и ресурсов (А. Соловьев). Собственно, эти, условно говоря, «бесхозные» отношения государства, бизнеса и общества и пытается освоить экономическая политология. Такая позиция

подтверждается еще и тем, что в зарубежной — причем не только западной — науке политэкономия традиционно проходит по департаменту политических наук, явно демонстрируя роль властно значимых факторов как особых источников и форм эволюции экономических процессов. А вот в России пока еще ситуация иная. В свою очередь А.Б. Шатилов и П.С. Селезнев считают, что теоретической базой экономической политологии мог бы стать теоретический синтез, с одной стороны, социологии и политологии, а с другой — финансов и экономики.

Одним словом, несмотря на разнородность мнений, общий пафос обсуждения все же состоял в поддержке мысли Богатурова, подчеркивавшего, что концептуализация этой сферы знаний, прежде всего, важна «для таких стран, как Россия, с характерной для них спецификой... отношений» государства и бизнеса, «резко отличающихся от тех, которые существуют в странах “зрелого рынка и демократии” — государствах западной части Европейского союза, США и Канаде»[1].

В целом наряду с учетом универсальных факторов в развитии политологического знания учеными была отмечена и роль специфически российских факторов, отражающих, в частности, усложнение взаимоотношений экономических и политических процессов в контексте осовременивания государства и общества, а также с нарастанием противоречий в проектировании стратегий российского социума в условиях смены политических режимов.

Состоявшаяся дискуссия, а равно опыт соответствующих исследований дает основание констатировать, что экономическая политология представляет собой отрасль теоретико-прикладного научного знания, изучающую пути и формы взаимодействия и упорядочения интересов власти, бизнеса и общества на основе акцентированного внимания к различным формам зависимости производственных и хозяйственно-распределительных процессов от идеологических целей и ценностей, состояния политического сознания элитарных и неэлитарных слоев, традиций политической культуры, а также иных компонентов поля политики с учетом их темпоральных и территориальных параметров.

В принципе, можно согласиться с позицией А.Д. Богатурова, рассматривающего в качестве объекта экономической политологии общие закономерности отношений бизнеса (предпринимающего новые шаги по поводу влияния на власть и извлечения прибыли) с государством и обществом (с учетом их специфики в различных странах). При этом в качестве предметных областей этой науки целесообразно рассматривать различные социальные арены взаимоотношений политических и экономических акторов, опосредующих разработку и воплощение политических целей в сфере производства и (пере)распределения ресурсов, отражая тем самым характер применения принципов и методов разработки государственных решений, механизмы и технологии прогнозирования, планирования и программирования. При этом центральным значением обладает деятельность государства по руководству и управлению экономическими связями и отношениями, использованию его институтами, структурами и статусными фигурами различных инструментов регулирования народно-хозяйственных процессов для достижения национальных интересов и приоритетов[2].

---

[1] *Богатуров А.Д.* Понятие экономической политологии и особенности ее проблемного поля в России // Полис. Политические исследования. 2011. № 4. С. 8.

[2] Предметное поле экономической политологии: Монография / Под. ред. Л.Е. Ильичевой, В.С. Комаровского. М.: Аспект Пресс, 2018.

Предметные очертания экономической политологии пересекаются и с исследованиями в области *PR* (*public relations*) и *GR* (*government relations*), однако только в той части, которая касается активности субъектов предпринимательства, а также процессов лоббирования. В этом плане экономическая политология изучает политическую роль бизнеса в обществе и государстве, стратегию институтов государственного управления в отношении предпринимательства, а также поведение бизнеса в отношениях с властью. Более того, экономическая политология рассматривает бизнес в качестве специфического субъекта политического влияния, тем самым стремясь обнаружить конфигурацию его конструктивных коммуникаций с государством в типичных и кризисных ситуациях, выявить возможности урегулирования конфликтов и поддержания отношений сотрудничества этих сторон.

В содержательном контексте наиболее значимые параметры проблемного поля экономической политологии включают:

1) корпус теоретико-методологических подходов, моделей и представлений, раскрывающий природу и сущность взаимоотношений государства, бизнеса и общества и позволяющий схематизировать различные связи человека, богатства и власти, личных и общественных благ, соотношение экономических и политических моделей идентичности людей, занятых в производстве и (пере)распределении благ и ценностей;
2) универсальные, особенные и специфические формы взаимоотношений институтов власти, бизнес-сообщества и гражданских структур как политических акторов, включенных в систему государственного управления и рыночные взаимоотношения и руководствующихся различными интересами, позициями и ориентирами, влияющими на проектирование тактических и стратегических планов и программ, продвижение и достижение национальных целей и приоритетов с учетом внутренних и международных аспектов их деятельности;
3) формы, способы и характер восприятия государственными, предпринимательскими и гражданскими структурами национальных интересов и традиций, присущие им возможности и ожидания относительно участия в обсуждении, разработке и исполнении политических решений, процессах (пере) распределения ресурсов; роль политико-административных элит и сетевых образований правящего класса в формировании государственной политики; характер позиционирования и роль различных медиаторов (включая институт массмедиа) в поддержании публичных и латентных коммуникаций акторов, представляющих государство, предпринимательское сообщество и гражданские структуры. Способы формирования и трансляции нравственно-этических принципов и моделей официального патриотизма как факторов политической активности представителей власти, бизнеса и общества, поддержания и обновления общественного договора между этими участниками экономических отношений;
4) условия функционирования бизнеса как политического актора на различных уровнях организации публичной власти, ресурсы и возможности повышения его паблицитного и репутационного капиталов, а также обретения иных ресурсов в целях достижения привилегированного общественного положения и политического влияния на принятие решений;

5) процессы, механизмы и технологии формирования образа будущего страны как точки агрегирования и координации интересов власти, бизнеса и общества, их аутентичного воплощения и сохранения общенациональных приоритетов. Методы формирования прогнозных презумпций и планов политического и социально-экономического развития государства с учетом пространственного характера их фактического воплощения;
6) процессы стратегического управления политическими, экономическими, общественными и административно-правовыми процессами в целях достижения национальных приоритетов и предотвращения возможных рисков, угроз и опасностей. Разнообразие властно значимых конфликтов бизнеса с обществом и властью, технологии их урегулирования и разрешения. Роль личности политика и чиновника в поддержании деловых коммуникаций власти и бизнеса, специфические формы активности предпринимателей в поле политики (с учетом мирового опыта и российской практики);
7) процессы, механизмы и технологии организации и управления проектами государственно-частного партнерства в контексте достижения национальных целей и приоритетов, включающие исследование территориальных, трансрегиональных и локальных моделей взаимодействия власти, бизнеса и общества. Роль органов государственной власти и местного самоуправления, структур бизнеса и гражданского общества при формировании и реализации данных проектов.

Характер изучения экономической политологией широкого спектра проблем во взаимодействии политики и экономики обусловлено наличием трех уровней ее логически дифференцированных знаний, отражающих соответствующие ступени исследования. В этой когнитивной структуре экономической политологии выделяются следующие уровни:

— фундаментальные теоретические модели и базовые категории, составляющие научный базис «политической экономии»;
— теоретические схемы, понятия и представления среднего уровня, соответствующие специфическому характеру исследований «экономической политологии»;
— эмпирические сведения, суждения и оценки, используемые в практической деятельности для разработки и реализации целей «экономической политики».

Применительно к данной когнитивной структуре экономической политологии следует сказать, что в настоящее время ее общетеоретическая платформа лишь частично апеллирует к моделям рационального выбора, а в решающей степени формируется с опорой на ключевые идеи неинституционализма, бихевиоризма, коммуникативистики, сетевой теории, а особенно социокультурного и психологического подходов, демонстрирующих особенности политической активности коллективного актора, зачастую обусловленных далеко не *рационалистическими* экономическими мотивами граждан.

Одновременно этот уровень научной рефлексии показывает, что экономическая политология (как дисциплина политологического спектра) органично свя-

зана с изучением борьбы и конкуренции за власть с тем, возможно, оттенком, что рассматривает их как разновидности борьбы за обогащение (или за возникающую в этом процессе добавленную стоимость), как формы политического бизнеса. В этих условиях высвечивается как логика активности субъектов политики (осознанно или неосознанно демонстрирующих манеры, присущие участникам бизнес-процесса), так и используемые ими приемы такого взаимодействия (ориентирующиеся и на искомый результат, и на увеличение длительности этого процесса, имеющего свою экономическую стоимость).

В этом аспекте научными методами вскрываются такие результаты деловых коммуникаций, направленных на поиск бенефита в результате целесообразной деятельности государственных или корпоративных акторов, которые невозможно объяснить лишь с позиций рациональной методологии (т.е. того профиля когнитивной активности, на который традиционно опираются экономисты). Иначе говоря, экономические политологии (вопреки традиционным подходам и корпоративным интересам традиционно настроенных политэкономов) предлагают более тонкие методы изучения экономических интересов для адекватного отображения политической реальности. Впрочем, можно быть уверенными, что усложнение политико-экономических проблем при предполагаемом расширении междисциплинарных методов постепенно заставит «классических политэкономов» перейти на рельсы политического анализа экономических процессов.

В свою очередь, когнитивная структура экономической политологии как теории среднего уровня наделяет ее задачей изучения процессов и факторов, раскрывающих — в рамках базовых представлений — влияние различных социально-политических противоречий и иных форм политического контекста на выработку решений и рекомендаций руководителям различного уровня относительно урегулирования экономических конфликтов. При этом с точки зрения своей эмпирической составляющей миссия экономической политологии состоит в накоплении, обобщении и систематизации (ретроспективного и актуального) опыта развития отношений между структурами и институтами государственной власти с экономическими контрагентами в различных современных политиях.

В рамках эмпирического профиля экономической политологии акцент делается на исследовании содержания и роли различных политических технологий и инструментов государственного управления (направленных на рационализацию средств и определение соответствующих схем поведения участников), что обусловлено задачами оптимизации решения практических проблем. Причем изучение данного уровня проблем, связанных с поиском повышения эффективности решения социально-экономических задач (сочетающихся с расширением политических альтернатив), предполагает вовлечение и расширение участия в исследованиях специалистов (компетентных не только в вопросах политики, но и аппаратного взаимодействия и деятельности структур гражданского общества и бизнеса), способных дать комплексный анализ экономических процессов, включающий в интеллектуальную схему «обособленные» политические, экономические и социальные вопросы.

В целом в рамках предметного поля экономической политологии, как правило, исследуется три типа технологий (внеэкономического действия): обеспечивающих корректировку и целенаправленное изменение правил взаимодействия между субъектами политического процесса (в том числе путем изменения нормативной и институциональной базы); обеспечивающих внесение в массовое созна-

ние новых представлений и ценностей, а также формирование новых установок и убеждений и позволяющих манипулировать целями и различными формами экономической активности людей.

В содержательно развернутом плане фокус на изучение различных видов политических технологий предполагает исследование соответствующих методов и приемов, связанных с особенностями политического управления; обеспечением поддержки политических решений и связей с общественностью; управлением массовыми и корпоративными инфопотоками; политическим прогнозированием, планированием и программированием; фасилитацией и организацией политических союзов; урегулированием политических конфликтов; организацией лоббистской деятельности; управлением сетевыми коалициями. В более конкретном выражении это технологии, предполагающие корректировку функций структуры органов исполнительной власти и местного самоуправления (в том числе используемые для распределения и разграничения полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями власти); способствующие оптимизации процессов администрирования и кадрового обеспечения деятельности институтов; направленные на противодействие коррупции; поддерживающие и развивающие потенциал государственно-частного партнерства; обеспечивающие дальнейшее встраивание в структуру государственной власти инструментов электронного администрирования и цифрового управления.

В русле исследовательских интересов экономической политологии находится и изучение политико-административных технологий, связанных с формированием стратегических целей и приоритетов развития отечественной экономики, разработкой индикативных планов, правительственных программ и проектов (заключение контрактов и госзаказов); устанавливающих рамки и ограничения бюджетного инвестирования; обеспечивающих формирование и реализацию государственных заказов и контрактов на поставку продукции; лицензированием определенных видов экономической деятельности; определением требований к качеству продукции и механизмам их сертификации. Особое место занимают и технологии, оказывающие косвенное влияние на интересы и стимулы поведения хозяйствующих субъектов (в виде корректировки налоговой, кредитной, внешнеэкономической, валютной и амортизационной государственной политики).

Имеющийся опыт исследований обозначенного выше предметного поля экономической политологии показывает, что в ее современном профиле фактически сформировались следующие направления исследования:

1) изучение основных тенденций развития стратегически важных геополитических и геоэкономических процессов и явлений, оказывающих принципиальное воздействие на позиционирование мирового и национального бизнеса и характер его влияния на политику национальных государств по распределению общественных благ и ресурсов. Для этого проводится детальный политико-экономический анализ с использованием в том числе всего спектра таксономических методов исследования. В результате формируется (наряду с существующими международными показателями) набор синтетических (композитных) показателей тенденций и динамики развития геополитических и геоэкономических процессов, влияющих на формирование и достижение национальных целей и приоритетов конкретного государства;

2) изучение политико-административных процессов и механизмов разработки стратегических планов и направлений общественного развития, выработки ключевых целей и задач развития национального государства, разработка версий и альтернатив совершенствования работы аппарата управления и институтов государственной и муниципальной службы;
3) исследование влияния иерархической и сетевой структур бизнеса и гражданского общества на механизмы власти, управления и принятия решений в целях координации их интересов и сохранения приоритета национальных интересов;
4) определение моделей, технологий и механизмов взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества в реализации национальных целей и приоритетов в рамках различных форм проектирования в области производства и (пере)распределения благ и ресурсов;
5) комплексная оценка политических, экономических и социальных рисков и угроз в процессе формирования различных видов государственной политики;
6) формирование образа будущего страны в публичном и профессиональном дискурсах как точки сборки интересов власти, бизнеса и общества;
7) формирование и обновление общественного договора как платформы конструктивного сотрудничества власти и общества о совместном движении в направлении конструктивного образа будущего;
8) совершенствование технологий и механизмов стратегического управления политическими, экономическими и социальными процессами для достижения национальных целей и приоритетов;
9) совершенствование технологий и механизмов развития духовно-нравственных ценностей российского общества как фундамента гражданского единения, солидарности и справедливости, воплощенных в национальных целях и приоритетах;
10) формирование проектов государственно-частного партнерства по отдельным направлениям политического, экономического и социального развития страны.

Итак, можно видеть, что концептуализация экономической политологии связана не только с усложнением современных взаимоотношений государства, бизнеса и общества как политических акторов, обладающих особыми позициями относительно перспектив общественного развития и методов достижения целей. Принципиальную роль играют и политические мотивы экономической деятельности представляющих их институтов, корпораций, сетевых и иных групповых сообществ (подчас выходящих далеко за рамки рационального целеполагания, демонстрируя различные социокультурные приверженности и ориентиры), опосредующих формирование правительственных программ, стратегических планов и многочисленных акций по производству и распределению общественных ресурсов.

В этом смысле, даже будучи продуктом отечественной научной мысли, экономическая политология представляет особую надежную аналитическую платформу для изучения такого рода процессов, акций и интеракций. В конечном же счете в рамках воплощения своего прикладного формата эта форма теоретического изме-

рения социально-экономических и политических явлений нацелена на выявление предпосылок и механизмов построения конструктивных моделей взаимодействия власти, бизнеса и институтов гражданского общества в интересах совместного достижения их интересов на базе национальных целей и приоритетов.

*Л.Е. Ильичева*

**Литература**

1. *Богатуров А.Д.* Понятие экономической политологии и особенности ее проблемного поля в России / Сайт МГИМО. 22.07.2011. URL: https://mgimo.ru/files/209372/Bogaturov_4-11.pdf.

2. *Богатуров А.Д.* Понятие экономической политологии и особенности ее проблемного поля в России / Полис. Политические исследования. 2011. № 4. С. 8–19.

3. *Колобова Г.А.* О предметном поле экономической политологии // Власть. 2016. Т. 24. № 12. С. 154–159.

4. *Межва З.Э.* Предметное поле экономической политологии с точки зрения экономиста // Гуманитарные науки. Вестник Финансового ун-та. 2022. Т. 12. № 1. С. 90–99. DOI: 10.26794/2226-7867-2022-12-1-90-99.

5. Предметное поле экономической политологии: Монография / Под ред. Л.Е. Ильичевой, В.С. Комаровского. М.: Аспект Пресс, 2018.

6. Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом / Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2012. — 240 с.

Раздел II

# Власть, политика, управление

# Государственная состоятельность

*Государственная состоятельность* (*state capacity*) — понятие, получившее в последнее время значительное внимание и выдвинувшееся в центр сравнительных политологических дискуссий. В значительной мере это обстоятельство связано с общим трендом в современной политической науке, а именно — с происходящим с 1970-х годов и особенно с 1980-х годов смещением исследовательского фокуса от проблематики политических систем и их характеристик вновь, как и при зарождении современной политической науки, к государству как к ее центральному вопросу[1]. Причины такого смещения многообразны и обусловлены не только внутренней динамикой политического знания, но и объективными процессами, связанными, к примеру, с оценкой качества государственного управления или проблемами государственного строительства в новых или «несостоявшихся» государствах и др.

В современной политологической литературе государственная состоятельность получает различные трактовки, но главный момент состоит в ее понимании как способности государства формулировать и эффективно осуществлять собственные решения, касающиеся ключевых экономических, социально-политических, внешнеполитических, внутриполитических и иных вопросов. Вместе с тем среди исследователей по-прежнему нет единства во взглядах на ее сущность, характеристики, факторы влияния на нее, ее эффекты и последствия в разных областях и др. По словам К. Хендрикса, государственная состоятельность — это «концепт все еще в поисках точных определений и измерений»[2]. В одних случаях ее трактуют как важное измерение национальной мощи власти, обеспечивающей достижение поставленных целей на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, а в других — как важный фактор стабильности и устойчивости/выживаемости различных типов политических режимов. Существуют и иные по своим отправным посылкам трактовки этого понятия[3].

Важно, однако, учитывать, что государственная состоятельность не может наблюдаться непосредственным образом, поскольку является по своей природе *латентной* сущностью, т.е. воспринимаемой и анализируемой по своим косвенным признакам, в частности по *эффектам/последствиям* и *факторам/причинам*, оказывающим на нее воздействие.

В аналитическом отношении государственная состоятельность может вполне обоснованно трактоваться как *зависимая* или *независимая* переменная. В первом случае исследование нацелено на выявление факторов (экономических, социальных, политических, культурных и иных), которые потенциально могут оказывать

---

[1] Важным индикатором этой тенденции стала известная коллективная монография американских авторов с показательным названием: *Evans P., Rueschemeyer D., Skocpol T.* Bringing the State Back In (1985). После этого появилось множество авторитетных работ по новой проблематике государственности и государственной состоятельности (см.: *Nettl J.P.* The State as a Conceptual Variable // WorldPolitics. 1968. Vol. 20. No. 4).

[2] *Hendrix C.S.* Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical Implications for the Study of Civil Conflict // Journal of Peace Research. 2010. Vol. 47. No. 3. P. 273.

[3] *Ахременко А.С., Горельский И.Е., Мельвиль А.Ю.* Как и зачем измерять и сравнивать государственную состоятельность разных стран мира: Опыт эмпирического исследования // Политические исследования. Полис. 2019. № 3.

или реально оказывают влияние на качество государственной состоятельности в различных странах и в разные периоды их динамики. Среди таких факторов — уровни экономического и социального развития, состояние человеческого капитала, характеристики политических режимов, традиции и особенности институционального развития, внутренние расколы разного рода, особенности влияния внешней среды и др. Во втором случае государственная состоятельность рассматривается как фактор влияния на различного рода эффекты и последствия. В том числе на упомянутые выше уровни социально-экономического развития, конкретные режимные характеристики, стабильность/неустойчивость государственного устройства, местоположение государства в мировой системе и др. Однако при обоих подходах государственная состоятельность выступает в качестве важного инструмента сравнительного анализа, который в последнее время приобретает все большее распространение.

В теоретической и эмпирической литературе выявлен целый ряд существенных *закономерностей*, имеющих прямое отношение к рассматриваемым нами вопросам. Так, в частности, получает подтверждение положительная связь между уровнями государственной состоятельности и экономическим ростом[1], а также общим уровнем социально-экономического развития[2]. Эмпирически подтверждается и гипотеза относительно связи уровня государственной состоятельности с наличием и интенсивностью внутренних конфликтов и войн[3], а также с уровнями развития человеческого капитала[4]. Также подтверждается зависимость государственной состоятельности с феноменом «неуспешных» государств[5].

В то же время меньше определенности в теоретически и эмпирически полученных выводах относительно зависимости государственной состоятельности и характера политического режима. С одной стороны, существуют подтверждения связи высоких уровней государственной состоятельности и демократии, а с другой — приблизительно аналогичные показатели фиксируются и у авторитарных режимов[6]. Еще один важный и до конца не решенный вопрос касается оценки оп-

---

[1] *Johnson N.D., Koyama M.* States and Economic Growth: Capacity and Constraints // Explorations in Economic History. 2017. Vol. 64; *Acemoglu D., Garcia-Jimeno C., Robinson J.A.* State Capacity and Economic Development: A Network Approach // American Economic Review. 2015. Vol. 105. No. 8; *Knutsen C.H.* Democracy, State Capacity, and Economic Growth // World Development. 2013. Vol. 43; *Besley T., Persson T.* The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics // American Economic Review. 2009. Vol. 99. No. 4 и др.

[2] *Sekeris P.G.* State Power, State Capacity, and Development // Peace Economics, Peace Science and Public Policy. 2015. Vol. 21. No. 4; *Besley T., Persson T.* The Causes and Consequences of Development Clusters: State Capacity, Peace, and Income // Annual Review of Economics. 2014. Vol. 6. No. 1; *Hau M.V.* State Capacity and Inclusive Development: New Challenges and Directions // Effective States and Inclusive Development Research Centre. 2012. Working Paper, 2.

[3] *Mason T.D., Greig J.M.* State Capacity, Regime Type, and Sustaining the Peace after Civil War // International Interactions. Empirical and Theoretical Research in International Relation. 2017. Vol. 43. No. 6; *Besley T., Persson T.* State Capacity, Conflict, and Development // Econometrica. Journal of the Econometric Society. 2010. Vol. 78. No. 1 и др.

[4] *Berliner D., Greenleaf A., Lake M., Noveck J.* Building Capacity, Building Rights? State Capacity and Labor Rights in Developing Countries // World Development. 2015. Vol. 72.

[5] *Englehart N.A.* State Capacity, State Failure, and Human Rights // Journal of Peace Research. 2009. Vol. 46. No. 2.

[6] *Seeberg M.* Electoral Authoritarianism and Economic Control // International Political Science Review. 2018. Vol. 39. No. 1; *Hanson J.K.* State Capacity and the Resilience of Electoral Authoritarianism: Conceptu-

тимальной последовательности трансформационных преобразований (в том числе относящихся к так называемой «третьей волне» демократизации). Едва ли ни господствующая точка зрения сводится к тому, что эффективное государственное строительство и обеспечение определенного уровня государственной состоятельности является предпосылкой для демократических преобразований. Вместе с тем, существуют (в том числе эмпирические) аргументы в пользу признания одновременности этих трансформационных процессов[1]. Одним словом, дискуссии по этим и многим другим вопросам продолжаются.

Возможно, основным отправным пунктом при разработке подходов к концептуализации государственной состоятельности различных государств может стать, по сути, классическое различение *форм правления* и *степени управляемости*, предложенное С. Хантингтоном. Как он пишет, «самым важным из того, что отличает одну страну от другой в политическом отношении, является не форма правления, а степень управляемости. Демократические страны и диктатуры отличаются друг от друга меньше, чем отличаются те страны, политическая жизнь которых характеризуется согласием, прочностью общественных связей, легитимностью, организованностью, эффективностью, стабильностью, от тех, где всего это недостает»[2].

Второй момент, на который следует обратить внимание при концептуализации государственной состоятельности, связан с логикой, предложенной Ч. Тилли. Согласно его подходу, решающей функцией, которую выполняет государство, является извлечение налогов для создания с их помощью административных органов и структур, необходимых для ведения войн[3]. По крайней мере, имплицитно здесь содержится понимание государственной состоятельности как способности выполнять указанную функцию.

Современные дискуссии пронизаны и идеями М. Манна, особенно его представлениями о «*деспотической*» и «*инфраструктурной*» способностях государства[4]. «Деспотическая» способность государства фактически восходит к веберианской традиции понимания монополии на принуждающее насилие как необходимого условия сохранения жизнеспособного государства. В свою очередь, «инфраструктурная» способность отражает формирование и успешную реализацию государственных политик в экономической, социальной и иных областях. Ссылки на инфраструктурные аспекты государственной состоятельности присутствуют во многих современных работах[5].

---

alizing and Measuring the Institutional Underpinnings of Autocratic Power // International Political Science Review. 2018. Vol. 39. No. 1; *White D., Herzog M.* Examining State Capacity in the Context of Electoral Authoritarianism, Regime Formation and Consolidation in Russia and Turkey // Southeast European and Black Sea Studies. 2016. Vol. 16. No. 4; *Carbone G., Memoli V.* Does Democratization Foster State Consolidation? Democratic Rule, Political Order, and Administrative Capacity // Governance. An International Journal of Policy, Administration, an Institutions. 2016. Vol. 28. No. 1; *Seeberg M.B.* State Capacity and the Paradox of Authoritarian Elections // Democratization. 2014. Vol. 21. No. 7 и др.

[1] *Мельвиль А.Ю., Ефимов Д.Б.* «Демократический Левиафан»? Режимные изменения и государственная состоятельность — проблема взаимосвязи // Политическая наука. 2016. № 4.

[2] *Huntington S.P.* Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968.

[3] *Tilly C.* Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992. Cambridge, MA: Blackwell, 1992.

[4] *Mann M.* The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results // European Journal of Sociology. 1984. Vol. 25. No. 2.

[5] *Fortin-Rittberger J.* Exploring the Relationship between Infrastructural and Coercive State Capacity // Democratization. 2014. Vol. 21. No. 7; *Soifer H., vom Hau M.* Unpacking the Strength of the State: The Utility of State Infrastructural Power // Studies in Comparative International Development. 2008. Vol. 43. No. 3–4.

Важный аспект при концептуализации государственной состоятельности связан и с ее отмеченным выше латентным (непосредственно не наблюдаемым) характером, а также с ее многомерностью, т.е. сочетанием ее различных теоретически и эмпирически фиксируемых параметров. В литературе сохраняются разногласия относительно того, следует ли рассматривать государственную состоятельность как многосоставное, но в целом все же единое, хотя и комплексное, явление, либо правильнее говорить о различных «состоятельностях» того или иного государства. В настоящий момент более или менее единая позиция не сложилась, а с концептуальной точки зрения оба этих понимания обладают условным характером и зависят от набора исходных предпочтений.

В любом случае, однако, попытки концептуализации государственной состоятельности неизбежно упираются в вопрос о ее составных компонентах. В этом отношении в литературе представлены весьма разнообразные точки зрения, расположившиеся в диапазоне от *максималистской* до *минималистской*. Например, Ф. Фукуяма выделяет десятки слагаемых государственной состоятельности, среди которых обеспечение внешней безопасности, поддержание закона и порядка внутри страны, обеспечение гарантий прав собственности и соблюдения контрактов, защита неимущих, здравоохранение, образование, защита окружающей среды, социальная поддержка безработных, макроэкономическое регулирование, содействие развитию рынков и др. С. Робертс и Т. Шерлок выделяют институциональный, политический и административный аспекты государственной состоятельности[1]. По мнению К. Хендрикса, это военная (принудительная) и административная способности, а также качество государственных институтов[2]. Дж. Хансен и Р. Сигман также говорят о трех компонентах государственной состоятельности, но для них это способности к налогообложению, принуждающему насилию и административная способность[3]. Примеры из современной литературы можно продолжать[4].

Фактически ведущиеся на этот счет дискуссии по-своему подтверждают отмеченный выше *многомерный* характер государственной состоятельности как сложного, комплексного и многосоставного явления. По сути, речь идет о концептуальной дилемме — рассматривать и ее как комплекс взаимосвязанных «способностей» («состоятельностей») либо понимать ее в качестве одной синтетической аналитической категории. В теоретическом отношении речь идет о выборе между трактовкой государственной состоятельности как одной комплексной способности, вбирающей в себя различные аспекты и измерения, или как набора многих «состоятельностей». На сегодняшний момент этот вопрос остается по сути нерешенным.

Вместе с тем в существующей литературе крайне распространенной является точка зрения, в соответствии с которой при концептуализации государственной состоятельности выделяют три основных компонента. *Во-первых*, как уже отмечалось выше, это *принуждающая* способность, возможность государства противостоять внешним, преимущественно военным, угрозам и поддерживать внутрен-

---

[1] *Roberts C., Sherlock T.* Bringing the Russian State Back. In: Explanations of the Derailed Transition to Market Democracy // Comparative Politics. 1999. Vol. 31. No. 4.

[2] *Hendrix C.S.* Op. cit.

[3] *Hanson J.K., Sigman R.* State Capacity and World Bank Project Success // Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, Illinois, Presentation Paper, 2016.

[4] *Ахременко А.С., Горельский И.Е., Мельвиль А.Ю.* Указ. соч.

ний порядок. *Во-вторых*, это способность государства обеспечивать необходимые для его существования и выполнения своих функций ресурсы, которую часто называют *ресурсной* состоятельностью. В данном случае речь, прежде всего, идет об извлечении необходимых государству ресурсов с помощью налогообложения. Важно, однако, принимать во внимание и то обстоятельство, что для целого ряда государств налоги не являются единственным ресурсом, поскольку они способны обеспечивать свое функционирование в том числе посредством использования доступных им иных ресурсов, например природных. Поэтому нередко этот второй компонент обозначают как *экстрактивный*. Наконец, третья государственная способность (или «состоятельность») обусловлена качеством возникающих и существующих административных институтов. В литературе эту способность/состоятельность часто характеризуют как *административно-бюрократическую*. При этом эффективность управленческих институтов зависит от множества факторов (см., например, отмеченную выше проблему «эффективных автократий»).

Необходимо заметить, что применительно к различным государствам, находящимся на различных этапах своего развития, эти компоненты государственной состоятельности отнюдь не обязательно сочетаются естественным образом. Например, возможно обеспечение внутреннего порядка и закона при дефиците способности к внешнему принуждению; экстрактивная состоятельность, опирающаяся на природные ресурсы, в редких случаях может быть не связанной с качеством институтов и т.д.

Существующие подходы к концептуализации государственной состоятельности можно также разделить на две условные группы — *максималистские*, т.е. стремящиеся учесть все большее число ее характеристик, и *минималистские*, претендующие на то, чтобы определить узкий круг своего рода «прокси»-переменных, выражающих в скрытом виде в одном или нескольких параметрах все разнообразие объективно многомерной государственной состоятельности.

Словом, подходов к концептуализации государственной состоятельности в сегодняшней литературе изрядно, как и аргументов, оправдывающих их использование. В общем плане можно сделать вывод о том, что рациональный момент в большинстве случаев заключается в вычленении двух концептуально различных моментов применительно к проблеме государственной состоятельности: *во-первых*, в аналитическом фокусе на *ресурсы*, которыми располагает государство для достижения поставленных целей и решения соответствующих задач; и, *во-вторых*, в анализе *институтов*, которые позволяют с той иной степенью успешности добиваться реализации избранных политик — военной, экономической, социальной, политической и др. Это концептуальное различение приобретает особое значение при переходе к вопросам операционализации и измерения государственной состоятельности в сравнительной перспективе.

Так, в изначальном методологическом отношении способы операционализации того или иного явления принципиально зависят от способа его концептуализации. В этом смысле концептуализация государственной состоятельности предшествует и во многом определяет ее операционализацию. Соответственно, существуют очень разные аналитические варианты, которые по-своему аргументированы в зависимости от изначальных теоретико-методологических оснований. Например, государственную состоятельность можно пытаться измерить, используя и синтезируя ее множественные измерения. Характерным примером может

служить упомянутый выше подход Дж. Хансона и Р. Сигмана[1], в соответствии с которым авторы используют свыше двух десятков индикаторов, позволяющих судить об отдельных «способностях» того или иного государства. В таком подходе есть свои достоинства, поскольку наибольшее количество переменных способствует более широкому учету разнообразных измерений и характеристик государственной состоятельности. Также нередко, особенно в последнее время, предпринимаются различные усилия по использованию в целях операционализации государственной состоятельности сочетания различных существующих индексов — таких, например, как *Worldwide Governance Indicators*[2], *Corruption PerceptionIndex*[3], *Quality of Government*[4], *State Capacity Index*[5], *Fragile States Index*[6] и др.[7]

Вместе с тем здесь тоже есть свои нерешенные проблемы. С одной стороны, одновременное увеличение количества индикаторов почти неизбежно приводит к дублированию используемой информации, в результате чего возникают специфические информационные «шумы», обусловленные высокой взаимной корреляцией между данными. С другой стороны, в некоторых случаях дублирование информации не только допустимо, но и необходимо. Классический пример — измерение различных аспектов «качества государства» в рамках известного проекта *Worldwide Governance Indicators* (*WGI*), базовая логика которого заключается в представлении изучаемого «качества государства» как скрытой одномерной сущности (в силу чего разные наблюдаемые индикаторы раскрывают некоторые аспекты одного и того же явления). При такой постановке вопроса сильные взаимные корреляции не только допустимы, но и необходимы.

Другие распространенные подходы к операционализации государственной состоятельности исходят из возможности определения одной или буквально нескольких «прокси»-переменных, т.е. «замещающих» те переменные, значения которых не выявляются при непосредственном наблюдении или которых чрезмерное количество. В частности, упомянутая и крайне распространенная методология *WGI*, используемая Всемирным банком с 1996 г., предлагает широко используемый сегодня в академических и прикладных исследованиях набор индикаторов/показателей, характеризующих различные измерения государственной состоятельности. Эта признанная методология охватывает шесть параметров (max +2.5; min –2.5), при этом более высокое значение того или иного параметра соответствует более высокому уровню государственной состоятельности[8].

---

[1] *Hanson J.K., Sigman R.* Leviathan's Latent Dimensions: Measuring State Capacity for Comparative Political Research // APSA 2011 Annual Meeting, 2013; *Hanson J.K., Sigman R.* State Capacity and World Bank Project Success // Annual Meeting of the Midwest Political Science Association. Chicago, Illinois, 2016, Presentation Paper.

[2] Worldwide Governance Indicators (WGI). URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi.

[3] Corruption Perception Index. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2021.

[4] Quality of Government (QoG). URL: https://www.gu.se/en/quality-government.

[5] State Capacity Index. URL: http://www-personal.umich.edu/~jkhanson/state_capacity.html.

[6] Fragile States Index. URL: https://fragilestatesindex.org.

[7] *Vaccaro A.* Measures of State Capacity: So Similar, Yet So Different // Quality and Quantity. 2022. Vol. 56. Iss. 3.

[8] Эти параметры включают: *право голоса и подотчетность* (восприятие способности граждан свободно выбирать правительство, свобода выражения мнений, свобода общественных ассоциаций и свобода СМИ); *политическую стабильность и отсутствие насилия и терроризма* (вероятность политической нестабильности, дестабилизации или свержения правительства неконституционными методами): *эффективность органов государственного управления* (отражающая качество органов государственного управ-

В свете этой методологии, а также некоторых иных аналитических подходов может быть охарактеризована и государственная состоятельность России. Прежде, однако, нужно подчеркнуть, что на ее состояние и динамику оказали критическое влияние распад Советского Союза и усилия по построению постсоветской государственности. Собственно, сравнительный анализ показывает, что едва ли не во всех случаях радикальных общественно-политических трансформаций (подобных разнообразным событиям «третьей волны демократизации») одним из их следствий оказывались очень серьезные проблемы с качеством государственного управления и с государственной состоятельностью в целом.

Что касается вопроса об исторической динамике и компонентах российской государственной состоятельности, то следует принять во внимание господствующую практически на всех этапах ее истории традиционную установку на «*сильное государство*» как ключевого гаранта национального существования. Применительно к принудительному, экстрактивному и административному параметрам государственной состоятельности это означает практически полное доминирование первой способности, направленной на обеспечение защиты границ и их экспансию в сочетании с репрессивным внутренним режимом.

Вместе с тем в российской истории выделяются два эпизода глобального кризиса и распада государства — в 1917 и 1991 гг. В обоих случаях за этим следовали масштабные усилия по государственному и режимному строительству, различные по своей логике и содержанию, имевшие весьма различные результаты. В первом случае создание тоталитарного режима сопровождалось выборочным закреплением целого ряда важных аспектов государственной состоятельности — прежде всего, принуждающей и экстрактивной. Именно они позволили осуществить в СССР масштабную программу индустриализации и модернизации. Успех этой программы предполагал и создание по-своему эффективного административно-бюрократического аппарата, непосредственно связанного с репрессивным режимом. Однако именно режимная «родовая травма» советской государственности в конечном счете привела к ее «облому» и полному краху, одной из жертв которого стала и государственная состоятельность.

В определенной мере это оказалось связанным с трудной разрешимостью одновременно возникших задач: (а) политической демократизации; (б) экономического перехода от государственного регулирования к рыночным отношениям; (в) государственного строительства и создания новой идентичности; (г) выхода из имперского наследия и имперских традиций в целом. Беспрецедентная сложность этих одновременно возникших задач в значительной мере повлияла на траектории завершающих этапов развития и распада СССР и становления новой государственности постсоветской России.

В период так называемых «лихих 1990-х» практически все компоненты российской государственной состоятельности подверглись драматической эрозии. В 2000-х годах в соответствии с режимной логикой происходило закрепление прежде всего принуждающей — внутренней и внешней — государственной спо-

---

ления, государственной службы и ее независимость от политического давления); *качество регулирования* (способность органов государственного управления формулировать и воплощать в жизнь политику и нормативные акты, которые допускают и способствуют развитию частного сектора); *верховенство права* (качество исполнения правовых актов, соблюдение права собственности и др.); *антикоррупционный контроль* (беспристрастную политику в интересах государства, а не личной выгоды, роль государственной власти в минимизации коррупции и «захвата государства» различными частными группами).

собности. Экстрактивный компонент российской государственной состоятельности в значительной мере оказался результатом политики централизации власти и контроля, а также беспрецедентной ситуации ресурсного изобилия, вызванного, в первую очередь, ростом цен на нефть. Однако административно-бюрократическое качество государственных институтов осталось, как и раньше, на крайне низком уровне. Мы отчетливо видим это по сравнительным данным *WGI*, которые мы далее подвергнем более подробному анализу. Заметим при этом, что использование в наших целях индекса *WGI*, помимо указанных выше методологических ограничений, имеет и хронологические рамки — его показатели рассчитываются с 1996 г. Вместе с тем имеющиеся данные весьма важны для анализа динамики различных измерений российской государственной состоятельности в сравнительном контексте и позволяют сделать вполне определенные выводы.

*Таблица 1*

**Россия в рейтингах *WGI* 1996–2021 гг.**

| Индикатор | 1996–2021 (от +2.5 до –2.5) | | | | | | | | «Соседи» в 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2021 | |
| Право голоса и подотчетность | –0,22 | –0,35 | –0,57 | –0,87 | –0,98 | –1,13 | –1,07 | –1,10 | Эфиопия и Казахстан |
| Политическая стабильность и отсутствие насилия | –1,17 | –1,40 | –1,51 | –0,75 | –0,82 | –0,95 | –0,68 | –0,65 | Мексика и Мавритания |
| Эффективность органов управления | –0,45 | –0,67 | –0,48 | –0,41 | –0,53 | –0,29 | –0,08 | –0,18 | Тунис и Узбекистан |
| Качество государственного регулирования | –0,43 | –0,52 | –0,10 | –0,35 | –0,35 | –0,43 | –0,47 | –0,53 | Мальдивы и Замбия |
| Верховенство права | –0,79 | –1,08 | –0,92 | –1,01 | –0,86 | –0,83 | –0,79 | –0,87 | Мадагаскар и Узбекистан |
| Контроль над коррупцией | –1,05 | –0,94 | –0,83 | –1,13 | –1,05 | –0,82 | –0,91 | –0,90 | Мали и Либерия |

Данные табл. 1 позволяют судить о том, как за исследуемый период менялись значения шести индикаторов. Даже если, условно говоря, вынести за скобки первые два индикатора, относящиеся преимущественно к режимным характеристикам, мы наблюдаем примечательные тенденции в отношении различных аспектов институционального и управленческого качества. «Эффективность органов управления» (очень) слегка повышается начиная с 2016 г., что отчасти может быть связано с тенденцией к концентрации и централизации государственной власти на всех уровнях. По этому параметру Россия находится на 115-й мировой позиции и соседствует с Тунисом и Узбекистаном. «Качество государственного регулирования» стабильно находится на достаточно низком уровне — между Мальдивами и Замбией. Это 141-е место в мировом рейтинге. Параметр «Верховенство права» еще ниже практически на всем периоде наблюдений. Россия здесь в сравни-

тельной перспективе находится между Мадагаскаром и Узбекистаном, занимая 167-е место в рейтинге. Наконец, с точки зрения «Контроля над коррупцией» у России неизменная и очень неблагоприятная ситуация, а именно — 168-е место в мире (в сравнительной перспективе — это позиция между Мали и Либерией)[1].

Имеющиеся данные в целом свидетельствуют о крайне низком качестве институтов, которые, наряду с наличными (или недостаточными) природными ресурсами, определяют состояние и динамику государственной состоятельности России в анализируемый период. По сути дела, это еще одно подтверждение феномена «недостойного правления», на что обращает внимание В. Гельман[2]. Добавим, что данное обстоятельство проливает дополнительный свет на отмеченную нами в других работах зависимость между качеством управленческих институтов, с одной стороны, и режимными характеристиками — с другой.

Такие данные позволяют сделать некоторые важные выводы сравнительного характера и относительно упомянутой выше и недостаточно концептуально проясненной проблемы взаимосвязи параметров государственной состоятельности с режимными характеристиками (в данном случае применительно к иным постсоветским режимам). Заметим при этом, что процессы государственного строительства и формирования/консолидации политического режима имеют несовпадающие логики развития. В частности, консолидация определенных разновидностей политических режимов возможна и при низком качестве институтов государственного управления[3]. Достаточно посмотреть на сравнительные данные в табл. 2.

Имеющиеся эмпирические данные свидетельствуют о явной линейной зависимости (противоречащей упомянутой выше гипотезе *J*-кривой) между государственной состоятельностью и характером политического режима. Мы видим, что условно (по критериям *FH*) «свободные» постсоветские страны обладают наиболее высокими уровнями институционального качества по сравнению с «несвободными», что вполне соответствует описанному выше концептуальному «мейнстриму». Но важный вывод заключается в том, что гибридные («частично свободные») страны по данным показателям стабильно ниже как «свободных», так и «частично свободных».

Необходимо, конечно, учитывать, что ресурсный компонент государственной состоятельности в данном индексе непосредственно не учитывается, однако в скрытом виде он может так или иначе подразумеваться в отдельных его индикаторах. Тем не менее, как мы отмечали выше, имеющиеся ресурсы могут использоваться различными режимами в очень разных целях. Поэтому именно институциональное качество является ключевым фактором, определяющим состояние и динамику государственной состоятельности различных стран, включая, разумеется, и Россию, в том числе в сравнительной перспективе.

Итак, несмотря на теоретическую полемику относительно государственной состоятельности, а также проблемы, связанные с ее операционализацией, можно констатировать важность этого аналитического инструмента для изучения

---

[1] Применительно к вопросу о контроле над коррупцией можно привести также данные иных индексов: например, по данным *Corruption Perception Index,* известной и широко используемой аналитической организации *Transparency International*, Россия в 2021 г. заняла 136-е место среди 180 анализируемых стран, оказавшись между Мали и Мавританией (Corruption Perception Index. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2021).

[2] *Гельман В.Я.* Недостойное правление. СПб., 2019.

[3] *Robinson N.* State, Regime and Russian Political Development // Limerick Papers in Political and Public Administration. 2008. No 3; *White D.* State Capacity and Regime Resilience in Putin's Russia // International Political Science Review. 2018. Vol. 39 (1).

*Таблица 2*

**Россия и другие постсоветские режимы и качество их институтов по данным *FH* и *WGI* 2021**

| Страна | *FH* 2021 (политические права / гражданские свободы) | *FH* 2021 (общее значение — от 0 до 100) | *WGI* 2021 (от +2.5 до –2.5) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Право голоса и подотчетность | Политическая стабильность и отсутствие насилия | Эффективность органов государственного управления | Качество государственного регулирования | Верховенство права | Контроль над коррупцией |
| **Несвободные** | | | | | | | | |
| Туркменистан | 0/2 | 2 | –1,91 | –0,32 | –0,93 | –2,02 | –1,44 | –1,42 |
| Таджикистан | 0/8 | 8 | –1,71 | –0,61 | –0,59 | –1,13 | –1,19 | –1,34 |
| Беларусь | 2/6 | 8 | –1,58 | –0,74 | –0,77 | –0,92 | –1,10 | –0,24 |
| Азербайджан | 2/7 | 9 | –1,53 | –0,85 | 0,25 | –0,06 | –0,58 | –0,83 |
| Узбекистан | 2/9 | 11 | –1,40 | –0,24 | –0,20 | –0,58 | –0,89 | –0,81 |
| Россия | 5/14 | 19 | –1,10 | –0,65 | –0,18 | –0,53 | –0,87 | –0,90 |
| Казахстан | 5/18 | 23 | –1,14 | –0,25 | 0,06 | 0,09 | –0,49 | –0,24 |
| Кыргызстан | 4/23 | 27 | –0,61 | –0,43 | –0,73 | –0,58 | –1,07 | –1,12 |
| **Частично свободные** | | | | | | | | |
| Армения | 23/32 | 55 | 0,06 | –0,84 | –0,25 | 0,15 | –0,10 | 0,07 |
| Грузия | 22/36 | 58 | 0,02 | –0,42 | 0,65 | 1,06 | 0,17 | 0,69 |
| Украина | 26/35 | 61 | 0,08 | –1,10 | –0,41 | –0,28 | –0,66 | –0,77 |
| Молдова | 27/35 | 62 | 0,05 | –0,21 | –0,40 | 0,01 | –0,33 | –0,45 |
| **Свободные** | | | | | | | | |
| Латвия | 37/51 | 88 | 0,91 | 0,69 | 0,87 | 1,22 | 0,98 | 0,75 |
| Литва | 38/51 | 89 | 1,04 | 0,82 | 1,06 | 1,28 | 1,11 | 0,85 |
| Эстония | 38/56 | 94 | 1,19 | 0,76 | 1,38 | 1,56 | 1,43 | 1,54 |

политической динамики современных систем и режимов. Признавая различные представленные аргументы, мы склоняемся к возможности получения важных результатов с использованием разных подходов, включая существующие индексы, прежде всего *WGI*, но в дальнейшем также и иные методы, основанные на эмпирических подходах, в том числе создание новых оригинальных индексов и иных измерительных и сравнительных инструментов.

Что касается сравнительного анализа российской государственной состоятельности с учетом последних десятилетий, мы убеждаемся в ее достаточно стабильном (хотя и с элементами некоторой динамики) качестве в целом «ниже среднего». Концептуально и эмпирически это подтверждает общий вывод о «недостойном правлении» и указывает на очень существенный вызов для страны в будущем.

Наконец, следует обратить внимание и на целый ряд по-прежнему нерешенных теоретико-методологических и эмпирических вопросов, которые в дальнейших исследованиях потребуют пристального внимания. К ним, прежде всего, относятся общие вопросы концептуализации, проблема взаимосвязи и соотношения государственной состоятельности и политического режима, изучение динамики и последовательности формирования различных составных компонентов государственной состоятельности (особенно применительно к государствам, находящимся в процессах трансформации и становления). Серьезным исследовательским вызовом является формирование и верификация новых приемов эмпирического анализа государственной состоятельности на основе использования не только уже имеющихся и частично апробированных индексов, но и разработки оригинальных и обоснованных эмпирических методов. В том числе таких, которые позволили бы выйти на концептуально и эмпирически фундированные сравнительные выводы. Одним словом, можно лишь повторить, что проблематика государственной состоятельности крайне важна для современной сравнительной политологии, как и для других социальных дисциплин, а тот накопленный научный потенциал явно нуждается в дальнейшем развитии.

*А.Ю. Мельвиль*[*]

**Литература**


1. *Ахременко А.С., Горельский И.Е., Мельвиль А.Ю.* Как и зачем измерять и сравнивать государственную состоятельность разных стран мира? Теоретико-методологические основания // Полис. Политические исследования. 2019. № 2.
2. *Ахременко А.С., Горельский И.Е., Мельвиль А.Ю.* Как и зачем измерять и сравнивать государственную состоятельность разных стран мира: Опыт эмпирического исследования // Полис. Политические тсследования. 2019. № 3.
3. *Гельман В.Я.* «Недостойное правление»: политика в современной России. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2019.
4. *Мельвиль А.Ю., Ефимов Д.Б.* «Демократический Левиафан»? Режимные изменения и государственная состоятельность — проблема взаимосвязи // Политическая наука. 2016. № 4.
5. *Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г.* Траектории режимных трансформаций и типы государственной состоятельности // Полис. Политические тсследования. 2012. № 2.
6. *Acemoglu D., Garcia-Jimeno C., Robinson J.A.* State Capacity and Economic Development: A Network Approach // American Economic Review. 2015. Vol. 105. No. 8. P. 2364–2409.
7. *Berliner D., Greenleaf A., Lake M., Noveck J.* Building Capacity, Building Rights? State Capacity and Labor Rights in Developing Countries // World Development. 2015. Vol. 72. P. 127–139.
8. *Besley T., Persson T.* State Capacity, Conflict, and Development // Econometrica. Journal of the Econometric Society. 2010. Vol. 78. No. 1. P. 1–34.
9. *Besley T., Persson T.* The Causes and Consequences of Development Clusters: State Capacity, Peace, and Income // Annual Review of Economics. 2014. Vol. 6. No. 1. P. 927–949.
10. *Carbone G., Memoli V.* Does Democratization Foster State Consolidation? Democratic Rule, Political Order, and Administrative Capacity // Governance. An International Journal of Policy, Administration, an Institutions. 2015. Vol. 28. No 1. P. 5–24.
11. *Englehart N.A.* State Capacity, State Failure, and Human Rights // Journal of Peace Research. 2009. Vol. 46. No. 2. P. 163–180.
12. *Fjelde H., De Soysa I.* Coercion, Co-Optation, or Cooperation?: State Capacity and the Risk of Civil War, 1961–2004 // Conflict Management and Peace Science. 2009. Vol. 26. No. 1. P. 5–25.
13. *Fortin-Rittberger J.* Exploring the Relationship between Infrastructural and Coercive State Capacity // Democratization. 2014. Vol. 21. No. 7. P. 1244–1264.



* Автор выражает благодарность за содействие в сборе статистического материала своему помощнику В. Бутенко.

14. *Hansen J.K., Sigman R.* State Capacity and World Bank Project Success. Annual Meeting of the Midwest Political Science Association. Chicago, Illinois.Presentation Paper, 2016.

15. *Hanson J.K.* State Capacity and the Resilience of Electoral Authoritarianism: Conceptualizing and Measuring the Institutional Underpinnings of Autocratic Power // International Political Science Review. 2018. Vol. 39. No. 1. P. 17–32.

16. *Hanson J.K. and Sigman R.* Leviathan's Latent Dimension: Measuring State Capacity for Comparative Political Research // The Journal of Politics. 2021. Vol. 83. No 4.

17. *Hanson J.K., Sigman R.* Leviathan's Latent Dimensions: Measuring State Capacity for Comparative Political Research // APSA 2011 Annual Meeting. 2013. — 28 p.

18. *Hanson J.K., Sigman R.* State Capacity and World Bank Project Success // Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, Illinois. Presentation Paper, 2016. — 31 p.

19. *Johnson N.D., Koyama M.* States and Economic Growth: Capacity and Constraints // Explorations in Economic History. 2017. Vol. 64. P. 1–20.

20. *Mason T.D., Greig J.M.* State Capacity, Regime Type, and Sustaining the Peace after Civil War // International Interactions. Empirical and Theoretical Research in International Relations. 2017. Vol. 43. No. 6. P. 967–993.

21. *Melville A.* State Capacity and Russia // Gill M. (ed.). Routledge Handbook of Russian Politics and Society. 2023. P. 193–206.

22. *Seeberg M.* Electoral Authoritarianism and Economic Control // International Political Science Review. 2018. Vol. 39. No. 1. P. 33–48.

23. *Sekeris P.G.* State Power, State Capacity, and Development // Peace Economics, Peace Science and Public Policy. 2015. Vol. 21. No. 4. P. 553–560.

24. *Vaccaro A.* Measures of State Capacity: So Similar, Yet So Different // Quality and Quantity. 2022. Vol. 56. Issue 3.

25. *White D.* State Capacity and Regime Resilience in Putin's Russia // International Political Science Review. 2018. Vol. 39 (1). P. 130–143.

# Деинституализация правящей политической элиты

Понятие «политические элиты» является предметом постоянного дискурса, причем как в его специализированном, так и в профанном формате. Появившись в работах Г. Моски и В. Парето, оно долгие десятилетия демонстрировало абсолютные эвристические преимущества перед понятиями «правящий класс», «правящее меньшинство», «руководящее меньшинство», «руководство» или разнообразными новомодными терминами — «техноструктура», «милитократия» и др. Причем понятийная развертка этой «элитарной» парадигматики разворачивалась то в сторону обоснования особой роли тех или иных ее (административных, силовых и др.) сегментов, то в область изучения нравственно-этической оснащенности этой социально-политической страты.

Сегодня в отечественном сегменте политической науки существенное распространение получили работы, построенные на статусном[1] и репутационном

[1] *Гаман-Голутвина О.В.* Политические элиты России. Вехи исторической эволюции, М.: РОССПЭН, 2006; Федеральная и региональная элита России. Кто есть кто в политике и экономике. М.: Центр полит. информации, 2002; Властные элиты современной России / Отв. ред. В.Г. Игнатов и др. Ростов/на Д.: Изд-во СКАГС, 2004 и др.

подходах, содержащие традиционные претензии к бюрократизации административных слоев правящей элиты, ее архаизации как управленческого слоя, отклоняющегося от служения обществу, нарушающего «преемственность передачи культурных образцов» и «использующих модернизированные институты» для поддержки старых способов управления и осуществления политики[1]. В науке сохраняется и влияние нормативного подхода (подчас вызывающее к жизни такие удивительные феномены, как «элитный управленец»)[2], попытки ретроспективного означивания всех форм его существования в качестве элитарных образований[3]. Заметным выглядит и круг работ, демонстрирующих особенности функционирования неформальных (центральных и региональных) элитарных сообществ[4] и даже аналогичных ассоциаций, складывающихся в поле мировой политики[5]. В рамках исторической политологии немало места уделялось неконвенциональным формам позиционирования различных группировок в правящем классе, микрополитическим коммуникациям и внутриэлитарной конкуренции, превратившейся в важнейший инструмент консолидации правящих кругов[6]. Весьма широка и палитра работ, апеллирующих к неинституциональным параметрам правящего слоя (в основном содержащая критику нравственно-этических характеристик «хозяев жизни», действующих в органах исполнительной власти, а также ассамблей, парламентов и легислатур)[7]. При этом сюжеты морально-этического несовершенства правящих в СССР кругов становились своеобразным мостиком между научным и профанным дискурсами, что только укореняло соответствующую терминологию в политической науке. Наряду с этим промежуточные зоны между бытовыми и теоретическими аренами порождали и порождают собственные лингвосемантические транскрипты, часть из которых претендует на укоренение в научной сфере.

Многообразный опыт элитарного правления показал различные траектории эволюции этого слоя, в основании которых лежали как общественные, так и узкогрупповые интересы его различных сегментов, осуществляющих свои политические проекты. Единая логика эволюции этой страты показала и сложность выявления ее различных трендов и функциональное разнообразие политической элиты, чье местоположение, с одной стороны, позволяет ей совмещать

---

[1] *Римский В.Л.* Архаизация политических элит и государственного управления России // Власть и элиты. СПб.: Интерсоцис, 2018. С. 152, 166.

[2] *Ефимова Е.В.* Перспективные способности и качества российской политической элиты XXI в. // Вестник Пятигорского университета. 2019. № 1. С. 233.

[3] *Понеделков А.В.* Политическая наука в элитологическом измерении. Ростов н/Д.: СКАГС, 2010. С. 15–63.

[4] *Ледяев В.Г., Чирикова А.Е.* Власть в малом российском городе. М.: ВШЭ, 2017; *Чирикова А.Е.* Региональные элиты России. М.: Аспект Пресс, 2010; *Журавлева Т.А.* Управление политико-административными сетями: Дисс. ... канд. полит. наук. МГУ, 2016 и др.

[5] *Кочетков А.П.* Транснациональные элиты в глобальном мире. М.: Аспект Пресс, 2020 и др.

[6] История России в портертах: В 2 т. Смоленск; Брянск. Изд-ва: Русич. Курсив, 1996; *Светличный М.Ю.* Высшие управляющие России и США: особенности становления, легитимации и политической активности. Опыт типологического сравнения // Полития. Журнал политической философии и социологии политики. 2005. № 2 (37); Сталинское политбюро в 30-е годы / Сост. О. Хлевнюк и др. М.: АИРО-XX, 1995; *Хлевнюк О.* Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2023 и др.

[7] *Млечин Л.* Династии, кланы и семьи в России: от Ленина до Путина. М.: Центрполиграф, 2018. В этом контексте в публичном дискурсе нередко встречаются уничижительные трактовки современной российской политической элиты — «элитки», как назвал их Г.А. Сатаров.

различные виды контроля и принудительного регулирования общественных отношений (объединяя, образно говоря, «власть меча», «дисциплинарную власть» и даже «психотехнологическую психовласть»)[1], а с другой — поддерживать такие контакты с различными социальными группами (селебрити, крупными предпринимателями, гражданскими и религиозными лидерами, международными фигурами), которые постоянно размывают ее собственные социально-политические очертания.

Выявление логики исторической жизнедеятельности правящей политической элиты требует некоего теоретического упрощения, помещения ее в пространство эволюции *правящего меньшинства*, являющегося однозначным показателем формирующихся в рамках социогенеза иерархии и соподчиненности человеческих действий в целях адаптации общества к внешней среде[2]. Другими словами, «правящее меньшинство», будучи технологическим инструментом применения общественной власти, является универсальным показателем политического господства, подчеркивающим характер любого типа социального доминирования, а также адресную топономику данной группы, отражающую стиль взаимодействия государства и общества. Иначе говоря, устойчивое расположение данной группы на вершине властной иерархии является базовой платформой изучения политического элитогенеза.

В этом контексте наиболее аутентичным подходом к изучению динамики политической элиты является триада «правящее меньшинство—политический (правящий) класс—правящие элиты», отражающая основные формы взаимодействия государства и общества, разворачивающиеся в пространстве формирования и применения общественной власти, и демонстрирующая наиболее зрелые формы своей организации в рамках республиканской формы правления.

Впрочем, эта версия элитогенеза (трактуя непримиримость элитизма и эгалитаризма в качестве частного дискурса, возникшего на более поздней стадии развития социума) оставляет открытым вопрос о современных источниках эволюции политической элиты. В частности, такой подход сохраняет интригу относительно приоритета внутриэлитарных коммуникаций (разногласий внутри правящего слоя в виде межведомственной конкуренции, конфликтов политических тяжеловесов, противоборства административных и бизнес-партнеров и т.д.) либо взаимосвязей элиты с обществом (в том числе леворадикальных воззрений о преимущественной роли и политическом потенциале коллективного актора, способного перехватить элитарные функции).

Пока трудно остановиться на каком-то одном варианте, ибо научная репутация К. Маркса, Ортеги и Гассета и других сторонников приоритета «трудящихся» или «масс» постоянно сталкивается с итогами внутриэлитарной соревновательности, ведущей к появлению у правящих кругов компетенций, качественно превосходивших навыки политического участия коллективного актора, а также сохраняющих мощные источники энергии, направленной на обеспечение собственной безопасности и недопущение рисков крупных социальных потрясений. Не случайно К. Эцрод акцентирует внимание на фракционных различиях элитарного корпуса, внутри элитарной конкуренции и разнообразии социальной активности

---

[1] *Stiegler B.* Taking Care of Youth and the Generations. Stanford, California: Stanford University Press, 2010. P. 126.

[2] *Соловьев А.И.* Правящее меньшинство в современной России. Камо грядеши? // Власть и элиты / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2018.

ее различных сегментов[1], многие из которых — перефразируя мысль Ч. Миллса — являются важными структурами «для передачи» своих позиций, необходимых для «регулирования допуска к новому богатству»[2].

Одновременно к факторам усиления элитарной активности и мотивации ее представителей к властному самосохранению, а также повышения контроля над обществом при любых вариантах политического транзита стоит отнести амбиции, тщеславие, ревность, зависть и иные человеческие эмоции, процветающие у людей, имеющих право говорить от лица государства и допущенных к распределению крупных общественных ресурсов. Дополнительным фактором, способствующим усилению элитарных позиций (особенно в режимах авторитарного толка), можно назвать и снижение политической эффективности представительных механизмов, возможностей гражданского контроля за применением латентных инструментов правления, ограничивающих права коллективного актора на волеизъявление и презентацию своих интересов. При этом на фоне превращения крупных политических игроков в акторов мировой политики общество все больше демонстрирует отсутствие «мудрости, необходимой для подготовки новых поколений к лидерству» (Г. Киссинджер).

И все же понимание «правящего меньшинства» как базовой категории при интерпретации элитогенеза позволяет зафиксировать все основные исторические модуляции политической элиты. В этом контексте условную точку отсчета возникновения *властвующих*, видимо, стоит отнести к моменту преобразования различных форм самоорганизации общества в устойчивые иерархические конструкции[3]. Этот исторический перелом, породив властные диспозиции правящего меньшинства, создал предпосылки для его дальнейшей трансформации и конституализации. Вождизм сменялся более продвинутыми протогосударственными, а затем и государственными формами, а способы группового доминирования принимали все новые и новые очертания, сигнализируя о постепенной трансформации этого узкого сообщества, стремящегося регулировать активность крупных социальных слоев.

Последовательное укрепление социально-экономических и политических возможностей, а также механизмов самовоспроизводства правящего меньшинства в рамках государственного правления не только еще больше дистанцировали властную страту от основной части населения, но и превратили ее в особый общественный – *политический* – класс, контролирующий высшие государствнные институты. Тот класс, который объединил как представителей статусных группировок (имеющих мандат на право осуществления высших властно распорядительных функций), так и собственников и контролеров крупных общественных ресурсов вместе с аффилированными с ними лицами. Другими словами, рамки такого класса вмещали в себя не только статусных лиц, но и тех крупных игроков, которые размещались *за рамками* государственной иерархии, но при этом поддерживали экономическую, административную и организационную мощь институтов официальной власти. По крайней мере, в части сохранения доминирующих позиций правящего меньшинства как такового.

---

[1] *Etzrodt Ch*. Managing liberal democracy — influence of secret elite networks in U.S. governments 1901–2021 // Полис. 2022. № 6.

[2] *Mills C.W*. The Power Elite. L.: Oxford University Press, 1956. P. 64–65.

[3] *Бардаков А.И.* Власть в формах организации жизнедеятельности общества: Автореф. дисс. ... д-ра полит. наук. Волгоград, 2007.

Параллельно динамика правящего класса усложнялась за счет противоречивого единения позиций «властвующих и подвластных» с коммуникациями «управляющих и управляемых», внесших новые черты доминирования как в механизмы самовоспроизводства этой социальной страты, так и в технологическое обновление механизмов распределения и перераспределения общественных благ и ресурсов. Впоследствии в условиях индустриального и постиндустриального циклов к этим формам правящего меньшинства добавились и деловые контакты «менеджеров и клиентов», расширивших объем правящего класса и дополнивших иерархические связи новыми формами вертикального взаимодействия.

Короче говоря, основные источники политического элитогенеза стоит отнести к тому моменту, когда появились структурные предпосылки для конституализации отношений властвующих и подвластных. Впоследствии с появлением государства позиции правящего меньшинства обрели институциональный характер. Одновременно это означало, что претензии правящих кругов на легальное применение силы (издание законов, сбор налогов и проч.) по отношению к населению, проживающему на контролируемой ими территории, придали институтам и их деятельности *общегражданский* характер.

По сути, институализация господства в рамках государства превратила население в граждан, а правящее меньшинство в статусных руководителей, укрепив их властные прерогативы, распространявшиеся на всю подконтрольную им территорию. В то же время обретение верхами собственно политического характера проходило по мере их противопоставления экономически господствующему классу (оказавшемуся слишком разнородным образованием, не способным к целенаправленным формам регулирования и применения государственной власти), а также систематического использования неконгруэнтных методов макрорегулирования.

В дальнейшем, по мере развития государства как пространства укрепления политического господства определенных социальных сил создавались условия для включения в политическую жизнь крупных социальных слоев. Переломным моментом в этом смысле стало Новое время, продемонстрировавшее существенное ослабление экономической и военной зависимости человека от государства и давшее толчок к созданию систематических условий для использования гражданами представительных инструментов для оформления и продвижения своих интересов. Другими словами, формировавшаяся система социального представительства превратила общественное мнение и различные формы организованной презентации гражданских интересов (в партийной форме или деятельности иных медиаторов) в структурный фактор, не только повлиявший на рекрутирование правящих кругов, но и предполагавший пусть и нестрогий, но тем не менее гражданский контроль за их деятельностью. Такая ситуация усилила требования к деловому и морально-этическому облику правящих кругов, заставив последних обратить пристальное внимание на способности к продуцированию массовых ценностей, способных как утвердить в общественном мнении нужные властям ориентиры развития, так и сохранить доверие людей к своей деятельности.

Такое развитие событий позволило правящему меньшинству не только изменить отношение к обществу, поставив свой политический потенциал в структурную зависимость от гражданского населения, что отразилось как на механизмах рекрутинга, так и принятии государственных решений. Эти суммарные изменения трансформировали конструкцию государственной власти и закрепили новые

реалии политического доминирования в правовых формах, повысили общегражданское содержание деятельности институтов власти и управления. Одновременно правящее меньшинство создало и все предпосылки для освобождения от доминирующего влияния аристократии и экономического класса. Как справедливо указывает ряд ученых, контролируя «отделившиеся от непосредственной власти политические органы», правящие группы изменили ситуацию, когда «вмешательство воли господствующего экономического класса напрямую определяло политические судьбы» общества[1]. С этого момента многие государственные институты, контролировавшиеся правящим меньшинством, показали способность к противостоянию интересам экономически господствующих слоев.

Обретение новой исторической формы существования правящим меньшинством шло и по мере расширения их социального состава за счет «достаточно временных и менее ... известных лидеров и руководителей массовых организаций, в частности профсоюзов, церквей и других важных добровольных ассоциаций и массовых движений»[2]. Однако внешние участники способствовали скорее расширению политического класса, поскольку не обладали устойчивым местом в механизмах принятия решений и тем более не несли той ответственности перед населением, которой обладали статусные игроки.

В конечном счете обозначенные процессы преобразовали *правящее меньшинство* в форму *политической элиты*. Основными параметрами таких изменений можно считать следующие характеристики, укоренившиеся в политической деятельности правящего меньшинства:

— органическую связь формирования и рекрутинга элитарных слоев с механизмами представительства интересов гражданского населения;
— связь правящих кругов с деятельностью публичных (гражданских) институтов государственной власти;
— способность представителей правящего меньшинства к продуцированию массовых ценностей;
— контроль правящего меньшинства над механизмами принятия политических (государственных) решений.

Так или иначе, но исполнение предписанных высшим руководителям управленческих функций сохраняло для действий правящей политической элиты жесткие институциональные рамки. По мере своей эволюции политические элиты, взаимодействуя с обществом, с одной стороны, накапливали свой компетентностный потенциал (позволявший, как показывает практика, усилить свои преимущества перед гражданскими структурами), а с другой — за счет внутри элитарных связей и отношений отбирали наиболее жизнеспособные сегменты. В первом случае элиты активно использовали легальные преимущества представительства своих позиций от имени государства, расширяли свои пропагандистские функции и распространяли «политические иллюзии» (превращающие вариации «невозможного» в реальные политические факты, затруднявшие рационализацию сознания коллективного актора)[3]. Растущая «автономия

[1] *Маскару А.Л.* Государство и политическая форма / Пер. с порт. М.: Горизонталь, 2022. С. 32–33.

[2] *Хигли Дж.* Элиты, внеэлитные группы и пределы политики: теоретический ракурс // Элиты и общество в сравнительном измерении / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН, 2011. С. 35.

[3] *Завершинский К.Ф.* Символические измерения социокультурной динамики современных политических элит // Власть и элиты. СПб.: Интернсоцис, 2018. Т. 5. С. 440–441.

от общества», дополняемая ангажированностью «сервильных интеллектуальных групп»[1], помогает понять нарастающую публичную «лживость современных политических элит», ставя под сомнение их идентификацию с населением, гражданским сообществом.

Однако, повышая свои компетенции в области применения государственной власти и значительно опережая гражданское население в части «расчетливого управления жизнью» (М. Фуко), политические элиты постепенно стали испытывать давление одного из самых глубинных и универсальных противоречий, заложенных в природе государства: конфликта институализации и партикуляризации. Иначе говоря, получая все больше возможностей для самостоятельного использования прерогатив государственной власти, конкретные представители правящих кругов тяготели к официально непредписанным способам обретения общественных ресурсов. Коррупция, государственное рейдерство и иные служебные злоупотребления со временем стали системным проявлением властноуправленческой активности правящей (политико-административной) элиты.

Таким образом, сочетание тенденции к повышению автономизации политической элиты со смещением замыслов правящих кругов к корпоративным и частным интересам разрушало институциональные очертания позиционирования этой властноуправленческой страты, тем самым демонстрируя определенную стадию ее *деинституализации*. Одновременно в более широком корпусе политической элиты деинституализация выражалась в постоянном использовании нелегитимных методов межгрупповой конкуренции, мистификации жизненных потребностей граждан, искажении и даже фабрикации представлений о национальных интересах, сокращении прямых контактов с населением и т.д.

Однако более мощным фактором деинституализации политической элиты стало активное вовлечение в принятие государственных (политических) решений различных коалиций протополитического класса, представляющих неформальные сообщества собственников и контролеров крупных общественных активов, заинтересованных в решении государственных проблем или достижении своих корпоративных интересов при помощи институтов власти.

В этой связи стоит вспомнить, что необходимость постоянного подтверждения своего господствующего положения позволила правящей элите нащупать два возникших практически в одно и то же историческое время высокоэффективных метода своей легитимации. Первый метод касался массированного использования технических средств обработки и распространения информации (СМИ), позволявшей завоевывать необходимый репутационный капитал и тем самым укреплять символическое господство элиты. Почти двухсотлетние эксперименты с использованием массмедиа показали высокую надежность этого инструмента для профилирования общественного мнения и электорального выбора. В этом плане ни свобода слова, ни надежды населения на возможности политического дискурса не смогли пересилить информационные возможности властей, нашедших удобный инструмент для укрепления репутации «народного правительства». Так что сила законодательного регулирования медиарынка в еще большей степени укрепила возможности правящего класса в деле политического воздействия на массовое сознание граждан. Показательно в этом смысле, что нащупанные властями технологии микротаргетирования медиарынка даже в демократических

[1] *Завершинский К.Ф.* Указ. соч.

странах неизбежно ведут к формированию в обществе политически безвредного и беспомощного плюрализма.

А вот более перспективным инструментом укрепления позиций правящего класса является создание «политических машин», продемонстрировавших силу (замкнутой и дистанцированной от влияния официальных структур) локальной власти, выстроенной на активности неформальных (сетевых) сообществ. Появившись и продемонстрировав свою силу в некоторых районах США еще в 1930-е годы, эти властные конструкции на какое-то время оказались если и не забытыми, то в любом случае невостребованными в должной мере. Такое забвение глубоко понятно, поскольку острые геополитические конфликты XX в. связали акценты на самовоспроизводство элитарных слоев с задачами сохранения территориальной целостности и выживания стран и народов. Однако уже в середине прошлого века американские ученые выявили решающую роль в производстве государственной политики референтных группировок, использовавших неформальные приемы давления на официальные структуры власти. Как показала практика, именно эти механизмы и стали прообразом «ответа» правящей элиты на вызовы времени и растущие претензии граждан на повышение своих властных диспозиций.

Короче говоря, неформальные ассоциации, находясь за рамками официальных иерархий, оказывали непрерывное давление на публичные институты (хотя результаты такого давления отличались в зависимости от их пространственного расположения и статусного веса), порождая феномен «переплетенных» институтов, не только демонстрировавших постоянную конкуренцию статусных и неформальных акторов, но и существенно корректировавших функционал институтов государственной власти. Снижая приверженность официальных структур административным регламентам и нормам права, такое сетевое давление в конечном счете стремилось к вынесению центров принятия решений за рамки системы государственного управления (в виде формирования так называемых «узлов решений», объединяющих наиболее влиятельных игроков, участвующих в разработке политических стратегий и использующих при этом исключительно договорные методы проектирования целей).

Такое давление неформальных коалиций означало, что ответственность государственных институтов перед населением, а также и выдвигаемые ими цели перестают служить, как это мыслилось демократически ориентированными учеными, «легитимной основой для поиска решений коллективных проблем»[1]. Политическая активность сетевых коалиций подминала и публичный формат государственных институтов, и замыслы общественности, стремящейся к достижению взаимопонимания с властью. По сути, давление сетей демонстрировало такое «пополнение» состава правящей элиты, которое деформировало институты как гражданских структур государственного управления. В свою очередь, функционирование таких институтов (субститутов) ставит перед общественным мнением дополнительные преграды, деформируя механизм представительства интересов рядовых граждан и не позволяя последним осуществлять «дискурсивную проверку» принимаемых властями решений (Ю. Хабермас). Так что коммуникации по поводу продвижения конкретных проектов и целей выстраиваются элитой не с населением и его объединениями, а с привилегированными и аффилированными с властями группами.

---

[1] *Хелд Д.* Модели демократии. М.: Дело, 2014. С. 147.

В конечном счете сетевая трансформация правящей элиты означает формирование в государстве фактически доминирующих центров «подлинной» власти, стоящей «над схваткой» идейно-политических (партийных и проч.) сил, призванных защищать интересы различных слоев населения. Такая тенденция, элиминируя волю общества из разработки государственных решений, подрывала и подрывает основания функционирования государства как гражданского антрепренера и даже республиканского правления как такового.

Уместно вспомнить, что еще в начале 70-х годов XX в. исследования американских ученых выявили *решающую* роль в производстве государственной политики референтных группировок, использовавших неформальные приемы давления на официальные структуры власти[1]. Современная Россия также не избежала этой участи, и, по мнению ряда специалистов, «неформальные связи внутри элит за последние годы настолько распространились, что под их “защитой” находятся сейчас миллионы людей»[2].

Надо признать, что сетевое давление сообщает институтам государственной власти и управления *дополнительный* источник независимого от общества самодвижения. Однако помимо создания широчайшего круга субститутов и превращения сетевых акторов в мощного игрока, занимающего существенное место в распределении общественных ресурсов, принципиальным «достижением» такого давления становится фактический *раскол* внутри политической элиты на тех, кто реально «правит», и тех, кто сохранил хотя бы относительно ответственные отношения с населением. Про первый сегмент правящей элиты можно с уверенностью утверждать, что это те лица, которые демонстрируют такой стиль правления, при котором власть не управляет обществом, а игнорирует его запросы, занимаясь перераспределением благ в своих интересах (С. Холмс). Иначе говоря, сетевым сегментам правящего меньшинства, для того чтобы «править», совершенно не нужно ни конкурировать со своими оппонентами в публичной сфере, ни обращаться к обществу за поддержкой предлагаемых планов[3]. Однако такое положение показывает и то, что риски властного позиционирования (а нередко и личной безопасности) для вовлеченных в распределение ресурсов групп и фигур исходят уже не от населения, а от своих же «собратьев по оружию».

С одной стороны, за счет влияния сетевых ассоциаций «аппаратные политиканы»» (Кренсон) увеличивают количество серых схем избирательного перераспределения государственных ресурсов в интересах привилегированных игроков. С другой — условно говоря, в «классическом» сегменте элиты находятся чиновники, политики и депутаты, которые либо набираются для представительских функций и временного исполнения формальных обязанностей лиц, олицетворяющих «народный суверенитет» и «ответственность власти перед народом», либо прикрывают латентных игроков, от кого зависят их благосостояние, а временами — жизнь и свобода[4]. В ряде авторитарных стран состав этого элитарного слоя (нередко включая руководящий слой даже оппозиционных партий) регулируется из единого политического центра. И если, условно говоря, «одноразовая» эли-

---

[1] *Richardson J.J., Jordan A.G.* Governing Under Pressure. Oxford, UK: Martin, 1979.

[2] *Иноземцев В.Л.* (выполняет функции иноагента) «Превентивная» демократия. Понятие, предпосылки возникновения, шансы для России // Полис. Политические исследования. 2012. № 6. С. 106.

[3] *Bryan D.J.* A radical idea tamed: the work of Roger Cobb and Charles Elder // Handbook of public policy agenda setting / Ed. by N. Zahriadis. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2016. P. 29.

[4] *Соловьев А.И.* Латентные функции публичной политики // Политическая наука. 2022. № 3.

та сохраняет некие функциональные параметры этого правящего меньшинства, то фактические «правители» являют собой уже в полном смысле «постэлитарные» образования правящего меньшинства.

Как показывает практика, даже в условиях «раскола» современные политические элиты хорошо научились самостоятельно конструировать нужный баланс сил в рамках внутриэлитарных коммуникаций, при этом прекрасно используя в своих интересах слабость публичных институтов (некоторые из которых представляют лишь декоративный фасад власти) и дефицит политических компетенций у основной части населения. При этом сохранение внутренней солидарности, исключающей участие коллективного актора в распределении ресурсов, является для них постоянно действующей нормой.

Выигрышная ситуация для неформальных ассоциаций правящего класса расширяет роль этих «встроенных автономий» в системе власти и управления, в определении механизмов ротации и кооптации посланцев различных (в том числе международных) кланов (клинтел, парантел), заинтересованных в использовании государственных институтов в своих целях. Однако часть госбюрократии и политические представители граждан, не попадающие в зависимость от сетевых коалиций, сохраняют механизмы воспроизводства «классических» форм политической элиты. Более того, в рамках отдельных институтов влияние сетевых коалиций может ослабевать, испытывать усиление правового и гражданского контроля и тем самым демонстрировать, условно говоря, воссоздание институциональной формы правления (то есть контроля определенной части элиты за соответствующим процессом принятия решений).

Такое положение показывает, что конфликты между статусными и неформальными звеньями внутри правящего класса, будучи механизмом перепозиционирования его группировок в дизайне власти, способны менять содержание целей «выигрышных коалиций», контролирующих основные институты государственного правления. Другими словами, способствовать – в зависимости от соотношения сил – формированию в структурах власти тенденций как к *деинституализации*, так и к *реинституализации* правящей элиты.

Короче говоря, институализация господства политической элиты шла постепенно, выделяясь из множества социальных потоков и предлагая собственную логику развития (в зависимости от сферы доминирования). Какое-то время влияние элитарных слоев сосуществовало со структурами феодального толка, т.е. с привилегиями отдельных кланов. Однако современные национальные государства создали для элит особый контур отношений с обществом, а сама эта группа дополнила архитектуру своего доминирования системой «узлов решений» для распределения ресурсов. В силу такого течения событий следует признать, что основным внутренним механизмом элитогенеза являются стадии институализации – деинституализации и реинституализации правящего меньшинства. Подтверждение таких трансформаций удачно вписывается в концепцию «двойного морфогенеза» М. Арчера, утверждающую возможность представителей правящего меньшинства не только создавать новые порядки и структуры, но и претерпевать качественные внутренние трансформации[1].

В авторитарном варианте функционирования элита рассматривает свой суверенитет как условие пренебрежения законами и использования военной силы

[1] *Archer M.* Being Human: The Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

в качестве своих личных инструментов (М. Вебер), трактуя при этом приоритет государственных институтов как инструмент использования власти на основе «личного усмотрения» (Х. Линц). Думается, однако, что преимущественное значение роли сетевых коалиций, использующих эффективные схемы влияния на центры принятия решений (при весьма незначительных контролирующих элиту возможностях граждан), следует признать для всех типов организации государственной власти. Но даже признавая различное содержание интересов этих элитарных сообществ, все же следует скептически относиться к любым нормативно заданным моделям о якобы неизбежных перспективах установления в современных государствах демократических коммуникаций власти и общества (в том числе и к идеям «превентивной» или же «коллаборативной демократии», демонстрирующих такую логику рассуждений)[1]. Даже учитывая опыт развития западных демократий, либерализации власти или усиления механизмов конституционного аудита и административного арбитража, способных создавать мощные источники социальной энергетики, однако, увы, не способных воспрепятствовать давлению неформальных сегментов политической элиты и деинституализации последней.

Конечно, столкновение противоречивых траекторий эволюции современной элиты показывает, что ныне переживаемое обществом историческое время демонстрирует *очаговый* характер ее деинституализации. При этом открытым остается и вопрос о формах развития элитогенеза, связанного с укреплением принципов гетерархии в системе государственного управления или изменением отношений государства и общества в связи с надвигающимся экологическим кризисом. Хотя выход на историческую арену «цивилизационных государств», предпочитающих приоритеты самобытности и страновых традиций и обычаев, способен увеличить дистанцию между властью и населением, а следовательно, и повысить закрытость правления на всех уровнях государственного устройства. В любом случае, однако, даже среднесрочный горизонт развития событий даст новую пищу для понимания тенденций эволюции политической элиты.

*А.И. Соловьев*

**Литература**

1. *Гельман В.Я.* Недостойное правление. Политика в современной России. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2019. — 255 с.

2. *Дука А.В.* Монархический соблазн российской элиты // Власть и элиты. Т. 4 / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2017. С. 256–337.

3. *Ефимова Е.В.* Перспективные способности и качества российской политической элиты XXI в. // Вестник Пятигорского ун-та. 2019. № 1. С. 233–236.

4. *Каспэ С.В.* Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М.: Моск. школа полит. иссл., 2008. — 318 с.

5. *Леонтьева О.В.* Политика и право. Критерии качества и эффективности политической элиты. URL: http://www. eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4899:2015-12-03-05-54-15&catid=230:2013-03-28-11-33-12 (дата обращения: 19.11.2022).

6. *Павроз А.В.* Группы интересов в политическом процессе: новейшие тенденции взаимодействия государства и российского общества // Трансформации публичной политики в современной России / Под ред. В.И. Радикова. М.: РУСАЙНС, 2022. С. 22–41.

[1] *Полтерович В.М.* Кризис институтов политической конкуренции, Интернет и коллаборативная демократия // Вопросы экономики. 2021. № 1. С. 52–72.

7. *Полтерович В.М.* Кризис институтов политической конкуренции, Интернет и коллаборативная демократия // Вопросы экономики. 2021. № 1. С. 52–72.

8. *Понеделков А.В.* Политическая наука в элитологическом измерении. Ростов н/Д.: СКАГС, 2010. — 509 с.

9. *Соловьев А.И.* Политика и управление государством. Очерки теории и методологии. М.: Аспект Пресс, 2021. — 253 с.

10. *Baumgartner F.R.* Ideas and policy change // Governance. 2013. Vol. 26. No. 2. P. 239–258. URL: https://doi.org/10.1111/gove.12007.

11. *Crenson M.A.* The Un-politics of Air Pollution: A Study of Non-Decisionmaking in the Cities. Baltimore: John Hopkins University Press, 1971. — 227 p.

12. *Culpepper P.D.* Quiet Politics and Business Power: Corporate Control in Europe and Japan. N.Y.: Cambridge University Press, 2011. — 220 p.

13. *Ledeneva A.V.* Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 314 p.

14. *Linz J., Stepan A.* Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. — 479 p.

15. *Tilly Ch.* War Making and State Making as Organized Crime // Bringing the State Back / Ed. by P.B. Evans, D. Rueschmeyer, T. Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 169–191.

16. *Xu J., Wang Z., Shen F., Ouyang C., Tu Y.* Natural disasters and social conflict: A systematic literature review // The International Journal of Disaster Risk Reduction (IJDRR). 2016. Vol. 17. No. 2. P. 38–48. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.04.001.

# Институциональный дизайн

Категория «институциональный дизайн» прочно утвердилась в социальных науках во второй половине XX в. и активно используется исследователями в самых разных областях знания: от экономической и политической теории до сетевого анализа и государственного управления. Даже в весьма консервативной среде юристов, где к столь сложным понятиям отношение традиционно настороженное, постепенно происходит его адаптация, появляются соответствующие публикации.

Корни институционального дизайна (ИД) находятся в экономической науке, в тех ее областях, которые интересуются культурными факторами экономических изменений, выстраиванием властных отношений и обеспечением социальной интеграции. Такие исследования учитывали сложившиеся механизмы принятия решений, а также новые масштабы вопросов, которые встают перед социумом (например, строительство и поддержание функционирования больших технических систем, затрагивающих интересы тысяч граждан, — энергетические объекты, водопользование, ирригация, утилизация опасных отходов промышленности, транспортные коммуникации, связанные с необходимостью нового проектирования землепользования и обеспечения безопасности, и др.

Благодаря интенсивной научной разработке ИД сегодня (с учетом дискуссий в зарубежной литературе о перспективах и ограниченности его технократической интерпретации)[1] уже никто не наполняет данную категорию каким-то метафори-

[1] Constitutional Design and Power-Sharing in the Post-Modern Epoch / Ed. by D.J. Elazar. Lanham, MD: University Press of America, 1991; *Soberg Shugart M., Carey J.M.* Presidents and Assemblies: Constitu-

ческим содержанием[1]. В настоящее время в западной политической науке данный термин используется в самых разных направлениях, например для сравнительного изучения различных параметров конкретных институтов и институциональных систем; оценки их функционирования в условиях социальной динамики; определения уровня институализации различных правил поддержания политического порядка и т.д. Упомянем и такой ракурс исследований, как конструирование институционального дизайна в странах, переживших гражданскую войну или находящихся в стадии «постконфликтного регулирования»[2].

Сегодня под ИД обычно понимают деятельность, связанную с совершенствованием и проектированием институтов (а также необходимой инфраструктуры их формирования), планированием последовательных изменений, направленных на повышение их эффективности в целях адаптации к внешней среде, достижения нового уровня развития социума (обретения новых качеств) и управлением рисками. Тем самым исследования ИД помогают понять, как институциональные нормы не только определяют передачу социального опыта у различных поколений, снижают издержки коллективного действия или повышают уровень взаимного доверия акторов, но и консервируют устаревшие и неэффективные политические формы. В то же время надо подчеркнуть, что преувеличение или абсолютизация различных институциональных граней способны ограничивать эвристический потенциал ИД[3].

Темпоральные параметры ИД, отражающие его эволюцию на фоне обострения старых и возникновения новых социальных противоречий или распространения практик оппортунистического поведения отдельных акторов, демонстрируют потребность в достаточно длительном и одновременно осторожном выстраивании стратегии институциональных изменений[4], сочетающихся при этом еще и с за-

---

tional Design and Electoral Dynamics. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 1992; The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy / Ed. by by A. Reynolds. Democratic Constitutional Design and Public Policy: Analysis and Evidence / Ed. by R.D. Congleton, B. Swedenborg. Cambridge, MA: MIT Press, 2006; *Lutz D.S.* Principles of Constitutional Design. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2006; Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation? / Ed. by S.Choudry. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2008; *Lijphart A.* Constitutional Design for Divided Societies // Journal of Democracy. 2004. Vol. 15. No. 2.

[1] См.: *Frankenberg G., Ginsburg T.* (eds). Comparative Constitutional Design. Cambridge University Press, 2012 // International Journal of Constitutional Law. 2013. Vol. 11. No. 2. P. 537–542 (Русский перевод: *Фракенберг Г.* Сравнительный конституционный дизайн // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 5 (96); *Ginsburg T.* (ed.). Comparative Constitutional Design. Cambridge University Press, 2012.

[2] Constitutional Design and Power-Sharing in the Post-Modern Epoch / Ed. by D.J. Elazar. Lanham, MD: University Press of America, 1991; *Shugart S.M., Carey J.M.* Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 1992; The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy / Ed. by A. Reynolds. Oxford: Oxford University Press, 2002; Democratic Constitutional Design and Public Policy: Analysis and Evidence / Ed. by R.D. Congleton, B. Swedenborg. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

[3] Многогранный характер институтов удачно иллюстрирует подход А.А. Аузана, который рассматривает институты и как «удобство», и как «принуждение», «наказание», и даже как «борьбу» и «образ жизни» (*Аузан А.А.* Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. 2-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016).

[4] Так, А.И. Соловьев, говоря о послеавгустовском периоде 1991 г., подчеркивает, что «кардинальный характер предложенных обществу реформ не мог опираться на... усеченную и институализированную... легитимность. В результате из-за этой проволочки политический подъем сторонников демократизации страны не только не был востребован и институализирован в представительных структурах власти, но и не создал той политической смычки последних с исполнительными учреждениями, которая могла бы задать совершенно иной характер развития как режима в целом, так и отношений

метными сдвигами в массовом сознании и поведении элит. Однако, как отмечает Е.Б. Шестопал, «в литературе до сих пор нет единства по вопросу о том, ментальные ли структуры трансформируются под влиянием изменения институтов, или институты обретают устойчивость только там, где имеется подходящая ментальность населения и элит. Очевидно лишь, что ментальные структуры меняются гораздо медленнее политических институтов»[1].

Отечественная исследовательница М.С. Круглова указывает на сосуществование двух основных версий интерпретации ИД: это работы Э. Остром (Блумингтонской школы) и тексты исследователей под эгидой Кембриджского университета (Р. Гудин)[2]. В принципе можно вполне солидаризироваться с таким подходом, с учетом, однако, разработок тех авторов, которые исследовали постконфликтные трансформации государственного строительства в обществах, переживших/переживающих гражданскую войну и/или этнические, территориальные конфликты в условиях раскола и временной утраты дееспособности государства.

Э. Остром, выдвинувшая концепцию ИД и рассматривавшая его как набор конкретных принципов разработки и принятия решений, направленных на достижение согласия по контролю, распределению и воспроизводству общественных благ («неисключаемых благ»), по сути, стала основоположником изучения этого явления. В своих авторских и совместных работах, на основе которых в США сформировалась Блумингтонская школа, она обращалась к общественному выбору, влияющему на принятие решений в части контроля и распределения общих благ[3]. Главная особенность такого подхода состояла в особом внимании к неформальным правилам и нормам, которые обеспечивают функционирование территориальной общности и которые позволяют преодолевать сложные жизненные проблемы и сохранять интересы участников[4]. В этом кон-

---

этих ведущих ветвей власти. Сохранение же критической массы сторонников коммунистических сил в Верховном Совете и, как следствие, его сопротивление планам реформаторов в значительной степени подорвали заинтересованность исполнительных структур в сотрудничестве с ним, а в дальнейшем, спровоцировав резкое политическое противоборство, сделало возможным и осенний кризис 1993 г.» (*Соловьев А.И. Институциональный дизайн* российской власти: исторический ремейк или матрица развития? // Общественные науки и современность. 2004. № 1. С. 65).

[1] *Шестопал Е.Б.* Представления, образы и ценности демократии в российском обществе // Полития. 2011. № 3 (62). С. 35.

[2] *Круглова М.С.* Теория институционального дизайна: от поиска идеальных институтов к работам Блумингтонской школы // Terra Economicus. 2018. Т. 16. № 4; *Круглова М.С.* Теория мезоинститутов Клода Менара и ее использование в институциональном дизайне // Журнал институциональных исследований. 2018. № 3.

[3] См.: *Остром Э.* Постановка задачи исследования институтов // Экономическая политика. 2009. № 6; *Остром Э.* Теория рационального выбора коллективного действия. Бихевиористский подход. Обращение президента Американской политологической ассоциации, 1997 г. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 1; *Остром Э.* Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности. М.: Мысль, ИРИСЭН, 2011; *Ostrom E.* Background on the Institutional Analysis and Development Framework // Policy Studies Journal. 2011. No. 39 (1); *Ostrom V. and Ostrom E.* Public goods and public choices // E.S. Savas (ed.). Alternatives for delivering public services: Toward improved performance. Boulder, CO: Westview Press, 1977.

[4] Наибольшую известность Э. Остром принесли работы по управлению общими благами, основанные на богатой эмпирической базе. В фокус внимания исследователя попали системы водопользования, ведения рыбного хозяйства и ирригации в самых разных регионах мира — от Новой Шотландии или Валенсии и Аликанте до Турции, Филиппин и Шри-Ланки. Автор обращает внимание и на лесопользование, и на скотоводство в условиях альпийского высокогорья. Изучение того, как устроены

тексте одним из наиболее важных достижений Э. Остром считается вывод о том, что сообщества могут найти (находят) оптимальные варианты распределения ограниченных ресурсов, при использовании специальных институциональных механизмов (при том, что не существует универсальных решений достижения успеха в любых территориально-хозяйственных системах). В итоге сложилось мнение, что управление, организованное самими участниками процесса распределения ресурсов (общинное, местное самоуправление, режимы распределенного доступа к ресурсной базе), чаще всего эффективнее, чем централизованное государственное управление.

Одним из ее аргументов в данном случае было утверждение того, что у людей существуют различные стимулы для управления общими ресурсами. Если сообщества в основном заинтересованы в расширенном воспроизводстве, но при этом твердо соблюдают принцип сохранения ресурса для себя и потомков, то государственные структуры ориентированы преимущественно на развитие, привлечение инвестиций и используют подходы, не адаптированные для данных конкретных условий.

Общие рекомендации («принципы проектирования») Э. Остром по формированию оптимального институционального дизайна были сформулированы следующим образом[1]: необходимо было четко определить границы группы и ресурса; определить правила присвоения общих ресурсов (ввести ограничение на объем, время и метод использования или присвоения), адаптированные к местным условиям; выработать коллективный набор механизмов, участвующих в процессе принятия решений, которые позволяют большинству ресурсов присваиваться или использоваться; наладить систему эффективного мониторинга как со стороны наблюдателей, так и со стороны самих «участников игры»; выработать шкалу санкций за нарушение правил; выработать понятные и доступные всем участникам процесса механизмы разрешения конфликтов; самоопределяющееся сообщество должно быть признано вышестоящими органами власти; в случае большого количества общих ресурсов распределить их между разными группами[2].

В данном случае речь идет не об универсальных рецептах, способных быстро изменить ситуацию, а о рекомендациях, заставляющих искать уже существующие, неформальные правила игры, поддержание которых в течение длительного времени и будет способствовать устойчивому использованию общего блага, сохранению соответствующей социально-территориальной идентичности и воспроизводству конкретной экосистемы.

Сомнения, связанные с реальными возможностями централизованной власти, правительства или крупных корпоративных структур эффективно решать вопросы распределения общих ресурсов в долгосрочной перспективе, привели

---

уникальные способы взаимодействия локальных сообществ с экосистемой, позволило выявить стратегии оптимальных режимов хозяйствования не только с учетом обеспечения расширенного воспроизводства (повышение урожайности, сохранение рыбного промысла или производительность отгонного скотоводства), но и поддержания устойчивости окружающей среды, ее способностей к регенерации и сохранению безопасного для сообществ режима функционирования.

[1] У автора это называется «принципы проектирования, проиллюстрированные стабильными институциями ОР (общего ресурса)».

[2] *Остром Э.* Управляя общим. Эволюция институций коллективного действия / Пер. с англ. Киев, 2013.

Э. Остром к выводу о том, что «во многих случаях обычным людям, не имеющим никакой специальной подготовки, а зачастую вовсе неграмотным, гораздо лучше удается справляться с различными социальными дилеммами, чем экспертам или политикам. Оказалось, что многие сообщества использовали *CPR*[1] веками, не разрушая их и поддерживая достаточно высокий уровень их производительности»[2].

Таким образом, изучение особенностей функционирования сложных социальных процессов, связанных с распределением общих благ в условиях ограниченных их объемов и условий воспроизводства, привело к переоценке возможностей государства и центрального правительства в этом деле[3]. В целом в рамках Блумингтонской школы ИД представлял собой многовариантные попытки определения и совершенствования правил с учетом особенностей культурной, социальной и политической среды. Кроме данного широкого определения, сложилось и более узкое понимание этого явления, рассматривающего его как «разработку и реализацию правил, процедур и организационных структур, которые позволяют или ограничивают поведение и действия в соответствии с их значимостью для достижения целей или выполнения задач»[4].

Однако в последующее время накопилось немало интересных наблюдений относительно возможностей использования институционального опыта тех стран, которые продемонстрировали заметное продвижение в сфере выстраивания собственной политической системы и экономической модели, отражающей запросы большинства. На этой основе стали появляться исследования, обращавшие внимание не на перспективы заимствования, а на «выращивание» собственных институтов с учетом специфики общества, его истории и традиций, имеющих большое влияние на формирование соответствующих норм и правил[5].

В контексте такого рода исследований в Кембриджском университете сложилось второе направление исследований ИД, связанное с именем Р. Гудина и которое в большей степени стало обращать внимание не на сформировавшиеся

---

[1] *CPR — common-pool resources* — ресурсы общего пользования.

[2] *Капелюшников Р.И.* Множественность институциональных миров: Нобелевская премия по экономике, 2009: Препринт WP3/2010/02 (Ч. 1). М.: Изд. дом Гос. ун-та ВШЭ, 2010. С. 47.

[3] Кроме того, это отразилось и на понимании ситуации в научных исследованиях: «Модели, которые представители социальных наук, как правило, используют для анализа проблем общих ресурсов, имеют обратный эффект: поддерживают увеличение централизации политической власти: *во-первых*, люди, которые используют общие ресурсы, рассматриваются как способные на краткосрочную максимизацию, но не на долгосрочные рефлексии относительно общих стратегий для улучшения результатов; *во-вторых*, считается, что эти люди попадают в ловушку, из которой не могут выбраться без внешних органов власти, которые навязывают решения; *в-третьих*, институции, которые люди могут создать, игнорируются или отвергаются как неэффективные, и при этом никто не разбирается, как эти институции могут помочь получать информацию, сократить расходы на мониторинг и принудительное исполнение решений, а также справедливо распределить права присваивания и обязанности по снабжению; *в-четвертых*, решения, представленные как такие, которые навязывает “само” правительство, основаны на моделях идеализированных рынков или идеализированных государств» (*Остром Э.* Указ. соч. С. 303).

[4] *Alexander E.R.* Institutional Design for Sustainable Development // The Town Planning Review. 2006. Vol. 77. No. 1. P. 6.

[5] См.: *Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е.* Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений. М.: ГУ ВШЭ, 2005; *Пономарев А.А.* Проблемы импортирования институтов на примере автомобильной промышленности России // Вестник Нижег. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 4 (44); *Чиркова Е.* Влияние институтов на развитие ресурсных экономик. М., 2017.

естественным образом процедуры и правила, способствующие организации социальной жизни в соответствующих условиях, а на институциональное творчество лиц, принимающих решения[1]. В данном случае речь идет о сознательном отборе и/или даже «насаждении» определенных институтов для обретения нужного (желаемого) качества политической системы или нормативной среды. В этом контексте интерес ученых простирается от изучения промежуточных институтов (*second-best*) в институциональном дизайне (Б.Т. Корам) и взаимосвязи институциональных трансформаций с моделью человека экономического (Ф. Пети) до анализа политических реформ в странах Восточной Европы в 1990-е годы (К. Оффе).

В этом ракурсе ИД выглядит скорее как политическая технология, основанная на имплементации стороннего опыта институционального развития, направленная на внедрение готовых формальных правил, продемонстрировавших свою эффективность в «успешных» (с точки зрения реформаторов) обществах. Не случайно многие из тех решений, которые призваны были заимствовать или имитировать зарубежный опыт на определенной стадии, подвергаются ревизии самими «проектировщиками» и «прорабами» социально-политических изменений, которые уверены, что точность, последовательность и масштаб институциональных изменений важнее социокультурного контекста и долгосрочных тенденций эволюции общества[2].

Сторонники этого подхода обращают внимание, что серьезной проблемой ИД является достижение политическими элитами согласия относительно основных приоритетов выбора конкретных институтов: парламентская или президентская форма правления, шоковая терапия при проведении экономических преобразований или градуалистский подход и т.д. Прийти к консенсусу бывает крайне непросто еще и потому, что отдельные группы элиты ориентированы на разные внешние

---

[1] The Theory of Institutional Design / Goodin, R.E. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[2] В этой связи стоит обратить внимание на тексты немецкого политолога К. Оффе, в которых представлены основные аргументы критики конструктивистского подхода к ИД и где автор указывает на недостаточное понимание реформаторами имеющихся альтернатив: Institutional Designin Post-Communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. (Offe Claus, Jon Elster, Ulrich K. Preuss et al.), Cambridge: Cambridge University Press, 1998; Institutional Design // Clarke, Paul Barry and Joe Foweraker (eds), Encyclopedia of Democratic Thought. L.; N.Y.: Routledge, 2001; Kann man Institutionenkonstruieren? ÜberlegungenzumIn stitutionenwandel und zum institutional design // Fischer, Joachim und Hans Joas (Hg.). Kunst. MachtundInstitution. Frankfurt, Campus, 2003.

Его обращение к проблематике институционального дизайна связано с интересом к процессам политических и социально-экономических трансформаций в странах Восточной Европы в конце 1980-х — середине 1990-х годов. В этот период восточноевропейские государства (страны «народной демократии») трансформировались из важной части советской зоны политического влияния в члены ЕС и НАТО. Ослабление контроля из Москвы, а затем и распад интеграционных структур, контролируемых СССР, — ОВД и СЭВ — привели к тому, что этим государствам пришлось за достаточно короткий исторический период провести масштабные реформы, обуславливавшие членство в этих новых для них организациях, не говоря уже о выдвижении новых идеологических приоритетов «возвращения в Европу». В этой связи К. Оффе настаивает на совпадении по времени трех разных процессов социально-политической трансформации: 1) от имперского национально-государственного устройства к современному национальному государству, 2) из централизованной, плановой экономической модели — в свободную рыночную экономику и 3) от однопартийного политического режима — к плюрализму и конкурентной демократии. Эта «дилемма одновременности», в отличие от либеральных демократий, прошедших становление этих институтов естественным путем в течение продолжительного времени, показывает, что новые демократические государства и их элиты делают выбор в конструировании и конституировании внешне подобных институциональных рамок в весьма небольшой временной отрезок.

примеры, используют различный зарубежный опыт при разработке собственной политической линии. Такая ситуация напоминает «перестройку корабля в открытом море»: элиты стран, находящихся в стадии «демократического транзита», были уверены в том, что не готовы возвращаться к старой социально-политической модели, но при этом согласия относительно новой достигнуто не было[1]. Таким образом, дискуссии относительно того, как мог бы плыть вперед в «светлое будущее» торговый галеон, пушечный фрегат или пассажирский лайнер, могут быть сколь бесконечно продолжительными, столь и безрезультатными в плане принятия общей линии. А это ставит вопросы о мировоззрении, ценностных и поведенческих аспектах правящего класса, его способности к рефлексии и творческому переосмыслению социального и исторического опыта.

В качестве третьего исследовательского направления изучения ИД следует отметить рассмотрение возможностей воплощения западных политических и правовых институтов в странах, недавно переживших гражданскую войну или вставших на путь «переучреждения государственности»[2]. Например, исследование К. Самуэльса на примере Боснии и Герцеговины, Фиджи, Ливана, Северной Ирландии, ЮАР и Уганды анализирует в этом аспекте особенности формы правления и реализации принципа разделения властей, оптимальные модели выборов[3]. На основе данных кейсов К. Самуэльс указывает на возможности использования опыта этих стран в «постконфликтных» Ираке и Афганистане. Однако, учитывая, что в упомянутых странах до сих пор не преодолено состояние де-факто гражданской войны, а национальное правительство контролирует далеко не всю территорию, то такой подход выглядит скорее декларируемым вариантом для модераторов так называемого «постконфликтного регулирования», чем реальной перспективой политического развития государственности.

Схожий подход с акцентом на выстраивании оптимальной управленческой стратегии представлен в статье Г. Ситарамана в «Гарвардском правовом обозрении»[4]. Сочетание контртеррористических операций (военных и полицейских) позволяет, по мнению автора, создать новую администрацию, сформировать линию на ограничение так называемых «варлордов», препятствующих укреплению легальной власти и поиску конституционных институтов. ИД в данном случае выступает средством военного или парамилитарного управления в постконфликтных условиях политических трансформаций. Выбор же конкретных решений, связанных с учреждением конституционных институтов, становится частью общего политического курса управления конфликтом и становления новых элит, опирающихся на силовую поддержку внешних акторов. В этом смысле роль США рассматривается как ключевая, поскольку они обладают военной мощью, основанной на самой большой сети военных баз в мире и гибким сочетанием силы официальных государственных институтов, частных военных кам-

---

[1] *Offe Claus, Jon Elster, Ulrich K. Preuss* et al. Institutional Design in Post-Communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[2] Подробнее см.: *Кузнецов И.И.* Институциональные заимствования в политике: современные подходы // Известия Саратовского ун-та. Серия. Социология. Политология. 2010. Т. 10. Вып. 3.

[3] *Samuels K.* State-building and Constitutional Design after Conflict // IPA REPORT. 2006. June. — 23 p. URL: http://www.odi.org.uk/events/states_06/18thmay/presentations/20samuels.pdf; *Samuels K.* Post-Conflict Peace-Building and Constitution-Making // Chicago Journal of International Law. 2006. Winter. Vol. 6. No 2.

[4] *Sitaraman G.* Counterinsurgency and constitutional design // Harvard Law Review. 2008. Vol. 121.

паний, а также специальных агентств, осуществляющих «государственное строительство» в регионе с учетом национальных интересов своей страны[1].

В работе Э. Рейнолдса предложен весьма оригинальный подход к конструированию институтов в разделенных обществах, переживших/переживающих гражданскую войну, разрыв правовой и политической традиции. Он определяет данный подход к ИД как «конституционную медицину» («лечение посредством конституции»), что, по сути, означает использование так называемой конституционной инженерии на примере Афганистана, Судана и Ирака[2]. Исследование возможностей создания демократического институционального дизайна для урегулирования конфликтов в таких обществах основано на использовании прямой аналогии с медицинской практикой диагностики и лечения сложных заболеваний (от сортировки больных по соответствующим отделениям и оказания экстренной медицинской помощи до планомерного лечения и долгосрочного поддержания здоровья). В этой связи Рейнолдс утверждает, что «трансплантация институтов» выглядит как реальная возможность замены функциональных механизмов общественно-политического управления в случае «неизлечимости» имеющихся или их стойкой дисфункции. В этой связи автор указывает на необходимость учитывать различные этапы демократического развития государства и общества, с тем чтобы адаптировать политические институты к насущным потребностям. Весьма интересен тезис о том, что в конституции все институты должны быть соответствующим образом совмещены, чтобы не вызывать «отторжения» и дать «пациенту» возможность стабилизироваться, т.е. «выздороветь», развивая демократию. Впрочем, такой подход красноречиво демонстрирует стремление некоторых западных элит в большей степени формировать лояльные и подконтрольные себе политические режимы, нежели заботиться о становлении действительно эффективного национального государства.

Обращаясь к критике такого подхода к ИД в контексте концепции «продвижения демократии», Л. Даймонд считает, что это дело небезнадежное и даже полезное. Анализ постконфликтного «становления демократии» в Ираке, Боснии и Герцеговине, Анголе приводит его к выводу, что необходим учет местных социокультурных особенностей, этнического и религиозного факторов и координация действий с международными организациями. Все это вместе, по его мнению, может привести в длительной исторической перспективе к важным результатам. Основное внимание он уделяет работе по подготовке и проведению общенациональных выборов, созданию коалиций поддержки демократических реформ

---

[1] Стоит отметить, что собственный опыт в американской политической науке часто выделяют как уникальный, но весьма востребованный. Принято указывать на необходимость изучения роли США в становлении наций-государств, использовании институтов поддержки демократии, формировании современных конституционных и политических систем. В монографии корпорации РЭНД детально рассматриваются основные этапы и особенности государственного строительства в условиях после силового «демонтажа» предыдущего режима. Особое внимание уделяется конструированию современных политических институтов и «демократизации» как единственному средству «оставить общество в мире с самим собой и своими соседями». Общий смысл этого «руководства по строительству наций» сводится к последовательности действий и поддержке местных инициатив по развитию демократии и самоуправления в рамках современного понимания эффективности политических институтов (*Dobbins J., Jones S.G., Crane K., Degrasse B.C.* The beginner's guide to nation-building. Santa Monica, RAND, National Security Research Division, 2007).

[2] См.: *Reynolds A.* Constitutional Medicine // Journal of Democracy. 2005. January. Vol. 16. No. 1. P. 54–68.

на базе НКО и др.[1] Даже неоднозначный опыт такого государственного строительства с внешней поддержкой и «продвижением демократии» не снял с повестки дня саму парадигму активного содействия постконфликтному регулированию[2].

Отечественные исследователи, хотя в значительной степени следуют тем же методологическим основаниям анализа ИД, что и их зарубежные коллеги, и уже не воспринимают конструктивистские коннотации термина «дизайн» как экзотику или навязанную метафору, все же несколько иначе раскрывают эту категорию (акцентируя внимание на субъективных факторах принятия решений, режимных характеристиках политий и изучении непотизма, неопатримониальных тенденций развития правящих элит и т.д.).

В целом в отечественной науке сложилось два основных подхода. Так, «узкий» ориентирован на фиксацию соотношения формальных институтов государственного устройства (конституционной модели формы правления, территориально-политического устройства, электорального законодательства, норм, регулирующих функционирование политических партий, и т.д.) и сложившихся практик принятия властно значимых решений. В то же время «широкий» подход обращается не только к связке формальных и неформальных институтов и практик политической жизни, но и к тому, как именно возникали те или иные институциональные решения (в том числе как появлялись и продвигались в политическом пространстве идеи, образы конкретных институтов; кто и каким образом выступал в качестве инициатора запуска процесса «трансплантации» или «выращивания» институтов на местной почве; кем и как выдвигались возражения этим подходам и что было альтернативой и т.д.).

Так, И.Н. Барциц, ставя вопрос о возможностях и пределах учета зарубежного опыта в разработке национальной конституционной модели[3], стремится обосновать перспективу использования таких категорий, как «красота», «эргономика», «эстетика» конституции, что существенно отличает такой подход от мнения зарубежных коллег, ориентированных на парадигму рационального выбора. Российские авторы часто обращают внимание и на процесс заимствования политических и правовых институтов, используя при этом понятия «пересадка», «трансплантация», «заимствование» и др. Например, В.И. Лафитский, полагая, что заимствование американского опыта строительства институтов стало типичным следствием глобализации, отмечает, что главным инструментом воздействия этого процесса на конституционный строй, как правило, является не инкорпорация норм международного права, а «заимствование или рецепция конституционных моделей других государств»[4]. Причем заимствуются не только базовые принципы конституционного строя (верховенство права, разделение властей, федерализм), но и частные решения по организации власти и регулированию экономических отношений.

---

[1] *Diamond L.* Promoting Democracy in Post-Conflict and Failed States: Lessons and Challenges // Taiwan Journal of Democracy. 2006. Vol. 2. No. 2.

[2] *Diamond L.* Building Democracy After Conflict: Lessons from Iraq // Journal of Democracy. 2005. January. Vol. 16. P. 9–23.

[3] *Барциц И.Н.* Конституционный дизайн (о красоте и эстетике конституций) // Вестник Пермского ун-та. Серия: Юрид. науки. 2018. Вып. 41. С. 344–370.

[4] *Лафитский В.И.* Механизмы воздействия процессов глобализации на конституционный строй // Реализация Конституции: от идей к практике развития конституционного строя (состояние и перспективы российского конституционализма на общемировом фоне). Международное исследование // Конституционный вестник. 2008. № 1 (19). С. 311.

При этом глобальные задачи по распространению влияния американских корпораций и решения других задач в сфере экономического развития являются основными инструментами «продвижения» и «содействия демократии».

Наряду с такими подходами ряд отечественных исследователей предпочитает узкую трактовку ИД, привязывая данную категорию к отдельному элементу государственного строительства и/или политического управления. Например, К.В. Мельников практически отождествляет понятия «институциональный дизайн» и «конституционный дизайн», считая их взаимозаменяемыми. Полагаем, что такая позиция (связанная только со «способом разграничения полномочий и определения механизмов взаимодействия между различными ветвями власти»)[1] выглядит весьма уязвимо, поскольку ИД не может быть связан исключительно с процессом формирования и функционирования конституционных институтов. В этом плане достаточно обратить внимание на то, как именно происходит сложный процесс институциализации правовых норм и насколько важными являются здесь разнообразные неформальные правила, конвенции, механизмы взаимодействия властных элит и групп интересов.

Другой характерный пример использования категории ИД демонстрирует противопоставление подходам, сложившимся в конституционном праве. В частности, Л.В. Сморгунов пишет, что «в противоположность конституционному праву, где используется понятие “форма государственного правления”, в политологии используется ... понятие — институциональный дизайн государственного правления (или режима). Смысл замены понятия двойной: *во-первых*, новым понятием подчеркивается конструктивистский характер государственного правления, т.е. его сознательный выбор; *во-вторых*, новое понятие придает государственному правлению динамические характеристики, т.е. фиксирует наше внимание не на форме, а на режиме. Под институциональным дизайном государственного правления понимается организация высшей государственной власти и система ее отношений с населением. Организация высшей государственной власти включает в себя состав высших органов государства, положение главы государства и систему их взаимоотношений между собой»[2].

В более свежих публикациях санкт-петербургских ученых нетрудно увидеть несколько иное понимание ИД, которое в большей степени связано с проявлениями цифровизации в государственном управлении[3]. Кроме того, активно изучается зарубежный опыт и лучшие практики «дигитальной трансформации», обращается внимание на отдельные стадии процесса («вовлечение», «приземление», «контекстуализацию»)[4].

---

[1] *Мельников К.В.* Институциональный выбор и исходы режимных трансформаций в посткоммунистических обществах: сравнительный анализ российского и молдавского случая // Журнал политических исследований. 2019. Т. 3. № 4. С. 24–39.

[2] *Сморгунов Л.В.* Сравнительная политология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2012. С. 116.

[3] См.: *Сморгунов Л.В.* Демократия и управление. Внедрение институциональных дизайнов цифрового управления. 2020. № 2 (23). — 59 с.; Демократия и управление. Информационный бюллетень гранта РНФ № 19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований цифровых форматов государственной управляемости». № 1 (22). СПб., 2020.

[4] *Волкова А.В.* Особенности институциональных дизайнов внедрения цифрового публичного управления (на примере Германии и Эстонии) // Политика развития в условиях цифровизации общества: Материалы всероссийской научной конференции с международным участием. Краснодар: Вика-Принт, 2020; *Волкова А.В., Потапов А.Д.* Цифровая трансформация системы муниципального управле-

В то же время традиционным направлением исследований ИД по-прежнему остается сравнительный анализ политической динамики современных государств. Так, М.А. Краснов изучает влияние конкретной версии конституционного дизайна на развитие политического режима (сохраняя идею о предпочтительности парламентской формы правления)[1]; Е.Ю. Мелешкина указывает на ряд особенностей формирования ИД под влиянием институциональной трансплантации, утверждая, что «для ряда посткоммунистических стран характерны» такие черты «иерархической... системы управления», которые опираются на личностные связи, укореняют патрон-клиентские отношения, демонстрируют слабую дифференциацию частной и публичной сфер[2]. Появились публикации, посвященные отечественному опыту институциональных заимствований в ходе политического процесса в начале 1990-х годов при подготовке и принятии Конституции России 1993 г.[3]

Стоит отметить, что ИД не может рассматриваться как доминирующий фактор развития современных социумов. Учитывая его значительное влияние на социально-экономическое и политическое развитие, следует все же обращать внимание и на такие аспекты, как «человеческий и социальный капитал, географические условия, тип правовой системы, политическую стабильность, культурные и ценностные характеристики общества, включая доверие, а также совокупную продуктивность факторов производства»[4]. К этому же постоянно призывают и коллеги-экономисты, изучающие эффекты «институциональной колеи», исторической преемственности и невостребованных альтернатив[5].

Таким образом, категория «институциональный дизайн» вполне прижилась в политологии, проявляя особое внимание к конкретным аспектам институциональной динамики. В частности, можно видеть, что отечественные ученые делают акцент на вертикальном или горизонтальном разделении властей (особенностях функционирования соответствующих форм правления и типов территориально-политического устройства в определенных условиях); изучают возможности и ограничения институциональной базы для этнически или культурно разделенных обществ с позиции формирования гармоничной системы представительства

---

ния в России: выбор модели институционального дизайна политики // Ленинградский юридический журнал. 2021. № 2 (64). С. 80–91; *Volkova A.V., Kulakova T.A.* Network, procedural and cognitive components of digital public governance implementation designs: The experience of European countries // Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies. 2021. Vol. 37. Iss. 1. P. 118–135; *Тропинова Е.А.* Институционализация дизайна цифрового публичного управления: рефлексивный потенциал агентов изменений // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2020. Т. 11. № 4. Интересно, что такая деятельность, по мнению Е.А. Тропиновой, не связывается с традиционным пониманием развития: «Важно подчеркнуть, что совершенствование отношений государства и граждан в цифровом поле не связано напрямую с улучшением условий социально-экономического развития. Здесь важны усилия снизу вверх, на локальном и региональном уровне, направленные на изучение конкретных общественных потребностей» (*Тропинова Е.А.* Там же. С. 81).

[1] *Краснов М.А.* Постсоветские государства: есть ли зависимость политического режима от конституционного дизайна? // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 2 (99).

[2] *Мелешкина Е.Ю.* Государственное строительство и институциональная трансплантация в посткоммунистических странах // Политическая наука. 2016. № 4. С. 191.

[3] *Кузнецов И.И.* Институциональный дизайн российской власти: влияние внешних факторов становления формы правления // Политическая наука. Спецвыпуск. М., 2016.

[4] *Ахременко А.С., Локшин И.М., Юрескул Е.А.* Экономический рост и выбор политического курса в авторитарных режимах: «недостающее звено» // Полития. 2015. № 3 (78). С. 54.

[5] *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Россия и Европа: эффект колеи (опыт институционального анализа истории экономического развития). Калининград, 2009.

интересов[1]; осуществляют анализ перспектив политических стратегий «заимствования», «трансплантации» и «выращивания» институтов с учетом социокультурной специфики отечественного общества, истории и традиций организации власти и самоуправления; осуществляют поиск оптимальных возможностей использования современных технологических подходов в публичной политике и управлении (эффекты цифровизации, изменение интерфейсов общения государства и общества, определение наиболее перспективных вариантов инклюзивных технологий разработки и принятия властно значимых решений).

Среди новейших подходов к ИД выделяется так называемый «гендерный аудит», учитывающий существующее распределение гендерных ролей и отражающий свои требования на уровне конституционного законодательства[2]. Важным направлением развития исследований ИД стоит считать и изучение процесса определения политических предпочтений правящих элит, влияющих на выбор стратегии институционального строительства, а также выделение некоего «референтного образа» будущего, вокруг которого они консолидируются. Кроме того, перспективно, на наш взгляд, исследовать и то, насколько прочным, устойчивым и функциональным может быть такой элитный консенсус с позиции оценки возможностей институционального строительства на долгосрочную перспективу.

*И.И. Кузнецов*

**Литература**


1. *Барциц И.Н.* Конституционный дизайн (о красоте и эстетике конституций) // Вестник Пермского ун-та. Серия: Юридические науки. 2018. Вып. 41. С. 344–370.
2. *Волкова А.В.* Особенности институциональных дизайнов внедрения цифрового публичного управления (на примере Германии и Эстонии) // Политика развития в условиях цифровизации общества: Материалы всероссийской научной конференции с международным участием. Краснодар: Вика-Принт, 2020. С. 45–52.
3. *Волкова А.В., Потапов А.Д.* Цифровая трансформация системы муниципального управления в России: выбор модели институционального дизайна политики // Ленинградский юридический журнал. 2021. № 2 (64). С. 80–91.
4. *Волынский А.И.* Институциональный дизайн и теория реформ в российском экономическом дискурсе // Terra Economicus. 2018. Т. 16. № 4. С. 29–40.
5. Демократия и управление. Информационный бюллетень гранта РНФ № 19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований цифровых форматов государственной управляемости». № 1 (22). СПб., 2020. — 62 с.
6. *Зазулина М.Р.* Институциональный минимализм как тренд развития местного самоуправления в современной России // Сибирский философский журнал. 2022. Т. 20. № 2. С. 127–142.
7. *Круглова М.С.* Теория институционального дизайна: от поиска идеальных институтов к работам Блумингтонской школы // Terra Economicus. 2018. Т. 16. № 4. С. 18–28.
8. *Круглова М.С.* Теория мезо-институтов Клода Менара и ее использование в институциональном дизайне // Журнал институциональных исследований. 2018. № 3. С. 49–57.
9. *Кузнецов И.И.* Институциональный дизайн российской власти: влияние внешних факторов становления формы правления // Политическая наука. Спецвыпуск. М., 2016. С. 227–244.


---

[1] *Lijphart A.* Constitutional Design for Divided Societies // Journal of Democracy. 2004. Vol. 15. No. 2.

[2] *Williams S.H.* Introduction: Comparative Constitutional Law, Gender Equality, and Constitutional Design // Constituting Equality: Gender Equality and Comparative Constitutional Law / Ed. by S H. Williams. N.Y.: Cambridge University Press, 2009; *Irving H.* Gender and the Constitution: Equity and Agency in Comparative Constitutional Design. Cambridge; N.Y.: CambridgeUniversityPress, 2008.

10. *Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е.* Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений. М.: ГУ ВШЭ, 2005.

11. *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Россия и Европа: эффект колеи (опыт институционального анализа истории экономического развития). Калининград, 2009. — 294 с.

12. *Остром Э.* Управляя общим. Эволюция институций коллективного действия / Пер. с англ. Киев, 2013.

13. *Полтерович В.М.* Институциональные реформы и гражданская культура // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 22. С. 225–238.

14. *Сморгунов Л.В.* Демократия и управление // Внедрение институциональных дизайнов цифрового управления. 2020. № 2 (23). — 59 с.

15. *Соловьев А.И.* Институциональный дизайн российской власти: исторический ремейк или матрица развития? // Общественные науки и современность. 2004. № 1. С. 64–76.

16. *Тропинова Е.А.* Институционализация дизайна цифрового публичного управления: рефлексивный потенциал агентов изменений // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2020. Т. 11. № 4. С.78–86.

17. *Alexander E.R.* Institutional Design for Sustainable Development // The Town Planning Review. 2006. Vol. 77. No. 1.

18. *Diamond L.* Promoting Democracy in Post-Conflict and Failed States: Lessons and Challenges // Taiwan Journal of Democracy. 2006. Vol. 2. No. 2. P. 93–116.

19. Counterinsurgency and constitutional design // Harvard Law Review. 2008. Vol. 121. P. 1622–1643.

20. Institutional Design // Clarke, Paul Barry and Joe Foweraker (eds). Encyclopedia of Democratic Thought. L.; N.Y.: Routledge, 2001. P. 363–368.

21. *Irving H.* Gender and the Constitution: Equity and Agency in Comparative Constitutional Design. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2008.

22. *Ostrom E.* Background on the Institutional Analysis and Development Framework // Policy Studies Journal. 2011. No. 39 (1). P. 7–27.

23. *Sitaraman G.* Counterinsurgency and constitutional design // Harvard Law Review. 2008. Vol. 121. P. 1622–1643.

24. *Ginsburg T.* (ed.). Comparative Constitutional Design. Cambridge University Press, 2012.

25. *Volkova A.V., Kulakova T.A.* Network, procedural and cognitive components of digital public governance implementation designs: The experience of European countries // Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies. 2021. Vol. 37. Iss. 1. P. 118–135.

26. *Williams S.H.* Introduction: Comparative Constitutional Law, Gender Equality, and Constitutional Design // Constituting Equality: Gender Equality and Comparative Constitutional Law / Ed. by S.H. Williams. N.Y.: Cambridge University Press, 2009. P. 1–25.

# Кликократия

Кликократия — это разновидность властного порядка, формирующегося на основе господства неформальных общностей, предопределяющих связи граждан и центров официального доминирования. Природа такого порядка коренится в догосударственных формах социального взаимодействия. Однако в рамках различных политических режимов кликократия способна как носить очаговый характер (подрывающий нормативно закрепленные способы деятельности отдельных институтов власти и управления), так и подавлять управленческие возможности центральной координирующей системы с ее формали-

зованными нормами и регламентами, определяющими отношения государства и общества.

Иначе говоря, именно политический режим (который М. Дюверже определял как форму, «которую принимает в данной социальной группе различие управителей и управляемых»)[1] аттестует ту или иную разновидность властного порядка, определяя степень распространения и укоренения господства неформальных коалиций. Таким образом, и кликократический порядок формирования власти всегда опирается на систему социальных связей, демонстрирующих устойчивость стандартов и стереотипов обмена и потребления экономических ресурсов, социокультурных традиций и ценностей, готовности людей к изменениям и т.д.[2]

Формирующаяся на тех или иных социальных основаниях власть — суть способность «устраивать, воплощать и поддерживать порядок»[3]. Но поскольку «политическая, экономическая, религиозная и военная власть создается при помощи институтов, которые структурируют отношения людей и их организации»[4], то можно утверждать, что любой порядок институционален, а его истоки находятся «в типизации совершаемых действий», показывающих, что «одного индивида объединяют с другим определенные цели и совпадающие этапы их достижения»[5]. Говоря словами Э. Тоффлера, институции призваны создать общественно нормальный порядок власти и в этом смысле служить средством для реализации и ограничения последней. При этом власть понимается «как способность к преобразованиям» (Э. Гидденс) или «способность преследовать и достигать цели посредством овладения окружающей средой» (Г. Манн).

Короче говоря, понятие «порядок» ориентирует исследователей на методологию институционального анализа, развиваемую в рамках институциональной политологии. Институции как политическое установление — это действующие правила, *working rules,* как назвал их Дж. Коммонс, включающие в себя формальные или неформальные санкции, образующие политические, социальные и юридические рамки взаимодействий между людьми, обеспечивающие соответствующий обмен информацией и содержащие процедуры координации совместных действий. При этом правила чаще всего действуют не на поведение индивидов, а на структурирование ситуации, системно формируют институциональную среду. Но чтобы закон стал правилом, необходима система правоприменения. В силу этого к формированию институций имеют отношение те акторы, которые причастны к нормотворчеству, к формированию смыслов и ориентиров, к идеологи-

---

[1] Приблизительно аналогичных взглядов придерживались Ж.-Л. Кермонн, рассматривавший политический режим как «совокупность элементов идеологического, институционального и социального порядка, способствующих формированию политической власти данной страны на определенный период», или О'Доннел и Ф. Шмиттер, понимающие под ним «совокупность структур, явных или скрытых, которые определяют формы и каналы доступа к ведущим правительственным постам, а также характеристики деятелей, которые считаются для этих структур подходящими или неподходящими, используемые ими ресурсы и стратегии в целях получения желаемого назначения».

[2] Показательно, что в частных разговорах выдающийся отечественный социолог В. Ядов не раз говорил о том, что «русский народ живет шайками».

[3] *Бауман З.* Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 198.

[4] *Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки: концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, 2011. С. 32.

[5] *Бергер П., Лукман Н.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С. 120.

ческому и моральному обоснованию порядка. Поэтому институции — это структуры взаимодействия, правила, законы, соглашения и нормы, разделяемые людьми убеждения о мире и одновременно средства принуждения к исполнению этих правил и норм. Таким образом, институциональные практики представляют собой (потенциально) бесконечное множество конкретных интеракций, которые воспринимаются акторами как происходящие в одной и той же «типичной ситуации» и воспроизводят принятые и коллективно осмысленные правила[1].

Заметим попутно, что немало реформаторов, увлеченных идеями кардинальных преобразований, воздействуя на макроуровень социетальной системы, не учитывают влияния изменившихся структурных свойств на ее микроуровень, тем самым рассматривая среду повседневности как изначально предрасположенную к желаемому восприятию реформаторских импульсов. Между тем, согласно Э. Гидденсу, следует различать социальную и системную формы интеграции, означающие либо «упорядоченные связи, взаимообмены» или «просто взаимность практик». «Социальная интеграция, — писал он, — предполагает системность на личном уровне, в ситуации соприсутствия или взаимодействия лицом к лицу. Системная же интеграция относится к взаимодействию с теми, кто отсутствует физически во времени или в пространстве. Механизмы системной интеграции, несомненно, включают в себя механизмы социальной интеграции, однако последние отличаются по ряду ключевых параметров от тех, что вовлечены в процессы взаимодействия на личном уровне (в условиях соприсутствия)»[2].

Конкретизируя такое понимание, А.Д. Хлопин отмечал, что социальная интеграция основана на личном взаимопонимании и доверии, возникающем в микросреде, образованной сетью из устойчивых связей и отношений типа «лицом к лицу», которые регулируются нормами взаимности в признании прав и исполнении обязанностей между родственниками, друзьями, хорошо знакомыми людьми, реже соседями. Доверительные отношения, воспроизводящиеся по правилам специфической реципрокности, исключающей нарушение моральных правил, принятых в сети «своих» людей, структурируют их микропрактики в режиме саморегуляции. Таким образом, «социетальная интеграция возникает в процессе политической самоорганизации сегментов социума на основе ценностей и норм, которые не только регулируют координацию сотрудничества и конфликта между различными микросредами, но и поддерживают их автономию в рамках макропорядка, повсеместно признанного легитимным. Симметрия в признании прав и обязанностей гражданина легитимирована формальным равенством перед законом, гарантированным социетальными институтами власти (государством), и безразлична по отношению к личности как тех, кто применяет эту норму, так и тех, к кому она применяется»[3].

Если носитель власти выходит за рамки закона (и становится над законом), не встречая при этом системного ограничения со стороны институционального порядка (даже в том случае, если он не вполне оформлен), то власть обретает произвольный характер. В этом случае требования подчинения власти устанавливают

---

[1] *Панов П.В.* Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка. М.: РОССПЭН, 2011.

[2] *Гидденс Э.* Устроение общества: Очерк теории структуризации. М.: Академический Проект, 2005. С. 73.

[3] Повседневные практики и процессы институциональной трансформации в России. М.: Институт сравнительной политологии, 2002. С. 12–13.

не безличный порядок, а представляющие власть лица. Как правило, следствием господства столь произвольной власти (*domination as arbitrary power*) становится возникновение вырастающей из самодеятельности граждан и основанной на неформальных связях и выходящей за пределы формально-правовых норм (или не опирающихся на них) *клики*, превращающейся в базовую форму самоорганизации социума.

Этимология термина «клика» достаточно разнообразна. В советском политическом лексиконе «клика» в 1940–1950-е годы и позднее бытовала в форме «клика кого-то»[1]. Наиболее просто и оценочно-нейтрально этот термин представлен в Сводном словаре современной русской лексики: «клика — группа людей, которые могут формировать индивиды, над которыми нависла угроза наказания или общественного порицания»[2].

В большинстве же словарей такой нейтральности нет. Так, весьма пежоративное определение дает 2-томная «Социологическая энциклопедия» под редакцией В.Н. Иванова (М.: Мысль, 2003). Клика — термин, обозначающий группу маргинальных или одиозных членов общества, солидаризующихся с целью оказания друг другу взаимной поддержки.

Английский этимологический словарь[3] указывает, что слово «клика» появилось в стране в 1711 г. для определения особой небольшой группы лиц, что ассоциируется «с притязанием на власть или привилегию», произошло от старофранцузского *clic* — «щелчок, треск, звяк» (XIII в.), устаревшего французского *clique* (XIV в.) — «резкий шум», «пронзительный звук», «защелка, засов двери», а также «грохот, звон», «эхо» и даже *claque* — «хлопок ладонью» («пощечина»), что привело это слово в театр — в виде «клакеров» или нанятых «хлопальщиков».

В Англии термин «клика» (*cabal*) означает политическую группировку, группу заговорщиков, политическую клику. Он обычно применялся уничижительно к узкому кругу самых важных министров, наиболее полно информированных о закулисной правительственной деятельности. В XVII в. подобные группы предшествовали появлению английского кабинета. С 1667 по 1673 г. министрами Карла II были Клиффорд, Ашли, Бекингем, Арлингтон и Лодердейл, из начальных букв их фамилий и составили слово *cabal*. Ныне это любая политическая группа, осуществляющая свои цели неконституционными методами.

Французское происхождение слова отмечается во всех словарях, чаще всего говорят о шайке, банде — первичной группе, с тесными связями, взаимными симпатиями, непосредственным общением, общностью интересов, чувств, стремлений, группе соратников, неформально объединившихся для проведения единой политики или достижения единых интересов: дворцовых, финансовых, управленческих и др.; так определяют и группу биржевых спекулянтов, возникшую с целью проведения операций с ценными бумагами — «клики быков» и «клики медведей», — лиц, играющих на повышение или понижение цен, не имея официального письменного соглашения и не доверяя руководство клики одному конкретному лицу.

Как правило, *клика* неформально проявляла понимание того, что в определенный момент операции с какими-либо ценными бумагами должны быть исполь-

---

[1] *Быстров Н.П.* Газета «Правда» и закрепление идеологемы «Фашизм» в массовом сознании (пропагандистская кампания против И. Броз Тито 1948–1953 гг.) // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2008б. № 11. С. 150–159.

[2] Сводный словарь современной русской лексики: В 2 т. / Под ред. Р.П. Рогожниковой. М.: Русский язык, 1991. Т. 1. С. 471.

[3] Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/.

зованы в ее собственных интересах, в то время как в формальном объединении письменное соглашение определяло распределение прибылей и убытков между членами объединения (Российская социологическая энциклопедия).

С середины XIX в. понятие «клика» в России обозначало группы людей, тесно сплоченных между собой ради достижения любыми средствами определенного рода корыстных целей; общество людей, соединившихся с дурным намерением[1]. С конца века клика — слово политического лексикона: правящая клика, преступная клика, антинародная клика, придворная клика, клика Распутина, фашиствующая клика. Ныне русские словари используют синонимический ряд «клика, камарилья; группа, хунта» и даже «общество».

Одним словом, клики как неформальные ассоциации (а не другие социальные объединения, например, классы) трактуются основными, хотя и латентными, трудновыявляемыми элементами социальной структуры, образующими в масштабах социума особый тип общественной организации и общественного порядка — «социум клик». Тем самым фундаментальной характеристикой этого типа порядка является устойчивое сочетание социальной интеграции внутри микросред и дефицит социетальной интеграции макросреды. В этом смысле «классической» альтернативе «самоорганизующееся гражданское общество или жестко контролируемая властью социальная система» противостоит тенденция к воспроизводству социума клик[2].

В российской политической науке концепция *социума клик* была предложена в середине 1990-х годов А.Д. Хлопиным, что позволило по-новому понять социальные и политические процессы в современной России[3]. Впоследствии эта концепция получила развитие в ряде исследований, прежде всего в коллективном труде «Институциональная политология» (2006), в монографии «Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институционального порядка» (2011) и ряде других публикаций. Позже к похожей характеристике российского социума пришел О. Хархордин, который, одна-

---

[1] *Чудинов А.Н.* Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. М., 1910.

[2] Подтверждая это положение применительно к России, Ю.М. Плюснин пишет: «“Объективные” классификации социальной структуры, выделение различных социальных классов, страт или групп, производимые российскими социологами и экономистами на основе образования, характера труда или имущественного положения, имеют пока весьма условную ценность, поскольку не подкреплены очевидными культурными признаками “слоя” и барьерами между ними. Прогнозные предположения о том, что двигателем модернизации в России будет “средний класс”, которому нынешний режим назначил роль гаранта социально-политической “стабильности” в стране и одновременно локомотива “инноваций” и “модернизации”, представляют собой ничем не подкрепленные идеологические утверждения. Ни в массовом сознании, ни в общественной практике таких категорий или “коллективных сил” нет. Напротив, территориальные, в том числе региональные, различия условий жизни кажутся “естественными”, самоочевидными, не “социальными” и тем самым “неизменными”» (*Плюснин Ю.М.* Социальная структура провинциального общества. М.: Фонд социальных исследований «Хамовники», 2022). Характерно при этом, что для большей части населения эти различия оказываются более значимыми, чем классово-сословные характеристики индивида или его семьи, т.е. чем положение индивида или малой группы на рынке труда и в отношениях собственности. Инерция пассивной адаптации // Россия-2020: Сценарии развития / Под ред. М. Липман и Н. Петрова. М.: РОССПЭН, 2012. С. 465).

[3] *Хлопин А.Д.* Самостояние человека: власть и свобода гражданина. Очерки I и II // Рубежи. 1996. № 4, 6; *Хлопин А.Д.* Гражданское общество или социум клик: российская дилемма // Полития. 1997. № 1 (3). Понятие «социум клик» возникло в ходе дискуссии А.Д. Хлопина с автором этих строк. Заметим, что опыт нашего сотрудничества в 1990-е годы позволяет утверждать, что публикация 1992 г. проф. В. Макаренко не была нам известна и идея использовать термин «клика» возникла у А.Д. Хлопина независимо от исследований В.П. Макаренко и более поздних работ Ж.Т. Тощенко.

ко, в рамках своего подхода сделал акцент на дружеских связях[1]. Однако в любом случае введение понятий «социум клик» и «кликократия» позволило четче осознать роль этих неформальных сообществ, выносящих цели и решения государства за пределы высших правящих слоев.

Говоря по существу, клика — это малая группа, складывающаяся в рамках больших социальных групп. Поэтому клику, обладающую меньшим размером и определенными групповыми границами, нельзя путать с толпой. В социологии под этим именем понимаются любые неформальные сообщества, функционирующие за пределами и/или внутри социальных институтов, а также интегрирующие частных лиц, независимо от занимаемых ими официальных постов, в круг «своих» людей, готовых ради «общего дела» пренебречь моральными и юридическими законами. Клика возникает стихийно, относится к сообществам неформального типа, существующим в рамках социальных и институциональных структур. В своем движении клики стремятся с помощью явных и скрытых действий так сформировать структуры, чтобы занять в них господствующее положение и получить наибольшую материальную пользу. Клики могут успешно функционировать как в рамках формальных институтов, так и параллельно им. Сообщества «своих» главным образом преследуют собственные цели, независимо от связей с формальными институтами. В конечном счете цель клики — полное господство над структурой без ее изменения.

Деятельность индивидов в рамках этих общностей определяют не нормативные представления отдельных участников или их принадлежность к какой-то социальной группе, а структура их личных связей и отношений. Наиболее очевидными примерами являются коррупционные сообщества, квазигражданские организации и теневые структуры. Сообщества «своих» могут формироваться и на базе возраста, пола, расы и этноса. Подробную типологию возникающих на этой основе форм дал в 1960-е годы известный американский антрополог Э. Вольф[2].

Взаимодействие клик и институтов с кликами является неотъемлемой частью нормативно заданного социального развития независимо ни от оснований сплочения этих сообществ, ни от типа национального государства. При этом некоторые клики склонны изолировать себя как группу, считая себя выше других (что нередко выражается в запугивании других или антиобщественном поведении).

При этом один индивид может быть частью нескольких клик, каждая из которых формируется и функционирует независимо друг от друга, обладают различным социальным и политическим весом. Клика также может включать в себя высокую степень социальной приверженности определенной группе. Так, более сильный уровень приверженности приводит к тому, что человек меньше взаимодействует с другими социальными группами. При этом люди могут испытывать социальную изоляцию внутри своей клики, если их ценности и/или поведение начинают отличаться от остальной части группы.

Значение клик определяется степенью их социального влияния, репутационного капитала или давления на институты власти[3]. Например, формальная

---

[1] *Хархордин О.* Дружба: классическая теория и современные заботы /Дружба: очерки по теории практик. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2009.

[2] *Wolf E.E.* Kinship, Friendship, and Patron-Client Relations in Complex Societies // The Social Anthropology of Complex Societies / Ed. by M. Banton. ASA Monograph, 1966. Vol. 4.

[3] *Miller D.C.* Decision-Making Cliques in Community Power Structures: A Comparative Study of an American and English City // American Journal of Sociology. 1958. No. 64 (3).

клика, такая как профессиональная организация, будет иметь другое влияние по сравнению с социальной кликой, состоящей из близких друзей. Каждая клика имеет ту или иную форму организации, образующую сеть социального взаимодействия. Так, формальная клика является группой с социально приемлемой организацией, обладает иерархической структурой, состоит из людей, выполняющих определенные роли, и встречается в структуре многочисленных профессиональных организаций, предприятий и даже семейных сообществ. Одновременно существуют и группы, не имеющие легитимной организационной структуры, в рамках которой они могут создаваться и распускаться в более короткие сроки. В поле политики всегда можно обнаружить лидирующие клики и клики-«аутсайдеры».

Крайне влиятельным фактором, влияющим на организацию, характер и динамику клик, является культура, поскольку границы, установленные различиями в культурном измерении, сохраняются даже тогда, когда люди время от времени меняют свое членство в этих сообществах. Например, различия в языке, верованиях, традициях и т.д. всегда создают четкое разделение или границу между группами людей, даже если члены этой конкретной группы постоянно меняются. Влияние культурных факторов определяется и тем, что, как правило, формирование клик происходит из ближайшего окружения людей, а не из общих социальных характеристик. Структурная сплоченность клики (воспроизводимая в результате общения «лицом к лицу») отражает постоянное межличностное взаимодействие между ее членами, а его отсутствие или снижение интенсивности может провоцировать распад этого сообщества[4].

Благодаря общим культурным стереотипам клика может препятствовать внешнему социальному влиянию, воздействуя на эмоции, мнения или поведение членов группы. Есть много способов, которыми восприятие информации между членами клики может влиять на других членов на более высоком уровне, чем если бы они получили ту же информацию из другого источника. Например, получение информации от близкого человека интерпретируется и предполагает иную реакцию, нежели ту, когда информация получена от того, кто не входит в структуру клики. Удовлетворение, взаимодействие и близость между кликовыми группами, в которые мы вовлечены, развиваются и меняются с годами. Тем не менее с течением времени всегда происходит постоянное изменение как личности, так и группы.

В науке выделяются различные характеристики клик, к которым относят, например, такие: организационную плотность клик, долю людей, принадлежащих к кликам, по отношению к общему количеству людей в организации; открытость, количество взаимных отношений людей внутри данной клики с людьми вне клики (два разных показателя открытости: (а) доля лиц, не имеющих отношений вне клики, (б) общее количество отношений членов вне клики); межранговое членство, степень включения членов из разных статусных уровней формальной организации; количество уровней формального статуса, присутствующих в любой клике, по сравнению с количеством уровней формального статуса, существующих в организации; внутрикликовую иерархию, количество уровней статуса, существующих в данной клике; статусную структуру клики, независимо от фор-

[4] *Friedkin N.E.* Structural Cohesion and Equivalence Explanations of Social Homogeneity // Sociological Methods & Research. 1984. No. 12 (3).

мальных статусов членов клики; членство в межгоризонтальном статусе, количество профессиональных категорий, встречающихся в данной клике; количество формальных категорий занятий, присутствующих в любой клике, по сравнению с количеством формальных занятий и категорий в организации; размер, количество членов клики; цели и мотивационную базу, причины формирования клики (оказание социальной поддержки, помощь в более эффективном выполнении работы и т.д.).

В конце 1950-х годов М. Далтон выделил несколько типов клик, складывающихся в организационных структурах: вертикальные симбиотические, организованные на патрон-клиентских отношениях; вертикальные паразитические, опирающиеся на семейные или дружеские связи; горизонтальные защитные и горизонтальные агрессивные, которые возникают в период экономических и социальных реформ для того, чтобы противостоять изменениям или использовать их в интересах «своих»; случайные клики, основанные на взаимных услугах, включая блат[1].

В.П. Макаренко, отталкиваясь от типологии М. Далтона, расширил описание такой типологии, складывающейся во властно-управленческих аппаратах, выделив их следующие разновидности:

- *симбиотическая клика с вертикальной структурой,* базирующаяся на принципе равенства услуг. Она организуется лицом, занимающим высшее положение в иерархии, в рамках которой путем взаимных поддержек и протекций (потакая слабостям отдельных подчиненных, которые шпионят в его пользу, информируют об опасностях, организуют систему интриг вместо общественного мнения, поддерживают при выборах на руководящий пост и т.п.) начальник привязывает к себе лиц, занимающих средние и низшие посты в аппарате управления;
- *паразитическая клика с вертикальной структурой* аналогична предшествующей, но отличается от нее неравенством услуг. В ней только некоторые подчиненные становятся «фаворитами» начальства, которое покупает их преданность и с их помощью подчиняет остальных. Вокруг привилегированных холуев создается ореол особых возможностей и влияния. Такая клика действует по древнему принципу «разделяй и властвуй»;
- *защитная клика с горизонтальной структурой* возникает в периоды смены политического курса и социальных и политических реформ. В этом случае члены аппарата объединяют свои силы для солидарного противостояния изменениям при помощи саботажа, кадровых перемещений, формальной и символической деятельности и пр.;
- *агрессивная клика с горизонтальной структурой* возникает в результате перекрещивания разных интересов. Она нацелена на изменение существующего уклада социальных и политических сил, а не на сохранение статус-кво. Ее члены занимают равное положение в социальной и организационной структуре и имеют общие интересы. Для их достижения они поддерживают друг друга в борьбе за власть, материальные и прочие ценности;

[1] *Dalton M.* Men Who Manage. N.Y., 1959; *John Wiley & Son*. Цит. по: *Granovetter M., Swedberg R.* (eds) The Sociology of Economic Life. Boulder: Westview Press, 1992.

- *случайная клика* возникает на основе знакомств и вытекающих отсюда обоюдных услуг, связанных с удовлетворением желаний, вкусов и потребностей[1].

В свою очередь, Н. Тичи предложил выделять пять типов этих сообществ: (1) принудительные клики, (2) нормативные клики, (3) высокомобильные утилитарные клики, (4) утилитарные клики старшинства и (5) немобильные утилитарные клики[2].

Сказанное показывает, что социум клик предопределяет особый политический порядок, который однозначно отрицает возможность развертывания собственно политических позиций групп и индивидов, предполагающих согласование и «увязывание» их позиций и социальных идентичностей. В этом пространстве проблематично формирование любых политических образований, в том числе партий, движений и идейно-политических течений. Процесс политического согласования заменяется здесь иными, прежде всего, применением силовых и административно-принудительных инструментов, которые, в свою очередь, затрудняют попытки формирования, структурирования и институционализации политического пространства.

*Очевидно, что кликократический* политический порядок не соответствует модели политического порядка, в котором признается роль гражданского общества как *современного типа социетальной интеграции, формирующегося* на базе солидарности независимых личностей, связанных коллективными обязательствами с другими индивидами и одновременно утверждающими *гражданские практики* в качестве обеспеченных правовым санкционированием государства публичную роль гражданина (*гражданскую активность*). Нетрудно увидеть, что кликократический порядок отрицает субстантивные параметры гражданского позиционирования человека: взаимное признание и учет каждым индивидом интересов другого как равного и достойного уважения человеческого существа. А также равенства, понимаемого как отсутствие какой бы то ни было дискриминации по экономическому, социальному, политическому, религиозному, этническому или любому другому основанию.

Одним словом, кликократический порядок позволяет увидеть принципиальные отличия как *сферы активности индивидов* (которые являются гражданами в той мере, в какой они наделены гражданским статусом), так и *гражданского общества (представляющего собой* институциональный, нормативно-ценностный универсальный социетальный порядок, который, собственно, и делает возможной гражданскую активность). Одним словом, следует понимать, что универсализация политического порядка либо является функцией (всепроникающей) власти, гарантирующей правовое равенство для всех граждан, либо обеспечивается в результате активности последних, которые облекают своим доверием властные институты, чтобы определять и реализовывать политические интересы (в виде коллективных целей).

В данном контексте можно констатировать, что в настоящее время в российском обществе локальный характер социального доверия к власти сочетается

---

[1] *Макаренко В.П.* Производство свинины и господство над структурами // Политическая концептология. 2013. № 2.

[2] *Tichy N.* An Analysis of Clique Formation and Structure in Organizations // Administrative Science Quarterly. 1973. Vol. 18. No. 2.

с дефицитом легитимности институционального порядка. Наличие проблемы легитимации макросоциальной реальности указывает на ограниченность и фрагментарность институционализации социетального порядка, нуждающегося в универсализации. Это ощущается людьми, требующими «навести порядок», т.е. сделать его фактически всеобщим. Можно предположить, что беспорядок или незавершенная институционализация есть не что иное, как разрыв между макро- и микроуровнями общественной жизни. Этот разрыв нельзя преодолеть, умножая упорядоченные внутри себя микросреды, включая среду носителей власти (поскольку их совокупность не тождественна макропорядку).

По мнению Э. Вольфа, неформальные структуры в сложном обществе являются дополнением к общественной системе, они существуют и работают в силу наличия последней, которая либо исторически, либо логически им предшествует. В этой связи Вольф напоминает о введенном Л.Г. Морганом различении *Societas* и *Civitas.*

Перефразируя Моргана и Вольфа, можно сказать, что и в российском *Societas* принцип кликовости воплощает в себе все или почти все стратегические отношения, тогда как политическим, правовым и идеологическим отношениям российского *Civitas* не удается ограничивать и формировать функционал действующих клик как управленческих сообществ. В этом контексте В.П. Макаренко предложил воспринимать историю Российской империи/СССР/Российской Федерации как историю «своего хутора», поскольку в науке отсутствуют работы, в которых бы доказывалось, что политическая история СССР/России свободна от всех перечисленных типов клик и связанных с ними отношений.

В этом контексте исследователь разделил коллектив и клику по следующим критериям: «коллектив реализует цели на основе норм морали и права; клика движима своекорыстием и властолюбием, но избегает явных нарушений Уголовного кодекса; клика объединена на основе господства-подчинения как мнимо-объективной связи, которая на самом деле направлена на достижение целей клики; члены коллектива связаны социальной, моральной, политической или идейной солидарностью; клика имеет иерархическую структуру, хотя она не всегда заметна и обычно переплетена со способом возникновения и принципами данной организации; коллективы обладают публичной структурой, которая вытекает из организационных схем»[1].

Рассуждая в русле такого подхода, Ж.Т. Тощенко обращает внимание на характеристику правящего класса, полагая, что в СССР и современной России страной правили и правят клики, а элит не было и нет, в силу чего квалификация руководства России как «элиты» является не более чем приверженностью моде. По его мнению, в состав «российских элит» включаются три группы: бывшая партгосноменклатура, теневики и искатели богатства и славы. Ни одну из этих групп нельзя назвать элитой[2].

Как показывает мировой опыт, ключом к преодолению негативных эффектов кликократического политического порядка являются институциональные преобразования. В современной России у этой проблемы две стороны: *во-первых*, повышение способности россиян к самоорганизации, их фактических возможно-

---

[1] *Tichy N.* Op. cit.

[2] *Тощенко Ж.Т.* Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Социс. 1999. № 11. С. 123–133.

стей участия в процессе преобразований, а *во-вторых*, формирование механизмов реального влияния власти на изменение отношений между индивидом и средой. Однако институциональные изменения в 1990–2020-е годы сформировали новую «тропу зависимости» — современную институциональную ловушку российской кликократии. *Кликократический порядок является основной проблемой и преградой для российской трансформации, обновления общества и государства, роли России в современном мире.*

Однако на пути утверждения правового и демократического общественного порядка, основанного на свободных и легальных формах гражданской активности (но при этом связанного с определенными формальными ограничениями), возникают риски институциональной блокировки или распространения зон организованного оппортунистического поведения и неформальных практик, укрепляющих кликовую структуру.

Эволюция взаимосвязанных институтов может отклоняться от общественного оптимума. К таким отклонениям может приводить отсутствие координирующих ограничений для политиков, которые, сохраняя свободу действий и следуя принципам поведения «рационального» человека (человека клики), задают направленность институциональных преобразований из соображений индивидуальной или узкогрупповой выгоды, идущей вразрез с интересами общества. Как следствие, вокруг (и внутри) всякого института, независимо от того, насколько он эффективнее предшествующего, всегда формируется среда, заинтересованная в его существовании и обеспечивающая устойчивое сопротивление селекции.

В этом смысле основной проблемой является не столько обособление реформаторов от влияния «проигрывающих» и непривилегированных социальных групп и слоев, сколько ограничение воздействия на них со стороны влиятельных «выигрышных коалиций», стремящихся к сохранению источников своего влияния. Одно из главных средств решения этой проблемы — развитие политического процесса, демократии, обеспечивающей учет мнения «проигравших» и сдерживающей давление «выигравших» социальных групп. Так что и сегодня важнейшие решения принимаются не в результате общественных или политических дискуссий, а исходя из понятий и договоренностей правящего класса, власть опирается на использование одних групп в борьбе против других. Публичная сфера, не успев развиться, сворачивается, а кликовый характер процесса принятия решений укрепляется, несмотря на использование интернет-обсуждений и новейших политических технологий.

Изменение локальной кликовой системы требует преобразования по разным направлениям — от образования и культуры до экономики и государственного строительства. Вектор перемен должен быть направлен на разнообразные интересы граждан — не только сугубо материальные, но и социокультурные, на интересы самореализации. Надо думать о реформировании порядка разделения властей, чтобы обеспечить каналы представительства граждан и контроля за выполнением решений властей, придать реальные черты парламентаризму, создать каналы включения россиян в гражданские, общественные и политические практики, перехода от рутинного квазиполитического участия к реальному политическому действию, открыть путь гражданским инициативам — от новых способов коммуникации с властью до прямого включения в процесс осуществления гражданских прав и свобод.

Короче говоря, России необходим современный *политический* порядок. Однако рассчитывать на скорые результаты трудно, ибо неформальные нормы и политическая культура меняются гораздо медленнее, чем формальные институты. Тем не менее важно, чтобы определенные изменения все же начали происходить.

*С.В. Патрушев*

**Литература**


1. *Гидденс Э.* Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2005. — 528 с.
2. *Глухов А.А.* Перехлест волны. Политическая логика Платона и постницшеанское преодоление платонизма. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. — 584 с.
3. *Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки: концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. — 460 с.
4. *Бергер П., Лукман Н.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. — 334 с.
5. *Панов П.В.* Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка. М.: РОССПЭН, 2011. — 230 с.
6. *Хлопин А.Д.* Самостояние человека: власть и свобода гражданина. Очерки I и II // Рубежи. 1996. № 4. С. 16–45.
7. *Патрушев С.В.* Гражданская активность: институциональный подход (перспективы исследования) // Полис. Политические исследования. 2009. № 6. С. 24–32.
8. Повседневные практики и процессы институциональной трансформации в России. М.: Институт сравнительной политологии, 2002. — 121 с.
9. *Carstensen L.L.* Social and Emotional Patterns in Adulthood: Support for Socioemotional Theory // APA PsycNET. US: American Psychological Association. Retrieved 30 March 2016. P. 331–338.
10. *Hochschild A.R.* Emotion work, Feeling Rules, and Social Structure // American Journal of Sociology. 1979. No. 85 (3). P. 551–575.


# Латентная сфера политики

Латентная сфера политики представляет собой специфическую форму ее существования и развития, предопределяемую самой природой конкуренции за реализацию групповых интересов и, как следствие, стремлением акторов скрывать свои ключевые интенции от оппонентов и соискателей альтернативных приоритетов. Инструментами деятельности акторов в таких условиях становятся разнообразные технологии, процедуры и механизмы, позволяющие негласно, вне публичной формы политических отношений формировать и продвигать их интересы и замыслы.

Морфология политического процесса характеризуется сочетанием публичных и латентных форм активности государства (его стейкхолдеров) и общества (его элементов и структур), в чем проявляются и институциональные, и идейные, и коммуникационно-технологические особенности государственной политики. Несмотря, на первый взгляд, высокую степень познаваемости публичной сферы и предсказуемую сложность исследования латентных форм, которые начали ста-

новиться предметом особого интереса ученых именно в последнее время, нужно признать, что политика в целом всегда отличалась изменчивым балансом между обоими состояниями.

С одной стороны, с древних времен существует представление о политике как уделе избранных, а потому скрытом от чужих глаз, не ведомом рядовым обывателям. О происходящем во власти в прежние эпохи люди могли узнавать либо из официальной информации, которую им предоставляла сама власть, либо по косвенным сведениям, просачивающимся за стены центров принятия решений (утечкам, дезинформации, слухам, сплетням), либо по изменениям общественной среды (строительству инфраструктуры, реформам образования, обновлению символов и др.).

С другой стороны, интерес к научному изучению латентных явлений в последнее время несколько снизился за счет активизации интереса к развитию публичной сферы и осмысления современной демократической модели. Особая роль здесь принадлежит предложенной Ю. Хабермасом делиберативной трактовке публичной сферы как пространства множественных свободных дискуссий[1]. Эта идея, расширив и масштабировав теорию коммуникации К. Дойча и Г. Лассуэлла, легла в основу представления о политике как коммуникативном действии, что, в свою очередь, утвердило представление о демократии как о механизме поиска компромисса при решении общественных проблем путем открытого сопоставления различных подходов и взглядов. Понятно, что широкое распространение таких позиций, нисколько не повредив пониманию конкурентного характера политики, так или иначе приглушило стремление политических акторов, воспринимавших внешнее наблюдение как источник рисков, к сокрытию своих целей и замыслов.

Одновременно следует учитывать и целый ряд эпистемологических затруднений при концептуализации латентной сферы политики, обусловленных, с одной стороны, когнитивной нестабильностью предмета и дефицитом методологии верифицируемости, а с другой — высокими рисками перенесения статусно-ролевых моделей на личностные характеристики как субъекта познания, так и самого политического актора, реализующего латентные установки. В научной литературе подходы к латентным явлениям носят спорадический характер и, как правило, увязаны с рассмотрением каких-либо смежных проблем: вопросов государственной и общественной безопасности, политической коммуникативистики, партий и конкуренции на политическом рынке, использования компромата и управления репутацией и т.д. При этом политические трактовки латентных явлений испытывают влияние целого ряда более широких идей, обусловленных предметными подходами в обществознании в целом. В этом контексте латентные явления нередко отождествляются с непубличными и даже неформальными, игнорируя различные тонкие аспекты этих взаимоотношений. Одним словом, хотя некое общее понимание латентной сферы уже сформулировано, системного и всеобъемлющего представления о ней пока еще не выработано.

Социолог Роберт Мертон, ссылаясь, в свою очередь, на философа Ф. Бэкона, психолога З. Фрейда, антрополога Б. Малиновского, концептуализировал латент-

[1] *Хабермас Ю.* Структурное изменение публичной сферы. Исследование относительно категории буржуазного общества. С предисловием к переизданию 1990 г. / Пер. с нем. В.В. Иванова. М.: Весь Мир, 2016. — 344 с.

ные функции социальных структур, противопоставляя их, как известно, явным функциям[1], смысл которых весьма близок тем, которые мы будем именовать публичными — видимые, осязаемые, свободно воспринимаемые. При этом сам Мертон увязывает латентные функции с *непроизвольно* проявляющимися закономерностями, т.е. понимает их не столько как скрываемые, сколько как скрытые в силу незапланированности, внезапности, неосознанности — неприметные и малозаметные. Такая трактовка латентности вряд ли может устроить исследователя мира политики, где «производство намеренных действий»[2] является ключевой стратегией основных акторов.

Явные явления, в свою очередь, тоже не в полной мере суть публичные. Явное — это то, что легко наблюдается, поддается восприятию без особых дополнительных усилий. Публичное — то, что существует в публичном пространстве, то, что открыто к восприятию и наблюдению (при этом далеко не всегда явно). В этом смысле Мертон рассматривает латентные функции как совсем не обязательно непубличные, ведь они могут быть неявными (незаметными с первого взгляда), но при этом публичными (открыто существующими и поддающимися наблюдению).

Среди трех форм политической власти, выделявшихся итальянским политологом Н. Боббио, две — полускрытое и скрытое правление — характеризуют как раз различные неявные формы деятельности властных институтов[3]. Полускрытым он считал такое влияние, которое оказывают структуры неофициальные или официальные, но не имеющие на это прямых полномочий (например, лоббирование). Скрытое же правление, которое он называл «криптоправлением», связывалось с деятельностью военизированных (вооруженных) групп, которые могут приобретать и криминальные формы, в контексте принятия государственных решений вне публичных демократических институтов.

Отдельные авторы описывают коммуникационно-сетевой характер латентной сферы, указывая на «*особые, полутеневые* конструкции власти и управления, возникающие в результате сочетания сетей с иерархическими и рыночными структурами»[4], а также теневые структуры, где «главными игроками являются уже иные персоны, в частности “авторитеты”, а вместо структурных ячеек элитарных коалиций выступают ОПГ и преступные картели, чьи деловые коммуникации складываются на основании особых групповых норм, обусловливающих действия “по понятиям”»[5]. При этом акцент в рамках сетевого подхода делается не столько на самих механизмах сетевого взаимодействия, сколько на их элементах и «ячейках» (игроках, структурах, персонах) «акторно-сетевой композиции» такого взаимодействия[6].

Отдельно может рассматриваться содержание латентной сферы государственного управления[7], где основное внимание сосредотачивается на самих латентных

---

[1] *Merton R.K.* Social Theory and Social Structure. Glencoe, IL: Free Press, 1957.

[2] *Russel B.* Power: A New Social Analysis. London: Routledge, 2004. — 258 p.

[3] *Bobbio N.* The Future of Democracy. Cambridge: Polity, 1980.

[4] *Соловьев А.И.* Латентные структуры управления государством, или Игра теней на лике власти // Полис. Политические исследования. 2011. № 5. С. 82.

[5] Там же. С. 87.

[6] *Соловьев А.И.* Политика и управление государством. Очерки теории и методологии. М.: Аспект Пресс, 2021. С. 81; *Латур Б.* Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд-во ВШЭ, 2014.

[7] *Миллер Т.В.* Роль латентных структур в процессе принятия политических решений: Дисс. ... канд. полит. наук. М., 2017. С. 18.

образованиях, реализующих соответствующую непубличную повестку, их сущностных характеристиках, а не на инструментарии, который используется. Вместе с тем особую значимость при позиционировании латентных элементов отражают режимные факторы, а также категории регионально-отраслевого характера, последовательное усиление в которых политико-административных сетей способно формировать своего рода иллюзию «захвата государства»[1].

Некоторые исследователи соотносят теневую политику и обладающую бо́льшей операционализацией теневую экономику, концептуализируя эту разновидность политики через активность экономических субъектов, использующих свои ресурсные способности для влияния на власть[2]. При этом деятельность этих субъектов — их активность по развитию соответствующих способностей, формирующая ту самую теневую политику, — также остается в тени.

Многие авторы отмечают внешнеполитическое измерение латентной сферы, в частности увязывая мягкую силу государства и различные формы латентного управления[3]. В целях выявления характеристик латентного управления и использования им возможностей внешней среды ряд ученых обращается к «теории управляемого хаоса»[4]. Такого рода подходы представляются весьма востребованными в условиях современной пересборки мирового порядка и трансформации международного «ландшафта», ненадолго приоткрывающих скрытые механизмы влияния на центры политического доминирования. В этом контексте все более осязаемыми становятся и понятия несостоявшихся государств и внешнего управления отдельными странами, технологии смены режимов и воспроизводства истеблишмента в условиях сменяемости власти, политического воздействия на принимаемые решения в корпоративном секторе.

Однако вне зависимости от смысловых нюансов, придаваемых латентным политическим явлениям (как, впрочем, и другим синонимичным понятиям, отражающим скрытый характер отдельного класса явлений социальной жизни), центральным значением для описания их субстанциональных параметров является противопоставление публичности. В этом контексте латентная сфера может рассматриваться как совокупность систематически/спорадически используемых акторами приемов и практик, отражающих их стремление устранить уязвимость своим интересам в процессе открытых взаимодействий. Иными словами, функционал латентной сферы предполагает сознательно выстраиваемое производство институтами, структурами или отдельными фигурами специфических коммуникаций в целях сокрытия своих подлинных замыслов для получения преимуществ перед своими оппонентами в области завоевания и использования власти. Образно говоря, независимо от того, являются ли латентные действия следствием сознательной деятельности или же

---

[1] *Журавлева Т.А.* Управление политико-административными сетями: Дисс. ... канд. полит. наук. М., 2017. С. 76.

[2] *Барсукова С.Ю.* Сращивание теневой экономики и теневой политики // Мир России: Социология, этнология. 2006. Т. 15. № 3. С. 158–179.

[3] *Леонова О.Г.* Мягкая сила — ресурс внешней политики государства // Научно-аналитический журнал Обозреватель — Observer. 2013. № 4; *Коньков А.Е.* Мягкая сила для России: от восприятия к навыкам латентного управления // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Политология. 2020. Т. 22. № 2. С. 205–221.

[4] *Савченко А.В.* «Теория хаоса» Стивена Манна и корпоративное управление // Управление. 2017. № 1 (15). С. 72–79.

намеренными акциями, главное, что они обеспечивают политическим игрокам «добавленную стоимость» их политическому влиянию на институты и структуры власти. Таким образом, скрытный характер политической активности позволяет не только обезопасить стратегии политических акторов, но и повысить их адаптивность к меняющимся факторам внешней среды. Что же касается государства, то принципиальная значимость латентных акций его структур и институтов неизбежно нарастает по мере масштабирования и диверсификации публичных элементов политики, ее профессионального и технологического совершенствования.

Многообразие форм и элементов, наполняющих пространство латентной сферы, отличается не только прямой недоступностью для внешнего, ориентированного на беспристрастное познание исследователя (а также дефицитом соответствующих инструментов познания), но и разнообразием норм и стандартов скрытого взаимодействия. Участники разнообразных сетевых коалиций навряд ли ориентированы на приоритетное использование каких-либо привнесенных стандартов, кроме субъективных установок и убеждений, конструирующих ситуативно-обусловленное решение социальных задач вне публичного поля политики[1].

В этом смысле латентная сфера больше тяготеет к неинституциональным формам политического взаимодействия, заданным состояниями сознания лидеров и наиболее влиятельных представителей политического класса, выстраивающих коммуникацию с контрагентами в соответствии с собственным видением ситуации и ценностно-символической картины мира. При этом внешние проявления такой субъективно ориентированной реальности могут обладать разной степенью прозрачности, а их восприятие и объяснение будет невозможным без дополнительных («инсайдерских» или иначе верифицирующих) свидетельств их подлинности. Отсутствие же необходимых эмпирических подтверждений (даже подкрепляемых логически вытекающими или отдельными доступными для восприятия фактами общественно-политической реальности) у исследователей формирует дополнительный интерес, а у обычных людей — ощущения и ожидания, усиливающие неопределенность представлений о будущем.

Иными словами, несмотря на когнитивную нестабильность и функциональную неустойчивость латентных элементов и структур, вполне можно говорить о фиксации на различных уровнях общественного сознания некоторого разделяемого понимания о складывающемся здесь и сейчас соотношении публичных и латентных политических практик, а также о способности ключевых акторов, использующих ресурсы государства для реализации публичных целей и задач, преследовать еще и собственные скрытые от общества интересы.

Наиболее результативными познавательными возможностями для распознавания скрытых элементов политического процесса обладает современная *сетевая* методология, позволяющая рассматривать социальные явления не столько через их видимую (чаще совсем невидимую) проекцию на жизнь рядовых граждан, сколько через реальные, неинституализируемые публичности связи и отношения политических, отраслевых и групповых акторов. Образующиеся здесь сети не просто окружают видимую (явную, публичную) ткань социального взаи-

[1] *Schlager E.A.* Comparison of Frameworks, Theories, and Models of Policy Processes // The Handbook of Public Administration / Ed. by B. Guy Peters and Jon Pierre. L.: SAGE Publications, 2007. — 646 p.

модействия, но и поглощают и подчиняют ее себе, формируя особые причинно-следственные связи между открыто оглашаемыми и фактически принимаемыми решениями, инкрементальными и институциональными усилиями управленческих структур.

Вероятностный фактор здесь играет первостепенную роль. *Во-первых*, отсутствие публичного доступа к непосредственному влиянию сетевого сообщества на принятие решений делает этот процесс латентным; и наоборот, верифицируемое знание об этой форме целеполагания подменяет воображаемую скрытность тем, что принято именовать секретом Полишинеля. *Во-вторых*, поскольку ключевой проблемой раскрытия латентных сетей остается сложность доказывания их существования (а также острое понимание исследователями возможных негативных последствий за их «расколдовывание»), все объяснительные модели данного типа целеполагания и носят вероятностный, стохастический, имплицитный характер. Так что, несмотря на существование определенной логической ловушки (невозможно объективно описать сугубо субъективно наблюдаемые явления), поиск доказательств для исследователя латентных коммуникаций в основном сопряжен с задействованием «инсайдерских источников информации, которые трудно получить, удостовериться в их релевантности и корректно использовать при объяснении»[1].

Сама по себе латентность как свойство, качество политического инструментария далеко не однородна. Наряду с тяготеющими к универсальности формам непубличной институциональной (государственная тайна) коммуникации встречаются и особые национальные и даже персональные атрибуты принятия государственных решений в конкретных странах и исторических обстоятельствах, оставляющие основания для умозрительно-методологического достраивания специфических политических моделей (в виде идентификации транснациональных элит, тайных обществ и клубов, поиска представителей и влияния во властных кругах оккультных и иррациональных учений и т.д.).

Сам процесс принятия решений традиционно тяготеет к прохождению за закрытыми дверями, среди ограниченного круга лиц. Однако развитие механизмов открытости и последовательное внедрение процедур демократизации и делиберации в регулировании различных социальных явлений сформировали обширный запрос не только, например, на разгосударствление экономики или дебюрократизацию различных сфер общества, но и на сокращение информационной асимметрии. В этом контексте происходит всестороннее оспаривание монополии государства (и иных авторитетных источников) на информацию, контроль над которой не только обеспечивает служебную деятельность его институтов, но демонстрирует политико-административную субъектность дейтократии, контролирующей основные инфопотоки[2].

В долгосрочной перспективе сохранение и воспроизводство латентного характера использования политическими лидерами (а также связанными с ними группами и сетями правящего класса) широкого спектра инструментов, обеспечивающих наиболее эффективное достижение его (их) целей, становится все более динамичным, конкурентным и технологичным. В целом это обусловлено

---

[1] *Соловьев А.И.* Политика и управление государством. Очерки теории и методологии. М.: Аспект Пресс, 2021. С. 78.

[2] *Deutsch K.* The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. N.Y.: Free-Press, 1966.

необходимостью гибкого управления скрытым от публики периметром принятия решений, что в немалой степени является проявлением как институционального позиционирования этих слоев истеблишмента, так и их профессиональными компетенциями в области управления и руководства (позволяющих им при производстве государственной политики работать на опережение и упреждение публичных механизмов).

В современных условиях латентные сети укрепляют свой потенциал как за счет негативного отстраивания диалога от публичного пространства (наполненного избыточными для правящего класса процедурными и этическими ограничениями), так и благодаря новым технологическим возможностям, позволяющим транслировать соответствующий контент и оперативно управлять содержанием деловых коммуникаций. В этом контексте нынешняя цифровизация политики может рассматриваться как инструмент одновременного развития публичности, а также качественной трансформации и повышения адаптивности латентных механизмов к новым техническим условиям.

Латентные механизмы и процедуры в сфере политики весьма вариативны и разнообразны по своим проявлениям. С одной стороны, они являются определенными, сознательно формируемыми барьерами для распространения мешающей их акторам информации, либо следствием стечения обстоятельств, возникающих в качестве продолжения индивидуальных особенностей социального поведения человека (например, отражающих природную скрытность человеческого характера, индивидуальную замкнутость).

С другой стороны, латентность может возникать и как самостоятельный результат государственной (корпоративной, групповой) политики, как продукт деятельности коллективного актора при реализации им своих функций. В этом случае операционализация латентных форм активности предполагает более осязаемые и эксплицированные параметры (не обязательно институциональные) самоосуществления, прямо влияющие на возможности и позиционирование актора. За счет этого, к примеру, можно идентифицировать целый ряд качественных характеристик латентности, в которых проявляется инструментарий формирования государственной политики, закрепляющий скрытые механизмы целеполагания.

В этом контексте явления в латентной сфере можно классифицировать на институализированные (эксплицитные) и неинституализированные (имплицитные). Так, *институализированные* формы латентной сферы проистекают из нормативно закрепленных ограничений для распространения политически значимой информации на основе публично действующего режима конфиденциальности (секретности), обусловленного общесоциальными (общегосударственными) задачами — безопасности, соблюдения обязательств, поддержания стабильности и проч. Здесь можно отдельно подразделять латентные практики и механизмы на *конфиденциальные* и *иллегальные*.

Так, относительно институализированной конфиденциальной формы латентных явлений в законодательстве могут фиксироваться критерии отнесения тех или иных сведений к информации, распространение которой ограничивается, а также устанавливать правила и ответственность за допуск к ней и ее разглашение. К этой форме относятся все виды официально защищаемой тайны — государственной, коммерческой, частной жизни и почтовых сообщений, персональных данных. При этом режим институционального контроля может особым образом

регулироваться, например, за счет выделения в структуре государственной тайны секретных сведений, совершенно секретных сведений и сведений особой важности[1]. В институализированную конфиденциальную область латентных отношений попадают также все типы официальных переговоров и их обеспечение, разведывательная деятельность, закрытые статьи государственного бюджета и др. С другой стороны, помимо официально фиксируемых режимов конфиденциальности в политическом пространстве возникают и *иллегальные формы* латентности. Они формируются нестатусными акторами, воспроизводятся вне легального поля и базируются на альтернативных правилах группового или субобщественного порядка («законы» воровского мира, террористическое подполье, закрытые клубы и организации, та же самая шпионская деятельность извне и др.).

В целом деятельность специальных или секретных служб государства (разведки, контрразведки, тайной полиции и др.) концентрирует наиболее систематизированный пласт инструментов и практик, которые очерчивают самодостаточный круг латентных механизмов влияния на принятие решений и формирование государственной политики[2]. Вместе с тем в силу институализированной природы такой деятельности этот сектор латентной сферы плотно увязан с изначально публичной природой организации государственной власти и потому в большей степени ориентирован на реализацию заданной политической линии, а не на ее формирование. Проще говоря, деятельность спецслужб укладывается в работу соответствующих органов исполнительной власти, а потому их латентный характер вторичен по отношению к общей конструкции государственной власти. Хотя, безусловно, характер работы профессиональных разведчиков и представителей силового блока в целом позволяет им в определенных случаях играть и более значимую роль при определении целей государственной политики.

Наряду с институализированными формами латентной сферы можно выделить и присущие ей формы *имплицитные*, демонстрирующие обмен нормативно не закрепленной, но согласованной и не подлежащей распространению информации (для служебного пользования). Здесь можно обозначить три типа такого рода латентности: *конвенционально-консенсусный,* базирующийся на устных или неформальных групповых договоренностях (клятва на крови, личные обязательства); *превентивно-секьюритивный,* предполагающий минимизацию потенциально рискованных контактов (дистанцирование от возможных рисков и профилактику способных спровоцировать угрозу ситуаций по принципу «как бы чего не вышло», «болтун — находка для шпиона» и т.д.), а также *трансцендентную, отражающую* разнообразие присутствующих в общественном сознании скрытых мотивов, имеющих стохастическую или иррациональную природу (в виде мифологических, конспирологических и иных аналогичных воззрений).

Вариативность обозначенных форм активности в латентной сфере, с одной стороны, формирует различные зоны такого взаимодействия акторов с характерной для них интенсивностью и периодичностью, а с другой — нередко размывает границы с открытыми интеракциями, расширяя пространство полускрытых явлений, затрудняющих констатацию границ латентного и публичного (и наоборот). Если прежде латентные акции можно было оценивать как явления, не попадаю-

---

[1] Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1.

[2] *Безруков А.О., Вавилова Е.С.* Нетворкинг для разведчиков. М.: ЭКСМО, 2021. — 256 с.

щие в разряд публичных (демонстрирующих легко обозреваемые заявления и действия), то сегодня в условиях нарастания плюрального характера дискурса вычленение в инфопотоках сообщений, имеющих публичную и латентную природу, не только оказывается трудоемким, но и сугубо контекстуальным.

Видимо, можно говорить, что латентный характер политических явлений ныне подвергается определенной трансформации, перетекая из формата полного *сокрытия* коммуникации в ее, условно говоря, гибридную *открытость,* сочетающую различные параметры публичности и недекларируемой активности, позволяющие акторам эффективно достигать необходимого результата. При этом в латентной сфере продолжается воспроизводство устоявшихся форм криптографии, позволяющих опираться (при реализации политических проектов) на открытые, а потому не привлекающие внимания семантические структуры (прежде всего книги и журналы, сетевые ресурсы) для шифрования и последующего дешифрования передаваемой информации.

Латентная сфера, выступающая в качестве антипода публичной сферы в ее более узком понимании, также может трактоваться двояко. В узком смысле это пространство закрытого контура коммуникации, в который вовлечен четко определенный набор акторов. Строго говоря, такой формат не только непознаваем для внешнего наблюдателя (даже если возникают какие-либо косвенные признаки его существования, все равно отсутствуют универсальные, объективно признанные механизмы верификации), но и начисто лишен дискурсивной ценности. В эпистемологическом отношении такую сферу узкой латентности лучше именовать закрытой, «вещью в себе», «тайной за семью печатями», не поддающейся рациональному познанию. Узкая трактовка латентной сферы аттестует ее как *terra incognita* как для общественно-политической рефлексии, так и для формирования общественной повестки. Это явно обедняет рациональное отношение общества к действиям и целям политических акторов, провоцируя распространение политических мифов и конспирологических теорий.

Для актуального политологического знания более операбельным представляется расширенное понимание латентной сферы, предполагающее ее рассмотрение через призму не полностью закрытых, а полускрытых и время от времени идентифицируемых явлений, проникающих в публичное пространство из закрытых коммуникационных контуров (подчас вопреки интересам производящих их акторов). В этом случае латентная сфера объединяет многообразные формы активности политических акторов, за которые они не несут публичной ответственности и не обязаны держать ответ перед обществом. При этом к ним могут относиться как действия акторов в закрытых коммуникационных контурах, так и действия в публичном поле, которые находятся вне зоны гражданского контроля.

Таким образом, на смену «черным ящикам», представляющим собой закрытые подсистемы осуществления определенных функций, приходят ящики серые[1], открыто визуализируемые и демонстрирующие свою функциональность (но при этом не несущие публичного смысла). В силу такого функционирования этих явлений публика не воспринимает ни их каузально-целевую структуру, ни характер заложенных в них отношений, не рефлексирует по поводу результатов этих политических интеракций.

---

[1] *Антонова Г.М.* Эволюция терминов «черный ящик» и «серый ящик» // Вестник Моск. фин.-юр. ун-та. 2012. № 1.

В русле освещаемых нами процессов следует иметь в виду, что при расширении трансформации публичной сферы (за счет привлечения внимания общества к политическим аспектам изменения климата или повышения интенсивности дискурса) и использовании новых коммуникационных технологий в политике возникает эффект «белого шума», который увеличивает предпосылки для продвижения скрытых смыслов и целей политической игры, идущей под пеленой постоянно увеличивающегося объема разнообразных сведений. Более того, тот факт, что ключевые политические решения разрабатываются без вовлечения коллективного актора и сохраняют приоритет скрытых договоренностей политических тяжеловесов, наглядно демонстрирует изначально латентную природу базовых политических процессов. И хотя по мере демократизации политических систем происходит своего рода *разгерметизация* политико-коммуникационного контура (отражая повышение роли публичных процедур и механизмов властной конкуренции), сетевые связи, постоянно возникающие в зоне политического руководства и распределения ресурсов, остаются важнейшим фактором укрепления позиций латентной сферы.

Как показывает мировой опыт, даже при повышении внимания к политике со стороны общественных масс (формирующих разнообразные механизмы представительства своих интересов, встраивания в публичную повестку своих целей и замыслов, усиления контроля за правящими кругами, активизации дискурса и т.д.) латентная сфера сохранит свою субстанциональную природу для политического пространства в целом. А в ряде случаев будет неизбежно доминировать над публичными формами политического действия. Так что и дальше через призму латентных явлений, создающих питательную основу для формирования договоренностей, выстраивания коалиций, масштабирования сетевых связей и проч., можно рассматривать любые аспекты политических отношений, включая рекрутирование элит и лидеров, представительство групповых интересов, политическую социализацию и электоральные процессы и иные процессы и явления.

*А.Е. Коньков*

**Литература**

1. Конфликтное поле публичной политики: опыт, уроки и перспективы современного российского общества / Под ред. А.И. Соловьева, Г.В. Пушкаревой. М.: Аргамак-Медиа, 2022. — 336 с.

2. *Коньков А.Е.* Латентное пространство публичной политики в современном государстве: в поисках теоретической модели. М.: Аргамак-Медиа, 2021. — 224 с.

3. *Кочетков А.П.* Транснациональные элиты в глобальном мире. М.: Аспект Пресс, 2020. — 208 с.

4. *Соловьев А.И., Миллер Т.В.* Латентная сфера политики: версия теоретической идентификации // Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). 2017. № 63. С. 212–232.

5. *Соловьев А.И.* Латентные структуры управления государством, или Игра теней на лике власти // Полис. Политические исследования. 2011. № 5. С. 70–98.

6. *Соловьев А.И.* Политика и управление государством. Очерки теории и методологии. М.: Аспект Пресс, 2021. — 366 с.

7. *Хабермас Ю.* Структурное изменение публичной сферы. Исследование относительно категории буржуазного общества. С предисловием к переизданию 1990 г. / Пер. с нем. В.В. Иванова. М.: Весь Мир, 2016. — 344 с.

8. *Bobbio N.* The Future of Democracy. Cambridge: Polity, 1980.

9. *Jessop B.* The State: Past, Present, Future. Cambridge: Polity, 2016. — 248 p.

10. *Merton R.K.* Social Theory and Social Structure. Glencoe, IL: Free Press, 1957. — 627 p.
11. *Rhodes R.A.W.* Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham: Open University Press, 1997. — 235 p.

# Медиатизация политики

Медиатизация превратилась сегодня в неотъемлемую составляющую и стимул развертывания различных по своей направленности социально-политических процессов.

Смысловое наполнение этого понятия прошло значительную эволюцию: термин «медиатизация» появился в начале XIX в. в связи с созданием Германского союза — объединения независимых германских государств и вольных городов, в ходе которого происходило поглощение более крупными государствами и княжествами мелких государственных образований. При этом процесс интеграции сопровождался утратой правителем небольшой территории непосредственной подчиненности верховной власти: медиатизированные государи оказывались под властью императора не прямо, как прежде, а через посредничество правителя более крупного государства, сохраняя при этом юридическое с ним равноправие. В итоге посреднический статус и соответствующие ему функции («медиация») стали синонимом термина «медиатизация».

Позднее, с приобретением средствами массовой информации роли мощного ресурса влияния, медиатизация реальности стала пониматься как процесс воздействия массмедиа на общество и его институты, трансформирующий их содержание и ориентиры развития. Постепенно в сфере коммуникативных исследований сложилось отдельное направление, в рамках которого стали формироваться теоретико-методологические основания изучения феномена медиатизации, конструирующие особую концептосферу, в которой представлены различные аспекты и точки соприкосновения процесса медиатизации с разными предметно-дискурсивными полями. В результате доминантами стали два основных подхода: институциональный (Дж. Маццолени, С. Хьярвард, В. Шульц) и социально-конструктивистский (Н. Коулдри, Ф. Кротц, А. Хепп и др.).

Согласно институциональному подходу, медиатизация — это процесс, в котором социальные институты (не связанные с массмедиа) вынуждены функционировать в логике развития средств массовой информации[1]. Анализируя медиатизацию, исследователи акцентируют внимание на ее процессном характере и констатируют следствия ее развертывания: медиа расширяют границы процесса коммуникации, устраняя преграды и ограничения между субъектами общения; СМИ как социальный институт подменяют собой социальную деятельность; в разных сферах социума для СМИ характерна конвергенция с разнообразными «немедийными» процессами. По мысли сторонников институционального подхода, политические

[1] *Mazzoleni G.* Media Logic and Party Logic in Campaign Coverage: The Italian General Election of 1983 // European Journal of Communication. 1987. Vol. 2 (1). P. 81–103; *Schultz W.* Reconstructing mediatization as an analytical concept // European Journal of Communication. 2004. Vol. 19. No. 1. P. 87–101; *Hjarvard S.* The mediatization of society. A theory of the media as agents of social and cultural change // Nordicom Review. 2008. Vol. 29. No. 2. P. 105–134.

и социальные институты и акторы подчиняются медийной логике[1] — они вынуждены придерживаться правил, ограничений и требований массмедиа. Вместе с тем политические коммуникаторы могут самостоятельно выбирать каналы распространения информации, стремятся контролировать СМИ, манипулируя журналистами с помощью доступа к эксклюзивной информации[2].

Социально-конструктивистский подход[3] рассматривает медиатизацию как исторический этап модернизации, новую форму социализации общества путем распространения инфокоммуникационных технологий, влияющих на всю систему общественных отношений. Отмечая, что применение ИКТ в массмедиа спровоцировало медиатизацию, выдвинув на первый план технический аспект, представители социального конструктивизма подчеркивают: сводить этот процесс к техническим характеристикам ошибочно и непродуктивно, поскольку медиатизация, оказывая воздействие на разные общественные институты, способствует формированию и активному применению новых социальных технологий («*Twitter*-революция», фейк-ньюс и др.).

В целом можно констатировать: исследование медиатизации приобрело ныне характер метапроцесса, поскольку изучаются преимущественно глобальные взаимосвязи между медиакоммуникативными и социокультурными изменениями, а сам термин «медиатизация» все чаще используется в стратегическом плане, фокусируя внимание на долгосрочных интересах участников политического и общественного процесса.

Более того, исследователи указывают на ряд отличительных составляющих медиатизации: персонализацию, эмоциональность, лидерство, профессионализацию, конвергентность. Эти составляющие выступают индикаторами оценки акторов политического процесса, а также массмедиа сегмента (социальные медиа, СМИ).

Свой вклад в понимание специфики медиатизации политических отношений внесли Н. Луман и П. Бурдье. Так, Луман понимает процесс медиатизации политики как структурное сопряжение между политической и медийной системами. Формируется «кибернетический круг», в котором сообщения массмедиа вызывают реакцию со стороны политической системы, а затем преобразуются в форму журналистских комментариев. Несмотря на то что политике выгодны информационные поводы в СМИ, полный цикл медиатизации политики, при котором коммуникация соответствует одновременно и политической, и медийной логике, складывается далеко не всегда, а только для определенных событий и акторов. При этом Луман отмечает, что в условиях структурного сопряжения нет предметно-логической асимметрии, т.е. от точки зрения наблюдателя зависит, какая система оказывает воздействие на другую (политика на СМИ или СМИ на политику)[4]. Таким обра-

---

[1] Понятие «медийная логика» имеет множество интерпретаций. Одним из самых распространенных является ее понимание как целенаправленного отбора и обработки сообщений о происходящих событиях, благодаря чему формируется целостный «медиаобраз», представляемый массовой аудитории.

[2] *Mazzoleni G., Schulz W.* «Mediatization» of Politics: A Challenge for Democracy? // Political Communication. 1999. Vol. 16. No. 3. P. 249.

[3] *Hepp A.* The communicative figurations of mediatized worlds: Mediatization research in times of the mediation of everything. URL: http://www.kommunikative-figurationen.de/fileadmin/redak_kofi/Arbeitspapiere/CoFi_EWP_No-1_Hepp.pdf; *Couldry N. & Hepp A.* The Mediated Construction of Reality. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2016.

[4] *Луман Н.* Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2005. С. 4.

зом, медиатизация рассматривается исследователем как процесс, происходящий на структурном уровне, направленный на диверсификацию областей массмедиа, которые взаимодействуют с другими функциональными системами общества (политикой, искусством, рекламой).

В свою очередь, П. Бурдье уделяет значительное внимание проблеме влияния массмедиа на область политики и общество в целом. Медиатизация политики, по мнению ученого, заключается в навязывании массмедиа собственного, особого принципа видения политического поля. Одним из эффектов такого воздействия является деполитизация, т.е. разочарование и ослабление политики[1].

В конечном итоге целенаправленное исследование эффектов медиатизации политики привело к тому, что в политической коммуникативистике оформился самостоятельный концепт. Одним из создателей этого концепта стал шведский исследователь К. Асп. Именно ему принадлежит определение медиатизации политики как процесса, в рамках которого политическая система испытывает влияние медиа и адаптируется к требованиям, предъявляемым средствами массовой информации к освещению политических событий[2]. Эта адаптация объясняется тем, что политические акторы заинтересованы в репрезентации своих программ и целей в медиапространстве, ииименно массмедиа являются сегодня наиболее эффективными каналами и инструментами продвижения и закрепления в массовом сознании политических идей. Существует большое количество форм, в которых осуществляется адаптация, но одна из наиболее эффективных заключается в том, что субъекты политики стремятся формулировать свои публичные заявления в более персонифицированной и острой форме, чтобы получить больше шансов на освещение в медийном пространстве.

В отечественной коммуникативистике концепт медиатизации политики привлек внимание ученых относительно недавно — на рубеже XX–XXI вв. Так, в исследовании И. Засурского «Массмедиа Второй республики» осуществлена попытка определения медиатизации политики как процесса, отражающего переход политических событий в символическое медиапространство[3].

С тех пор изучение медиатизации в сфере политических отношений приобрело весьма активный характер, и сегодня можно уже говорить о существовании российской научной школы, исследующей различные аспекты и результаты этого процесса[4]. В частности, подверглась серьезной корректировке сама сущность понятия, которое рассматривается как интеграция медийного и политического пространств, «взаимопроникновения политического поля в поле медиа и *viceversa* с целью максимизации аудитории и ее “захвата”, — процесс, который по степени воздействия на политику может быть сравним с процессом финансиализации мировой экономики»[5]. Медиатизация в такой трактовке выступает и как новая реальность политического, и как социальный процесс, где массмедиа становятся новым социальным институтом, функции которого заключаются в производстве и расширении знаний в самом широком смысле. Отсюда в ряде

---

[1] *Бурдье П.* О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры»: Ин-т эксперимент. социологии, 2002.

[2] *Hjarvard S.* The mediatization of society // Nordicomreview. 2008. Vol. 29. No. 1. P. 106.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] *Черных А.И.* Медиа и демократия. М.; СПб.: Университетская книга, 2011.

работ российских ученых понятие «медиатизированное общество» идентично понятию «общество знаний»[1]. При этом знание рассматривается не столько как информация, сколько как коммуникативный и властный ресурс современного политического медиапространства.

Под воздействием активного внедрения ИКТ резко актуализировался вопрос о степени взаимопроникновения, интеграции медийного и политического пространств: какое из них является доминантным, иначе говоря, более сильным поглотителем другого пространства? Ответом на вопрос стали две точки зрения[2]. Согласно первой, происходит усиление влияния массмедиа на политику, в результате чего политические функции управления обществом закрепляются за институтом медиа. Можно утверждать, что данная позиция стала стимулом разработки концепта медиакратии.

Согласно второй точке зрения, СМИ оказывают влияние лишь на отдельные политические институты и процессы, не трансформируя систему власти в целом. Другими словами, массмедиа становятся дополнительным информационным ресурсом государственной власти, политических элитных групп, лишь корректируя ее структуру под реалии нового сетевого общества.

Несмотря на принципиальные различия позиций, общим для обеих точек зрения является видение в качестве основного результата медиатизации эффективной системы коммуникации между медийными и немедийными акторами, и конструируется это инфокоммуникационное пространство символическими/политическими элитами. Сам же процесс конструирования такого пространства может включать отбор акторов политических отношений, создание символических образов и в дальнейшем акцентирование на них внимания аудитории: государственные чиновники, политики и медийные персоны применяют медийные ресурсы (прежде всего блоги и социальные сети) для проектирования политических кампаний, для налаживания обратной связи с целевой аудиторией, а также для выделения новостных поводов и трансляции главных тем повестки дня[3].

Новый вызов исследованию медиатизации политики бросила пандемия COVID-19, приведшая к глобальным изменениям во всех областях общественной жизни — экономике, политике, культуре и, конечно, в самих медиа. В этой «новой нормальности» (термин, закрепившийся благодаря и пандемии, и переходу к длительному этапу «революции международного рынка» (2017–2041 гг.), первая половина которого будет проходить, как утверждают эксперты, под знаком военно-силовых конфликтов, направленных не столько на разрушение старого, сколько на становление нового мирового порядка[4], кардинально меняются и модели медиакоммуникации, и эффекты медиатизации. Исследователи говорят преимущественно о деструктивных по характеру трансформациях: усилении эконо-

---

[1] *Чистяков Д.И.* Анализ подходов к социологической интерпретации функционирования массмедиа в обществе: Дисс. ... канд. социол. наук. М., 2014.

[2] *Грибовод Е.Г.* Медиатизация политики как институционально-коммуникативный процесс и информационно-стратегический ресурс. URL: http://www.urgu1701_d.pdf.

[3] *Дзялошинский И.М.* Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов: Монография. М.: Изд-во АПК и ППРО, 2013. С. 46–47.

[4] *Пантин В.* Турбулентность на сломе эпох: с чем связан резкий рост региональных конфликтов? URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ppXfHrhmevgJ:https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turbulentnost-na-slome-epokh-s-chem-svyazan-rezkiy-rost-regionalnykh-konfliktov/&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D774fcc9c6b1f4b28:TM%3D1662151924:C%3Dr:IP%3D188.243.183.217-:S%3D-.

мического неравенства, увеличении объемов дезинформации, росте конфликтных противостояний в медийном пространстве и пр. Так, относительно недавно предметом изучения стал феномен медиатизированного конфликта и медиатизированного инцидента, суть которых заключается в следующем.

В ходе взаимодействия различных участников социально-политического процесса неизбежно возникает широкий спектр противоречий (социальных, культурных, политических, экономических, правовых). Эти противоречия способны приобретать форму моноконфликта, который рассматривается как столкновение по поводу нерешенной проблемы в конкретной общественной сфере[1]. В социальной среде могут возникать разные типы моноконфликтов (конфликтных ситуаций) — политические, экономические, социокультурные, правовые, этнические, административные, ценностные и др., пересечение и наложение которых друг на друга порождают их сложносоставную природу. Происходит это наложение во многом благодаря такому инструменту, как массмедиа: СМИ, передавая информацию о сути и участниках конфликта, о процессе его динамики, «размывают» границы, четко определяющие пределы моноконфликта. Конфликтные противостояния по поводу самых различных социальных проблем, развернувшиеся в последние годы и в России (например, по поводу мусорной реформы или необходимости вакцинации), и в других странах мира («желтые жилеты» во Франции и т.д.), благодаря дискурсу на разных площадках (прежде всего сетевых), превратились из социальных моноконфликтов в сложносоставной политико/экономическо/правовой конфликт.

Таким образом, именно медиатизация порождает интеграцию моноконфликтов в единую систему сложносоставного конфликта, где, как определяют исследователи, образуются устойчивые структурные связи и формируется собственная логика развития[2]. Более того, отдельный тип конфликта сегодня, как правило, становится базой для возникновения другого конфликтного взаимодействия, имеющего принципиально иной масштаб, интенсивность и длительность.

Особенности сложносоставного конфликта определяются также составом участников (субъектов конфликта), доступными им ресурсами, что позволяет говорить о втором факторе, характеризующем медиатизированный конфликт, — его мощном мобилизационном потенциале. Вовлечение граждан в социально-политическое движение представляет собой волнообразный процесс, который «втягивает» людей, имеющих разную степень воодушевления, преданности, информированности, наконец, различную степень социальной дистанции от эпицентра активности. Роль медиа в этом процессе колоссальна: актуализируя информацию, они пробуждают заинтересованность у значительного числа индивидов к определенному кругу вопросов, тем самым превращая их в активных участников дискурса.

В условиях так называемой «новой нормальности» возникает принципиальный вопрос: возможно ли анализировать и концептуализировать медиатизацию с помощью тех классических подходов, которые обозначены выше? В каких формах и в каком направлении движется медиатизация политической сферы? В этом контексте актуализируется высказанное Хеппом и Кротцем положение о том,

---

[1] *Иванова В.И., Киняшева Ю.Б.* Конструктивный потенциал политических конфликтов в современной России // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2015. № 1.

[2] *Якимец В.Н., Никовская Л.И.* Сложносоставные конфликты — атрибут постсоциалистической трансформации // Социс. 2005. № 1.

что медиатизация — не просто концепция, отражающая всевозрастающее влияние медиа на различные слои общества и культуры, но и «парадигмальный сдвиг» в исследованиях медиа и общественных наук в целом[1].

В интервью, которое дал в 2021 г. А. Хепп журналу *Networking Knowledge*, «новая нормальность» рассматривается как «глубоко медиатизированное» социальное состояние, а основными направлениями для анализа медиатизированных реалий должны стать ожидания людей, практика самой пандемии, исследование ее протекания и идеи «решения» отдельных ее проблем в СМИ. Ученый указывает на необходимость изучения «коллективных акторов» (новые социальные движения), которые играют значимую роль в «глубокой медиатизации»[2].

Эффекты медиатизации уже невозможно свести только к культурным и социальными последствиям — цифровизация, датафикация, искусственный интеллект создают основу для радикального социально-экономического и социально-политического «поворота», *DataTurn*[3]. Этот поворот, сдвиг парадигмы медиатизации ряд ученых обозначает как трансгрессию. Трансгрессия и как явление, и как процесс имеет множество трактовок в различных научных сферах, вместе с тем большинство ученых разделяют общий взгляд на ее сущность: трансгрессия — это переход из одного фиксированного состояния в другое, она фиксирует явление пересечения непроходимой границы, и прежде всего границы между возможным и невозможным. В эпоху датифицированного колониализма — современной формы капитализма, отмечает М. Шилина, трансгрессия отражает стремление выйти за рамки рациональности и целесообразности, она ведет к размыванию норм, правил, ценностей и нарушению границ, одновременно отрицая и утверждая определенный предел[4].

Когнитивные возможности концепции трансгрессии достаточно велики: она служит дополнительным аргументом осмысления медиатизации как метапроцесса, подрывающего прежние основания не только культуры, но и экономики и политики. Универсальность концепции позволяет интегрировать в исследования медиатизации идеи не только социальных наук и культурологии, но и философии, экономики, политики и т.д. — и открывает ряд новаторских подходов к междисциплинарным комплексным исследованиям медиа в «новой нормальности».

Одним из таких подходов является моделирование процесса медиатизации политики. Опираясь на идеи шведского исследователя Й. Стрембека, выделившего в процессе медиатизации политики четыре последовательные фазы[5], российский ученый М.Н. Грачев представляет эти фазы в следующем варианте, дополняя интерпретацию графической иллюстрацией[6].

---

[1] *Hepp A. & Krotz F.* (eds). Mediatized Worlds. Culture and Society in a Media Age. Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2014. P. 315.

[2] *Kumar Putta S. & Anderson B.* Deep Mediatization during COVID-19: An Interview with Professor Andreas Hepp, University of Bremen. Networking Knowledge, 2021. No. 14 (1).

[3] *Shilina M.* Public relations in the context of mediatization: the formation of a conceptual framework for research // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Literarycriticism. Journalism. 2020. Vol. 25 (3).

[4] *Шилина М.Г.* Медиатизация в «новой нормальности»: реверсы парадигмы и провокации трансгрессии? // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2021. Т. 26. № 4. С. 601.

[5] *Strömbäck J.* Four phases of mediatization: an analysis of the mediatization of politics // The International Journal of Press/Politics. 2008. Vol. 13. No. 3.

[6] *Грачев М.Н.* Моделирование процесса медиатизации политики Российская пиарология: тренды и драйверы. Вып. 11: Сб. науч. трудов / Под ред. А.Д. Кривоносова. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021.

На первой фазе медиа выступают и как наиболее значимый источник информирования общества, и как важнейший канал взаимодействия политических деятелей и институтов с гражданами. Политика становится «медийно-опосредованной»[1]. Политическим акторам приходится считаться с особенностями медийной логики освещения событий, однако говорить о каком-либо заметном влиянии медиа на деятельность политических институтов на этом этапе не приходится. Автор концепции подчеркивает, что медиа в процессе взаимодействия с политическими субъектами играют подчиненную роль, действуя преимущественно по правилам и в интересах более сильной стороны.

На второй фазе процесса в ходе своего взаимодействия со сферой политики медиа постепенно обретают самостоятельность в установлении формата и контроля над содержанием распространяемых сообщений. Главными ориентирами в деятельности медиа являются уже не правила и требования, которые задаются политическими акторами, а собственные интересы, прежде всего коммерциализация, в свою очередь, выступающая детерминантой ориентации на предпочтения аудитории и совершенствование журналистского мастерства. При этом участники коммуникационного процесса сотрудничают друг с другом в осуществлении своих функций и частично используют взаимные возможности. Подобные отношения (в коммуникационном лексиконе обозначаемые как «медиарилейшнз») основываются на достижении политическими акторами и медиа некоторых общих целей: одна сторона стремится к публикации статьи или репортажа определенного содержания, другой необходимо в установленные сроки представить читателям или зрителям интересующий материал.

Третья фаза процесса медиатизации характеризуется продолжающимся усилением позиций медиа в качестве самостоятельного и, в определенном смысле, самодостаточного социального института. Медийная логика проникает во все сферы общественной жизни, и политические акторы, подобно другим социальным субъектам, вынуждены не только принимать ее во внимание, но и адаптироваться к ней, пытаясь при этом сохранить свою определенность путем мысленного обозначения некой условной демаркационной линии, разделяющей «медийно-опосредованную» политику и неопосредованную политическую реальность[2]. Представляется, что в рамках процесса медиатизации политики на этом этапе и заявляет себя состояние трансгрессии.

На последней, четвертой фазе медиатизации политические субъекты, *во-первых*, полностью приспосабливаются к «правилам игры», устанавливаемым медиа, а *во-вторых*, интегрируют их в качестве неизбежного и обязательного условия своей повседневной деятельности. М.Н. Грачев резюмирует: «в своих конкретных действиях... политики начинают руководствоваться прежде всего медийной логикой, ставящей на первый план образность, зрелищность, перформативность»[3].

Сегодня становится вполне очевидно: исследования процесса медиатизации приобретают остро актуальный характер, поскольку выявляют предпосылки формирования нового типа социума — «медиатизированного политизированного общества». Между тем целый ряд аспектов продолжает оставаться вне поля

---

[1] *Грачев М.Н.* Указ. соч. С. 39.

[2] Там же. С. 40

[3] Там же. С. 41.

зрения ученых. К ним относится, в частности, влияние медиатизации на процессы политической мобилизации. Эта проблема актуализировалась и особенно усложнилась в настоящее время, когда происходит рост социального неблагополучия, политической нестабильности, повышения террористической угрозы и, как отмечает ряд аналитиков, перехода от «эпохи Гнева» к «эпохе Страха».

Специального теоретического анализа требует и процесс медиатизации значимого информационного повода через традиционные и новые медиа с использованием механизмов конвертации коммуникативного капитала трафик-монополистов в политический капитал.

Продолжает оставаться недостаточно изученной и проблематика медиатизации локального инцидента, между тем, как показывает международная политическая практика последних лет, значительная часть наиболее массовых протестов запускалась именно через медиатизации локального инцидента — конкретного случая нарушения прав отдельного гражданина, частного кейса полицейского произвола, экологического неблагополучия в конкретных локациях. При этом социально-политические последствия медиатизации внешне незначительного инцидента могут быть вызваны естественной динамикой, а могут быть инспирированы заинтересованными политическими акторами для усиления дестабилизации ситуации.

Наконец, феномен медиаучастия является одним из основных явлений в современной публичной политике, порожденным процессом медиатизации. Новые формы медиаучастия, особенности формирования идеологических ориентиров политических акторов, принципы выбора платформ для развертывания политического дискурса, сетевое политическое лидерство — все эти вопросы требуют пристального внимания ученых. Представляется, что именно эта тематика будет приоритетной в ближайшие годы в предметном поле исследования медиатизации политики.

*В.А. Ачкасова*

**Литература**

1. *Луман Н.* Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2005. — 256 с.

2. *Бодрунова С.С.* Медиаполитическое взаимодействие или политическая коммуникация? К вопросу о развитии медиаполитологии в России. URL: http://www.mediascope.ru/node/1653.

3. *Бурдье П.* О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры»: Ин-т эксперимент. социологии, 2002.

4. *Володенков С.В.* Медиапространство в системе современного политического управления массовым сознанием // Вестник Российской нации. 2015. № 6. С. 156–163.

5. *Грачев М.Н.* Моделирование процесса медиатизации политики. Российская пиарология: тренды и драйверы. Вып. 11: Сб. науч. трудов / Под ред. А.Д. Кривоносова. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. С. 34–41.

6. *Грибовод Е.Г.* Медиатизация политики как институционально-коммуникативный процесс и информационно-стратегический ресурс. URL: http://www.urgu1701_d.pdf.

7. *Дзялошинский И.М.* Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов. М.: Изд-во АПК и ППРО, 2013. — 479 с.

8. *Засурский И.И.* Массмедиа Второй республики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. — 270 с.

9. *Черных А.И.* Медиа и демократия. М.; СПб.: Университетская книга, 2011. — 272 с.

10. *Шилина М.Г.* Медиатизация в «новой нормальности»: реверсы парадигмы и провокации трансгрессии? // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2021. Т. 26. № 4. С. 597–622.

11. *Kumar Putta S. & Anderson B.* Deep Mediatization during COVID-19: An Interview with Professor Andreas Hepp, University of Bremen. Networking Knowledge, 2021. No. 14 (1). P. 125–130.

12. *Shilina M.* Public relations in the context of mediatization: the formation of a conceptual framework for research // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Literary-criticism. Journalism. 2020. No. 25 (3). P. 521–530.

13. *Strömbäck J.* Four phases of mediatization: an analysis of the mediatization of politics // The International Journal of Press/Politics. 2008. Vol. 13. No. 3. P. 228–246.

14. *Hepp A.* The communicative figurations of mediatized worlds: Mediatization research in times of the mediation of everything. URL: http://www.kommunikative-figurationen.de/fileadmin/redak_kofi/Arbeitspapiere/CoFi_EWP_No-1_Hepp.pdf.

15. *Couldry N., Hepp A.* The Mediated Construction of Reality. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2016.

# «Недостойное правление»: генезис, механизмы и последствия

Почему одни страны управляются хуже других с точки зрения качества государственного управления? Стандартный ответ на этот вопрос, опирающийся на данные таких авторитетных организаций, как Всемирный банк (*проект Worldwide Governance Indicators*)[1] и *Quality of Government Institute* Гетеборгского университета[2], состоит в том, что, как правило, более экономически развитые государства при прочих равных условиях управляются лучше, нежели менее развитые. Однако значительная часть стран (включая Россию и другие постсоветские государства) выпадает из этой общей тенденции. Качество государственного управления, которое определяется такими параметрами, как верховенство права, контроль над коррупцией, качество государственного регулирования и эффективность работы правительства, в этих странах на протяжении длительного времени оказывается ниже, чем те ожидания, из которых необходимо исходить, опираясь на данные о душевом ВВП этих стран (рис. 1 и 2).

Иначе говоря, если теоретически следует ожидать от России среднего по международным меркам качества государственного управления (сопоставимого с такими странами, как Турция или Румыния), то на практике речь идет о заведомо более низких показателях верховенства права, контроля над коррупцией и качества государственного регулирования. По всем этим параметрам в 2018 г., согласно данным Всемирного банка, Россия уступала Буркина-Фасо, одной из беднейших африканских стран. Такое низкое качество государственного управления, не соответствующее уровню развития страны, я обозначаю как «недостойное правление»[3]. Этот термин отражает не просто буквальный перевод укоренившегося английского термина *bad governance*, но и специфику данного явления (по аналогии с тем, как противоположное по содержанию понятие *good governance* было ранее пере-

[1] См.: URL: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators.

[2] См.: URL: https://www.gu.se/en/quality-government.

[3] Подробный анализ см.: *Гельман В.* «Недостойное правление»: политика в современной России. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2019.

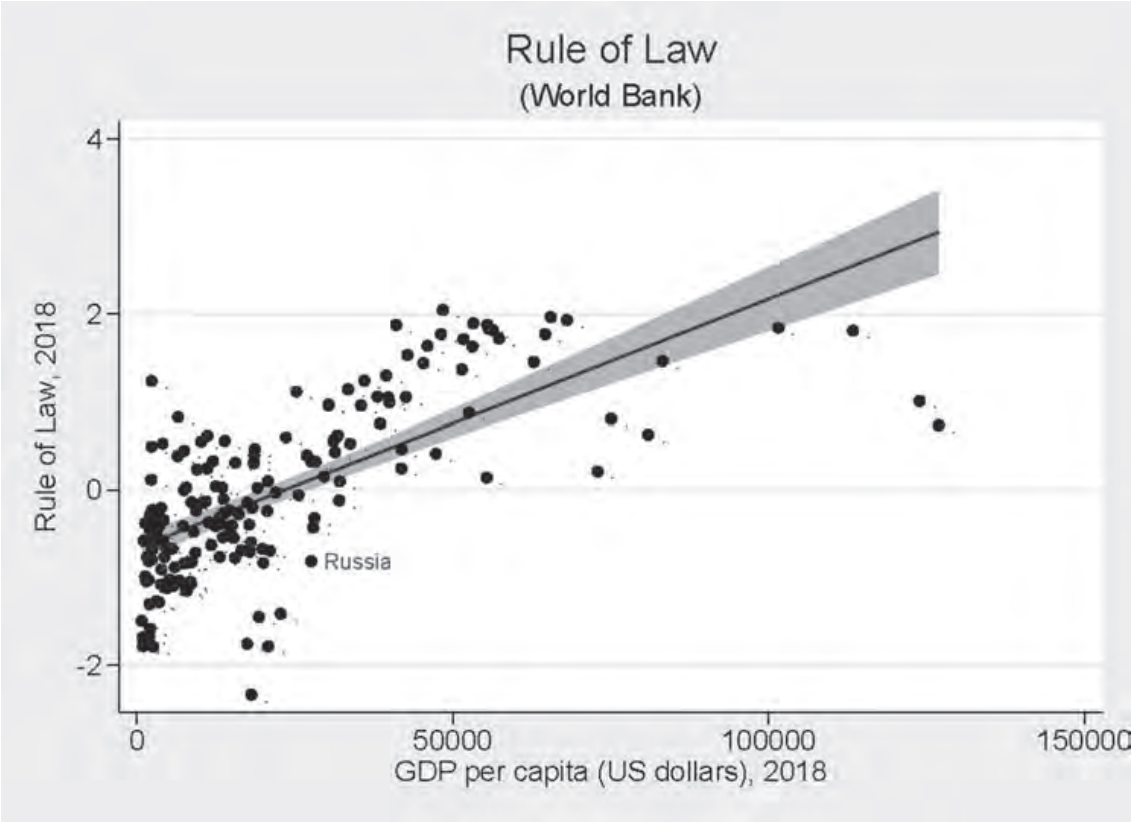
Rule of Law
(World Bank)
Rule of Law, 2018
4
2
0
-2
Russia
0
50000
100000
150000
GDP per capita (US dollars), 2018

**Рис. 1.**

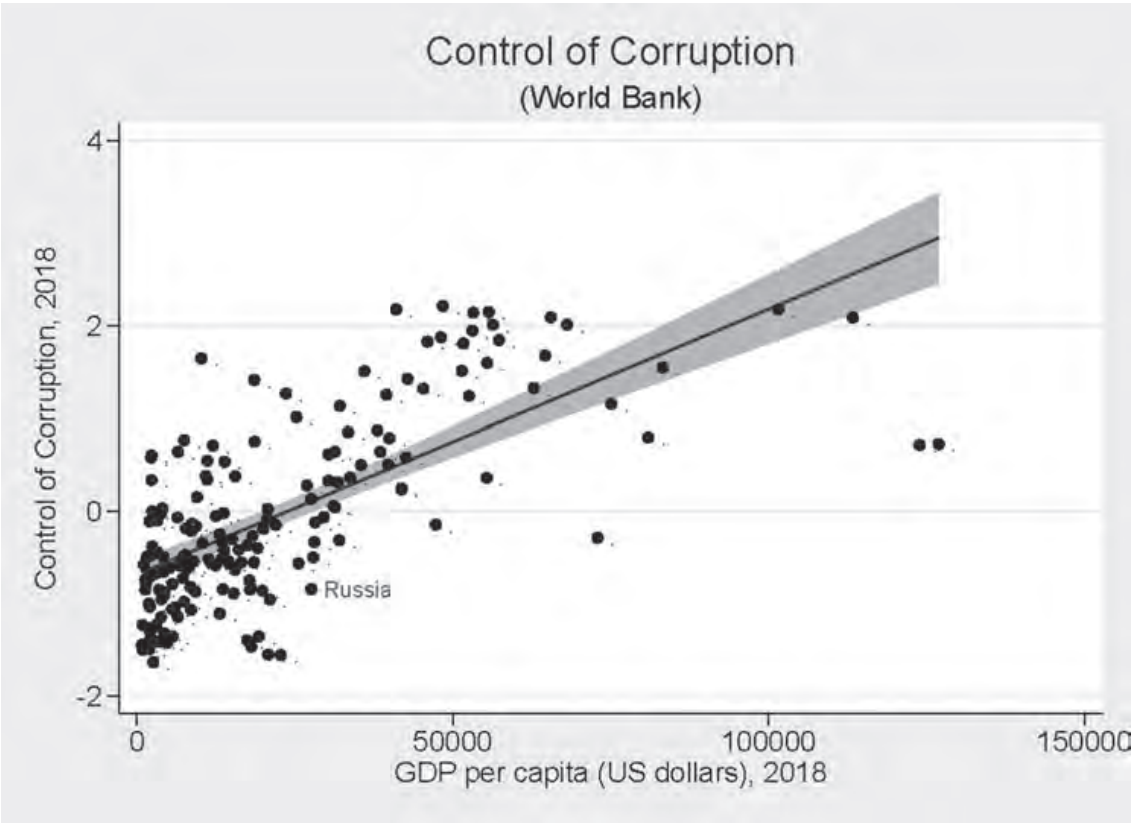
Control of Corruption
(World Bank)
Control of Corruption, 2018
4
2
0
-2
Russia
0
50000
100000
150000
GDP per capita (US dollars), 2018

**Рис. 2.**

ведено на русский язык как «достойное правление»)[1]. В настоящее время данный термин становится все более распространенным в российской политологической литературе[2].

«Недостойное правление», таким образом, это разновидность *bad governance*, вызванная не низким уровнем развития, а интересами политических и экономических акторов, которые не связаны политическими и институциональными ограничениями и управляют государствами, прежде всего, в собственных целях максимизации власти и ренты. Ранее я сформулировал основные принципы «недостойного правления» следующим образом[3]:

1) извлечение ренты политическими и экономическими игроками, связанными с правящими группами, представляет собой главную цель и основное содержание государственного управления на всех уровнях;
2) механизм власти и управления тяготеет к иерархии («вертикаль власти») с единым центром принятия решений, стремящимся к монопольному положению;
3) автономия экономических и политических акторов внутри страны по отношению к данному центру носит условный характер и может быть произвольно изменена и/или ограничена;
4) формальные институты, задающие рамки осуществления власти и управления, представляют собой побочный продукт распределения ресурсов внутри «вертикали власти»: они имеют значение как «правила игры» лишь в той мере, в какой способствуют (или как минимум не препятствуют) извлечению ренты;
5) аппарат управления в рамках «вертикали власти» разделен на соперничающие за доступ к ренте организованные структуры и неформальные клики.

На первый взгляд эти принципы идут вразрез с подходами, лежащими в основе современного государственного управления[4], и выглядят как аномалия. Однако следует иметь в виду, что само современное государственное управление стало продуктом эволюции государств — оно исторически развивалось как ответ на внешнеполитические и внутриполитические вызовы в Европе и в других частях света. Внешнеполитические вызовы были обусловлены войнами, которые служили стимулом к государственному строительству и вынуждали правителей к формированию современных налоговых систем, строительству регулярных вооруженных сил, инвестициям в эффективное администрирование и образование. В противном случае риски военных поражений, утраты внешнеполитического влияния и поглощения более успешными и эффективными государствами оказывались для них слишком велики[5]. Внутриполитические конфликты в ходе борьбы за передел ренты в прошлом вели к неограниченному насилию и вынуждали правителей к его

---

[1] См., напр.: Россия и Британия в поисках достойного правления / Под ред. И. Кирьянова, Н. Оуэна, Дж. Сникера. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2000.

[2] См., напр.: *Стародубцев А.* Условия успешного управления в современной России: субнациональный уровень // Полития. 2018. № 4. С. 70–89.

[3] *Гельман В.* «Недостойное правление»... С. 90.

[4] См.: *Купряшин Г., Соловьев А.* Теория и механизмы современного государственного управления. М.: Изд-во МГУ, 2017.

[5] Подробный анализ см.: *Тилли Ч.* Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992 гг. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2009.

ограничению посредством изменения социальных порядков и со временем в ряде современных государств — к переходу от «ограниченного» к «открытому» доступу[1].

Однако в начале XXI в. для многих государств (включая постсоветские страны) эти вызовы не затрагивали основ их существования. Эпоха больших войн и массового насилия, казалось, ушла в прошлое, в то время как риски потери власти и источников ренты для правящих групп в силу международных и внутриполитических конфликтов несколько утратили актуальность. Вместе в тем формирование персоналистских авторитарных режимов в ряде государств (включая постсоветские) создавало стимулы к тому, чтобы их правители, говоря в терминах М. Олсона, вели себя, скорее, как «кочевые», нежели как «стационарные» бандиты[2]. Они заботились отнюдь не о повышении качества государственного управления, а о максимизации извлечения ренты в пользу самих себя и своего окружения. Примеры того, как политики, чиновники, руководители государственных компаний в России и в других постсоветских странах использовали свои возможности для личного обогащения в ущерб экономическому росту, развитию и предоставлению общественных благ, представлены в многочисленных журналистских расследованиях. В известной мере можно утверждать, что в персоналистских автократиях именно недостойное правление служит нормой, а достойное — исключением, а не наоборот: как писал в этой связи Д. Родрик, «на каждого Ли Кван Ю в Сингапуре приходится много Мобуту в Конго»[3].

Почему именно персоналистские автократии подвержены «недостойному правлению» более, чем другие режимы? Если говорить об электоральных демократиях, то наличие политической конкуренции часто (хотя и не всегда) служит важнейшим ограничителем поведения элит с точки зрения извлечения ренты из-за рисков смены власти в результате выборов. При этом персоналистским автократиям присуще более низкое качество государственного управления и по сравнению с такими авторитарными режимами, как монархии и даже однопартийные режимы[4]. Это связано с особенностями институтов и стимулов, присущих различным типам автократий: персоналистские авторитарные режимы характеризуются короткими сроками своего существования, не превышающими сроков жизни их политических лидеров, и, как правило, испытывают сильные проблемы с обеспечением династической преемственности. Поэтому, в отличие от однопартийных режимов, они оказываются не в состоянии выстроить институты, способные ограничить извлечение ренты управленцами на всех уровнях (в СССР такие институты худо-бедно функционировали, хотя их эффективность была невысока и они не создавали сильных стимулов к успешному развитию)[5]. Поэтому значимым акторам в персоналистских автократиях чаще всего присущ весьма короткий горизонт планирования. Поскольку политики, чиновники и руководители государственных компаний

---

[1] Теоретические аргументы см.: *Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для изучения письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.

[2] См.: *Олсон М.* Демократия, диктатура и развитие // Экономическая политика. 2010. № 1. С. 167–183.

[3] *Rodrik D.* The Myth of Authoritarian Growth // Project Syndicate. 2010. August 9. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-myth-of-authoritarian-growth?barrier=accesspaylog.

[4] Сравнительный анализ см.: *Sharron N., Lapuente V.* Which Dictators Produce Quality of Government? // Studies in Comparative International Development. 2011. Vol. 46. No. 4. P. 397–423.

[5] Подробнее см.: *Митрохин Н.* Очерки советской экономической политики в 1965–1989 годах. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Т. 2.

и учреждений в таких условиях не имеют сильных стимулов к тому, чтобы заботиться о долгосрочном росте и развитии своих стран, то они оказываются заинтересованы в личном обогащении и в поддержании политического статус-кво.

Эту специфику персоналистских автократий наглядно иллюстрирует сравнительный анализ институтов и стимулов в процессе субнационального управления в России и в Китае, который провела группа исследователей из Международного центра изучения институтов и развития при ВШЭ[1]. В Китае в 2010-е годы главным критерием оценки центральным руководством деятельности региональных руководителей являлись показатели экономического роста и развития на соответствующих территориях. Те региональные лидеры, которые добивались наивысших показателей, могли претендовать на дальнейший карьерный рост и на занятие должностей в высших органах управления в Пекине, а их менее успешные коллеги могли лишиться своих постов и получить понижение в должности. Соревнование между ними за повышение по служебной лестнице препятствовало приписках и искажению отчетности. В то же время главы российских регионов могли лишиться своих постов, прежде всего, за низкие, с точки зрения федерального Центра, результаты голосования за В. Путина и за «Единую Россию» на федеральных и/или региональных выборах. При этом институционализированные механизмы восходящей карьерной мобильности для региональных руководителей в России отсутствовали. На практике это означало, что если управленцы в китайских провинциях были заинтересованы в том, чтобы строить новые аэропорты и заботиться о состоянии экологии на вверенных им территориях, то их российские коллеги — в том, чтобы любой ценой добиваться требуемых в рамках «вертикали власти» результатов голосований, дабы минимизировать риски наказаний. Такое сочетание стимулов усугубляло проблемы «недостойного правления» в российских регионах, в то время как в китайских провинциях оно выступало их важнейшим институциональным ограничителем.

«Недостойное правление» создает ряд вызовов для политической стабильности современных государств как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Долгосрочные риски «недостойного правления» связаны с отставанием с точки зрения экономического роста и развития и повышением вероятности дальнейшего упадка государств, даже если аппарат управления обладает достаточным потенциалом для эффективной работы и успешной реализации политического курса[2]. Краткосрочные риски вызваны уязвимостью государств к внешним шокам, когда ошибочный выбор приоритетов может повлечь за собой негативные последствия для экономики и общества. Примером такого рода может служить реакция на пандемию COVID-19 со стороны российских властей: будучи заинтересованы в сохранении политического статус-кво и стремясь не допустить краткосрочного экономического спада, они, по сути, принесли в жертву жизни и здоровье российских граждан, при этом провалив кампанию по вакцинации россиян. В результате избыточная смертность россиян по итогам пандемии превысила 1 млн человек, что стало одним из наиболее высоких показателей среди развитых стран[3].

---

[1] См.: *Rochlitz M., Kulpina V., Remington T., Yakovlev A.* Performance Incentives and Economic Growth: Regional Officials in Russia and China // Eurasian Geography and Economic. 2015. Vol. 56. No. 4. P. 421–445.

[2] См.: *Yakovlev A.* Composition of the Ruling Elite, Incentives for Productive Usage of Rents and Prospects for Russia's Limited Access Order // Post-Soviet Affairs. 2021. Vol. 37. No. 5. P. 417–434.

[3] См.: *Гельман В.* «Недостойное правление» в условиях внешнего шока: случай пандемии COVID-19 // Политическая наука. 2022. № 2. С. 34–52.

Другим важным дефектом «недостойного правления» выступает феномен зарегулированного государства, для которого характерно сочетание очень высокой плотности и низкого качества государственного регулирования на фоне значительных полномочий и большой дискреции деятельности контрольно-надзорных служб и правоохранительных ведомств[1]. Это не только влечет за собой рост издержек для ведения бизнеса и деятельности некоммерческого сектора (вынужденных тратить немалые ресурсы на многочисленные и порой бесполезные проверки их работы), но и создает искаженные стимулы в деятельности правоохранителей и судов. По сути, они оказываются заинтересованы в достижении любой ценой плановых показателей ведомственной отчетности (начиная от количества и раскрываемости зарегистрированных преступлений и заканчивая процентом судебных решений, пересмотренных вышестоящими судебными инстанциями) в ущерб решению задач борьбы с преступностью[2]. Несмотря на то что такое положение дел подвергается повсеместной критике на протяжении ряда лет, сколь-нибудь серьезные попытки его изменить наталкивались на сопротивление со стороны самих правоохранителей и контрольно-надзорных ведомств, которые выступали как влиятельные соискатели ренты, заинтересованные в поддержании статус-кво. Важнейшим следствием зарегулированного государства становится резкое ослабление стимулов к административному предпринимательству на всех уровнях государственного управления в силу высоких рисков наказания за многочисленные реальные и/или воображаемые нарушения регулятивных норм, а также снижение качества предоставления публичных благ со стороны органов управления и государственных учреждений. При таком подходе к управлению медики оказываются заинтересованы не столько в том, чтобы сберегать жизни и здоровье пациентов, сколько в том, чтобы избегать претензий к их деятельности со стороны прокуратуры и иных контрольно-надзорных ведомств (о чем свидетельствует, например, недавний печальный опыт пандемии COVID-19).

Резюмируя, стоит отметить, что «недостойное правление» в ряде государств становится не просто частным проявлением низкого качества управления, не соответствующего уровню их развития, но принципиальной характеристикой функционирования этих государств. Скорее, оно может представлять собой частный случай негативного равновесия в рамках всей системы государственного управления — неэффективного, но устойчивого механизма, в кардинальном изменении которого не заинтересованы влиятельные акторы.

Как ограничить «недостойное правление»? Неудивительно, что политическое руководство предпринимает различные меры, призванные ограничить «недостойное правление», чтобы избежать его наиболее пагубных последствий. В этом отношении наиболее комплексным инструментом политического курса выступают те или иные государственные программы социально-экономического развития, которые в том числе включают шаги, направленные на повышение качества государства. Россия здесь не является исключением, и правительственные программы, такие как «Стратегия-2010» и ряд последующих документов стратегического планирования, включали ряд шагов такого рода. Хотя эффективность этих программ оценивалась невысоко (в частности, по оценке Центра стратегических разработок,

---

[1] Подробнее см.: *Панеях Э.* Зарегулированное государство // Pro et Contra. 2013. Т. 17. № 1–2. С. 79–92.

[2] См.: *Панеях Э., Титаев К., Шклярук М.* Траектория уголовного дела: институциональный анализ. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2018.

та же «Стратегия-2010» была выполнена на 36%, а сменившая ее «Стратегия-2020» на 29%[1], некоторые меры, предпринятые правительством России — такие, как налоговая реформа, существенно упростившая налоговое администрирование, — дали свои плоды. Их наглядно иллюстрирует динамика качества государственного регулирования — по данным Всемирного банка, в первой половине 2000-х годов в России она заметно улучшилась, однако позднее в России вновь наметилось ухудшение (рис. 3).

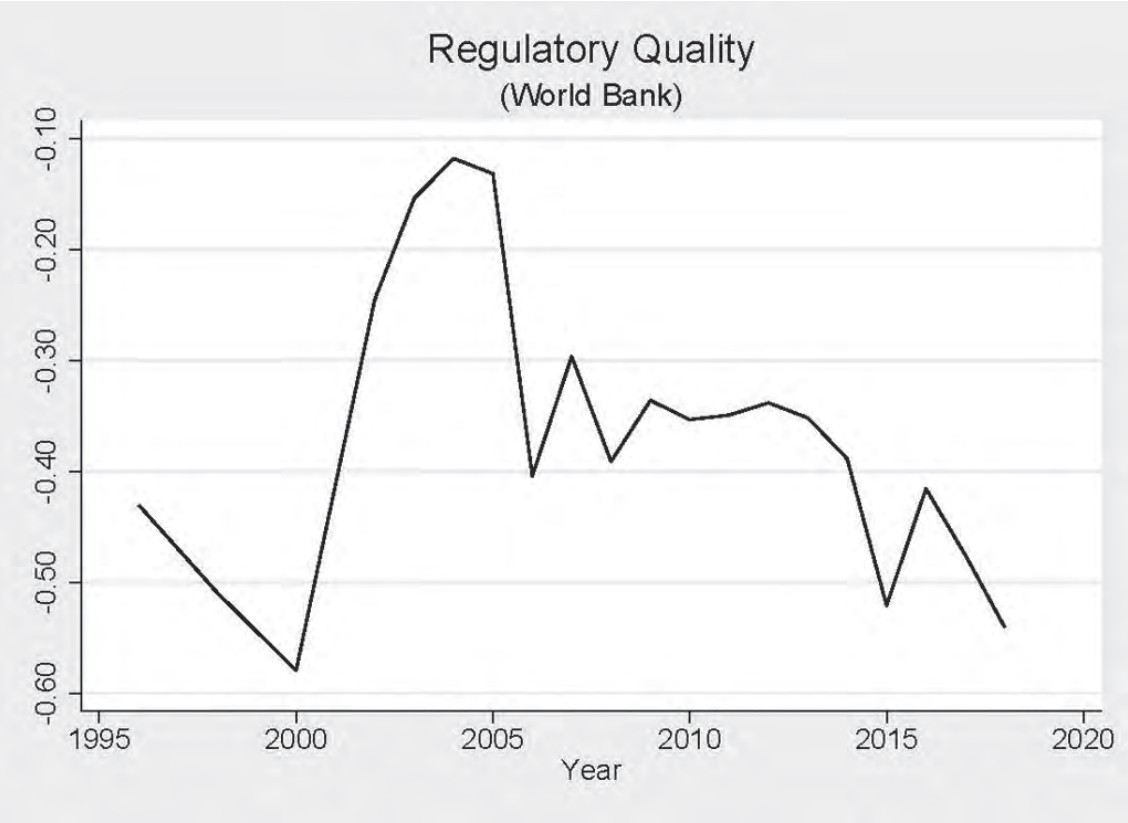


**Рис. 3.**

Другим способом улучшения качества государственного управления на фоне «недостойного правления» выступают «карманы эффективности»: отдельные проекты и программы, которые создаются и реализуются под патронажем политического руководства в особых условиях, предполагающих их приоритетное финансирование и специальные, отличающиеся от общих норм, практики государственного регулирования. Замысел здесь состоит в «выращивании» новых, более эффективных институтов и практик с целью их последующего распространения на общегосударственном уровне. Исторические примеры такого рода разнообразны — начиная от «потешных полков» Петра I, ставших прообразом регулярной армии в России, и заканчивая особыми конструкторскими бюро («шарашки»), которые сыграли ключевую роль в советском ядерном и космическом проектах. Опыт современной России также показывает, что отдельные «истории успеха» могут принести свои результаты при удачном сочетании политического патронажа, приоритетной государственной поддержки и дружественной регуляторной среды

[1] См.: Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня: Аналитический доклад / Под ред. М. Дмитриева. М.: Центр стратегических разработок, 2016. URL: http://csr.ru/news/analizfaktorov-realizatsii-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-verhnegourovnya/.

и при наличии эффективных административных предпринимателей, способных добиться быстрых успехов своих инновационных начинаний.

Однако распространение лучших практик за пределы «карманов эффективности» в условиях преобладания «недостойного правления» происходит с очень большим трудом. Эту проблему наглядно иллюстрируют реформы, предпринятые в сфере высшего образования в России. Созданная в 1992 г. «с нуля» Высшая школа экономики (ВШЭ) под руководством ректора Я. Кузьминова за два десятилетия (небольшой по университетским меркам срок) добилась больших успехов, став одним из флагманов российского высшего образования в части новых образовательных и научных проектов. Но попытки тиражирования передового опыта ВШЭ за пределы «кармана эффективности» оказались куда менее впечатляющими. Разработанная на основе лучших практик ВШЭ общероссийская программа повышения конкурентоспособности российских университетов, известная как «5-100» (в ее реализации в 2013–2020 гг. принял участие 21 вуз, включая и ВШЭ), привела к неоднозначным результатам. *Во-первых*, сроки реализации программы, как и выделенные на нее государственные средства (57 млрд руб. в 2013–2017 гг.), были заведомо недостаточными для достижения амбициозных целей вхождения пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетских рейтингов (сходные программы «проект 211» и «проект 985» в Китае были более длительными и финансировались более щедро). *Во-вторых*, эта программа не предусматривала кардинального обновления состава руководства университетов-участников и внедрения в них современных практик управления: скорее, речь шла о том, чтобы влить новое вино в старые мехи. В этих условиях стимулы руководства большинства университетов сводились в лучшем случае к обновлению инфраструктуры вузов-участников за счет выделенных правительством средств, но не к тому, чтобы подтянуть свои вузы в научном и образовательном плане хотя бы до уровня ВШЭ. В конечном итоге программа, хотя и привела к некоторому продвижению российских вузов в международных рейтингах, так и не позволила добиться качественных сдвигов в российской науке и высшем образовании.

Как представляется, основные проблемы ограничения «недостойного правления» (не только в России) связаны с тем местом, которое эти задачи занимают среди приоритетов политического руководства. По большей части решение проблем качества государственного управления рассматривается как чисто управленческая задача, которую призваны решать специально нанятые специалисты-технократы. В то же время политические задачи, решение которых, в частности, предполагает регулярное обновление состава элит на всех уровнях управления, в рамках технократического подхода даже не ставится. Напротив, высококвалифицированные технократы как раз и призваны обеспечивать поддержание политического статус-кво, страхуя политическое руководство стран от провалов в управлении, особенно в столь чувствительных сферах, как экономика и финансы, и обеспечивая хотя и низкое, но приемлемое качество государства[1]. По сути, те же центральные банки выполняют своего рода функции «защиты от дурака», позволяя избежать самых пагубных последствий «недостойного правления»[2]. Однако они не способны улуч-

[1] См.: *Melville A., Mironyuk M.* "Bad Enough Governance": State Capacity and Quality of Institutions in Post-Soviet Autocracies // Post-Soviet Affairs. 2016. Vol. 32. No. 2. P. 132–151.

[2] См., напр.: *Johnson J.* Priests of Prosperity: How Central Bankers Transformed the Postcommunist World. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2016.

шить управление государством, «заточенным» на извлечение ренты. Поскольку принятие политических решений, включая кадровые, сосредоточено в руках политического руководства, а технократы остаются лишь в роли экспертов, конкурирующих за влияние с многочисленными соискателями ренты, то их попытки улучшить качество государственного управления остается в лучшем случае скромным, а в худшем случае их влияние может ослабевать со временем[1].

Если суммировать технократические рецепты ограничения «недостойного правления», то они могут быть обозначены формулой «3D» (по трем первым буквам предлагаемых и реализуемых мер) — это дигитализация (в России — цифровизация), дерегулирование и децентрализация. Но хотя каждый из этих рецептов сам по себе выглядит вполне разумным и оправданным, они не дают желаемых эффектов с точки зрения ограничений «недостойного правления», будучи сведены лишь к набору технократических шагов. Характерна политика цифровизации многих функций государства, которая открывает возможности для использования в государственном управлении большого объема данных, многие из которых раньше либо не собирались, либо не использовались, и делает эти данные доступными для анализа специалистов. Это позволяет тем, кто принимает решения, более эффективно вырабатывать и реализовывать доказательный политический курс, основанный на использовании лучших практик. Но при этом сами по себе большие данные и использующие их цифровые алгоритмы являются лишь инструментами в руках политиков и чиновников. То, как именно используются эти инструменты, зависит от их целей, приоритетов и стимулов.

В условиях «недостойного правления» в России эти стимулы носят противоречивый характер, поскольку российские власти находились под влиянием различных заинтересованных групп, которые стремились использовать алгоритмические механизмы в собственных целях. Их интересы прежде всего предполагали сокрытие нежелательной информации, распространение которой могло навредить карьере, персональной репутации и/или ухудшить мнение россиян о политико-экономическом порядке в стране. Поэтому власти пытались изъять из открытого доступа сведения, касающиеся чиновников и силовиков, чтобы избежать неприятных для них последствий независимых расследований, связанных с обвинениями в коррупции и других неблаговидных действиях. Кроме того, «информационная автократия»[2] стремилась искажать публично распространяемые от имени государства сведения. В ходе пандемии COVID-19 различные государственные ведомства в России неоднократно ловили за руку на том, что публикуемые ими сведения о числе заболевших и умерших были заведомо недостоверны. Такие разоблачения в лучшем случае способствовали корректировке части данных «задним числом», но даже в этом случае ни о каком доказательном политическом курсе в отношении борьбы с пандемией говорить попросту не приходилось: его невозможно вырабатывать и проводить, опираясь на явно неверные данные. Поэтому прозрачность, которую призвана обеспечить цифровизация, оказывалась частичной и порой подверженной систематическим и целенаправленным искажениям. Следует полагать, что алгоритмы и онлайн-

---

[1] Подробный анализ см.: *Егоров Г., Сонин К.* Диктаторы и визири: экономическая теория лояльности и компетентности // Общественные науки и современность. 2008. № 2. С. 36–51.

[2] См.: *Guriev S., Treisman D.* Informational Autocrats // Journal of Economic Perspectives. 2019. Vol. 33. No. 4. P. 100–127.

сервисы могут повысить качество государственного управления, лишь когда они дополняют беспристрастное и эффективное «достойное правление», осуществляемое офлайн, а не ориентированы на его замещение.

Дерегулирование выступает другим механизмом, призванным снять многие проблемы того же зарегулированного государства путем массовой отмены и/или кардинального пересмотра ряда устаревших нормативных актов. Такой подход, обозначаемый как «регуляторная гильотина», на первый взгляд выглядит привлекательным: он продвигался многими консалтинговыми фирмами в разных странах от Великобритании до Вьетнама. Но на деле ответ на вопрос о том, какие нормативные акты попадут под «регуляторную гильотину», а какие нет, зависел не только от благих намерений экспертов, но и от воздействия заинтересованных групп как внутри государственного аппарата, так и за его пределами. В условиях персоналистского авторитаризма это воздействие носит наиболее деструктивный характер из-за присущей ему по определению асимметрии политического представительства. Поэтому в результате, с одной стороны, заинтересованные группы крупного бизнеса с энтузиазмом восприняли проект «регуляторной гильотины» и прилагали усилия к тому, чтобы минимизировать собственные издержки и вместе с водой избыточного регулирования выплеснуть и ребенка, связанного с предоставлением общественных благ. С другой стороны, стремясь минимизировать свои политические риски, российские власти, вопреки первоначальным намерениям, шли по пути не ослабления избыточного регулирования, а, напротив, его ужесточения на фоне крайне селективного правоприменения. Поэтому «регуляторная гильотина» не исправляла некоторые из патологий «недостойного правления», а, скорее, усугубляла их. Прежде всего эти патологии проявились в сфере экологического регулирования и в сфере образования.

Наконец, децентрализация управления сама по себе также рассматривается большинством экспертов как необходимый шаг, призванный решать многие проблемы на региональном и местном уровнях. Однако на деле многие из призывов к децентрализации так и остаются на уровне деклараций, идя вразрез с принципами «недостойного правления», предполагающими единую управленческую иерархию, призванную не только сохранять политический статус-кво, но и обеспечивать неформальную координацию акторов в процессе извлечения ренты. В то же время, сталкиваясь с внешними шоками и новыми вызовами (как, например, в ходе пандемии COVID-19), российские власти вынуждены были прибегать к децентрализации как средству решения управленческих проблем, с которыми федеральный Центр оказывался не в состоянии справиться. Они делегировали ряд полномочий региональным властям, выделяя им дополнительные ресурсы для решения этих проблем. Такая частичная децентрализация отчасти давала «свободу рук» тем региональным лидерам, которые обладали достаточными ресурсами и компетенциями в ряде успешных с точки зрения развития регионах (Москва, Татарстан), но не улучшала положение дел в большинстве регионов, сильно зависимых от трансфертов со стороны федерального Центра. Кроме того, частичная децентрализация в ходе пандемии в России повлекла за собой углубление проблем принципал-агентских отношений между Центром и регионами, когда региональные власти в своих интересах манипулировали информацией, предоставляемой ими Цен-

тру, а тот, в свою очередь, оказывался неспособен к принятию эффективных управленческих решений[1].

Основная проблема технократических рецептов ограничения «недостойного правления» в духе «3D» состоит в том, что они в принципе не предполагают варианта «4D», который дополняет эти меры также и реформированием политической системы и ее демократизации, призванной обеспечить хотя бы минимальную электоральную подотчетность руководителей избирателям, и тем самым ставит барьеры на пути наиболее опасных управленческих патологий. Сравнительные исследования свидетельствуют, что качество государственного управления в демократиях при прочих равных условиях выше, нежели в авторитарных режимах[2]. Однако сам процесс демократизации часто сопряжен с большими издержками и рисками, и весьма вероятно, что в краткосрочной перспективе он может привести отнюдь не к повышению качества государственного управления, а, напротив, к его снижению и даже к усугублению патологий «недостойного правления». Но без решения задач демократизации технократические рецепты ограничения «недостойного правления» во многом напоминают советы медиков, пытающихся излечить от банальной простуды хронически тяжелобольного пациента, остро нуждающегося в кардинальном лечении.

*В.Я. Гельман*

**Литература**


1. *Гельман В.* Politics versus policy: технократические ловушки постсоветских реформ // Полития. 2017. № 2. С. 32–59.
2. *Егоров Г., Сонин К.* Диктаторы и визири: экономическая теория лояльности и компетентности // Общественные науки и современность. 2008. № 2. С. 36–51.
3. *Панеях Э.* Зарегулированное государство // Pro et Contra. 2013. № 1–2. С. 79–92.
4. *Панеях Э., Титаев К., Шклярук М.* Траектория уголовного дела: институциональный анализ. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. — 476 с.
5. *Травин Д., Гельман В., Заостровцев А.* Российский путь: идеи, интересы, институты, иллюзии. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2017. — 301 с.
6. *Aslund A.* Russia's Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy, New Haven: Yale University Press, 2019. — 336 p.
7. *Bueno de Mesquita B., Smith A.* Dictator's Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics. N.Y.: Public Affairs. — 319 p.
8. *Charron N., Lapuente V.* Does Democracy Produce Quality of Government? // European Journal of Political Research. 2010. Vol. 49. No. 4. P. 443–470.
9. *Gel'man V., Ryzhenkov S.* Local Regimes, Sub-national Governance and the 'Power Vertical' in Contemporary Russia // Europe-Asia Studies. 2011. Vol. 63. No. 3. P. 449–465.
10. *Gilev A., Dimke D.* No Time for Quality: Mechanisms of Local Governance in Russia // Europe-Asia Studies. 2021. Vol. 73. No. 6. P. 1060–1079.
11. *Libman A., Rochlitz M.* Federalism in China and Russia: Story of Success and Story of Failure? Cheltenham: Edward Elgar, 2019. — 232 p.
12. *Yakovlev A.* Composition of the Ruling Elite, Incentives for Productive Usage of Rents, and Prospects for Russia's Limited Access Order // Post-Soviet Affairs. 2021. Vol. 37. No. 5. P. 417–434.


---

[1] Подобный анализ см.: *Busygina I., Klimovich S.* Pandemic Decentralization: COVID-19 and Principal-Agent Relations in Russia // Problems of Post-Communism, 2022. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10758216.2022.2111313.

[2] См.: *Charron N., Lapuente V.* Does Democracy Produce Quality of Government? // European Journal of Political Research. 2010. Vol. 49. No. 4. P. 443–470.

# Неформальное правление

Различные неформальные практики, связанные с коррупцией и теневой экономикой, активностью политических сетей, многообразными проявлениями клиентелизма, кумовства, непотизма и иных аналогичных явлений, постоянно сопровождающих общественные процессы, давно находятся в области интереса общественных наук. В бытовой сфере многим людям знакомы выражения: «для друзей — все, врагам — закон» (А. Стресснер), «строгость российских законов смягчается необязательностью их выполнения» (М.Е. Салтыков-Щедрин), «Россия — страна нечитаных законов и неписаных правил» (А. Леденева), демонстрирующие избирательный характер действия формальных институтов. Чаще всего многие из этих явлений подразумевают негативную коннотацию, воспринимаются как «пережитки», «трудности переходного периода» или «недоработки» государственных и общественных институтов. При этом разнится и масштаб понимания последствий этих явлений: от частичных изменений в экономических или политических процессах (преодолеваемых за счет успешных институциональных реформ и повышения уровня политико-административной культуры) до «захвата государства» (*statecapture*) и укоренения системной, институциональной коррупции.

Как показывают опыты, такие устойчивые к институциональным преобразованиям проявления политической воли основаны не только на насилии, но и на добровольном и заинтересованном применении самыми различными игроками в поле политики. При этом многие из такого рода фактов не обладают негативным характером и не подлежат искоренению.

Современные научные исследования неформальных явлений и практик неформального управления используют (постоянно увеличивающиеся по численности)[1] когнитивные конструкции, преодолевающие ограничения нормативных и предписывающих теорий. В то же время сопоставление и даже конкуренция таких исследований с работами, посвященными публичным аспектам власти и управления, в значительной степени вскрывают недостатки функционирования институтов, уточняя пути устранения их дефектов и показывая возможности совершенствования их деятельности.

Еще одним достижением исследователей неформального управления является признание амбивалентности практик такого рода, утверждение понимания того, что их качество всегда зависит от конкретного контекста, причин и условий их возникновения, характера применения и изменения. Например, в бывшем СССР «блат» как система горизонтальных связей, поддерживавшая неформальный обмен услугами и ресурсами, в ряде случаев обеспечивал физическое выжи-

---

[1] Так, если в 1980–1990-х годах работы, характеризующие различные аспекты неформальных явлений, исчислялись единицами, то к 2000 г. их число перевалило за десятки, а к 2018 г. за сотни публикаций в год (*Westerwinter O., Abbot K., Biersteker T.* Informal Governance in World Politics. The Review of International Organizations. 2021. No. 16. P. 1–27. URL: https://doi.org/10.1007/s11558-020-09382-1; URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11558-020-09382-1 (accessed: 31.01.2023). В источнике описаны данные о научных публикациях в *Web of Science* за период 1980–2018 гг. по следующим терминам, представленным в заголовках, аннотациях и ключевых словах: *Informal politics, informal governance, informal arrangement, informal institution, informal agreement, informal network, informal group, informal coalition, informal practice, informal process, informal rule, informal procedure, informal structure, informal organization, informal norm, informal bargaining, informal negotiation, informal regulation, informal standard-setting, soft law, and soft regulation*.

вание людей и потому воспринимался, скорее, как неизбежное зло или положительное явление (теми, кто был активно вовлечен в эту систему неформальных отношений). Точно так же неформальные практики в политике и управлении, позволяя обходить устаревшие бюрократические и иные официальные механизмы, помогают быстрее добиваться нужного обществу результата, исключая даже поиск личного бенефита.

К перечню достижений в исследовании неформальных явлений следует отнести и признание того факта, что они существуют в любых обществах и системах организации власти: от развитых западных демократий до несостоявшихся африканских государств. Более того, сравнительные исследования показывают, что неформальные практики по своему дизайну и функциям могут быть практически идентичными даже в предельно далеких друг от друга странах (например, в Мексике, Танзании и России)[1]. Неудивительно поэтому, что сам термин «неформальное управление» возник в результате изучения неформальных практик в ЕС, а не в авторитарных странах[2]. А о развитии «советского типа блата» заговорили в современной Великобритании в контексте изучения механизмов доступа к ограниченным ресурсам британской социальной системы в условиях пандемии и постпандемии[3]. Сопоставимость неформальных практик в разных регионах мира хорошо показана в рамках «Энциклопедии неформальности» (*Global Informality Project*), где различные неформальные практики группируются как по странам, так и по кластерам, что позволяет легко проводить сравнительные исследования и сопоставления.

В настоящее время изучение неформального управления формируется в виде междисциплинарной области исследований с привлечением социологии, политических и экономических наук, международных отношений, правоведения, психологии, антропологии и ряда других наук, предлагающих свои комбинации познавательных инструментов: от исторических до математических. Однако даже изучение традиционных политических явлений через теоретическую рамку «неформального управления» позволяет делать анализ более системным, указать фундаментальные причины развития этих явлений, увидеть, как неформальные практики влияют на фактическое функционирование общественно-политической сферы.

Как особый предмет изучения (предопределяющий формирование некой самостоятельной дисциплины) понятие «неформальное управление» (*informal governance*), сохраняющее генетическую связь с термином «неформальность» (*informality*) (отражающим особый социальный феномен) и применимое к политико-административной сфере, получило распространение в западной социальной науке примерно с начала 2000-х годов. Как и в случае концентрации внимания на идеациональных параметрах политических процессов, триггером внимания научного сообщества (впрочем, также и общественно-политических кругов) к этому явлению стала констатация оппортунистического поведения демократических

---

[1] *Baez-Camargo C., Ledeneva A.* Where Does Informality Stop and Corruption Begin? Informal Governance and the Public/Private Crossover in Mexico, Russia and Tanzania // Slavonic and East European Review. 2017. No. 95 (1). URL: https://edoc.unibas.ch/65764/.

[2] *Chrisiansen T., Piatotti S.* Informal Governance in the European Union. Edward Edgar Publishing Limited. USA. 2003.

[3] Blat, the soviet art of getting by, comes to Britain // The Economist. 26.01.2023. URL: https://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/e246_unwritten_rules-2203.pdf.

институтов во многих западных странах. Г. Хельмке и С. Левицкий были одними из первых, кто прямо поставил проблему, указав на то, что многие «правила игры», структурирующие политическую жизнь, являются неформальными[1].Эти ученые, обобщив ряд региональных исследований (в Латинской Америке, Африке, Азии и посткоммунистической Евразии), совместив их с особенностями ряда исторических эпох (деколонизации и посткоммунистических преобразований), а также приняв во внимание специфику крупных сфер социальной активности граждан (выборы, функционирование институтов законодательной власти и бизнеса), выделили такие практики и процессы (личные связи, клиентелизм, коррупцию, клановость, мафиозность, традиционные нормы и др.), которые обладали генетически неформальным характером. Объединив эти явления в категорию «неформальные институты», они определили их как «социально разделяемые правила, обычно неписаные, которые создаются, передаются и применяются вне официально санкционированных каналов»[2].

Одновременно эти теоретики стали одними из первых, кто поднял вопрос о дихотомии формальных и неформальных институтов, тем самым расширив эвристические возможности институционального анализа. Более того, они описали основные модальности взаимоотношений между формальными и неформальными институтами, определив четыре типа неформальных институтов по отношению к формальным: взаимодополняющие, замещающие, приспосабливающиеся и конкурирующие. При этом первые два были ориентированы на взаимодействие с формальными институтами, в то время как вторые два были ориентированы на конфронтацию[3]. Такой подход заложил основу для дальнейшего понимания амбивалентности неформальных институтов и неформальности в целом[4].

Понимание системных взаимосвязей между различными неформальными институтами в рамках одного государства поставило вопрос и о «неформальном управлении» как комплексном явлении, которое требует отдельного изучения. Фактическое «открытие» неформального управления в таком понимании было сделано Т. Кристиансеном и С. Пьятотти параллельно с выявлением неформальных институтов Хельмке и Левицким, но внешне в весьма неожиданном регионе — в Европейском союзе[5]. В этой книге Кристиансен, Пьятотти вместе со своими коллегами представили исчерпывающее описание неформального управления в политических и бюрократических структурах Европейского союза. Объяснение появления неформального управления в ЕС — союзе зрелых демократий, было вполне естественным — молодые наднациональные институты Европейского союза были настолько слабы по сравнению с развитыми национальными институтами ведущих стран ЕС, что для решения стоявших перед ними задач вынуж-

---

[1] *Helmke G., Levitsky S.* Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda // Perspectives on Politics. 2004. No. 2 (04).

[2] Ibid. P. 725.

[3] Ibid. P. 728–730.

[4] *Барсукова С.Ю., Леденева А.В.* От глобальной коррупционной парадигмы к изучению неформальных практик: различие в подходах аутсайдеров и инсайдеров // Вопросы экономики. 2014. № 2; *Ledeneva A.* Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance. L.: Cambridge University Press, 2013. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511978494.

[5] *Christiansen T., Piatotti S.* Informal Governance in the European Union. Edward Edgar Publishing Limited. USA, 2003.

дены были компенсировать свои слабости развитием неформальных практик. Как бы то ни было, но с тех пор неформальное управление перестало быть уделом «слаборазвитых» стран. Одновременно соответствующая сфера знаний стала формироваться и как новая научная[1] дисциплина, оснащенная собственными учебниками[2] и даже энциклопедическими изданиями[3].

Сегодня понимание неформального управления не вызывает больших споров среди исследователей. Хельмке и Левицки определяют его как «неформальные институты, действующие в виде социально разделяемых правил, обычно неписаных, которые создаются, передаются и применяются вне официально одобренных или разрешенных каналов»[4]. Кристиансен признает управление неформальным, когда «участие в процессе принятия решений не может быть (пока или вообще нет) кодифицировано или осуществлено публично»[5]. В свою очередь, Харш отмечает, что «неформальное управление относится к средствам принятия решений, которые некодифицированы, неинституциональны и где общественные отношения и сети влияния играют решающую роль, но также оно включает принятие решений по инициативе или с участием НГО[6] на всех властных уровнях»[7].

Выделение НГО в самостоятельную сферу неформального управления представляется весьма важным и отражает особенности термина «неформальное управление» на английском языке (*informal governance*), где *governance* предполагает изначально более высокий уровень вовлеченности общественности в процесс принятия решений (включая НГО). Получается, что развитие политических и управленческих институтов в направлении развития горизонтальных связей с общественностью (*good governance* и иные аналогичные концепции) само по себе предполагает увеличение неформального компонента в выработке политики и принятии решений. Это делает изучение неформальности еще более перспективным, поскольку здесь кроются немалые риски для формальных институтов или справедливого доступа к общественным благам, а также присутствуют прочие недостатки, связанные с непубличностью и неформальностью.

Перечисленные выше определения в целом достаточно хорошо описывают спектр представлений о неформальном управлении, равно как и ключевые его признаки: неписаный характер правил, непубличность исполнения, бо́льшая степень влияния на принятие решений, местоположение вне формальных институтов. Несмотря на выделение этих параметров, предмет изучения все еще остается весьма расплывчатым, не имеющим четких рамок, поскольку хотя неформальные отношения складываются вне правового поля, тем не менее они не всегда имеют

---

[1] В качестве образовательной дисциплины «Неформальное управление» (в контексте политических отношений) не получило большого распространения. Пока, насколько нам известно, такой курс преподавался в Лондонской школе экономики, не получив, впрочем, большой популярности среди студентов. URL: https://www.lse.ac.uk/resources/calendar2016-2017/courseGuides/EU/2016_EU473.htm.

[2] *Christiansen T., Neuhold C.* International Handbook of Informal Governance. Edward Edgar Publishing Limited. UK, 2011.

[3] Global Informality Project. URL: https://www.in-formality.com/wiki/index.php?title=Global_Informality_Project (accessed: 31.01.2023).

[4] *Helmke G., Levitsky S.* Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda // Perspectives on Politics. 2004. No. 2 (04).

[5] *Christiansen T., Neuhold C.* Op. cit.

[6] НГО — негосударственные организации.

[7] *Christiansen T., Neuhold C.* Op. cit..

незаконный характер, а их непубличность может не носить закрытый от общества характер. Например, неразвитость рынка труда и институтов занятости и гражданской службы будут создавать условия для клиентелизма, непотизма и кумовства просто потому, что они лучше обеспечивают интересы всех участников отношений. В свою очередь, коррупция, обеспечивая определенную мотивацию и выявляя общность интересов политико-административных групп, может играть роль «цемента», скрепляющего слабый политический порядок в условиях неработающих институтов. Это позволяет формировать более устойчивые (пусть они даже будут иметь и криминальную основу) системы профессионального отбора, мотивации и ответственности госслужащих по сравнению с коллективами, создаваемыми на основе формальных институтов и не имеющими понятной общей ценностно-идеологической базы.

Особое значение изучение неформального управления приобретает в условиях постколониализма и посткоммунизма. Здесь на первый план выходят такие явления, как неопатримониализм и «захват государства», специфические непубличные институты, обеспечивающие контроль за политическим классом в «опекунских демократиях» (*tutelary democracies*), таких, например, как «глубинное государство» в Турции. Это дает возможность для диверсификации исследований в региональном и цивилизационном аспектах.

В целом содержание «неформального управления» как отрасли знаний формируется вокруг ответов на основные вопросы: чем отличаются и как взаимодействуют между собой формальные и неформальные институты и практики; каковы общие принципы и механизмы работы неформального управления; в чем заключается конкретная (цивилизационная, национальная, региональная) специфика неформальных практик и институтов, чем она вызвана, как она влияет на состояние общественно-политических процессов (конструктивно, деструктивно, нейтрально) и что с ней можно сделать? При этом если первые два вопроса диктуют в основном теоретико-концептуальные ответы, то последний ориентирует на прикладной.

Для поиска ответа на *первый* вопрос хорошо подходят теоретические конструкции М. Брие и Э. Стелтинга, а также Хелмке и Левицки. Так, первые двое ученых предлагают четкую объяснительную модель для разграничения формальных институтов и неформальных практик (табл. 1), а также схему оценивания конкурентоспособности их между собой на основе оценки транзакционных издержек (рис. 1)[1].

Как видно на рис. 1, неформальные институциональные соглашения можно сравнить с гражданско-правовыми договорами: как только стороны достигли соглашения, можно действовать, так как нет потребности в посреднике или регуляторе. Все работает хорошо, пока между участниками сделки есть доверие и взаимопонимание. Но как только оно исчезает (например, при росте количества участников, увеличении горизонта времени и т.д.), неформальные соглашения начинают проигрывать формальным институтам с точки зрения транзакционных издержек. Таким образом, неформальные институциональные соглашения хорошо работают в небольших сообществах, четко ограниченных территориально, этнически, религиозно, профессионально или иным образом, но плохо подходят для больших,

[1] *Brie M., Stoelting E.* Formal Institutions and Informal Institutional Arrangements // International Handbook of Informal Governance / T. Chrisiansen, C. Neuhold (eds). Edward Edgar Publishing Limited. UK, 2011.

*Таблица 1*

**Разграничение формальных институтов и неформальных институциональных практик**

| | **Формальные институты** | **Неформальные институциональные соглашения** |
|---|---|---|
| Необходимость приведения в исполнение третьей стороной | Да | Нет |
| Зависимость от конкретного социального контекста | Низкая | Высокая |
| Зависимость от конкретных персоналий и межличностных связей | Низкая | Высокая |
| Универсальность | Высокая | Низкая |
| Инклюзивность | Каждый, кто задает определенную институциональную функцию, будет включен | Включенность зависит от конкретных личных связей и межличностных взаимодействий внутри сообществ |
| Кому доверяют? | Институтам | Людям и межличностным связям |
| «Язык» связей | Формальные права и обязанности | Межличностные требования и обязательства |
| Общество представляет собой | Сеть формальных правил | Сеть межличностных связей |
| Главенствующая форма социального разграничения | Функциональное разграничение | Сегментное разграничение |

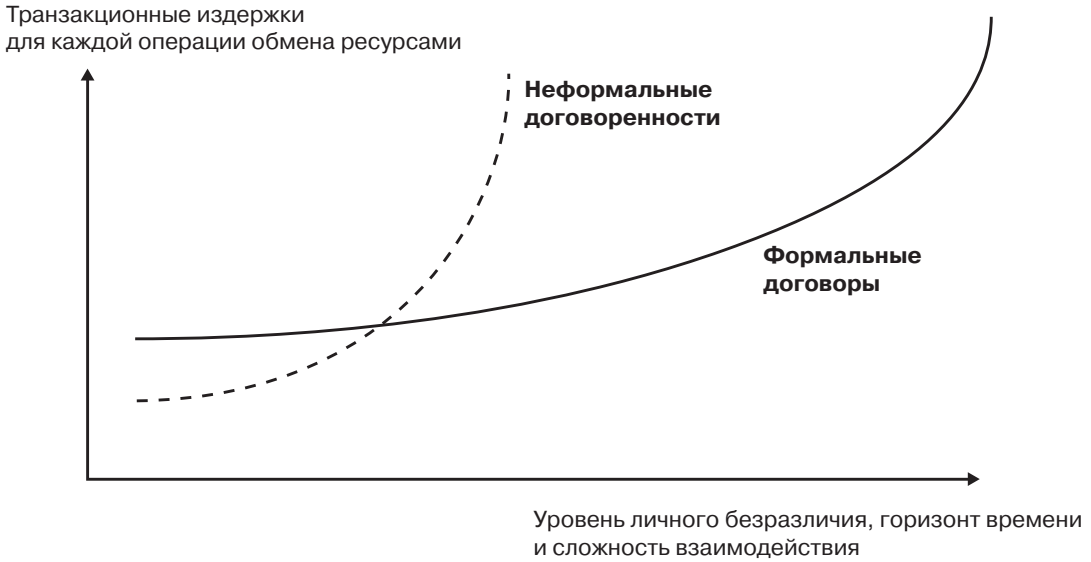


**Рис. 1.** Соотношение издержек и выгод при использовании формальных институтов и неформальных институциональных практик

сложных и многоукладных обществ, таких, например, как российское, где формальные институты будут объективно более востребованными.

Хельмке и Левицки дают базовую матрицу взаимодействия между формальными и неформальными институтами (табл. 2).

*Таблица 2*

**Типология неформальных институтов с точки зрения их взаимоотношения с формальными институтами**

| Результаты | Формальные институты эффективны | Формальные институты неэффективны |
|---|---|---|
| Способствующие | Дополняющие | Заменяющие |
| Противодействующие | Приспосабливающиеся | Соперничающие |

Можно заметить, что далеко не все неформальные институты играют негативную роль по отношению к институтам формальным. В некоторых случаях они могут дополнять их и компенсировать недостатки (например, самоорганизация людей в очередях в виде составления «списка очереди») или подменять собой формальные институты, если они неэффективны с социальной точки зрения (например, когда телефонный звонок «нужному человеку» позволяет решить проблему, замещая цепочки бюрократических согласований). Однако они могут и противостоять формальным институтам в мягкой форме (например, в виде адаптации к антикоррупционным требованиям) или соперничать с формальными институтами (когда организованная преступность или действия «глубинного государства» направлены против формальных органов власти). Понимание таких вариаций позволяет оценивать эффективность формальных институтов, совершенствуя их деятельность и переводя отдельные практики из неформальных в формальные. При этом основными критериями для такого перевода становятся этичность и законность. В этом контексте А. Леденева дает понимание соотношению моральности (этичности) и законности (легальности) в различных неформальных практиках, которые формируют «серые зоны» легального, но неэтичного и иллегального, но этичного (табл. 3).

*Таблица 3*

**Соотношение моральности (этичности) и законности (легальности) в неформальных практиках**

| | Законные | Незаконные |
|---|---|---|
| Моральные | **A**<br>Неформальные практики, оказывающие содействие формальным институтам и полностью социально приемлемые | **B**<br>Криминализованные неформальные практики, считающиеся социально приемлемыми в определенных сообществах |
| Аморальные | **C**<br>Формально законные неформальные практики, являющиеся морально неприемлемыми или сомнительными | **D**<br>Криминализованные неформальные практики, которые являются полностью социально неприемлемыми |

Основу предмета изучения в рамках «неформального управления» составляют практики, относящиеся к квадратам B и C. Изменения в них могут быть весьма радикальными, особенно в переходных обществах. Например, «спекуляция», будучи уголовно наказуемой в советское время, стала юридически поощряемой в постсоветский период. Однако морально-этическое отношение к этой деятельности менялось не так быстро, что до настоящего времени отражается в дискуссии по поводу криминализации и наказания в отношении так называемых «экономических составов преступлений».

*Второй* вопрос хорошо освещается описанием модальностей неформального управления[1]. Три основные модальности, выявленные в ходе сравнительных межстрановых исследований, формируют комплекс отношений неформального управления: кооптацию, контроль и камуфляж. В отличие от инструментов формального управления, инструменты кооптации и контроля могут действовать не только «сверху вниз» («клиентелизм», «кормление»), но и «снизу вверх» (зависимость от ключевых и наиболее мобилизованных социальных групп, «новый трайбализм»), а также в горизонтальном измерении («круговая порука»), создавая значительно более тесные и устойчивые связи между участниками отношений. Инструменты камуфляжа позволяют скрывать признаки наличия неформальных отношений от непосвященных участников, в том числе от вышестоящего руководства («потемкинские деревни», «приписки», «очковтирательство»), вплоть до того, что они могут не догадываться об их существовании.

*Третий* вопрос наиболее подробно представлен в научных исследованиях, где отражается национальная специфика многих стран, регионов и даже глобальных институтов. Среди наиболее интересных страновых кейсов, отражающих многообразные подходы в изучении отечественных неформальных явлений[2], особый интерес представляет модель А. Леденевой, утверждающей наличие в России неформального «мегаинститута» («Системы»), определяющего характер функционирования всей политико-административной среды[3]. Примерно в таком же русле находятся и усилия ученых по описанию «глубинного государства» в Турции. Так, в работе М. Сейлера дается историческая ретроспектива формирования тайных обществ, заговоров и военных переворотов, составивших основу «глубинного государства» в Турции, которое — во взаимодействии с организованной преступностью — не только оказывало влияние на общественно-политические процессы, но и предупреждало отклонения от сделанного им выбора политического курса[4]. Среди иных региональных кейсов наиболее интересным является кейс неформального управления в ЕС[5].

В настоящее время самостоятельным направлением внутри «неформального управления» (*Informal Governance in World Politics*) становится и изучение *механизмов неформального управления в мировой политике*. В этом контексте исследователями отмечается троякая тенденция: рост неформальности институтов (возникновение новых неформальных институтов), рост неформальности внутри ранее существовавших формальных институтов, а также рост неформального управле-

---

[1] *Baez-Camargo C., Ledeneva A.* Where Does Informality Stop and Corruption Begin? Informal Governance and the Public/Private Crossover in Mexico, Russia and Tanzania // Slavonic and East European Review. 2017. No. 95 (1). URL: https://edoc.unibas.ch/65764/.

[2] *Афанасьев М.Н.* Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. 2-е изд. М.: Московский общественный научный фонд, 2000; *Патрушев С.В.* Кликократия как институциональная проблема российской модернизации // Власть и политика: институциональные вызовы XXI века. М.: Политическая энциклопедия, 2012; *Соловьев А.И., Миллер Т.В.* Латентная сфера политики: версия теоретической идентификации // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 63 и др.

[3] *Ledeneva A.* Unwritten Rules. How Russia Really Works. URL: https://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/e246_unwritten_rules-2203.pdf.

[4] *Söyler M.* Informal institutions, forms of state and democracy: the Turkish deep state // Democratization. 2013. No. 20. P. 2.

[5] *Chrisiansen T., Piatotti S.* Informal Governance in the European Union. Edward Edgar Publishing Limited. USA, 2003.

ния за пределами формальных институтов[1]. Так, относительно роста неформальности институтов отмечается увеличение численности неформальных межправительственных институтов (*International Intergovernmental Organizations, IIGO*), таких как *G7*, *G20*, Базельский комитет по банковскому надзору[2], а также возникновение транснациональных государственно-частных управленческих инициатив (*Transnational Public-Private Governmental Initiatives, TGI*), численность которых за последние десятилетия увеличилась с нескольких десятков в 1990-х годах до более чем пяти сотен к началу 2020-х годов[3].

Что касается роста неформальности внутри формальных институтов, то чаще всего отмечается рост влияния на этот процесс, развивающийся внутри глобальных институтов (таких, как Всемирный банк), со стороны США, активно использующих неформальные инструменты[4]. В свою очередь, рост неформальности за пределами формальных институтов довольно подробно описывается в литературе в виде явлений так называемого «третьего ООН» или сети трансправительственных сетей (в том числе сетей представительства интересов, эпистемических сообществ и других явлений), которые чаще всего вообще никак не институционализированы или даже намеренно поддерживаются в латентном состоянии.

С точки зрения академических дискуссий, посвященных неформальному управлению, можно утверждать, что поскольку соответствующие теории относятся к среднему уровню (не предполагающих фундаментальных теоретических открытий, но обладающих хорошим объяснительным потенциалом за счет развитого междисциплинарного аппарата при условии корректного сбора и анализа данных), то стоит ожидать увеличения как страновых, так и международных кейсов. Впрочем, такие исследования являются наиболее сложными с учетом специфики предмета исследования, сближающие их с рисками журналистов-расследователей и сотрудников следственных органов. Помимо естественных криминальных и правовых рисков, которые сопровождают такого рода деятельность, эти исследования являются чрезвычайно трудоемкими, требующими корректного комбинирования эмпирических данных с рациональными формами обобщения и систематизации полученной информации.

Все сказанное подчас делает изучение неформального управления малопривлекательным с научной точки зрения, ибо здесь высоки издержки, а результаты могут выглядеть весьма сомнительными, провоцирующими неоднозначную реакцию. Этим, скорее всего, и объясняется относительно невысокий, хотя растущий в последние два десятилетия, интерес к данной проблеме. Он может поддерживаться извне — за счет соответствующих грантов на исследования, но и в этом случае издержки неизбежны: речь идет о заказчике и его мотивах. Например, исследование неформальных практик по заказу/гранту, выданному зарубежной или транснациональной организацией, может быть по-разному истолковано политическими властями исследуемой страны.

---

[1] *Westerwinter O., Abbot K., Biersteker T.* Informal Governance in World Politics // The Review of International Organizations. 2021. No. 16. P. 1–27. URL: https://doi.org/10.1007/s11558-020-09382-1; URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11558-020-09382-1 (accessed: 31.01.2023).

[2] The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Официальный сайт. URL: https://www.bis.org/bcbs/index.htm.

[3] *Westerwinter O., Abbot K., Biersteker T.* Op. cit.

[4] Ibid.

Логичным шагом было бы сделать ставку на междисциплинарность и вводить «неформальное управление» в состав учебных планов ряда смежных специальностей: журналистики, криминологии, иных социальных и общественных наук. Это позволило бы идентифицировать неформальные практики в качестве сопутствующих или даже побочных продуктов других научных исследований. В любом случае было бы полезным собирать информацию об этом предмете для целенаправленного изучения этих практик (например, в рамках специального исследовательского комитета Российской ассоциации политической науки).

*М.В. Вилисов*

**Литература**


1. Господство против политики: российский случай / Отв. ред. С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова. М.: РОССПЭН, 2019. — 318 с.
2. *Барсуков С.Ю.* Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. — 213 с.
3. *Коньков А.Е.* Латентное пространство публичной политики в современном государстве: в поисках теоретической модели. М.: Аргамак-Медиа, 2021. — 224 с.
4. *Соловьев А.И.* Политика и управление государством. Очерки теории и методологии, М.: Аспект Пресс, 2021. — 253 с.
5. *Baez-Camargo C., Ledeneva A.* Where Does Informality Stop and Corruption Begin? Informal Governance and the Public/Private Crossover in Mexico, Russia and Tanzania // Slavonic and East European Review. 2017. No. 95 (1). P. 49–75. URL: https://edoc.unibas.ch/65764/.
6. *Brie M., Stoelting E.* Formal Institutions and Informal Institutional Arrangements // International Handbook of Informal Governance / T. Chrisiansen, C. Neuhold (eds). Edward Edgar Publishing Limited. UK, 2011. — 584 p.
7. *Chrisiansen T., Neuhold C.* International Handbook of Informal Governance. Edward Edgar Publishing Limited. UK, 2011. — 584 p.
8. *Chrisiansen T., Piatotti S.* Informal Governance in the EuropeanUnion. Edward Edgar Publishing Limited. USA, 2003. — 286 p.
9. The Global Encyclopedia of Informality. 2 vols., London: UCL Press. Understanding Social and Cultural Complexity Volume 2 Edited by A.Ledeneva with A. Bailey, S.Barron, C. Curro and E.Teague. 2018. — 538 p.
10. Global Informality Project. URL: https://www.in-formality.com/wiki/index.php?title=Global_Informality_Project (accessed: 31.01.2023).
11. *Helmke G., Levitsky S.* Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda // Perspectives on Politics. 2004. No. 2 (04). P. 725–740. DOI: 10.1017/s1537592704040472.
12. *Ledeneva A.* Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance. L.: Cambridge University Press, 2013. — 313 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511978494.
13. *Ledeneva A.* Unwritten Rules. How Russia Really Works. URL: https://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/e246_unwritten_rules-2203.pdf.
14. *Söyler M.* Informal institutions, forms of state and democracy: the Turkish deep state // Democratization. 2013. No. 20 (2). P. 310–334. DOI: 10.1080/13510347.2011.650915.
15. *Westerwinter O., Abbot K., Biersteker T.* Informal Governance in World Politics // The Review of International Organizations. 2021. No. 16. P. 1–27. URL: https://doi.org/10.1007/s11558-020-09382-1; URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11558-020-09382-1 (accessed: 31.01.2023).

# Ойкофобия*

Сегодня существует немало фактов, свидетельствующих о кризисных явлениях в современной западной цивилизации, выраженных в массовых протестах, широких общественных дискуссиях, свидетельствующих о нарастающем недоверии граждан к политическим и общественным институтам, культуре, социальному укладу и историческому прошлому США, Канады и ряда европейских государств. Одним из знаковых выражений этих кризисных явлений стала нарастающая волна протестов и вандализма, направленная против исторических памятников, скульптур, материальных артефактов прошлого, воспринимаемых участниками этих действий как символическое воплощение пороков и преступлений — таких, как расизм, колониализм, империализм — предыдущих поколений и развенчанных (ими) кумиров прошлого[1]. Наибольших масштабов и интенсивности кампания против собственного прошлого достигла в США, где уже к осени 2020 г. были снесены или перемещены в другое место более сотни исторических объектов, увековечивавших память о событиях и персонажах эпохи Гражданской войны и Войны за независимость[2].

Между тем борьба с памятниками — лишь вершина айсберга, воплощающего различные формы борьбы с собственным историческим прошлым, охватившей в последние годы ведущие страны Запада. В их числе:

— кампании по переименованию общественных объектов (учебных заведений, больниц, библиотек, театров, скверов и парков, городских улиц и площадей и т.д.), названия которых воспринимаются как оскорбительные и неуместные теми или иными меньшинствами[3];
— практика специальной маркировки (а порой изъятия из публичного доступа) классических литературных и художественных произведений, фильмов и иных предметов культурного наследия, содержащих якобы оскорбительные либо неприемлемые, с точки зрения различных меньшинств, идеи и образы[4];
— инициативы по «деколонизации» содержания учебных планов и дисциплин, преподаваемых в учебных заведениях, предполагающие включение в них персоналий и предметов изучения, имеющих отношение к куль-

---

* В работе использованы материалы статьи автора «Ойкофобия и кризис современной западной цивилизации» // Полис. Политические исследования. 2024. № 3.

[1] Tensions rise over race and heritage as more statues are attacked Ed. by N. Parveen, R. Tait, D. Sabbagh and V. Dodd // The Guardian. June 2020. Thu 11. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/11/fears-of-violence-stop-london-racism-protest-as-statue-attacks-continue.

[2] Over 100 Confederate Symbols Have Been Removed Or Renamed Since Cops Killed George Floyd. Mathias, Christopher // Huffington Post. 2020. October 14.

Активисты борьбы с собственным прошлым не пощадили и первооткрывателя Америки Христофора Колумба: по меньшей мере 33 его статуи были снесены только за первые три месяца протестов на основании обвинений в причастности к массовому геноциду коренного населения обеих Америк (Dozens of Christopher Columbus statues have been removed since June by Christopher Brito // CBS News. 2020. September 25. URL: https://www.cbsnews.com/news/christopher-columbus-statue-removed-cities/).

[3] Entire London suburb could be 'cancelled' amid row over slavery links by Asher McShane // LBC. 23 March 23. URL: https://www.lbc.co.uk/news/london-suburb-cancelled-row-slavery-links-tulse-hill/.

[4] The Coddling Of The American Mind By Greg Lukianoff and Jonathan Haidt // The Atlantic. September 2015. URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/.

турному и историческому наследию расовых и этнических меньшинств, за счет соответствующего устранения всего того, что так или иначе вызывает ассоциации с идеологией и практикой их угнетения и дискриминации[1].

Очевидным трендом последних десятилетий в Западной Европе и Северной Америке становится обучение подрастающих поколений их национальной истории, представленной в качестве бессмысленного набора позорных и кровавых страниц, в отношении которых можно испытывать только чувство стыда. При этом затушевываются наиболее значимые исторические события, подлинные достижения национальной культуры, искусства, литературы, образующие национальное достояние и наследие. Обычаи, местные традиции и национальные церемонии подвергаются систематическому и жесткому критицизму, формирующему иррациональное отторжение всего, что имеет отношение к национальной идентичности.

Между тем в поисках некоего общего, сущностного начала, в отношении которого все перечисленное выше является лишь частными проявлениями, научная мысль все чаще обращается к малоизвестной, но устойчиво набирающей популярность в академической и интеллектуальной среде категории — *ойкофобии*.

Этимология этого термина (также «*экофобия*») имеет греческое происхождение, где *oikos* означает домовладение, отчий дом, семью (*oikonomia* — экономика и даже домоводство), а *phobia* — навязчивый страх, не пропорциональный фактической угрозе. В психиатрии термин «ойкофобия» понимается как навязчивое состояние страха, неприязни в отношении своего дома либо отдельных его помещений, элементов декора, предметов домашнего обихода и т.д.[2] В узком, клиническом значении указанный термин получил распространение в XIX в. В работе «Патология эмоций» (1899) французский невролог Ч. Фере определяет ойкофобию как психическое состояние человека, испытывающего острое «нежелание возвращаться домой»[3]. В психологии симптомы ойкофобии считаются «нормальными» в подростковом периоде жизни человека, когда психика обычно формируется естественным образом[4]. Однако проявления ойкофобии во взрослом возрасте воспринимаются иначе, причем особенно когда они проявляются в сферах, не ограниченных чисто психологическими, поведенческими реакциями и затрагивают области культуры и политики.

Сегодня термин приобрел расширенное толкование, выходящее далеко за границы клинической практики. При этом *oikos* представляется синонимичным таким словосочетаниям, как отчий дом, отечество, родина, родной очаг и т.д. Именно в таком толковании *ойкофобия* и представляет интерес для современных политологов[5]. Прежде всего, исследующих процессы идентификации. В этой связи уместно

---

[1] Only a fifth of UK universities say they are ‘decolonising’ curriculum by David Batty // The Guardian. June 2020. Thu 11.

[2] *Campbell R.J.* Psychiatric Dictionary: The Definitive Dictionary of Psychiatry Oxford. L.: Oxford University Press, 2009. P. 690.

[3] *Féré C.* The Pathology of Emotions: Physiological and Clinical Studies. L.: Oxford University Press, 1899. P. 364.

[4] *Bryk A.* (ed.). Krakowskie Studia Międzynarodowe 2008/1: The United States, the European Union and Modernity. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. 2008. P. 127.

[5] Отметим одновременно, что в расширенной трактовке *ойкофобия* входит в лексикон многих жанров литературы, в том числе не имеющих прямого отношения к академической сфере. Так, еще в 1808 г. английский поэт и эссеист Р. Саути опубликовал свои «Письма из Англии», где он с изрядной долей иронии упоминает ойкофобию как свойственную англичанам страсть при первой же воз-

вспомнить, что Дж. Оруэлл в эссе «Англия, твоя Англия»[1] в 1941 г. писал о присущем многим английским интеллектуалам левого толка ощущении, «будто есть нечто постыдное в том, что ты Англичанин, и потому ты обязан с пренебрежением отзываться о всякой Английской традиции, будь то лошадиные скачки или жирный пудинг»[2].

Принято считать, что в научный оборот расширенную трактовку термина, созвучную актуальным противоречиям современного общества, в 1993 г. ввел британский консервативный философ Р. Скратон[3], который диагностировал симптомы ойкофобии в современном ему европейском политическом и культурном контексте. Ученый определил ойкофобию как «отторжение (*repudiation*) своего наследия и отчего дома». Он утверждал, что это этап, через который сознание обычно проходит естественным образом в процессе взросления, однако для некоторых, прежде всего представителей левацких политических идеологий и течений, оно остается определяющим, принимая форму «*ксенофилии*», то есть «любви к чужим»[4]. Иначе говоря, если ксенофобия — это страх перед «*другим*» («*чужим*»), то ойкофобия — это страх перед «*своим*», «*нашим*», перед собственным культурным наследием и идентичностью, неприязнь ко всему, что олицетворяет местоимение «*Мы*». Однако если ксенофобии могут быть подвержены все классы и социальные группы, то ойкофобия поражает главным образом интеллектуалов, людей культуры, полагает британский философ.

«Проповедники мультикультурализма, — утверждает Р. Скратон, — воспринимают «свое», унаследованное ими как чуждое; они выпали из процесса коммуникации со своим наследием и отвергают всякую претензию на связь с ним. Другими словами, они склонны воспринимать свой дом как нечто *Чужое*, конструируя стереотип, как бы освобождающий их от всяких обязательств перед ним»[5]. Развивая свои мысли о предмете исследования в работе «Англия и потребность в нациях»[6], Скратон интерпретирует ойкофобию как жгучую смесь иррационального отторжения традиционной английской культуры (проявившегося во второй половине XX в.) и высокомерного презрения ко всяким проявлениям национальной лояльности, необходимым для существования всякого здорового общества, однако подвергаемым систематической демонизации в наше время[7].

Констатируя, что распространение ойкофобии в западной элите вселяет уверенность в тех, кто полагает, что национальное государство не жизнеспособно и неизбежно должно уступить место суверенитету иного рода, Скратон полемизирует с идеями мирового правительства, глобального гражданства и другими концепциями глобального универсализма, в том числе и с идеями современных ему британских ученых Ф. Боббита[8] и Дж. Монбиота[9]. В 2006 г., выступая перед акти-

---

можности покинуть отчий дом и предаться приключениям и путешествиям по экзотическим местам (*Southey R.* Letters from England. L.: David Longworth, 1808. — P. 157). В романтической трактовке Р. Саути этот термин становится синонимом авантюризма и неудержимой страсти к приключениям.

1 *Orwell G.* The Lion and the Unicorn: Socialism and the English Genius. L.: Searchlight Books, 1941.

2 Ibid.

3 *Scruton R.* Oikophobia // The Journal of Education. 1993. Vol. 175. No. 2. P. 93–98.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 *Scruton R.* England and the Need for Nations. L.: St Edmundsbury Press, 2004.

7 Ibid.

8 *Bobbit. P.* The Shield of Achilles. N.Y., L., 2001.

9 *Monbiot G.* The Age of Consent. L., 2003.

вом бельгийской популистской партии *Vlaams Belang* (*VB*) в Антверпене[1], Скратон развил свою мысль о фундаментальном праве наций защищать свою культурную идентичность. Ключевой категорией в этом выступлении стала «принадлежность»: «Всякое общество в своем существовании зависит от опыта принадлежности: ощущения того, кто "*мы*" есть, почему мы вместе, что общего между нами... Посягательства на это "местоимение первого лица множественного числа" несут угрозу атомизации общества, когда люди утрачивают представление о каких-либо обязательствах в отношении ближнего и скатываются к расхищению накопленного общего благосостояния при первой же возможности»[2]. Возвращаясь к этой теме уже в контексте референдума 2016 г. о выходе Великобритании из ЕС, Скратон характеризует сторонников выхода как тех, кто «проявляет свою приверженность старым формам коллективной идентичности — национальному "*мы*"», в противоположность сторонникам сохранения членства в ЕС, которые идентифицируют себя с «глобальным, обращенным вовне проектом, главной целью которого является уничтожение наций»[3].

Расширенное понимание ойкофобии, предложенное Роджером Скратоном, вызвало широкую полемику, спровоцировав ряд критических отзывов, выявляющих спорные места в аргументации британского философа и его последователей. Основные линии критики сводятся к следующим позициям[4]:

— термин *oikos* апеллирует к эмоциональным и оценочным коннотациям слова «дом». Эффект такого приема значителен, поскольку не так просто отвергнуть убежденность в том, что есть нечто проблематичное в нелюбви или, по крайней мере, отсутствии симпатии к родному дому;
— вводя в дискурс термин «ойкофобия», Скратон и его последователи пытаются патологизировать и дискредитировать тех, кто видит свое призвание в выявлении дискриминационных практик в своих сообществах, кто клеймит предрассудки и дискриминацию как форму социальной и психологической дисфункции. Отождествляя тем самым всякую критику, противодействие или радикальное отрицание определенных аспектов общества, в котором ты живешь, с патологической неспособностью чувствовать себя дома в привычном окружении;
— произвольное использование личных местоимений множественного числа («наша страна», «наша цивилизация») предполагает исключение из числа «нас» всякого, кто не разделяет авторское представление о «нашей стране». Такой прием призван усилить «некритическое чувство причастности»[5], подрывая тем самым возможность формирования своего рода «критиче-

---

[1] «Roger Scruton on Immigration, Multiculturalism and the Need to Defend the Nation State» // The Brussels Journal, 24/06/2006. URL: https://www.brusselsjournal.com/node/1126.

[2] Ibid.

[3] *Scruton R.* Brexit will restore a proper sense of patriotism // The Times. November 17 2017. URL: https://www.thetimes.co.uk/article/brexit-will-restore-a-proper-sense-of-patriotism-wsqjlqwqh.

[4] *Suissa J.* Oikophobia and Not Being at Home; Educational Questions // Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 2021. Vol. 42. Issue 6.

[5] См.: *Hand M.* Should we promote patriotism in schools? // Political Studies. 2011. No. 59 (2). P. 328–347; *Keller S.* The Case Against Patriotism // J. Kleinig, S. Keller and I. Primoratz (eds). The Ethics of Patriotism. Oxford: Wiley Blackwell, 2015; *Osler A.* Citizenship Education, Inclusion and Belonging in Europe: Rhetoric and Reality in England and Norway // James A. Banks (ed.). Citizenship Education and Global Migration; Implications for Theory, Research, and Teaching. AERA, 2017.

ского патриотизма»[1], который необходим, как полагают многие, для гражданского демократического образования;

— постулируя взаимосвязь между идеей устойчивой национальной и культурной идентичности и «потребностью в принадлежности», Скратон и его последователи навязывают представление о существовании некоторой психологической потребности там, где на самом деле мы видим идеологическую позицию;

— защита Скратоном «Английского уклада вещей» и его риторическая апелляция к «нашей культуре» подвергались критике со стороны многих авторов, так или иначе разделяющих представление о «радикальной гибридности» и «полифоничности» любых культур[2].

Вместе с тем предложенная Скратоном трактовка ойкофобии была подхвачена рядом американских и европейских политических мыслителей и публицистов в контексте критики свойственного либеральным элитам отторжения традиционной западной культуры. Так, итальянский философ С. Пупо полагает, что ойкофобом следует признать того, кто живет в страхе перед всем, что так или иначе вызывает в его сознании ассоциации с местоимением *«Мы»* и неразрывно связанными с ним такими концептами, как *общность*, *нация*, *идентичность*, которые в его восприятии стоят в одном ряду с *расизмом*, *шовинизмом*, *ксенофобией*. Пупо пишет: «Ойкофоб с готовностью навешивает ярлыки расиста, шовиниста и ксенофоба на всякого, кто демонстрирует приверженность и лояльность нации. Ойкофоб не признает ценность нарративов, образующих историю нашей страны во всей ее полноте и потому обладающих нравственной и политической ценностью»[3].

В центре внимания американского философа и публициста Бенедикта Бекельда (*Benedict Beckeld*) «западная цивилизация, утратившая веру в саму себя, ненавидящая себя, и потому лишенная воли защищать собственные ценности личной свободы, демократии, научного и академического скептицизма, данные нам от века веков»[4]. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос, по мнению автора, сокрыт в «повторяющемся историческом процессе, который ведет общество от наивной и начальной самоуверенности к упадку и самоуничижению»[5].

В свою очередь Б. Бекельд полагает, что если попытаться представить этот процесс в упрощенном виде, то можно сказать, что вначале народ, сравнительно нецивилизованный и некультурный, однако обладающий высокой мобильностью, пробуждается и начинает вести войны во славу своих богов. В этих условиях выковывается национальная идентичность, со всеми присущими ей эпическими и культурными элементами. Наконец, народ достигает пика своего могущества и успеха, и эта золотая эра величайшего политического могущества, как правило, совпадает с пиком национальных достижений в области культуры и науки. При этом уровень накопленного благосостояния и власти правящего класса оказывается таким, что обогащение за счет перераспределения благ между членами данного сообще-

---

[1] *Merry M.* Critical Patriotism // Mitja Sardoc (ed.). Handbook on Patriotism. Springer, Cham, 2020.

[2] *Benhabib S.* The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. Princeton University Press, 2002; *Sen A.* Identity and Violence; The Illusion of Destiny. Penguin, 2006.

[3] *Pupo S.* Oikophobic prejudice against nation in the contemporary political thought. The Italian case // Notizie di Politeia. January 2015. P. 3–22.

[4] 'Oikophobia': Our Western Self-Hatred. By B. Beckeld // Quillette Newsletter. 2019. October 7. URL: https://quillette.com/2019/10/07/oikophobia-our-western-self-hatred/.

[5] Ibid.

ства становится более привлекательным, чем достижение этого за счет общего роста благосостояния всего сообщества[1]. Именно здесь, согласно его логике, зарождается ойкофобия. Формируются конфликтующие интересы внутри сообщества, воспринимающие друг друга как большее зло в сравнении с внешними угрозами. Поскольку при этом внешний враг, как правило, успешным образом нейтрализован, он уже не может играть прежнюю объединяющую роль, выступая в качестве объекта самоутверждения нации в своем превосходстве. Однако природа человека как таковая нуждается во враге в целях самоидентификации, и так рождается новый, на этот раз внутренний враг[2].

Другими словами, согласно Бекельду, ойкофобия появляется там и тогда, где и когда цивилизация достигает пика в своем развитии и переходит в стадию упадка — что соответствует Афинам конца V в. до н.э., Риму периода ранней Империи, Франции середины XVIII в., Британии в поздний Викторианский период и Соединенным Штатам после Второй мировой войны[3].

Таким образом, Б. Бекельд предпринимает интригующую попытку вписать феномен ойкофобии в классическую историко-философскую модель «цивилизационного цикла», восходящую своими истоками к трудам Данилевского, Тойнби и Гумилева. Также не составляет труда обнаружить здесь мотивы, созвучные идеям К. Шмитта. Так или иначе, концепция Бекельда представляет собой серьезную заявку на философское осмысление феномена ойкофобии, свободное от публицистических сюжетов и зарисовок, во многом присущих публикациям других авторов, работающих с данным концептом.

Следуя в русле концепции Б. Бекельда, логично предположить, что симптомы ойкофобии могут быть обнаружены в истории политико-философской мысли на различных этапах ее становления и развития. Так, большинство исследователей сходятся в оценке того, что наибольшие усилия в части распространения ойкофобии приложили представители Просвещения с его проектом универсализации этики и политики. Просвещенный «гражданин мира» воспринимает себя абсолютно свободным от любых традиционных, социальных, локальных, семейных обязательств, он живет в потоке событий, полностью оторванных от конкретной реальности и природы и проецируемых в некий горизонт «возможного» и «еще не наступившего».

Мироощущение модерна строится на образе будущего как радикального разрыва с прошлым и представлении о человеке, радикально эмансипированном от любой формы «принадлежности», способной ограничить его свободу, утверждает итальянский философ С. Пупо. Просвещение десакрализовало человеческое бытие, вырвав с корнем всякие его связи с преданием, традицией, социальным укладом, проложив путь для современного либерального мышления, ориентированного на проект «всеобщего Государства»[4].

Миф о «благородном дикаре», укоренившийся во французской литературе как результат эйфории Великих географических открытий XVI в., идеализировал

---

[1] The Dangers of Oikophobia by Benedict Beckeld // The American Conservative. 2022. March 26. URL: https://www.theamericanconservative.com/articles/the-dangers-of-oikophobia/.

[2] *Beckeld B.* Western Self-Contempt: Oikophobia in the Decline of Civilizations. Cornell University Press, 2022.

[3] The Dangers of Oikophobia by Benedict Beckeld. Op. cit.

[4] *Pupo S.* Oikophobic prejudice against nation in the contemporary political thought. The Italian case // Notizie di Politeia. January 2015. P. 3–22.

«жизнь в гармонии с природой» примитивных и нецивилизованных народов. Просвещенное общество XVIII в., воспитанное на критике «развращенной морали» современной ему социальной действительности, предавалось апологии экзотики любого вида, символизирующей для европейской цивилизации «*иного*». «Благородный дикарь» в глазах Руссо более добродетелен, чем современные европейцы, испорченные традициями, обычаями, нормами и т.д. За это утверждение Руссо, пожалуй, заслуживает титула первого ойкофоба в истории, утверждает С. Пупо[1].

Руссоизм постулирует превосходство *Иного* и его *инаковости*, закладывая тем самым основания своего рода гражданской и транснациональной религии, нового культа, который уже современный нам французский философ Пьер-Андре Тагиев назовет «*otherism*», имея в виду апологию многообразия (*diversity*) во всех его проявлениях. Этот «негативный социоцентризм» современной Западной цивилизации, как именует его Тагиев, постулирует моральное превосходство *иных* над нами, своего рода «*расизм наоборот*»[2].

С. Пупо подробно анализирует интеллектуальные истоки и исторические предпосылки ойкофобии в рамках итальянской школы политической мысли. Осознанное отчуждение либо безразличие к нации, ее истории, к коллективной памяти достаточно укоренено в итальянской интеллектуальной среде, традиционно враждебной ко всякой форме выражения национального «чувства», утверждает автор[3].

Итальянский историк Э. Лоджа, констатируя, что послевоенный период в истории Италии был отмечен размыванием идеи Отечества, ее дисквалификацией из новейшей истории страны, в поиске причин несостоятельности итальянской национальной идентичности приходит к утверждению, что именно крах фашистского режима совпал по времени с тем, что можно назвать «смертью итальянского Отечества»[4].

Лишь немногие журналисты, писатели и интеллектуалы находили в себе силы призывать соотечественников возродить хотя бы минимально возможную национальную гордость на фоне пережитого военного поражения и унижения Италии. Согласно Э. Бенцивенга, итальянские интеллектуалы ослеплены положением страны как культурной колонии и более не способны осмысливать и культивировать тот подлинно итальянский образ мысли, который восходит к Данте и Макиавелли, Бруно и Галилео, Вико и Леопарди, Пиранделло и Кроче, который произрастает на пересечении философии и литературы, логики и воображения и находит свое воплощение в «великолепном стиле» итальянской философии[5].

В свою очередь Э. Вест, анализируя истоки ойкофобии в британской интеллектуальной традиции, указывает на то, что их можно отследить со времен религиозных войн XVI–XVII вв. и Английской революции[6].

Впрочем, не только экстравагантные религиозные фанатики, но и вполне респектабельные представители британского мейнстрима не считали зазорным открыто солидаризоваться с внешними врагами своей нации, что Э. Вест (вслед за Р. Скратоном) считает конституирующим признаком политической ойкофобии. Так, многие

---

[1] *Pupo S.* Oikophobic prejudice against nation in the contemporary political thought. The Italian case // Notizie di Politeia. January 2015. P. 3–22.

[2] *Taguieff A.* Les contre-réactionnaires: Le progressisme entre illusion et imposture, Paris: Denoël, 2007.

[3] *Pupo S.* Oikophobic prejudice... Op. cit.

[4] *Galli della Loggia E.* L'identità italiana. Bologna: il Mulino, 1998. P. 157–159.

[5] *Bencivenga E.* Il pensiero come stile. Milano: Bruno Mondadori, 2008.

[6] "The 'Oikophobia' of the Right" by Ed West // Wrong Side of History. March 16. URL: https://edwest.substack.com/p/oikophobia-of-the-right?s=r.

деятели политики и искусства с восхищением приняли революционную Францию, даже когда ее тираническую личину уже невозможно было скрывать[1]. В свою очередь, в XX в. революционная Россия обрела поклонников из числа тех, кто был очевидным образом мотивирован неприязнью к Англии. Другие симпатизировали различным человеконенавистническим режимам, вплоть до революционного Ирана[2].

Э. Кауфманн в поисках истоков американской ойкофобии (предпочитая концепт «*асимметричного мультикультурализма*», сочетающего враждебность белых интеллектуалов к своей расовой группе и одновременно романтическое преклонение перед расовыми меньшинствами[3], отмечает, что этот феномен выкристаллизовался еще на рубеже XIX и XX вв. Тогда, как и сейчас, на рубеже XX и XXI вв., катализатором этих политических процессов явились мощные этнодемографические сдвиги в американском обществе, вызванные миграционными процессами. Уже в начале 1900-х годов прогрессивное движение, формирующееся вокруг влиятельных либеральных фигур (Дж. Дьюи, У. Джеймс, Дж. Адамс), начало ставить под сомнение идею о необходимости ассимиляции иммигрантов в доминирующую англосаксонскую протестантскую матрицу, которая до этого времени лежала в основании политики «плавильного котла».

В свою очередь, представители левомодернистского движения, известного как «Молодые интеллектуалы», в первой четверти XX в. ввели моду на просветительские экскурсии по этническим гетто Нью-Йорка, а также посещения джазовых выступлений в черном Гарлеме[4]. Экспрессивные и привлекающие внимание этнические культурные проявления противопоставлялись чопорной и скучной культуре англо-протестантского большинства, что оказалось особенно актуальным во времена сухого закона в США.

Б. Бекельд полагает, что одним из значимых интеллектуальных источников современной западной, в особенности пмериканской ойкофобии следует считать труды представителей Франкфуртской школы общественных наук[5]. Неотъемлемой частью этого подхода является стремление — позже подхваченное французскими постмодернистами — выявить, выделить, а значит, разоблачить доминирование всякого рода, которым та или иная группа могла обладать над другой. Коль скоро западная цивилизация маниакально воспринималась как история доминантных отношений между различными группами, из такого подхода вполне естественно вытекала и готовность отправить значительную часть западного наследия на свалку истории. Типичный образец такого подхода являет собой работа Г. Маркузе «Эрос и цивилизация»[6], в которой автор утверждает имманентно репрессивный характер западной культуры, которая должна быть отвергнута (в частности, за счет сексуального освобождения)[7].

---

[1] "The 'Oikophobia' of the Right" by Ed West // Wrong Side of History. March 16. URL: https://edwest.substack.com/p/oikophobia-of-the-right?s=r.

[2] Ibid.

[3] *Kaufmann E.* The Rise and Fall of Anglo-America. Harvard University Press, 2004.

[4] The 'Great Awokening' started a century ago. The 2020s are merely re-enacting the culture wars of the 1920s by E.Kaufmann // UnHerd. 2020. January 13. URL: https://unherd.com/2020/01/the-great-awokening-started-a-century-ago/.

[5] *Beckeld B.* Herbert Marcuse and the Left's Endless Campaign Against Western 'Repression' // Quillette Newsletter. 2022. March 2. URL: https://quillette.com/2022/03/02/herbert-marcuse/.

[6] *Маркузе Г.* Эрос и цивилизация. Философское исследование учения Фрейда / Пер. с англ. А. Юдина. Киев: ИСА, 1995.

[7] *Beckeld B.* Herbert Marcuse and the Left's Endless Campaign Against Western 'Repression...

В работе «Одномерный человек»[1] Маркузе, формулируя идею «Великого Отказа», или тотального неприятия Системы и ее ценностей, прямо указывает на то, что роль трансформирующего исторического фактора не способны взять на себя классы, интегрированные системой, в том числе рабочий класс. Ведущую роль в разрушении существующего общества способны сыграть лишь те, кто свободен от его интеграции, кто самим своим социальным положением предрасположен к отказу от всяких традиционных форм принадлежности. Это — изгои и аутсайдеры, отверженные, чужаки, эксплуатируемые, преследуемые национальные меньшинства, безработные и неработоспособные, жаждущие положить конец невыносимым условиям своего существования. Таким образом, Маркузе и другие представители Франкфуртской школы делают политическую ставку на *иного* в качестве тарана, идущего в авангарде антисистемного протеста.

В свою очередь М. Дули полагает, что ойкофобия как установка, присущая современному академическому дискурсу, сформировалась благодаря трудам Ж. Деррида и М. Фуко с их «атакой на буржуазное общество, принимающей форму своего рода “анти-культуры”, выбравшей своими объектами критики священные и сакральные компоненты культуры, воспринимаемые как репрессивные и обусловленные властными отношениями»[2]. «Деррида — классический ойкофоб, — утверждает М. Дули, — постольку, поскольку он отвергает любовь к отчему дому, которой пронизаны теологические, политические и литературные традиции Запада... его деконструкция имеет своей целью заблокировать доступ к этому “базовому опыту” принадлежности, пытаясь заменить его оторванным от корней существованием, в основании которого лежит “ничто”»[3]. Эта крайняя форма отвращения ко всему сакральному и стремление разорвать всякую связь между сакральным и западной культурой характеризуется автором как основополагающий мотив ойкофобии. Между тем парадокс ойкофобии заключается в том, что приветствуется любая альтернатива, противостоящая теологической и культурной традиции Запада, даже если такая альтернатива, в свою очередь, «намного более парохиальна, патриархальна, нетолерантна и этноцентрична»[4].

В этой связи актуальным примером ойкофобии следует считать труды некоторых яростных критиков евро-атлантической идентичности, в последние десятилетия обогативших область постколониальных исследований тезисами о том, что на европейцах лежит груз «вины» за свое колониальное прошлое, вины, которая до сих пор не искуплена. Представители этого течения современной политической мысли представляют времена и практики колониализма и работорговли как основополагающий фактор, сформировавший современное западное общество, выстроенное на фундаменте жестокой эксплуатации недочеловеков, варваров, рабов, исторических неудачников, всех тех, кому это общество в наши дни обязано дать право быть услышанными, дабы оно могло достигнуть желаемого состояния многообразия, в противоположность уникальности, характерной для интеллектуальной традиции эпохи Модерна.

Так, Э. Сейд, один из наиболее заметных представителей постколониальной школы, настаивает на том, что современная культура в принципе не может быть

---

[1] *Маркузе Г.* Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества / Пер. А. Юдина. М., 2003.

[2] *Dooley M.R.* Scruton the Philosopher on Dover Beach. Continuum, 2009.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

осмыслена без учета колониализма и империализма, так же как, в свою очередь, империализм не может быть понят без учета современной культуры. Таким образом, постколониализм возвращается к идее деконструкции истории, которую уже осуществил в свое время марксизм, во имя новой, подлинно «глобальной», всеобщей истории, включающей историю «угнетенных» наряду с историей «угнетателей»[1].

Вдохновленные этой новой глобалистской озабоченностью, интеллектуалы должны стремиться к гармонии с угнетенными, ради чего быть готовыми встать на путь «изгнания», превратиться в «аутсайдеров», поскольку только так, согласно Сейду, современный интеллектуал способен приобщиться к различным формам «сопротивления» и «несогласия», испытать опыт «дискомфорта». Что, в свою очередь, необходимо для «деконструкции» западной мысли, опирающейся на традицию и на сакральные тексты, передаваемые от поколения к поколению, формируя тем самым базис коллективной идентичности. Задача таких интеллектуалов в том, чтобы представить альтернативные нарративы и перспективы по поводу истории, опровергающие те, что продвигают «воинствующие апологеты официальной памяти»[2].

П. Брюкнер, представитель французских «Новых философов», заявивших о себе в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, в этой связи отмечает, что в современной Европе покаяние за колониальное прошлое приобрело форму настоящего «мазохизма» и продемонстрировало, как на самом деле европейцы воспринимают себя: как «больного человека планеты», чьи язвы порождают все проблемы не-западного мира. Каждый раз, когда нога белого человека ступала на землю Азии, Африки и Америки, смерть и разрушения следовали за ним: «Мы, Европейцы, с рождения несем на себе печать порока и уродства, которыми мы помечены как стигмой; ибо мы должны признать, что белый человек посеял страдания и разрушения везде, где бы он ни появился. Звериная жестокость имеет белый цвет»[3].

Характеризуя сказанное применительно к российскому контексту, можно констатировать асинхронность динамики доминирующих интеллектуальных и общественно-политических дискурсов в России и в странах Западной Европы и Северной Америки. Новомодные западные идейные течения и культурные практики, которые принято относить к проявлениям ойкофобии, — апология «разнообразия» и «инклюзивности» (от этнокультурного до физиологического и сексуального), политика «позитивной дискриминации», огульное переписывание своей истории под флагом борьбы с проявлениями «расизма» («колониализма», «нацизма», «гомофобии») или же навязчивое «покаяние» за грехи прошлых поколений и иные проявления «репрессивной толерантности» сегодня плохо приживаются на отечественной почве. И это можно объяснить не только очевидными различиями в исторических судьбах России и Запада. Существенно и то, что страна уже обрела опыт острейшего коллективного приступа ойкофобии, разразившегося в конце 1980-х — начале 1990-х годов и породившего информационные войны против исторической памяти и коллективной идентичности русского/советского народа, практики развенчания прежних кумиров и исторических фигур прошлого, а также другие аналогичные акции.

---

[1] *Said E.W.* Culture and Imperialism. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1993.

[2] *Said E.W.* Orientalism. L.: Penguin Books, 2003. P. 7.

[3] *Bruckner P.* The Tyranny of Guilt: an Essay on Western Masochism. Princeton: Princeton University Press, 2010. P. 23.

В то же время параллели между пережитым нашей страной опытом и сегодняшним состоянием западной цивилизации представляются очевидными и впечатляющими, а их анализ и осмысление, в свою очередь, вызывают смешанные чувства. Тревогу внушает ожидание того, что конечным итогом развития ситуации в странах Западной Европы и Северной Америки могут стать события катастрофического масштаба, сопоставимые с распадом СССР, тектонические последствия которых способны отразиться и в других государствах.

*С.Г. Туронок*

**Литература**


1. *Beckeld B.* Western Self-Contempt: Oikophobia in the Decline of Civilizations. Cornell University Press, 2022.
2. *Beckeld B.* Herbert Marcuse and the Left's Endless Campaign Against Western 'Repression'// Quillette Newsletter. 2022. March 2. URL: https://quillette.com/2022/03/02/herbert-marcuse/.
3. *Bruckner P.* The Tyranny of Guilt: an Essay on Western Masochism. Princeton: Princeton University Press, 2010.
4. *Dooley M.* Roger Scruton: The Philosopher on Dover Beach. Continuum, 2009.
5. *Kaufmann E.* The Rise and Fall of Anglo-America. Harvard University Press, 2004.
6. 'Oikophobia': Our Western Self-Hatred by B. Beckeld // Quillette Newsletter. 2019. October 7. URL: https://quillette.com/2019/10/07/oikophobia-our-western-self-hatred/.
7. *Pupo S.* Oikophobic prejudice against nation in the contemporary political thought. The Italian case // Notizie di Politeia. January 2015. P. 3–22.
8. «Roger Scruton on Immigration, Multiculturalism and the Need to Defend the Nation State» // The Brussels Journal. 24.06.2006. URL: https://www.brusselsjournal.com/node/1126.
9. *Scruton R.* England and the Need for Nations. L.: St Edmundsbury Press, 2004.
10. *Scruton R.* Oikophobia // The Journal of Education. 1993. Vol. 175. No. 2. P. 93–98.
11. *Suissa J.* «Oikophobia and Not Being at Home; Educational Questions» // Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 2021. Vol. 42. Issue 6.
12. *Taguieff A.* Les contre-réactionnaires: Le progressisme entre illusion et imposture. Paris: Denoël, 2007.
13. The Coddling of The American Mind by G. Lukianoff and J. Haidt // The Atlantic. September 2015. URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/.
14. The Dangers of Oikophobia by B. Beckeld // The American Conservative. 2022. March 26. URL: https://www.theamericanconservative.com/articles/the-dangers-of-oikophobia/.
15. The 'Great Awokening' started a century ago. The 2020s are merely re-enacting the culture wars of the 1920s by E. Kaufmann // UnHerd. 2020. January 13. URL: https://unherd.com/2020/01/the-great-awokening-started-a-century-ago/.


# Политическая стабильность

Проблеме оценивания государственного управления едва ли не столько же лет, сколько самому вниманию к этому явлению, и даже больше — сколько самой Гоббсовой проблеме (которой, в свою очередь, ощутимо больше лет, чем самому классику политической философии)[1]. На протяжении всей человеческой истории

[1] *Ellis D.P.* The Hobbesian Problem of Order: A Critical Appraisal of the Normative Solution // American Sociological Review. 1971. No. 4. P. 692–703; *Кильдюшов О.В.* Проблема социального порядка (Гоббсова

людям было свойственно задаваться вопросом не только о том, *что* являет собой государство и общество (в другой формулировке, *как* множество людей превращается в организованный политический порядок), и о том, что представляет собой справедливое «*well-ordered society*» (Дж. Роулз), «хорошее правление» (*good governance*) или «*civilas sociation*» (М. Окшотт), а также их антиподы в лице «недостойного правления» (В. Гельман) или «хищнического государства» (П. Эванс). Из такого рода вопросов естественным образом произрастали и конкретные ответы, содержащие концептуальные построения о том, как именно «надлежит поступать государю» (Н. Макиавелли), «достигать всеобщего удовлетворения жизнью» (А. Токвиль) или добиваться «эффективной солидарности правительственных органов» (М. Вебер).

Несмотря на то что расцвет подобных исследований относится к Новому времени, когда, по замечанию Р. Козеллека, «критическое брожение изменило природу политических событий», а открывшаяся возможность оценочного суждения о политике «превратилась в моральный трибунал, законы которого запечатлелись в сердцах критиков»[1], идеи о критериях качества или «ключевых индикаторах деятельности» (*KPI*) политики и управления артикулировались с античных времен. Концептуальные выводы из «подлинного кормчего» Платона, «достойного устроения» Аристотеля или «верных методов» Артхашастры порой ничем не уступают современным публикациям, посвященным оценке деятельности институтов политического и государственного управления. Иначе говоря, можно утверждать, что ведущие и сохраняющие актуальность подходы к оценке этих властно-управленческих явлений сконфигурированы десятилетия, если не столетия назад.

Столь продолжительный опыт такой прикладной рефлексии не отменил, однако, постановки фундаментального вопроса о самом содержании оценивания. Является ли оно объективно выявленной характеристикой определенного процесса, деятельности или результата или же субъективным мерилом достоинства, неким коплиментарным или обличительным, но при этом неизменно этическим вердиктом? Ровно так же, как некоторые современные авторы ставят вопрос о том, что «суверенитет» является не нейтральным признаком государственности, а скорее оценочной характеристикой[2], можно заметить, что и тезис об «устойчивости» и «стабильности», «эффективности» и «качестве» политики и управления зачастую является ангажированной и даже политически мотивированной конструкцией. Вследствие этого упомянутые термины испытывают на себе все проблемы поисково-нормативной активности: с одной стороны, они воплощают в себе очевидную рационально-технократическую надежду «расколдовать» тайну политического порядка, а с другой — включают в себя очевидный элемент инкрементально-агонической демократии, этого столкновения и соперничества за смыслы.

Центральным и наиболее характерным для современных практик оценивания политического и государственного управления является понятие «стабильность». Несмотря на то что его этимологические корни восходят к древнегреческому στάσις («[неподвижно] стоящий»), более распространенные коннотации «стабиль-

---

проблема): к эвристике и прагматике конститутивного вопроса современной теории общества // Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. № 3. С. 122–149.

[1] *Koselleck R.* Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. MITPress, Berg Publishers Ltd, 1988.

[2] *Субочев В.В.* Исчезновение суверенитета: теоретический анализ политико-правовых реалий // Правовая политика и правовая жизнь. 2016. № 2. С. 13–21.

ности», отражающие состояния «спокойствия», «неизменности» и даже «застоя», не вполне оправданны. Более того, нередко встречающееся отождествление «стабильности» и «устойчивости» (подкрепляемое популярностью концепта «устойчивого развития» (*sustainable development*), представляющего, однако, всего лишь «самоподдерживающуюся» динамику) также не совсем корректно. Чтобы объяснить различия между указанными стереотипами восприятия «стабильности» и научной линией интерпретации этого термина, необходимо сделать ряд общих замечаний.

В социальных науках термин «стабильность» начинает активно использоваться лишь в предыдущем столетии, хотя его научное применение прослеживается еще с XV в., когда он стал использоваться естественно-научными и техническими дисциплинами. В соответствующих физических и математических разработках (Л. Годой полагает первопроходцем в использовании этого понятия математика XIII в. И. Неморария) «стабильность» практически не используется как синоним «равновесия». Напротив, «стабильное» и «нестабильное» равновесия резко отличаются друг от друга: в первом случае система способна возвращаться к равновесному состоянию, даже будучи предварительно выведенной из него под воздействием внешних сил, а во втором баланс утрачивается даже в случае небольших возмущений и воздействий[1]. По сути, подобное уточнение означает, что неправомерно отождествлять «стабильное» состояние с неким единично наблюдаемым равновесием или конъюнктурно обусловленной устойчивостью. Ведь в том случае, если система не обладает адаптивными возможностями и эндогенной способностью к восстановлению своего функционирования, такое положение нельзя описывать в терминах «стабильности».

От подобного фундамента отталкиваются многие актуальные концепции политической стабильности, которую мы в целом можем определить как *динамическую способность политической системы достигать и сохранять состояние воспроизводства и отправления ключевых функций ее институтов*. Так, К. Вэлье выделял три характеристики (измерения) политической стабильности — «долговечность» (*durability*), «баланс» (*balance*) и «стойкость» (*immunity*). При этом последнюю называют необходимым условием (*precondition*) для двух других. В этом смысле политическая стабильность, объединяющая, в понимании Вэлье, высокую степень общественной консолидации и слабую краткосрочную изменчивость, символизирует сопротивление политической системы направленному воздействию антисистемных сил различного толка[2]. Комплементарную трактовку стабильности представляют С.О. Ханссон и Г. Хелгессон, которые выделяют в ней вероятные интерпретации «постоянства» (*constancy*), «надежности» (*robustness*) и «устойчивости» (*resilience*). Несмотря на обращение к последнему из упомянутых терминов, эти ученые подчеркивают, что под «устойчивостью» понимается способность системы возвращаться к состоянию баланса под воздействием (или после воздействия) неблагоприятных внешних факторов, сил и обстоятельств[3].

Более сложное понимание политической стабильности дают в своих работах Г. Экстайн и Т. Гурр, отмечающие, что само по себе длительное существование того или иного явления может и не свидетельствовать о его положительных ка-

---

[1] *Телин К.О.* Имитация стабильности: ложная оптика властного дискурса // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2018. Т. 18. № 4.

[2] *Vallier K.* Three concepts of political stability: an agent-based model // Social Philosophy and Policy. Cambridge University Press, 2017. No. 34 (1). P. 232–259.

[3] *Hansson S. O., Helgesson G.* What Is Stability? // Synthese 136. 2003. No. 2. P. 219–235.

чествах и характеристиках, а являться скорее следствием цепочки «счастливых случайностей»[1]. Таким образом, вопрос о «политической стабильности» превращается в многоаспектное сопряжение следующих требований к политической системе:

— долгосрочной преемственности (*durability*);
— политической инклюзивности и включенности (*permeation*);
— экономической эффективности и результативности (*output efficiency*);
— легитимности (*legitimacy*);
— сопротивляемости распрям и внутренним конфликтам (*strife avoidance*);
— адекватности или подлинности (*authenticity*)[2].

При этом последнее из измерений стабильности может быть также представлено не через специфический неологизм *authenticity*, а через вполне релевантный в данном случае аналог «конгруэнтности» (согласованности), предложенный еще Г. Алмондом, но обстоятельно разработанный в работах того же Г. Экстайна. Под «конгруэнтностью» Экстайн подразумевает согласованность ценностных ориентаций и поведенческих установок политического и неполитического характера[3], в силу чего термин *authenticity* раскрывается как момент соответствия политической практики заявлениям, нормам и планам[4].

Возвращаясь к термину «стабильность», следует повторить, что не только для Экстайна и Гарра он оказывается связанным с критерием соответствия поведенческих паттернов и согласованностью институциональной деятельности. К этому же моменту обращаются и У. Розенталь, указывающий на проблемную связь между предпочтениями граждан и наблюдаемой работой институтов[5], а также С. Хантингтон, подчеркивающий, что «стабильность любого общества зависит от соотношения между уровнем политической активности населения и уровнем политической институциализации»[6].

В свою очередь, К. Даудинг и Р. Кимбер, понимавшие политическую стабильность как «состояние политического субъекта, при котором он в состоянии сопротивляться непредвиденным обстоятельствам, угрожающим его существованию», обратили внимание еще на один важный аспект ее процессуального измерения. В частности, они подчеркнули, что возможность сопротивления проистекает из особенностей самого субъекта или системы, из особенностей их саморегулирования, ресурсного потенциала, а также тех динамичных изменений, которые должны быть инициированы для воспроизводства в меняющейся внешней среде[7]. Таким образом, о стабильности нельзя говорить в тех случаях, когда

---

[1] *Eckstein H.* Division and Cohesion in Democracy: A Study of Norway // Princeton: Princeton University Press, 1966.

[2] *Zimmermann E.* Political Violence, Crises and Revolutions (Theories and Research). Routledge, 1983.

[3] *Eckstein H.* Congruence Theory Explained // UC Irvine: Center for the Study of Democracy. 1997. URL: https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt2wb616g6/qt2wb616g6.pdf.

[4] *Eckstein H.* Authority relations and Governmental Performance: A Theoretical Framework // Princeton University Technical Report. 1968. No. 1 (68-1). URL: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0675327.pdf.

[5] *Rosenthal U.* Political Order: Rewards, Punishments and Political Stability — Alphen aan den Rijn. The Netherlands: Sijthoff & Noordhoff, 1978. P. xi + 286.

[6] *Хантингтон С.* Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004.

[7] *Dowding K., Kimber R.* The Meaning and Use of «Political Stability» // European Journal of Political Research. 1983. Vol. 11. Iss. 3. P. 229–243.

существование некоего политического порядка объясняется внешним патронажем или оппортунистским применением репрессивных инструментов. Напротив, для оправданного обращения к термину «стабильность» важна способность системы (актора) самостоятельно инициировать и реализовывать контролируемые изменения. В силу этого отождествление «стабильности» с «покоем» или «застоем» в конечном счете оборачивается дестабилизацией, проистекающей из неспособности системы адаптироваться и развиваться.

Интересно, что на этом же делают акцент медико-психологические исследования. К примеру, словарь Американской психологической ассоциации характеризует «стабильность» как «степень, в которой человек сохраняет сопоставимый уровень в отношении конкретной характеристики (например, результатов теста интеллекта) с течением времени в сравнении со сверстниками»[1]. Тем самым подчеркивается естественная для человека потребность к изменению и саморазвитию, противостоящая его способности до глубокой старости сохранять подростковые реакции, установки и паттерны. К. Аллен, раскрывая классическое для современной психологии разделение «гетеротипической» и «гомотипической» стабильности, уточняет, что первая из них связана с «психологической согласованностью мыслей, чувств и поведения человека в процессе развития» (поскольку «психологическая характеристика может иметь различное поведенческое выражение в разном возрасте»)[2], в то время как вторая объясняется «степенью сходства одних и тех же наблюдаемых характеристик личности во времени» (в частности, с предположением, что «признак имеет одинаковые проявления в этих разных возрастах»)[3]. В этой связи можно заметить, что ни в одном случае речь не идет о банальном сохранении у субъекта одних и тех же характеристик. Более того, психологи стремятся к выделению как можно большего числа типов стабильности (к примеру, структурной или ипсативной)[4].

Укажем также и на подход У. Розенталя, который активно исследует проблематику политической стабильности в содружестве с различными учеными (чаще всего с П. Т'Хартом и А. Бойном), выделяя несколько возможных трактовок этого явления (которые, впрочем, радикально не противоречат друг другу). В частности, он выделяет такие параметры стабильности:

1) отсутствие радикальных структурных изменений или, с конструктивной точки зрения, способность политической системы адаптироваться к меняющимся условиям без резкой коренной перестройки;
2) приверженность граждан и политиков конвенциональным, общим правилам и нормам;
3) легитимность и восприятие существующей политической системы в качестве приемлемой и подходящей;
4) качественная работа институтов, отражающая и интегрирующая общественные ожидания и предпочтения;

---

[1] URL: https://dictionary.apa.org/stability.

[2] *Donnellan M.B.* Personality stability and change // R. Biswas-Diener & E. Diener (eds). Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers, 2019.

[3] Ibid.

[4] *Corr P.J., Matthews G.* Developmental Psychology // The Cambridge Handbook of Personality Psychology. 2009. URL: https://www.philosophy-science-humanities-controversies.com/listview-details-psychology.php.

5) системы ограничения для насильственных внутренних конфликтов при доминировании мирных форм урегулирования, переговоров и девиации;
6) долговечный и преемственный характер политического истеблишмента даже при условии его обновления и текучести[1].

Последний параметр политической стабильности в представлении У. Розенталя и его соавторов можно уточнить за счет важного методологического замечания Ш. Муфф о различении антагонистической и агонистической политики. «Антагонизм — это борьба между врагами, тогда как агонизм — это борьба между соперниками (...), — пишет Муфф, — для демократической политики (...) необходимо создание каналов, посредством которых коллективные страсти получили бы возможность выражения по проблемам, которые (...) конструировали бы противника не в качестве врага, а в качестве соперника»[2]. В этом смысле как минимум два из шести замечаний Розенталя (про ограничение насилия и преемственный характер истеблишмента) могут быть поняты как предостережение о том, что появление политически стабильного порядка в условиях антагонизма невозможно. Хотя бы по той причине, что без пространства проявления и выражения разногласий естественные и даже неизбежные общественные конфликты будут провоцировать всплеск насилия либо со стороны участников такого конфликта (ориентирующихся на безоговорочное поражение оппонента), либо со стороны властей, приверженных, по выражению Муфф, «мысли о том, что когда-нибудь потребность в разногласиях отпадет, потому что общество будет “правильно устроено”»[3].

Стоит выделить ключевую причину, почему многоаспектная конфигурация стабильности (отнюдь не такая простая применительно к воплощению и адаптации к конкретным механизмам принятия политических и государственных решений) все-таки заслуживает большего внимания, чем вульгарные и упрощенные трактовки. Р. Йонг-а-Пин писал по этому поводу следующее: «Несмотря на то что исследования [стабильности] фокусируются на вопросах политического насилия (...), ни одно из них не предполагает, что политическая нестабильность ограничивается этим единственным измерением»[4]. Однако — к вящему сожалению — даже международные индексы (*Worldwide Governance Indicators, WGI*) и др.) раскрывают стабильность именно через ее сопряжение с отсутствием политически мотивированного насилия.

Отметим также и российские исследования политической стабильности, в контексте которых можно выделить концепции А.С. Макарычева, Р.Ф. Туровского, а также А.О. Ярославцевой. Так, А.С. Макарычев выделяет следующие ключевые критерии стабильности: отсутствие нелегитимного политического насилия (1), преемственное воспроизводство правительственных структур (2); приверженность конституционному порядку (3); системная легитимность (4); отсутствие незапланированных структурных изменений (5); долговременный характер политического равновесия или баланса сил (6); согласованность политической вла-

---

[1] *Rosenthal U.* Political Order: Rewards, Punishments and Political Stability — Alphen aan den Rijn. The Netherlands: Sijthoff & Noordhoff, 1978. P. xi + 286.

[2] *Муфф Ш.* К агонистической модели демократии // Логос. 2004. № 2 (42).

[3] Там же.

[4] *Jong-A-Pin R.* On the measurement of political instability and its impact on economic growth. vol. SOM Research Reports, 06C05 edn, University of Groningen, Groningen, 2006. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/87dd/8d93f47cd040c1513b279e3ce8e9b3146d84.pdf.

сти и общественных институтов (7), распространение конвенциональных моделей поведения (8)[1]. Стабильность, как отмечает Макарычев, не может быть связана с силовым подавлением оппонентов и догматическим укоренением авторитарных структур (что вполне органично объединяет его позицию с мнением авторов ключевых зарубежных исследований).

Наряду с этим Р.Ф. Туровский в своих работах делает целый ряд критически значимых замечаний для научной интерпретации «политической стабильности». *Во-первых*, он отмечает, что учебники по социальным дисциплинам нередко указывают на «способность обеспечить стабильность и порядок» как первостепенный признак» в списке критериев оценки политических систем»[2]. Однако это обстоятельство в то же самое время является и уязвимостью теоретических представлений о стабильности, поскольку научные задачи начинают неразрывно связываться с прикладной «телеологией». Выдвигая свои предложения относительно методики вероятного применения «стабильности» к реальной оценке управленческих практик, Туровский разделяет четыре кластера такого оценивания — легитимационный, общесистемный, режимный и акторный.

Первый из них связан с общественным признанием властных отношений, второй — с воспроизводством существующих политических институтов, третий — с выполнением функциональных задач, связанных с конкретным режимом, а последний — с возможностью артикуляции и удовлетворения различных частных интересов и предпочтений в пределах существующего порядка. В этом контексте Туровский констатирует, что наличие поддержки «со стороны общества, широких слоев населения, участвующих в разделении политического труда и добивающихся за счет этого реализации своих интересов, предполагает системную стабильность»[3].

В свою очередь, А.О. Ярославцева выделяет несколько подходов к пониманию стабильности, которые опять-таки можно представить как отдельные критерии (особенно при условии, что «сохранение стабильности» предполагает «ряд общих условий»). К ним автор относит, *во-первых*, отсутствие политически мотивированного насилия, *во-вторых*, наличие прочного конституционного порядка, *в-третьих*, присутствие высокой легитимности, *в-четвертых*, способность к управляемым адаптивным изменениям, *в-пятых*, эффективную экономическую и социальную политику и, *в-шестых*, устойчивость существующих моделей социально приемлемого поведения. Однако наиболее интересным является сделанное автором дополнение, подчеркивающее, что «политическая стабильность является политико-идеологической»[4]и даже «экзистенциальной»[5] ценностью.

Именно ценностный «поворот» в значительной степени объясняет существующее положение, при котором «стабильность» из сложного и многоаспектного ориентира качественной деятельности по политическому руководству и государственному

---

[1] *Макарычев А.С.* Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // Полис. Политические исследования. 1998. № 1. С. 149–157.

[2] *Туровский Р.Ф.* Центр и регионы: проблемы политических отношений. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2006.

[3] Там же.

[4] *Ярославцева А.О.* Политическая стабильность: современные параметры и коннотации // Политическая стабильность: новые вызовы, методологические аспекты анализа и прогнозирования, региональные исследования. М.: РУДН, 2012. С. 11–44.

[5] *Ярославцева А.О.* Ключевые характеристики массового восприятия политической стабильности в современной России: может ли «стабильность» стать национальной идеей // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Политология. 2012. № 1. С. 57–66.

управлению то и дело превращается в идеологический инструмент почти морально-нравственного толка. В целом ряде случаев из практики «стабильность» начинает восприниматься не столько как содержательное *требование* к деятельности органов государственной власти, сколько как этическое *условие* для такой деятельности. Отсюда и произрастает неопределенность содержания «стабильности» для спикеров, обращающихся к этому термину[1], и неопределенность субъектно-объектных категорий. Неудивительно, что при таком отношении достаточно сложно установить стабильность кого или чего-либо, утверждают государственные деятели. Впрочем, как и то, кто выступает актором или, напротив, бенефициаром стабильности. Несмотря на откровенную размытость содержания и странные фактические сопряжения, «стабильность» действительно начинает продвигаться как ценность. К примеру, это подтверждают смысловые противоречия в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2004 г., где Россия впервые была провозглашена «политически и экономически стабильной страной», а затем автором этого декларатива было подчеркнуто, что «*теперь* (выделено мной. — *Авт*.) мы должны решить самые насущные проблемы». Как указывает О.Ю. Малинова, в России «категория “стабильности”/“стабилизации” примечательна тем, что стала частью распространенного тропа: “лихие девяностые” принято противопоставлять “стабильным нулевым”»[2]. Такая трактовка политических реалий обретает значение именно в их противопоставлении с предшествующим опытом, что нередко выражается в требованиях «не раскачивать лодку», «беречь согласие» и не «раскалывать общество демократическими лозунгами».

В 1956 г. философ У. Гэлли предложил научному сообществу термин «сущностно оспариваемое понятие» (*essentially contested concept*), «попытка использования которого неизбежно влечет за собой бесконечные споры о правильном их использовании со стороны использующих»[3]. Несмотря на то что Гэлли был достаточно конкретен в определении критериев «сущностно оспариваемого понятия» (включив в число таковых тезис о том, что такое когнитивное действо «должно быть оценочным в том смысле, что оно выражает или подтверждает некое ценное/значимое достижение»), подобное отношение к «политической стабильности» может быть вполне дискуссионным шагом. Однако, иронично обыгрывая место сообщения У. Гэлли (доклад которого был озвучен на заседании Аристотелевского общества), можно обозначить «политическую стабильность» еще и как *pathos-burdened concept,* или «эмоционально обремененное понятие». Обращающиеся к ней субъекты стремятся использовать «стабильность» таким образом, чтобы верифицировать свою позицию и критическое суждение при помощи научных инструментов или, на худой конец, наукообразных конструктов. В силу этого ряд производных от «стабильности» лингвосемантические инструменты частенько используются в псевдонаучных и конспирологических теориях «гибридных войн». Это означает возникновение дополнительной сложности на пути даже изначально нейтральной попытки оценивания, когда анализ деятельности смыкается с языком «экзистенциальных ценностей». Понятно, что в таком случае объективность такого анализа неминуемо вызывает сомнение.

*К.О. Телин*

---

[1] *Телин К.О.* Кризис как потребность: встроенные парадоксы российского официального дискурса // Политическая наука. 2022. № 3. С. 232–255.

[2] *Малинова О.Ю.* Обоснование политики 2000-х годов в дискурсе В.В. Путина и формирование мифа о «лихих девяностых» // Политическая наука. 2018. № 3. С. 45–69.

[3] *Gallie W.B.* Essentially Contested Concepts // Proceedings of the Aristotelian Society. 1955. No. 56. P. 167–198.

**Литература**

1. *Макарычев А.С.* Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // Полис. Политические исследования. 1998. № 1. С. 149–157.
2. *Телин К.О.* Имитация стабильности: ложная оптика властного дискурса // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2018. Т. 18. № 4. С. 55–74.
3. *Телин К.О.* Кризис как потребность: встроенные парадоксы российского официального дискурса // Политическая наука. 2022. № 3. С. 232–255.
4. *Ярославцева А.О.* Политическая стабильность: современные параметры и коннотации // Политическая стабильность: новые вызовы, методологические аспекты анализа и прогнозирования, региональные исследования. М.: РУДН, 2012. С. 11–44.
5. *Ярославцева А.О.* Ключевые характеристики массового восприятия политической стабильности в современной России: может ли «стабильность» стать национальной идеей // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Политология. 2012. № 1. С. 57–66.
6. *Donnellan M.B.* Personality stability and change // R. Biswas-Diener& E. Diener (eds). Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers, 2019.
7. *Dowding K., Kimber R.* The Meaning and Use of «Political Stability» // European Journal of Political Research. 1983. Vol. 11. Iss. 3. P. 229–243.
8. *Eckstein H.* Congruence Theory Explained // UC Irvine: Center for the Study of Democracy. 1997. URL: https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt2wb616g6/qt2wb616g6.pdf.
9. *Hansson S.O., Helgesson G.* What Is Stability? // Synthese 136. 2003. No. 2. P. 219–235.
10. *Jong-A-Pin R.* On the measurement of political instability and its impact on economic growth. Vol. SOM Research Reports, 06C05 edn, University of Groningen, Groningen. 2006. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/87dd/8d93f47cd040c1513b279e3ce8e9b3146d84.pdf.
11. *Rosenthal U.* Political Order: Rewards, Punishments and Political Stability — Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Sijthoff&Noordhoff, 1978. P. xi + 286.
12. *Vallier K.* Three concepts of political stability: an agent-based model // Social Philosophy and Policy. Cambridge University Press, 2017. No. 34 (1). P. 232–259.
13. *Zimmermann E.* Political Violence, Crises and Revolutions (Theories and Research). Routledge, 1983.

# Политическая культура нации

Развитие научного знания всегда сопряжено с усложнением его понятийно-категориального аппарата. Этот процесс протекает нелинейно: возникают совершенно новые для науки понятия, в одни области приходят термины из других областей, происходит понятийный синтез и категориальная гибридизация. В рамках политической науки на множестве примеров можно проследить все варианты этого процесса. Не является исключением и попытка осмысления концептуальной сущности и исследовательской релевантности понятия «политическая культура нации», отражающего новые грани политического самоощущения данной общности и порождающего сложные смысловые пересечения с ее гражданскими и политическими контекстами.

В настоящее время понятие «политическая культура нации» в категориальном аппарате не только политической, но и шире — социогуманитарной — науки отсутствует. Более того, это словосочетание просто как языковая форма выражения,

безотносительно к его концептуальной разработанности, в научной литературе практически не встречается. Исследователи оперируют базовым термином «политическая культура» и дополняют его указаниями либо на страновую[1], либо на социально-групповую принадлежность[2].

Концептуальный анализ понятия «политическая культура нации» предполагает сопряжение подходов к пониманию политической культуры с трактовками нации, что осложнено множественностью и тех и других. При этом логика такого процесса разворачивается следующим образом: в качестве родового выступает понятие «политическая культура», а «нация» обозначает ее видовые отличия как сообщества-носителя. Выстроенные таким образом размышления являют собой попытку найти ответы на вопросы, связанные с развитием политологического знания, стремящегося отобразить сложные смысловые оттенки социокультурной динамики современного общества.

Существует ли объективная научная потребность в концептуальной разработке понятия «политическая культура нации», или это будет банальным умножением сущностей, поскольку базового понятия «политическая культура» вполне достаточно? И если такая потребность существует, то что такое политическая культура нации?

Являются ли словосочетания «национальная политическая культура» и «политическая культура нации» с концептуальной точки зрения тождественными, что определяет возможности их равноценного применения в процессе научного поиска? Или же существуют особенности оперирования этими лингвистическими конструкциями — для обозначения различающихся явлений или решения разных исследовательских задач?

Обратимся в этой связи к понятию «политическая культура», которым в современной науке обозначается довольно широкий спектр разнообразных конструкций в политической сфере: 1) представления, ценности, убеждения, ориентации, установки граждан[3], 2) политические действия и поведение граждан[4], 3) знаковое пространство текстов, конституированное доминирующим смысловым кодом

---

[1] Напр.: *Chabal E.* French Political Culture in the 1970s: Liberalism, Identity Politics and the Modest State // Geschichte Und Gesellschaft. 2016. No. 42(2). P. 243–265; *Macamo E.* Violence and Political Culture in Mozambique // Social Dynamics. 2016. No. 42(1). P. 85–105; *Keliher M., Wu H.* Corruption, Anticorruption, and the Transformation of Political Culture in Contemporary China // The Journal of Asian Studies. 2016. Vol. 75. P. 5–18; *Campbell R.* Political Culture and the Legacy of Socialism in Unified Germany // German Politics. 2015. No. 24 (3). P. 271–291; *Pasquino G.* The Disappearance of Political Cultures in Italy // South European Society and Politics. 2018. No. 23(1). P. 133–146.

[2] Напр.: *Левашов В.К.* Политическая культура российского общества. Опыт социологического исследования. М.: ФНИСЦ РАН, 2020; *Полякова О.Н.* Политическая культура молодежи в условиях современной демократии // Труды Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств. 2008. Т. 180. С. 495–502; *Евгеньева Т.В., Селезнева А.В., Антонов Д.Е.* Политическая культура российской студенческой молодежи: ценностные, образно-символические и поведенческие аспекты // Гуманитарные науки. Вестник Финансового ун-та. 2021. Т. 11. № 2. С. 63–71.

[3] *Almond G., Verba S.* The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 3rd ed. Newbury Park: Sage Publ., 1989; *Inglehart R.F., Baker W.* Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values // American Sociological Review. 2000. Vol. 65. P. 15–91; *Welzel C., Deutsch F.* The Diffusion of Values among Democracies and Autocracies // Global Policy. 2016. Vol. 7. No. 4. P. 563–570; *Magun V., Rudnev M., Schmidt P.* A Typology of European Values and Russians' Basic Human Values // Sociological Research. 2017. Vol. 56. No. 2. P. 149–180.

[4] *Plano J.C., Greenberg M.* The American Political Dictionary. 10th ed. Fort Worth: Harcourt College, 1996; *White S.* Political Culture and Soviet Politics. L.: Macmillan, 1979.

и выражающее ключевые мифо-символические и идеологические конструкции[1], 4) политические институты, составляющие политическую систему общества[2]. Такое многообразие трактовок отражает сложный и неоднозначный характер самого явления. И многолетние научные попытки его изучения привели к появлению разных подходов, которые опираются на определенное понимание политической культуры и фокусируются на тех или иных аспектах ее проявления.

Политическую культуру, согласно определению Э.Я. Баталова, можно характеризовать как «систему исторически сложившихся, относительно устойчивых репрезентативных («образцовых») убеждений, представлений, установок сознания и моделей («образцов») поведения индивидов и групп, а также моделей функционирования политических институтов и образуемой ими системы, проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов политического процесса, определяющих ее основные направления и формы и тем самым обеспечивающих воспроизводство и дальнейшую эволюцию политической жизни на основе преемственности»[3].

Такое интегративное определение политической культуры, *во-первых*, отражает ее классическое «психологическое» понимание как комплекса «социально-психологических свойств, которые проявляются на индивидуальном уровне, будучи следствием сходного политического опыта или исторических условий социальной группы»[4]. Так, Г. Алмонд и С. Верба в структуре политической культуры выделяли познавательные, эмоциональные и оценочные ориентации[5], а современные российские политические психологи — ценностные ориентации, представления о государстве, обществе, политических институтах, установки на политические действия и восприятие политических объектов и процессов[6].

*Во-вторых,* представленное определение опирается и на «социетальный» подход, в рамках которого политическая культура считается «свойством социальных коллективов, укорененным в исторически обусловленных социальных практиках и репертуарах смыслов, определяющих действия индивидов и функционирование институтов»[7]. Здесь важно обозначение ее исторической детерминированности, влияния исторического наследия и политических традиций на ценностные ори-

---

[1] *Щербинина Н.Г.* Политико-культурные коды и конструктивное творчество современной российской власти // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Политология. 2016. № 3 (35). С. 255–263; *Завершинский К.Ф.* Политическая культура как символическая «пересборка» политического // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2019. Т. 15. № 1. С. 88–107.

[2] *Баталов Э.Я.* Политическая культура России сквозь призму civic culture // Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 7–22; *Соловьев А.И.* Институциональные эксперименты в пространстве политической культуры: реалии российского транзита // Политическая наука в современной России: Время поиска и контуры эволюции: Ежегодник. М., 2004; *Bednar J., Page S.* When Order Affects Performance: Culture, Behavioral Spillovers, and Institutional Path Dependence // American Political Science Review. 2018. Vol. 112. No. 1. P. 82–98.

[3] *Баталов Э.Я.* Человек, мир, политика. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2008. С. 108–109.

[4] *Малинова О.Ю.* «Политическая культура» в российском и англо-американском научном дискурсе // Политическая наука. 2006. № 3. С. 10.

[5] См.: *Almond G.A.* Comparative political system // Political behavior: A reader in theory research / Ed. by Eulau H. et al. Glencoe (III.), 1956; *Almond G., Verba S.* The Civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. L.: Sage, 1989.

[6] *Евгеньева Т.В., Селезнева А.В., Антонов Д.Е.* Политическая культура российской студенческой молодежи: ценностные, образно-символические и поведенческие аспекты // Гуманитарные науки. Вестник Финансового ун-та. 2021. Т. 11. № 2. С. 63–71; *Евгеньева Т.В., Евгеньев В.А.* Указ. соч. // Там же. С. 94–100.

[7] Цит. по: *Малинова О.Ю.* Указ. соч. С. 15.

ентации и поведение граждан. Политическая культура, таким образом, отражает историко-культурную специфику развития страны, в ней сложным образом комбинируются разнообразные политико-идеологические ориентации и политико-управленческие традиции, существовавшие в разные исторические периоды и в неизменном или трансформированном виде дошедшие до наших дней.

*В-третьих*, помимо традиционно рассматриваемых политических ориентаций и образцов политического поведения в структуру политической культуры включаются и институциональные компоненты[1].

*В-четвертых,* в понимании политической культуры важно учитывать образцовый характер включенных в нее элементов. Убеждения и ориентации граждан, их политическое поведение, модели функционирования политических институтов отражают существующие в социокультурном пространстве нормы, ценности, идеалы, эталоны и образцы.

*В-пятых,* для понимания сущности политической культуры существенное значение имеет и темпоральный аспект, то есть происходящие в ней динамические изменения в исторической ретроспективе. С одной стороны, политическая культура зачастую интерпретируется как «монолитная» и неизменная[2]: складывающиеся на протяжении столетий ценности и характерные черты власти и общества существуют в ней в разные исторические эпохи, в том числе и сейчас. С другой стороны, в ней, как в «системе порождения, хранения и трансляции политического опыта»[3], действуют определенные механизмы их «распространения и укоренения»[4]. Поэтому, учитывая ее динамический характер, важно акцентировать внимание на том, что «трансформация политической культуры заключается не в появлении качественно иной системы с абсолютно новыми элементами, а в переходе элементов с одного “уровня влияния” на другой»[5]. Причем самые значительные изменения происходят в переходные периоды развития страны. «Ядром» политической культуры, то есть наиболее устойчивым и долговременным элементом в ее структуре, являются ценности (главным образом политические[6], а в трактовке Б.Г. Капустина — «сверхисторические»[7]).

---

[1] Политическая культура. М.: Юрайт, 2015; *Карпова Н.В.* Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем // Вестник Московского ун-та. Серия 18: Социология и политология. 2016. № 1. С. 182–199.

[2] См.: *Пивоваров Ю.С.* Политическая культура пореформенной России. М., 1994; *Глебова И.И.* Политическая культура России: образы прошлого и современность. М.: Наука, 2006; *Шабров О.Ф.* Духовные основы российской политики // Открытое образование. 2011. № 2. С. 155–158; *Тульчинский Г.Л.* Российская культура: особенности и перспективы // Философские науки. 2010. № 3. С. 63–72; *Сергеев В.М.* Исторические истоки русской политической культуры // Полис. Политические исследования. 2012. № 4. С. 8–22.

[3] *Тульчинский Г.Л.* Перспективы российской политической культуры // Социально-политические науки. 2014. № 4. С. 11.

[4] *Арутюнян Л.Н.* Политическая культура: процессы формирования и изменения (о некоторых гипотетических основаниях одной теоретической модели) // Образы власти в политической культуре России / Под ред. Е.Б. Шестопал. М., 2000. С. 17.

[5] Там же. С. 19.

[6] Политические ценности — это «устойчивые, имплицитно присущие отдельной личности, социальной группе или обществу в целом смысловые доминанты, определяющие идеологические приоритеты и политические принципы социальных отношений» (*Селезнева А.В.* Концептуально-методологические основания политико-психологического анализа политических ценностей // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Политология. 2019. № 49. С. 178).

[7] *Капустин Б.Г.* Кризис ценностей и шансы российского либерализма // Полис. Политические исследования. 1992. № 5–6. С. 79.

Расширение классического алмондовского понимания политической культуры является естественным процессом развития политической науки — становления в ней культурологической парадигмы[1] и интеграции в ее пространство элементов антропологического, исторического, социологического и иного знания. Это, в свою очередь, создает возможности для изучения сложных социально-политических явлений, обозначаемых комбинированными понятиями, к числу которых можно отнести и «политическую культуру нации».

В целом концептуальное сопряжение понятий «политическая культура» и «нация» является весьма сложной задачей не только в связи с показанной выше множественностью трактовок первого, но и крайне высокой неоднозначностью или многозначностью второго. «Нация» является одним из самых дискутируемых и манипулируемых понятий как в современном академическом дискурсе, так и в общественно-политическом пространстве. Его историческая эволюция в практиках повседневного и публичного, философско-литературного и нормативно-административного употребления[2], существование множества научных подходов к его интерпретации[3] обусловливают ситуацию, с одной стороны, его ценностно-смыслового размывания, от чего возникают даже предложения отказаться от его использования в общественных науках[4], а с другой — актуализации его практической политической значимости. При этом, как справедливо отмечает А.И. Миллер, «в мире сегодня доминирует дискурс, который именно через “нацию” и “национальный интерес” описывает актуальные проблемы»[5].

Трактовка нации, позволяющая решать задачу ее понятийного сопряжения с политической культурой, опирается на доминирующее в современной науке понимание тесной взаимосвязи нации и государства: «большинство теоретиков и лиц, принимающих решения, убеждены в том, что “государство” и “нация” просто обречены быть соседями и дополнять друг друга»[6]. И здесь волнующий исследователей[7] вопрос о логике их взаимодействия в процессах национального и/или государственного строительства немного уходит на второй план. Более важным

---

[1] О развитии культурологической парадигмы в политологии см.: Современная политическая наука: Методология / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. М.: Аспект Пресс, 2019. С. 389–408.

[2] См.: *Миллер А.И.* Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2016.

[3] Здесь уместно вспомнить мысль Дж. Холла о невозможности существования единой теории наций и национализма. См.: *Hall J.A.* Nationalisms: Classified and Explained // Daedalus. 1993. Vol. 122. No. 3. P. 1–28.

[4] По мнению В.А. Тишкова, «уход от тотальной категории поможет понять лучше природу человеческих коалиций, их культурных различий и политических конфигураций», поэтому он призывает «забыть о нациях во имя народов, государств и культур, даже если будущие исследователи подвергнут сомнению и эти последние дефиниции» (*Тишков В.А.* Забыть о нации: (Постнационалистическое понимание национализма) // Этнографическое обозрение. 1998. № 5. С. 3–26).

[5] *Миллер А.И.* Нация как система координат политической жизни // Вестник Российской нации. 2009. № 4. С. 87.

[6] *Телин К.О., Филимнов К.Г.* Пробелы идентичности. Как и почему нация ускользает от государства // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 1. С. 39.

[7] См., напр.: *Dinnen S.* The Twin Processes of Nation-Building and State-Building // SSGM Briefing Note. 2007. No. 1. P. 1–4; *Stepan A.* Comparative Theory and Political Practice: Do We Need a «State-Nation» Model as Well as a «Nation-State» Model? // Government and Opposition. 2008. Vol. 43. № 1. P. 1–25; *Stepan A., Linz J., Yadav Y.* Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011; *Миллер А.И.* Нация-государство или государство-нация? // Россия в глобальной политике. 2017. Т. 15. № 6. С. 144–157.

становится сам факт: «Современная нация — социальная общность, в основании которой лежит принадлежность к одному государству. Нация и государство являются парными социальными категориями, относящимися друг к другу как содержание и форма»[1]. Таким образом, нация, представляя собой политическое сообщество[2], «воспринимается как институционально и территориально оформленная государством»[3], то есть существование и жизнедеятельность первой определяется и регулируется вторым. В политической культуре в этом случае отражаются особенности политической системы государства, ее институционального устройства и того, «как она интернализуется в когнитивных способностях, познаниях, ощущениях и оценках тех, кто его [общество. — *Прим. авт.*] составляет»[4]. С функциональной точки зрения политическая культура является фактором стабильности политической системы[5]. Н.В. Карпова отмечает: «Являясь структурным элементом механизма функционирования политических систем, политическая культура включается и, соответственно, оказывает влияние и на механизмы артикуляции и агрегации интересов со стороны социальной среды, и на механизмы принятия и реализации политических решений, а также на механизмы осуществления “обратной связи”»[6].

Политическая культура и нация, следуя выбранной логике, связаны между собой через идентичность. И связь эта носит двусторонний и нелинейный характер. С одной стороны, политическая культура влияет на идентичность сообщества, тем самым способствуя конструированию и укреплению или разрушению нации. В первом случае речь идет о том, что культура в целом и политическая культура как ее часть участвуют в формировании национальной идентичности[7],

---

[1] *Пастухов В.Б.* Национальный и государственный интересы России: игра слов или игра в слова? // Полис. Политические исследования. 2000. № 1. С. 92. (Пастухов В.Б. внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

[2] Здесь мы уходим от этнокультурного понимания нации к собственно политическому: «Политическая нация возникает как результат гражданско-политического самоопределения и консолидации территориально локализованного сообщества, претендующего на политическую субъектность и проживающего в границах актуального государства. Политическая нация опирается на общие политические институты и является олицетворением солидарной коллективной идентичности» (Идентичность: Личность. Общество. Политика: Энциклопедическое издание / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2017. С. 399).

[3] *Брубейкер Р.* Мифы и заблуждения в изучении национализма // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма / Ред.-сост. И. Герасимов, М. Могильнер, А.М. Семенов: Новое издательство, 2010. С. 102.

[4] *Алмонд Г., Верба С.* Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. М.: Мысль, 2014. С. 29.

[5] *Пожидаева Э.О., Телин К.О.* Политическая культура как фактор стабильности политической системы // Вестник Московского ун-та. Серия 12: Политические науки. 2016. № 3. С. 91–106.

[6] *Карпова Н.В.* Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем // Вестник Московского ун-та. Серия 18: Социология и политология. 2016. № 1. С. 188.

[7] Национальная идентичность — неоднозначное и многомерное понятие, вбирающее в себя, как отмечает И.С. Семененко, «политическое и социокультурное (этнокультурное) измерения, которые могут ситуативно сочетаться или взаимоисключаться» (Идентичность: Личность. Общество. Политика: Энциклопедическое издание / Отв. ред. И.С. Семененко. С. 405). Так, напр., Э. Смит настаивал на ее интерпретации без соотнесения с государством (*Smith A.D.* National Identity. Ethnonationalism in Comparative Perspective. Reno: University of Nevada Press, 1991), тогда как, по мнению Х. Беста, она может рассматриваться как разновидность политической идентичности и включать в себя два аспекта: этнический и гражданский (*Best H.* The Elite-Population Gap in the Formation of Political Identities. A Cross-Cultural Investigation // Europe and Asia Studies. 2011. Vol. 3. No. 6. P. 995–1009). Попытки преодоления трудностей интерпретации и необходимость подчеркивания государственного аспекта национальной

определяя социокультурные и собственно политические (государственно-гражданские) аспекты идентификации граждан с макрополитическим сообществом, именуемым нацией. И тут важно отметить: «В странах разных историко-политических традиций “удельный вес” самосоотнесенности с государством в трактовке национальной идентичности в публичном дискурсе и ее усвоении индивидом (интериоризации) заметно различается. Смысловое наполнение понятия тесно связано с особенностями политической культуры страны, определяющими роль государства и образ власти в массовом сознании, а также паттерны политического поведения граждан»[1]. Во втором случае подразумевается обратный эффект: трансформация политической культуры, которая происходит, например, под влиянием внешних факторов и проявляется в обновлении[2] разных ее элементов и в особенности ценностей как ее смыслового фундамента, может негативно отражаться на состоянии национальной идентичности и, как следствие, нации — вплоть до полного их разрушения в ситуации социокультурного кризиса[3].

С другой стороны, национальная идентичность поддерживает политическую культуру общества, предохраняет ее от разрушения, обеспечивает стабильность оценок и ориентаций граждан в социально-политическом пространстве, сохранение политико-культурных традиций и передачу ценностей и представлений молодым поколениям в процессе их политической социализации.

Кроме того, понимание возможностей конструирования нации и национальной идентичности, равно как и политической культуры, позволяет в контексте рассуждений об их взаимоотношениях отметить собственно «действенные» компоненты, определяющие практические возможности их влияния друг на друга в процессе взаимодействия. Таковыми являются различные политики — прежде всего, «смыслообразующие»[4] (политика идентичности, политика памяти, симво-

---

идентичности привели к появлению комбинированных понятий с уточняющими дополнительными определениями — национально-гражданская (*Дробижева Л.М.* Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся: Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. М., 2008. С. 214–228), национально-государственная (*Титов В.В.* Национально-государственная идентичность российской молодежи в начале XXI века. М.: МАКС Пресс. 2012). Здесь данное понятие используется для «обозначения коллективной идентичности национально-государственного (или претендующего на такой статус) сообщества» (Идентичность: Личность. Общество. Политика: Энциклопедическое издание / Отв. ред. И.С. Семененко. С. 405).

[1] Политика идентичности: понятия, смыслы, практики / Отв. ред. Л.А. Фадеева. Пермь: ИЦ «Титул», ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 2023. С. 19.

[2] Здесь имеется в виду, что разрушаются «старые» («традиционные») и/или появляются новые, несвойственные политической культуре ранее элементы — ценности, представления, ориентации, идеалы, поведенческие паттерны и практики, институты и межинституциональные связи и отношения, которые видоизменяют ее сущность.

[3] О социокультурном кризисе см.: *Лапин Н.И.* Кризисный социум в контексте социокультурных трансформаций // Мир России. 2000. № 3. С. 3–47; *Евгеньева Т.В.* Культурно-психологические основания *о*браза «другого» в современной России // «Чужие» здесь не ходят. Политический экстремизм и радикальная ксенофобия в социокультурном пространстве современной России / Под ред. Т.В. Евгеньевой, 2004. С. 39–58; *Штомпель Л.А., Штомпель О.М.* Социокультурный кризис и возможные пути выхода из него // Научная мысль Кавказа. 2014. № 3 (79). С. 45–53.

[4] Политика идентичности и политика памяти являются частью символической политики, которая направлена на «производство и продвижение/навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих» (*Малинова О.Ю.* Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. 2010. № 2. С. 92). Поэтому все эти разновидности политики, независимо от того, рассматриваются они по отдельности или во взаимосвязи, носят характер «смыслообразующих».

лическая политика), а также инструментальные, институционально определенные в системе государственного управления, образовательная, культурная, информационная, молодежная и иные политики. Их функциональная роль в рассматриваемых процессах заключается в разработке ценностей и смыслов, их интерпретации и трансляции в рамках разнообразных социальных практик.

Сопряжение понятий и феноменов «нация» и «политическая культура», таким образом, происходит в конкретно-политическом измерении — в тесной связи с государством и его политической системой, политическими процессами и отношениями. Политическая культура нации в данном случае отражает политические и социокультурные, исторические и современные, институциональные и субъективно-психологические, статические и динамические аспекты взаимоотношений человека, общества и государства.

Сказанное позволяет высказать ряд суждений, раскрывающих, на наш взгляд, субстанциональные и структурные параметры политической культуры нации. В целом последнюю можно определить как совокупность относительно устойчивых политических ценностей, идентификационных ориентаций и нормативных паттернов политического поведения членов макрополитического сообщества, а также моделей функционирования институциональных структур политической системы формирующего его государства, которые обусловлены социокультурными особенностями и традициями их исторического развития. Это определение, не будучи ни абсолютно оригинальным, ни совершенно исчерпывающим, тем не менее призвано подчеркнуть ключевые рассмотренные ранее аспекты того феномена, которое обозначает.

Смысловое ядро политической культуры нации составляют ценности, обозначение которых в рамках научного знания осуществляется по-разному. Чаще всего их называют национальными, определяя, например, как «вырабатываемые каждым народом в соответствии с географическими, климатическими, историческими и иными условиями в процессе своего становления и развития»[1]. Оставив за скобками культурно-цивилизационные и политико-идеологические аспекты вопроса[2], укажем, что определение «национальные» в контексте рассмотрения вопросов политической культуры имеет прямой конкретный смысл, обозначая факт принадлежности ценностей той или иной нации.

Другой вариант обозначения ценностей политической культуры нации — «традиционные», определение сущности которых в современной науке происходит со смысловой опорой на понятия «традиции» и «традиционализм», которые обозначают связь настоящего и будущего с прошлым, актуализируют значимость культурного наследия и необходимость его сохранения и передачи из поколения в поколение[3]. Традиционные ценности складываются исторически и направлены

---

[1] *Крайник В.Л., Никифоров П.В.* Сущность национальных ценностей в Российской Федерации // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 4. С. 152.

[2] Зачастую рассуждения о национальных ценностях осуществляются либо в контексте вопросов цивилизационного самоопределения и поиска национальной идеи (*Тишков В.А.* О национальном идеале и ценностях // Вестник российской нации. 2009. Т. 5. № 3. С. 40–48), либо в практической плоскости в связи с определением и нормативным оформлением идеологических оснований политических процессов (*Грачев Н.И.* Базовые ценности российской цивилизации как основа Российской Конституции // Российский журнал правовых исследований. 2015. № 4. С. 43–50).

[3] Традиции и инновации в современной России: Социологический анализ взаимодействия и динамики / Под ред. А.Б. Гофмана. М.: РОССПЭН, 2008.

на поддержание сложившихся социальных отношений, на «обеспечение сохранности и преемственности во времени данного сообщества»[1]. Здесь снова возникает связь с идентичностью, поскольку «традиционные ценности являются устойчивым основанием социальной идентичности»[2], выполняют функцию преемственности и объединения общественной структуры. Понимание «идентичности напрямую связано с ценностями, идеалами, традициями того или иного общества. Так, например, политическая идентичность формируется через общественное осознание ответов на следующие вопросы: "Кто мы?"; "Чем мы отличаемся от других?"; "Что нас объединяет?"»[3]. Таким образом, определение традиционных ценностей — это осмысление и концептуализация общего и особенного для социального организма, что в конечном итоге определяет его как сообщество (народ, нацию, цивилизацию), дает возможность говорить о нем как о целостности.

Нации как сложносоставные макрополитические образования не могут иметь однородную политическую культуру. Поэтому в ее структуре выделяется доминирующая или господствующая политико-культурная система (которую зачастую называют общенациональной) и «более или менее автономные подсистемы, называемые политическими субкультурами»[4], формирование которых обусловлено множеством разнообразных факторов исторического, территориального, социально-политического, этнокультурного, конфессионального, социально-экономического характера. Субъектами-носителями политических субкультур, таким образом, являются те или иные группы общества — этнические и конфессиональные общности, территориальные сообщества, социальные слои, возрастные когорты, политическая элита[5]. В условиях федеративного политического устройства нации-государства политические субкультуры формируются зачастую по региональному принципу, что позволяет говорить о региональных политических культурах[6]. Согласно Е.В. Морозовой, «региональ-

---

[1] *Кузнецов И.М.* Основания ценностной консолидации россиян: традиционализм и обновление // Социологические исследования. 2021. № 8. С. 94.

[2] *Шаожева Н.А.* Традиционные ценности: к проблеме определения понятия с точки зрения синергетического подхода // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2017. № 3 (77). С. 104.

[3] *Перевезенцев С.В., Пучнина О.Е., Страхов А.Б., Шакирова А.А.* К вопросу о методологических принципах изучения российских базисных традиционных ценностей. Вестник Московского ун-та. Серия 18: Социология и политология. 2021. Т. 27. № 4. С. 116.

[4] *Карпова Н.В.* Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем // Вестник Московского ун-та. Серия 18: Социология и политология. 2016. № 1. С. 189.

[5] Политические субкультуры, носителями которых являются разные группы общества, выделяемые по социально-демографическому или социально-экономическому признаку, могут существовать в любом сообществе, независимо от формы его социально-политической организации. И субъекты этих политических субкультур (например, элита или молодежь), так или иначе, играют роль в его политическом развитии. Применительно к вопросам формирования и/или сохранения нации ключевое значение имеют этно-конфессиональные и территориальные политические субкультуры.

[6] См., напр.: *Михайленок О.М.* Региональные особенности российской политической культуры // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 2. С. 247–262; *Леонова О.Г.* Типология региональной политической культуры России // Социально-гуманитарные знания. 2009. № 5. С. 54–65; *Пеньков В.Ф.* Региональные компоненты политического процесса и политической культуры в России 1990-х гг. // Pro nunc. Современные политические процессы. 2009. Т. 9. № 1. С. 142–161; *Еремина Н.В.* Региональная политическая культура как фактор государственного развития: интеграция versus дезинтеграция // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2011. № 3. С. 70–78; *Матвеева Е.В., Сат А.В.* Феномен политической

ная политическая культура определяется как система политических ориентаций и моделей политического поведения, характерных для определенного региона и отличающихся в своей системной целостности от ориентаций и моделей, присущих как другим регионам, так и нации в целом»[1].

Политическая культура нации, таким образом, подразумевает определенный баланс и взаимосвязи между общенациональной и региональными политическими культурами / субкультурами. При этом важно подчеркнуть определенную приоритетность первой над вторыми для поддержания национальной идентичности и сохранения нации. Позитивный сценарий развития их взаимоотношений предполагает распространение общенациональной политической культуры на всех граждан и наличие ее ценностно-ориентационных и поведенческих элементов в структуре политических субкультур, негативный — обособление и укрепление региональных политических культур, вызывающие сначала противоречия между ними, а затем и противостояние.

В завершение размышлений о политической культуре нации следует вернуться к поставленным в начале раздела вопросам концептуально-методологического характера.

Объективная потребность в разработке понятия «политическая культура нации» есть. И дело не только в необходимости разобраться в множественности трактовок двух составляющих его понятий и сущности явлений, которые они обозначают. Развитие понятийно-категориального аппарата социогуманитарной науки происходит по дедуктивной логике и предполагает конкретизацию родовых понятий в их разновидностях. И в этом смысле понятие «политическая культура нации» уточняет базовое понятие и определяет специфику политической культуры того сообщества, которое именуется нацией. Это создает возможности более точного оперирования понятием «политическая культура» для осуществления теоретических разработок и проведения эмпирических исследований, но не позволяет искоренить или хотя бы ограничить существующие в академическом и публичном дискурсе практики вольной интерпретации и употребления понятия применительно к отдельным индивидам, социальным группам и обществу в целом, гражданам и элитам, регионам и государствам.

Понятия «политическая культура нации» и «национальная политическая культура» обозначают одно явление, но их нельзя назвать тождественными в силу разных условий и возможностей их применения. «Политическая культура нации» — это понятие, которое концептуализирует обозначаемое им явление в пространстве социогуманитарного знания, отражая его общие и существенные свойства и характеристики, отличающие его от других — сопряженных и/или рядоположенных. Оно может и должно употребляться скорее в теоретическом контексте для обозначения сущности, структуры и внутренних особенностей политико-культурной системы политической нации. Это научный термин, пока не устоявшийся и малоупотребляемый, но тем не менее являющийся (или претендующий на то, чтобы стать) частью терминологического аппарата политологии.

В случае необходимости определения политико-культурной специфики нации в компаративном ракурсе, для акцентирования внимания на уникальных характе-

---

культуры национальных республик как синтез традиционного и современного // Вестник Московского гос. ун-та культуры и искусств. 2022. № 4 (108). С. 102–107.

[1] *Морозова Е.В.* Региональная политическая культура: Дис. ... д-ра филос. наук. Краснодар, 1998. С. 75.

ристиках, отличающих ее от других наций, используется понятие «национальная политическая культура». Оно призвано подчеркнуть национальные особенности политической культуры в историческом контексте их формирования или современных проявлениях на уровне политических ориентаций граждан, стилей их поведения в публичной сфере жизни общества, моделей реализации власти и механизмов функционирования институциональных структур политической системы. Это определяет возможности его применения скорее для решения эмпирических задач — описания отдельных случаев (политических культур конкретных наций) с их обязательным обозначением (политическая культура России / Китая / Америки или российская / китайская / американская политическая культура).

Представляется, что понятие «политическая культура нации» обладает значительным инструментальным потенциалом, который выражается в возможности его операционализации не только для проведения предметных эмпирических исследований политических ориентаций и моделей поведения членов политической нации во внутристрановом и кросс-культурном аспектах, но и для изучения сопряженных явлений и процессов — национальной идентичности и нациестроительства.

*А.В. Селезнева*

**Литература**


1. Идентичность: личность, общество, политика. Новые контуры исследовательского поля / Отв. ред. И.С. Семененко / ИМЭМО РАН. М.: Весь Мир, 2023. — 512 с.
2. Идентичность: Личность, общество, политика: Энциклопедическое издание / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2017. — 992 с.
3. *Карпова Н.В.* Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем // Вестник Московского ун-та. Серия 18: Социология и политология. 2016. № 1. С. 182–199.
4. *Малинова О.Ю.* «Политическая культура» в российском и англо-американском научном дискурсе // Политическая наука. 2006. № 3. С. 7–30.
5. *Миллер А.И.* Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2016. — 146 с.
6. *Телин К.О., Филимонов К.Г.* Пробелы идентичности. Как и почему нация ускользает от государства // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 1.
7. *Титов В.В.* Российская национально-государственная идентичность: социокультурные императивы трансформации // Гуманитарные науки. Вестник Финансового ун-та. 2019. Т. 9. № 3 (39). С. 13–17.
8. *Akaliyski P., Welzel C., & Hien J.* A Community of Shared Values? Dimensions and Dynamics of Cultural Integration in the European Union // Journal of European Integration. 2021. Vol. 44. No. 2. P. 1–22.
9. *Almond G., Verba S.* The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 3rd ed. Newbury Park: Sage Publ., 1989. — 379 p.
10. *Bieber F.* Debating Nationalism: The Global Spread of Nations. L.: Bloomsbury Academic. 2020. — 246 p.
11. *Blackburn M.* The Persistence of the Civic-Ethnic Binary: Competing Visions of the Nation and Civilization in Western, Central and Eastern Europe // National Identities. 2022. Vol. 24. No. 5. P. 461–480.
12. *Denk T., Christensen H.S., Bergh D.* The Composition of Political Culture — A Study of 25 European Democracies // Studies in Comparative International Development. 2015. Vol. 50. P. 358–377.
13. *Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M.* Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded third edition. New York, 2010. — 576 p.

# Политические скандалы

Скандалы стали непременным фоном или даже атрибутом современной политики и шире — общественной жизни. Нет, наверное, ни одной страны, где не возникали политические и иные скандалы. Более того, их частота и распространение увеличиваются. В них вовлекаются как первые лица государства (У. Клинтон, Д. Русефф, Д. Трамп, Дж. Байден, Б. Ельцин и др.), так и политики и чиновники муниципального уровня, а также деятели культуры и прочие знаменитости. Вместе с тем подход к тому, что считать скандалом, в каждой стране и в различное время отличается. Одно и то же событие может по-разному оцениваться в зависимости от контекста и исторического времени[1].

Важным обстоятельством при рассмотрении скандала является его этимологическое и смысловое значение. Для русского языка существенно, что в него это слово входило двумя путями, отчего и смысл и словоупотребление получилось двояким. Во многие европейские языки «скандал» (первоначально греческое слово σκάνδαλον, что переводится как «соблазн; предмет ужаса или отвращения») пришло из латыни (*scandalum*). В светский русский язык, согласно М. Фасмеру, слово пришло через немецкий *Skandal* или французский *scandale*. В русском церковнославянском языке со значением «соблазн, искушение» слово заимствованно непосредственно из греческого языка. Отсюда и нюансы использования этого слова. В качестве глагола в русском языке существует малоупотребляемое в наше время слово *скандализировать*, пришедшее из немецкого *skandalisieren*, означающее *соблазнять*, *оскорблять*.

В научной литературе и словарях определение скандала достаточно разнообразно. Это связано как с различием социальных пространств (сфер), где он возникает, так и с дисциплинарной спецификой исследователя. Конечно, бытовой скандал, научный скандал и политический скандал обладают особыми характеристиками. Вместе с тем есть некоторые общие черты, позволяющие все эти события отнести к одному классу явлений. Это же относится и к подходу литературоведа, культуролога, политолога и других специалистов, позиции которых объединяет лишь то, что термин «скандал» относится к действиям, событиям или обстоятельствам.

Большинство исследователей соглашаются с тем, что скандал, прежде всего, характеризуется публичным нарушением норм, ценностей, выходом за пределы обычного, приличного. Массовое публичное нарушение норм может разрешаться и приветствоваться в карнавале, но это событие тем не менее регламентировано по времени и формам поведения. Более того, оно включается в общий свод правил, поддерживающий социальный порядок. Субъект скандала несанкциониро-

[1] Римский сенатор Маний Манилий (II в. до н.э.) поцеловал свою жену в присутствии своей дочери и был исключен из списка Сената цензором Катоном Старшим. Первоначальное использование в позднем Средневековье при исчислении и коммерческих расчетах арабских цифр и нуля вызывало скандалы, связанные с «удивлением, отвращением, которые разум проявлял долгое время» (*Юнгер Э.* Числа и Боги / Филемон и Бавкида. М.: Тотенбург, 2022. С. 25). Время быстрых социальных изменений приводит к серьезным переоценкам норм: «Вообще в нашем кругу люди скандально распустились. Дамы и барышни говорят такие слова и выражения, слушают такие анекдоты, которые в прежнее время никто бы не позволил себе произнести или рассказать даже в присутствии жены. <...> За что прежде исключали из полков, не принимали в порядочные дома — теперь считается чуть ли не геройством каким-то» (*Брусилов А.А.* Мои воспоминания: Воспоминания. Мемуары. Минск: Харвест, 2003. С. 410–411).

ванно ненормален в своем поведении. Однако ненормальным является поведение и преступника, и умалишенного. В том и другом случае возможно совпадение со скандалом. Помимо очевидного уголовного деяния возможны случаи пограничные. Признание идентичности этих событий или различия их находится в политико-культурной и юридической плоскости[1].

Известный исследователь данного феномена Дж. Томсон полагает, что одной из отличительных черт скандала является секретность или сокрытие, которое прорывается, опубличивается и осуждается. Публичность скандала, с чем соглашается большинство исследователей, тем не менее проблематична. Обычно публичность связывают с открытостью, доступностью и коллективностью. Часть исследователей связывает эти характеристики с появлением публичного пространства, в котором беспрепятственно циркулирует информация. Вопрос объема этого пространства решается по-разному. В обществе модерна оно расширяется максимально, в том числе в связи с появлением и развитием СМИ. В традиционном, пространственно и социально фрагментированном (по содержанию и объему распространяемой информации) обществе публичность и публика также фрагментированы. В этом смысле в своих локальных проявлениях скандалы могут обретать весьма разнообразные пространственные и социальные формы.

При отсутствии современных СМИ в традиционном обществе функции распространителя информации выполняли слухи, сплетни, списки памфлетов. Циркуляция этих источников происходила при дворе, в казармах, в церквях, на рынках и т.п. Носителями-распространителями могли быть как придворные, обыватели, так и странствующие монахи, торговцы и прочий путешествующий люд. Но это растягивает скандальное событие во времени, что, конечно, не снимает его воздействие на общество. Однако в традиционном обществе существовала форма достаточно публичного и коллективного общения, в процессе которого можно было проинформировать и осудить нарушение норм, т.е. эксплицировать скандал. Это была проповедь в церкви, мечети или другом храме[2].

Существенным показателем скандала является его неодобрение или восприятие людьми как оскорбления. В этом смысле скандал как таковой рассматривается как факт нарушения неких установленных в обществе (группе) границ, переход

---

[1] Так, кликушество юродивого с обвинением властной персоны может в разное время квалифицироваться и как нравственно-религиозная критика, и как подстрекательство к бунту. Шутки пажа Павла I А.Д. Копьева, дергающего за косу императора или кормящего щами бюст царя, могут восприниматься как озорство, но и как оскорбление величества, насмешка над высшей властью, сравнимая с ее дискредитацией, политический выпад. Но здесь есть элемент нарочитости, шутовства. Но возможны ситуации явного нарушения норм, которое приветствуется обществом. Княгиня Д.Х. Ливен описывает реакцию на убийство Павла I: «Скандал оказывался крупный — общественное мнение резко расходилось с нравственностью и правосудием» (*Ливен Д.Х.* Кончина императора Павла // Исторический вестник. 1906. № 5. С. 429).

Здесь существенно, что, расходясь с нормами, общество, одобряя убийство императора, это отчетливо осознавало и рассматривало происшедшее как экстраординарный случай, не отменяющий нормативных оснований своего существования.

[2] Известна активность константинопольского епископа Иоанна Златоуста (Хризостома) (IV–V вв.) в обличении тщеславия и любви к роскоши императрицы Евдоксии, закончившаяся его низложением. Здесь очевидность двойного скандала — поведение императрицы и морализаторская страстность Иоанна. То и другое выходило за рамки приличий, но оценивалось это разными социальными группами (публиками), так что у каждой был свой скандал. Этот пример как раз и показывает, насколько две стороны скандальной ситуации взаимно не приемлют поведение оппонента, поскольку в одном случае оно оскорбляет нравственно-религиозные ценности, а в другом — иерархические. В обоих случаях страдает репутация либо благочестивой императрицы, либо верноподданного.

за пределы приемлемых для этих людей норм и — в том числе неписаных — правил. В силу этого для описания такого рода явлений в науке часто используется термин «трансгрессия».

В политической сфере, как и в других областях общественной жизни, могут возникать скандалы совершенно разного рода, но при этом касательно затрагивающие собственно политические явления. Однако воздействие скандала оказывается шире в силу институциональных свойств политики и положения властных персон. Таким образом, скандал прямо или косвенно связан с различными гранями политической власти, ее формированием и функционированием. Политический скандал демонстрирует обществу отношение доминирующих групп к нормам и ценностям, признанным в обществе. Одновременно в процессе развертывания скандала публика в той или иной степени демонстрирует свое отношение к элитам и их деятельности.

Таким образом, первая отличительная черта политического скандала — это прямое или косвенное участие в нем политической персоны, являющейся субъектом скандального поведения, публичного заявления или объекта скандального воздействия. Но в ряде случаев место индивида может занимать властная группа (элита), политический институт, государство и государственные органы. При этом нарушаемые в скандале нормы и ценности не обязательно носят политический характер. Например, это могут быть уклонение от налогов, супружеская измена и т.д. В силу этого некоторые исследователи полагают, что политические скандалы возможны только в демократических обществах, поскольку свобода выражения мнений через СМИ позволяет апеллировать к публике и воздействовать на властные структуры. В целом же развитие и последствия скандалов различаются в зависимости от типа политического режима, степени контроля властными группами информационных потоков и общественного мнения, внутренней сплоченности элиты, заинтересованности общества в сохранении ценностно-нормативной системы, а также степени развития гражданского общества.

Скандал может возникнуть в результате намеренной политизации фактов профессиональной и частной жизни. Например, рутинная практика административных действий и взаимоотношений с коллегами по университету может постфактум стать свидетельством неприемлемых политико-идеологических ориентаций (например, случай М. Хайдеггера[1]). В качестве источника скандала может также выступать игнорирование политическим игроком ранее сложившегося контекста или же публичное оспаривание оценок и смыслов актуального контекста и отдельных событий. Например, для современных США весьма характерно осуждение деятелей прошлого и превращение оценки ретроспективных практик в основу нового — скандального — прочтения истории с целью обоснования актуальных политических требований. В этом смысле политики прошлого становятся нашими современниками. Особенно это свойственно радикальным активистам борьбы с гендерным и расовым неравенством. Так, сожительство одного из отцов-основателей Т. Джефферсона со своей рабыней становится основанием яростного обвинения третьего президента в расизме (и даже сноса его памятников). Весьма характерно обвинение политиков и общественных деятелей поставторитарных и посттоталитарных обществ в пособничестве в злодеяниях этих режимов. Такого рода инвективы, как пра-

[1] *Федье Ф.* Хайдеггер: Анатомия скандала. М.: Владимир Даль, 2008.

вило, носят безапелляционный характер и в большинстве случаев преследуют узкогрупповые политические или иные интересы. Целенаправленное разжигание скандалов, диффамация с целью разрушения репутации соперников являет собой характерную черту политического процесса во многих современных государствах. Впрочем, нельзя не видеть и того, что одновременно с дискредитацией политического конкурента или соперника происходит повышение популярности (рейтинга) инициаторов скандала.

Таким образом, политические скандалы являются производными событиями конфликтов и конкуренции в сфере власти. Именно в этом ключе данный феномен описывается и исследуется сторонниками конфликтной теории скандалов. В силу этого характеристика скандальных событий связывается с отношениями элит и масс, требованиями различных сторон, взаимодействием норм и правил, ценностными различиями. Используемый здесь структурно-функциональный подход подчеркивает включение многочисленных акторов в системы ролевых действий и ожиданий (в силу чего политические скандалы трактуются как следствие взаимодействия политиков и чиновников в различных социальных и институциональных пространствах, определяющих им те или иные социальные роли). Тем самым признается, что политический скандал нередко возникает вследствие переноса партикулярных отношений участников в публично-политическую сферу.

Собственную роль в инициации скандалов играют культура и политика «активной толерантности». Отсутствие возможности заявить свое мнение, а равно представление о том, что несогласные должны мириться с таким положением, может порождать недовольство, возмущение, активную и даже агрессивную реакцию. Часто такое поведение приводит к публичному скандалу, который намеренно провоцируется сторонниками навязывания такого мультикультурализма. Значительная доля такого рода скандалов в Западной Европе связана с выпадами против ислама и мусульман. «Воспитывающие» воздействия по прививанию терпимости включают публичное уничтожение священных книг, публикацию карикатур, шуток и т.п.[1]

Каковы же *функции* скандала? Существует предположение, что скандалы служат специфической формой информирования общества о проблемах, связанных с регулированием социетальных процессов и функционированием политических акторов. В этом отношении скандалы проясняют значение нормативной системы общества. В то же время со структурно-функциональной точки зрения скандалы могут быть рассмотрены как один из механизмов саморегулирования системы. Однако для эффективности такой корректировки необходимо вмешательство общественности, в силу чего фактором реализации данной функции становится активность гражданского общества. В этом случае скандал обретает амбивалентный характер, демонстрируя свою возможность одновременного контролинга за властью и обществом. Наряду с этими подходами, конфликтная парадигма рассматривает скандал как форму и средство борьбы за различного рода ресурсы.

[1] В этой связи уместно вспомнить показательный случай с французским журналом *Charlie Hebdo*, неоднократно публиковавшим каррикатуры на пророка Мухаммеда, что в итоге привело к нападению с жертвами на офис журнала в январе 2015 г. Впрочем, ряд СМИ в отношении других конфессий также допускает такого рода действия. Политические власти в подобных случаях занимают нейтральную позицию или занимают сторону провоцирующей стороны. Понятно, что данное обстоятельство придает скандалу острополитический характер.

В этом смысле скандал используется как инструмент дискредитации и делегитимации противника, снижения его политического ресурса, вплоть до вытеснения из публичного поля. В данном случае нередко используется и зондирующая функция скандала, предполагающая выявление сторонников и противников и прояснение их позиций.

Динамические параметры скандала определяются в зависимости от выбора раскрывающих их содержание теоретических моделей. Так, Э. Сас (Szasz), анализируя американские политические скандалы (Уотергейт 1974 г. и Сьюргейт 1983 г.), использует комбинированный подход, опирающийся на структурную теорию государства и концепцию интерактивного «сохранения лица», восходящую к И. Гоффману. Здесь внимание эксперта концентрируется на том, как команды–участницы скандала борются за политические позиции, одновременно пытаясь разрушить репутацию соперника. В этом отношении динамика скандала (включающая взлет, рост, кульминацию и развязку) становится в чем-то похожей на средневековые пьесы о страстях.

В свою очередь, Дж.Б. Томпсон предлагает пять этапов в развертывании скандала: первоначальное нарушение норм (трансгрессия); включение общественности и публичное осуждение произошедшего; возрастание публичного интереса к событию; эскалация скандала и усиление внимания СМИ; подтверждение значения старых норм или институционализация новых («декларация»).

Другой теоретик — С. Вебер на основании исследований политических скандалов в 13 странах предложил обобщенную стадиальную модель (опирающуюся на функционализм, конфликтный интеракционизм и постмодернизм), подчеркивая, однако, что ни один из выделенных им этапов не является обязательным условием развития скандала. Итак, он выделил пять стадий.

*Первая* стадия («структурная благоприятная среда») раскрывает общие социальные характеристики скандала, демонстрируя возможности его развертывания и определяя, насколько существующая социальная структура способствует такому развитию событий (в этом отношении признается, что западные демократические общества более открыты для скандала).

*Вторая* стадия («претензии и возражения») характеризует первоначальные претензии к политическим деятелям или кандидатам на должности. При решительном опровержении и отсутствии дальнейших претензий скандал, не переходя в публичную сферу, затихает.

*Третья* стадия («конфликт») отражает наличие открытой публичной конфронтации. Здесь выявляются фигуры, инициирующие и подогревающие развитие скандала, а также те персонажи, которые стремятся притушить и завершить развитие скандальной ситуации.

*Четвертая,* ключевая стадия («признание»), демонстрируя различные формы взаимодействия его участников, отражает признание обществом скандала как политического события.

*Пятая с*тадия («разрешение») означает завершение скандальной ситуации. Причем, даже если такого признания не происходит, скандал все равно постепенно сходит на нет. В то же время его последствия могут иметь различный характер — как существенный, так и незначительный.

Свою роль в характеристике политического скандала играют различные *классификаторы* этого явления. Так, С. Аллерн и Э. Поллак, анализируя скандалы

в скандинавских странах, обращают внимание на характерные для этих государств шесть основных разновидностей: правонарушения в сфере экономики (наиболее распространенные); неприемлемое личное поведение политиков (скандалы на сексуальной почве, злоупотребление алкоголем или наркотиками); неприемлемая риторика; злоупотребление политической властью; нарушение законов и правил, а также другие, в том числе смешанные, скандалы. Причем, как показывают исследователи, в разных странах удельный вес отдельных типов скандалов может быть различным.

Особый тип скандалов — скандалы *символические,* демонстрирующие презрение к определенным ценностям, нормам, группам населения, странам, политическим режимам или их лидерам. Такие скандалы способны привести к культурным разрывам и недопониманию позиций конкурентов, которые способны породить устойчивую неприязнь и взаимное недоверие. Характерно, что такой тип скандала может возникать не только инициативно, но стихийно, исключая чей-то сознательный умысел[1].

В современных демократических режимах скандалы могут возникать на базе противоречий между идеологией представительной демократии и реальной дистанцией между гражданами и их представителями. Особенно это было характерно для начала «хождения в народ» представителей высших и средних классов. Появление в простонародной одежде в стенах парламента рабочего или крестьянина могло вызвать недоумение и возмущение[2]. Близкий по типу символический скандал провоцируется и столкновением разнородных норм и обычаев (особенно если он жестко эксплицируется). К примеру, во время визита высших чиновников Евросоюза в Турцию в апреле 2021 г. возник скандал, названный в прессе «софагейтом»: главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не нашлось места рядом с Реджепом Эрдоганом. Она вынуждена была сидеть на диване в отдалении, а рядом на стуле сидел глава Совета Европы Шарль Мишель. Пикантность ситуации придало то обстоятельство, что незадолго до этого Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин.

Особый вариант символического скандала представляет собой намеренное уничтожение, попрание или изменение политических (государственных) символов, демонстрирующих протест или несогласие с определенной политикой (например, топтание флагов, сожжение чучел политических противников

---

[1] Один из хрестоматийных случаев связан с возвеличиванием и приданием политического статуса коню римского императора. Сначала Калигула сделал своего любимца Инцитата гражданином Рима, затем сенатором и под конец занес его в списки кандидатов на пост консула. За видимым сумасбродством Калигулы скрывалась вполне рациональная цель — унизить, разозлить и высмеять сенат. Таким образом этому малозначимому в управлении и принятии решений политическому институту при режиме абсолютной персональной власти указывалось его место и обнаженно демонстрировалась истинная иерархия.

[2] Внешне похожая ситуация возникла во время приема депутатов первой Государственной думы в Зимнем дворце в 1906 г. Очевидцы описывали диссонанс между аристократическим Двором и депутатской массой. Одни в мундирах и драгоценностях, другие — в черных сюртуках, в высоких сапогах, в серых армяках. Как заметил после приема министр двора граф Фредерикс: «Эти депутаты скорее похожи на стаю преступников» (*Мосолов А.А.* При дворе последнего Императора: Записки начальника канцелярии министра двора. СПб.: Наука, 1992. С. 182). Схожее впечатление производит президент Украины Зеленский своим облачением в военную форму во время официальных встреч. Похоже, впрочем, что он не осознавал, придя в Конгресс США в таком виде, что он нарушает какие-то правила, обычаи и протокол. Однако такая скандалезность дает определенный сигнал, который адресат не всегда воспринимает адекватно.

и т.п.). Такой же эффект вызывает и использование альтернативных государственных символов[1].

Особым значением обладают и *позиционно-статусные* скандалы, которые отражают нарушение этических норм или общих правил и установлений, утверждающих стандарты поведения политиков или администраторов во взаимоотношениях с населением или же касающихся их самопрезентации в публичной сфере[2]. Весьма распространены и *коррупционные* скандалы, отражающие переплетение экономических и политических интересов в политико-административной элитарной среде и сочетающиеся с различными формами индивидуального обогащения в верхах, взяточничеством и казнокрадством. Источники и формы такого рода явлений хорошо показал Ч.Р. Миллс, подчеркивавший значение двойной лояльности чиновников, оборачивающейся преференциями экономическим структурам.

Весьма распространенными следует признать и политические секс-скандалы, имеющие давнюю и богатую историю[3]. В современном обществе, где семья и секс признаются частным делом, семейно-родственные порядки не несут такого значения для политического строя, как это было в традиционном обществе. Но хотя сексуальные скандалы с политическими фигурами весьма заметны и имеют серьезные последствия, их значение для политической стабильности весьма минимально.

---

[1] В частности, чемпионат мира по футболу в 2022 г. дает несколько примеров таких символических скандалов. Например, Федерация футбола США опубликовала в своем аккаунте в *Twitter* (признан экстремистским и запрещен на территории России) фотографию флага Ирана без герба Исламской Республики — красного меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово «Аллах». Это было сделано в знак поддержки «иранских женщин, борющихся за права человека» и протестов в Иране.

[2] Хорошо известны факты пренебрежения требованиями политиков к поведению в условиях пандемии COVID-19. Так, в Великобритании вечеринки в офисе премьер-министра в период карантина привели к серьезному скандалу — *Partygate*. Аналогичные случаи были зафиксированы во многих странах. В России негативную общественную реакцию вызвали случаи демонстративно высокого потребления депутатами и чиновниками в условиях военной операции на Украине. Нередко общество сталкивается и с фактами оскорбительного поведения должностных лиц в отношении рядовых граждан.

[3] В этой связи можно вспомнить, что в традиционных обществах сексуальные отношения царственных особ могли иметь непосредственно политическое или государственное значение. Так, библейское описание греха прелюбодеяния царя Давида с замужней Вирсавией и дальнейшее убийство мужа чужими руками следствием своим имело гнев Божий (2 Царств 11, 12). От имени Господа пророк Нафан говорит: «Ты сделал тайно; а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Из частного дела событие становится публичным и скандальным. В таких условиях нарушение заповеди становится религиозно-политическим деянием, поскольку царь не может быть частным лицом. И хотя Давид отделался сравнительно легко — смертью сына, но угроза была существенной.

Столь же серьезными последствиями оборачивалось и прелюбодеяние со стороны жены владетельной персоны и могло поставить под сомнение родовую чистоту и наследственную законность ее детей. Судьба династии и государства в этом отношении зависела от беспорочности супруги. Поэтому наказания в случае преступления предполагались суровые. В меньшей степени это касалось мужчин, но появление незаконных детей также могло подорвать спокойствие и стабильность. Одним из громких скандалов в средневековой Франции было обвинение невесток французского короля Филиппа IV Красивого в прелюбодеянии. Жены трех принцев были обвинены в неверности, и суд (Парижский парламент) признал их виновными. Последствия этого скандала оказались серьезными как для династии Капетингов, так и для Франции (одним из следствий стала Столетняя война). Это событие послужило основой для многочисленных литературных и кинематографических произведений. Через двести лет в Англии также случился громкий скандал. Вторая жена короля Генриха VIII Анна Болейн была обвинена в прелюбодеянии, кровосмешении, заговоре и была обезглавлена. И опять же череда событий, связанная с браком Болейн и ее казнью, в определенном роде стала толчком к значительным политическим изменениям — началу английской Реформации. В отечественной истории известна менее драматичная история внебрачной связи императора Александра II с княгиней Долгоруковой, в последующем его морганатической женой под именем княгини Юрьевской.

В то же время для политической карьеры отдельных фигур этот тип скандалов является весьма значимым. Особенно если они оказываются интересными для СМИ или имеют широкий резонанс в связи с нарушениями значимых для общественности принципов семейных отношений. Так что моральный облик политика и его чистоплотность в этой сфере не просто отражают переплетение социальных ролей, но жестко связаны с проблемой доверия. Именно поэтому в результате сексуальных скандалов (чьим содержанием, как правило, являются изнасилования, связь с несовершеннолетними, сексуальные домогательства, связь с проститутками, адюльтер) могут (хотя так происходит не всегда) разрушаться персональные политические карьеры[1]. В США, к примеру, даже выработался определенный ритуал, напоминающий религиозное раскаяние, для кающихся политиков, замешанных в адюльтерах. Провинившийся появляется публично с женой, держа ее за руку, и произносит слова покаяния. Супруга может также сказать что-то проникновенное о перенесенном кризисе и крепости семейных уз.

Обратим внимание и на *политико-религиозные* скандалы, вызванные публичным нарушением религиозной обрядности, действиями и высказываниями в отношении конфессиональных практик, ценностей, норм и священных реликвий. В обществах, где религия играет важную роль, нарушение религиозных норм или столкновение религиозности и светскости может быть триггером мощного политического скандала, а в традиционных обществах — в силу непосредственной встроенности религии во все сферы общественной жизни — религиозные нарушения являются вызовом функционированию социума в целом.

В ряде современных обществ сохраняется существенное влияние религии и соответствующих норм. В странах мусульманской культуры существует повышенная чувствительность к священным артефактам и нормам шариата. В этом отношении акции воинствующих антиисламистов могут приводить не только к скандалам, но и к ответным политическим действиям[2]. С другой стороны, европейское общество скандализируется появлением на улицах «шариатской полиции» и других блюстителей мусульманской морали, пытающихся таким образом повысить общественную нравственность. Такого рода практики вызывают у неисламизированной части общества естественную реакцию отторжения[3]. В любом случае этот тип

---

[1] Из наиболее известных скандалов можно упомянуть скандал Клинтон–Левински («Моникагейт», США), скандал с принцем Эндрю (Великобритания), директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, после чего он перестал быть актуальным политиком и претендентом на пост президента Франции. В России обнародование записи общения генерального прокурора Ю. Скуратова с проститутками, что в конечном счете привело к его отставке. Но более существенно, что прекратилось расследование махинаций и хищений, известных как «Рашагейт», «Руссьягейт», «Кремлингейт» (наиболее значимые дела в этом комплексном скандале — дело об отмывании российских денег через банк *Bank of New York*; дело о пропаже большей части кредитного транша МВФ в 4,8 млрд долл., выделенного России в июле 1998 г.; дело о коррупции при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля) и в которых, по сведению СМИ, была задействована семья президента Б. Ельцина.

[2] Так, например, публичное сожжение Корана в Швеции в январе 2023 г. вызвало жесткую дипломатическую и внешнеполитическую реакцию мусульманских стран, а Турция по совокупности причин отказалась вести переговоры со Швецией о вступлении последней в НАТО.

[3] Властные инстанции пытаются противодействовать такой параллельной юстиции. Роман М. Уэльбека «Покорность» (2015) стал своего рода литературным ответом на экспансирующий ислам и вызвал скандал. Сам автор сказал: «Во-первых, я написал не исламофобскую книгу, а во-вторых, у меня есть право написать исламофобскую книгу». Ранее в России появился роман Е. Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год» (2005), посвященный проблеме исламизации Франции и также

скандалов отражает жесткое столкновение носителей различных культурных ценностей и норм, приобретает существенное политическое значение[1].

В последние годы особое значение приобрели политико-спортивные скандалы. Политический смысл нарушений требований в спорте в конце прошлого и в нынешнем веке становится почти правилом в международных организациях и соревнованиях. Особенно наглядно это проявляется в связи с обнаружением допинга в пробах спортсменов. Квалификация индивидуально-группового действа как примера государственной политики в области спорта становится важным инструментом и конкурентной борьбы, и политического соперничества. Одновременно расширяются различные санкции и ограничения на спортсменов, национальные сборные и страны в связи с внешней и внутренней политикой тех или иных государств. В связи с этим возникают уже вторичные скандалы, связанные с использованием на международных соревнованиях национально-государственной эмблематики, исполнением гимнов и т.п.

Поскольку, как мы видим, скандалы всегда связаны с нарушением общественных норм, оценка их содержания населением (особенно оценивающего персональных участников скандала в зависимости от их личных характеристик и групповой аффилиации) и властями тем не менее оказывается достаточно различной.

Так, исследователи обнаружили, что в реакции населения на скандалы имеет значение половая принадлежность участников. Нарушение гендерно-ролевых ожиданий может существенно повлиять на оценку произошедшего и участников события. Например, функционирование женщин-политиков в мужском мире требует от них соответствующего поведения. Однако гендерно-ролевые ожидания у значительной части публики оказываются иными. Поскольку здесь срабатывает эффект «отрицательной реакции» на нарушение гендерных норм, то женщины—участницы скандала осуждаются более сурово, чем их коллеги-мужчины. Такая тенденция была обнаружена, в частности, в США[2] (хотя есть исследования, показывающие не столь прямую зависимость)[3] и Италии[4].

---

воспринятый частью публики как скандальный. Война скандалов вокруг ислама свидетельствует о серьезной проблеме в межкультурном и межконфессиональном взаимодействии.

[1] Вспомним попутно и иные показательные примеры. Так, соблюдение кашрута для израильского политика является важным для его идентификации и связи с религиозной общиной. Скандалы, связанные с нарушением ритуальных правил в еде и приеме пищи, периодически случаются. В 2014 г. произошел скандал во время визита в США премьер-министра Б. Нетаньяху, который был замечен в некошерных ресторанах вместе с послом Израиля в Вашингтоне. На сайте посольства Израиля в Бразилии в 2019 г. была помещена фотография посла с президентом Ж. Болсонару за обеденным столом, и было очевидно, что посол отобедал лобстером. Для части израильских граждан такое поведение должностных лиц является неприемлемым, нарушающим идентификационные нормы.

В России большой скандал случился в результате «панк-молебна» группы *Pussy Riot* в храме Христа Спасителя в Москве в 2012 г., воспринятого религиозной общественностью как кощунство. Реакция властей и осуждение участниц акции вызвало волну критики со стороны оппозиционно настроенных граждан, посчитавших, что это нарушение свободы выражения мнения. (Соруководитель группы П. Верзилов признан иноагентом. В сентябре 2024 г. МВД России объявило в розыск участниц группы).

[2] *Courtemanche M., Connor Green J.* A Fall from Grace: Women, Scandals, and Perceptions of Politicians // Journal of Women, Politics & Policy. 2020. Vol. 41. No. 2. P. 219–240.

[3] *Smith E.S., Smith Powers A., Suarez G.A.* If Bill Clinton were a woman: The effectiveness of male and female politicians' account strategies following alleged transgressions // Political Psychology. 2005. Vol. 26. No. 1. P. 115–134.

[4] *Cucchi Silvia, Cavazza Nicoletta*. More guilty if woman: The role of gender and causal attribution in political scandals' impact // The Journal of Social Psychology. 2021. Vol. 161. No. 2. P. 173–181.

При этом и реакция публики также зависит от гендерного признака. Экспериментальные исследования американских психологов показали, что мужчины по сравнению с женщинами склонны более строго судить оступившихся женщин-политиков[1]. Примечательно, что в случае с женщинами, вовлеченными в скандальные события, происходит расширение ответственности — осуждаются не только они, но и их мужья, родственники[2].

Важным фактором оценивания скандалов является и *политическая аффилиация* (хорошо объясняемая концепцией внутригруппового фаворитизма / внутригрупповой предвзятости *(in-group favoritism, in-group bias*). В частности, в рамках теории социальной идентичности этот феномен связывается с переносом собственной положительной оценки на социальную группу, к которой индивид принадлежит. При этом внутригрупповой фаворитизм основывается на межгрупповой конкуренции за ресурсы. Э. Соломон, Дж. Хэкаторн и Д. Критендон обнаружили, что оценка политика, замешанного в скандале, зависит от принадлежности его к политической партии, к которой принадлежит оценивающий индивид. Причем при совпадении аффилиации отношение к участникам скандала становится более позитивным[3].

Итак, если мы утверждаем, что скандал сигнализирует о нарушении значимых социальных норм и служит коррекции поведения политических акторов, то возникает резонный вопрос об эффективности скандалов. Влияют ли они на поведение политиков? Корректируют ли они общественные институты? В современной литературе нет единства в понимании последствий политических скандалов и их воздействия на общество в долговременной перспективе. Часть исследователей полагает, что политические скандалы работают на укрепление демократии. Сам факт их появления свидетельствует как о свободе прессы, так и о способности общества отстаивать свои принципы. В этой логике скандалы не только демонстрируют временную дисфункциональность системы, но и могут обеспечивать стабильность ее функционирования. Они демонстрируют некий эффект самоочищения системы, укрепления ее способностей держать удар.

В то же время большинство исследователей все же считает, что скандалы подрывают систему. Они делегитимируют режим, ослабляют институты и персоны. При этом цепочка скандалов может привести к разрушению политической системы. Помимо этого, частые скандалы негативно воздействуют на ценностную систему граждан, которые становятся более циничными, у них падает доверие к добрым намерениям и возможностям правительства, политическим институтам в целом. Это демотивирует потенциальных политиков и чиновников с позитивной в отношении общественной пользы установки к участию в политико-административном процессе. И наоборот, мотивирует активность индивидов с корыстными и эгоистическими интересами. В этом отношении скандалы включаются в механизм самоподдержания и воспроизводства циничной коррумпированной системы.

---

[1] *Stewart D. D.*, et al. The value of outside support for male and female politicians involved in a political sex scandal // The Journal of Social Psychology. 2013. Vol. 153. No. 3. P. 375–394.

[2] *Hornnes E.S.* When women have to apologize. Female apologia and political scandals. Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries / Ed. by S. Allern E. Pollack. Göteborg: Nordicom, 2012. P. 133–149.

[3] *Solomon E.D., Hackathorn J.M., Crittendon D.* Judging scandal: Standards or bias in politics // The Journal of Social Psychology. 2019. Vol. 159. No. 1. P. 61–74.

Уже упоминавшееся исследование Э. Саса продемонстрировало, что Уотергейт и Сьюргейт[1] не оказали значимого влияния на американскую политику и массовые политические настроения в долгосрочной перспективе. И если в первом случае скандал привел к перестановкам в американском правительстве и даже досрочной отставке президента, то второй (хотя и был очень серьезным и длился пять месяцев) остался малоизвестным за пределами страны. Между тем известны скандалы, серьезно повлиявшие на изменение политической системы. В частности, в Италии в результате расследования «Чистые руки» под подозрение попали около 5 тыс. общественных деятелей. Коррупционная система «Тангентополи» («Город отката») была разрушена, и партийно-политическая карта страны в 1990-е годы существенно изменилась.

Эффективность скандала как средства борьбы оказалась явно неидентичной с точки зрения темпоральных и культурных параметров политики в различных странах. Вместе с тем приходится признать, что в настоящее время сила скандала не столь велика, и хотя персональные потери от него остаются значительными, в целом же происходит его политическая рутинизация.

*А.В. Дука*

**Литература**


1. *Андрющенко Е.Г.* Скандал в технологии политического спектакля // Наука. Культура. Общество. 2011. № 3. С. 6–26.
2. *Вавочкина И.Д.* О пользе политических скандалов // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Т. 3. С. 375–394.
3. *Дмитриев А.В., Сычев А.А.* Скандал. Социофилософские очерки. М.: ЦСП и М, 2014.
4. *Дука А.В.* Властные элиты в пространстве скандала (случай генерала Золотова) // Власть и элиты / Гл. ред. А.В. Дука. Т. 5. СПб.: Интерсоцис, 2018. С. 110–149.
5. Скандал: сферы воздействия: Сб. науч. статей / Под ред. А.В. Дмитриева. М.: Изд-во СГУ, 2013.
6. Скандал как форма коммуникации: Сб. науч. статей. М.: Изд-во СГУ, 2012.
7. *Brenton S.* Scandals as a Positive Feature of Liberal Democratic Politics: A Durkheimian Perspective // Comparative Sociology. 2012. Vol. 11. No. 6. P. 815–844.
8. *Dancey L.* The Consequences of Political Cynicism: How Cynicism Shapes Citizens' Reactions to Political Scandals // Political Behavior. 2012. Vol. 34. No. 3. P. 411–423.
9. Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media / Ed. by K. Demirhan; D. Çakır-Demirhan. Hershey, PA: IGI Global, 2017.
10. *Rottinghaus Brandon*. Surviving Scandal: The Institutional and Political Dynamics of National and State Executive Scandals // PS: Political Science and Politics. 2014. Vol. 47. No. 1. P. 131–140.
11. The Routledge companion to media and scandal / Ed. by H. Tumber and S. Waisbord. N.Y.: Routledge, 2019.
12. Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries / Ed. by S. Allern E. Pollack. Göteborg: Nordicom, 2012.
13. *von Sikorski C.* The aftermath of political scandals: A meta-analysis // International Journal of Communication. 2018. Vol. 12. P. 3109–3133.


[1] Этот скандал разразился в 1983 г. в Агентстве по охране окружающей среды США. СМИ сообщали о политическом фаворитизме, любовных сделках, конфликте интересов, незаконном присвоении средств и уничтожении улик. В конфликт были вовлечены Белый дом и Конгресс. И тем не менее, как пишет исследователь, фундаментальных изменений не произошло. Этот важный вывод автор связывает со структурой массового политического сознания, находящегося в хроническом состоянии рассеянной памяти и отсутствия исторической преемственности. В значительной степени это характеристики не только американского, но и в целом современного индустриального общества. Схожие выводы можно сделать и по скандалам в других странах.

# Политическое оспаривание

В современной научной литературе понятие «политическое оспаривание»[1] еще не приобрело однозначного понимания. С одной стороны, оно рассматривается как инакомыслие, критика, обсуждение политических проектов, столкновение интерпретаций политических событий или, другими словами, *конкурентный дискурс* правительственной повестки и критиков правительства в пространстве массовой коммуникации[2]. Такое понимание позволяет точнее артикулировать актуальные проблемы, расширяет арсенал альтернативных решений, укрепляет разделение оконечностей партийно-идеологического поля на «левых» и «правых»[3].

С другой стороны, оспаривание описывается как форма *политического действия* граждан по выражению своего несогласия, сфера конструирования новых субъектов и форм активности, способ продвижения общественных интересов и политической повестки. В таком случае оспаривание рассматривается как инструмент создания публичной сферы, доступной каждому гражданину при любых политических режимах и культурно-ценностных контекстах. В большинстве исследований не предпринимаются попытки дать концептуальную трактовку этому феномену, понимаемому в качестве открытой или латентной политической борьбы и разнообразных проявлений активности политических акторов[4].

Более четкие границы понятие «оспаривание» приобретает в рассуждениях Г. Ионеску, использующего данную дефиницию применительно к анализу неконкурентных политических режимов, где отсутствует институт партийно-политической оппозиции. В этом плане ученый понимает под оспариванием *антисистемные практики, полулегальные и нелегальные действия* «несогласных», основанные на фундаментальных идеологических различиях. Альтернативные (оппозиционные) группы лишь критикуют существующую власть, так как лишены возможности победить на нечестных выборах и стать оппозицией в классическом понимании либеральной демократии[5]. В этом же ключе Г. Лавау и Л. ван дер Ланд описывают политическое оспаривание как силовые протестные действия граждан, отказавшихся от использования институциональных каналов политической системы. Спецификой таких протестных коллективных действий является стремление акторов не столько ре-

---

[1] Оспаривание (*political contestation*) — опровергать, возражать, спорить.

[2] *Guitar J.* Dissent, Discourse, and Democracy. Whisteblowers as Sites of Political Contestation. Lexington Books, 2021.

[3] *Alons G.* The advantage of paradigmatic contestation in shaping and selling public policies // Journal of Public Policy. 2020. Vol. 40. Iss. 4.

[4] См., напр.: *Kaardo J., Cantir C.* Domestic Role Contestation and Foreign Policy // Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press, 2017; Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World. A Decade of Change / Ed. by L. Jayyusi, A.S. Roald. Palgrave Macmillan US, 2016; *Strange M.* Political contestation and the emergence of new actors, but who governs? // Global Discourse. 2016. Vol. 6. No. 3; *Mattbeis A.* Political Contestation and Discursive Argumentation: Revising Minnesota's School Integration Revenue Statute // Education Policy Analysis Archives. 2016. Vol. 24. No. 107; *Mietzner M.* Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia // East-West Center Policy Studies. East-West Center (EWC). 2015. Vol. 72; *Sternberg G.* The Struggle for EU Legitimacy. Public Contestation, 1950–2005. Palgrave Macmillan, 2013; *Beinin J., Frédéric V.* Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Stanford University Press, 2013.

[5] *Ionescu G.* Control and Contestation in Some One-Party States // Government and Opposition. 1966. January. No. 1.

шить проблему путем оспаривания, сколько осуществить масштабные социальные преобразования, усиливающую эмансипацию человека в ограничивающем его социальном контексте. В этом русле практики оспаривания рассматривались другими исследователями как механизм протестной мобилизации в неконкурентных режимах, способ расширения участия граждан в конфликтных политических процессах, трансформации электоральных институтов[1] и принятии решений.

Рассматриваемое понятие широко используется и специалистами по международным отношениям и межгосударственным переговорам[2]. В этом поле практики оспаривания рассматриваются через призму политического оппонирования, запросы, протесты, деятельность социальных движений, а также согласительные процедуры и арбитраж. К примеру, А. Винер предприняла попытку придать понятию концептуальную точность, рассматривая его одновременно как: 1) социальные действия опубличивания несогласия с нормами международных взаимодействий; 2) возможность пересмотра существующей системы господства, стремления добиться большей эмансипации граждан и общества. По замыслу А. Винер, концепт «оспаривания» в международных отношениях должен стать связующим звеном между эмпирически наблюдаемыми политическими практиками и возможными (идеальными) нормами взаимодействия[3].

Если обратиться к первоначальным формам использования понятия «оспаривание», то следует указать на Б. Жувенеля, который в 1966 г. впервые использовал данный термин, подразумевая под ним постоянную возможность публичной артикуляции возражений против политики, проводимой законной властью. Эта форма активности тесно связывалась с демократическим политическим режимом, обладавшим чувствительностью к критике и способным к публичному обсуждению своих недостатков и альтернатив политического курса. В этом смысле Б. Жувенель относил к оспариванию только аргументированное и обоснованное несогласие. При этом субъектом оспаривания признавались обычные граждане, «стихийно формирующиеся в обществе объединения людей», стремящиеся к разрушению «авторитарного инстинкта» власти[4], которая при любом политическом режиме стремится к увеличению своих полномочий и расширению сферы влияния.

По мнению Б. Жувенеля, участие в выборах и ротация правящих элит недостаточны для «достойного правления», так как выборы проходят с периодичностью один раз в четыре или пять лет, а политический курс правительства ежедневно дает гражданам основания для согласия/несогласия. В силу этого у гражданина должны существовать дополнительные институциональные возможности для обсуждения, критики и предотвращения властных решений и действий[5].

---

[1] *Putten J. van*. Political Contestation and Political Protest // Il Politico. 1970. Vol. 35. No. 4; *Beinin J., Frédéric V.* Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Stanford University Press, 2013; *Jeffrey C.* Elections, Contestation, and Democracy // American Political Science Association. 2013. Vol. 11. No. 3.

[2] *Jose B.* Norm Contestation Insights into Non-Conformity with Armed Conflict Norms. Berlin: Springer, 2018; *Mende J.* The contestation and construction of global governance authorities: A study from the global business and human rights regime // Global Constitutionalism. 2021. No. 5; *Rapp K.* Law and contestation in international negotiations // Review of International Studies. 2020. Vol. 46. Iss. 5.

[3] *Wiener A.* Contestation and Constitution of Norms in Global International Relations. Cambridge University Press, 2020.

[4] *Жувенель Б. де*. Власть: Естественная история ее возрастания. М.: ИРИСЭН: Мысль, 2011.

[5] *Jouvenel B.* The means of Contestation // Government and Opposition. 1966. January. No. 1. P. 156–159, 164.

Отталкиваясь от понимания Б. Жувенеля, Р. Даль вводит в научный оборот понятие «публичное оспаривание» (*public contestation*), рассматривая его как один из параметров демократичности политического режима. «Публичное оспаривание», по его мнению, означает форму опровержения, превращения того или иного явления в предмет «диспута, спора, тяжбы». При этом субстанциональным свойством демократии признавалась «непрерывная способность правительства реагировать на предпочтения своих граждан, которые в политическом отношении рассматриваются как равные»[1]. Для осуществления этой возможности граждане должны иметь право формулировать свои предпочтения, выражать предпочтения согражданам и правительству посредством индивидуальных и коллективных действий. Таким образом, публичное оспаривание в трактовке Р. Даля раскрывает все многообразие дискурсивных действий граждан, профессиональных политиков и политической оппозиции по публичному представлению своего несогласия с готовящимися или принятыми решениями и действиями властей.

Такая трактовка публичного оспаривания предъявляла высокие требования к дискурсивным способностям граждан и институтов политической оппозиции: «Каждый гражданин должен иметь адекватную и равную возможность для определения и обоснования... своего предпочтения по вопросу, подлежащему решению, которое наилучшим образом отвечало бы интересам данного гражданина», поэтому «люди должны иметь шансы на достижение понимания этих проблем»[2]. В силу этого оппозиционные политики должны быть в состоянии предложить более или менее ясные толкования и варианты решения общественных проблем, донося их до аудитории. Политические программы конкурирующих партий должны формировать спектр альтернатив, в рамках которого граждане могут делать свой выбор.

Развивая традиции Р. Даля, А. Трантидис рассматривает оспариваемость в качестве необходимого элемента «демократического политического режима, который позволяет гражданам оказывать политическое влияние и защищать себя от политического доминирования»[3]. Исследование истории становления демократии в США и Великобритании позволило рассматривать «оспаривание» как одну из форм легального политического участия[4]. Конкретные примеры «оспаривания в рамках участия» (*contestation with inparticipation*) на субнациональном уровне описаны на примере практик оспаривания проектов городского развития, а также самих процедур их обсуждения. В такой интерпретации публичное оспаривание не предполагает тотального протеста: граждане принимают условия участия, однако проводят небольшие акции, демонстрируя свое несогласие как с предлагаемыми вариантами, так и с правилами дискуссии[5]. В свою очередь, Я. Родерберг и П. Вагенар рассматривают данное понятие как спор, конфликт в сфере культурного наследия с участием органов государственной власти[6].

---

[1] *Даль Р.* Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010. С. 6, 7, 15–16.

[2] *Даль Р.* Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2003. С. 168.

[3] *Trantidis A.* Is government contestability an integral part of the definition of democracy? // Politics. 2016. Vol. 37.

[4] Democracy, Participation and Contestation: Civil society, governance and the future of liberal democracy / Ed. by Emmanuelle Avril, Johann N. Neem. Routledge, 2015.

[5] *Hilbrandt H.* Insurgent participation: consensus and contestation in planning the redevelopment of Berlin-Tempelhof airport // Urban Geography. 2017. Vol. 38. Iss. 4; *Fuller C., West K.* The Possibilities and Limits of Political Contestation in Times of "Urban Austerity" // Urban Studies. 2017. Vol. 54. No. 9.

[6] Cultural Contestation. Heritage, Identity and Role of Government / Ed. by J. Rodenberg, P. Wagenaar. Palgrave Macmillan, Cham, 2018.

Предложенная Р. Далем характеристика оспаривания как критерия измерения степени демократичности политического режима была операционализирована А. Малеки и Ф. Хендриксом на материале 80 электоральных демократий в период с 1990 по 2009 г. В итоге исследователи предложили рассматривать данное явление через призму двух параметров: конституционно закрепленных прав на критику и несогласие, а также фактические возможности оспаривания в политической практике конкретного режима (разделяя тем самым подходы де-юре и де-факто). При этом авторы берут во внимание только конвенциональные формы политического участия (включающие как электоральное участие и участие в референдумах, так и формы неэлекторальной активности в виде подписания петиций, участия в бойкотах, присутствия на согласованных с властями демонстрациях)[1].

В работах Ч. Тилли, С. Тэрроу и Д. МакАдама[2] сформировано собственное понимание феномена «оспаривание» (*contention*), в котором политическое участие и действие включены в концепцию «состязательной (конфликтной) политики» (*contentious politic*s). «Конфликтная политика», по их мнению, реализуется по единым правилам и наблюдается тогда, когда обычные граждане предъявляют эпизодические требования к власти, проводят публичные акции, применяя известные формы коллективного действия, а также новые методы, комбинируя таким образом институциональные и неинституциональные способы продвижения своих требований. При этом к публичному оспариванию относят такие нерутинизированные виды политической борьбы, как революции, социальные и националистические движения, индустриальные конфликты, войны, наступательные действия групп интересов[3]. При этом Ч. Тилли подчеркивает конфликтный характер таких действий, считая преодоление сопротивления правящей группы и борьбу масс в защиту своих интересов полезными и способствующими развитию демократии[4]. Авторы концепции «состязательной политики» предложили универсальные механизмы анализа вовлечения граждан в политическую борьбу в разных странах и эпохах, которыми впоследствии воспользовались исследователи конкретных протестных кейсов[5].

---

[1] *Maleki A., Hendriks F.* Contestation and Participation: Operationalizing and mapping democratic models for 80 electoral democracies 1990–2009 // ActaPolitica. 2015. No. 51 (2).

[2] *Tilly C., Tarrow S.* Contentious Politics. Oxford University Press, 2015. — 270 p.; *Tarrow S.* Power in Movement. Social Movement and Contentious Politics. Cambridge University Press, 2011; *Tilly C.* Rhetoric, Social History, and Contentious Politics: Reply to Critics // International Review of Social History. 2004. Vol. 49. Iss. 1; *McAdam D., Tarrow S., Tilly C.* Dynamics of Contention. Cambridge University Press, 2001; *Tarrow S.* The People's Two Rhythms: Charles Tilly and the Study of Contentious Politics. A Review Article // Comparative Studies in Society and History. 1996. No. 3.

[3] *Tilly C., Tarrow S.* Contentious Politics. Oxford University Press, 2015.

[4] *Тилли Ч.* Борьба и демократия в Европе, 1650–2000 гг. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010. С. 9, 11. См.: *Тилли Ч.* От мобилизации к революции. М.: ИД «ВШЭ», 2019; *Тилли Ч.* Режимы и оспаривание // Логос. 2008. № 6; *Тилли Ч.* Демократия. М.: Институт общественного проектирования, 2007.

[5] Триггером «конфликтной политики» сторонники этой теории считают изменение политических возможностей и ограничений, позволяющих общественным группам, лишенным доступа к институтам представительной демократии, создавать новые ресурсы для своего действия или по-новому использовать доступные. Новыми ресурсами для действия могут быть организация, идея, технические средства координации коллективных действий (*Bloom J.M.* Political Opportunity Structure, Contentious Social Movements, and State-Based Organizations: The Fight against Solidarity inside the Polish United Workers Party // Social Science History. 2014. Vol. 38). См. также: *Dilip S.* A Unified Field Theory for Contention // International Review of Social History. 2004. Vol. 49. Iss. 1; *Лобанова О.Ю.* Протестные движения и «политика оспаривания»: концептуальные рамки // Вестник Пермского ун-та. Серия: Политология. 2013. № 4.

В рамках этого подхода оспаривание рассматривалось в единстве четырех модусов:

— как *источника конкуренции*, отражающего потребность в артикуляции собственных интересов, требующей при соотнесении с интересами оппонентов презентации политической позиции или идеи, облекаемых в форму проекта, программы или цели (при этом признавалось, что элитные группы зачастую маскируют под общественно полезным проектом свои узкогрупповые интересы и замыслы);
— как *инструмента конкуренции*, при помощи которого группы интересов и элитные группы развенчивают идеи и цели своих оппонентов в публичной и латентной сферах;
— как *формы конкуренции*, располагающиеся в широком диапазоне действий — от революций до презентации своих аргументов и контраргументов в виде аналитических текстов, политических нарративов, художественных высказываний и т.д.;
— как *инструмента диагностики,* тестирования правящих кругов на адекватность и готовность к коммуницированию с гражданским обществом.

Все модусы оспаривания зависят от характера политических игроков и их интересов, возможностей политической системы и содержательного контекста. Таким образом, сфера публичного оспаривания является пространством открытого объявления несогласия, поскольку включает артикуляцию и агрегирование мнений общественности, механизмы и технологии воздействия на власть, практики критического анализа, гражданского активизма и т.д. В латентной сфере субъектами оспаривания могут выступать представители сетевых коалиций правящей элиты, оказывающих давление на государственные институты, включая риски их перепрофилирования и отказ государства от роли гражданского антрепренера. Их конкуренция нередко выплескивается в публичное пространство, стимулируя переструктурирование последнего по оси лояльности/нелояльности к действующей власти.

Формы политического оспаривания (дискурс и действие) реализуются в публичных и латентных сферах, в виде мирных или насильственных действий, в рамках или вне политических институтов. Модель политического оспаривания включает участников оспаривания (субъекта и объекта требований), предмет оспаривания (политический проект или цель), сферу оспаривания (публичная или латентная), характер действий (мирный или насильственный), формат (институционализированный или неинституционализированный), а также виды оспаривания. Среди субъектов оспаривания находятся спонтанные группы граждан, политические партии, общественные и религиозные организации, сетевые социальные движения, интеллектуалы, элитные группы. Основным объектом критики являются органы государственной власти, как правило выступающие с инициативами политических проектов. На политическое оспаривание оказывают влияние экономические, социокультурные, институциональные и режимные факторы (рис.).

В рамках изложенных подходов вызревает и *концепт публичного оспаривания политических проектов*. В данном аспекте *публичное оспаривание* предполагает наличие индивидуальной или коллективной политической активности, направленной на критику, опровержение и противодействие реализуемому проекту (цели)

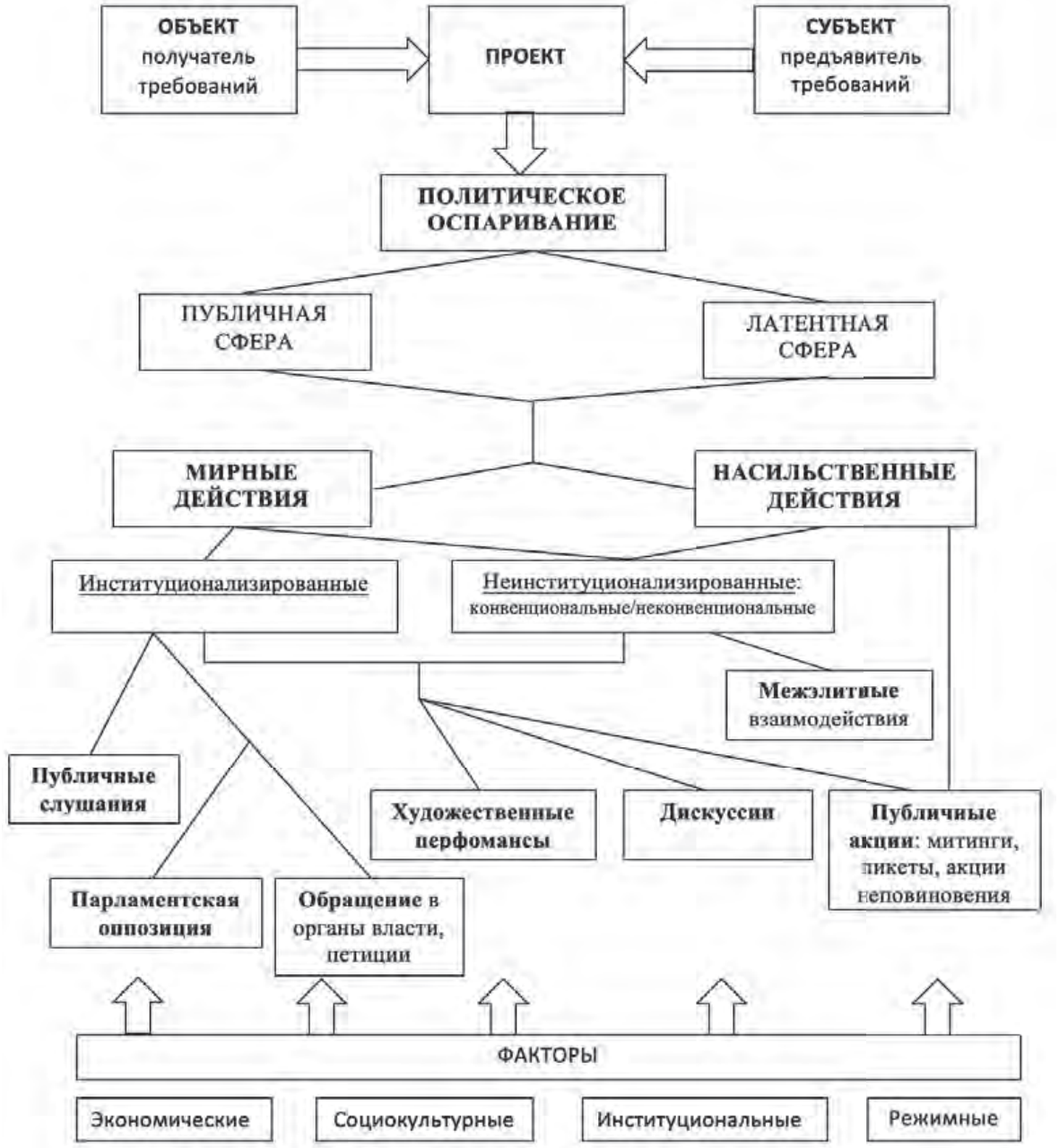


**Рис.** Основные параметры и связи политического оспаривания

политических субъектов, в том числе путем внесения дополнений или альтернативных проектов. К публичному оспариванию мы относим конвенциональные, нацеленные на конструктивное использование потенциала конкуренции действия участников политического процесса, не ориентированные на устранение своего политического противника за рамки политического поля и готовые к диалогу с ним. Наряду с традиционными видами публичного оспаривания (пикеты, митинги, голосование за оппозицию, петиции и т.п.), сегодня появляются новые (флешмоб, «мирный захват» городского пространства, уличное искусство, активность в сети Интернет и т.п.), формирующие широкий спектр возможностей для коммуникации всех заинтересованных сторон, определения их позиций и нахождения компромисса.

Продолжая традицию Ю. Хабермаса, мы рассматриваем публичную политику как «дискурс» или конкуренцию различных точек зрения, создающую условия для выработки общих позиций перед принятием решений. В категорию «публичное оспаривание» не включаются агрессивные, неконвенциональные формы сопротивления и протеста, например деструктивные действия, блокирующие коммуникацию и мирное разрешение конфликта. В то же время полный цикл оспаривающих действий может включать в себя отдельные практики неконвенциональных акций по привлечению общественного внимания к проблеме, что вынуждает стороны к последующему диалогу. Публичное оспаривание рассматривается и как форма конфликтной коммуникации, выполняющей в политической системе позитивные функции[1]. В работах Ю. Хабермаса предложены правила разрешения конфликта через организованный дискурс, главное из которых состоит в том, что никто из желающих внести вклад в обсуждение не может быть исключен из числа его участников.

Короче говоря, публичное оспаривание предполагает диалог и конвенциональное взаимодействие всех вовлеченных сторон и может быть реализовано в двух форматах: в *легитимных институционализированных* действиях (воспроизводящих существующие институты, ценности и нормы с участием оппозиционных партий, общественных движений, массовых мероприятий, протестное голосование, официальные обращения в органы власти и др.); а также в действиях *конвенциональных, но неинституционализированных*, т.е. активности, не имеющей правовой регламентации, но оцениваемой гражданами в качестве приемлемой (флешмобы, критика в онлайн-пространстве, «дизлайки», несогласованные пикеты или шествия и т.п.). При этом неконвенциональные неинституционализированные действия (экстравагантные арт-перфомансы, террористические акты или экстремизм) оцениваются как неконструктивные, блокирующие диалог и поиск альтернатив.

По нашему мнению, основными современными видами публичного конвенционального оспаривания, позволяющими запустить процессы конструктивного взаимодействия сторон, являются: публичная дискуссия граждан, политиков, экспертов: публикация критических текстов, аналитических материалов и изображений (в том числе в сети Интернет); пассивное сопротивление (гражданское неповиновение); перфоманс, уличное протестное искусство; публичные петиции и обращения в органы власти; массовые мероприятия (пикеты, демонстрации, шествия, митинги и т.п.), участие в общественно-политических кампаниях, социальных движениях; протестное голосование; деятельность политической оппозиции (в партийных формах или деятельности НКО).

Практики публичного оспаривания, с одной стороны, создают условия для учета мнения не представленных в официальном дискурсе сторон при принятии конкретного решения, а с другой — формируют конструктивную систему отношений между властью и обществом, механизмы укрепления демократических практик. Публичное оспаривание в широком смысле приводит к расширению политической сферы взаимодействия государства с активными гражданами. Многообразие практик и эффективность такого типа оспаривания зависят от типа политического режима, политико-правовых возможностей и сложившихся социокультурных традиций форм диалога между властью и обществом.

---

[1] По мнению Р. Дарендорфа, социальный конфликт имеет широкие границы и может реализоваться в форме парламентской дискуссии и гражданской войны, мирных тарифных переговоров и забастовок (*Дарендорф Р.* Тропы из утопии. М.: Праксис, 2002. С. 371).

Многообразие публичных дискуссий и практик публичного оспаривания можно сгруппировать в зависимости от типов политических площадок. Это позволяет выделить *дискурсивный, протестный, электоральный, партийно-парламентский и экспертный* типы акций и взаимодействий. Площадки различаются между собой статусом участников взаимодействия и готовностью к компромиссу (оспаривают проект целиком или незначительные его детали), масштабом массовой мобилизации. При этом политический проект может переходить от одной площадки к другой, расширяя количество своих сторонников и противников, приобретая новые аргументы и контраргументы. Предметом оспаривания на площадках могут быть не только политические проекты, но и правила взаимодействия политических субъектов, ставящие под сомнение сами правила оспаривания.

Наиболее доступный и конвенциональный способ оспаривания — это дискуссия, реализуемая на всех площадках. Оспаривание на *дискурсивной площадке* осуществляется без значимых правовых последствий для оспариваемого проекта. При этом артикуляция своих позиций рассматривается гражданами как неконфликтный способ взаимодействия с властью. Участие в дискурсивной площадке не требует от участников специальных знаний и навыков, особого статуса. Дискурсивные площадки — это место сбора всех возможных мнений, суждений и оценок политического проекта. Субстанциональной чертой дискурсивной площадки является и стремление участников к выражению своих позиций, что создает условия для делиберации, поиску приемлемого для всех участников общественного выбора. Демократическое формирование политики осуществляется через убедительные языковые формы и выдвижение аргументов, активизацию способностей и желания понять и принять альтернативное мнение, а также путем восприятия групповых возражений и поддержания альтернативных подходов по отношению к исходному сообщению[1].

Качественно новые возможности для публичного оспаривания были созданы за счет стремительного развития интернет-коммуникаций, появления у массовой аудитории технических возможностей, позволяющих самостоятельно создавать и распространять информационный контент. Благодаря онлайн-коммуникации публичное пространство стало значительно свободнее, превратившись в площадку добровольного, осознанного и открытого диалога на основе горизонтальных связей и равенства участия, что позволяет оказывать несиловое воздействие на власть. Социальные медиа дают возможность индивиду создавать собственный контент, обеспечивать двухстороннюю коммуникацию, интегрировать публичные и личные инфообмены, что создает пространство свободной циркуляции актуальных для аудитории сведений. Впрочем, для использования этих возможностей гражданам требуется освоить дополнительные навыки, поняв также и то, что власть эффективно использует новые коммуникативные возможности для снижения влияния оппозиционного дискурса.

Специфика *протестной площадки* проявляется в наступательном и конфликтном способе влияния граждан на принятие политических решений «посредством публичного предъявления» своих требований и стремления убедить «властных акторов эти требования реализовать»[2]. Протестная площадка в большей степени

---

[1] Цит. по: Protest Publics. Toward a New Concept of Mass Civic Action. Springer, 2019. P. 13.

[2] Массовая политика: институциональные основания / Под ред. С.В. Патрушева. М.: РОССПЭН, 2016. С. 85.

регламентируется нормами, хотя и уступает по степени формальных ограничений электоральной и партийно-парламентской площадкам.

Оспаривание на протестной площадке может носить реактивный и защитный характер (когда оспариваются новые проекты, нарушающие статус-кво), а также активный (когда предъявляются требования изменения политических правил, расширения возможностей политического влияния аутсайдеров). Активное оспаривание, с артикуляцией собственных целей и аргументов, создает основания для оформления собственного политического проекта. При этом протестное оспаривание может принимать либо *лояльную* (когда участники признают легитимность властей и предлагают устранить несправедливость решением властей), либо *конфликтную форму* (при которой субъекты оспаривания отказывают в легитимности властям, не верят в справедливость их решений и выдвигают требования политических изменений). Здесь участники протеста могут совершать иллегальные действия (ошибочно оценивая свою активность как конвенциональную), а дальнейшую динамику оспаривания будет определять реакция властей (вступить в диалог, «наказать» нарушителей или «не заметить»).

Современный репертуар протестных действий позволяет привлечь внимание к проблеме, мобилизовать сторонников и оказать давление на власть. Однако протестный формат чаще всего не позволяет организовывать конструктивное обсуждение, сравнение аргументов сторон, выявление альтернатив. Общей чертой современных протестных акций является их аморфность, сложность выдвижения и консолидации лидирующих групп и фигур при проведении переговоров, горизонтально-сетевая координация взаимодействий. В случае же отсутствия консолидирующего лидера происходит спад активности, а протесты развиваются лишь в формате спонтанного выплеска накопившегося недовольства[1].

Существенным является понимание разновидностей протестных мероприятий на этой площадке. В данном случае уместно выделять а) оспаривание незначительных аспектов политического проекта; б) протестное действие, требующее отменить проект как таковой; в) требование отставки должностного лица или роспуска коллегиального органа в связи с предлагаемым проектом. Все эти разновидности публичного оспаривания, как в демократических, так и в гибридных режимах, могут выражаться в нетрадиционных и театрализованных формах, использовать инструменты уличного искусства (*publicart*), предполагать организацию флешмобов[2].

*Электоральная площадка* публичного оспаривания по способу функционирования напоминает дискурсивную (сохраняя вербальный и эпистолярный споры) и протестную (отражая проведение массовых публичных мероприятий). В то же время, конституируя политический выбор граждан, эта арена лицензирует доступ граждан к властным позициям, за которые ведут спор политические партии[3], демонстрируя тот способ, за счет которого «включенность в сообщество равноправных граждан связана с индивидуальным правом на автономные реплики и на занятие собственных позиций»[4]. Другими словами, результаты оспаривания

---

[1] *Пятаков А.Н.* Чилийские и французские социальные протесты в 2018–2020 гг.: компаративный анализ // Современная Европа. 2020. № 6. С. 120, 122.

[2] *Моргунова А.* Протесты в Беларуси в 2020 г.: язык и текст плакатов // Вестник общественного мнения. 2021. № 62.

[3] Там же. С. 388.

[4] *Хабермас Ю.* Вовлечение другого. Очерки политической теории / Пер. с нем. СПб.: Наука, 2001. С. 387.

на электоральной площадке, преобразуя коммуникативную власть в административную, обретают правовые последствия, закрепляя до следующих выборов политическое соотношение сил.

Электоральная площадка публичного оспаривания (где результаты оказывают макросоциальное влияние) является конвенциональной и наименее затратной для граждан, обладающих активным избирательным правом[1]. Развертывающаяся здесь активность граждан стимулирует кандидатов артикулировать новые идеи, создавать альтернативные политические проекты, «перехватывать» интересные политические инновации у своих конкурентов. А предвыборные программы представляют здесь наиболее полное воплощение политического проектирования, агрегирующего общественные проблемы[2].

В гибридных и авторитарных режимах правящая группа жестко регламентирует и контролирует оппозиционную активность на электоральной площадке, создавая теневые «машины» по управлению волеизъявлением граждан и искажая результаты оспаривания проектов. В этом случае избирателям доступны лишь ограниченное количество моделей поведения, демонстрирующих свое несогласие с проектом инкумбента (голосование за зарегистрированную оппозиционную партию или кандидата, порча бюллетеня для голосования, бойкот выборов). В этом смысле наиболее чувствительным для инкумбента является коллективное солидарное голосование за оппозиционных политиков. Остальные формы оспаривающего поведения не влияют на расстановку политических сил, не объясняя его мотивы и приемлемые для граждан альтернативы. При этом действующие в ряде государств нормы избирательной системы способны конвертировать голоса протестных избирателей (испортивших бюллетень или проголосовавших за партию, не преодолевшую заградительный барьер) в поддержку партии большинства[3].

*Партийно-парламентская площадка* представляет собой пространство взаимодействия депутатов, фракций политических партий в законодательных представительных органах власти и является наиболее регламентированной и ограниченной по количеству участвующих здесь субъектов оспаривания. Результаты оспаривания на этой «делиберативной ассамблее»[4] оказывают наибольшее влияние на окончательную редакцию и судьбу политического проекта.

Конечно, здесь имеются возможности для коррекции и внесения изменений в предлагаемый политический проект, что позволяет участникам дебатов проявлять гибкость в отстаивании своих позиций. При этом действия парламентской оппозиции не вызывают деструктивных последствий, сохраняя внутреннюю аутентичность системе государственной власти[5]. Что же касается граждан (продвижение позиций которых сталкивается с процедурными ограничениями

---

[1] *Sztompka P.* Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2012. S. 202–205.

[2] Внутриполитическая повестка дня как фактор единства современной России / Под ред. А.В. Глуховой. Воронеж, 2019. С. 24, 36.

[3] *Голосов Г.В.* Сфабрикованное большинство: конверсия голосов в места на думских выборах 2003 г. // Полис. Политические исследования. 2005. № 1.

[4] *Шкурихин И.А.* Делиберация как норма парламентской коммуникации // Вестник Пермского ун-та. Политология, 2012. № 2. С. 56.

[5] *Pastuszko G.* Wpływ opozycji parlamentarnej na funkcjonowanie naczelnych organów władzy państwowej — analiza problemu w świetle Konstytucji RP z 1997 roku. Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałek, 2018. S. 5.

в законотворческом процессе), то у них все же имеются определенные возможности для публичного оспаривания проектов (например, за счет побуждения парламентариев «подхватывать» темы, артикулируемые на дискурсивной и протестной площадках).

*Экспертные площадки* объединяют в себе учреждения, занимающиеся анализом политических проблем и вырабатывающие рекомендации по вопросам внутренней и внешней политики, позволяя лицам, принимающим решения, более обоснованно выбирать оптимальные варианты действий и сокращать разрыв между властью и общественностью[1]. Эти «мозговые» и аналитические центры (*think tank*), экспертные и университетские сообщества, центры публичной политики (*public policy centers*) и индивидуальные специалисты стремятся активно воздействовать на лиц, принимающих решения, предлагая им свои интеллектуальные продукты (экспертные оценки, прогнозы, альтернативные подходы и идеи)[2]. Независимо от того, обеспечивает ли участие экспертов обсуждение альтернативных вариантов решения (стоящих на повестке дня проблем, учет их социально-политических последствий)[3] или же сохраняет свою эффективность при условии дистанцирования их выводов от позиций властей[4], эти дискуссии непременно укрепляют делиберативные структуры и ценности политического процесса[5].

К сожалению, как показывает практика, с рубежа XX–XXI вв. доверие к экспертам подрывается за счет того, что «на смену глубоким всесторонним аналитическим исследованиям от экспертов пришли краткие, агрессивные, рассчитанные на громкий резонанс “вбросы” в околополитические дебаты по наиболее злободневным вопросам повестки дня»[6]. Нередко и сами эксперты стремятся к прямому участию в текущих политических дебатах, выступая в роли агрессивных адвокатов определенных идей и идеологий, в ущерб аналитичности и нейтральности своих позиций. При этом исследователи фиксируют появление стремящихся выполнять экспертные функции гибридных организаций, находящихся на пересечении политической, научной, деловой и журналистской сфер деятельности[7]. Стоит подчеркнуть и то, что эффективное публичное оспаривание предполагает не только подготовку квалифицированных аналитических продуктов, но и востребованность прогнозов элитами, доверие к выводам гражданских экспертов как участников публичного оспаривания. Без этого невозможно использовать потенциал этой площадки в конструктивном обсуждении политических проектов и артикуляции альтернатив.

*Р.В. Савенков*

---

[1] Think Tanks and Emerging Power Policy Networks / Ed. By James G. McGann. Palgrave Macmillan, 2018. P. 3.

[2] См.: Гражданский сектор государственного управления / Под ред. проф. А.И. Соловьева. М.: Аргамак-Медиа, 2018. С. 197.

[3] *Сунгуров А.Ю., Шамшура К.А.* Политическая наука и экспертное знание: развитие в современной России // Политическая наука. 2020. № 1. С. 67, 70.

[4] *Haas P.* When does power listen to truth? A constructivist approach to the policy process // Journal of European Public Policy. 2004. No. 11 (4). P. 577.

[5] *Макарычев А.С.* Государства, экспертные сообщества и режимы знания-власти // Политическая наука. 2015. № 3. С. 23.

[6] Гражданский сектор государственного управления / Под ред. А.И. Соловьева. М.: Аргамак-Медиа, 2018. С. 188.

[7] Там же. С. 190.

**Литература**

1. *Балаян А.А., Сунгуров А.Ю.* Фабрики мысли: международный и российский опыт, СПб.: НИУ ВШЭ, 2014. — 235 с.
2. Гражданский сектор государственного управления / Под ред. А.И. Соловьева. М.: Аргамак-Медиа, 2018. — 440 с.
3. *Даль Р.* Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010. — 288 с.
4. *Жувенель Б.* Власть: Естественная история ее возрастания. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2011. — 546 с.
5. Массовая политика: институциональные основания / Под ред. С.В. Патрушева. М.: РОССПЭН, 2016. — 287 с.
6. *Савенков Р.В.* Политическое оспаривание: от дискурса к политической оппозиции. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2021. — 243 с.
7. *Пятаков А.Н.* Чилийские и французские социальные протесты в 2018–2020 гг.: компаративный анализ // Современная Европа. 2020. № 6. С. 87–132.
8. *Alons G.* The advantage of paradigmatic contestation in shaping and selling public policies // Journal of Public Policy. 2020. Vol. 40. Iss. 4. P. 651–671.
9. *Beinin J., Frédéric V.* Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Stanford University Press, 2013. — 352 p.
10. Cultural Contestation.Heritage, Identity and Role of Government / Ed. by J. Rodenberg, P. Wagenaar. Palgrave Macmillan, Cham, 2018. — 342 p.
11. *Guitar J.* Dissent, Discourse, and Democracy. Whisteblowers as Sites of Political Contestation. Lexington Books, 2021. — 220 p.
12. *Jeffrey C.* Elections, Contestation, and Democracy // American Political Science Association. 2013. Vol. 11. No. 3. P. 711–716.
13. *Jouvenel B.* The means of Contestation // Government and Opposition. 1966. January. No. 1. P. 155–174.
14. *Kaardo J., Cantir C.* Domestic Role Contestation and Foreign Policy // Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press, 2017. — 20 p.
15. Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World. A Decade of Change / Ed. by L. Jayyusi, A.S. Roald. Palgrave Macmillan US, 2016. — 327 p.
16. *Tilly C., Tarrow S.* Contentious Politics. Oxford University Press, 2015. — 270 p.
17. *Wiener A.* Contestation and Constitution of Norms in Global International Relations. Cambridge University Press, 2020. — 278 p.

# Политическое пространство

Политическое пространство — это понятие, которое используют для обозначения способов локализации политических акторов, объектов и явлений, а также определения их взаимоположения и взаимного соотнесения. В научных работах термин «пространство» используется, когда появляется необходимость локализовать некоторую совокупность социальных или политических феноменов, рассмотреть их взаимосвязь, объединить общим смыслом. При этом содержание термина не конкретизируется, как справедливо отмечала Д. Массей, «каждый предполагает, что его значение ясно и неоспоримо», хотя «на самом деле значение, которое предполагают разные авторы... сильно различается»[1]. В этой связи

[1] *Massey D.* Politics and Space/Time. // Theory and Methods.Critical Essays in Human Geography / Ed. by Chris Philo. L.: Routledge, 2017. P. 270.

важным является выявление особенностей концептуализации данного понятия, определение его особой смысловой нагрузки в политических исследованиях.

Появление понятия «политическое пространство» было предопределено потребностью в термине, позволяющем, с одной стороны, обозначить «вместилище» разнообразных политических феноменов, а с другой — указать на особые способы их структурирования, взаимного положения. В основе концептуализации политического пространства лежали классические, обозначенные еще Исааком Ньютоном представления о пространстве и времени как «вместилищах самих себя и всего существующего». «Во времени, — писал он, — все располагается в смысле порядка последовательности, в пространстве — в смысле порядка положения»[1].

Теоретическое осмысление политического пространства осуществлялось в рамках двух подходов, каждый из которых претендовал не только на описание основных свойств политического пространства, но и на выработку новых методологических принципов объяснения мира политики.

Первый подход можно назвать территориальным или географическим. В его основе лежит привычное нам понимание территориального пространства как вместилища разнообразных физических объектов со своей системой измерения их взаимного положения. Поскольку на территории возникают не только биологические, но и социальные, в том числе политические, формы жизни, то вполне логичным становится определение политического пространства как «реальной протяженности территории, на которую распространяется исторически обусловленная политическая жизнь или политическое влияние»[2]. Иными словами, политическим становится любое территориальное пространство, в рамках которого сложились те или иные формы политической жизни. Решающую роль в становлении такого подхода сыграла политическая география, которая постепенно превращалась из науки, изучающей деление мира на государства, в науку, претендующую на описание особенностей политической организации отдельных территорий[3].

В рамках данного подхода сформировались два направления, различающиеся способом интерпретации географического фактора. Для первого характерно рассмотрение политического пространства как способа организации политической жизни на определенной территории[4], как части «организационной «надстройки» над данной территорией»[5]. Современным трендом в исследованиях подобного рода стало признание многомерности политического пространства, вылившееся в поиск различных систем измерения политических явлений и попыток создания интегральных моделей, позволяющих сравнивать разнообразные политические образования на карте мира[6].

---

[1] *Ньютон И.* Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989. С. 32.

[2] *Семигин Г.Ю.* Политическое пространство // Политическая энциклопедия: В 2 т. М.: Мысль, 1999. Т. 2. С. 296.

[3] *Туровский Р.Ф.* Политическая география: Учеб. пособие. М.; Смоленск: Изд-во СГУ, 1999; *Jones M., Jones R., Woods M., Whitehead M., Dixon D., Hannah M.* An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics. 2nd ed. L.: Routledge, 2014. — 276 p.

[4] *Афанасьев О.Е.* Политическое пространство современного мира: Справочник. М.: ФЛИНТА: Наука, 2015; *Kwok C., Chan N.K.* The Making of Contentious Political Space: The Transformation of Hong Kong's Victoria Park // Space and Culture. 2022. No. 25 (4). P. 615–632.

[5] *Косолапов Н.* Глобализация: территориально-пространственный аспект // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 6. С. 8.

[6] Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств. М.: Изд-во МГИМО-Университета, 2007.

Второе направление было связано с попыткой найти политическое измерение географических особенностей различных территорий. Самым известным концептом, сложившимся в рамках данного подхода, стал концепт геополитического пространства, позволивший ученым (Р. Челлен[1], Х. Маккиндер[2] и др.) в системе территориально-географических координат рассматривать динамику расстановки сил в мире, процессы формирования центров силы, конфликтных зон и т.д. Если в рамках первого направления географическое пространство выступало в роли своеобразного «контейнера», вмещающего политические объекты и явления, то во втором случае территория, ее протяженность, расположение, ресурсная обеспеченность превращались в ключевые параметры геополитического пространства, влияющие на политические процессы и способы политической самоорганизации.

Теоретико-методологическое значение географического подхода состоит в том, что он позволил привнести в политическую науку категории протяженности, размерности, расстояния, локализации. В научном языке появились понятия локального, регионального, национального, наднационального и транснационального политического пространства, власть стала измеряться через призму центр-периферийных отношений, размер территории стал рассматриваться как значимый фактор политической мобилизации и распространения политических новаций.

Второй подход к рассмотрению политического пространства — социальный. Его отличает стремление преодолеть земное тяготение, оторваться от привязки политического пространства к конкретной территории, смоделировать его свойства в системе политических координат и предложить собственный набор параметров его измерения. Если первый подход складывался в ходе междисциплинарного взаимодействия географов и политологов, то второй формировался на базисе социологических теорий, предложивших некоторые универсальные принципы интерпретации пространственной логики социальных объектов.

Интерес к социальному подходу был предопределен, прежде всего, процессами глобализации, информационной революцией, развитием новых средств коммуникации, появлением негосударственных акторов в виде межправительственных и неправительственных организаций, транснациональных корпораций и даже террористических сообществ, которые «не могут быть “размещены” на географических картах»[3]. В условиях, когда политические взаимодействия стали обретать трансграничный характер, политические формы жизни все больше начали испытывать воздействие экстерриториальных факторов, когда возникла принципиально новая среда политической коммуникации, становилось все более очевидным, что «размывается привязка политического пространства к конкретной территории»[4]. Фокус внимания ученых стал смещаться от рассмотрения политического пространства как территориального вместилища политических объектов, явлений, взаимодействий к описанию и объяснению их «порядка положения», к поиску социальных оснований их взаимного соотнесения. Стали высказывать-

---

[1] *Челлен Р.* Государство как форма жизни. М.: РОССПЭН, 2008.

[2] *Маккиндер Х.* Круглая земля и обретение мира // Космополис. 2006/2007. № 2 (16). С. 56–69.

[3] *Чихарев И.А.* Проблематика политического пространства и времени в современной политологии и международных исследованиях // Политическая наука. 2009. № 1. С. 13.

[4] *Мельвиль А.* Пространство и время в мировой политике // Космополис. 2007. № 2 (18). С. 120.

ся предложения о различении понятий «пространство политики» и «политическое пространство»[1]. Под пространством политики предлагалось понимать традиционное географическое пространство со сложившимися формами политической жизни, а под политическим пространством — особый порядок организации политических феноменов.

Можно выделить несколько традиций интерпретации политического пространства в рамках социального подхода, каждая из которых складывалась как особое теоретико-методологическое направление, нацеленное на решение самостоятельных исследовательских задач. Первая традиция складывалась под влиянием идей П. Сорокина и П. Бурдье и отличалась стремлением перенести пространственное восприятие на логику социальных отношений. Как писал П. Сорокин, люди интуитивно ощущают, что между ними есть не только физическое расстояние, но и социальное. Они говорят: «высшие и низшие классы», «продвижение по социальной лестнице», «близки по своему социальному положению», «существует большая социальная дистанция» и т.д.[2] Категория «социальное пространство» должна, по мнению П. Сорокина, не только раскрывать причины социальных различий, но содержать в себе основания для измерения социальных дистанций.

Наиболее последовательно эти взгляды были развиты П. Бурдье в его теории социального пространства и политического поля. Для него «физическое пространство определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей, социальное пространство — по взаимоисключению (различению) позиций, которые его образуют»[3]. Именно эти различения образуют дистанции, размер которых определяет взаимоположение людей в социальном пространстве. Поле политики, по П. Бурдье, это часть социального пространства, отличающаяся не механизмами функционирования, а специфическими статусными позициями, отражающими положение индивидов в системе властных отношений.

Теоретическое осмысление политического пространства в рамках данной традиции позволило, *во-первых*, выделить виды различений и политических дистанций, влияющих на взаимоположение политических акторов. Среди них: статусная позиция в системе политической власти, приверженность определенной политической партии, идеологические предпочтения, политический активизм и др. Одни из этих дистанций определяют вертикальный срез политического пространства (политическая стратификация), другие указывают на горизонтальные различия (дифференциация политических позиций). Среди исследователей, обративших внимание на особую роль политических различений в обществе, стали С. Липсет и С. Роккан, предложившие теорию размежевания, центральное место в которой занял вопрос о возможности трансформаций различений в глубокие политические расколы[4].

---

[1] *Чихарев И.А.* Проблематика политического пространства и времени в современной политологии и международных исследованиях // Политическая наука. 2009. № 1. С. 18.

[2] *Сорокин П.* Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 297.

[3] *Бурдье П.* Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 2005. С. 49.

[4] *Липсет С.М., Роккан С.* Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей. Предварительные замечания // Политическая наука. Социально-политические размежевания и консолидация партиийных систем: Сб. науч. тр. / Ред. и сост. Е.Ю. Мелешкина, А.Н. Кулик. М.: РАН; ИНИОН; Центр социал. науч.-информ. исслед. отд. полит. науки; Рос. ассоц. полит. науки, 2004. С. 47–76.

*Во-вторых*, новое звучание обрела идея многомерности политического пространства. Многомерность начала трактоваться не как многоаспектность и многообразие форм проявления политической жизни, а как наличие множества различений, способных влиять на близость/удаленность людей в политическом пространстве. Обращалось внимание на то, что одни из этих различений могли наслаиваться друг на друга и увеличивать политическую дистанцию, другие формировали более сложную конфигурацию взаимоположений. Так, индивиды могли находиться на разных этажах властной иерархии, но придерживаться однотипных идеологических взглядов, т.е. ощущать удаленность друг от друга по одному параметру и близость по другому.

Нерешенной пока остается задача создания комплексной модели многомерного политического пространства, что связано в первую очередь с открытым списком потенциально возможных политических различений в обществе[1]. Поэтому в научной литературе представлены модели, сконструированные на основе отдельных политических различений. Примером может служить модель электорального пространства А.С. Ахременко, сконструированная на основе электоральных предпочтений граждан и позволяющая с помощью математических методов выявлять статистические группы, локализирующиеся в пространстве выделенных переменных[2]. П. Бурдье предложил для выделения в социальном пространстве классов или групп использовать понятие «объем капитала» как некоторой совокупности выделяемых свойств, качеств и отношений, сокращающих между их представителями социальные дистанции и способных быть представленными в более или менее четких размерностях[3].

С помощью методов пространственного моделирования в науке решается проблема выделения особого вида групп, члены которых не связаны нитями непосредственного взаимодействия. Рядовые граждане, избиратели определенной политической партии, сторонники политического лидера, либерально ориентированная часть общественности, последователи религиозно-политического учения — представители всех этих групп могут быть разбросаны в физическом пространстве и с высокой вероятностью никогда не смогут собраться вместе. Даже современные средства коммуникации вряд ли свяжут их в устойчивую единую интерактивную сеть. Однако в политическом пространстве представители каждой их этих групп окажутся в одной нише, вбирающей в себя всех, кто обладает соответствующим набором признаков.

Близость в политическом пространстве автоматически не ведет к кооперативным взаимодействиям, к созданию устойчивых политических коалиций, способных к активным действиям. Эта близость создает лишь условия для политической консолидации, поэтому значение таких групп заключается не в актуализированных формах активности, а в их потенциале, который может быть мобилизован в конкретной ситуации. Кроме того, группы, возникающие на основе различений, способны формировать дихотомичный способ восприятия политического мира, выражающийся в делении окружающих людей на *Мы* (такие же, как я) и *Они* (отличающиеся от нас).

---

[1] *Benoit K., Laver M.* The dimensionality of political space: Epistemological and methodological considerations // European Union Politics. 2012. Vol. 13. No. 2. P. 194–218.

[2] *Ахременко А.С.* Социальные размежевания и структуры электорального пространства России // Общественные науки и современность. 2007. № 4.

[3] *Бурдье П.* Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 141.

Вторая традиция интерпретации политического пространства возникла в рамках институционального подхода, отражающего стремление ученых найти основания упорядоченности, взаимосвязанности политических взаимодействий. Если в рамках первой традиции главным было установление взаимоположения политических акторов, измерение возникающих социальных дистанций, то во второй акцент переносится на нормативный порядок, формирующий характер складывающихся отношений. Политическое пространство определяется как «совокупность политических правил и установлений (институтов), которым некое сообщество, объединенное общей культурой (нормами, ценностями, идентичностями), подчиняет свою жизнь»[1]. Подчеркивая институциональную природу политического пространства, сторонники данной традиции обращают внимание на его способность развиваться, трансформироваться, разрушаться и исчезать. «Конституирование политического пространства, — отмечают С.В. Патрушев и его коллеги, — предполагает осуществление двух взаимосвязанных процессов — институционализации и политизации. Институционализация означает формирование институциональной среды и институционального порядка — выработку правил и выстраивание организационных структур. Политизация — это процесс, в результате которого акторы, действующие в данной институциональной среде, и результаты их деятельности приобретают политические качества»[2].

В основе третьей традиции лежит функционально-конструктивистский подход, предполагающий осмысление места и роли политических феноменов путем их смыслового определения. В этом случае политическое пространство трактуется как арена взаимодействий, объединенных общим смыслом. Исследователи говорят о пространстве власти[3], пространстве гражданской борьбы[4], пространстве политических событий[5], пространстве публичного продвижения политической воли[6], политико-идеологическом пространстве[7], пространстве политического управления[8], политико-партийное пространство[9]. Многообразие смысловых форм политического открывает возможности выделения различных видов политическо-

---

[1] *Стрежнева М.В.* Территориальный и функциональный типы организации политических пространств (в развитие интеграционной теории) // Политическая наука. 2014. № 2. С. 26.

[2] *Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Кертман Г.Л., Кучинов А.М., Мирясова О.А., Недяк И.Л., Павлова Т.В., Панов Л.Г., Филиппова Л.Е.* Институциональный анализ политического пространства в России: предварительные результаты исследования // Россия реформирующаяся: Ежегодник. Вып. 17 / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Новый Хронограф, 2019. С. 533.

[3] *Cornwall A., Coelho V.* Spaces for Change? The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas. URL: https://www.researchgate.net/publication/260388966_Spaces_for_Change_The_Politics_of_Citizen_Participation_in_New_Democratic_Arenas (accessed: 07.01.2023).

[4] *Gleiss M.S.* Discourse, political space and the politics of citizenship // Norwegian Journal of Geography. 2017. Vol. 71. No. 4. P. 233–242.

[5] *Филиппов А.Ф.* Пространство политических событий // Полис. Политические исследования. 2005. № 2. С. 6–25.

[6] *Соловьев А.И.* Фронтирные зоны публичной политики // Политическая наука. 2021. № 3. С. 190.

[7] *Аргучинцев Г.К., Старовойтова Л.В.* Идеологические аспекты политического пространства // Научные труды республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. Минск, 2019. № 18. С. 36.

[8] *Чихарев И.А.* Проблематика политического пространства и времени в современной политологии и международных исследованиях // Политическая наука. 2009. № 1. С. 26.

[9] *Hutter S., Kriesi H., Vidal G.* Old versus New Politics. The Political Spaces in Southern Europe in Times of Crises // Party Politics. 2018. Vol. 24. No. 1. P. 10–22.

го пространства, начиная от претендующих на универсальное значение и предполагающих вовлечение широкого круга участников (демократическое пространство, пространство политического участия, пространство политической власти и т.п.) до партикулярных, возникающих по поводу решения частной проблемы (пространство выработки стратегии конкретной политической партии, пространство акции протеста и т.п.).

Выбираемый исследователем смысл выполняет роль своеобразного контейнера, в который «загружаются» как политические взаимодействия, соответствующие заданному смыслу, так и политические структуры, обеспечивающие воспроизводство таких взаимодействий. В итоге политическое пространство конструируется не как статичное взаимоположение политических объектов, а как сложный комплекс политической активности, разворачивающейся на определенной политической арене. Такая методологическая позиция позволяет исследователю сконцентрироваться на изучении процессов, формирующих соответствующие смысловые поля. В фокус его внимания попадают люди, создающие и меняющие правила взаимодействий, выражающие свои ценностные предпочтения и формулирующие притязания, производящие в конечном итоге эффекты, подтверждающие смысловое предназначение выбранного вида политического пространства. Некоторые авторы подчеркивают активную роль акторов в конструировании смыслового содержания политического пространства посредством их вовлеченности в соответствующие виды дискурса[1].

В трактовках пространства как вместилища особое место занимает проблема границ. Если в рамках географического подхода границы политического пространства определяются сложившимся порядком политико-территориального деления современного мира, то в функционально-конструктивистском — смыслом, определяющим специфику арены политических взаимодействий. В такой интерпретации новое содержание обрело понятие «закрытое политическое пространство». Оно стало трактоваться как закрытие входа на те или иные политические арены отдельных категорий граждан. Так, ограниченный доступ граждан к процессам принятия государственных решений ведет к появлению закрытого пространства выработки государственной политики. Закрытые пространства создаются политическими группами для обсуждения и решения корпоративных вопросов в режиме ограниченной гласности. Вместе с тем учеными отмечается, что абсолютная закрытость политических пространств скорее исключение, поскольку всегда существуют зоны трансграничного перехода, фронтирные зоны[2], представляющие собой пересекающиеся смысловые поля, не поддающиеся однозначной интерпретации.

И наконец, отметим еще одну традицию — феноменологическую, в рамках которой фокус внимания смещается к проблеме природы, онтологии политического пространства, обладает ли оно свойствами объективности или является когнитивным конструктом, созданным для упорядочения представлений о политике. Пока политическое пространство мыслилось как вместилище разнообразных политических объектов и явлений, то вопрос о его особых специфических свойствах не поднимался. Реальными признавались те явления, взаимодействия, объекты, которые

---

[1] *Gleiss M.S.* Discourse, political space and the politics of citizenship // Norwegian Journal of Geography. 2017. Vol. 71. No. 4. P. 233–242.

[2] *Соловьев А.И.* Фронтирные зоны публичной политики // Политическая наука. 2021. № 3. С. 183–204.

его наполняли. Их исследование осуществлялось с помощью адекватных их содержанию методов, а взаимосвязи между ними описывались на основе системного, функционального, структурно-функционального подходов. Но как только ученые задумались о «порядке положения», о размерностях политического пространства, о дистанциях между политическими акторами, о специфике локусов, структурах, закрепляющих рядоположение политических объектов, то неизбежно встала проблема природы политического пространства.

По умолчанию конституирующий политическое пространство порядок признается объективным, оказывающим внешнее воздействие на каждого члена общества и вынуждающим выстраивать линию поведения в соответствии с установленными нормами и правилами. Это связано с тем, что система различений, конституирующих политическое пространство, возникает и объективируется в результате совместной деятельности многих поколений. Характерным в этом плане является определение политического пространства П. Бурдье, как «совокупности объективных отношений», которые «навязываются всем... и которые несводимы к намерениям индивидуальных агентов или же к их непосредственным взаимодействиям»[1].

Специфика феноменологической традиции заключается в интерпретации природы политического пространства как интерсубъективной по своей сути[2]. Как известно, А. Шюц обращается к понятию интерсубъективности по мере осознания принципиального различия между объективностью предметного, природного мира и мира социального, который мы различаем только благодаря наличию совместно разделяемого знания о ее структурах[3]. Так, конституирующий политическое пространство институциональный порядок мы воспринимаем как объективный, потому что мы уверены, что и другие люди знают о составляющих его нормах и будут на них ориентироваться в реальном поведении. Дистанции в политическом пространстве воспринимаются как объективные, потому что в общественном сознании сложились устойчивые представления об их реальном существовании, а любые сомнения в этом гасятся существующими в обществе механизмами социального контроля и властного принуждения. Не случайно П. Бурдье называет политическое пространство «абстрактным»[4], существующим не в виде физических размерностей между материальными объектами, а в виде представлений, совместно разделяемого знания о социальных дистанциях, иерархиях, порядках, статусах, классах и т.д. Таким образом, в рамках феноменологического подхода фокус внимания смещается к вопросам: как возможно политическое пространство, каковы механизмы его образования?

Политическое пространство как интерсубъективное образование возникает исключительно в процессе коммуникации. Только обмен информацией позволяет людям вырабатывать однотипные представления о нормах и правилах политического институционального поля, о смысловом содержании политических арен, о политической иерархии и социальных дистанциях. Благодаря коммуникации в обществе идет постоянный процесс передачи знаний о структуре политического

---

[1] *Бурдье П.* Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 56.

[2] *Пушкарева Г.В.* Политическое пространство: проблемы теоретической концептуализации // Полис. Политические исследования. 2012. № 2. С. 166–176.

[3] *Шюц А.* Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 485.

[4] *Бурдье П.* Указ. соч. С. 40.

пространства новым поколениям, что обеспечивает преемственность восприятия основных свойств и параметров политического пространства, формирует убежденность в его объективности. Коммуникация является способом конструирования политического пространства.

Политическое пространство может существовать только в символической форме. Если объекты физического пространства человек воспринимает с помощью зрения, слуха, обоняния, определяя, таким образом, их близость или удаленность, то объекты политического пространства он распознает только благодаря символам, принятым в культуре общества для обозначения многообразия политических объектов и явлений. Усваивая в процессе социализации значения различных символов, индивид начинает распознавать как сами политические объекты, так и возникающие между ними дистанции, формирующие их порядки и структуры. Политическое пространство возникает в процессе конструирования символов, которые, *во-первых*, выполняют роль указателей, предупреждая о различиях в статусных позициях, о размере возникшей дистанции, о глубине разлома между определенными политическими группами и т.д. *Во-вторых*, с помощью таких символических конструкций, как мифологемы и идеологемы, осуществляется легитимация структуры политического пространства, путем формирования представлений о важности политической иерархии, о допустимых формах политического многообразия, о значении установленных норм и правил, о необходимости соблюдать социальные дистанции.

Понимание политического пространства как интерсубъективного, воплощенного в символах и конструируемого в процессе коммуникации, позволяет обратить внимание на такую его особенность, в отличие от физического пространства, как подвижность размерностей, определяющих дистанции между политическими объектами. Это связано с подверженностью массового сознания к воздействию противоречивых информационных потоков, формирующих разнонаправленные ценности, противоречивые ожидания и установки. Так, в условиях масштабной девальвации официальных мифологем и идеологем могут в одночасье разрушиться дистанции между одними политическими группами и, напротив, возникнуть непреодолимые разломы в отношениях между другими. Обесценивание символического капитала, ранее обеспечивающего определенным группам привилегированное положение в политическом пространстве, способно привести к радикальному изменению системы политических диспозиций.

Феноменологический подход позволяет по-новому осмыслить потенциал символической политики в изменении пространственных конфигураций в интересах определенных акторов. Обладая ресурсами информационного влияния, можно влиять на самоопределение людей в политическом пространстве путем внесения в их сознание определенных идеологем и мифологем, формируя у них чувство общности с одними группами и неприязни в отношении других. Можно сокращать социальные дистанции, демонстрируя идейную близость, и, напротив, провоцировать появление глубоких расколов, акцентируя внимание граждан на политических различиях. Через конструирование смыслов можно создавать новые арены политических взаимодействий, устанавливать их границы, побуждать к воспроизводству определенных отношений.

Политическое пространство, как и физическое, является средой обитания современного человека. Но если в физическом пространстве человек ориентируется благодаря органам чувств, помогающих ему различать предметы и определять

степень их удаленности, то для адекватной ориентации в политическом пространстве ему необходимы определенные знания о «правилах» его структурирования. Получая эти знания в процессе политической социализации, человек обретает способность не только идентифицировать объекты политической реальности, но и определять свое место в пространственном взаимоположении политических структур. И если механизмы конструирования политического пространства уже попали в фокус внимания ученых, то проблема самоопределения индивида в политическом пространстве пока остается на периферии научного дискурса. А ведь значение этой проблемы трудно переоценить. Человек смотрит на мир из определенной точки политического пространства, располагая все объекты этого пространства в определенной перспективе, приближая к себе одни из них и отодвигая на задний план другие. Исходная позиция формирует ракурс восприятия происходящего в мире, влияет на оценки политических процессов, определяет предпочтения и симпатии в отношении различных политических акторов, оказывает воздействие на формирование мотивов политического выбора.

Разнообразие способов концептуализации политического пространства в научном знании свидетельствует об исследовательском поиске приемлемых, отвечающих современным требованиям, теоретико-методологических оснований изучения политических феноменов. Обозначившийся переход от использования понятия «политическое пространство» для обозначения вместилища политических акторов, объектов и явлений к определению порядка его внутренней организации позволил наполнить пространственное видение политики собственным содержанием, по-новому подойти к осмыслению процессов политической дифференциации, распределения политических сил в обществе, образования политических групп и политико-идеологических локусов, оценки глубины политических размежеваний.

*Г.В. Пушкарева*

**Литература**

1. *Афанасьев О.Е.* Политическое пространство современного мира: Справочник. М.: ФЛИНТА: Наука, 2015.

2. *Ахременко А.С.* Социальные размежевания и структуры электорального пространства России // Общественные науки и современность. 2007. № 4. С. 80–92.

3. *Бурдье П.* Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005.

4. *Бурдье П.* Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.

5. *Мельвиль А.* Пространство и время в мировой политике // Космополис. 2007. № 2 (18). С. 117–122.

6. *Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Кертман Г.Л., Кучинов А.М., Мирясова О.А., Недяк И.Л., Павлова Т.В., Панов Л.Г., Филиппова Л.Е.* Институциональный анализ политического пространства в России: предварительные результаты исследования // Россия реформирующаяся: Ежегодник. Вып. 17 / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: Новый Хронограф, 2019. С. 527–571.

7. *Пушкарева Г.В.* Политическое пространство: проблемы теоретической концептуализации // Полис. 2012. № 2. С. 166–176.

8. *Соловьев А.И.* Фронтирные зоны публичной политики // Политическая наука. 2021. № 3. С. 183–204.

9. *Сорокин П.* Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.

10. *Стрежнева М.В.* Территориальный и функциональный типы организации политических пространств (в развитие интеграционной теории) // Политическая наука. 2014. № 2. С. 26–43.

11. *Филиппов А.Ф.* Пространство политических событий // Полис. Политические исследования. 2005. № 2. С. 6–25.

12. *Чихарев И.А.* Проблематика политического пространства и времени в современной политологии и международных исследованиях // Политическая наука. 2009. № 1. С. 7–31.

13. *Benoit K., Laver M.* The dimensionality of political space: Epistemological and methodological considerations // European Union Politics. 2012. Vol. 13. No. 2. P. 194–218. URL: https://doi.org/10.1177/1465116511434618.

14. *Cornwall A., Coelho V.* Spaces for Change? The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas. URL: https://www.researchgate.net/publication/260388966_Spaces_for_Change_The_Politics_of_Citizen_Participation_in_New_Democratic_Arenas (accessed: 07.01.2023).

15. *Dikeç M.* Space as a mode of political thinking // / Geoforum. 2012. No. 43. P. 669–676.

16. *Gleiss M.S.* Discourse, political space and the politics of citizenship // Norwegian Journal of Geography. 2017. Vol. 71. No. 4. P. 233–242.

17. *Jones M., Jones R., Woods M., Whitehead M., Dixon D., Hannah M.* An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics. 2nd ed. L.: Routledge, 2014. — 276 p.

18. *Kwok C., Chan, N.K.* The Making of Contentious Political Space: The Transformation of Hong Kong's Victoria Park // Space and Culture. 2022. No. 25 (4). P. 615–632.

19. *Massey D.* Politics and Space/Time. // Theory and Methods.Critical Essays in Human Geography / Ed. by Chris Philo. L.: Routledge, 2016. P. 269–290.

# Публичная политика

Сегодня в русском языке под словом «политика» понимаются, по крайней мере, два англоязычных термина — *politics* (борьба за завоевание, удержание власти) и *policy* (разработка и реализация программ деятельности власти различного уровня, направленных на решение тех или иных общественно значимых проблем). При этом направление политической науки, которое переводится на русский язык как «публичная политика», на английском звучит как *public policy*, т.е. «политика» именно во втором смысле этого термина.

Не все однозначно и с со смыслом определения «публичный». Так, в большинстве англо-русских словарей, изданных ранее в СССР или РФ, мы найдем перевод слова *public* как «общественный», что отражает специфику российской политической истории, в рамках которой начиная со времен Ивана IV водораздел шел по линии «государево» (включая опричнину) и все остальное, включая земщину, общество и т.д. В странах же Западной Европы, где сохранилось римское право, водораздел шел по линии *private* и *public*, где под *public* (публичное) понималось все, что не *private,* т.е. и государственная, муниципальная и иные формы власти, действующие с уважением к *private*. Иначе говоря, публичная власть — это власть, действующая в общественных интересах и с реальным учетом общественного мнения, власть, способная реализовывать публичную политику. Сегодня, после внесения в 2021 г. поправок в Конституцию РФ, благодаря которым в ней появилось понятие «публичная власть», объединяющее в себе и власть государственную, и структуры местного самоуправления, переводить английский термин *public* как общественный уже становится анахронизмом. Остается только сделать все необходимое, чтобы российская публичная власть соответствовала ее вышеприведенному определению.

Если же обратиться к *public policy* как к направлению исследований в англоязычных и европейских странах, то это направление, в основном посвященное принятию политико-управленческих решений, делает акцент на участии в этом процессе не только властных структур, но и групп влияния, защитников интересов меньшинств, экологических организаций, а также экспертного сообщества. Этим область *public policy* отличается от *public administration*, где в фокусе находятся структуры исполнительной власти, действующие в режиме постоянных консультаций с разнообразными негосударственными акторами публичной политики.

Хорошее представление об основных направлениях исследований в области публичной политики (*public policy*) в англоязычных странах и странах Западной Европы российский читатель может получить из вышедшего в 2008 г. сборника переводов под названием «Публичная политика: от теории к практике»[1]. Так, в одном из первых текстов этого сборника Х. Коулбач, останавливаясь на роли властных структур и экспертного сообщества в принятии решений, пишет: «...разработка политического курса связана с установлением и регулированием порядка среди разнообразных участников политико-управленческого процесса, что относится *не столько к принятию решений, сколько к переговорному процессу* (выделено мной. — *Авт.*)»[2]. По его мнению, важной частью процессов публичной политики являются различные более или менее стабильные формы коллективной разработки политического курса, примерами которых могут быть межминистерские комитеты, консультативные советы с участием бизнеса, НКО и университетов либо такие структуры, как «проблемные сети».

Отметим, что использование термина «публичная политика» является и относительно новым для США. Там только в 80-е годы прошлого века университетские курсы *American Government* поменяли свое название на *Public Policy*. До этого времени казалось очевидным, что государственное управление есть задача правительства, а политика (*policy*) — это то, «что правительство выбирает делать или не делает». В рамках традиционного подхода государственное управление (*governing*) трактуется как форма решения проблем исключительно официальными, уполномоченными на это лицами, а под политическим процессом понимается траектория от выявления проблемы — через целеполагающие действия властных структур — к исполнению принятого решения. Сегодня такой подход постепенно меняется, и новый взгляд на *governing* формируется благодаря нескольким концепциям. *Во-первых*, это концепция государственности (*governmentality*), основанная на взглядах М. Фуко, относящегося к государственному управлению как к деятельности, основанной на разделении общих норм и «ментальностей», отражающих сложившийся порядок. *Во-вторых*, это концепция партисипативной демократии, утверждающей прямое (а не опосредованное) участие граждан в принятии политико-управленческих решений. Свою роль в изменении теоретических подходов играют и появившиеся несколько позже концепция и практики делиберативной демократии.

В развитие современных представлений о публичной политике существенный вклад внес британский исследователь Р. Роудс, который, впрочем, долго

---

[1] Публичная политика: от теории к практике / Сост. и науч. ред. Н.Ю. Данилова, О.Ю. Гурова, Н.Г. Жидкова. СПб.: Алетейя, 2008.

[2] *Коулбач Х.* Политика // Публичная политика: от теории к практике. СПб.: Алетейя, 2008. С. 44.

не использовал этот термин. Исходно он писал о сетевой политике (*policy networks*), под которой понимал формальный и неформальный наборы институциональных связей между государством и другими акторами (профессионалами, профсоюзами и большим бизнесом), структурированными вокруг разделяемых интересов в принятии и реализации политических (*policy*) решений[1].

Развивая сетевой подход к публичной политике, Роудс в 1996 г. вводит понятие *governance*, которое до сих пор не имеет однозначного перевода на русский язык. Та его статья носит название *New Governance: governing without government* (возможный перевод — «Новое государственное управление: управление без правительства»)[2]. Как он пишет в одной из последующих статей: «Концепция *governance* позволяет уйти от различия между государством и гражданским обществом. Государство становится совокупностью межорганизационных сетей, придуманных государственными и социальными акторами без одного главного актора, способного ими управлять и их регулировать»[3].

Предложенный Роудсом концепт широко разошелся в научном мире, сохраняя все выделенные им различные смыслы, аттестующие: минимум вмешательства государства; корпоративное управление; новый государственный менеджмент; «хорошее управление»; социокибернетическую систему и самоорганизующуюся сеть. Тем самым автор делает акцент на множестве акторов, участвующих в разработке и принятии политико-управленческих решений, что делает представление об участии в этом процессе только властных структур безговорочно устаревшим. Иначе говоря, публичная власть, ставшая в России конституционным понятием, не имеет права принимать политико-управленские решения без участия других, гражданских акторов.

Важным условием реализации концепции *governance* как «управления без управляющих» является развитие общественного участия в деятельности власти. В данном случае именно так лучше переводить англоязычный термин *public participation*. «Общественное участие — это процесс, посредством которого общественные заботы, нужды и ценности инкорпорируются в процесс государственного и корпоративного принятия решений. Это двусторонние коммуникации и взаимодействия с общей целью принятия лучших решений, которые поддерживались бы обществом»[4].

Важным концептом исследований в области публичной политики является и понятие политико-управленческого цикла, или цикла принятия решений, которое впервые было предложено Г.Д. Лассуэлом еще в 1951 г. В оригинальном виде такой цикл разделялся на семь стадий: Разведка (*Intelligence*), Активация (*Promotion*), Предписание (*Prescription*), Инициирование (*Invocation*), Исполнение (*Application*), Завершение (*Termination*), Оценка (*Appraisal*). Позже в науке стали чаще использовать пять стадий: включение проблемы в повестку дня, формулировка (выработка) вариантов решения, принятие решения, его реализация и оценка результатов. Интересный анализ публикаций, посвященных первой стадии этого цикла — этапу

---

[1] *Роудс Р.* Новый метод управления: управление без правительства // Публичная политика: от теории к практике. СПб.: Алетейя, 2008.

[2] *Rhodes R.A.W.* The New Governance: Governing without Government // Political Studies. 1996. XLIV.

[3] *Роудс Р.* Указ. соч. С. 70.

[4] *Creighton J.L.* The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.

внесения определенной проблемы в «повестку дня», представлен в аналитическом обзоре Е.А. Вандышевой[1].

Хорошим концептуальным подходом к анализу реальных процессов подготовки и принятия политико-управленческих решений является также концепция множественных потоков, предложенная в 1995 г. Дж. Кингдоном[2]. Автор на примере реализации первой стадии политического цикла — стадии принятия повестки дня или включения той или иной проблемы в повестку дня властной структуры обосновал нереалистичность рассмотрения этой стадии как рационально объяснимого процесса, а всего процесса подготовки решений — как линейных упражнений по разрешению проблем. Кингдон считает, что это скорее множественные, комплексные и случайные полиси процессы, включающие в себя активность различных акторов, действующих как внутри правительства, так и за его рамками. Эти акторы образуют различные кластеры участников процесса, при этом каждый задает различные, хотя и коррелирующие вопросы: «Что здесь случилось? Что мы можем сделать в связи с этим? Что мы должны сделать в связи с этим?» Соответственно, в рамках этих кластеров применяются различные аналитические подходы. Кингдон называет эти кластеры потоками, которые функционируют как подвижные взаимодействия различных акторов. Поэтому, чтобы понимать, как в реальности готовятся решения, следует анализировать связи между этими потоками[3].

Одним из центральных направлений исследований в области публичной политики является изучение проблемы возникновения новых идей и предложений в конкретных направлениях политики (*policy*), часть из которых превращается в реальные реформы, а часть сохраняет проектную форму. Это порождает постоянные вопросы: кто ответственен за возникновение идей, кто входит в инициативные группы, почему они не распадаются иногда в течение многих лет? С этой точки зрения следует обратить внимание на теории, базирующиеся на концепции «Обучаемых политик» (*Policy learning*). Эти представления берут начало в работах Х. Хекло, который одним из первых предположил, что изменения в политических практиках возникают не только и не столько в процессе разрешения конфликтов, сколько в процессе приобретения и использования новых знаний. Еще в 1974 г. он писал: «Традиция учит, что политика — это про конфликты и власть. Это зашоренный взгляд на политику, и особенно сбивающий с толку, когда его применяют к социальной политике. Политика находит свои ресурсы не только во власти, но и в неизвестности — люди коллективно сомневаются, что им надо делать <...>. Выработка политики — это форма коллективного решения головоломок по поручению общества»[4].

Наибольшую известность завоевал вариант концепции обучения, развиваемый П. Сабатье, получивший впоследствии название коалиции общественных интересов (*Advocacy coalition framework*)[5]. В ее рамках любые изменения или реформы яв-

---

[1] *Вандышева Е.А.* Эволюция концепта «политическая повестка» в зарубежных политологических исследованиях // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 4.

[2] *Kingdon J.W.* Agendas, Alternatives, and Public Policies. 2nd ed. N.Y.: Harper Collins, 1995.

[3] *Cairney Paul and Zahariadis Nikolaos.* Multiple streams analysis: A flexible metaphor presents an opportunity to operationalize agenda setting processes // Handbook of Public Policy Agenda-Setting / Ed. by Nikolaos Zahariadis. Edward Elgar, 2016.

[4] *Heclo H.* Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance. New Haven: Yale University Press, 1974. P. 305.

[5] *Сабатье П., Дженкинс-Смит Х.* Концепция лобби-коалиций: оценка // Публичная политика: от теории к практике. СПб.: Алетейя, 2008.

ляются результатом совместных действий людей, представляющих как структуры исполнительной и/или представительной власти, а также лидеров «групп защиты общественных интересов» (*advocacy group*) (активистов «зеленого» движения, одиноких матерей и т.д.). Наряду с ними в эти группы входят и представители экспертного сообщества, а также журналисты. Именно эти иногда очень стабильные (но иногда распадающиеся) группы и являются акторами, продвигающими те или иные реформы или инновации[1].

Большое внимание исследователей в области публичной политики привлекается к институтам и практикам, ответственным за взаимодействие представителей научного и экспертного знания с политиками, ответственными за принятие политико-управленческих решений[2]. Так, в 1999 г. Д. Гастоном была предложена концепция пограничных структур (*boundary structure*), возникающих на границах между системой научного знания и системой власти (например, научно-консультативные советы, созданные при органах власти). Главным достоинством подобных «пограничных структур» он считал их способность обеспечить «институциональное пространство, в рамках которого могут развиваться и эволюционировать долговременные двухсторонние коммуникации, развиваться новые технологии управления и сами границы оказываются преодоленными. Пограничные организации становятся... динамичными структурами, отвечающими изменяющимся интересам акторов по обе стороны границы»[3].

Эти представления нашли развитие, в частности, в работах Р. Хоппа, посвященных условиям, в которых действуют эти «пограничные структуры» в процессе решения стоящих перед обществом и властью проблем[4]. В рамках предложенной им многоуровневой концептуальной схемы предлагается рассматривать деятельность «пограничных структур» или, шире, «пограничную работу» в контексте трех уровней: микроуровня (консультации по политико-управленческим решениям и реализации конкретных проектов); мезоуровня (политических сетей и типологии решаемых проблем) и макроуровня (сферы политической культуры). Хопп предположил, что характеристики всех этих уровней влияют на конкретные формы и характер деятельности пограничных структур, обеспечивающих взаимодействие экспертно-научного сообщества и институтов власти.

Внедрение в современную жизнь разнообразных цифровых или информационно-компьютерных технологий (ИКТ) существенно повлияло и на процессы государственного управления. Сегодня в научной литературе широко используется термин *e-government*, что на русский язык, как правило, переводится как «электронное правительство», что существенно искажает смысл этого термина, определяемого как «система, с помощью которой граждане, фирмы и правительственные агентства могут получать доступ к публичным сервисам с помощью Интернета или телефона»[5]. Русский же перевод подразумевает только правительственные

---

[1] *Sabatier P.A., Weible C.M.* The advocacy coalition framework. Theories of the policy process. Vol. 2. Westview Press, 2007.

[2] *Сунгуров А.Ю.* Публичная политика: основные направления исследований (мировой и российский опыт) // Публичная политика. 2017. № 1.

[3] *Guston D.H.* Stabilizing the boundary between U.S. politics and science: The role of the Office of Technology Transfer as a boundary organization // Social Studies of Science. 1999. Vol. 29. No. 1.

[4] *Hoppe R., Wesselink A., Cairns R.* Lost in the problem: the role of boundary organisations in the governance of climate change // Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. 2013. Vol. 4. No. 4.

[5] *Khan Gohar & Park Han.* The e-government research domain: A triple helix network analysis of collaboration at the regional, country, and institutional levels // Government Information Quarterly. 2013. No. 30.

агентства, игнорируя граждан и фирмы. Иначе говоря, когда в английском языке используется термин *e-government*, то фактически подразумевается *e-governance*.

Демократическим аспектом внедрения ИКТ при этом является увеличение удовлетворенности граждан всеобъемлющей подотчетностью властных структур. Одновременно внедрение ИКТ в деятельность государственных агентств должно также приводить к качественному вовлечению граждан в политику, росту доверия к государственным институтам и прозрачности всех действий властных структур. Тесно связаны с концепцией гражданскоцентричности такие переплетенные между собой концепции, как *e-governance* и *smart-governance* (умное управление). *E-governance* раскрывает применение ИКТ для изменения отношений между государственными институтами и обществом, а *smart-governance* — применение ИКТ в процессе подготовки и принятия политико-управленческих решений. Таким образом, *e-governance* является базовым основанием *smart-governance*.

В рамках этих концептов в науке появилось и понятие «электронное общественное участие», или *e*-участие (*e-participation*), представляющее собой «поддерживаемое ИКТ участие... в процессы государственного управления (*government and governance*)»[1]. Такие процессы могут затрагивать деятельность администраций, обеспечение услуг населению, подготовку и принятие решений, разработку программ деятельности в том или ином направлении. При этом *e*-участие (в зависимости от уровня вовлечения граждан) может реализовываться на уровнях: (1) *e*-информации; (2) *e*-консультации; (3) *e*-соучастия в принятии решений. Такие формы активности подразумевают широкий набор каналов участия — онлайн-форумы, правительственные сайты для онлайн-обсуждений (слушания, сбор средств, привлечение к рабочему процессу добровольцев (*crowd sourcing*) и т.д.), платформы для партисипаторного бюджетирования и др.

Итак, в целом публичную политику (*public policy*) как научное направление можно представить в качестве области, расположенной между традиционной политической наукой, с одной стороны, и направлением *Public Administration* — с другой (в России обозначаемой как государственное и муниципальное управление).

В российскую политическую науку концепция публичной политики (как самостоятельного направления внутри этой дисциплины) стала проникать и развиваться примерно с начала нашего века. Важную роль в данном процессе сыграла деятельность творческого коллектива под руководством Ю.А. Красина, действовавшего в рамках российско-канадского проекта[2]. В это же время под руководством Ю.А. Красина в рамках РАПН был создан Исследовательский комитет по публичной политике и публичной сфере.

Другими точками роста этого направления стали две гражданski-ориентированные российские фабрики мысли — Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр «Стратегия» и Международный общественный фонд «Интерлигал». В рамках деятельности первого реализовывался российско-датский исследовательской проект по мягкой безопасности в Балтийском регионе[3], выходил ежегодный альманах «Публичная политика», а в 2017 г. центр «Стратегия»

---

[1] *Zissis Dimitris, Lekkas Dimitrios, Papadopoulou A.E.* Competent Electronic Participation Channels in Electronic Democracy // Electronic Journal of e-Government. 2009. Vol. 7. Iss.2.

[2] Публичная политика в России / Под ред. Ю.А. Красина. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

[3] Публичная политика в сфере мягкой безопасности: балтийское измерение: Сб. статей. СПб.: Норма, 2003.

стал учредителем журнала «Публичная политика»[1]. Усилиями этой организации в 2006 г. была создана кафедра прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики.

Вторым исследовательским коллективом, много сделавшим для развития российских исследований в области публичной политики, а также для инкорпорации данного термина в российское политологическое сообщество, стал Международный фонд политико-правовых исследований «Интерлигал» во главе с Н.Ю. Беляевой. В 2000 г. Н.Ю. Беляева возглавила в ВШЭ первую в России кафедру публичной политики (что, впрочем, проходило не без сопротивления части политологов, которым это название казалось неудачным). В своих работах Н.Ю. Беляева и ее коллеги исследовали развитие публичной политики в нашей стране, а также анализировали становление в России публичной политики как отдельного направления политической науки.

Вскоре к исследованиям в области публичной политики присоединилась известный конфликтолог Л.И. Никовская. В 2005 г. ИК по публичной политике и публичной сфере РАПН был переименован в ИК по публичной политике с двумя сопредседателями — Н.Ю. Беляевой и Л.И. Никовской. В серии монографий по актуальным вопросам российской политической науки, изданной в 2008 г. под эгидой РАПН, тематика публичной политики и исследований ИК РАПН по публичной политике нашли отражение в двух книгах — «Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия»[2] и «Политическое управление и публичная политика XXI века»[3].

Эти два направления исследований публичной политики вскоре выделились в два Исследовательских комитета РАПН — по публичной политике и гражданскому обществу (предс. Л.И. Никовская) и по публичной политике и государственному управлению (предс. Н.Ю. Беляева). В 2018 г. был записан и выложен на *Open. edu* лекционный курс автора этих строк «Публичная политика и права человека», который поддерживается и в настоящее время[4].

Институционально исследования в области публичной политики получили свое развитие также в Кубанском госуниверситете на кафедре государственной политики и государственного управления, которую возглавляла сначала Е.В. Морозова, а с 2015 г. И.В. Мирошниченко. Здесь в фокусе внимания находятся исследования в области сетевой публичной политики[5]. Ученые и преподаватели этой кафедры установили прочные научные контакты с кафедрой политического управления СПбГУ (Л.В. Сморгунов), где не только ведутся исследования в области публичной политики, но и действует магистерская программа «Политическое управление и публичная политика». В МГУ исследования

---

[1] URL: http://publicpolicyjournal.com//.

[2] Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия / Ред. кол.: А.Ю. Сунгуров (отв. ред.) и др. М.: Российская ассоциация политической науки; РОССПЭН, 2008.

[3] Политическое управление и публичная политика XXI века / Ред. кол.: О.А. Гаман-Голутвина (отв. ред.) и др. М.: РАПН; РОССПЭН, 2008.

[4] URL: https://openedu.ru/course/detail/hse/PPPCH/.

[5] *Мирошниченко И.В., Кольба А.И.* Научная школа КубГУ «Публичная политика и государственное управление»: Роль в развитии отечественных социально-экономических наук // Кубанский государственный университет: 100 лет в истории России: Материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции: В 2 т. / Под ред. М.Б. Астапова. Краснодар, 2020.

в области публичной политики уже много лет ведутся на кафедре политического анализа (А.И. Соловьев)[1].

Кратко рассмотрев институциональные основы развития исследований в области публичной политики в современной России, остановимся далее на главных темах российских исследований. Прежде всего, это анализ самого концепта публичной политики и подходы к систематизации направлений работы исследователей, которым постоянно уделяют внимание ведущие исследователи в этом направлении[2]. Основной фокус российских исследований в области публичной политики — это институты и практики взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с другими акторами поля публичной политики на федеральном, региональном и местном уровнях. Под этими акторами понимаются прежде всего различные общественные организации или организации «третьего сектора», которые часто обозначают как НКО (некоммерческие организации), а также экспертное или академическое сообщество и бизнес-структуры. Формам и практикам взаимодействия российского гражданского общества и власти посвящена наша недавняя монография[3].

Сегодня мы можем выделить две группы исследователей, которые анализируют взаимодействие НКО и государственных структур в сфере реализации социальной политики. Первую представляет доц. НИУ ВШЭ-СПб А.В. Тарасенко, который совместно с коллегой из Хельсинкского университета М. Кулмала анализирует процесс передачи функций реализации политики от государства к НКО с акцентом на сопротивлении этому процессу со стороны отдельных правительственных агентств[4]. Вторую представляют сотрудники Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (Москва) во главе с И.В. Мерсияновой, которые концентрируют внимание на НКО как поставщиках социальных услуг[5].

Тема взаимодействия экспертного сообщества и власти в последнее время все сильнее привлекает внимание российских исследователей. Часть из них исходят из потребностей государства в корректной экспертной оценке социальных и политических рисков, другие выражают опасение, что «рост «социального государства» с его масштабными программами научных исследований, принудительно финансируемых налогоплательщиком, может вызывать искажения в позициях экспертов-специалистов, приводя к их желанию обосновать политику, выгодную специальным интересам (например, государственного служащего, стремящегося

---

[1] Гражданский сектор государственного управления / Под ред. А.И. Соловьева. М.: Аргамак-Медиа, 2018; Конфликтное поле публичной политики / Под ред. А.И. Соловьева, Г.В. Пушкаревой. М.: Аргамак-Медиа, 2022; *Соловьев А.И.* Фронтирные зоны публичной политики // Политическая наука. 2021. № 3.

[2] *Никовская Л.И., Якимец В.Н.* Введение в предметное поле муниципальной публичной политики // Социально-политические исследования. 2019. № 4 (5); *Сморгунов Л.В.* Цифровизация и сетевая эффективность государственной управляемости // Политическая наука. 2021. № 3.

[3] *Сунгуров А.Ю.* Российское гражданское общество и власть: Монография. СПб.: Алетейя, 2022.

[4] *Тарасенко А.В., Кулмала М.* Представительство интересов и социальная политика в России: ветеранские организации как посредники между обществом и государством // Журнал исследований социальной политики. 2016. № 14 (4); *Тарасенко А.В.* Региональные особенности реформы сиротских учреждений в России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. Т. 21. № 3.

[5] *Мерсиянова И.В., Иванова Н.В.* Партнерство государства и благотворительных фондов как стратегия повышения ресурсной обеспеченности некоммерческих организаций. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 1.

максимизировать подведомственные ему бюджет и полномочия)»[1]. Наряду с этим третьи поднимают проблему влияния междисциплинарности на статус и фундированность экспертного знания в социальных науках. Четвертые пишут о политической функции интеллектуала и рассматривают экспертное сообщество как субъект гражданского участия в регионе.

Еще одно направление анализа — это соотношение функционала сотрудников исполнительной власти и функционала экспертов. В реальных структурах исполнительной власти присутствуют оба этих функционала, хотя и в различной пропорции. Выявить эти пропорции в зависимости от характера этих структур и их уровня в общей иерархии представляется очень важной задачей будущих исследований. В наших работах также указывается, что желание видеть в эксперте, оценивающем любое социальное нововведение, некий объективный прибор, неосуществимо, так как любой эксперт как человек имеет собственные установки по поводу того, что является благом для общества. Одновременно анализируются практики участия экспертов в подготовке решений Законодательного собрания субъекта РФ (на примере Санкт-Петербурга), а также известные модели взаимодействия экспертного сообщества и власти (линейно-автономная модель и модель «добродетельного разума») дополняются такими моделями, как модель «оплаченного результата» и «инициативной экспертизы»[2].

Автором этих строк в 1999 г. (одновременно с концепцией пограничных структур Д. Гастона) была предложена концепция о наличии в поле публичной политики особого вида институтов, выполняющих медиаторские (посреднические) функции между основными акторами такой политики. Соответственно, в последние годы продолжалось активное изучение деятельности фабрик мысли, института Уполномоченного по правам человека, общественных палат и общественно-консультативных советов различного типа, которые могут быть примером таких структур-медиаторов между обществом и властью, а могут и имитировать эти функции[3].

Как мы уже отмечали, исследователи из Кубанского университета системно работают над развитием такого направления, как сетевая публичная политика. Так, одна из их недавних публикаций была посвящена теме влияния сетевых сообществ на формирование городской повестки дня. Эти исследователи ввели также такое перспективное, на наш взгляд, понятие, как «Экосистема сетевого публичного управления»[4].

Близкими по сути исследованиями занимался и занимается сегодня коллектив Центра технологий электронного правительства Университета ИТМО под руководством А.В. Чугунова. Термин «публичная политика» они при этом не использовали, хотя именно развитие функций электронного правительства, а затем *е*-участия было и остается фокусом их исследовательского интереса. Так, например, они изучали развитие электронных приемных в регионах РФ, совершенство-

---

[1] *Яновский К.Э., Жаворонков С.В.* Всемогущее правительство, поддержанное «научным консенсусом» // Общественные науки и современность. 2019. № 6.

[2] *Сунгуров А.Ю.* Экспертные сообщества и власть. М.: Политическая энциклопедия, 2020.

[3] *Сулимов К.А.* Системы консультативно-совещательных органов в современной России как институциональные условия со-управления: между унификацией и разнообразием // Вестник Пермского ун-та. Серия: Политология. 2018. № 1. С. 5–23; *Сунгуров А.Ю.* Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие институты-медиаторы. М.: Политическая энциклопедия, 2015.

[4] *Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А.* Экосистема сетевого публичного управления: оценка готовности сетевого окружения к инновационным практикам (на примере субъектов РФ) // Человек. Сообщество. Управление. 2017. № 4.

вание системы электронного взаимодействия власти и граждан с использованием технологий искусственного интеллекта и мониторинг ресурсов электронного участия в России. Концептуализация понятия «электронное участие» и практики его реализации представлены в недавней монографии этого коллектива[1].

Активно работают в направлении сравнительного анализа отношений между властью, гражданским обществом и бизнесом в различных регионах России и члены устойчивого научного тандема Л.И. Никовская и В.Н. Якимец, эффективно используя предложенный ими уже более десяти лет назад ЯН-индекс уровня межсекторного социального партнерства, измеряемый на основе оценок представителей власти, гражданских организаций и бизнес-сообщества. Отметим, что если исходно эти взаимодействия они описывали в рамках концепций «межсекторного социального партнерства» и «общественно-государственного управления», то в последние годы стали обозначать их уже как формы «муниципальной публичной политики»[2].

Мы видим, таким образом, что концепт публичной политики сегодня уже становится привычным не только за рубежом, но и в отечественной политической науке. Можно надеяться, что использование термина «публичная власть» в обновленной российской Конституции станет шагом на пути к тому, чтобы наша российская власть стала действительно публичной и подотчетной российскому обществу.

*А.Ю. Сунгуров*

**Литература**


1. *Кабанов Ю.А.* Публичная политика в гибридных режимах: обзор исследований // Вестник Пермского ун-та. Серия: Политология. 2020. Т. 14. № 2. С. 142–150.
2. Конфликтное поле публичной политики: опыт, уроки и перспективы современного российского общества / Под ред. А.И. Соловьева, Г.В. Пушкаревой. М.: Аргамак-Медиа, 2021. — 336 с.
3. Политическая онтология цифровизации и государственная управляемость: Монография / Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2022. — 351 с.
4. *Скалабан И.А.* Общественное участие: теория и практика социального конструирования: Монография. Новосибирск: НГТУ, 2015. — 407 с.
5. *Соловьев А.И.* Фронтирные зоны публичной политики // Политическая наука. 2021. № 3. С. 183–204.
6. *Сунгуров А.Ю.* Российское гражданское общество и власть. СПб.: Алетейя, 2022. —331 с.
7. Электронное участие: концептуализация и практика реализации в России: Колл. монография / Под ред. А.В. Чугунова, О.Г. Филатовой. СПб.: Алетейя, 2020. — 254 с.
8. *Colebatch H.K., Hoppe R.* Handbook on Policy, Process and Governing. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2018. — 516 p.
9. *Weible C.M., & Sabatier P.A.* Theories of the Policy Process. 4th ed. Boulder, CO: Routledge, 2017. URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1451128.
10. *Zhang Jian, Yu Xiao and Zhang Yanzhe.* Policy-Oriented Learning: A Case on Initiating Long-Term Care Insurance in China's Social Security Sector // Sustainability. 2021. No. 13. P. 3233. URL: https://doi.org/10.3390/su13063233.


[1] Электронное участие: концептуализация и практика реализации в России / Под ред. А.В. Чугунова и О.Г. Филатовой. СПб.: Алетейя, 2020.

[2] *Никовская Л.И., Якимец В.Н.* Введение в предметное поле муниципальной публичной политики // Социально-политические исследования. 2019. № 4 (5).

# Публичное управление

Новейшая история эволюции управленческого воздействия «государство–общество» позволяет выделить его три основные модели: старое государственное управление, или веберианское государство (*Weberian State, WS*), — модель, охватывающая период с конца XIX в. до конца 70-х — начала 80-х годов XX в.; новое государственное управление (*New Public Management, NPM*) – модель, охватывающая период с конца 1980-х до начала XXI в.; публичное или общественное управление (*Public Governance, PG*), эволюционирующее в сторону нового публичного управления (*New Public Governance, NPG*) — настоящее время[1].

До последней трети прошлого века широко распространенным было этатистское представление о политико-административном управлении, отводившее центральное место при разработке политического курса государству и акцентировавшее внимание прежде всего на инструментах распоряжений и контроле исполнения государственных решений. Модель нового государственного управления, в отличие от традиционного, бюрократического, ориентировалась уже не на правила и процедуры, а на результаты. При этом в качестве ключевых критериев управленческой деятельности рассматривались прибыль и экономия затрат, а целевой функцией государственного управления выступала идея сервисного государства. Реализация данной модели в ходе прошедших в конце XX в. административных реформ наряду с успехами показала ее слабости, связанные, прежде всего, с ограничениями применения рыночных инструментов в решении задач публичного сектора, где одними из ключевых критериев являются участие и социальная справедливость, а не прибыль и затраты[2].

Пришедшая на смену *NPM* модель публичного управления была призвана, сохранив его позитивные качества, преодолеть чрезмерный инструментализм, сделав акцент не на применении механизмов рыночной экономики в государственном управлении, а на включении ценностей и интересов многообразных общественных групп в процесс принятия и выполнения политико-административных решений. Тем самым в центр системы управления были поставлены коммуникативные процессы постиндустриального общества и его участие в деятельности открытого правительства. В этом контексте «публичное управление» преодолевает концепцию управления исключительно через правительство, когда государственный орган, обладая формально-правовыми полномочиями, совершает и осуществляет политико-административные действия. Авторы, писавшие о *PG* как новой модели, идущей на смену *NPM*, обосновывали тезис об управлении через гражданское участие («управление без правительства»), ориентированное на интересы и ценности граждан[3].

Согласно современному подходу к публичному управлению формирование политического курса характеризуется договорными отношениями. При таком подходе утверждается важность политических институтов, отмечается возросшее значение принципа доверия к политическому курсу. Доверие как ключевой элемент

---

[1] *Osborne S.P.* The new public governance? // Public Management Review. 2006. No. 8 (3).

[2] *Kettl D.F.*The Politics of the Administrative Process. Washington: SAGE, 2020. P. 220–221.

[3] Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

современного функционирования властно-управленческих отношений используется при разработке концепции публичного управления, которая рассматривается как дальнейшее развитие идей нового государственного управления, позволяющее соединить политическую подотчетность концепции политико-административной дихотомии (*WS*) и эффективность менеджеризма (*NPM*)[1].

Понятие «публичное управление» оттеняет значимый аспект в управлении общественными делами посредством налаживания сети партнерских отношений, а не обычного администрирования. При этом именно государство берет на себя инициативную функцию сотрудничества, становясь партнером формирующейся кооперации, а не традиционно доминирующим и властным институтом, навязывающим свой стандарт деятельности. В противовес идее государственного управления как иерархически организованной системы, концепция «публичного управления» предлагает новый тип управления, основой которого являются сетевые структуры взаимодействия государственных, частных и общественных организаций[2].

П. Джон и А. Коул подчеркивают, что понятие «публичное управление», обозначающее политическое влияние через диффузные сети производителей решений, заменяет собой понятие «правительство» как осуществление институциональной власти[3]. Подобное управление отличается как от администрирования, при котором источником политико-административных решений выступает исключительно политическое руководство, так и от рыночной (менеджериальной) модели с ее акцентом на контрактных отношениях, где каждый участник старается максимизировать свою выгоду.

В настоящее время нередко сетевую модель называют общественно-государственным управлением или новым публичным управлением (*New Public Governance*), включающим фокус на координацию, результативность и общественное влияние с одновременным признанием политико-административных функций государства[4].

Кроме того, в документах ряда крупнейших международных организаций публичное управление трактуется с позиций его развития в направлении качественного («хорошего») публичного управления (*Good Governance*). Так, термин *good governance* впервые был использован в документах Всемирного банка в начале 90-х годов прошлого века. В определении Всемирного банка 1992 г. *good governance* описывается с использованием следующих качеств: открытая политика, ориентированная на развитие; профессиональное управление, действующее в общественных интересах; господство правовых норм; прозрачность процессов принятия государственных решений; сильное гражданское общество[5]. В документах ООН также неоднократно упоминается *good governance*, когда речь идет о базовых ценно-

---

[1] *Kjær A.M.* Governance. Cambridge: Polity Press, 2004.

[2] Ibid.

[3] *John P., Cole A.* When Do Institutions, Policy Sectors, and Cities Matter? Comparing Networks of Local Policy Makers in Britain and France // Comparative Political Studies. SAGE Publications, 2000. Vol. 33. No. 2. P. 248–268.

[4] *Борщевский Г.А.* Современный дискурс гражданской службы России: взгляд сквозь призму административных парадигм // Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 2. С. 34–59.

[5] *Schöler G., Walther C.* A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration. The World Bank, Bertelsmann Foundation, 2003.

стях качественного управления: совместная работа граждан и власти (*participation*); верховенство права (*rule of law*), прозрачность (*transparency*); оперативность (*responsiveness*); ориентация на консенсус (*consensus oriented*); равенство и недискриминация (*equity and inclusiveness*); результативность и эффективность (*effectiveness and efficiency*); подотчетность (*accountability*)[1].

ООН рассматривает *good governance* как основанную на широком участии, транспарентную и подотчетную систему публичного управления. Она охватывает государственные органы и их действия, а также корпоративный сектор и организации гражданского общества. Понятно, что это чрезмерно идеализированная система, дающая самые общие ориентиры качества публичного управления. Отсюда вполне оправданно появление концепции «достаточно хорошего публичного управления» (*good enough governance*)[2]. Данная концепция утверждает, что не все недостатки реально действующего публичного управления могут и должны быть немедленно устранены и что создание институтов и изменение действующих управленческих практик требует времени. В рамках «достаточно хорошего публичного управления» ставятся выполнимые в данных условиях задачи, способные обеспечить экономическое и социальное развитие.

В научном дискурсе продолжаются дискуссии о моделях публичного управления, отвечающих современным потребностям инновационного и устойчивого развития. Все больше сторонников приобретает комплекс идей, аргументирующих необходимость использования потенциала модели цифрового публичного управления (*Digital Era Governance, DEG*)[3]. Применительно к *DEG* речь идет о модели публичного управления, для которой характерны: малочисленный управленческий аппарат, отсутствие посредников в виде госорганов между человеком и его данными, быстрота принятия решений и т.д. Государство в данном случае должно, с одной стороны, обеспечить благоприятную инновационную среду, а с другой — стать успешным актором имплементации инноваций в свою деятельность, что невозможно без восприятия системой публичного управления цифровой реальности через свою повседневную деятельность практически во всех сферах жизнедеятельности человека. В рамках новой модели цифровые технологии занимают основное положение в публичном управлении и привносят организационные культуры, сформировавшиеся вне правительственной сферы под влиянием информационных технологий сети Интернет.

На индивидуальном уровне это подразумевает, что граждане берут на себя все большую ответственность в процессе обращения к правительственным организациям и при производстве и оказании государственных услуг. Между тем эта ответственность существенно ограничивается правительственными решениями, которые необходимо принимать централизованно (например, стратегические проекты, формирование и распределение бюджета, вопросы обороны и безопасности страны и т.д.). Кроме того, модель цифрового управления использует большие данные и предполагает создание цифровой платформы, что минимизирует

---

[1] United Nations. What is Good Governance? 2009. URL: http://www.unescap.org/sites/default/files/goodgovernance.pdf (accessed: 09.12.2022).

[2] *Grindle M.S.* Good enough governance revisited // Development and Policy Review. 2011. No. 29.

[3] *Dunleavy P., Margetts H., Tinkler S.* New Public Management Is Dead — Long Live Digital-Era Governance // Journal of Public Administration Research and Theory. 2006. No. 16 (3); *Ravšelj D., Umek L., Todorovski L., Aristovnik A.* A Review of Digital Era Governance Research in the First Two Decades: A Bibliometric Study // Future Internet. 2022. No. 14 (126).

человеческий фактор и, как следствие, коррупцию, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной управленческой отчетности, обеспечивает объективное принятие решений, благодаря анализу реальной ситуации: «Цифровизация государственного управления — это процесс трансформации культуры, организации и взаимоотношений органов государственной власти с бизнесом и обществом посредством использования новых цифровых технологий (большие данные, Интернет, искусственный интеллект)»[1].

Таким образом, современность меняет основные целевые, функциональные, структурные принципы построения публичного управления, осуществляя парадигмальный сдвиг в понимании его места и миссии в отношениях государство—общество. К старой парадигме относится бюрократическая модель государственного управления, к новой парадигме относятся модели нового государственного менеджмента, сетевая, цифровая.

В России термин «публичное управление» получил распространение в связи с принятием в 2020 г. поправок к Конституции Российской Федерации, касавшихся в том числе сферы государственного управления и государственной власти и в которых использовался термин «публичная власть». В отечественном обществознании публичное управление рассматривается как область регулятивного воздействия государства на различные типы общественных процессов и отношений, и соответствующий термин применяется в связи с желанием подчеркнуть системность государственного и муниципального уровней управления[2]. Кроме того, данный термин является отражением новых процессов в характере взаимодействия субъектов и объектов управления: «Активное употребление в научной среде и практической сфере терминов “публичная власть”, “публичное управление” есть результат не только тех изменений, которые произошли в Конституции Российской Федерации, но и эволюции в сфере государственного управления, а также происходящей четвертой промышленной революции, когда к управлению государством и обществом привлекаются не только органы государственной власти, но и различные виды государственных и негосударственных органов и организаций, а также используются новые технологии. Таким образом, изменяется вся система государственного управления, и она становится системой публичного управления»[3].

Рассматривая современную трактовку публичного управления не только как практико-ориентированную модель административных реформ и оценку реальных процессов взаимодействия государство–общество, но и как предметную область научных исследований, имеющую свое место среди других общественных наук, следует отметить — это научное направление, включающее связанные, но относительно автономные исследовательские области. Среди них: *государственная и муниципальная административно-управленческая деятельность* (*public administration*), т.е. операциональные и административные аспекты функционирования государственных и муниципальных органов и гражданской службы; *аналитика*

---

[1] *Сморгунов Л.В.* Цифровизация и сетевая эффективность государственной управляемости // Политическая наука. 2021. № 3. С. 28–29.

[2] В российском законодательстве государственное управление и муниципальное управление рассматриваются как разные уровни публичного управления (см.: Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», ст. 6).

[3] *Спиридонов П.Е.* Публичное управление в период правового постмодернизма // Lex russica. 2022. Т. 75. № 11. С. 83.

*государственных и муниципальных программ и политик* (*public policy*), включая стратегическое планирование, оценку регулирующего воздействия; *взаимодействие государства и граждан* (*public affairs*), включая лоббизм и отношения бизнеса с государственными и муниципальными органами (*government relations, GR*)[1].

Однако выделение предмета данной области знаний еще не решает общую проблему ее идентификации. Пограничное положение между теорией управления (менеджментом) и политической теорией изначально вызывало определенные трудности при системном осмыслении публичного управления как зависимой переменной от действий широкого круга акторов и влияния разнообразных общественных процессов.

В мировом обществознании изначально существовали и продолжают быть достаточно распространенными два основных подхода к пониманию места и содержания науки публичного управления среди других социальных наук. Первый подход определяет данную сферу гуманитарного знания как системное объединение концептов и исследовательских инструментов, разработанных другими науками, необходимое для рекомендаций практикам управления. Еще Г. Лассуэлл, отмечая междисциплинарную природу публичной политики, считал необходимым для рационализации публичного управления усиливать интеграцию политической науки с социологией, экономикой, правом и управлением бизнесом, что позволит повысить точность аргументации[2]. Данная позиция признает публичное управление как некоторую интеграцию достижений различных наук, то, что Лассуэлл называл *policy sciences*. С этой точки зрения публичное управление как самостоятельная наука не существует. Оно является лишь исключительно профессиональной деятельностью управленцев в государственных, муниципальных и неправительственных организациях, использующих достижения *policy sciences*.

Второй подход, признавая роль других социальных наук (политической теории, экономики, истории, социологии, юриспруденции), тем не менее считает, что уже примерно 150 лет существует относительно молодая, но все более влиятельная самостоятельная наука, имеющая свой понятийный аппарат, свои концепты, своих теоретиков, способная предлагать практике общественного управления свои рекомендации. Причем эта связь с практикой является отличительной чертой науки публичного управления, когда теоретическое и экспертное знание выступают в тесной связи и ориентируются на конкретные потребности государственных, муниципальных и общественных организаций. Как писал гуру науки публичного управления А. Вилдавски, эксперт-исследователь (политический аналитик) всегда должен говорить правду властям предержащим о возможных альтернативах предполагаемого государственного решения, даже если это может вызвать неприятие у лиц, принимающих решения (ЛПР)[3]. Для данного подхода типично разделение теоретической области публичного управления как на общие концепты (теория организации, теории мотивации, теория принятия решений),

---

[1] Public Management: theessentialreadings / Ed. by J.St. Ott, A.C. Hyde, J.M. Shafritz. Chicago: Lyceum Books/Nelson-Hall Publishers, 1991. P. IX; *Барабашев А.Г., Уткина В.В.* Государственное управление в России: основные предметные области и тренды научных исследований // Вестник Университета (Государственный университет управления). М., 2014. № 16. С. 6.

[2] The Policy Sciences / Ed. by H.D. Lasswell and D. Lerner. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1951. P. 3–15.

[3] *Wildavsky A.B.* Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis. New Brunswick: Oxford, 1987.

так и на специфические концепции, ориентированные именно на общественный сектор (теория бюрократии, концепция «нового государственного менеджмента», концепция «умного регулирования», сетевая концепция государственного управления, теория общественного выбора и др.).

Признавая сам факт существования науки публичного управления, некоторые исследователи исходят из так называемого «дженералистского» подхода, рассматривая ее как субдисциплину, включенную в общее теоретическое поле менеджмента (управленческой науки). Утверждается, что менеджмент как общая теория управления дает для публичного управления ключевые концепты анализа организаций и организационного поведения, без чего невозможно исследовать вопросы публичного управления на микроуровне (уровне организаций)[1]. Близка к этому идея ряда авторов, настаивающих на междисциплинарном характере публичного управления, включающем политический анализ, финансовый менеджмент, управление человеческими ресурсами, информационный менеджмент и изучение внешней среды[2]. Иногда ссылаются на исследовательскую традицию, заложенную еще В. Вильсоном, писавшим, что «государственное управление находится за пределами собственно *политической сферы*. Вопросы государственного управления не являются политическими вопросами. Хотя политика и определяет задачи для органов управления, ее вмешательство в процессы управления недопустимо»[3].

Противоречивая взаимосвязь операциональной, административной и политической подсистем публичного управления показывает, что в едином процессе государственного и муниципального управления сосуществуют разные логики выработки ориентиров, особые механизмы согласования интересов, мотивации акторов и стратегии выработки позиций, альтернативы применения ценностей и традиций, норм и стереотипов, правил и технологий властвования. Смысл и специфика публичного управления в том, что данная категория позволяет объемно представить институты и процессы политико-административной системы как 1) властные образования, имеющие непосредственное отношение к существующему политическому режиму; 2) управленческие инструменты, обладающие административным потенциалом регулятивного воздействия; 3) итог компромиссов и столкновений коалиций, заинтересованных в государственных решениях групп.

В этом смысле публичное управление можно определить как систему кооперации государственных, муниципальных, некоммерческих и смешанных структур, призванную обеспечить удовлетворение общественных интересов и решение коллективных проблем. Публичное управление, объединяя деятельность государственных, муниципальных, неправительственных (некоммерческих) организаций, фактически представляет общественно-государственную систему реализации общенациональных и местных интересов и производства общественных благ. Достаточно ясно разные смысловые оттенки публичного управления демонстрируют англоязычные термины: *public administration, public governance,*

---

[1] Hinderaker. The study of administration: Interdisciplinary dimensions // Western Political Quarterly. Sacramento, 1963. № 16. P. 5–12; *Латфуллин Г.А., Никитин А.С., Серебренников С.С.* Теория менеджмента. СПб.: Питер, 2014. С. 14.

[2] *Garson G.D., Overman E.S.* Public Management Research in the United States. N.Y.: Praeger Publishers, 1983. P. 55–73.

[3] Классики теории государственного управления. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 24.

*public policy making, public management*, отражающие разные аспекты в условиях усложнения взаимозависимостей между государственными, коммерческими, неправительственными и квазиправительственными организациями, формирования сетей их взаимовлияния.

Публичное управление должно учитывать автономность личности, оставляя ей возможность самостоятельного выбора. Кроме того, существенную роль играют формы и типы представительства интересов разнообразных общественных групп, а также групп влияния. Поэтому особое значение приобретает уровень обратных связей, массовый общественный уровень исполнения управленческих решений, где особый интерес представляют: 1) группы интересов (различные общественные фонды, профсоюзы, этнические, молодежные и др. организации с определенными интересами, парламентские лобби и пр.); 2) отношения непосредственно с гражданами (налогообложение, законотворческая и правоприменительная практика, подготовка и реализация социальных программ); 3) взаимоотношения с коммерческими предприятиями (их правовое регулирование, государственно-частное партнерство и т.д.).

Поскольку публичное управление — это не только административный, но и политический процесс принятия и исполнения решений, то его системное понимание включает действия формальных и неформальных акторов, вовлеченных в процесс принятия и исполнения решений, и формальных и неформальных структур, созданных для восприятия и исполнения этих решений[1]. Правительство вместе с бюрократическим аппаратом являются, безусловно, важнейшими, но не единственными акторами этого процесса. Последний включает также деятельность неправительственных организаций, аналитических «мозговых центров», религиозных лидеров, финансовых институтов, политических партий, компаний и т.д.

Организационный детерминизм в публичном управлении, господствовавший на протяжении большей части XX столетия, в современных условиях подвергается серьезной критике. Особенно ярко эта критика представлена в позиции неоинституционализма. Его видные представители Дж. Марч и Дж. Олсен в своей программной статье в середине 80-х годов прошлого века подчеркивали ограниченность попыток при изучении действий политических акторов абсолютизировать микрорациональные факторы[2]. Д. Кеттл конкретизировал эту позицию на примерах деятельности госаппарата, показывая неправомерность оценки ее эффективности, абстрагируясь от целей государственной политики[3]. Отсюда, в частности, вытекает многозначность ключевой проблемы подотчетности бюрократии[4]. Изучение легитимности, эффективности и подотчетности политико-административной деятельности акторов публичного управления позволяет всесторонне показать смысл и содержание управленческих стратегий государства. Эти стратегии вытекают из особенностей целей деятельности государственных структур. Поэтому изучение публичного управления тесно соприкасается с исследованиями по теории политики, политическому анализу, этике, политической философии,

---

[1] What is Good Governance. URL: http://www.unescap.org/pdd/prs/Project Activities/Ongoing/gg/governance.asp. (accessed: 16.12.2022).

[2] *March J.C., Olsen J.P.* The New Institutionalism: organizational factors in political life // American Political Science Review. Cambridge, 1984. Vol. 78. No. 3. P. 734–749.

[3] *Kettl D.F.* The Politics of the Administrative Process. Washington, DC: SAGE Publications, 2020.

[4] The Oxford Handbook of Political Institutions / Ed. by R.A.W. Rhodes. Oxford: OxfordUniversityPress, 2008. P. 374.

конфликтологии, политическому прогнозированию и др. Кроме того, важно подчеркнуть, что публичное управление — это, прежде всего, воздействие властное, политическое, которое имеет правовую обусловленность, а в реализации — силу государственного аппарата, обладающего средствами принуждения.

Отметив то, что сближает публичное управление с другими обществоведческими дисциплинами, нужно также выделить то, что отличает их от других составных частей обществознания. Как правило, указывают на три специфических признака:

1) проблематика данного научного направления охватывает наиболее актуальные вопросы политико-административной практики;
2) прямая включенность в процесс разработки государственных решений означает нормативную заданность исследований, когда прямо признается базовая роль ценностей, разделяемых исследователем;
3) научные исследования наиболее тесно связаны с экспертизой и потому занимаются вопросами, что нужно *делать*, а не тем, что должно *быть*[1].

Как отмечалось выше, отличительные черты публичного управления были практически проявлены в последней трети двадцатого столетия, когда на него оказали серьезное негативное воздействие разочарования, связанные с целым рядом провалов государственной политики во многих странах. Как следствие, были начаты радикальные реформы государственной и муниципальной службы практически во всех развитых странах, часто без какого-либо серьезного теоретического обоснования.

Реформы государственного управления в развитых странах сопровождались большим количеством публикаций и исследований, проводимых в рамках анализа публичного управления как системы механизмов имплементации публичной политики. Данная субдисциплина объединила в себе микроэкономику, политологию, государственные финансы, теорию систем и другие общественные науки с целью формирования междисциплинарного представления о том, каким должно быть государственное управление, как оно должно определять суть и вызывать изменения государственных программ и как должна осуществляться оценка его воздействия и результатов[2].

Влияние политико-управленческого анализа в университетской среде заключалось в том, что учебные заведения в развитых странах все чаще предлагали специальность «Публичная политика» наряду с традиционным дипломом магистра по специальности «Публичное управление» (*MPA*). Несколько крупных факультетов государственного управления в американских университетах были даже переименованы в факультеты публичной политики и менеджмента (*Public Policy and Management*). После периода становления как области знаний сейчас она является предметом исследований, которому посвящены солидные журналы (*Policy Studies Review, Policy Studies Journal, The Journal of Policy Analysis and Management* и мн. др.). Появились авторитетные научные журналы и в Российской Федерации, специализирующиеся в данной области, например «Вопросы государственного и муниципального управления», «Власть», «Государственная служба», «Вестник государственного и муниципального управления», «Вестник Московского универ-

---

[1] Handbook of Public Administration / Ed. by J. Rabin, W.B. Hildreth, G. Miller. Boca Raton: CRC Press, 2007. P. 5–7.

[2] *Birkland T.* An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. N.Y.: M.E. Sharpe, 2011.

ситета. Серия «Управление (государство и общество)» и др. Проводятся крупные конференции, где обсуждаются проблемы государственной политики, вопросы методологии и события, происходящие в этой области. Весомую координирующую и структурирующую функцию в достаточно разношерстном пространстве научных работ в области публичного управления вот уже 20 лет выполняет ежегодно проводимая в МГУ имени М.В. Ломоносова международная конференция «Государственное управление в XXI веке: традиции и новации», собирающая как вузовских, так и практикующих специалистов из России, практически всех стран постсоветского пространства, многих зарубежных государств. Отражением успехов отечественной школы публичного управления стало появление в номенклатуре научных специальностей ВАК «государственное и муниципальное управление» и «государственное управление и отраслевые политики», охватывающих весь спектр направлений исследований в рамках публичной политики и публичного управления.

Современный подход к публичному управлению предъявляет к профессиональной подготовке гражданских служащих требования, связанные с навыками аналитического подхода в своей профессиональной деятельности. Теория публичного управления может помочь в этом, формируя знания и навыки прогнозирования последствий альтернативных управленческих решений (делая управленческий выбор информированным), а также эффективного участия в процессе принятия решений (делая выбор состоявшимся).

Тем самым публичное управление соединяет науку и практический менеджмент, позволяя обеспечить защиту от некомпетентности, уклона в пользу каких-либо одних ценностей и профессиональных предрассудков. Но для внедрения аналитического подхода в практику публичного управления необходимы определенные предпосылки. *Во-первых*, нужны профессиональные эксперты-аналитики, обладающие соответствующими идеями. *Во-вторых*, необходимо освоить базовые теоретические концепции. *В-третьих*, желание ЛПР использовать аналитический подход на практике. *В-четвертых*, хорошо организованный процесс планирования, позволяющий прогнозировать будущее и оценивать последствия принятых решений[1].

Анализируя практическую реализацию принципа публичности государственного и муниципального управления, стоит отметить существование двух тормозящих факторов. *Во-первых*, имеется существенный недостаток первичной информации в самих органах исполнительной власти. Трудно говорить о полноте предоставляемой информации в ситуации, когда ее никто не учитывает. Федеральная служба государственной статистики не отслеживает многие содержательные стороны деятельности органов государственного и муниципального управления. Например, в результате проблемы «невидимости» малого бизнеса в государственном (муниципальном) статистическом учете, экономическом мониторинге, анализе, прогнозировании, бюджетном планировании оборачиваются законами и правоприменительной практикой, которые можно оценить как «плохое государственное управление». При прочих равных условиях это проявляется тем сильней, чем меньше известно лицам, принимающим властные решения, о действительном состоянии, реальных правилах ведения бизнеса под их административным контролем и регулированием.

---

[1] Классики теории государственного управления. С. 683–694.

*Во-вторых*, налицо отсутствие заинтересованности самих чиновников в предоставлении открытого доступа к информации, связанной с их деятельностью. Существование тесной взаимосвязи интересов государственных служащих и бизнес-структур, безусловно, препятствует прозрачности системы государственного управления. Отсюда его экспертная слабость и тромбированность подпитки научных разработок, когда при слабом социальном заказе трудно ожидать высокую мотивацию ученых. В настоящее время явно недостаточное внимание в органах государственного управления уделяется аналитическому обеспечению собственной деятельности. При всей специфике аналитической работы в различных государственных органах главной и общей проблемой остается недостаточная отработанность технологии использования информационно-аналитических материалов при подготовке решений. Формально созданы обширные структурные подразделения, задействованы финансы и квалифицированные специалисты, однако результаты проведенных исследований используются далеко не всегда, иногда они просто блокируются. Общими недостатками в аналитическом обеспечении публичного управления являются: необязательность внешней экспертизы принимаемых решений, включая оценку рисков и анализ альтернатив[1].

Текущие события, связанные с коронавирусным кризисом, рисками управления финансовыми рынками, миграционными и демографическими процессами, острыми геополитическими конфликтами, выдвинули на первый план двойную проблему уязвимости и устойчивости систем публичного управления. Перед публичным управлением актуализируются вопросы относительно политической и административной осуществимости управления конкретными рисками в условиях турбулентности. Здесь традиционного для публичного управления сосредоточения внимания только на эффективности управленческой деятельности, участии и механизмах регулирования недостаточно для характеристики задачи создания качественных институтов управленческой системы, причем объективные показатели этого качества до настоящего времени имеют весьма дискуссионный характер[2]. Кроме того, стало ясно, что в некоторых случаях поиск общесистемной эффективности может подорвать устойчивость данной системы[3]. Эти реалии представляют собой новые вызовы ученым и практикам в области публичного управления. С одной стороны, необходимо переработать концептуальные основы для исследований взаимосвязи между эффективностью и адаптивностью в публичном управлении. С другой — необходимо подготовить на прикладном уровне новые модели государственной политики и институциональные решения, способные решать проблемы уязвимости управления и его устойчивости[4].

В результате в публичном управлении происходит сдвиг в сторону новых концепций, таких как адаптивное управление[5]. Адаптивные методы управле-

---

[1] Наука и практика государственного управления: проблемы и перспективы взаимодействия // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 1. С. 7–34.

[2] *Вилисов М.В., Телин К.О., Филимонов К.Г.* От устойчивости к стабильности: что делает «хорошим» государственное управление // Полития. 2020. № 1 (96).

[3] *Duit A.* Resilience thinking: lessons for public administration // Public Administration. 2016. Vol. 94. No. 27. P. 364.

[4] *Вилисов М.В., Телин К.О., Филимонов К.Г.* Указ. соч. С. 8; *Capano G., J. J.* Resilience and robustness in policy design: A critical appraisal // Policy Sciences. 2017. Vol. 50. No. 3.

[5] *Bizikova L., Swanson D., Tyler S., Roy D. & Venema H.D.* Policy adaptability in practice // Policy Design and Practice. 2018. No. 1.

ния намеренно признают неопределенность и реагируют на нее, используя сценарное планирование, постоянный мониторинг результатов, экспериментальные подходы, поощряя обучение и разрабатывая альтернативные решения, способные адаптироваться к меняющимся условиям и неожиданным программам действий.

*Г.Л. Купряшин*

**Литература**


1. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404070/ (дата обращения: 18.12.2022).
2. *Барабашев А.Г., Уткина В.В.* Государственное управление в России: основные предметные области и тренды научных исследований // Вестник Университета (Государственный университет управления). М., 2014. № 16. С. 5–15.
3. *Борщевский Г.А.* Современный дискурс гражданской службы России: взгляд сквозь призму административных парадигм // Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 2. С. 34–59.
4. *Вилисов М.В., Телин К.О., Филимонов К.Г.* От устойчивости к стабильности: что делает «хорошим» государственное управление // Полития. 2020. № 1 (96). С. 7–27.
5. *Лихтин А.А.* Публичное управление как объект научного исследования и направление подготовки кадров // Управленческое консультирование. 2021. № 3. С. 16–25.
6. Наука и практика государственного управления: проблемы и перспективы взаимодействия // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 1. С. 7–34.
7. *Сморгунов Л.В.* Цифровизация и сетевая эффективность государственной управляемости // Политическая наука. 2021. № 3. С. 100–121.
8. *Спиридонов П.Е.* Публичное управление в период правового постмодернизма // Lex russica. 2022. Т. 75. № 11. С. 79–89.
9. *Birkland T.* An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. N.Y.: M.E. Sharpe, 2011. — 337 p.
10. *Bizikova L., Swanson D., Tyler S., Roy D. & Venema H.D.* Policy adaptability in practice // Policy Design and Practice. 2018. No. 1. P. 47–62.
11. *Duit A.* Resilience thinking: lessons for public administration // Public Administration. 2016. Vol. 94. No. 27. P. 364–380.
12. *Grindle M.S.* Good enough governance revisited // Development and Policy Review. 2011. No. 29. P. 199–221.
13. Handbook of Public Administration / Ed. by J. Rabin, W.B. Hildreth, G. Miller. Boca Raton: CRC Press, 2007.
14. *Kettl D.F.* The Politics of the Administrative Process. Washington, DC: SAGE Publications, 2020.
15. *March J.C., Olsen J.P.* The New Institutionalism: organizational factors in political life // American Political Science Review. Cambridge, 1984. Vol. 78. No. 3. P. 734–749.
16. *Osborne S.P.* The new public governance? // Public Management Review. 2006. No. 8 (3). P. 377–387.
17. *Ravšelj D., Umek L., Todorovski L., Aristovnik A.* A Review of Digital Era Governance Research in the First Two Decades: A Bibliometric Study // Future Internet. 2022. No. 14 (126).
18. *Schöler G., Walther C.* A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration. The World Bank, Bertelsmann Foundation, 2003.
19. What is Good Governance? / UNESCAP. URL: http://www.unescap.org/ pdd/prs/Project Activities/Ongoing/gg/governance.asp.

# Разделенные общества: концепты и социально-политические реалии

В лексиконе современных политических исследований можно выделить целый ряд понятий, которые отражают общие для разных измерений социального и политического времени явления и феномены. Их наличие свидетельствует о стремлении адекватно, максимально содержательно отобразить социальные универсалии такими, какими они представляются сегодня. Сам термин «социальный» понимается в данном контексте в широком смысле — как описывающий общественные процессы и отношения, в том числе политические.

При этом речь идет преимущественно о концептах, предлагающих такие трактовки изучаемых феноменов, вокруг которых в профессиональном сообществе не сложилось на сегодняшний день более или менее приемлемого консенсуса. То есть такого уровня общего понимания, который исключал бы противоположные или даже несовместимые трактовки. К требующим уточнения и контекстного переопределения относятся, например, такие понятия, как «левые» и «правые» политические силы, «нация», «национализм» и «национальная идентичность», «этническая группа» («этнос») и «этничность», «политика идентичности» и «публичная политика». Но также политика (*politics*) как система отношений по поводу власти и «политики» — политические курсы (*policies*) как характеристики процессов политического управления на основе использования властного ресурса. В этом смысле показательным является концепт «государства»: «используемая учеными масса допущений, схематических упрощений и нормативных конструкций пока еще не дает возможности убедительно охарактеризовать природу государства и его отношения с обществом, которые трактуются подчас альтернативными способами»[1].

Действительно, за каждым из этих и многими другими концептами из арсенала современного политического анализа кроются множественные смыслы, и это подпитывает непрекращающиеся споры в профессиональных кругах. Дискуссии касаются и разночтений в смысловом наполнении, и применимости уже устоявшихся терминов для осмысления сложной социально-политической реальности. Опасность разночтений преодолевается за счет переопределения терминов и понятий применительно к конкретному исследованию: авторский обзор теоретического поля может сопровождаться присоединением к той или иной формуле или формулированием своего определения. Не случайно широкое распространение в социальных науках получил в последние годы жанр справочно-энциклопедического издания, своего рода «путеводителя» по исследовательскому полю (*handbook*). Имплицитно встает вопрос и о сам*о*й принципиальной допустимости такого упрощенного в*и*дения, которое сводит сложное явление к семантическому знаку (слову или набору слов, которым могут придаваться разные смысловые оттенки), а разно-

[1] *Соловьев А.И.* Государство: смыслы и образы // Государство в политической науке и социальной реальности XXI века / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2020. С. 39–40. Представляется, что предложенная самим автором трактовка государства в современном контексте как «территориальной формы организации диверсифицированной общественной власти» (с. 60) дает максимум возможностей для осмысления природы этого института в контексте сложных процессов организации власти и управления.

уровневые процессы — к одномерной их трактовке, соответствующей привычной оптике исследователя-наблюдателя, пусть даже и вовлеченного в политические взаимодействия.

К таким концептам относится понятие «разделенные общества» (*divided societies*). И в англоязычном, и в русскоязычном научном поле у него есть ряд синонимов, отражающих разные степени и разные формы проявления разделенности — фрагментированные / сегментированные / раздробленные / поляризованные / разъединенные / расколотые общества. Соответственно, линии расхождений могут именоваться кливажами, разделениями, размежеваниями, расколами или разломами, при этом содержательные акценты в разных языках могут не совпадать.

Хотя в научном дискурсе перечисленные определения зачастую употребляются как синонимы для описания состояния наличной или потенциальной конфликтности в сфере общественных отношений, между ними есть смысловые различия, и порой весьма существенные. Эти различия определяются не только глубиной разделений, они зависят также от характеристик противостоящих сторон и их целевых установок. Так, кливаж в строгом смысле описывает условный водораздел между однородными институциональными структурами, в то время как поляризация может отражать своего рода кумулятивный эффект влияния разных разделений на состояние публичной дискуссии, на общественное сознание и партийно-политическую систему. Расколы и разломы фиксируют процессы разрушения социальной ткани общества и ее переход в новое качество.

Интегрировать в контексте социально-политического анализа многочисленные изводы социальных разделений позволяет рамочное понятие «сложное общество». Это понятие прочно укоренилось в научном поле и используется для описания состояний социальной неоднородности и культурного многообразия, которые требуют разработки целеориентированных политико-управленческих механизмов.

Устоявшиеся в современной научной литературе употребления этих понятий отражают преимущественно воздействие фактора этнокультурной разнородности на состояние общественных отношений. Так, «разделенными» считаются общества, в которых остро стоит проблема управления этнокультурным многообразием, причем в изучении таких обществ «в политической науке можно выделить две основные сферы, посвященные решению или, по крайней мере, снижению остроты этой проблемы. Это поиск оптимального институционального дизайна и политики конструирования идентичности»[1]. На этих направлениях сосредоточена деятельность государства по организации управления сложными обществами. В практической политике речь идет о проведении политического курса (как совокупности «политик», в том числе политики идентичности) на основе целеполагания, направленного на укрепление институтов власти, государственности и социальной безопасности (т.е. «политики»).

Различия между этнокультурно разделенными группами могут получить институциональное оформление в рамках национально-государственного сообщества, в составе которого они сосуществуют на закрепленных в правовом поле политико-правовых основаниях. К таким разделенным обществам относятся,

[1] Метаморфозы разделенных обществ / Под ред. И.В. Кудряшовой, О.Г. Харитоновой. М.: МГИМО-Университет, 2020. С. 8.

например, Бельгия, Великобритания или Испания. В первом случае «классическая» разделенность определяется наличием латентного конфликта между двумя частями страны — Валлонией и Фландрией, отраженного в политико-административном устройстве. При этом пример такого государства, как Швейцария, где конфликтный потенциал не накапливается, несмотря на наличие в составе конфедеративного государственного образования четырех культурно-лингвистических сообществ, свидетельствует о том, что наличие обладающих общими ориентирами идентичности сообществ в составе национально-государственной общности и их институциональное закрепление и признание в качестве субъектов политического процесса само по себе не являются основанием для трактовки такой общности как разделенной.

Напротив, Испания сложилась как «государство автономий» с разным правовым статусом; принятие государством «формулы "национальности и регионы" изначально придало неоднородность политическому пространству страны, а значит, создало основу конфликтности в отношениях как между центром и регионами, так и между самими автономными сообществами»[1]. В результате страна остается таким же «классическим» примером разделенного общества, независимо от фиксируемой на данный момент политического времени остроты противостояний. Под вопросом оказывается безальтернативность[2] модели организации политического пространства государства как «национального», при том что в современном западном политическом дискурсе и в научном мейнстриме концепт «нации» рассматривается как фундамент государственности. Постановка вопроса о формировании «нации наций»[3], состоящей из этнонаций (как в Великобритании) или этнорегиональных сообществ (как в Испании), находится в русле поисков выхода из противоречия между привычными понятиями, по поводу которых существует видимость консенсуса, и разными смыслами, которые в них реально вкладываются.

Не случайно в российском научном и публичном дискурсах применительно к российским реалиям редко употребляется понятие «национальная идентичность». Его заменяет «общероссийская гражданская идентичность», что связано с известной традицией употребления понятия «национальное» как синонима «этнического» и в публичном, и в научном поле. В документах, регулирующих государственную политику в сфере межэтнических (межнациональных) отношений, утвердилась формула «многонационального народа РФ», которая рассматривается как фундамент «гражданского единства»[4]. Формирование основ регулирования потенциальных разногласий и противоречий между территориями и сообществами остается актуальной задачей ввиду наличия политико-административных субъектов разной природы — по факту регионов со сложным, многоликим этническим и религиозным составом населения. И не случайно в обыденном сознании со

---

[1] *Прохоренко И.Л.* Территориальные сообщества в политическом пространстве современной Испании. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 41.

[2] С разработкой альтернативного видения связано появление концепта «государства-цивилизации». См.: *Наумкин В.В.* Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация? // Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 78–93.

[3] *Тишков В.А.* Россия — это нация наций. В поисках формулы. Доступ: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/novye_publikacii/rossiya__e1.html (дата обращения: 11.11.2022).

[4] Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Доступ: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата обращения: 11.11.2022).

времен существования СССР укоренилось понятие «национальные республики», не имеющее политико-правового статуса.

В русле политики идентичности стоит вопрос о формировании инклюзивной российской идентичности на основе общих ценностных ориентиров. Позитивная совместимость гражданской и этнической идентичностей — проблема, поставленная в свое время выдающимся российским этносоциологом Л.М. Дробижевой[1], остается ключевой в повестке дня политики идентичности и определяет ее созидательный потенциал. Как и поддержание общего культурного пространства и культуры диалога, и выравнивание различий в тенденциях социально-экономического развития территорий и благополучии их граждан, придание этим процессам поступательной динамики.

На потенциал политизации этничности и появления очагов этнополитической конфликтности могут влиять не только радикальные изменения в структуре мироустройства и процессы переформатирования региональных политических пространств, но также восприятие разделений и в*и*дение перспектив развития самими гражданами. Фронтиры, образующиеся не только в территориальных, но и в ментальных приграничьях, становятся все более проницаемыми для воздействий извне, через осознанный, целеориентированный отбор информационных источников, личный выбор культурных практик и социальных статусов. В этом контексте принципиальное для поддержания жизнеспособности группы «важное значение имеет не только отношение членов группы к коллективному будущему, но и их отношение к совместному прошлому. Потому что социальная группа, не помнящая свое прошлое и не поддерживающая память об отдаленных позитивных исторических событиях, теряет способность к выживанию в трудных условиях. Одной из важнейших функций коллективной памяти является поддержание позитивной групповой идентичности[2]». В конечном счете — это жизненное условие развития сообщества. В фокусе разделений оказываются ориентиры идентичности и их проекции в политико-управленческие практики.

Потенциал политики идентичности амбивалентен, она может работать на разделения, если мотивацию проводников такой политики определяет ее использование как ресурса политической конкуренции и борьбы за власть. Апелляция лидеров популистских политических сил или сепаратистских движений к этническим, расовым или религиозным ориентирам идентичности оказывается самым действенным средством закрепления размежеваний постольку, поскольку групповые солидарности и личное, эмоциональное переживание сопричастности находят формы выражения в политических притязаниях элитных групп.

Так, раскол американского общества закрепляет поляризация вокруг ценностной повестки, которая активно эксплуатируется верхушкой обеих политических партий. Линии территориальных разделений — на «синие» демократические штаты и «красные» республиканские — проходят в том числе между активно включенными и отчужденными от новейших форм организации производства. В повестку дня возвратилась расовая проблема, которая пронизывает институциональную структуру американского общества. Кумулятивные эффекты этих разделений воз-

---

[1] *Дробижева Л.М.* Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 7. М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 214–228.

[2] *Нестик Т.А., Журавлева А.Л.* Психология глобальных рисков. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. С. 302.

вращают к историческим реалиям борьбы Севера и Юга, но в обличье противостояния неолиберализма и консерватизма на основе несовместимости ценностных установок. Задача поддержания социального мира остается серьезным вызовом для политической элиты, независимо от партийной принадлежности и расклада сил в органах законодательной власти и на уровне штатов.

Общества, в которых институционально закрепленные под флагом защиты прав этнических меньшинств религиозные, кастовые, клановые разделения поддерживаются эскалацией насилия или угрозой насилия, рассматриваются в научном дискурсе как «глубоко разделенные»[1]. Этот концепт указывает не столько на глубину разделений, как может показаться на первый взгляд, сколько на действие таких «аскриптивных связей, которые генерируют антагонистическую сегментацию»; такие глубинные разделения «опираются на оформленные политически значимые идентичности и поддерживаются в течение длительного времени и по широкому кругу вопросов»[2]. Наличие других, социально детерминированных линий размежевания — высокого уровня экономического неравенства и социальной депривации больших групп граждан — усиливает кумулятивные эффекты разделений. Примерами могут служить Израиль и Палестина, Сирия, Ливан, Ирак, а также Северная Ирландия (в исторической ретроспективе второй половины XX в.).

Мирный процесс в этом последнем регионе (стране, согласно официальному статусу, в составе Соединенного Королевства) опирается на модель согласованного привлечения к участию во власти (*power-sharing*) представителей двух конфессиональных общин. Соглашения Страстной пятницы 1998 г. закрепили механизмы политического представительства двух сегментов североирландского общества, имеющих политически выраженные идентичности. Институциональные формы обеспечения стабильности в таких обществах неизменно находятся в центре внимания исследователей. Отправная точка дискуссии в этом поле — теоретические разработки Габриэла Алмонда[3] и Аренда Лейпхарта, посвященные проблемам политической стабильности и механизмам ее обеспечения. В этом контексте утвердилась модель «консоциативной (сообщественной) демократии», ее продвижение и последующие коррективы традиционно связывают с трудами Лейпхарта[4].

Как известно, эта модель работает на основе межэлитных договоренностей между представителями сообществ, существующих в составе государства и консолидированных на языковых, этнокультурных, конфессиональных основаниях, при посредничестве и прямом участии центральной власти. Она требует постоянных усилий по поддержанию баланса интересов, управлению разнообразием на конституционно закрепленных основаниях. В качестве примера успешного функционирования такой модели неизменно приводится итальянский Южный Тироль (Больцано). Здесь усилия по поддержанию языкового и культурного

---

[1] См.: *Guelke A.* Politics in Deeply Divided Societies. Cambridge, Malden MA: Polity Press, 2012. P. 13–32.

[2] *Lustick I.* Stability in Deeply Divided Societies: Consociationalism versus Control // World Politics. 1979. Vol. 31. No. 3. P. 325.

[3] *Almond G.* Comparative political systems // The Journal of Politics. 1956. Vol. 18. No. 3. P. 391–409.

[4] *Lijphart A.* Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, CT: Yale University Press, 1977; *Lijphart A.* Democracies: Patterns of Majoritarian & Consensus Government in Twenty-one Countries. New Haven, CT and London: Yale University Press, 1984; *Lijphart A.* Constitutional design for divided societies // Journal of Democracy. 2004. Vol. 15. No. 2. P. 96–109.

равноправия трех неравнозначных по численности этнолингвистических общин граничащей с Австрией территории — бывшего очага ирредентизма — в течение последних десятилетий опирались на обеспечение стабильного политического представительства их интересов. При этом регион Трентино-Альто Адидже, в состав которого входит эта провинция, имеет значительную экономическую автономию от Центра и реализует целенаправленную политику развития региона на основе сочетания местных традиций и инновационных практик. Из отсталой окраины, каким он был в послевоенные годы, регион превратился в одного из бесспорных лидеров в Италии по уровню и качеству жизни.

Позитивных примеров постконфликтного регулирования в таком формате немного[1], и критики этой модели баланса интересов (например, такой авторитетный исследователь, как Дэвид Горовиц[2]), работающие в конфликтологической парадигме, считают институционализацию разделений на основе этнических признаков чреватой обострением политической конкуренции и эскалацией конфликтности. В качестве альтернативы предлагается модель деполитизации этничности[3].

Действительно, этнополитический конфликт, характеризующий глубоко разделенные общества, вырастает из политизации этнических идентичностей. На основе выявления целеполагания и характеристики сторон конфликта можно выделить три значимых типа: политико-управленческий, политико-институциональный и политико-территориальный[4]. В центре оказываются управленческие практики, формирование институтов или территориальный суверенитет, независимость от «материнского государства» (сепаратизм). В продвижении этих приоритетов неизменно используются этнические мотивации. Сами разделения отнюдь не сводятся к межэтническим противостояниям, однако элитные группы апеллируют к этническому фактору для мобилизации сторонников в целях продвижения экономических интересов и политических устремлений. В незападном мире такие механизмы не обеспечиваются ни экономическими ресурсами, ни управленческими инструментами; есть и опасность абсолютизации аскриптивных факторов при анализе природы глубоко разделенных обществ, если сводить феномен разделенности к этническим основаниям в русле современного научного мейнстрима.

Критики абсолютизации фактора этничности исходят именно из многомерности разделений, их социально-классовых оснований, особенно социального неравенства. Механизмы государства благосостояния в западном мире до сих пор более или менее эффективно работали на выравнивание таких дисбалансов через распределительные механизмы социального государства. Сбои в работе этой модели, связанные с сокращением ее ресурсной базы, заставляют искать здесь новые основы для поддержания социальной стабильности и солидарности.

---

[1] К их числу в литературе до недавнего времени часто относили Ливан, однако опасности консервации здесь модели политического поддержания религиозных, конфессиональных и этнических различий все более очевидны. См. об этом, напр.: *Calfat N.* The Frailties of Lebanese Democracy. Outcomes and Limits of the Confessional Framework // Contexto Internacional. 2018. Vol. 40. No. 4. P. 1–25.

[2] *Horowitz D.* Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, CA: University of California Press, 1985.

[3] Критический обзор моделей см.: *Reilly B.* Institutional Designs for Diverse Democracies: Consociationalism, Centripetalism and Communalism Compared // European Political Science. 2012. Vol. 11. No. 2. P. 259–270.

[4] *Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И.* Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы «большой теории» // Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 69–94.

Концепт кливажей как фактора динамики политических систем западных демократий был сформулирован еще в 1960-е годы Стейном Рокканом и Мартином Липсетом[1]. В работах Роккана выделены четыре типа размежеваний — между собственником и наемным работником[2], церковью и государством, городом и селом, центром и периферией. С наличием социальных кливажей связывались предсказуемость электорального выбора и уровень стабильности партийно-политических систем. Выявленные оси разделений рассматривались как ключевые факторы, структурирующие поле политической конкуренции, а социальные группы, которые считались родовыми структурами индустриального общества, — как относительно стабильные опоры тех или иных политических сил.

Логика классификации была основана на связи разделений в общественной структуре с принадлежностью к социальной группе, на отражении расхождений в ценностных ориентациях в «зеркале» коллективных идентичностей, на проекции идейно-политических предпочтений в электоральный выбор в пользу тех или иных партий. Предложенная исследовательская оптика сочетала территориальное и функциональное измерения социальной дифференциации и их темпоральную динамику[3]. В дальнейших исследованиях именно этому последнему, темпоральному аспекту сам Роккан стал уделять преимущественное внимание; предложенный им подход лег в основу геохронополитических методик концептуального картирования[4]. Отличительная черта этого подхода — многомерность, соотнесение разных измерений и аналитических ракурсов.

Действительно, усложнение системы общественных отношений и утверждение «культурной сложности» как неотъемлемой характеристики современных обществ ставит вопрос о многомерности разделений и разных оптиках их анализа. Помимо выделенных С. Рокканом и С. Липсетом кливажей в современных обществах возникают и отчетливо проявляются новые разделения, которые взаимодействуют с прежними и существенно видоизменяют их. Большинство имеет политическое измерение, т.е. в той или иной степени оказывается фактором политических изменений.

Разработанная российскими авторами когнитивная карта исследовательского поля основана на *расширительной трактовке концепта разделенных обществ как категории политического анализа*. Обозначенные на ней разделения располагаются в разном политическом времени (архаика — модерн — современность — постсовременность) и не исчерпываются привычным для работающего в области социальных наук исследователя измерением территориальных сообществ. Они выходят на уровень новых политических пространств, формирующихся поверх межгосударственных разграничений. Основные наблюдаемые сегодня социальные

---

[1] *Lipset S.M., Rokkan S.* Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction // Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives / Ed. by S.M. Lipset, S. Rokkan. New York: Free Press, 1967. P. 1–64.

[2] Первый тип отсылает к разработкам теории борьбы классов — наследию Карла Маркса — как результату промышленной революции; с индустриальной революцией связано и углубление размежеваний между городом и селом.

[3] См.: State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan / Ed. by P. Flora, S. Kuhle, D. Urwin. Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 5–6.

[4] *Ильин М.В.* Геохронополитика — соединение времен и пространств // Вестник Московского ун-та. Сер. 12: Политические науки. 1997. № 2. С. 28–44; *Ильин М.В.* Кольцевая модель глобального геополитического пространства // Полис. Политические исследования. 2011. № 2. С. 129–133.

размежевания проходят по четырем осевым линиям: культуры и ценностей, пространства и его структурных опор на уровне территорий, экономики и социальной сферы, власти и государства. Каждое имеет несколько измерений, которые частично пересекаются с рокковскими кливажами. И все они имеют идентитарный «след», то есть сопряжены с разными «кластерами» идентичности[1]. Все подвергаются политизации и отобраны для классификации на таком основании.

Практики политизации размежеваний могут иметь кумулятивные эффекты, они особенно ярко проявляются в период радикальной трансформации миропорядка и слома привычных институциональных опор вовлеченных в эти процессы государств. Эту тенденцию можно объяснить противоречиями между интересами участников процессов регулирования и вытекающими отсюда трудностями перехода от постконфликтных политических соглашений к реализации позитивно ориентированной политики идентичности, нацеленной на смягчение дисбалансов и поддержание социальных скреп в разделенных обществах. Об этом свидетельствует, в частности, опыт государственного строительства в ряде стран постсоветского пространства после распада СССР.

На основе анализа поля когнитивного картирования можно представить категорию *«**разделенное общество**» как зонтичный концепт, характеризующий совокупность социальных размежеваний и их политических проекций, проявляющихся в конкретном сообществе, как территориально локализованном, так и имеющем транснациональную или экстратерриториальную природу.*

В экстратерриториальных сообществах государство как территориальную форму организации власти вытесняют виртуальные сетевые структуры, задающие конфигурации разделений неиерархического порядка по линии включенных и исключенных из взаимодействий. Таковыми являются, например, диаспоральные миры (такие, например, как «китайский мир» или «ирландский мир») и постимперские этномиры (такие, как «тюркский мир» или лузофония). Их дисперсный экономический потенциал и перспективное политическое влияние еще предстоит оценить.

Ментальная карта построена на понимании разной природы социальных размежеваний и политических противостояний. Обозначенные проекции исходят из их взаимосвязанности и наличия кумулятивных эффектов, которые могут проявляться в политическом действии протестного/конфликтного характера. Сосуществование в рамках одного территориального сообщества разных осевых линий размежеваний усиливает такие эффекты: так, существующие поколенческие размежевания, которые обозначают водоразделы в ценностных ориентирах двух или трех взаимодействующих активных поколений, накладываются на размежевания по линии «традиционализм—модернизм» и «потребительства—ответственного потребления», в том числе в отношении окружающей среды (рис.), углубляя разрывы в социальной ткани современных обществ.

Особого внимания заслуживает сегодня анализ мирового контекста динамики разделенных обществ, их бытования в расколотом мире. Радикальные изменения в структуре миропорядка усиливают значимость геоэкономической и геополитической проекций, которые формируются вокруг борьбы за ресурсы развития. Это источники энергии, продовольствие, вода, морские и лесные биоресурсы и другие

[1] Таких кластеров российскими авторами выявлено шесть — социокультурный, политический, национальный и этнополитический, международно-политический, пространственный и территориальный, социально-стратификационный и социально-ролевой. См.: Идентичность: Личность, общество, политика / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2017.

составляющие среды обитания человека. Борьба за доминирование на этом поле, за однополярный мир ведет к такому уровню поляризации, который дополнительно усиливает эскалацию конфликтности на разных политико-институциональных уровнях организации социальной жизни.

**Рис. 1.** Когнитивная карта исследовательского поля социальных размежеваний и их политических проекций[1]

[1] См.: *Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И.* Социальные размежевания и политические противостояния в научном дискурсе: критерии оценки и классификации // Полис. Политические исследования. 2021. № 5. С. 70.

*Социальные разделения* и *расколы* характеризуют состояние обществ, в которых поддерживается препятствующий динамичному развитию уровень социального неравенства. В основе же *политических противостояний* «лежат скорее отношения конкуренции наиболее успешных политических проектов, продвигаемых разнообразными группировками элит и иных претендующих на политическую субъектность групп данного сообщества. Политические противостояния формируются в процессе политизации значимых социальных размежеваний», использования политическими акторами «присущего этим сообществам потенциала конфликтности... для продвижения собственной повестки»[1].

Яркий и показательный пример разделенного общества являет современная **Бразилия**, где явственно прослеживаются кумулятивные эффекты наложения социальных размежеваний, ценностных расколов и политических противостояний, характерных для постколониального модернового общества, которое сочетает ориентацию на европейские культурные образцы с традиционными ценностями и институтами (в логике «множественных модернов», предложенной Ш. Эйзенштадтом и развитой Дж. Деланти[2]).

Кумулятивные эффекты этих усиливающих друг друга размежеваний выливаются в острые политические противостояния и раскол страны на два близких по численности сообщества. Нищета значительной части населения[3], коррупционные скандалы, высокий уровень преступности и роль преступных кланов в организации повседневной жизни городских сообществ свидетельствуют о нерешенности проблем архаического общества, в то время как значительная часть населения страны уже вступила в другое социальное время и живет в условиях доступа к самым передовым технологиям и с ориентацией на постматериальные ценности.

Явственные разрывы и в доступе к качественному образованию, и в возможностях его освоения детьми с разным социальным бэкграундом и разными стартовыми позициями усиливаются за счет цифрового неравенства: без доступа к Интернету и без компьютера живут около 4 млн детей[4], а там, где доступ есть, он нередко ограничивается телефоном. Предпринятое при правоконсервативном кабинете Болсонару наступление на высшее образование, отразило глубокий ценностный раскол между сторонниками «традиционализма» и «модернизма», которые и с одной, и с другой стороны стоят на радикальных позициях.

---

[1] *Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И.* Указ. соч. С. 64.

[2] См.: *Eisenstadt S.* Multiple modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129. No. 1. P. 1–29; *Delanty G.* Europe in World Regional Perspective: Formations of Modernity and Major Historical Transformations // British Journal of Sociology. 2015. Vol. 66. No. 3. P. 420–440.

[3] В условиях нищеты и крайней бедности жило, по данным на начало 2021 г., 16% населения страны; резкий рост случился после прекращения социальных выплат из казны, выделявшихся на пике пандемии, и в отсутствие долговременных программ развития рынка труда. См.: *Tornaghi C.* Inequality is Brazil's Achilles Heel // Americas Quarterly. 2021. July 19.

[4] См.: ICT Kids Online Brazil Survey 2020. Executive Summary. URL: https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/20211124200038/executive_summary_ict_kids_online_2020.pdf (дата обращения: 19.11.2022). Отсутствие Интернета и мобильного телефона стало для многих семей препятствием для получения социальной помощи во время пандемии: в 2020 г. 11,8 млн домохозяйств не имели ни компьютера, ни доступа к Интернету. Всего в стране Интернетом было охвачено 81% населения в возрасте старше 10 лет. См.: ICT Household Survey 2020. Executive Summary. URL: https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/20211124201635/executive_summary_ict_households_2020.pdf (дата обращения: 19.11.2022).

Коротко говоря, в Бразилии сохраняется состояние поляризованного общества, и расколото оно по разным линиям. В повестке дня здесь по-прежнему стоит необходимость достижения общенационального консенсуса для реформирования модели развития.

Анализируя динамику бразильского общества, нельзя не отметить, что в самих укорененных разделениях есть и потенциал, стимулирующий развитие. В частности, речь идет об уникальной траектории формирования многорасовой бразильской нации. В основу расовой политики на государственном уровне еще в середине прошлого века была положена концепция мультирасового общества и «расовой демократии» — равенства трех рас и отсутствие дискриминации (хотя при режиме военной хунты в 1960 — начале 1970-х годов тема расовых отношений фактически была под запретом). В конце XX в. были разработаны программы целевой поддержки темнокожего населения. Укорененность «традиций совместного проживания разнообразных этнических групп, децентрализованного управления, более терпимой католической церкви» позволяет поддерживать позитивный социальный климат, на котором зиждется бразильский образ жизни, хотя проблему наличия расовой предубежденности, особенно в отношении афробразильцев, вкупе с социальным неравенством сбрасывать со счетов, безусловно, рано[1]. Поддержание расовой гармонии стоит в повестке дня политики идентичности.

И хотя, позитивную динамику разделенных обществ определяют возможности разработки и продвижения общих приоритетов развития, утверждение культуры диалога и позитивные тенденции в снижении уровня социального неравенства и дисбалансов в развитии территорий.

Пока складывается «принципиально новая социокультурная ситуация, к которой, как показывает текущий анализ современных политических процессов, оказываются не готовыми ни элитные, ни массовые группы[2]». Основания же разработки нового «общественного договора», который мог бы компенсировать размывание социального государства в условиях истощения его ресурсной базы, пока неочевидны.

Изучение разделенных обществ как социально-политической реальности XXI в. имплицитно опирается сегодня на теоретические подходы, разработанные применительно к реалиям полутора предшествующих столетий — на Марксову теорию борьбы классов, рокановскую концепцию социальных кливажей и их политических проекций, на концептуализацию этнополитической конфликтности и постконфликтного регулирования в биполярном мире. Однако усложнение общественных отношений и фрагментация ценностного поля национальных сообществ порождают многомерные разделения и побуждают к пересмотру логики линейного, одномерного анализа, заложенной в этих подходах.

Особого внимания заслуживает анализ разделенных обществ в контексте нынешнего расколотого мирового сообщества, оценка эффектов наложения эндогенных и экзогенных разделений. Осмысление природы экстратерриториальных сообществ, формирующихся вне и поверх границ национально-

---

[1] *Данилова Г.* Раса и расовая политика в современной Бразилии // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 1. С. 96.

[2] *Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И.* Указ. соч. С. 71.

территориальных государств (таких, как диаспоральные миры или этномиры) и перспектив их влияния на структуру миропорядка остается потенциальным ресурсом экономического и политического прогнозирования, пока почти не используемым.

Перспективным оказывается анализ социокультурных размежеваний в контексте политики развития. В частности, остро стоит вопрос о позитивной совместимости и о путях совмещения ценностных традиций и социальных новаций. Обусловленные сложившейся в обществе политической культурой и культурой межличностного взаимодействия практики могут быть плодотворно интегрированы в повестку дня политики идентичности. Важное условие обеспечения такой динамики — оценка позитивной совместимости гражданской и этнической идентичности и консолидирующего потенциала политики идентичности.

В условиях углубления кризиса доверия между элитными и массовыми группами, вызванного в том числе появлением новых форм неравенства, переосмысления требует само понимание *общественного развития* и его ключевых измерений, в том числе *политического развития*. Вопрос о том, как социальные институты могут компенсировать сугубо негативные эффекты политической поляризации, отсылает к роли государства и его субъектности в реализации политики идентичности, к его взаимодействию на этом поле с другими участниками политических отношений.

Политика памяти, языковая и символическая политики, закладывающие основы политики идентичности, проецируются в сферу образования. Эта сфера, особенно социогуманитарное образование, становится в новых технологических условиях принципиально значимой для выстраивания горизонтальных связей, способных компенсировать, пусть отчасти, социальную разъединенность, развивать и поддерживать культуру диалога, искать пути гармонизации общественных отношений и духовных устремлений личности.

*И.С. Семененко*

**Литература**

1. *Дробижева Л.М.* Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 7. М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 214–228.

2. Идентичность: личность, общество, политика / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2017. — 992 с.

3. *Ильин М.В.* Кольцевая модель глобального геополитического пространства // Полис. Политические исследования. 2011. № 2. С. 129–133.

4. Метаморфозы разделенных обществ / Под ред. И.В. Кудряшовой, О.Г. Харитоновой. М.: МГИМО-Университет, 2020. — 284 с.

5. *Наумкин В.В.* Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация? // Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 78–93.

6. *Нестик Т.А., Журавлева А.Л.* Психология глобальных рисков. М.: Институт психологии РАН, 2018. — 402 с.

7. *Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И.* Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы «большой теории» // Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 69–94.

8. *Тишков В.А.* Россия — это нация наций. В поисках формулы. URL: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/novye_publikacii/rossiya__e1.html (дата обращения: 11.11.2022).

9. *Delanty G.* Europe in World Regional Perspective: Formations of Modernity and Major Historical Transformations // British Journal of Sociology. 2015. Vol. 66. No. 3. P. 420–440.

10. *Guelke A.* Politics in Deeply Divided Societies. Cambridge, Malden MA: Polity Press, 2012. P. 13–32.

11. *Lijphart A.* Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, CT: Yale University Press, 1977.

12. *Lijphart A.* Democracies: Patterns of Majoritarian & Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven, CT and L.: Yale University Press, 1984. — 348 p.

13. *Lijphart A.* Constitutional design for divided societies // Journal of Democracy. 2004. Vol. 15. No. 2. P. 96–109.

14. *Lustick I.* Stability in Deeply Divided Societies: Consociationalism versus Control // World Politics. 1979. Vol. 31. No. 3. P. 325.

# Регион и регионализм

Начиная экскурс в характеристику концептов «регион», «регионализация», «регионализм», прежде всего, следует отметить разнообразие их интерпретаций и соответствующие сложности, с которыми сталкиваются исследователи данной тематики. Эти трудности имеют различную природу. В первую очередь, значим тот факт, что регион является объектом изучения целого ряда дисциплин — географии, экономики, социологии, культурологии, политологии, и данный перечень не является исчерпывающим — не случайно это понятие относят к «универсальным» категориям общественных наук[1]. При этом каждая из перечисленных дисциплин сфокусирована на специфических измерениях региональных процессов, составляющих предметную область соответствующей области знания. Вторая проблема определена многослойным характером организации социума, в рамках которого интеграционные процессы протекают в различных форматах и на различных «этажах», и регион в этих многоплановых конструкциях выступает структурой различного уровня. Наконец, еще одно серьезное затруднение — динамический характер объекта изучения, что заметно меняет привычные контуры и самого явления, и его трактовок. Регион эволюционировал от скромной субнациональной локации до статуса участника мировой политики, существующего в формах внутригосударственной, международной и глобальной интеграции. Это дало мощный импульс развитию регионоведения. Поэтому неудивительно, что по совокупности обстоятельств данный концепт называют трудноопределяемым многозначным понятием (*container-concept*) и даже «супертермином»[2].

Профильные исследователи выделяют следующие линии понимания региона. *Во-первых*, данный термин может относиться как к внутристрановому деле-

[1] *Межевич Н.* Определение категории «регион» в современном научном дискурсе // Псковский регионологический журнал. 2006. № 12. С. 5.

[2] *Сергунин А.А.* Проблемы и возможности регионалистики // Полис. Политические исследования. 1994. № 5. С. 149–150.

нию пространства (административно-юридическое понимание региона, частично синонимичное понятию «район»), так и к делению мирового пространства (внешнеполитическое, или международно-политическое, понимание региона). *Во-вторых*, регион может определяться по группе признаков либо по базовой функции, которая является основной для того или иного исследования (географические, экономические, геополитические, социокультурные регионы). Следовательно, региональное деление в качестве средства «отбора и изучения пространственных сочетаний сложных комплексов явлений» будет зависеть от поставленных исследовательских задач и будет носить характер социального конструкта[1]. А.Д. Воскресенский предлагает понимать под *регионом* в широком смысле определенную территорию, представляющую собой сложный территориально-экономический и национально-культурный комплекс, который может быть ограничен признаками наличия, интенсивности, многообразия и взаимосвязанности явлений, выражающихся в специфической однородности географических, природных, экономических, социально-исторических, национально-культурных условий, служащих основанием для того, чтобы выделить эту территорию[2].

В этой связи полагаем необходимым различать понятие *микрорегиона* как субнационального уровня политики и *макрорегиона* как той или иной формы интеграции за пределами национальных образований. Современное состояние исследований данных объектов характеризуется как развивающиеся в различных малосоприкасающихся плоскостях.

Изложим основные линии эволюции концепта *регион* и вынесенных в заглавие статьи сопряженных с ним понятий в рамках предметного поля политической науки. Изыскания Н.М. Межевича показали, что понятие *регион* вошло в языковой оборот еще в конце XIX в., когда оно было включено в словари в качестве «страны, области, пространства воздуха...»[3]. В результате осуществления в СССР в 1930–1950-х годах индустриализации и по мере последующего экономического роста сформировался интерес к региональной экономике, получивший активнейшее развитие в рамках территориального направления в отечественной географии и территориально-регионального направления в экономической теории в 1960–1970-е годы[4] с центрами в Москве, Ленинграде и Новосибирске. Региональная экономика как близкая политическому управлению сфера трактовалась как нацеленная на изучение экономических и социальных факторов и явлений, обуславливающих плановое формирование и развитие производительных сил и социальных процессов в каждом регионе страны»[5].

В социальной географии акцент в изучении региона был сделан на том, как природные условия и шире — пространственные различия — влияют на диф-

---

[1] *Воскресенский А.Д.* Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных комплексов и региональных трансформаций в современных международных отношениях // Сравнительная политика. 2012. № 2 (8). С. 40

[2] *Воскресенский А.Д.* Регионализм как парадигма мироустройства // Современная политическая наука: методология / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. М.: Аспект Пресс, 2019.

[3] *Миськевич Г.И., Хаустова Ю.Ф.* Терминология и культура. М., 1981. С. 542.

[4] *Изард У.* Методы регионального анализа: ведение в науку о регионах. М.: Мысль, 1966; *Некрасов Н.Н.* Региональная экономика. 2-е изд. М.: Экономика, 1978.

[5] *Некрасов Н.Н.* Региональная экономика. 2-е изд. М.: Экономика, 1978. С. 14.

ференциацию хозяйственной деятельности, формируя пространственные различия социально-экономического характера.

В предметном поле отечественной социологии в 1970–1980-е годы сформировалась региональная социология как направление, фокусированное на изучении закономерностей территориальной организации социальной жизни и изменения социального облика регионов[1].

В теории политического управления и политической регионалистике базовое понимание состоит в том, что региональный уровень есть промежуточное звено между локальным и общенациональным уровнями управления: посредством данного термина определяется «имеющая установленные границы территория, обладающая функциональными отличиями от иных территорий, представляющая собой уровень власти, находящийся между государством и местным самоуправлением»[2].

В рамках данного внутристранового подхода Р.Ф. Туровский предлагает рассматривать регион в узком и широком смыслах этого понятия. В *узком* смысле политический регион — «политико-административная единица первого субнационального уровня — является главной формальной ячейкой политического пространства в любом государстве. Понятие "субрегион" используется для обозначения более низких иерархических уровней территориальной структуры и означает административную единицу второго субнационального уровня»[3].

В широкой трактовке регион «представляет собой часть государственной территории, которая характеризуется определенными политическими качествами и характеристиками. Регион может быть формальным, т.е. существовать де-юре, являясь, например, административной единицей. Но он также может быть неформальным, и тогда его существование определяется, например, на основании специальных исследований территориальной структуры по тем или иным политическим характеристикам»[4].

Таким образом, исходным принципом в понимании региона была именно территориальная аффилиация. Очевидно, однако, что, являясь базовой рамкой, территория нуждается в дополнении, ибо сама по себе она вряд ли может являться исчерпывающей характеристикой региона. Следующим исследовательским шагом выступает его содержательная характеристика. В данном плане уместно обратиться к пониманию *региона* в утвержденной Европарламентом в 1988 г. «Резолюции о региональной политике и роли регионов», содержащей «Хартию Сообщества по проблемам регионализации». В данном документе регион трактуется как гомогенное пространство в системе следующих параметров: язык, культура, исторические традиции и интересы, связанные с экономикой и транспортом[5]. При этом

---

[1] *Сухарев А.И.* Научное управление развитием социальной структуры социалистического общества. Саранск, 1978. С. 29; *Межевич Н.М.* Указ. соч. С. 11.

[2] *Сардарян Г.Т.* Регионализация и федерализация в контексте трансформации форм политико-территориального устройства государств // Политика и общество. 2014. № 6 (114). С. 670. DOI: 10.7256/1812-8696.2014.6.12359.

[3] *Туровский Р.Ф.* Политическая регионалистика. М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 31.

[4] Там же.

[5] Резолюция о региональной политике и Хартия Сообщества по проблемам регионализации, утверждена 18.11.1988. Документ № A2-0218/88/ Parts A and B. URL: http://aei.pitt.edu/1758/1/ep_resolution_regional_11_88.pdf (accessed: 21.02.2023).

не все из перечисленных параметров непременны в каждом случае — возможна доминантная роль одного-двух критериев. Их сочетание определяет регион как своеобразное взаимодействие территории и населения.

Следующая грань понимания региона состоит в его применимости для определения группы стран, объединенных на основании географической, климатической, политической или иной общности и образующихся посредством межрегиональных, трансрегиональных и интеррегиональных связей. В данном случае уместно использование термина *макрорегион*. Примерами могут служить макрорегионы ЕС, «Большой Восточной Азии», «Большого Ближнего Востока», «Большой Центральной Азии», в иных терминах — Азиатско-Тихоокеанский регион, Восточная, Южная, Северо- и Юго-Восточная Азия и др. Импульсом для рассмотрения макрорегионов в плоскости отечественной политической теории и теории международных отношений (ТМО) стало рассмотрение регионального уровня в координатах системного подхода, что выразилось в идее *международно-политического региона* как относительно самостоятельной подсистемы межгосударственных отношений, объединенных общностью присущих именно данному региону отношений[1]. Соответственно, понятие макрорегиона коррелирует с термином *международно-политического региона*, который трактуется как привязанная к территориально-экономическому и национально-культурному комплексу (основывающемуся на специфической однородности географических, природных, экономических, социально-исторических, политических, национально-культурных условий, служащих основанием для его выделения) региональная совокупность явлений, объединенных общей структурой и логикой таким образом, что эта логика и историко-географические координаты ее существования являются взаимообусловленными[2].

Изыскания А.Д. Воскресенского позволяют идентифицировать позитивные факторы, способствующие образованию макрорегионов:

— определенная культурно-цивилизационная близость стран региона и их отличие от других; в перспективе — формирование региональной идентичности;
— полная или частичная экономическая взаимодополняемость и взаимозависимость в рамках макрорегиона, когда комплементарная взаимозависимость в целом перевешивает конфликтную и способствует существенному сближению экономических интересов;
— стремление крупных стран макрорегиона к расширению экономического сотрудничества в рамках макрорегиона; развитие интеграционных экономических процессов, когда доля взаимного торгового оборота в рамках макрорегиона приближается к половине общего торгового оборота. Целью региональных организаций выступает снижение тарифов во внутрирегиональной торговле и снятие ограничений на импорт, вплоть до образования зоны свободной торговли; движение к валютно-финансовой интеграции и новым формам кооперации;
— обоснование развития государств макрорегиона в качестве целого, включая разработку новых геоэкономических и геополитических концеп-

---

[1] Система, структура и процесс развития международных отношений / Под ред. В. Гантмана. М.: Наука, 1984. С. 363.

[2] *Воскресенский А.Д.* Указ. соч. С. 40, 46.

ций — типа «Большой Ближний Восток», «Большая Центральная Азия», «Большая Восточная Азия», «Большой Китай» и дискуссий о пределах расширения ЕС, «сферах ответственности» ЕС, НАТО и др.[1]

Перечисленные тенденции характеризуют региональную интеграцию последних 50–70 лет, однако они не исчерпывают текущие новации регионального развития. В последние годы появились принципиально новые формы региональной кооперации, обусловленные взрывообразной революцией коммуникационных технологий. В качестве прецедентов подобного рода фигурируют созданные за пределами географически близких ареалов образования нового типа БРИКС, МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), Транстихоокеанского партнерства, китайской инициативы «Один пояс — один путь», российской инициативы «Большое евразийское пространство» и других, которые не могут быть интерпретированы не только посредством классических интеграционных теорий, но даже в рамках международного регионализма XX в.

Подобные формы региональной кооперации определяются в литературе посредством ряда концептуальных конструкций: «интеррегионализм»[2], «кросс-регионализм»[3], «трансконтинентализм»[4], «панрегионализм»[5], «сетевой регионализм»[6], «мегарегионализм»[7], «многосторонний регионализм»[8] и др. В отечественной литературе употребляются термины *альтернативный регионализм* [Mikhaylenko, Mikhaylenko 2016]; *международный трансрегионализм* — «трансрегиональные форумы» (БРИКС и МИКТА) и «сетевой трансрегионализм» (китайская инициатива «Один пояс, один путь», Транстихоокеанское партнерство и аналоги) в определениях Д.А. Кузнецова[9]; *глобальный регион*[10] (ак-

---

[1] Там же. С. 43.

[2] См.: *Hänngi H., Roloff R., Rüland J.* Interregionalism and International Relations. Oxon: Routledge, 2006.

[3] См.: *Tovias A.* A Theory of Cross-regionalism and Its Application to Relations between the EU and MERCOSUR. Paper presented at the Second GARNET Conference in Brussels. 2010. April 24. URL: http://www.ies.be/fi les/Tovias-I2.pdf.

[4] См.: *Roloff R.* Europa, Amerika und Asien zwischen Globalisierung und Regionalisierung: Das interregionale Konzert und die ökonomische Dimension internationaler Politik. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2001; *Ахинов Г.А., Зимарин К.А.* Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство. Европейский взгляд. М.: Экономика, 2016. — 246 с.

[5] См.: *Hamanaka S.* Inter-regionalism in the Developing World: Comparison with Extra-, Cross-, Trans-, and Panregionalism. Institute of Developing Economies Discussion Paper, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO), 2-2019. URL: https://ir.ide.go.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=50729&item_no=1&page_id=39&block_id=158 (accessed: 15.08.2021); *Спартак А.Н.* Метаморфозы процесса регионализации: от региональных торговых соглашений к мегарегиональным проектам // Контуры глобальных трансформаций. 2017. № 4. С. 13–37.

[6] См.: *Konstantynov V.* Networks and Nodes: Eurasian Regionalism Revisited. UA: Ukraine Analytica. 2016. No. 4 (6). P. 30–37.

[7] См.: Megaregionalism 2.0. Trade and Innovation within Global Networks / Ed. by Dieter Ernst and Michael G. Plummer // World Scientifi c Studies in International Economics. 2018. Vol. 67. — 532 p.; *Спартак А.Н.* Метаморфозы процесса регионализации: от региональных торговых соглашений к мегарегиональным проектам // Контуры глобальных трансформаций. 2017. № 4. С. 13–37.

[8] См.: *Capling A. and Ravenhill J.* Multilateralising Regionalism: What Role for the Trans-Pacifi c Partnership Agreement // The Pacifi c Review. 2011. No. 5. P. 553–575.

[9] *Кузнецов Д.А.* Теория и практика международного трансрегионализма. М.: Аспект Пресс, 2022; *Лебедева М.М., Кузнецов Д.А.* Трансрегионализм — новый феномен мировой политики // Полис. 2019. № 5. С. 71–84. URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.06.

[10] *Lagutina M.* A World of Global Regions? Is Regionalization 20 Possible? // A.D. Voskressenski & B. Koller (eds). The Regional World Order: Transregionalism, Regional Integration, and Regional Projects

туальный обзор отечественных исследований регионализма см.: E. Mikhaylenko and M. Lagutina[1]).

Но в целом посредством различных терминов определяется по сути один и тот же процесс, который Д.А. Кузнецов в терминах трансрегионализма определяет как новый этап глобализации, заключающийся в формировании крупных международных функциональных кластеров в результате укрепления глобальных транснациональных, межрегиональных связей и взаимозависимости, а также целенаправленной политики государств и региональных интеграционных групп по формированию общих политических, экономических и социетальных пространств[2].

Приведенные выше конструкции востребованы в связи с тем, что *на смену территориально-государственному принципу интеграционного объединения приходит принцип пространственной взаимосвязи в глобальном масштабе*. Углубление глобализационных процессов, распространение интеграционных практик и тренд демократизации мира — три ключевых мегатренда современности — обусловили совокупность условий для расширения трансрегионального сотрудничества. Если в условиях индустриального общества ключевое значение в определении сущности «региона» имела территория, которая географически определяла региональные тенденции, то в условиях постиндустриального развития в XXI в. создаются объективные социальные и политико-экономические предпосылки для формирования «глобальных регионов», в которых определяющей категорией становится «пространство», обладающее содержательной поливариантностью.

Основными характеристиками глобального региона выступают как традиционные факторы (экономический, исторический, цивилизационный и культурный), так и новые постматериальные коммуникативные факторы (сетевой, виртуальный и т.д.). В качестве структурообразующих признаков глобального региона исследователи выделяют: наднациональную природу; наличие общих пространств; многоуровневое управление; наличие транснациональных сетей. «Глобальный регион» предстает в качестве сегмента мирового пространства, в котором осуществляются трансграничные взаимодействия государств, бизнеса и гражданского общества на многосторонней основе с целью решения общих проблем современного развития глобального социума. «Многомерность» современного мирового пространства и отход от географического детерминизма открывает возможность конструирования феномена глобальный регион, который по своей природе не ограничен географическими рамками и имеет трансграничную природу... Складывающийся на наших глазах новый мировой порядок может быть охарактеризован уже не как государственно-центричный, но как *«мировой порядок глобальных регионов»*[3].

---

across Europe and Asia. Rowman & Littlefield, 2019. P. 49–61; *Lagutina M.* The Global Region: A Concept for Understanding Regional Processes in Global Era // Journal of Cross-Regional Dialogues. 2019. No. 1. P. 13–38.

[1] *Mikhaylenko E., Lagutina M.* Regional Studies in Russia // The Routledge Handbook of Russian International Relations Studies / Ed. by M. Lagutina, A. Sergunin and N. Tsvetkova. Routledge, 2023. P. 123–148.

[2] *Кузнецов Д.А.* Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и концептуализации // Сравнительная политика. 2016. № 7. С. 14–24. URL: https://doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-2(23)-14-25. С. 24.

[3] *Лагутина М.Л.* Глобальный регион как элемент мировой политической системы XXI века (на примере Европейского союза): Дисс. ... д-ра полит. наук. СПб., 2016. С. 27–28, 32.

Трансрегионализм (он же — глобальный регионализм) — это особый вариант взаимодействия государств, протекающий на промежуточном между региональным и глобальным уровне мировой политики. Базовыми факторами развития трансрегионализма стали три ключевых мегатренда современности — углубление глобализационных процессов, распространение интеграционных практик и тренд демократизации мира, значительно расширившими возможности и масштабы трансрегионального сотрудничества.

С учетом типов включенных акторов и форматов взаимодействия в литературе идентифицированы основные типы трансрегиональных связей, перечень которых не исчерпывает весь потенциал трансрегионализма. Первый тип определяется как межрегионализм или интеррегионализм, который представляет собой связи двух интеграционных объединений или интеграционного образования с отдельным государством. Второй тип трансрегиональных связей представляет собой отношения между отдельными государствами из разных региональных кластеров мира — региональными и субрегиональными лидерами. Наиболее необычным является третий тип трансрегиональных связей, который имеет сложную, сетевую структуру и вовлекает в орбиту взаимодействия как отдельные государства, так и интеграционные объединения и группы государств из разных регионов мира. Примерами такого рода сотрудничества являются Форум Восточноазиатско-Латиноамериканского сотрудничества (ВАЗЛАФ), китайская инициатива «Один пояс — один путь», Транстихоокеанское партнерство (ТТП)[1].

Д.А. Кузнецов и М.М. Лебедева прогнозируют три возможных сценария эволюции трансрегионализма: 1) сценарий «трансрегиональной хаотизации», опирающийся на высококонкурентный потенциал трансрегиональных инициатив; 2) сценарий, рассматривающий трансрегионализм как «ступень глобализации»; 3) «трансрегиональная мозаика», предусматривающая формирование сети взаимопересекающихся трансрегиональных структур. В любом случае одним из вероятных трендов дальнейшей эволюции профильные исследователи представляют процесс интенсивного структурирования «мира регионов», потенциально способный сменить «мир государств».

Следует констатировать, что наибольшее продвижение по пути от сообщества государств к сообществу регионов осуществили члены Европейского союза. Отражением этого процесса стало возникновение понятия Европы регионов как результата кризиса институтов национальных государств европейского континента, глобализации экономики, развития интеграционных процессов, пробуждения активности на местах и обострения «локальной этничности», нивелированной под воздействием научно-технической революции. Субъектами этих процессов стали как субнациональные регионы, узаконенные административно-территориальным делением многих стран (департаменты во Франции, федеральные земли в Германии, области в Италии, графства в Великобритании, фюльке в Норвегии, кантоны в Швейцарии и пр.), так и регионы, образующиеся в результате «трансграничного» сотрудничества. На этом фоне возникла новая реальность, в условиях которой параметры компетенции национальных прави-

[1] *Reiterer M.* Interregionalism: a New Diplomatic Tool, the European Experience with East Asia // European Foreign Affairs Review. 2006. No. 11. P. 223–243; *Rüland J.* Balancers, Multilateral Utilities or Regional Identity Builders? International Relations and the Study of Interregionalism // Journal of European Public Policy. 2010. No. 17. P. 1271–1283. URL: https://doi.org/10.1080 /13501763.2010.513586.

тельств претерпевают существенные изменения, а регионы все настоятельнее требуют большего самоуправления и самостоятельного выхода на международную арену[1].

Вместе с тем упомянутые процессы чреваты и серьезными издержками, а именно эрозией национальных государств и «расползанием» государственного суверенитета между над- и субгосударственным уровнем и претензиями регионов на статус квазигосударства. Следует также обратить внимание и на внешнеполитический контекст, а именно поддержку Европейским союзом содержащегося в Маастрихтском договоре принципа субсидиарности. Это, в частности, нашло отражение в продвижении идеи «Европы регионов», которая, с одной стороны, предполагает поддержку наднационального уровня и поощрение регионального управления, с другой — что и было продиктовано содержанием принципа субсидиарности, предполагалось, что горизонтальное сотрудничество регионов будет более продуктивным, нежели коммуникации через опосредующие структуры национальных правительств. При этом принцип субсидиарности не исключает передачи полномочий для принятия решений в наднациональные структуры ЕС.

Для понимания амбивалентности процессов регионализации мировой политики и мировой экономики уместно обратиться к работам, авторы которых близки к апологизации регионализации. Известный японский исследователь К. Омаэ концептуализировал процессы регионализации мировой экономики посредством понятия «регион-государство»/«регион-экономика». Омаэ определяет РЭ как «естественную деловую единицу глобальной информационной экономики».

К. Омаэ выделяет основные критерии «регионов-государств», а именно:

— связь с глобальной экономикой, а не с национальным государством; связи поверх религиозных, этнических или расовых различий;
— население от 5 до 20 млн человек, т.е. «регион-государство» должен быть достаточно мал для того, чтобы его жители разделяли общие экономические и потребительские интересы, но достаточно велик для создания транспортной инфраструктуры и инфраструктуры деловых услуг высокого качества[2].

РГ решает региональные проблемы путем использования глобальных ресурсов и связан с другими РГ в большей степени, чем со своей страной. Функционирование РГ определяется сугубо экономическими, а не политическими, тем более социальными или историко-культурными императивами. РГ — это единица спроса и потребления, не более того. Поэтому и численность населения должна быть соответствующей: около 20 млн, иначе не будет обеспечено единство граждан как потребителей, но не менее 5 млн, чтобы обеспечить экономию за счет услуг.

Регион-экономика (РГ/РЭ), *во-первых*, определяется сугубо рыночными факторами; *во-вторых*, тесно связан с глобализацией, конституируя базовую

---

[1] *Зонова Т.В.* От Европы государств к Европе регионов // Полис. Политические исследования. 1999. № 5. С. 155–164.

[2] *Ohmae K.* Managing in a Borderless World // B. de Witt, R. Meyer (ed.). Strategy. Process, Content, Context. An End of Nation-State: the Rise of Regional Economies. L., 1995; *Ohmae K.* The Invisible Continent. Four Strategic Imperatives of the New Economy. N.Y., 2000.

единицу организации глобальной системы. Не важно, находится ли РЭ внутри того или иного государства. Главное, что его определяет, — это наличие таких размеров и масштабов, которые позволяют выполнить функции истинных и естественных деловых единиц глобальной экономики.

Конфигурация РГ/РЭ Омаэ коррелирует с концепцией рынка-государства Ф. Боббита. В рынке-государстве Боббита главной экономической ареной является рынок (*marketplace*), вытесняющий из этой функции фабрику. «В эпоху наций-государств государство брало на себя ответственность за благосостояние групп. В рынке-государстве государство несет ответственность за максимальное увеличение возможностей, доступных индивиду. Это означает снижение транзакционных издержек выбора, который делает индивид, что означает ограничение, а не усиление правительств». По мнению ученого, главная задача рынка-государства (РГ) — обеспечение функционирования глобального рынка. Боббит непосредственно связывает появление рынка-государства с глобализацией, говоря о «глобальном обществе рынков-государств»[1]. А в целом эта линия является элементом обширного течения политической мысли и политической практики, нацеленной на ослабление институтов национального государства, их замены структурами более низкого уровня — будь то региональные или иной природы институты, и последующим растворением последних в море разнородных, но одинаково слабых и ввиду этого управляемых со стороны глобальных институтов структур.

Обратимся далее к рассмотрению сопряженных с концептом «регион» понятий *регионализации* и *регионализма*. На национально-государственном уровне под *регионализацией* понимается процесс создания нового уровня в государственно-территориальной организации общества, процесс перераспределения властных компетенций, полномочий, передача функций на региональный уровень.

Многообразие процессов регионализации позволяет типологизировать эти процессы. Организационный комитет по местным и региональным властям Совета Европы предлагает следующую дифференциацию:

1) *политическая регионализация* — предполагает наделение существенными полномочиями и может охватывать государство целиком или его отдельные субнациональные образования;
2) *регионализация без создания регионального уровня* — не предполагает учреждение дополнительного уровня, но означает перераспределение полномочий между институтами власти и в унитарных, и в федеративных государствах;
3) *региональная децентрализация* — подразумевает утверждение нового управленческого звена, полномочия которого эквивалентны полномочиям локального уровня (как правило, имеет место в унитарных государствах).

Регионализация является частным случаем *децентрализации*, выступающей наиболее общим концептом в ряду понятий, характеризующих полномочия между уровнями управления. *Децентрализация* определяет передачу политиче-

[1] *Bobbitt Ph*. The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History. L., 2003. P. XXVI.

ской власти и ответственности за ее реализацию на субнациональный уровень управления — как правило, промежуточный между центральным и местным. В зависимости от объема передаваемых полномочий, степени их институционализации и способа делегирования децентрализация может обретать форму федерализации, регионализации, деволюции при понимании множественности версий каждого из упомянутых процессов. По нашему мнению, концепт децентрализации можно считать зонтичным по отношению к федерализации, регионализации, деволюции при понимании неисчерпывающего характера данного перечня[1].

Передача полномочий, компетенций и функций власти на более низкий уровень представляет собой особую формализованную процедуру и не допускает произвольного перераспределения. Центральный орган осуществляет контроль за деятельностью децентрализованной структуры, однако данный контроль ограничен и по объему, и по содержанию.

Регионализация представляет собой перераспределение власти исключительно на региональный уровень в рамках унитарного государства. Процесс децентрализации служит своеобразным катализатором для запуска процесса регионализации. Исследование соотношения понятий «*децентрализация*» и «*регионализация*» побуждает к выводу о том, что децентрализация представляет собой способ организации власти, при котором происходит передача политической власти и ответственности за ее реализацию на любой субнациональный уровень (включая местный) и реализуется в различных формах как в рамках федеративного, так и унитарного устройства государства.

Анализ *факторов,* способствующих децентрализации политического устройства, обнажает их многообразие: фундаментальные политико-культурные причины; актуальный политический/геополитический контекст; ущемление (фактическое или мнимое) прав одного или нескольких этнических сообществ в рамках более крупных образований; управленческие дисфункции в деятельности центрального правительства. Применительно к общесоциологическим источникам децентрализации уместно назвать полученное на материале анализа движений за независимость в Соединенном Королевстве мнение С.П. Перегудова о разочаровании британских граждан политикой и снижении доверия к политическим институтам, что вызвало к жизни конституционную реформу в целом и деволюцию в частности[2].

Поливариантность воплощения децентрализации и регионализации и многозначность используемых для характеристики этих процессов терминов нередко приводят к терминологической путанице. Приведем ряд отправных точек зрения для понимания того, как соотносятся данные понятия. По мнению Х.-Ю. Пуле, под *регионализмом* понимается идеология, «основанная на необходимости децентрализации государственной власти и предоставлении региональной автономии (или, как минимум, больших свобод), а также следующее за ней движение». По его мнению, регионалисты, в первую очередь, «требуют свободы самоопределения, самоуправления, институциональной децентра-

---

[1] Подробнее см.: *Гаман-Голутвина О.В., Дудаева М.В.* Центр-региональные отношения в Италии в свете категориальной рефлексии, исторического опыта и испытания пандемией COVID-19 // Международные процессы. 2022. Т. 20. № 1 (68). С. 6–37. DOI: 10.17994/IT.2022.20.1.68.6.

[2] *Перегудов С.П.* Конституционная реформа в Великобритании // Политические институты на рубеже тысячелетий. XX–XXI вв. Дубна: Феникс+, 2001. С. 182–183.

лизации, включая децентрализацию бюрократии, а также определенных привилегий... уважения их традиционной культуры и своеобразных институтов»[1]. Иначе говоря, *регионализм* определяет *идеологию* расширения полномочий и повышение статуса составляющих государство регионов. Второе измерение регионализма адресует к политике, направленной на объединение стран и регионов в рамках единой организации.

В плане векторности регионализм рассматривается в литературе с двух позиций:

1) восходящий регионализм (*bottom-up*) — идеология региональной элиты различных государств Европы, являющаяся реакцией на такие процессы, как индустриализация, модернизация, секуляризация;
2) нисходящий регионализм (*bottom-down*) — идеология и политическая доктрина центральных властей, нацеленная на решение региональных проблем, основываясь, в первую очередь, на интересах регионов. Одним из проявлений «нисходящего» регионализма является концепция «Европы регионов» — форма европейского регионализма, трансграничного сотрудничества и интеграции на континенте. Общим знаменателем всех вышеперечисленных подходов является стремление субнациональных образований к большей автономии.

Таким образом, при разграничении понятий *регионализация* и *регионализм* следует исходить из того, что регионализм представляет собой *идеологию* региональных/центральных элит и политических партий, намеренных инициировать процесс перераспределения власти в пользу регионов. Регионализация, в свою очередь, представляет собой *процесс реализации данной стратегии* путем перераспределения полномочий между уровнями власти.

Практика показывает, что не всегда повышение полномочий и статуса предполагает в качестве итогового результата федерализацию. В ряде стран регионализация нацелена на обеспечение особого статуса региональных образований в политической системе государства, расширяющее возможности регионов в управлении, расширение их бюджетных и налоговых возможностей в условиях унитарного государства[2].

В полиэтнических странах децентрализация может снижать этноконфессиональную и/или территориальную напряженность. В других случаях причины децентрализации носят более «технический», нежели политический характер. Децентрализация в Нидерландах и Дании вызвана необходимостью повысить эффективность региональных органов власти. В Швеции государственное управление децентрализовано на всех уровнях, так как это позволяет шведским гражданам получать полный набор социальных услуг равного качества[3]. Среди факторов децентрализации — расширение политических возможностей субнациональных сообществ; технологические сдвиги, трансформирующие алгоритмы управления и самоуправления; дисфункции избыточно бюрократизированных систем управ-

---

[1] *Puhle H.-J.* Regions, Regionalism and Regionalization in 20th Century Europe. 2000. URL: http://www.oslo2000.uio.no/program/papers/s9/s9-puhle.pdf (accessed: 19.02.2023).

[2] *Сардарян Г.Т.* Политические проблемы взаимоотношений регионов с центральной властью в Италии: Дисс. ... канд. полит. наук. М.: МГИМО, 2015. С. 22.

[3] *Богатырева О.Н.* Процессы децентрализации в европейских странах // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2018. № 2. С. 6.

ления и целесообразность участия локальных и субнациональных правительств в политике и управлении[1].

Наибольший объем полномочий регионы получают в случае *федерализации,* которая предполагает «переход государства от унитарной либо сложно-унитарной формы политико-территориального устройства к федеративной, которая реализуется путем принятия конституционного законодательства, устанавливающего статус территориальных образований в составе государства, их взаимоотношения с федеральной властью, форму федерального парламентского представительства регионов»[2]. Федерация подразумевает форму государственного устройства, при которой субнациональные образования обладают юридически определенной политической самостоятельностью.

При этом все виды децентрализации являются нисходящими, а объем полномочий определяется исключительно центральной властью. Иными словами, федерализация подразумевает законодательное закрепление политико-территориального устройства государства, предполагающего наличие, как правило, федерального двухпалатного парламента, создание собственной структуры региональной власти, наличие суверенитета в составных частях федерации и др. Отсюда следует, что результатом расширения процесса политической децентрализации может стать создание федеративного государства.

В исследовательской литературе идентифицированы последствия перетекания власти и ресурсов от центрального к субнациональному уровню управления[3]. Децентрализация способствует повышению эффективности управления и смягчению последствий макроэкономической нестабильности; поддерживает национальное единство в этнически фрагментированных государствах; может «пресечь волокиту» и повысить осведомленность чиновников о местных проблемах[4].

Безусловно, децентрализация не является панацеей от всех социальных «болезней». В странах с высоким коррупциогенным фактором, с высоким уровнем межэтнических противоречий запуск процесса децентрализации может привести к увеличению разрыва между сильными и слабыми регионами, появлению местных автократий, к снижению местного административного потенциала, повышению уровня этнического самосознания и, как следствие, к сепаратизму[5].

Таким образом, важным условием успешной реализации процесса децентрализации является его адаптация к специфическим условиям конкретного государства путем создания сбалансированного институционального дизайна, обеспечивающего взаимный интерес между центральными и субнациональными уровнями власти (при условии сохранения центральной властью административного контроля над страной).

В настоящее время децентрализация властных полномочий получает все большую поддержку в различных регионах мира. Если еще в начале 1970-х годов число

---

[1] *Трофимова И.Н.* Трансформация отношений центральной и местной власти в процессе децентрализации управления (опыт европейских стран) // ARS ADMINISTRANDI. 2011. № 2. С. 80–91.

[2] *Сардарян Г.Т.* Указ. соч. С. 19.

[3] *De Vries M.S.* The Rise and Fall of Decentralisation: a Comparative Analysis of Arguments and Practices in European Countres // European Journal of Political Research. 2000. No. 38 (2). P. 193–224.

[4] *De Vries M.S.* Op. sit. P. 202.

[5] *Dafflon B., Madiès T.* Decentralisation: A Few Principles from the Theory of Fiscal Federalism // Agence Française de Développement, Paris. Notes and Documents. 2009. No. 42. P. 56.

стран с элементами децентрализации (без учета федераций) было ограниченным, то в последние несколько десятилетий оно существенно выросло как в рамках ЕС, так и за его пределами. Однако именно в европейских политиях вопрос о децентрализации неизменно входит в актуальную повестку: существенная внутренняя этническая неоднородность большинства европейских стран и их приверженность принципам демократизации центр-региональных отношений определяют ориентацию на децентрализацию.

К числу существенных стимулов децентрализации следует отнести также стремление упредить развитие сепаратистских проектов ввиду наличия в ряде европейских политий разнообразных движений, нацеленных на обретение большей политической самостоятельности. Для маркирования этих движений используется целый ряд понятий. «Зонтичным» выступает с*епаратизм* как определение стремления субнационального образования к полноценному выходу из состава материнской политии. Среди причин сепаратизма традиционно числятся ущемление (фактическое или мнимое) экономических, языковых или иных прав национальных меньшинств; незавершенное нациестроительство; издержки глобализации; территориальные конфликты и др. Сепаратистские движения действуют во многих развитых (Бельгии, Канаде, Испании, Франции, Великобритании, Италии) и более чем в 40 развивающихся странах[1]. Сепаратизм чрезвычайно многолик. Его типология представлена в ряде работ отечественных специалистов: этнографа В. Тишкова[2] и политических географов Д. Зайца[3] и Ф. Попова[4]. И. Прохоренко, анализируя дискуссии относительно сложившихся подходов к изучению феномена и практики сепаратизма, отмечает использование узкой трактовки сепаратизма (в рамках которой сепаратизм и сецессионизм выступают синонимами) и широкой его интерпретации — «в связке с регионализмом и автономизмом, что позволяет рассмотреть сепаратизм в динамике его макрорегиональных и страновых кейсов, проследить его генезис и эволюцию его современных форм и моделей в различных странах и регионах мира, проводить сравнительные исследования»[5].

Наиболее значимые тенденции регионального развития последних десятилетий включают следующие процессы:

— складывается принципиально новое качество влияния региональных процессов на глобальный уровень международных отношений, а глобальная повестка дня переформатируется и актуализируется по-разному в разных региональных подсистемах, и региональные процессы могут оказывать влияние или переформатировать глобальные;
— в последние десятилетия происходит трансформация глобальной системы международных отношений, в которой существенное, если не определяющее влияние играют процессы перераспределения регионального влияния и региональной мощи, новые конфигурации макрорегиональных со-

---

[1] *Попов Ф.А.* География сецессионизма в современном мире. М.: Новый хронограф, 2012. — 672 с.

[2] *Тишков В.А.* Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003. С. 339–369.

[3] *Заяц Д.В.* Географические типы сепаратизма. Проблемы геоконфликтологии: В 2 т. М.: Соло, 2004. Т. 1. С. 36–58.

[4] *Попов Ф.А.* Указ. соч.

[5] *Прохоренко И.Л.* Европейская интеграция и проблема сепаратизма в государствах–членах Европейского союза. М.: ИМЭМО, 2018. С. 18.

юзов и блоков, которые в конечном счете определят конфигурацию нового регионального порядка второй четверти XXI в. и характер системы глобального управления;

— различные элементы региональной подсистемы или разные комбинации акторов регионального уровня по-разному влияют на глобальный уровень: они могут поддерживать и усиливать глобальный порядок, способствовать его радикальному слому и ниспровержению или эволюционной трансформации в новое качество[1].

Эти и сопряженные с ними процессы выступают объектом изучения в рамках *регионализма*, который представляет собой теоретическую рефлексию многообразных процессов и проявлений регионализации и де факто — идеологию данных процессов. Теории регионализма устойчиво вошли в научный оборот несколько десятилетий назад и прошли почти 40-летнюю эволюцию.

Мощное развертывание региональной интеграции на рубеже 1970–1980-х годов стимулировало резкий рост интереса к ней и, соответственно, формирование предметного поля политического регионоведения. Попытки систематизации соответствующих тематических исследований естественным образом стартовали от осмысления европейского опыта интеграции, что стало основой типологии Л. Фосеттом, включающей три разновидности. Первый вариант, ортодоксальный, предполагает построение региональных и межрегиональных отношений, основанных на флагманском опыте ЕС. Второй вариант — ревизионистский, который ставит под сомнение опыт ЕС и подчеркивает роль других действующих лиц и моделей построения регионов. Третий вариант, постревизионистский, представляет собой синтез двух предыдущих вариантов, а именно признание роли ЕС как модели интеграции, его влияния и роли в формировании регионов за пределами Европы, а также признание того, что ЕС является одним из многих вариантов регионализма[2].

Ф. Содербаум для классификации эволюции регионализма опирается на хронологически-методологический принцип. Соответственно, он выделяет ранний (*early*), недавний (*recent*) и компаративный (*comparative*) этапы[3]. Первый этап отмечен экономической доминантой в смысле движения от создания зоны свободной торговли к таможенному союзу, общему рынку, венчаемому экономическим союзом, и европейской по локализации тематики. Данный период определяют как «старый» и инициированный сверху регионализм[4]. В рамках данного подхода регион как ключевая категория исследований трактуется как «группа близлежащих

---

[1] *Воскресенский А.Д.* Указ. соч. С. 33–34.

[2] *Fawcett L.* Regionalism by Emulation: Considerations across Time and Space // M. Telo, L. Fawcett & F. Ponjaert (eds). Interregionalism and the European Union. Post-revisionist Approach to Europe's Place in a Changing World. Abington: Routledge, 2016. P. 33–55. См. также: *Лагутина М., Михайленко Е.* Указ. соч. 2020. С. 269.

[3] *Söderbaum F.* Comparative Regional Integration and Regionalism // T. Landman & N. Robinson (eds). The SAGE Handbook of Comparative Politics. L.: SAGE, 2009. P. 477–496; *Лагутина М.Л., Михайленко Е.Б.* Регионализм в глобальную эпоху: обзор зарубежных и российских подходов // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2020. Т. 20. № 2. С. 261–278. DOI: 10.22363/2313-0660-2020-20-2-261-278. С. 264.

[4] *Söderbaum F.* Early, Old, New and Comparative Regionalism: The Scholarly Development of the Field. KFG Working Paper Series, October, 64. Kolleg-Forschergruppe (KFG) "The Transformative Power of Europe". Freie Universität Berlin, 2015.

стран, представляющих собой отдельный экономико-географический, или близкий по национальному составу и культуре, или однотипный по общественно-политическому строю район мира»[1].

Следующий этап — «новый регионализм» — был ознаменован новым пониманием регионализма как инициированного «снизу» и «изнутри» регионального пространства. Еще одной значимой характеристикой этого периода было понимание регионализма полиаспектного процесса, что отличало его от отмеченного приоритетом экономической интеграцией предшествовавшего этапа.

В рамках данного этапа появились исследования «мира регионов» за пределами европейского ареала, что означало эрозию монополии европейского опыта интеграции.

Третий этап был ознаменован стремлением к синтезу достижений первого и второго этапов региональных изысканий с максимизацией охвата мирового опыта интеграции и развертыванием исследований регионализма на всех континентах мира в начале XXI в. Принципиальной характеристикой данных изысканий стал упор на компаративный ракурс рассмотрения интеграции, что побудило определить данный этап как «сравнительный регионализм». Достоен быть отмеченным тот факт, что один из наиболее крупных авторитетов по теме, Ф. Содербаум, идентифицировал факторы возникновения нового этапа регионализма: 1) выход на мировую арену стран БРИКС и других значимых игроков «остального мира» (*the Rest*), и особенно — гигантов Глобального Юга (*Global South*); 2) определение регионального управления как важного элемента многоуровневой системы глобального управления; 3) возросшее влияние негосударственных акторов в инициировании новых форматов региональной интеграции[2].

В настоящее время актуальный методологический статус регионализма справедливо характеризуется как «созвездие» регионализмов, открывающее возможности многоплановой оптики многообразных по своему формату процессов регионализации.

В многообразном по методологии и предметной принадлежности (география, региональная экономика, региональная социология и пр.) массиве российской научной литературы при рассмотрении политических измерений объекта доминировал *внутри*политический ракурс — регион рассматривался преимущественно как промежуточный между национально-государственным и локальным уровнями управления. Формирование интереса к международно-политическому регионализму совпало по времени с интенсификацией макрорегиональной интеграции и ее выходом за пределы европейского континента.

Среди отечественных авторов, интенсивно разрабатывающих региональную проблематику, — А.Д. Воскресенский, А.А. Байков, М.Л. Лагутина, Д.А. Кузнецов, В. Михайленко, Е.Б. Михайленко и др. Наиболее масштабными стали изыскания А.Д. Воскресенского, труды которого посвящены разработке теоретико-методологических сюжетов регионализации современных международных отношений, характеру преломления глобальных политических и экономических закономерностей в региональных сегментах мира — макрорегио-

---

[1] *Лагутина М., Михайленко Е.* Указ. соч. С. 264.

[2] *Söderbaum F.* Rethinking Regionalism. Basingstoke: Palgrave, 2016.

нах и глобальных регионах, перспективам развития регионального мирового порядка[1].

А.Д. Воскресенский следующим образом характеризует актуальные тренды развития отечественного регионоведения:

— относительное обособление регионального уровня международных отношений (регионализация) «реабилитирует» категорию пространства в международном политико-экономическом анализе и приводит к образованию субдисциплинарных полей «на стыках» международных отношений/мировой политики и политологии (мировое/зарубежное сравнительное/комплексное регионоведение, сравнительный макрорегиональный политический анализ/кросс-региональный политический анализ, региональная политология, политическая регионалистика, политическая география, геополитика), в которых категория пространства становится центральной или играет стержневую роль;
— относительное обособление регионального уровня международных отношений (регионализация) позволяет ставить вопрос о корректировке существующих теоретических подходов к международным отношениям, «достройке» общей теории с учетом регионального уровня или же (более радикальное предложение) построении «незападной» (корректнее — незападноцентричной) теории международных отношений в соответствии со спецификой крупнейших сегментов макрорегионального уровня (макрорегиональных комплексов);
— сегодняшние дебаты по вопросам идейно-философских основ современного мирового порядка напрямую связаны с проблематикой регионального уровня (подъем новых мировых держав незападного мира, подъем Азии, дискуссия о роли Запада и месте Востока, «реинтерпретации» основ западной цивилизации, последствиях перераспределения влияния между регионами мира, незападном мировом порядке и незападной теории объяснения этого порядка, роли исламского, китайского факторов в мировой политике, роли стран БРИК и т.д.)[2].

*О.В. Гаман-Голутвина*

**Литература**

1. *Дахин А.В.* Политическая регионалистика // Тенденции и проблемы развития российской политической науки в мировом контексте (1955–2017): традиция, рецепция и новация / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, С.В. Патрушев. М.: Политическая энциклопедия, 2018.

2. *Кузнецов Д.А.* Теория и практика международного трансрегионализма: Монография. М.: Аспект Пресс, 2022.

3. Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Стратегические изыскания, 2021.

---

[1] Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. — 448 с.; Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова, С.И. Лунев, А.А. Киреева. М.: Магистр, 2020. — 416 с.; *Voskressenski A.D.* Non-Western Theories of International Relations. N.Y. and L.: Springer Global, Palgrave-Macmillan, 2017; *Voskressenski A.D., Koller B.* (eds). The Regional World Order: Transregionalism, Regional Integration, and Regional Projects across Europe and Asia. Langham, Boulder, N.Y., L.: Rowman & Littlefield / Lexington Books, 2019.

[2] *Воскресенский А.Д.* Указ. соч. С. 33–34.

4. *Макарычев А.С.* Концепты центра и периферии в политической регионалистике: возможности постструктуралистской деконструкции // Политическая география: Хрестоматия. М.: Аспект Пресс, 2022.

5. *Межевич Н.М.* Определение категории «регион» в современном научном дискурсе // Политическая география: Хрестоматия. М.: Аспект Пресс, 2022.

6. Мировое комплексное регионоведение: Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр, 2020.

7. *Turovsky R., Karina Funk K.* Electoral Reforms in Russia's Regions: An Equilibrium between Disproportionality and Legitimacy // Russian Politics. 2022. Vol. 7. No. 4. P. 485–511.

# Сетевая публичная политика

Современная динамика глобальных и национальных политических процессов неразрывно связана с глубокими общественными трансформациями, изменяющими институциональные и социокультурные основания современного мира. В научном дискурсе сложилось представление о том, что современная реальность представляет новый качественный этап общественного развития, динамика которого определяется нелинейными, сетевыми конфигурациями и процессами[1]. Рефлексия стремительно изменяющейся социальной реальности, которая отражается во множестве метафорических определений («индивидуализированное общество» З. Баумана, «общество риска» У. Бека, «*infomodernity*» И. Семененко и В. Лапкина)[2], фиксирует сложность и многообразие современного общества, развивающегося под влиянием продолжающейся технологической революции и интенсивного проникновения во все сферы жизни цифровых технологий, которые приобрели решающее значение в период пандемии COVID-19.

Сетевые и цифровые «сдвиги», происходящие в современном политическом пространстве, обусловили поиск новых объяснительных конструктов в политической науке, к числу которых относится и концепт «сетевая публичная политика». Сетевая публичная политика, будучи многомерным аналитическим конструктом и, одновременно, неотъемлемой частью политической реальности, позволяет определить новые свойства и характеристики современной публичной политики, которые обусловливают векторы развития глобального открытого цифрового политического мира и национальных политических систем, характер изменения политических практик и способы продвижения инноваций[3].

Сетевая публичная политика является результатом двух взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов: сетевизации и цифровой трансформации. Процессы сетевизации политики, согласно теории сетевого общества М. Кастельса, интерпретируются как потоки знаний и информации, основанные

---

[1] Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования / Под ред. И.С. Семененко, В.В. Лапкина, В.И. Пантина. М.: ИМЭМО РАН, 2014.

[2] *Бауман З.* Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005; *Бек У.* Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000; *Кастельс М.* Информационная эпоха: Экономика, общество, культура. М.: Изд. дом ВШЭ, 2000; *Лапкин В.В., Семененко И.С.* «Человек политический» перед вызовами «infomodernity» // Полис. 2013. № 6. С. 64–81.

[3] *Морозова Е.В., Мирошниченко И.В.* Сетевая публичная политика: контуры проблемного поля // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 82–102.

на информационно-коммуникативных технологиях, задающих сетевую логику качественных изменений социальной коммуникации как пространства социального взаимодействия индивидов. «Условием становления такого пространства оказывается персональная и потенциально интерактивная включенность в глобальную информационную цифровую среду, посредством которой социальный индивид приобщается к новым универсальным нормам и стандартам поведения, к новым условиям жизни и новым ограничениям доступа к ресурсам»[1]. Политические аспекты сетевизации связаны с изменениями в характере политической коммуникации (от вертикальной к полисубъектной горизонтальной, предполагающей использование цифровых технологий сетевых платформ и облачных сервисов), формированием новых сетевых субъектов политики (различного вида сетевых сообществ, социальных движений) и гибридизацией традиционных политических субъектов (сетевых политических партий, некоммерческих организаций 2.0, гражданских журналистов и др.), а также появлением новых форм гражданского и политического участия (цифрового политического участия, краудсорсинга)[2].

Цифровая трансформация в политике представляет собой переформатирование деятельности государственных и политических субъектов и их организационных структур в цифровую среду, что способствует созданию их цифровых аналогов. Такое переформатирование основывается на платформенных решениях с комплексной интеграцией цифровых технологий разных поколений (от сетевых платформ и облачных сервисов до искусственного интеллекта и больших данных) и создает новые параметры коммуникаций государства, стейкхолдеров и граждан, выработки решений[3].

Сетевизация и цифровая трансформация воздействуют на публичную политику, проявляются в виде изменений на различных ее уровнях (информационно-дискурсивном, институциональном, управленческо-технологическом, социокультурном) и обусловливают воспроизводство ее нового типа — сетевую публичную политику. Сетевая публичная политика разворачивается в интегрированном с интернет-средой публичном пространстве и представляет собой одновременно процесс и результат взаимодействия широкого круга разнообразных социально-политических акторов, использующих сетевые ресурсы и цифровые технологии для выработки способов решения проблем общественной значимости и их интеграции в управленческую практику[4].

В информационно-дискурсивном измерении публичной политики, которое интерпретируется как пространство проявления рефлексивных способностей человека включаться в мир политического[5] и конструирования групп обществен-

---

[1] *Лапкин В.В., Семененко И.С.* «Человек политический» перед вызовами «infomodernity» // Полис. Политические исследования. 2013. № 6. С. 64–81.

[2] *Мирошниченко И.В.* Сетевая публичная политика и управление. М.: Аргамак-Медиа, 2016.

[3] *Красильникова Ю.* Манифест Четвертой промышленной революции. 2016. 21 января. URL: https://hightech.fm/2016/01/21/industrial_revolution_the4th (дата обращения: 23.05.2022 г.); *Palier B.* Work, Social Protection and The Middle Classes: What Future in Thedigital Age? // International Social Security Review. 2019. Vol. 72 (3). P. 113–133; The OECD Digital Government Policy Framework Six dimensions of a Digital Government. OECD 2020 // URL: https://www.oecd.org/governance/the-oecd-digital-government-policy-framework-f64fed2a-en.htm.

[4] *Морозова Е.В., Мирошниченко И.В.* Указ. соч. С. 82–102.

[5] *Арендт Х.* Vitaactive, или О деятельности жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 14–27.

ности, участвующих в формировании общественно-политического дискурса,[1] происходит интеграция онлайн-пространства в публичную сферу. В основе данной интеграции — технологические платформы сетевых сервисов, построенных на принципах «архитектуры» участия и сотрудничества граждан и сообществ в организации источников информации и наполнении их соответствующим контентом. Новые коммуникационные онлайн-структуры стали ключевым компонентом социальной морфологии общества, выполняя не только информационно-коммуникативную функцию, но и функции управления смыслами, знаниями, а вместе с ними общественными отношениями[2].

Рефлексивная включенность индивида в процесс производства, потребления и тиражирования политического контента в информационно-дискурсивном пространстве сетевой публичной политики приобретает дуальный характер. Индивиды (включая цифровых лидеров) и/или политические субъекты, обладающие высоким уровнем рефлексии, на основе легитимных практических схем и эксплицитных понятий самостоятельно и оригинально осмысливают политические события, конструируя вокруг себя публичное пространство с проективным набором соответствующих решений, формируя ресурсы коммуникативной власти. Индивиды, сообщества и политические акторы, которые не участвуют в конструировании публичных пространств, а прибегают к осмыслению политических событий на основе идентификации с созданными другими политическими акторами когнитивными схемами и практическими решениями, присоединяются к конструируемой публичности, исключая альтернативные фреймы и дискурсы в отношении проблем и решений. Такая когнитивная дуальность порождает в цифровом информационно-дискурсивном пространстве эхо-камеры или информационные ниши, в которых происходит осознанная фильтрация идей и взглядов пользователями с учетом их мнений[3] и избегания контента, бросающего им вызов[4].

Поддержание однородности индивидуализированных публичных пространств обеспечивается также технологиями искусственного интеллекта как «фильтрующего пузыря», формирующегося в процессе соотнесения пользователем произвольно поступающего контента со своими представлениями и предпочтениями. Развитие цифровых технологий усиливает эффект дуальности рефлексивной включенности граждан за счет широкого использования различными пользователями фейковых технологий, которые распространяются в том числе с помощью алгоритмизации социальных сервисов (ботов). Фейковые технологии понимаются как ложные (недостоверные) или вводящие в заблуждение (целенаправленно или непреднамеренно) сообщения, влияющие на политические результаты (политические представления граждан, их политический выбор и поведение)[5]. «Эхо-

---

[1] *Habermas J.* Die Moderne — einunvollendetesProjekt: Philosophisch-politischeAufsatze 1977–1990. Leipzig: ReclamVerlag, 1990. — 254 s.; *Habermas J.* Strukturwandel der Offentlichkeit. Frankfurt a/M, 1995. — 391 s.

[2] *Найбет Т., Рода К.* Виртуальные социальные пространства: подходы, практики, перспективы // Социологический ежегодник: Сб. науч. тр. М.: РАН, 2009. С. 301–308.

[3] *Sunstein.C.R.* #Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton: Princeton University Press, 2018.

[4] *Pariser E.* The filter bubble: What the Internet is hiding from you. L.: Penguin, 2011.

[5] *Guess A.M., Lerner M., Lyons B., Montgomery J.M., Nyhan B., Reifler J., Sircar N.* A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India //

камеры», «фильтрующие пузыри» и фейковые технологии способствуют фрагментации информационно-дискурсивного пространства публичной политики и политической поляризации различных групп общественности.

В информационно-коммуникативной среде публичной политики посредством политического дискурса конституируются и институционализируются различные политические акторы, принимающие участие в делиберативном политическом процессе, который связывает дискурсивные практики с циклическим производством публичных решений на основе диалога и согласования позиций различных акторов. Ресурсы публичности политических акторов и характер их публичной деятельности и участия в принятии решений характеризует деятельностно-активистский потенциал, или *институциональное измерение* публичной политики. В сетевой публичной политике продуцирующими различные дискурсивные практики политическими акторами, включающимися в процесс выработки решений общественно значимых проблем, являются сетевые структуры гражданского общества: сетевые сообщества, отличающиеся природой возникновения и направленностью политических действий; сетевые социальные движения, гибридные политические партии; гражданские журналисты и сетевые лидеры.

Ключевое значение для институционального структурирования пространства сетевой публичной политики приобретают сетевые сообщества, которые могут являться как источниками развития масштабных социальных движений и сетевых политических партий, так и объектами воздействия и политического управления политическими лидерами или гражданскими журналистами. К таким сетевым сообществам можно отнести институционализированные политические сообщества, транзитные политические сообщества и активно-деятельностные сообщества. Институционализированные политические сообщества представляют собой инициативные или проектируемые другими политическими субъектами (политическими лидерами, политическими элитами, политическими партиями) сообщества, отличающиеся однородностью своих субъектных и деятельностных характеристик в сфере реальной политики (нацелены на деятельность в онлайне в интересах конкретного политического субъекта).

Транзитные политические сообщества отличаются спонтанным (незапрограммированным) цифровым характером возникновения. В качестве параметров их активности можно выделить: кратковременную публичную демонстрацию единства в виде символических коммуникативных взаимодействий; отсутствие реально скрепляющих социальных связей и ценностных ориентиров, в силу этого порождающих парадоксальные конфигурации участников сетевых сообществ, поддерживающих в традиционной среде конфликтные взаимодействия; сочетание преимущественных действий в онлайне с сохранением мобилизационного потенциала самоорганизации в офлайне[1].

Активно-деятельностные сообщества основаны на устойчивых традиционных социальных идентичностях, представляющих сети межличностных связей и взаимодействий. Будучи по своей сути гибридными, имеющими реальную со-

---

Proceeding of the National Academy of Sciences. 2020. No. 117 (27), P. 15536–15545; *Jungherr A., Schroeder R.* Disinformation and the Structural Transformations of the Public Arena: Addressing the Actual Challenges to Democracy // Social Media + Society. 2021. No. 7 (1). 205630512198892–13.

[1] *Мирошниченко И.В.* Управление сетевыми сообществами в онлайн-пространстве публичной политики // Политика развития в условиях цифровизации общества: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Краснодар: Вика-Принт, 2020. С. 195–200.

циальную основу в офлайне, они реализуют личностные потребности в обществе, опираясь на новые коммуникационные возможности, что, в свою очередь, способствует их встраиванию в глобальное цифровое пространство социальности, созданное Интернетом. Данные сообщества имеют комплекс идентификаций и ценностных ориентиров, позволяющих им сохранять устойчивые взаимодействия и являющихся ресурсным основанием для реальных действий в политике. Этот тип сетевых сообществ дифференцируется на социально-дискурсивные, гражданско-дискурсивные, коллаборативные, социально проактивные и политически проактивные.

В зависимости от институциональных и субкультурных характеристик сетевых сообществ можно говорить и о различных формах политической субъектности и ресурсах управления данными сообществами в пространстве публичной политики[1]. Разнообразные сетевые структуры гражданского общества способствуют возникновению уникальных политических практик[2]. Среди них можно выделить сетевую мобилизацию общественности, ризомную (скрытую, неявную, но неразрушимую, приобретающую различные конфигурации) самоорганизацию граждан, формирование цифровых лидеров из числа активных граждан и др.

Нелинейная логика развития сетевого общества обусловливает процессы диверсификации политических практик и институциональных форм, охватывая при этом и управленческо-технологическое измерение публичной политики. Под воздействием сетевизации публичное управление становится многослойным и многосторонним, а инструменты политической власти, влияния и контроля рассеиваются между разнообразными индивидуальными и коллективными акторами. Привлечение акторов публичной политики к совместному достижению политических целей и публичному управлению связано с сетевым взаимодействием и его координацией, ориентированной на создание условий сотрудничества.

Государство в сетевом управлении становится координационным институтом, создающим условия для вовлечения граждан в публичность с помощью регулятивных, финансовых и коммуникативных инструментов, стремящимся оказывать влияние на мотивацию субъектов к объединению усилий для решения совместных задач[3]. Вовлеченность граждан в публичность связывает коммуникативную власть гражданского общества с политико-управленческим циклом, что существенно ограничивает автономию государства.

Важной характеристикой сетевого публичного управления является и его ориентация на проектные форматы взаимодействия, с помощью которых создаются условия для конструктивного участия разнообразных акторов в практике публичного управления. Государство, осуществляя диагностику состояния публичной политики, выступает инициатором и модератором проектных и экспертных сетей, институализируя публичные импульсы сетевого гражданского

---

[1] *Miroshnichenko I.V., Ryabchenko N.A., Gnedash A.A.* Online Communities in the Public Space of Politics: Subjective Features and Possibility for Control (Exemplified by «ВКонтакте» Russian Social Networking Platform) // Webology: Journal. 2021. Vol. 18. Iss. 4. P. 1342–1359.

[2] *Соловьев А.И., Пушкарева Г.В.* Гражданский сектор государственного управления: новые формы самоорганизации и участия населения в условиях цифровизации публичного пространства // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2020. № 5 (102). С. 67–75.

[3] *Сморгунов Л.В.* В поисках управляемости: трансформация теории публичного управления в XX веке // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. 2011. Сер. 6. Вып. 4. С. 85–96.

общества в практику публичного управления. В свою очередь, граждане вступают во взаимодействие с властью преимущественно в рамках конкретных политических проектов, основанных на краудсорсинговых технологиях, способствующих инициации и внедрению политических инноваций, предполагающих целенаправленные изменения политических институтов и процессов для повышения эффективности политической системы в целом[1]. Государственные институты при условии грамотного использования современных цифровых технологий при взаимодействии с гражданами и стейкхолдерами могут обретать стратегические выгоды, развивая механизмы и технологии вовлечения общественности во взаимодействие с властью по актуальным вопросам социально-политической повестки[2].

Благодаря качественному повышению координационной активности государства на основе универсальных публичных ценностей публичная политика становится продуктом, вырабатываемым в совместной деятельности власти и общества на принципах диалога, сотрудничества и партнерства разнообразных акторов. Организация взаимодействия в онлайн-пространстве государства и активных граждан основывается на технологиях блокчейна (сетевых распределенных данных), позволяющих согласовывать интересы различных групп сетевой общественности на разных этапах жизненного цикла публичных решений (инициации, выработки альтернатив, осуществления выбора конкретного решения, его реализации и оценки), повышая тем самым предпосылки процедурной справедливости[3].

Еще одним важным вектором трансформации государства в основного «производителя» государственной политики в условиях цифровизации становится выработка у корпуса управленцев компетенций опережающего реагирования, включающих умение контролировать подвижную общественную повестку, канализировать развитие публичного дискурса[4]. Используя механизмы и технологии политической инженерии, сетевые структуры нередко формируют публичные отношения государства и общества для достижения узкогрупповых латентных целей, создавая «искусственные диспозиции» и формируя неопределенность статусной активности институтов делиберативной демократии и структур гражданского общества. Одновременно сетевые коммуникации государства и общества, сочетаясь с активностью неформальных альянсов, использующих инструменты офлайн-политики, порождают фронтирные зоны публичной политики[5] (способ-

---

[1] *Мирошниченко И.В.* Сетевой ландшафт российской публичной политики. Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. С. 236–249; *Соколов А.В., Комаров О.Е.* Цифровые платформы обратной связи // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия: Политология. Религиоведение. 2021. Т. 36. С. 26–37; *Комаров О.Е., Соколов А.В.* Перспективы развития краудсорсинга как формы диалога органов управления и общества // PolitBook. 2021. № 1. С. 150–176.

[2] *Михайлова О.В.* Современное государственное управление в условиях виртуализации и расширения сетевого ландшафта публичной политики // Вестник Московского ун-та. Серия 21: Управление (государство и общество). 2019. № 4. С. 23–39; *Михайлова О.В.* Сети в современном государственном управлении: конфигурации и механизмы координации // Политическая наука. 2021. № 4. С. 14–30.

[3] Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие: Колл. монография / Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 262–274.

[4] *Коньков А.Е.* Латентные механизмы в публичном пространстве государственной политики: подходы и интерпретации // Вестник Московского гос. обл. ун-та. 2021. № 4. С. 62–79.

[5] *Соловьев А.И.* Фронтирные зоны публичной политики // Политическая наука. 2021. № 3. С. 183–204.

ные в ряде случаев порождать неофициальное «второе ядро» государственного управления)[1].

Технологические компоненты сетевой публичной политики наполняются принципиально новым содержанием, отличным от традиционного «формата» политических технологий, использование которых обеспечивало политическим субъектам достижение определенных результатов. Технологии сетевой публичной политики, выстраиваясь на принципах сетевой коммуникации, существование которых невозможно вне технологической платформы сетей передачи данных (мгновенной передачи, беспрерывной передачи большого объема данных), нацелены на поиск инноваций в сфере политики (инновационного контента, инновационных форм взаимодействия, инновационных ресурсов и решений). Таким образом, использование акторами технологий сетевой публичной политики существенно расширяет их возможности многовекторного развития в условиях политической неопределенности, характерной для новой сетевой реальности.

Пандемия COVID-19 ускорила процессы организационной цифровой трансформации системы публичного управления, которые отразились в платформенных решениях государства как совместного использования со стейкхолдерами и гражданами («потребителями» государственных услуг) ресурсов, возможностей и компетенций, повышая социальную адаптивность всех ее участников[2]. Платформенные решения предполагают три сценария взаимодействия государства и других участников в цифровом формате: самоуправление (свободное взаимодействие на основе ряда основополагающих правил), внешнее управление (взаимодействие со значительной внешней подотчетностью) и соуправление (взаимодействие на основе сотрудничества и децентрализации). При этом технологическая архитектура организации государства-платформы возможна в виде «одного правительства» (принцип «одного окна», бесшовного правительства при оказании публичных услуг); «одноранговой платформы» (технологической интеграции для обмена данными несколькими правительственными структурами»); экосистемы (предполагающей выстраивание взаимодействия государства с неправительственными акторами в определенной сфере публичной политики) и краудсорсинговой платформы (демонстрирующей платформу как хаб взаимодействия государства с другими акторами для выработки решений и инноваций на основе сотрудничества)[3].

---

[1] *Соловьев А.И.* Правительственная повестка в принятии государственных решений: политические формы и механизмы взаимодействия // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: История. Политология. Социология. 2020. № 2. С. 53–59; *Соловьев А.И.* Латентный функционал публичной политики // Политическая наука. 2022. № 3. С. 57–79.

[2] Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие: Колл. монография / Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 262–274; *Петров М.В., Буров В.В., Шклярук М.С., Шаров А.В.* Государство как платформа: (кибер)государство для цифровой экономики. Цифровая трансформация. М.: Центр стратегических разработок, 2018; Цифровая трансформация государственного управления: мифы и реальность: Доклад НИУ ВШЭ при участии Всемирного банка. М., 2019. URL: http://gos.hse.ru/upload/Libv/Cifrovaya_transformatsiya_doklad_2019.pdf (дата обращения: 23.05.2022).

[3] *Сморгунов Л.В.* Совместное управление и сотрудничество в системе публичной власти // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: История. Политология. Социология. 2022. № 1. С. 14–20; *Сморгунов Л.В.* Институты доступности цифровых платформ и государственная управляемость // Южно-российский журнал социальных наук. 2020. Т. 21. № 3. С. 6–19; *Сморгунов Л.В.* Партисипаторная управляемость в условиях цифровизации: сетевой эффект и институты // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2019. № 4 (61). С. 43–49.

Важно, что технологии сетевой публичной политики необязательно ведут к закреплению нормативной публичности, исключительно позитивных и легитимных форм взаимодействия государства и общества. Данные технологии являются лишь методическим арсеналом, с помощью которого достигаются политические цели элитарных и неэлитарных игроков, имеющих различную систему ценностей и мотиваций. Комплекс технологий социального конструирования цифровой реальности становится реальным способом воплощения в жизнь разнообразных по содержанию и пространственной принадлежности символических политических проектов социально-экономической, геополитической и другой направленности, в том числе и разделяемых большинством граждан, но противоречащих их потребностям и интересам[1]. Ограничениями для развертывания скрытого от общества потенциала публичности и доминирования латентных инструментов согласования интересов являются режимные характеристики государства, поддерживающего рост гражданского активизма и повышение политических компетенций населения, позволяющих людям использовать институциональные возможности для контроля правящей политической элиты. Эти же направления деятельности способны урегулировать и одно из перманентных противоречий общественного развития, сохраняющееся в поле традиционной политики и демонстрирующее ситуацию, когда «общество движется в фарватере технологических изменений, а государственные институты формируют управленческую повестку “вчерашнего дня”»[2].

Процессы сетевизации оказывают колоссальное влияние и на субъективное пространство политики. В субъективное пространство политики принято включать символические, идеологические и культурные образования, обуславливающие содержание ориентационно-поведенческих комплексов разнообразных политических акторов, а также образование множественных идейных конструкций, функционирующих в политической сфере, оказывающих влияние на организационные формы политических институтов и властных отношений[3]. Изначальным носителем политической субъектности является «человек политический», который в пространстве сетевой публичной политики «приобретает свой “политический интерфейс”, получает возможность инициативного и автономного участия в политических акциях, в публичных дискуссиях и в выработке решений, которые затем претворяются в различного рода и качества политических действиях»[4].

Социокультурные компоненты сетевой публичной политики имеют фрагментированный характер, обусловленный нелинейной логикой развития всех акторов, одновременным сосуществованием множества культурных матриц, содержащих семантический и аксиологический компоненты, в свою очередь, отраженных

---

[1] *Соловьев А.И.* Гражданин в потоках цифровизации: коллизии политики и культуры // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 216–230; *Коньков А.Е.* Развитие латентных механизмов политики в условиях расширения публичного пространства // Вестник Московского ун-та. Серия 12: Политические науки. 2021. № 4. С. 22–37.

[2] *Михайлова О.В.* Современное государственное управление в условиях виртуализации и расширения сетевого ландшафта публичной политики // Вестник Московского ун-та. Серия 21: Управление (государство и общество). 2019. № 4. С. 23–39.

[3] *Самаркина И.В.* Политическая картина мира как компонент субъективного пространства политики: Дисс. ... д-ра полит. наук. М., 2013.

[4] *Лапкин В.В., Семененко И.С.* «Человек политический» перед вызовами «informodernity» // Полис. Политические исследования. 2013. № 6. С. 64–81.

в гипертексте, репрезентирующем смыслы в виде аудиовизуальной мозаики. Внутренняя диверсификация социокультурного поля органично поддерживается Интернетом, который «формировался как плацдарм свободы, в котором нет места цензуре, государственному принуждению, любым другим ограничениям поиска информации. Эти установки продолжают линию развития научного этоса, встраивая в субкультурную аксиологию свободу, прогресс, равенство и творчество на правах ценностей высокого порядка»[1]. Позитивными чертами сетевой культуры являются синкретическое видение реальности, нетерпимость к жесткой регламентации и организации жизни, открытость инновациям.

Базовой политической ценностью является для сетевых активистов прямая демократия, о чем, к примеру, красноречиво говорят программы пиратских партий, являющихся по сути гибридом партийной структуры и сетевого сообщества. Для личности сетевого активиста часто характерен «сетевой» идеализм, доходящий в крайних случаях до полного отрыва от реальности, наличие часто упрощенной, «net-центричной» картины мира. В сознании многих обитателей Сети существует стойкое убеждение, что подвластными им технологиями можно решить любую, самую сложную проблему. Сетевое пространство содержит серьезные угрозы безопасности, связанные, прежде всего, с деятельностью экстремистских сообществ, нарушением личного пространства пользователей (распространение «клонов» страниц известных людей), финансовым мошенничеством, недобросовестной рекламой, распространением фейковых новостей и «черным пиаром». Использование хакерства в политических целях привело к возникновению «хактивизма», проявляющегося во взломе сайтов политических организаций, распространении политического компромата, создании вирусов с деятельностью экстремистских сообществ, нарушении личного пространства пользователей, что в целом ряде случаев провоцирует существенные политические и даже международные трения и конфликты. Коротко говоря, хактивизм становится триггером значительного числа противоречий, влияющих на осуществление внутри- и внешнеполитических проектов, источником трансформации межправительственных отношений. Действия хактивистов связаны с выходом из правового пространства и даже нанесением ущерба легитимности индивидуальной активности.

Система политических ценностей в пространстве сетевой публичной политики подвергается колоссальному воздействию процессов консьюмеризации общества. Брендинговая мифология становится эффективней политических идеологий, а аксиологическая картина сетевых пользователей отличается повышением роли витальных и материальных, гедонистических ценностей и снижением статуса духовных (за исключением когнитивных), общественных, нравственных, эстетических. Забота о здоровье, безопасности, самореализации становится для большинства индивидов важнейшим направлением активности. При этом ценность жизни «другого» не имеет определяющего значения и способствует общей дегуманизации[2]. В политической культуре информационно продвинутого общества неизбежно складывается «культура политического развлечения», которая через создаваемые ею «утопические миры дает пользователям упрощенное понимание,

---

[1] *Тихонова С.Ю.* Социальные сети: проблемы социализации Интернета // Полис. Политические исследования. 2016. № 3. С. 138.

[2] *Баева Л.В.* Ценности мира «продвинутых пользователей» // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2007. № 2. С. 135–148.

интерпретацию и осмысление политической реальности»[1], формируя клиповое мышление и «фасетное» зрение.

Не меньшее воздействие на развитие сетевой публичной политики оказывают и процессы формирования идентичностей. Сетевое общество утвердило скорость как одну из ценностей, а «бытие» в сетевых контекстах позволило участникам произвольно изобретать, «присваивать» все новые идентичности. При этом сетевые идентичности в цифровом публичном пространстве подвергаются манипуляциям не только со стороны самого субъекта, но и извне, а «сама способность» управления «сетевым контентом» может изменять «ракурс видения себя и других»[2]. При этом критерием утверждения коллективных идентичностей субъектности сообществ и их признания другими становится их представленность в коммуникационной мультимедиасистеме.

Включенность граждан (в виде цифровой инклюзии или сохранения цифрового неравенства[3]) и различных акторов в пространство сетевой публичной политики зависит от их доступа к Интернету (подразумевающему технологическое неравенство), уровня цифровой грамотности (степени развития цифровых компетенций и мотивации их использования)[4], а также эффективности использования гражданами цифровых технологий в различных сферах общественной жизни[5]. Цифровая инклюзия в различных ее проявлениях обуславливает развитие сетевой публичной политики, как «прорастания» поверх рутинных практик традиционной публичной политики новых качественных характеристик ее институциональных, процессуальных, социокультурных и технологических компонентов.

*И.В. Мирошниченко*

**Литература**

1. *Косоруков А.А.* Цифровое государственное управление. М.: Макс Пресс, 2020.

2. *Мирошниченко И.В.* Сетевая публичная политика и управление. М.: Аргамак-Медиа, 2016.

3. *Мирошниченко И.В., Морозова Е.В., Гнедаш А.А., Рябченко Н.А.* Социальные сети в публичной политике современной России: модернизационный потенциал. Краснодар: Просвещение-Юг, 2012.

4. *Петров М.В., Буров В.В., Шклярук М.С., Шаров А.В.* Государство как платформа: (кибер) государство для цифровой экономики. Цифровая трансформация. М.: Центр стратегических разработок, 2018.

---

[1] *Дернер А.* Политика как развлекательный жанр. Государственная информационная политика // Реферативный бюллетень. 2001. Т. 39. № 3. С. 170–171.

[2] *Longley P.A.* Digital Biography: Capturing Lives Online // Auto|Biography Studies. 2009. Vol. 24. No. 1. Summer. P. 76.

[3] *Al-Muwil A., Weerakkody V., El-haddadeh R., Dwivedi Y.* Balancing Digital-By-Default with Inclusion: A Study of the Factors Influencing E-Inclusion in the UK // Information Systems Frontiers. 2019. No. 21. P. 635–659.

[4] *Сафиуллин А.Р., Моисеева О.А.* Цифровое неравенство: Россия и страны мира в условиях четвертой промышленной революции // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12. № 6. С. 26–37. DOI: 10.18721/JE.12602; *Быков И.А., Халл Т.Э.* Цифровое неравенство и политические предпочтения интернет-пользователей в России // Полис. Политические исследования. 2011. № 5. С. 151–163.

[5] *Van Deursen A.J.A.M., Helsper E., Eynon R., van Dijk J.A.G.M.* The Compoundness and Sequentiality of Digital Inequality // International Journal of Communication. 2017. № 11. P. 452–473. Digital Around the World in 2020. URL: https://wearesocial.com/digital-2020.

5. Политические коммуникации и публичная политика: концепции, методы, сравнение опыта. Краснодар: Вика-принт, 2016.

6. Политическое в условиях цифровых трансформаций / Под ред. Л.В. Сморгунова, А.В. Курочкина, О.А. Игнатовой. М.: Аспект Пресс, 2022.

7. Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие: Колл. монография / Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2018.

8. *Рябченко Н.А., Катермина В.В., Гнедаш А.А., Малышева О.П.* Модели и практики управления политическим контентом в online-пространстве современных государств в эпоху постправды. Краснодар: Флинта, 2021.

9. *Рябченко Н.А., Мирошниченко И.В.* Институализация политики в online-пространстве современной России. Краснодар: Просвещение-Юг, 2012.

10. Стратегические коммуникации в цифровую эпоху: новые технологии / Под ред. Л.С. Сальниковой. М.: МГИМО, 2019.

11. Управление публичной политикой / Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2015.

12. *Al-MuwilA., WeerakkodyV., El-haddadehR., Dwivedi Y.* Balancing Digital-By-Default with Inclusion: A Study of the Factors Influencing E-Inclusion in the UK // Information Systems Frontiers. 2019. No. 21. P. 635–659.

13. *Van Deursen A.J.A.M., Helsper E., Eynon R., van Dijk J.A.G.M.* The Compoundness and Sequentiality of Digital Inequality // International Journal of Communication. 2017. No. 11. P. 452–473.Digital Around the World in 2020. URL: https://wearesocial.com/digital-2020.

# Символическая политика

Государства управляют поведением индивидов и групп не только путем установления общеобязательных норм и принуждения к их выполнению; наряду с другими акторами они участвуют в борьбе за интерпретацию социальной реальности, именуемой символической политикой. Данный аспект политической действительности стал предметом систематического изучения сравнительно недавно, однако основы теории символической политики были заложены еще в 1960-х годах. Ее основоположником считается американский политолог М. Эдельман. В книгах «Символическое использование политики» (1964) и «Политика как символическое действие» (1971) он попытался объяснить разрыв между теоретическими предположениями относительно функционирования политических институтов и тем, как они работают в действительности, анализируя смыслы, транслируемые политическими институтами и носителями политических ролей.

М. Эдельман доказывал, что оптика доминирующей парадигмы рационального выбора искажает реальные политические связи, ибо на практике действия правительства не столько удовлетворяют или не удовлетворяют запросы граждан, сколько влияют на их восприятие реальности, меняя их потребности и ожидания[1]. По мысли Эдельмана, политическая наука должна исследовать не только «то, как люди получают от правительства то, чего они хотят» (здесь кроется смысловая отсылка к заглавию известной работы Г. Лассуэлла «Политика: Кто по-

[1] *Edelman M.* Politics as Symbolic Action.Mass Arousal and Quiescence. Chicago: Markham Publishing Company, 1971. P. 7–8.

лучает, что, когда и как»), но и «механизмы, посредством которых политика влияет на то, чего они хотят, чего боятся, что считают возможным и даже кто они есть»[1].

Подход, предложенный Эдельманом, не породил научной школы. Тем не менее к настоящему времени существует солидное количество исследований, посвященных изучению символической составляющей политики, понятийный аппарат и методологический арсенал которых весьма разнообразен. Прилагательное «символический» широко применяется для описания политических явлений: исследователи рассуждают о «символическом использовании политики» и «политике как символическом действии»[2], «символической власти» и «символическом капитале»[3], «символической политике»[4], «символической деятельности как основе авторитета»[5], «символическом протесте»[6], «символических конфликтах»[7], а также о «символизме политики»[8] и «символах в политике»[9]. В большинстве этих словосочетаний прилагательное «символический» используется в расширительной трактовке: оно связывается с социально разделяемыми смыслами, опосредующими восприятие и поведение участников политических (в разных значениях этого понятия) отношений. Вместе с тем некоторые авторы предпочитают говорить о «символах» в более строгом смысле — как о конвенциональных знаках, выражающих некое содержание; при этом нередко данное понятие понимается совсем узко (например, в таком случае дело сводится к изучению государственной символики)[10].

Короче говоря, в настоящее время концепт символической политики (в значении как *symbolic politics*, так и *symbolic policy*) используется в качестве инструмента эмпирического описания и анализа в конфликтологии, исследованиях публичной политики, политических коммуникаций, а также в работах, посвященных изучению коллективных действий. С ним давно работают и некоторые

---

[1] *Edelman M.* The Symbolic Uses of Politics. 5th ed. Urbana: University of Illinois Press, 1972. P. 20.

[2] *Edelman M.* Politics as Symbolic Action; *Edelman M.* The Symbolic Uses of Politics; *Alexander J.C., Mast J.L.* Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice // The Cultural Pragmatics of Symbolic Action. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 2006. P. 1–28.

[3] *Бурдье П.* Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.

[4] *Brysk A.* "Hearts and Minds": Bringing Symbolic Politics Back in // Polity. 1995. Vol. 27. No. 4. P. 559–585; *Поцелуев С.П.* Символическая политика как инсценирование и эстетизация // Полис. Политические исследования. 1999. № 5. С. 62–76; *Поцелуев С.П.* «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая политика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 17–53; *Малинова О.Ю.* Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 5–16; *Kaufman S.* War as Symbolic Politics // International Studies Quarterly. 2019. Vol. 63. No. 3. P. 614–625.

[5] *Smith K.E.* Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era. Ithaca etc.: Cornell University Press, 2002.

[6] *Gamson W.A., Stuart D.* Media Discourse as a Symbolic Contest: the Bomb in Political Cartoons // Sociological forum. 1992. Vol. 7. No. 1. P. 55–86.

[7] *Harrison S.* Four Types of Symbolic Conflict // The Journal of Royal Anthropological Institute. 1995. Vol. 1. No. 2. P. 255–272.

[8] *Gill G.* Symbolism and Regime Change in Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

[9] *Gill G.* Symbols and Legitimacy in Soviet Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2011; *Fornäs J.* Signifying Europe. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

[10] *Мисюров Д.А.* Политическая символика: между идеологией и рекламой // Полис. Политические исследования. 1999. № 1. С. 168–174.

российские авторы[1]. При этом предлагаются различные определения ключевого термина.

На наш взгляд, в данном случае наиболее существенный концептуальный водораздел связан с пониманием символической политики в качестве противоположности политики «реальной» или в качестве ее специфического, но неотъемлемого аспекта.

Противопоставление «символических» и «материальных» аспектов политики связано с ее медиатизацией. В условиях, когда оценки публики зависят от репрезентации в СМИ, коммуникация становится относительно автономным видом политической деятельности. Это побуждает рассматривать манипулирование символическими ресурсами как своеобразный суррогат «реальной» политики. Именно в такой интерпретации рассматриваемое понятие было впервые введено в российский научный оборот С.П. Поцелуевым.

Согласно его определению, символическая политика представляет собой «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов»[2]. Так понимаемая символическая политика предполагает «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических “эрзацев” (суррогатов) политических действий и решений»[3]. Таким образом, данный подход сфокусирован на публичной репрезентации политического процесса, которая может не совпадать с непубличной (но от этого не менее реальной) стороной политики. В качестве «символического элемента» политики рассматриваются идеологические конструкции, которые создаются элитами для манипуляции сознанием масс.

Данный подход полезен, поскольку концептуализирует широко распространенное явление. Однако, будучи сосредоточен на целенаправленных действиях элит, он, на наш взгляд, не учитывает некоторые важные аспекты политической коммуникации. *Во-первых*, элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках социально разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и воспроизводстве, подчиняются их логике. Символическая составляющая политики не рефлексируется ее акторами в полной мере, а эффекты того, что П. Бурдье называл «символической властью»[4], не всегда достигаются за счет прямой пропаганды. Как точно заметил Эдельман, «наиболее глубоко укорененные политические убеждения не формируются открытыми призывами принять их и не дебатируются в тех субкультурах, где их разделяют. Они создаются формой политического

---

[1] *Поцелуев С.П.* Символическая политика как инсценирование и эстетизация; *Мисюров Д.А.* Указ. соч.; *Киселев К.В.* Символическая политика: власть vs общество. Екатеринбург: Дискурс-Пи, 2006; *Малинова О.Ю.* Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. 2010. № 2. С. 90–105; *Пушкарева Г.В.* Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // Полис. Политические исследования. 2015. № 1. С. 55–70; обзор см.: *Ефремова В.Н.* О некоторых теоретических особенностях исследования символической политики // Символическая политика. Вып. 3: Политические функции мифов. М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 50–65.

[2] *Поцелуев С.П.* Указ. соч. С. 62.

[3] Там же.

[4] По Бурдье, символическая власть — это «власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира и, тем самым, воздействие на мир, а значит, сам мир...» (*БурдьеП.* Указ. соч. С. 95).

действия, гораздо более мощной, чем риторические разъяснения, и слишком значимы для людей, чтобы подвергать их сомнению в публичных дебатах»[1]. Символическая политика не ограничивается социально-инженерным «изобретением» смыслов. Она связана с социальным конструированием реальности, как его описывали П. Бергер и Т. Лукман[2].

*Во-вторых*, в поле символической политики действуют специфические механизмы, изучение которых позволяет лучше понимать, почему одни способы интерпретации социальной реальности оказываются влиятельнее других, чем определяется успех и какие ресурсы работают более эффективно. Как справедливо заметил Бурдье, «идеологии всегда детерминированы дважды»: не только выражаемыми ими интересами групп, но и «специфической логикой поля производства»[3]. Постижение этой логики — едва ли не самая интересная задача для исследователей символической политики.

*В-третьих*, более широкий взгляд на символическую политику не ограничивает круг ее участников представителями властвующей элиты — он ориентирует и на изучение деятельности акторов, включенных в символическую борьбу за изменения снизу. Разумеется, государство занимает особое положение на поле символической политики, поскольку оно обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам особого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене и т.п.

Однако, несмотря на эти эксклюзивные возможности, доминирование поддерживаемых государством интерпретаций социальной реальности отнюдь не предрешено: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления» и «двоемыслия». Оспаривание существующего социального порядка — не менее важная часть символической политики, чем его легитимация.

С учетом этого нам представляется продуктивным рассматривать *символическую политику* более широко — как *публичную деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование*. Понятая таким образом символическая политика является не противоположностью, а скорее специфическим аспектом «реальной» политики.

Борьба за смыслы в современном мире не сводится к традиционной идеологической борьбе. Она выражается не только в словах, но и в делах (властных решениях, нормативных актах, протестных акциях и т.п.). В качестве ее инструментов выступают и вербально оформленные «идеи» (принципы, концепции, доктрины, программы и т.п.), и невербальные способы означивания (образы, жесты, графические изображения и др.). Поэтому при изучении символической политики требуется сочетать приемы анализа дискурсов, политических стратегий и технологий.

Теоретическая рамка, заданная широким пониманием символической политики, ориентирует ученых на исследование взаимодействий широкого круга *акторов*, продвигающих различные интерпретации социальной реальности, ко-

---

[1] *Edelman M.* Politics as Symbolic Action. P. 45.

[2] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. М.: Academia; Медиум, 1995.

[3] *Бурдье П.* Указ. соч. С. 93.

торые могут конкурировать, сопрягаться или поддерживать друг друга. В логике различения, имеющего место в английском языке, такой фокус анализа можно обозначить как *symbolic politics*. В качестве акторов символической политики-*politics* могут выступать как группы, так и отдельные индивиды, если они способны производить интерпретации реальности, вызывающие общественный резонанс, и располагают ресурсами для их продвижения. С развитием информационных технологий доступ к таким ресурсам расширяется. Тем не менее ресурсы участников символической борьбы очевидно неравны. В силу этого особый интерес представляет поведение *институциональных* акторов — государства, церкви, в некоторых случаях политических партий, которые располагают существенными властными, экономическими и организационными ресурсами для продвижения собственного видения социальной реальности. Изучения *логики* их символических действийв качестве особого ракурса анализа можно было бы назвать *symbolic policy*.

Как уже было сказано, концепция политики как символического действия была предложена в 1960-х годах М. Эдельманом в качестве ответа на самые что ни на есть «мейнстримные» проблемы американской политической науки. Однако особую популярность данный подход приобрел именно в связи с изучением политики в постсоветских и посткоммунистических странах. По-видимому, это не случайно, поскольку при коммунистических режимах официальная идеология во многом определяла не только общественную, но и частную жизнь, а трансформация прежней символической системы оказалась существенной составляющей посткоммунистических транзитов, в том числе и в России. После распада СССР перед новым российским государством встало множество вопросов: как быть с грандиозным символическим ландшафтом, оставшимся от прежнего режима, надо ли признавать его преступления, и если да, то каким образом и какой должна быть новая символика? Все эти вопросы и сейчас остаются предметами политических споров.

Зарубежные политологи, занимавшиеся СССР, привыкли воспринимать роль идеологии в политике всерьез, что в некотором смысле подготовило их к изучению идейно-символических аспектов постсоветских трансформаций. Вместе с тем исследование постсоветской символической политики стимулировало ученых к расширению теоретических и методологических границ. Старые добрые подходы, основанные на «внимательном чтении», были дополнены современными качественными и количественными методами, что позволяет более убедительно доказывать, что «идеи имеют значение».

Постсоветская действительность дает богатый материал для изучения подобной борьбы за смыслы, которая не может быть сведена к идеологии в ее традиционном, вербальном и систематическом формате. Это стимулировало появление исследований, которые не только вносят существенную лепту в развитие теории и методологии исследования символической политики, но и предлагают новые способы объяснения политических процессов и их результатов. Исследования различных аспектов символической политики в России и других постсоветских странах заняли заметную нишу в зарубежных *Russian studies*[1].

[1] См.: *Джонсон Дж., Малинова О.Ю.* Символическая политика как предмет *political science* и *Russian studies*: исследования политического использования прошлого в постсоветской России // Политическая наука. 2020. № 2. С. 15–41.

Так, исследования австралийского политолога Г. Гилла продемонстрировали значение символической политики как для устойчивости политических режимов, так и для их трансформации. В двух последовательно изданных монографиях — «Символизм и легитимность в советской политике» и «Символизм и смена режима»[1] — он проанализировал формирование и распад «советского метанарратива», т.е. совокупности дискурсов, объясняющих настоящее и проектирующих будущее. Представляя собой упрощенную форму официальной марксистско-ленинской идеологии, советский метанарратив служил «главным культурным посредником между режимом и народом»[2]. Смещение фокуса с «идеологии», которая считалась специфической особенностью коммунистических стран, на «символическую программу», присущую разным режимам, делает такой подход более универсальным. Изучая конструирование новой символической системы, призванной заменить советскую, Гилл анализировал речи представителей политической элиты, символизм новых политических институтов, дискурсы массовой культуры и изменения культурного ландшафта столицы. Он приходит к выводу, что основной причиной, по которой постсоветской политической элите пока не удается сконструировать новый «символический нарратив», опирающийся если не на формальную идеологию, то на систему символов, способных «объяснить распад советского эксперимента и то, почему постсоветский режим является его более достойной заменой», является стремление «нормализировать» советскую историю, отказавшись от ее критической проработки[3].

Другая область, в которой использование ракурса символической политики помогает объяснять наблюдаемые изменения, — изучение протестов. Как показало исследование Р. Смит, А. Соболева и И. Соболевой, символическая политика пропутинских митингов оказалась важным инструментом упрочения отношений власти и общества в момент кризиса 2011–2012 гг. Основываясь на полевом исследовании, эти авторы проследили изменения в символическом наполнении пропутинских митингов между декабрем 2011 г. и мартом 2012 г. Они обнаружили, что прокремлевская символическая политика была вполне успешной в мобилизации ядра избирателей на поддержку В.В. Путина на президентских выборах, поскольку она способствовала «созданию общей идентичности участников и ограничению электоральных эффектов оппозиционных протестов»[4]. Впрочем, по мнению авторов, долгосрочные последствия этой символической политики не столь однозначны, поскольку прокремлевские марши обнаружили также «ослабление народной поддержки президента и неспособность режима монополизировать политическую повестку, чтобы убедить ядро своих сторонников»[5].

Исследования символической политики получили заметное распространение в России. Поиск в Научной электронной библиотеке elibrary.ru выдает более 600 наименований русскоязычных статей, в заглавии которых содержатся соответствующие ключевые слова. Курсы, посвященные данной проблематике, включены в программы подготовки политологов в ряде российских вузов.

---

[1] *Gill G.* Symbols and Legitimacy in Soviet Politics; *Gill G.* Symbolism and Regime Change in Russia.

[2] *Gill G.* Op. sit. P. 3.

[3] *Gill G.* Symbolism and Regime Change in Russia. P. 7.

[4] *Smyth R., Sobolev A., Soboleva I.* A Well-Organized PlaySymbolic Politics and the Effect of the Pro-Putin Rallies // Problems of Post-Communism. 2013. Vol. 60. No. 13. P. 37.

[5] Ibid. P. 25.

Отдел политической науки Института научной информации по общественным наукам РАН подготовил пять выпусков ежегодника «Символическая политика», в которых опубликованы статьи и обзоры по широкому спектру соответствующей тематики — от теории и методологии до исследований политики памяти, трансформации праздников, политики идентичности, языковой политики, политических мифов, семантики специфических символов, легитимации власти и социального конструирования пространства и др.[1] Не будет преувеличением сказать, что в русскоязычном сегменте политической науки исследования символической политики постепенно оформляются в особое направление, сфокусированное на изучении различных «идеационных» составляющих политических процессов в России и в мире.

*О.Ю. Малинова*

**Литература**

1. *Малинова О.Ю.* Конституционный процесс как символическая политика: 1993–2020 // Полис. Политические исследования. 2021. № 3. С. 17–37.
2. *Поцелуев С.П.* «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая политика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М., 2012. С. 17–53.
3. *Пушкарева Г.В.* Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // Полис. Политические исследования. 2015. № 1. С. 55–70.
4. *Edelman M.* The Symbolic Uses of Politics. 5th ed. Urbana: University of Illinois Press, 1972 [1964].
5. *Kertzer D.I.*Ritual, politics, and power.New Haven, etc.: Yale University Press, 1988.
6. *Gill G.* Symbolism and Regime Change in Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 246 p.

# Современный популизм

Понятие «популизм»[2] в последнее десятилетие стало едва ли не самым употребительным в политическом словаре, возвестив новую эпоху в трактовке политики, демократии, лидерства. Популизмом, появившимся еще во времена афинского полиса, сегодня называют и определенный политический стиль, и радикальную критику парламентской политики, и альтернативу представительной демократии. Спектр оценок этого сложного явления достаточно широк: одни авторы видят в нем справедливую критику правящих элит, оторвавшихся от реальных жизненных условий миллионов людей[3], другие высказывают опасения относи-

[1] Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012; Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. М.: ИНИОН РАН, 2014; Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 3: Политические функции мифов. М.: ИНИОН РАН, 2015; Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 4: Социальное конструирование пространства. М.: ИНИОН РАН, 2016; Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 5: Политика идентичности. М.: ИНИОН РАН, 2017.

[2] Популизм — от лат. popolus — народный.

[3] *Мудде К.* Популистские праворадикальные партии в современной Европе // Берегиня 777 Сова. 2014. № 4 (23); *Вайнштейн Г.* Современный популизм как объект политологического анализа // Полис. 2017. № 4.

тельно угрозы институциональным основаниям демократии со стороны популистских лидеров, стремящихся разрушить ее каноны[1]. Предпринимаются попытки объединить компаративистику и социальную теорию в объяснение феномена возрождения популизма в Западной Европе в конце XX — начале XXI в., уделить бо́льшее внимание малоизученной связи между его дискурсом и структурой[2]. Оправданным выглядит и пристальное внимание к массовым движениям 1930-х годов во главе с лидерами-популистами, приведшим к формированию тоталитарных политических режимов в Европе. Ситуация, сложившаяся в мире в первые десятилетия XXI в., характеризуемая как «эпоха постправды», «постдемократии»[3], ставит в исследовательскую повестку дня проблему авторитарного популизма[4]. Впрочем, ряд ученых менее пессимистичен в оценке современного популизма, относясь к нему как к неизбежной «тени» демократического режима, а присущую ему риторику представляет в виде разновидности коммуникационного акта[5], указывающего на новые благоприятные возможности для продвижения определенных лидеров в эпоху глобальной турбулентности.

Как показывает мировой опыт, предпосылкой возникновения и распространения популистских практик, как правило, становился экономический кризис, порождавший условия для социальной поляризации, резкого раскола общества на богатых и бедных, что способствовало формированию острого политического противоборства. Особенно опасным для общественного плюрализма становилось разорение среднего класса, который, согласно Аристотелю, является гарантом общественной стабильности и умеренности нравов. Указанными обстоятельствами спешили воспользоваться умелые демагоги, спекулировавшие на социально-экономических трудностях и активно использовавшие их с выгодой для себя. Главной их целью было подавление несогласных, лишение их политического влияния, с тем чтобы монопольно определять характер принимаемых решений.

Главным принципом популистского стиля в политике были апелляции к большинству, от имени которого проводились всевозможные инициативы и решения. В подаче демагогов мнение большинства трактовалось как определяющее, незыблемое и непосредственно трансформировалось в законодательные акты. Различные формы опосредования принимаемых решений (переговоры или компромиссы) в расчет не принимались. Поляризация полиса на большин-

---

[1] *Vittori D.* Is Populism Changing the Political Representation of Western Democracies? // Political Sciences & Public Affairs. 2015. Vol. 3. No. 1. DOI: https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000140; *Mounk Y.* Pitchfork Politics: The Populist Threat to Liberal Democracy // Foreign Affairs. 2014. No. 5; *Глухова А.В.* Популизм как политический феномен: вызов демократии // Полис. Политические исследования. 2017. № 4; *Grant B., Moore T., Linch T.* The Rise of Right wing Populism. Pauline Hansons One Nation and Australien Politics. Springer, 2019.

[2] *Pappas T.S.* Modern Populism: Research Advances, Conceptual and Methodological Pitfall, and the Minimum Definition. Oxford Research Encyclopedias, 2016. URL: http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-17?rskey=A5 5nhK&result=53aedias (accessed: 19.02.2020); *Lochocki T.* The Rise of Populism in Western Europe. A Media Analysis of Failed Messaging. Springer, 2018.

[3] *Крауч К.* Постдемократия. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010.

[4] *Schäfer Armin, und Michael Zürn.* Die demokratische Regression. Die politischen Ursachen des autoritären Populismus. Berlin: Suhrkamp, 2021.

[5] *Pauwels T.* Measuring Populism: A Quantitative Text Analysis of Party Literature in Belgium // Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 2011. Vol. 21. No. 1. P. 97–119; *Macaulay M.* Populist Discourse. International perspectives. Palgrave macmillan, 2019.

ство и меньшинство помогала опасной и порочной стратегии игнорирования институтов и процедур как атрибутов цивилизованной политики. Иными словами, демократическая процедура принятия решений согласно воле большинства подменялась правлением большинства, которое политически формировалось усилиями демагогов[1].

Особое место в этой схеме принадлежало политику, олицетворявшему некую альтернативу сложившемуся статус-кво, не устраивавшего большинство населения. Благодаря ораторским способностям и полемическому языку, органичному для столкновений мнений и позиций участников дискуссии, демагог получал шанс завербовать на свою сторону требуемое большинство и опрокинуть структуру демократического правления. История сохранила имена таких демагогов под собирательным обозначением тиранов[2]. Тиран, разрушавший демократические правила и процедуры, выступавшие препятствием к его грубой и неограниченной власти, происходил отнюдь не из олигархов или правящего меньшинства как такового. Он представлял определенную часть правящего класса, стремившуюся воспользоваться раздражавшей население тяжелой экономической ситуацией в целях укрепления собственной власти, подрывая институциональные основания демократии. Фактически это был внутриэлитный конфликт, в котором позиции умеренной части правящего класса, склонного к компромиссам в целях поддержания межклассового равновесия, приносились в жертву радикалам с правого или левого фланга, умело спекулировавшим на социальных бедствиях при помощи демагогической риторики. Они символизировали собою разрыв внутри правящего меньшинства и, добившись поддержки народа, инициировали принятие законов в свою пользу.

Иначе говоря, популизм — это движение части правящего класса, опирающееся на искусную демагогию, с целью обеспечения поддержки народного большинства. Апелляция к большинству становится главным козырем и мандатом в руках популистов, хотя защита интересов этого большинства в случае их победы была отнюдь не гарантированной. Основной целью популистов была мобилизация сторонников, трактуемая как воля «истинного» народа, соединенная с волей государства[3], а наиболее узнаваемой чертой популизма стала «враждебность к либерализму и принципам конституционной демократии, в том числе к правам меньшинств, разделению властей и многопартийной системе»[4]. При этом ожесточенной критике популистов подвергалась политика компромиссов, торга и всевозможных сделок, любые согласования интересов и позиций, олицетворяющих парламентскую демократию.

Одним из первых политико-психологический профиль современного популизма обрисовал Р. Дарендорф, назвав его «одним из самых впечатляющих феноменов политического ландшафта к началу XXI века» и сравнив со своеобразным вирусом, поразившим в том числе и зрелые, классические демократии[5]. Автор поставил задачу: выявления глубинных оснований возрождения популизма в со-

---

[1] *Урбинати Н.* Искаженная демократия. Мнение, истина и народ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.

[2] *Лорд Актон*. Очерки становления свободы. 2-е изд., доп. М.; Челябинск: Социум, 2016. С. 47.

[3] *Глухова А.В.* Указ. соч.

[4] *УрбинатиН.* Указ. соч. С. 248.

[5] *Dahrendorf R.* Der Wiederbeginn der Geschichte. Vom Fall der Mauerzum Krieg imIrak. Reden und Aufsätze. München: C.H. Beck Verlag, 2004.

временном мире; анализа факторов, способствующих росту его привлекательности для различных слоев населения; изучения степени совместимости популистской демагогии с имманентной для демократии критикой и дискуссией; определения дальнейших перспектив роста или спада популистской волны в сочетании с теми деформациями демократии, которые она может вызвать. Воспринимая популизм как угрозу демократии, Р. Дарендорф обозначил ряд уточняющих характеристик этого явления, скромно назвав их «осторожными замечаниями».

Прежде всего, ученый оспаривает трактовку популизма как выражения «народной воли». По его мнению, это большой демагогический прием, располагающий богатым регистром методов: от предвыборных дебатов до демагогии, от дискуссии до политического соблазна. Политик, организующий собрания и обсуждающий на них с избирателями свое видение проблемы, также применяет элементы популизма, но это не равноценно ситуации, в которой политик при помощи всевозможных приемов риторики подстрекает большие массы людей к бунту, погромам и т.д. «Упрек в популизме может сам по себе быть популистским, демагогической заменой аргументов», — подчеркивал Р. Дарендорф[1]. Солидаризируясь с ним, Ф. Фукуяма отмечает, что «популизм — это ярлык, который элиты навешивают на политику, поддерживаемую простыми гражданами, но неприятную истеблишменту»[2]. При этом от ошибок не застрахованы ни демократические избиратели, ни правящие элиты, пренебрегающие мнением народа.

По мнению Я.-В. Мюллера, истинный популизм можно опознать по ряду признаков, в числе которых главным является уверенность его представителей в том, что только они олицетворяют подлинный, настоящий, гомогенно мыслимый народ, что крайне опасно для демократии. «Популисты всегда антиплюралистичны, тогда как демократия может существовать только в плюралистической форме. Решающий вопрос нашего времени заключается в том, смогут ли популисты развиться в направлении признания плюрализма, или же они будут и дальше пытаться дискредитировать политические институты, которые не выражают постулируемую ими “народную волю”; смогут ли этаблированные партии воспринять легитимные пожелания избирателей популистских партий, не превратившись сами в популистов»[3]. Иными словами, решающей является не антиэлитарная, а антиплюралистическая позиция популистов, ибо они претендуют на выражение народной воли, которую сами же и формируют.

Размышляя над причинами «популистской волны» в Европе во втором десятилетии XXI в., Э. Гидденс обращает внимание на сходство европейского популизма с проявлениями последнего в других частях света. Большинство популистских партий концентрируют свою деятельность вокруг темы борьбы с истеблишментом и элитами, отказывают традиционным политическим институтам в стремлении отражать надежды и чаяния простых граждан. Прибегая к языку демократии и оказывая определенное влияние на политическое развитие своих стран, популисты в большинстве своем стремятся изменить или отменить либеральные ценности

---

[1] *Dahrendorf R.* Op. cit.

[2] *Фукуяма Ф.* Политический закат или обновление Америки? Значение выборов 2016 года //Россия в глобальной политике. 2016. № 5. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Politicheskii-zakat-ili-obnovlenie-Ameriki-18342 (дата обращения: 28.07.2020).

[3] *Müller J.-W.* Populismus. Symptom einer Krise der politischen Repräsentation? — Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 40 — 42/2016).URL: http://www.bpb.de/apuz/234701/populismus-symptom-einer-krise-der-politischen-repraesentation?p=all (accessed: 08.07.2020).

в интересах более значимого блага (как они его понимают). «При этом лишь немногие политические партии имеют программы, охватывающие весь спектр политических вопросов, — подчеркивает Э. Гидденс. — Вместо этого они концентрируют усилия на нескольких ключевых аспектах, вызывающих наибольшие проявления антагонизма и недовольства»[1].

Популизм существует в двух разновидностях — правой и левой. При этом чаще объектом внимания исследователей становится правый популизм. Это объясняется тем, что излюбленные темы популистов принадлежат к классическому правому дискурсу: закон, порядок, беженцы, безопасность. Поскольку левые политические силы не дали своих толкований этим понятиям, они выглядят (и представляются популистами) как сторонники беспорядка и беззакония. Кроме того, проблема миграции в начале XXI в. своевременно не стала темой политического дискурса, не дала ответ на многие важные вопросы, включая ее причины, издержки для принимающих обществ и т.д. Миграционный наплыв в Европу в 2015 г. застиг эстаблированные партии врасплох, отдав инициативу в дискурсе правым популистам[2]. Однако если правые популисты сделали акцент на политике принадлежности, евроскептицизме и антииммигрантских настроениях, то левые партии остались верны социально-экономической тематике, проблемам доходов, занятости, безработицы. Вместе с тем социал-демократы не смогли поставить эту тематику в повестку дня политических дебатов, что и объясняет их политическое поражение в 2000-е годы.

Так или иначе, но тщательно акцентируемый антагонизм «народа» и элиты выступает в качестве общего ядра обеих разновидностей популизма. Популистские партии разжигают глубокое недоверие к политическим деятелям, поощряют разочарование в политике и формируют враждебное имиджевое мышление. В преувеличенном и искаженном представлении о народном суверенитете популистские силы выступают против сложных процедур принятия политических решений в парламентских демократиях[3].

Еще одной особенностью популизма является то, что он предельно прост, тогда как демократия сложна, что, собственно, и является главным отличительным знаком этих двух апелляций к воле народа. Популизм базируется на сознательной попытке упрощения проблем, и в этом его обаяние и рецепт успеха («беженцев прогоним, преступников посадим» и т.д.). Но когда популисты получают доступ к рычагам власти, они оказываются беспомощными перед комплексным характером демократического общежития[4].

Характерно, что популистские группы являются протестными группами, не нацеленными на систематическую коалиционную работу. Их интересуют не реформы, а власть сама по себе; они желают править единолично. Так, С. Берлускони, бывший премьер-министр Италии,часто менял законодательство «под себя»,

---

[1] *Гидденс Э.* Неспокойный и могущественный континент: что ждет Европу в будущем? / Пер. с англ. А. Матвеенко, М. Бендет. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2015.

[2] *Глухова А.В.* Миграционный фактор в политических процессах современной Европы (конфликтный потенциал и новые стратегии общественной интеграции) // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2018. Т. 14. № 4.

[3] *Isabelle-Christine Panreck*, Der Druck von Rechtsnimmtzu.Verdrehte Wahrheiten, angezweifelte Wahlen. Der Druck von Rechtsnimmtzu // Frankfurter Hefte/24.10.2022/Ausgabe 11/2022/.

[4] *Merkel W.* Trump, die Rechtspopulisten und die Demokratie // URL: https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/trump-die-rechtspopulisten-und-die-demokratie-2305/.

создавая возможность издания — в экстремальных условиях — чрезвычайных законов. Поэтому сама способность популистов к управлению трактуется учеными с большим сомнением и расценивается как определенная опасность для существующего порядка[1].

По мнению Ф.Фукуямы, общей тенденцией международной политики последнего времени было наступление так называемого «популистского национализма». Лидеры-популисты стремятся использовать легитимность, полученную через демократические выборы, для консолидации власти. «Они утверждают, что имеют прямую харизматическую связь с “народом”, который часто определяется в узких этнических терминах, исключающих значительную часть населения. Они не любят институты и стремятся подорвать систему сдержек и противовесов, ограничивающую личную власть лидера в современной либеральной демократии: суды, систему законодательной власти, независимые СМИ и “аполитичный”, внепартийный чиновничий аппарат»[2]. Современными лидерами такого типа Ф. Фукуяма считает Д. Трампа в США, В. Путина в России, Р. Тайипа Эрдогана в Турции, В. Орбана в Венгрии, Я. Качиньского в Польше, Ж. Болсонару в Бразилии и т.д.

Отмеченные особенности популизма и стиль деятельности популистских лидеров (исключающий склонность к поиску взаимовыгодных решений) не оставляют сомнений в их неподготовленности к ответственному выполнению функций государственного управления, нежелании и неумении заниматься каждодневной кропотливой работой (подпитываемых еще и несомненной самоуверенностью и самовлюбленностью).

К числу предпосылок, благоприятствующих появлению популистских стратегий в деятельности амбициозных политиков, относятся ухудшение экономической ситуации, упадок благосостояния большинства населения, социальное расслоение и имущественная поляризация, подрывающие стабильность общества и создающие риски для конституционной демократии, нуждающейся в общественном плюрализме и не принимающей коллективность народа как гомогенного целого[3]. Показательным в данном отношении стал финансовый кризис 2008–2009 гг., особенно сильно ударивший по широким слоям населения в странах Южной Европы (Испании, Греции, Италии). Именно здесь происходил самый выразительный взлет левопопулистских политических движений — *Podemos, Indignados* и др., а греческая *Siriza* стала (хоть и ненадолго) правящей партией страны. Даже в экономически развитой Германии электоральные успехи новых право- и левопопулистских партий («Альтернатива для Германии» и «Левые») в значительной степени были связаны с недовольством населения, вызванным непопулярными решениями правительства и развитием общих неблагоприятных социально-экономических процессов.

Другой благоприятной предпосылкой для роста популизма стала *трансформация традиционных партийных систем, изменение идеологий и организационных моделей политических партий*. Этот процесс ознаменовался сокращением чис-

---

[1] *Байме К.* Популизм и правый экстремизм в партийных системах эпохи постмодерна // Берегиня 777 Сова. 2014. № 4 (23). С. 104; *Гидденс Э.* Указ. соч. С. 55.

[2] *Фукуяма Ф.* Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2019.

[3] *Урбинати Н.* Указ. соч. С. 273.

ленности так называемых «народных» партий, ослаблением партийной идентификации и снижением электоральной активности. Параллельно с процессом профессионализации элит распространялось и негативное восприятие партийного истеблишмента. Впрочем, К. фон Байме видит в этом не только темную, но и светлую сторону, отражающую большую информированность современного избирателя, снижение конформизма и повышение независимости его политических оценок. Однако повышенная волатильность настроений и позиций и сильные колебания предпочтений избирателей можно рассматривать и как нежелательный побочный эффект произошедших изменений. Не случайно Р. Дарендорф считал глубинным основанием популизма именно ослабление старых партий как центральной причины изменений в структуре демократии. По его мнению, обновление ослабевших партий удалось в очень ограниченных масштабах (лейбористы в Великобритании и ряд левых партий в Италии). Такая же картина сложилась на правом фланге: «остается множество пустот, куда могут без больших усилий вторгнуться эксцентричные фигуры», способные завоевать до 20 и более процентов голосов избирателей[1]. В начале 2000-х годов такие партии имели лишь частичный успех, и ни одна популистская группа в западноевропейских демократиях не смогла утвердиться надолго (за исключением, возможно, «Вперед, Италия!» во главе с С. Берлускони[2]). Вместе с тем такие партии тестировали политический ландшафт на пути перехода к новым, еще незнакомым структурам. Сегодня такие структуры появились во многих странах Европы, а в Венгрии и в Польше они уже на протяжении ряда лет находятся у власти[3].

По сути, все восточноевропейские популисты используют язык «истинных защитников» нации от внутренних и внешних врагов. Как пишет Я.-В. Мюллер, «популисты заявляют, что они и только они являются представителями народа», причем такое притязание «неизменно имеет этическую природу». Ни «Фидес», ни *PiS* не претендуют на представительство всех венгров или всех поляков: они настаивают на том, что представляют только «истинных» венгров и «истинных» по-

---

[1] *Dahrendorf R.* Der Wiederbeginn der Geschichte. Vom Fall der Mauerzum Krieg imIrak. Reden und Aufsätze. München: C.H.Beck Verlag, 2004. S. 314.

[2] Предрасположенность итальянского общества к популизму подтверждают и последние выборы в парламент 2022 г., на которых победу одержала коалиция из правоконсервативных популистских партий.

[3] *Вайнштейн Г.* Указ. соч. В частности, избирательные кампании венгерских и польских правоконсервативных популистов строились на разрушении либеральной системы сдержек и противовесов, нападках на меньшинства и на диффамации политической оппозиции. Устами премьер-министра Венгрии В. Орбана была провозглашена доктрина «нелиберальной демократии», призванная обеспечивать конкурентоспособность страны с опорой на волю «сверхквалифицированного большинства», сформированную посредством политического и информационного воздействия. А для такого воздействия имелся мощный ресурс, поскольку правительство полностью контролирует медиарынок страны через государственный фонд *MTVA* (4 ведущих телеканала, 7 радиостанций, информационное агентство *MTI*). Наличие конституционного большинства в две трети мандатов позволило правящей партии «Фидес» внести существенные поправки в Конституцию. В частности, было изменено название страны (просто Венгрия, без республики); наделены избирательным правом этнические венгры, проживающие в соседних странах; ограничены полномочия Конституционного суда; принят закон о лояльности СМИ к властям. В планах Орбана — расширение участия церкви в общественной жизни, патриотическое воспитание, внедрение консервативных семейных ценностей и т.д. На парламентских выборах 2022 г. партия В. Орбана вновь одержала победу (*Чурсин А.* Триумф «Виктатора» Орбана. Одиозный правый политик в третий раз возглавит правительство Венгрии // Новая газета. 2018. 9 апреля (выполняет функции иноагента).

ляков. В их руках демократия из инструмента объединения общества превратилась в инструмент его разобщения[1].

Короче говоря, популистский подъем в ряде стран стал прямым следствием *ослабления парламентов*. Представительная демократия является средством, благодаря которому господствующий климат мнений превращается в конкретные и реалистичные решения. Функции парламента (дебаты по различным темам; конвертация дебатов в принимаемые решения; гарантии долговременных решений и т.д.) полностью антипопулистские, поэтому этот институт стоит всецело на стороне демократии. Однако внутри парламентов тоже возникают популистские соблазны: исполнительная власть пытается обойти парламентский контроль, хотя призывы к «народу» как к публике или к потребителям обесценивают гражданский дух нации.

Относительная деградация парламентов в послевоенный период отчасти базируется на сознательных политических решениях. Архитекторы послевоенного политического устройства в Западной Европе скептически противостояли идее народного суверенитета, поскольку именно «восстание масс» (Х. Отрега-и-Гассет) проложило дорогу к тоталитаризму[2]. Скепсис распространился и на народное представительство: поскольку некоторые представительские структуры сотрудничали с нацистами, это упрочило стремление как можно сильнее ограничить возможности законодательной власти. Одновременно были усилены институты, чьи члены никогда не избирались народом, — центральные банки или конституционные суды. Почти повсеместно в Европе исполнительная и судебная ветви власти усилились, а законодательная власть ослабила свое влияние. В этом смысле послевоенный порядок в Европе является не только антитоталитарным, но и в широком смысле «антипопулистским»: граждан держали на определенной дистанции, а возможности включиться в политические решения ограничивались судами и институциями, подобными центральному банку. «Мы и сегодня живем все еще с этим, в основе своей отмеченным недоверием послевоенным порядкам», — считает Я.-В. Мюллер[3]. Однако с годами этот порядок стал более гибким, о чем свидетельствуют успехи в деле представительства разных интересов (например, «зеленых» в ФРГ).

Особую роль в развертывании популистской волны сыграли *новые информационно-коммуникационные технологии*. В условиях цифровой эпохи, когда роль и влияние массмедиа на умы и сердца людей многократно возросли, популисты получили в свои руки дополнительные и могущественные ресурсы[4]. Возможности манипулировать фактами и мнениями, создавать имиджи и фикции в публичной и государственной политике сегодня увеличились многократно. Возник доселе неизвестный феномен «современной политической лжи», которая, по словам

---

[1] *Müller J.-W.* Op. sit.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Достаточно назвать огромную медийную империю С. Берлускони (около половины национальных телестанций и издательств), применявшую пропаганду для формирования единомыслия, являющегося скорее их собственным, нежели народным творением. Сепаратистское движение «Лига Севера» и цезаристская политика С. Берлускони стали новыми версиями популизма в современной Италии. Их главная риторическая стратегия заключается в изображении этих движений в качестве «подлинной» альтернативы существующим политическим партиям, правящим элитам и одновременно парламентской демократии.

Х. Арендт, успешно работает даже с тем, что вообще не представляет тайны и известно практически каждому. В таких условиях те, кто настаивает на обсуждении фактов и событий, не укладывающихся в этот обман, воспринимаются как более опасная сила, чем действительные враги. Х. Арендт прозорливо предсказывала, что в отдаленной перспективе промывка мозгов способна привести к уничтожению чувства, посредством которого люди ориентируются в современном мире[1]. Не случайно феномен постправды (постфактичности), наиболее ярко олицетворяемый заявлениями и комментариями бывшего американского президента Д. Трампа, привлек к себе столь широкое внимание общественности. И не случайно его появление совпало с «популистской волной» середины второго десятилетия XXI в.[2], показавшей, что самообман политиков, игнорирующих факты и принимающих решения для сохранения собственной власти, губителен для общества, которому приходится за это платить экономическим отставанием, социальной деградацией и моральным террором.

Оставаясь неизбежной тенью демократического правления, популизм постоянно ищет свободные политические лакуны, связанные, к примеру, с неприязнью к либеральным элитам (отождествляемым в сознании большей части населения с тяготами и невзгодами системной трансформации 1990-х годов), со слабостью левой альтернативы национально-консервативным правительствам (отказавшейся от классовой оптики общественных отношений и требований справедливого распределения общественных благ). Однако и правоконсервативные партии истеблишмента оказались не готовы к принятию популистского вызова: их просчеты использовала «Альтернатива для Германии» в ФРГ и Партия независимости Великобритании (которая сыграла ведущую роль в выходе страны из Евросоюза)[3].

Авторитарная мобилизация сегодня захватывает не только социально ущемленные, но и привилегированные группы, экономически выигравшие от неолиберальных реформ последних десятилетий, но не принявших их культурную программу[4]. Тем самым правящие популистские партии в Венгрии или Польше имеют все основания утверждать, что они не привязаны электорально к какому-то одному классу или группе избирателей, а добиваются соединения разных интересов в рамках политического большинства[5]. В зрелых западных демократиях, где правопопулистские партии заметно укрепились, они опираются на существенный авторитарный потенциал, фиксируемый в этих странах еще с 1980-х годов. Не случайно они повсюду достигают поддержки от 15 до 25% избирателей, претендуя на формирование правительственного портфеля.

---

[1] *Арендт Х.* Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.

[2] *Marschall S.* Lügen und Politik im postfaktischen Zeitalter // Aus Politik und Zeitgeschichte. 24.03.2017 (APuZ 40 — 13/2017; *Hendricks V., Vestergaard M.* Verlorene Wirklichkeit? An der Schwelle zur postfaktischen Demokratie // Aus Politik und Zeitgeschichte. 24.03.2017 (APuZ 40 — 13/2017);*Weingart P.* «Wahres Wissen» und demokratisch verfasste Gesellschaft // Aus Politik und Zeitgeschichte. 24.03.2017 (APuZ 40 — 13/2017).

[3] Т. Локоцки в своей книге «Возрождение популизма в Западной Европе» винит в подъеме радикальных популистов не столько левых, т.е. социал-демократов, сколько правых консерваторов («Как Дэвид Кэмерон сохранил Партию независимости и запустил Брексит»; «Как лавирование ХДС и ХСС кормят Альтернативу для Германии»).

[4] *Gdula M.* Nowy autorytarizm. Warszawa:Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. — 112 s.

[5] Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv? / Hrsg. von F. Decker. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

Вместе с тем их способность к управлению отнюдь не очевидна. Как справедливо замечает Э. Гидденс, многими популистами-евроскептиками зачастую движет единственно то, *против* чего они выступают[1]. Однако теперь, когда им необходимо предъявлять то, *за что* они выступают, т.е. позитивную программу действий, включая практические шаги по ее реализации, возникают проблемы[2].

Исследования ученых показывают, какие новые конфликтные линии формируются в современных западных обществах и какие проблемы возникают перед теми, кому предстоит принимать управленческие решения. В частности, об этом свидетельствует масштабный проект «Политическая социология о космополитизме и коммунитаризме», выполненный в научном Центре социальных исследований в Берлине. Авторы определяют основной современный раскол как противостояние между «коммунитаристами» и «космополитами». Популизм рассматривается ими как «грязный вариант» коммунитаризма. На основе проведенного в Германии, Польше, Турции, Мексике и США масштабного социологического исследования была предпринята попытка найти ответ на вопрос о новых размежеваниях, разделяющих современные общества, — социальных, культурных, политических и т.д. Выяснилось, что новые конфликтные линии, оставаясь отчетливо определенными в социально-экономическом плане, имеют существенно иные социокультурные черты, демонстрирующие новые констелляции интересов, в свою очередь, отражающих определенные идеологические или культурные мировоззрения[3]. В этом контексте становится все яснее, что глобализация породила «победителей» и «побежденных» не только в экономическом, но и в культурном и политическом плане. Причем нынешняя интенсивность и острота этого конфликта, активно используемого популистскими партиями и движениями, показывает, что культурные индикаторы проявляют себя сильнее экономических[4].

Структурные особенности современных развитых обществ и количественные показатели, полученные немецкими учеными в ходе выполнения проекта, позволяют сделать вывод о том, что выделенная ими генеральная линия основного конфликта нашего времени релевантна для всех стран, с учетом известной специфики последних. Формулой современной партийной системы Германии стало «общество четырех четвертей», что осложняет формирование немецкой политики. Общественные расколы принуждают политиков создавать различные коалиции, которые вряд ли окажутся стабильными. Вместе с тем если три четверти населения занимают одинаковые позиции в рамках либеральной демократии, то последняя имеет все шансы справиться с возникшими проблемами. «Если поставить вопрос о том, сколько процентов людей высказывается против Европы, за национальный суверенитет, за сильное значение воли большинства и за контролируемые границы, и, наоборот, за открытые границы, за Европу, за либеральное ограничение демократии большинства и за определенную защиту

---

[1] *Гидденс Э.* Указ. соч. С. 55

[2] В изданной недавно коллективной монографии немецких ученых анализируются стратегии популистского правления в разных странах мира, и его результаты никак нельзя назвать утешительными (Muno, Wolfgang, und Christian Pfeiffer (Hrsg.) (2021). Populismusan der Macht. Strategien und Folgenpopulistischen Regierungshandelns.Wiesbaden: Springer VS.).

[3] Die neue Konfliktlinie und die Rolle des Politischen. Gespräch mit Wolfgang Merkel, Michael Zürn. 2020. URL: https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/die-neue-konfliktlinie-und-die-rolle-des-politischen-2750/ (accessed: 02.05.2020).

[4] *Глухова А.В.* Указ. соч.

прав меньшинств, то подозреваю, что пропорция будет 25% на 75%, — отмечает М. Цюрн. — Эти первые 25% и есть потенциал для правового популизма»[1]. Самой актуальной задачей становится кропотливая работа с электоратом правых популистов, отказ от высокомерия и нарциссизма, нередко демонстрируемого космополитическими элитами. Это позволило бы перетянуть на свою сторону избирателей, поддержавших правопопулистские партии из чувства протеста. Однако для многих западных политиков и интеллектуалов очевидна невозможность кооперации и создания коалиций с этими партиями, что сделало бы их жизнеспособными в среднесрочной перспективе.

Дополнительную напряженность в уже оформившийся раскол вносит его моральное измерение: космополиты претендуют на то, что являются нормативной элитой, задающей образцы «правильной» жизни в пример тем, кто живет «неправильно». Однако дело не в моральных инвективах, а в столкновении культур, представители одной из которых — в силу моральной дискриминации — чувствуют себя презираемыми[2]. Как показало движение «желтых жилетов» во Франции, социально игнорируемые слои общества больше не готовы добровольно играть роль покорных управляемых. «Люди из социальных низов изобретают новый образ политики, направленной против институциональной политики и политического истеблишмента»[3]. Равнодушие к этому вызову системных партий может подтолкнуть новых «отверженных» в ряды право- или левопопулистских движений.

Ответ на этот вызов европейские интеллектуалы предлагают на путях проверенных историческим опытом принципов и процедур, настаивая на большей соревновательности и транспарентности в политике, в том числе в международных, европейских и немажоритарных институциях. Наряду с символическим и материальным признанием должны последовать и политические реформы: создание доступов к реальному политическому участию, более четкие политические разграничения, более точное определение партиями своей социальной базы, идейной платформы. В последние десятилетия процесс демократизации развивался в либеральном духе с сильным акцентом на защите прав меньшинств в ущерб большинству, но эта нормативно безупречная стратегия оказалась серьезной ошибкой.

Этаблированным партиям необходимо вспомнить о том, что они имеют левое или правое корневое ядро, и сильнее маркировать эту дифференциацию. Социал-демократы должны далее двигаться влево в экономическом плане, но в космополитических вопросах не пытаться переиграть «зеленых». На стороне коммунитаристов — отчасти низкоквалифицированные люди, прекариат, для кого общественное, материальное и символическое признание их рабочих позиций очень значимо. Здесь также область деятельности для социал-демократических партий, призванных более активно работать с этими слоями, хотя вернуть их поддержку сегодня сложнее, чем 30 лет назад.

---

[1] Die neue Konfliktlinie und die Rolle des Politischen. Gespräch mit Wolfgang Merkel, Michael Zürn, 2020. URL: https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/die-neue-konfliktlinie-und-die-rolle-des-politischen-2750/ (accessed: 02.05.2020) (выполняет функции иноагента).

[2] *Глухова А.В.* Политические конфликты в глобальную эпоху (к проблеме теоретической идентификации) // Политическая наука. 2020. № 3.

[3] *Клеман К.* «Желтые жилеты», «ватники»: солидарность, политическое воображение и социальная критика // Новая газета. 2019. 29 ноября. № 134. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/29/82929-etot-mir-perevernut-s-nog-na-golovu-i-my-hoteli-by-vernut-ego-obratno (дата обращения: 20.04.2020). *По требованию Роскомнадзора суд аннулировал лицензию печатного СМИ «Новая газета».*

Одним словом, в политике вновь возникает острая необходимость в компромиссах, особенно между договороспособными космополитами и неидентифицированными коммунитаристами. Крайне необходимо публичное обсуждение политических вопросов на национальном и европейском уровнях, находя для таких дискуссий новые формы и аргументы. Такие формы политического дискурса помогут преодолеть разнообразные формы популизма, вырастающие из сконструированной идентичности, реакции на кризис современной модели глобализации, на технологизацию, охватившую не только политическую, но и всю сферу публичных отношений[1], на миграционные процессы и на усиливающийся морально-этический раскол между «победителями» и «побежденными». Пренебрежительное отношение правящих элит к этим вопросам, вызывающее отчуждение «социально исключенных» групп, будет являться причиной серьезных электоральных потерь партий истеблишмента, уступивших популистам голоса своих бывших приверженцев.

*А.В. Глухова*

**Литература**


1. *Байме К.* Популизм и правый экстремизм в партийных системах эпохи постмодерна //Берегиня 777 Сова. 2014. № 4 (23). С. 101–109.
2. *Вайнштейн Г.* Современный популизм как объект политологического анализа // Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С.72–74.
3. *Глухова А.В.* Популизм как политический феномен: вызов демократии // Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С.49–68.
4. *Глухова А.В.* Миграционный фактор в политических процессах современной Европы (конфликтный потенциал и новые стратегии общественной интеграции) // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2018. Т. 14. № 4. С. 444–464.
5. *Глухова А.В.* Политические конфликты в глобальную эпоху (к проблеме теоретической идентификации) // Политическая наука. 2020. № 3. С. 13–34.
6. *Клеман К.* «Желтые жилеты», «ватники»: солидарность, политическое воображение и социальная критика // Новая газета. 2019. 29 ноября. № 134.URL: https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/29/82929-etot-mir-perevernut-s-nog-na-golovu-i-my-hoteli-by-vernut-ego-obratno (дата обращения: 20.04.2020) (выполняет функции иноагента).
7. *Крауч К.* Постдемократия. М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. — 192 с.
8. *Урбинати Н.* Искаженная демократия. Мнение, истина и народ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. — 267с.
9. Muno, Wolfgang, und Christian Pfeiffer (Hrsg.). Populismusan der Macht. Strategien und FolgenpopulistischenRegierungshandelns.Wiesbaden: Springer, 2021, VS. — 347 s.
10. *Müller J.-W.* Populismus. Symptom einer Krise der politischen Repräsentation? — Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 40 — 42/2016).S.25.URL: http://www.bpb.de/apuz/234701/populismus-symptom-einer-krise-der-politischen-repraesentation?p=all.
11. Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv? / Hrsg. von F. Decker. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. — 252 s.


[1] *Norris P.* Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market. N.Y.: Cambridge University Press, 2005 (accessed: 20.06.2020); *Sawer M., Laycock D.* Down with Elites and Up with Inequality: Market Populism in Australia and Canada // Commonwealth & Comparative Politics. 2009. Vol. 47. No. 2. P. 133–150.

# Социальные арены публичной политики*

Концепт «публичной политики»[1], несмотря на широкое освещение в научной литературе, и сегодня сохраняет весьма обширные возможности для своей концептуальной интерпретации. Говоря точнее, данная эпистема, затрагивая принципиальные аспекты взаимоотношений государства и общества как особых политических партнеров, содержит основания для различных вариантов не только теоретического объяснения, но и парадигмальной трактовки. По сути, речь идет об определенном понимании той формы этих связей, которая располагается где-то в диапазоне от огосударствления общества до обобществления государства.[2]

В науке предлагаются разные трактовки таких коммуникаций, делающие акценты на преимущественной роли либо правительства, либо общества (в котором обыденные практики граждан, по мысли Ю. Хабермаса, провоцируют возникновение ненасильственного диалога, нацеленного на рациональный компромисс между участниками), либо многочисленных медиаторов (что весьма характерно для современных российских исследователей) и даже на принципиальной роли знаний, оборот которых обусловливает формирование и поддержание взаимно открытых для сторон политических отношений. В целом эти исследовательские подходы, развивавшиеся на принципах республиканизма, либерализма, коммуникативизма и конструктивизма (сохраняя при этом явные отголоски партиципаторной теории), демонстрировали существенное значение рационального правления, необходимость совместных форм работы правительства с гражданскими структурами на основе переговоров и механизмов онлайн-делиберации, учета общественной повестки, оптимального сочетания частных и общих интересов. Впрочем, как можно заметить, такие теоретические версии находят свое подтверждение в разнообразных (в том числе институализированных) практиках и опыте по преимуществу демократических государств. В этом контексте основной фокус исследований предполагает описание различных форм *governance* (*good government, governance of public policy* и др.), т.е. того типа правления, которое последовательно стирает традиционные границы между государством и обществом.

Обратим, однако, внимание на то, что, *во-первых*, любые предикаты в отношении термина «политика» могут приглушить, но никак не способны выхолостить его субстанциональные параметры, отражающие конкурентную активность групповых акторов по поводу завоевания властных диспозиций (располагающихся как вовне, так и внутри государственного аппарата). В свою очередь — и это *во-вторых* — в данном измерении публичность будет отражать не только коллизию общественного и партикулярного, но и конфликт открытых (явных, демонстративных, декларируемых) и латентных (скрытых, непубличных) форм и механизмов поддержания отношений политических акторов. При этом масштаб и удельный вес этих взаимно оппонирующих характеристик зависят от целого ряда факторов, обусловленных влияющими на эти коммуникации конкретно-историческими условиями и обстоятельствами.

---

* Текст подготовлен на основе статьи «Фронтирные зоны публичной политики», опубликованной в журнале «Политическая наука», 2022, № 3.

[1] См. статью А. Ю. Сунгурова «Публичная политика» в этом издании (с. 214–224).

Однако нужно иметь в виду, что правление, государственное управление, политико-административные коммуникации гражданских и правительственных структур не могут рассматриваться в отрыве от характера установленной — но всегда оспариваемой — власти и властных отношений. В этом смысле государственное управление является всего лишь функцией применения власти. Функцией, неизбежно опирающейся на доминирующие позиции определенных социальных (этнических, религиозных) групп, организующих официальные центры силы и обладающих правом легального использования (физических, правовых, административных) инструментов принудительного регулирования общественных отношений.

Таким образом, теоретическое наполнение понятия «публичная политика» принципиальными (для этой области жизни) характеристиками властного соперничества позволяет уловить *сквозную логику* в любых взаимоотношениях государства и общества как политических акторов. Логику, которая неизбежно присутствует во всех их стратегиях, использующих открытые социальные пространства для продвижения своих интересов как при организации форм правления и принятии решений, так и поддержании массового дискурса. В противном случае было бы чрезвычайно самонадеянно (даже в демократических системах) рассматривать активность партий, НКО или иных гражданских сообществ по отношению к институтам власти как доверительные коммуникации, гарантирующие — даже в конечном счете — приоритет общегражданских интересов или же отражающие рационально-правовые подходы властей при принятии политических решений[1]. Однако практика неумолимо показывает, что идеи, утверждающие едва ли не неизбежную активизацию «демократической общественности» и проведение государством политики «в общественных интересах и с реальным учетом общественного мнения»[2], в основном являются нормативными суждениями.

Вместе с тем мировой опыт убедительно показывает, что далеко не все государственные институты обладают собственно гражданским восприятием возникающих в обществе проблем или же рационально реагируют даже на конституционно приемлемые формы оспаривания позиций властей со стороны населения. Короче говоря, при всей своей изначально гуманистической природе и приоритете переговорных тактик[3] реальная (государственная) политика никогда не ограничивается идеалами гражданского соучастия (особенно при распределении ключевых общественных ресурсов), не позволяя даже говорить о продвижении каких-либо правительственных проектов при помощи принципов моральной философии[4].

Принципиальным значением обладает и тот факт, что многие (а подчас принципиально важные) проблемы применения власти не могут решаться исключительно в рамках открытых форм активности элитарных и неэлитарных слоев. Причем латентные, скрытые, недекларируемые формы политики государства (отсекая граждан от принятия легальных, но конфиденциальных решений и сохраняя их

---

[1] *Colebatch Hal K.* Policy. University of Minnesota Press, 1998; *Morell K.* Governance and Public Good // Public Administration. 2009. Vol. 87. No. 3.

[2] *Сунгуров А.Ю.* Публичная политика: основные направления исследования (мировой и российский опыт) // Публичная политика. 2017. № 1.

[3] *Коктыш К.Е.* Теория метафоры и политические институты. М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2019.

[4] *BenhabibS.* Towarda Deliberative Model of Democratic Legitimacy // Democracy and Difference: Contesting boundaries of the Political. Princeton, Princeton University Press, 1996. P. 70.

возможности соучастия лишь за счет открытого преодоления административных барьеров) нередко являются самыми политически значимыми. Все это не только позволяет констатировать ограниченный функционал публичной политики, но и дает возможность увидеть неизбежные ограничения, которые накладываются на различные формы политической активности государства и общества пространственными характеристиками открытых коммуникаций.

Однако пространственное измерение публичной политики, позволяя увидеть различные формы взаимного позиционирования акторов, представляющих интересы государства и общества, показывает наличие весьма разнородных связей, возникающих при решении ими различных ролевых задач. Другими словами, каждые предметно направленные связи суть предпосылки формирования политической воли этих игроков, объединяющей их реальные диспозиции по отношению к центрам власти центрам принятия решений, а также формы их фактического взаимодействия, предопределяющие разработку целей.

Именно воля способствует преодолению препятствий, готовности борющихся за власть акторов к рискам, совместным формам управления и т.д. Таким образом, публичность в своем волевом измерении отражает только ту политическую энергию акторов, которая гласно манифестирует их интересы, вынося в открытое политическое пространство те цели, которые должны сподвигнуть оппонентов (пропонентов) на ответные акции, способствовать налаживанию выгодной коммуникации, провоцированию общественного резонанса. При этом, сохраняя риски соперничества и издержки асимметричного отношения акторов к центрам власти, публичность противопоставляется скрытым формам политического воления (тайным сговорам, внутриэлитарным сделкам, закулисным договоренностям и др.).

В конечном счете все разноликие формы воления (демонстрирующие предметно направленный характер их политической активности), продвигающие различные формы *коллективного определения* проблем со стороны государства и общества (Г. Блуме), формируют особые социальные подпространства (или, в языке С. Хилгартнера и Ч. Боска, арены), в совокупности структурирующие все открытое пространство связей и отношений этих макрополитических партнеров. Говоря иначе, понимание власти как «присвоения чужой воли» одновременно позволяет в рамках «онтологизации исторического опыта» (Лефевр) определить функционал публичности, отражающий ролевые нагрузки элитарных и неэлитарных слоев, действующих на различных социальных аренах государства. В этом плане уместно вспомнить, что еще Ю. Хабермас впервые предложил различать сильные и слабые публичные сферы[1]. И хотя у него речь во многом шла об информационном пространстве, главное, что следует подчеркнуть, что немецкий философ методологически утвердил нетривиальное понимание *неоднородности* публичной политики, обусловленной ее различными проявлениями.

В итоге совокупность этих функционально образованных социальных арен (площадок, зон) и формирует всю архитектуру открытых политических отношений государства и общества, публичную политику как таковую. В то же время, поскольку содержание публичных отношений на каждой такой арене зависит от активности, ресурсной оснащенности и компетенции конкретных игроков

[1] *Habermas J.* Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy Cambridge. MAMITPress, 1996.

(представляющих интересы государства и общества), степени их политической организованности, умения отстаивать свои позиции и т.д., каждая такая социальная зона обладает волатильным (фронтирным) характером (что, собственно, и позволяет говорить о подвижности баланса сил между этими сторонами). В целом фронтирный характер публичной политики демонстрирует, что складывающийся в открытом пространстве политики эквилибриум политических сил выстраивается в результате *комбинации* усилий различных (в том числе неформальных) игроков, что не гарантирует ни сообщественные формы публичного управления, ни социальные *приоритеты* поставленных властями целей. Более того, возникающая на фоне таких коммуникаций размытость внутренних и внешних границ публичной сферы усиливается еще и за счет политической инженерии, также активно влияющей на диапазон открытых отношений государства и общества.

Короче говоря, фронтирные свойства арен символизируют размывание границ публичности, неопределенность статусной активности институтов (сохранение рисков изменения их общественного функционала) и гражданских структур, а также происходящее на различных аренах «вовлечение в публичность» (Л.В. Сморгунов) не избавляет государство ни от партикуляризации правительственных целей, ни от сокрытия подлинных замыслов властей, ни от активизации «грязной общественности». Все это заставляет искать в концепте «публичной политики» не «сообщественность», а фактическую конфигурацию участников и целей политического взаимодействия государства и общества.

Так что публичность в своем политическом измерении отражает только определенное содержание и «состояние политического поля», которое мыслится в его конкретно-исторических пространственно-временных формах[1], не исключая при этом даже превращения в сугубо символическое явление, не отражающее, а олицетворяющее некие нормативно желаемые порядки (то, что Хабермас называл «мнимой публичностью»).

Итак, с концептуальной точки зрения рассмотрение публичной политики как набора функционально специфических и сущностно взаимосвязанных социальных арен позволяет не только, как нам представляется, релевантно отобразить ее сложносоставную природу, но и критически подходить к попыткам односторонней интерпретации этого феномена (делающим акценты либо на приоритетной деятельности правительства, либо на соучастии институтов власти и населения, либо на расширении эгалитарной коммуникации). Другими словами, эпистема публичной политики как категория среднего теоретического уровня раскрывает ее неоднородный процессуальный характер, с одной стороны, сохраняя присущую политике конкурентную природу, а с другой — отражая одновременное объединение различных форматов активности государства и общества. В этом контексте даже нынешняя стадия развития информационных технологий (цифровизация) не способна поддержать ни отрицание дискриминации гражданских прав в области управления, ни высокую управляемость общества со стороны правительства и неспособность масс принимать судьбоносные решения[2], т.е. односторонность в интерпретации публичной политики.

---

[1] *Рябченко Н.А., Мирошниченко И.В.* Институализация публичной политики в online-пространстве современной России. Краснодар: Просвещение-Юг, 2012. С. 10.

[2] В частности, Г. Лассуэлл прямо говорил о своем непонимании того, как «объединение множества невежеств может составлять направляющую силу в области принятия общественно значимых решений» (*Lippmann W.* The Phantom Public. Wilder Publication, Inc. N.Y., 1993, 2021.

В содержательном отношении, по нашему мнению, было бы целесообразным говорить о наличии, как минимум, трех социальных арен, отражающих конфигурацию публичной политики. *Первостепенным* по значению пространством публичного продвижения политической воли разнообразных акторов является *арена борьбы за высшие центры власти*, за легитимное право использовать их официальные прерогативы для установления и правового закрепления общеполитических порядков. Это арена столкновения сил, с одной стороны, использующих права и возможности для публичного оспаривания (*public contenstation*) позиций правящего режима, а с другой — направленных на воспроизводство действующих порядков и противодействия оппонентам. Таким образом, различные формы публичной политики (складывающиеся в диапазоне от легальных средств политической конкуренции до неконвенциональных форм массовой активности) могут как сохранять рамки консенсуса властвующих и подвластных, так и выходить за его границы (ставя под вопрос не только основания легитимации правящего режима, но и противопоставляемого хаосу социального порядка в целом). В этом смысле основные конфликты публичной политики связаны с практиками открытого оспаривания позиций господствующих сил, которые не всегда органично встраиваются в законодательную матрицу. Учитывая разнообразие существующих здесь приемов, было бы наивно рассматривать публичность как инструмент институализации действий коллективного актора, перестраивающего систему республиканского правления в ходе «трансформации... общества, основанного на элитах, к обществу, основанному на массах граждан»[1].

Диапазон этого публичного фронтира простирается от институализированных и рутинизированных форм выражения интересов сторон до применения силовых и административных способов принудительного воздействия, устраняющих собственно политический характер коммуникаций государства и общества. В данном аспекте публичная политика противопоставляет механизмы прямого и представительного выражения коллективных интересов действиям правящих элит, стремящихся снизить риски для позиций правящего режима в результате расширения/сужения гражданских прав и других проявлений массовой активности. И хотя на объем публичных отношений здесь влияют разнообразные латентные процессы (тайные сделки, союзы, договоренности и т.д.), тем не менее публичность является основным показателем соотношения сил и олицетворения легальности власти (в этом смысле даже внутриэлитарная конкуренция, влияющая на смещение доминирующих группировок, так или иначе требует своей публичной презентации).

Диапазон этой формы публичности простирается от многоликих форм конкурентной политики до монопольных действий правящих кругов, символически изображающих политическую роль и суверенитет общественности. Сегодня одной из характерных черт реконфигурации этой зоны политических отношений является широкое использование «организованных правительством неправительственных организаций» — *GONGO* (*government-organized non-governmental organization*) и *QUANGO* (гибридных НПО, сочетающих черты государственных организаций и НПО, которым делегируются те или иные государственные функции), а также

URL: http://www.scribd.com/doc/112051658/Walter-Lippmann-the-Phantom-Public-International-Organizations-Series-1993. Lippmann 1993. P. 29).

[1] *Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Института Гайдара, 2011. С. 215.

иных аналогичных структур (*DONGO, GRINGO, PANGO*), укрепляющих позиции правящих режимов[1]. В сочетании с кластерными структурами, партиями-спойлерами, использованием технологий астротурфинга, имитирующих поддержку населением действующих режимов и распространяющих мнимые формы гражданской солидарности, такие структуры и методы последовательно вытесняют граждан из сферы политики, создавая имитационную конфигурацию публичных отношений государства и общества.

Короче говоря, в рамках данного фронтира однозначно преобладает воля правящей элиты (определяющей параметры общественного блага), которая не только предшествует организации открытого диалога с обществом, но и стремится к перехвату у граждан инициативы в выражении их социальных интересов и мнений. Именно от власти зависят характер и масштаб публичности, способной функционировать в диапазоне от «честной кооперации» и конкуренции (Дж. Роулз) до монопольных практик тех или иных политических сил (упраздняющих фактические права населения на оспаривание и претензии к власти). Поскольку же борьба с оппозицией нередко отождествляется властями с подрывом социального порядка, то по своему значению она становится сопоставимой с борьбой за сохранение территориальной целостности государства (Б. Джессоп).

Одним словом, в этой зоне не только невозможно создать устойчивые структуры для соучастия власти и населения, но и однозначно определить характер государственной политики. Возможно, в этом аспекте удобно использовать понимание негативной и позитивной (*good public policy*) публичной политики (Дж. Андерсон).

Основная слабость общества в этой зоне публичности не только как соучастника, но и как оппонента власти состоит в том, что граждане, оппонируя власти, апеллируют к абстрактным правам, принципам, публичным ценностям, в то время как власти ориентируются на реальные инструменты укрепления своих позиций, дающих им право на дополнительные ресурсы и защиту своей безопасности. Существенно и то, что через публичные механизмы граждане не способны вмешаться в борьбу элитарных кланов. Так что, хотя публичность и является самым мощным политическим орудием коллективного актора (в ряде случаев основным инструментом транзита власти), правящий режим обладает значительно более эффективным арсеналом средств управления публичной активностью населения.

По сути, политическая воля властей, которая *предшествует* установлению любых форм политического оспаривания, изначально сужает пространство публичности, стремясь придать ей безопасный для правящего режима характер (если только сами представители истеблишмента не используют массы как рычаг давления на оппонентов). В любом случае границы этого фронтира обретают все большую жесткость по отношению к формам публичной активности населения, свидетельствуя об утрате результативности даже демократических инструментов[2].

*Вторая арена* публичной политики связана с формированием той разновидности политической воли государства, которая непосредственно влияет на продвижение интересов политических акторов в зону принятия решений и распределения (перераспределения) ресурсов. Данный формат публичности представляет поли-

---

[1] *Лушников Д.А.* Организованные правительством неправительственные организации (GONGO): генезис проблематики, интерпретация и функции // Полис. Политические исследования. 2019. № 2.

[2] Как высказалась в интервью одна из участниц антиковидных демонстраций в Париже весной 2021 г., «улица осталась последним бастионом демократии».

тическую волю как появление «силы», означающей способность актора не просто «одолеть» соперника в борьбе, а «поступать по своей «воле»[1]. В этом смысле политическая воля выступает как «степень выраженной поддержки среди ключевых лиц, принимающих решения, конкретного решения определенной проблемы...»[2] как тот фактор, который — в силу неопределенности ключевых участников — отсутствует в общей модели принятия решений[3].

В рамках демократической традиции целеполагание рассматривается как неизбежное следствие суверенной роли общества, использующего представительные и иные механизмы участия в этом процессе. Однако на практике здесь доминирует механизм центрации отношений с обществом по принципу «сверху вниз», а фактическим влиянием обладают те игроки, которые минимизируют роль публичных процедур, замещая их неформальными договоренностями. Одним словом, данный формат публичности связан с взаимодействием только тех (статусных и нестатусных) акторов, которые принимают фактическое участие в разработке и осуществлении целей государственной политики, что означает, что государственная политика «не имеет явных целевых групп»[4] и представляет собой результат конструирования интересов общественных групп[5].

С одной стороны, институты, контролируемые профессиональными управляющими, имеют право использовать инструменты принудительного регулирования и императивной координации, в результате чего процесс принятия решений (особенно внешнеполитических) обретает не только «сверх централизованную», но и «непрозрачную» форму[6]. И даже гражданские эксперты и консультанты не способны получить нужные сведения, чтобы принять участие в этих процессах.

С другой стороны, основными игроками здесь становятся сетевые коалиции правящего меньшинства, использующие неформальные методы для колонизации институционального дизайна. Под их давлением содержание «общественного блага» превращается в заложника договорных целей, прикрывающих подчас даже криминальный профиль их инициаторов[7]. В этом случае институты власти стано-

---

[1] *Сергеев В.М.* Демократическое правление: деконструкция понятия // Концептуализация политики / Под ред. М.В. Ильина. МОНФ, 2001. С. 41.

[2] *Post L., Raile A., Raile E.* Defining Political Will // Politics and Policy. 2010. Vol. 38 (4). P. 659.

[3] *Woocher L.* Deconstructing «Political Will»: Explaining The Failure to Prevent Deadly Conflict and Mass Atrocities // The Journal of Public and International Affairs. 2001.

[4] *Sabatier P.A., Jenkins-Smith H.* (eds). Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. Boulder, CO: Westview Press, 1993.

[5] *Collier P.* The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done about It. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2007.

[6] *Kaczmarska K.* Akademic Community and Policymaking in Russia // Problems of Post-Communism. 2018. Vol. 9.

[7] Следует, впрочем, подчеркнуть, что в науке присутствуют и иные позиции, утверждающие, что сетевое давление (управление) поддерживает стратегию совместного участия, поощряет непрерывность коммуникации государства с обществом и формирует доверительные отношения (*Kenis P., Schneider V.* Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizinga New Analytical Toolbox // D. Martinand, R. Mayntz (eds). Policy Networks. Empirical Evidence and Theoretical Considerations. Frankfurt. M. Boulder, Co.: Campus Verlag. Westview Press, 1991; *Kickert W.J.M., Klijn E.H., Koppenjan J.F.M.* A Management Perspective on Policy Networks // Managing complex networks: Strategies for the public sector / Ed. by W.J.M. Kickert, E.H. Klijn, J.F.M. Koppenjan. L.: Sage, 1997). Однако надо иметь ввиду, что, во-первых, существуют огромные различия между функциональными возможностями сетей и последствиями и хактивности в различных политических режимах (*Ledeneva A.* Blat and guanxi: informal Practices in Russia and China′, Comparative Studies in Society and History // Post-Soviet Affairs. 2008. No. 50 (1)), а во-вторых, практика показывает абсолютный приоритет партикулярных ориентиров таких коалиций.

вятся звеньями, на которые проецируется «воля» населения, но которая не затрагивает «волю» доминирующих сил, причастных к разработке целей. Таким образом, средоточие «воли государства» может перемещаться за рамки официальной иерархии, превращая публичные институты в формально необходимую площадку для продвижения замыслов этих политических инвесторов.

На фоне активности ключевых участников разработки решений публичность нередко обретает функцию прикрытия интересов корпоративных игроков, превращаясь в декорацию для продвижения целей сетевых коалиций. Естественным образом такая переориентация задач деформирует усилия властей по координации своих отношений с обществом и может быть использована для нарушения прав человека и социальной справедливости, искажения политических предпочтений населения.

Понятно, что в этих механизмах целеполагания право утрачивает значение при образовании общественного блага, а этика договоренностей доминирует над моральными принципами. Как следствие, ни механизмы делиберации, ни общественная мораль и нравственные инвективы не могут превратиться в устойчивый источник формирования общественной воли. Напротив, усиление контроля верхов за ключевыми решениями может привести к распаду общества и неэффективности медиаторов (Г. Лассуэлл).

В результате роль неформальных игроков не только снижает возможности проведения властями доказательной политики (обращенной к общественному мнению на основе открытой аргументации и учета национальных интересов), но и ставит под вопрос «разумность» мышления статусных лиц и «открытые процедуры аргументации» (Дж. Роулз). Более того, влияние неформальных акторов подчас направляет аргументацию и дебаты по поводу предлагаемых целей совсем в другую сторону, замалчивая подлинные приоритеты правительства. Таким образом, «воля народа», оказываясь способной к обретению противоположных значений, обретает исключительно символический характер, а взаимность общества и государства при производстве целей здесь может умереть, так и не родившись.

Другими словами, функционал публичности в этой зоне демонстрирует номинальный характер реальных полномочий граждан как акторов, принимающих решения (Дж. Драйзек, Н. Урбинати). Короче говоря, здесь формируется тот контур управления государством, где публичность не используется для вовлечения населения в производство политической воли и государственных решений. Ее отдельные всполохи возникают лишь в случае обращения власти к населению для мобилизации поддержки (не исключая при этом имитационных форм). На этом фоне потенциал краудсорсинга, многоуровневого управления, доказательной политики (основанной на системе аргументаций, раскрывающих перед обществом замыслы властей) обретает подчиненное и малофункциональное значение. Таким образом, эта очаговая публичность не способна реализовать свой политический функционал, и даже в условиях демократии механизмы участия не являются надежным защитником интересов населения.

Данный фронтир предельно минимизирует роль открытых процедур принятия решений, а в авторитарных государствах и вовсе превращает публичность в политический антиквариат, демонстрирующий дискриминацию реальных прав населения. Более того, в этих государствах практики сетевого правления формируют культурную антитезу публичным нормам официального иерархизма (деловым нормам) и деловой этики ответственного правления, пытаясь приучить граждан

к опоре на патрон-клиентские нормы даже в тех случаях, где институциональные связи достаточны, а «ресурсы доступны»[1].

На *третьей арене* собственное значение обретают методы оформления волевых устремлений политических игроков, транслирующих интересы и позиции государственных и гражданских акторов. Здесь речь идет о специфической роли инструментов, которые формируют и поддерживают их публичные связи, способствуя использованию или купированию коммуникативного потенциала сторон. Субстантивное значение для этой формы публичности обретают различные способы передачи информации, формирования медиапотоков и организации политических дебатов, аргументы, используемые для продвижения месседжей, конкурентные свойства мифов и идеологий, а также другие аналогичные технологии формирования массового политического дискурса.

Данные способы формирования и распространения информационно-символической продукции (помещающие в центр внимания коммуникативные способности лидеров, компетенции идеологов и когнитариев, медиатехнологов, спин-докторов и других специалистов, создающих информационные упаковки политических позиций акторов, влияющих на общественное мнение) оформляют публичные грани коммуникаций государства и общества[2].

Границы данного фронтира простираются от практик медиадистрибуции (одностороннего распространения сведений, агрессивного навязывания позиций, вытеснения конкурентов за рамки дискурсивного пространства, принуждения к консенсусу, дискредитации несогласных и преследования оппозиции) до организации обратной связи с населением (направленной на формирование доверительных коммуникаций, систематическое обсуждение проектов, рациональную аргументацию и ответственное применение технических средств). При этом помимо выдвижения в дискурсивное пространство программных целей политических акторов столкновение политических позиций осуществляется в связи с формированием новостного потока, каждая фаза которого представляет собой неисчерпаемый повод для отсылки обществу символических сигналов, уточняющих и продвигающих позиции государственных и гражданских акторов, сигнализирующих о возможностях совместного участия. В современных условиях эти тенденции сочетаются с технологиями создания дополненной реальности и искусственно сконструированных событий, направленных на управление позициями оппонентов.

Как показывает опыт, широкое применение таких инструментов ведет к формированию не только медиаориентированных демократий, но и авторитарных медиакратий, сочетающих новые цифровые инструменты с агрессивной пропагандой и отвлечением внимания общества от злободневных вопросов, в итоге исключающих саму потребность в расширении реальных прав граждан. Типичными приемами укрепления правящих режимов в таком случае становятся внешнеполи-

---

[1] *Ledeneva A.V.* Can Russia Modernise? Sistema, Pover Networks and Informal Governance. Cambridge University Press, 2013.

[2] Уместно вспомнить, что Ю. Хабермас рассматривал публичность именно как «сеть информации и точек зрения» (например, мнений, выражающих одобрительные или неодобрительные взгляды); «потоки коммуникаций, отфильтрованные и синтезированные таким образом, что они соединяются в узлы тематически специфицированного общественного мнения» и «машину производства» последнего (*Habermas J.* Between Factsand Norms: Contributiontoa Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MAMIT Press, 1996. P. 631).

тические провокации (нагнетающие драматизм в восприятии «внешних врагов»), поощрение информационной активности экстремистских сил. Впрочем, и демократические режимы, преуспевшие в использовании методов доверительной коммуникации, отнюдь не свободны от использования контрриторических стратегий, формирующихся по принципу — «да» (демонстрируя согласие властей с озабоченностью и просьбами общественности), «но» (находя причины, не позволяющие им пойти навстречу гражданам)[1].

Весьма неоднозначной выглядит и роль массмедиа, которые призваны способствовать продвижению принципов демократии[2], но которые нередко превращаются в угрозу ее принципам и механизмам[3]. Широко распространенными практиками становятся коммерциализация информационного рынка, сокращение альтернативных СМИ, сужение возможностей для расследования правонарушений должностных лиц (*gotcha*-журналистика), использование социальных сетей для разжигания (социальной, национальной) ненависти (не говоря уже о прямых препятствиях свободе СМИ в недемократических странах и т.д.). Все это препятствует гражданским дебатам и ведет к отказу различных групп населения от участия в публичном дискурсе[4].

На этом фоне массовый дискурс образуется за счет констелляции полярно противоположных (в зависимости от обсуждаемых проблем) инфопотоков и политических коммуникаций, в то время как реальный уровень консолидации государства и общества, характер легитимации власти и поддержка правительственных проектов в значительной степени складываются в зависимости от медиабаланса. Строго говоря, в этой части политического пространства нет однозначного преимущества властей, не способных контролировать все инструменты, провоцирующие «тематическое воспламенение» общественных проблем[5]. Однако способности правящих структур контролировать медиапространство или использовать цифровые инструменты для принудительного продвижения своих проектов создают им решающие преимущества перед обществом, а нередко оставляют его без каких-либо надежных источников презентации своих позиций. Даже виртуальное пространство (где активность глобальных интернет-гигантов сталкивается с поддерживаемыми государством системами контроля и противодействием проправительственных ботов, фабрик троллей и проч.) испытывает серьезные трудности в использовании своего потенциала для консолидации общественных позиций. Другими словами, несмотря на прогресс в использовании информации и убеждения ученых, что токи публичности исходят от общества (Ю. Хабермас), основным инициатором и бенефициаром получения преимуществ на этой социальной арене остается все то же государство.

---

[1] *Ibarra P.R., Kitsuse J.I.* Claims-making discourse and vernacular resources // Challenges and choices: constructionist perspectives on social problems / Ed. by G. Kaczmarska. Akademic Community and Policymaking in Russia // Problems of Post-Communism. 2018. Vol. 9.

[2] *Exoo, Calvin F.* The Pen and the Sword: Press, War, and Terror in the 21st Century. California: Sage Publications, 2010.

[3] Democracy is under threat from the malicious use of technology. The EU is fighting back // The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/28/democracy-threatened-malicious-technology-eu-fighting-back (accessed: 28.03.2021).

[4] *Börzel T. and Buzogány A.* Governing EU Accession in Transition Countries: The Role of Non-State Actors // Acta Politica. 2010. No. 45 (1–2).

[5] *Дьякова Е.Г.* Массовая политическая коммуникация в теории установления повестки дня: от эффекта к процессу // Полис. Политические исследования. 2003. № 3.

Итак, можно видеть, что в пространстве реальной политики объем публичных интеракций зависит от конкретных целей представляющих государство и общество акторов. При этом формально влияющие на государство из зоны гражданских отношений сетевые коалиции, как правило, лишь усугубляют дефицит открытых отношений власти и населения и усиливают блокирующий эффект институтов, нередко провоцируя полное исчерпание ими своего гражданского функционала. В таком случае публичные формы активности населения лишаются шансов на практическое продвижение интересов граждан и обеспечение их соучастия в распределении общественных ресурсов.

Коротко говоря, пространственное измерение публичной политики дает возможность более точного определения возможностей государства и общества в осуществлении «народного суверенитета» и фактического распределения благ и ресурсов. Что же касается российской политии, то надежды на воплощение сообщественной правительственной стратегии нужно проецировать не на институциональные возможности государства и правовую защиту граждан, а на морально-этическую оснащенность правящих кругов.

*А.И. Соловьев*

**Литература**


1. *Антонова Г.М.* Эволюция терминов «черный ящик» и «серый ящик» // Вестник Московского финансово-юридическогоун-та, 2012. № 1. С.16–19.
2. *Барсукова С.Ю.* Сращивание теневой экономики и теневой политики // Мир России: Социология, этнология. 2006. Т. 15. № 3. С. 158–179.
3. *Васильева С.* Цивилизованный лоббизм — средство или следствие борьбы с коррупцией? // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 4. С. 115–121.
4. *Соловьев А.И.* Латентные функции публичной политики // Политическая наука. 2022. № 3. С. 57–79.
5. *Коньков А.Е.* Латентное пространство публичной политики в современном государстве. В поисках теоретической модели. М.: Аргамак-Медиа. — 223 с.
6. *Abrams N., Fish M.* Policies First, Institutions Second: Lessons from Estonia's Economic Reforms//Post-Soviet Affairs. 2015. Vol. 31. No. 6. P. 491–513.
7. *Mendras M.* Russian Politics: The Paradox of a Weak State. N.Y.: Columbia University Press, 2011. — 320 p.
8. *Olson M.* Dictatorship, Democracy, and Development // American Political Science Review. 1993. Vol. 87. No. 3. P. 567–576.
9. *Steen A.* Political Elites and the New Russia: The Power Basis of Yeltsin's and Putin's Regimes. L.: Routledge, 2003. — 224 p.


# Фронтир: политические ракурсы

Общество «текучей современности» превратилось в объект, который не позволяет себя «сфотографировать». Многие политологические подходы пришли из времен, когда политические институты казались незыблемыми и стабильными, избиратели делали свой выбор, исходя из внятно выраженных интересов, а партии имели не только программы, но и свою социальную базу. Современные политические процессы, проявления нелинейности и неопределенности развития актуализируют фронтирный дискурс в политических исследованиях. Переосмыс-

ление концепции фронтира происходит в условиях формирования новой политической реальности, когда политическая сфера трансформируется под «прессом» конфликтного взаимодействия традиционных и инновационных политических структур. Объяснение и прогнозирование таких политических явлений, как глобальные миграционные потоки, формирование транснациональных политических пространств, ирредентизм и сепаратизм, может стать результатом синтеза теории фронтира с другими методологическими подходами.

Современные отечественные исследователи отмечают высокий эвристический потенциал теории фронтира в изучении геополитики[1], проблем национализма[2] и безопасности[3]. Всплеск интереса ученых к фронтирному дискурсу, наблюдаемый в первые десятилетия 2000-х годов, в определенной степени связан с двумя факторами. Первый — это динамика «текучей современности» (З. Бауман), приводящая к усложнению и «умножению» социальных институтов и практик. Второй — необходимость преодоления методологического кризиса и дефицита объяснительных моделей политической составляющей этого «текучего» общества. Степень гетерогенности социального, в том числе политического, пространства стремительно повышается на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности.

Необходимо обозначить различие понятий «граница» и «фронтир». Граница выражает статику, она фиксирована, а чаще всего и демаркирована. Фронтир динамичен, он является зоной особых социальных условий и приводит к формированию нового сообщества, это мир диффузный и проницаемый. Фронтир — пространство выбора. Важнейший структурный элемент фронтира — состояние неустойчивого равновесия.

Как известно, концепция фронтира была предложена в середине XIX в. американским историком Ф.Дж. Тернером[4]. Его книга «Фронтир в американской истории» опубликована на русском языке в 2009 г. В понимании автора фронтир означал границу освоения Американского континента, которая непрерывно перемещалась в ходе территориальной экспансии. И сам Тернер, и его последователи, и представители современных «фронтирных» школ особо подчеркивают роль подвижной границы в создании и стимулировании социальных и политических инноваций. Для человека фронтира «идеал скорее всего представлял сохранение и развитие того оригинального и ценного, что было в его новой стране. Вступление старого общества на свободные земли означало для него возможности нового типа демократии... В своем росте Запад усматривал не меньше чем новый социальный и государственный порядок»[5].

Заслугой Тернера можно считать выработку системного взгляда на фронтир как на определяющую черту национального опыта США. «С каждой волной колонизационного движения, — пишет он, — по мере того как фронтир превра-

---

[1] *Замятин Д.Н.* Власть пространства и пространство власти: Географические образы в политике и международных отношениях. М.: РОССПЭН, 2004. С. 61.

[2] *Семененко И.С.* Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 11.

[3] «Фронтир как эвристическая модель историко-культурного познания»: Материалы круглого стола // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2014. № 4 (41). С. 304–314.

[4] В 1863 г. Ф.Дж. Тернер выступил с докладом на заседании Американской исторической ассоциации, а в последующие десятилетия развивал эту концепцию, без которой невозможно представить сегодня осмысление истории США.

[5] *Тернер Ф.Дж.* Фронтир в американской истории. М.: Весь Мир, 2009. С. 181.

щается в цивилизованную местность, формируется новый фронтир, который преемственно удерживает в себе мотивацию к дальнейшей экспансии и предшествующий накопленный опыт... В этом смысле непрерывность фронтирных зон "пропускает" через себя все стадии исторической эволюции и все исторические типы освоителей, воплощая как бы заново проживаемую историческую жизнь»[1].

В определенной степени выходу рассматриваемой теории за первоначальные дисциплинарные рамки способствовала концептуализация понятия «социальное пространство» Г. Зиммелем и П. Бурдье. Н.Ю. Замятина[2] полагает, что социальный фронтир не обязательно связан с природным экстремумом: она понимает его как границу, полосу выбора, — в первую очередь, выбора образа жизни. При современной постановке исследовательских проблем фронтир далеко не ограничивается значением территориального локуса, это — ландшафтный феномен, «процесс и результат социального конструирования реальности, в связи с чем его представленность имеет непосредственное отношение к ментальной сфере»[3].

В современной исследовательской парадигме фронтира, как отмечает К.И. Зубков, речь идет о фронтире как о подвижной области более интенсивной социальной жизни, удостоверяющей стремление и способность социальной общности к расширению своих экономических и культурных возможностей. В таком прочтении фронтир выступает индикатором силы и динамизма развивающихся обществ[4].

Однако параллельно с развитием фронтирных исследований происходит политизация самого концепта «фронтир», причем по разным идеологическим основаниям. В.Н. Косторниченко[5] связывает нарастающую критику концепции Тернера в зарубежной историографии со становлением направления «новых историков Запада»[6]. Так, П. Лимерик указала, что к моменту прихода первопроходцев американский Запад не являлся «свободной землей, представляя из себя региональную культуру, сформированную коренными американцами и испанскими поселенцами»[7]. С. Армитидж пошла еще дальше, заявив: «Тернер, как мы все знаем, этноцентричен, является сексистом и расистом, упрощен в схеме пограничных стадий и ограничен в трактовке постфронтирного Запада»[8]. Широко обсуждавшийся в начале 1990-х годов американский учебник по всеобщей истории уже не содержал упоминаний о фронтире, в нем отсутствовали ссылки на работы Тернера. Вместе с тем в большинстве американских школ по-прежнему сохранилось традиционное преподавание истории США, включавшее представление об американской демократии как производной от Западного фронтира.

---

[1] *Зубков К.И.* Фронтир как исследовательская парадигма // Уральский исторический вестник. 2018. № 4 (61). С. 64.

[2] *Замятина Н.Ю.* Норильск — город фронтира // Вестник Евразии. 2007. № 1. С. 175–176.

[3] *Басалаева И.П.* Критерии фронтира: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 2012. № 2. С. 47.

[4] *Зубков К.И.* Указ. соч.

[5] *Косторниченко В.Н.* Основные тенденции в исследовании проблематики «фронтира» в современной западной историографии // Экономическая история. Ежегодник. М., 2021. С. 489–503.

[6] *New Western historian*» — направление в исторической науке США, обосновывающее новые подходы к изучению истории Дикого Запада.

[7] *Косторниченко В.Н.* Указ. соч. С. 496.

[8] Там же. С. 497.

Действительно, в настоящее время фронтир становится жертвой господствующей в США «культуры отмены». В августе 2019 г. известная американская журналистка Н. Ханна-Джонс приступила к реализации «проекта 1619»[1], опубликовав материалы, призванные положить начало кардинальному пересмотру традиционных представлений относительно прошлого, включая теорию «фронтира». В феврале 2020 г. был создан конкурирующий «проект 1776 года». Его инициаторами стали афроамериканские ученые, сторонники традиционной версии истории США, включая укоренившиеся в американском обществе представления о позитивном значении фронтира на западных землях. Полемика вокруг принципиальных тем американской истории, включая фронтир, затрагивает практически все аспекты американского общества и культуры. Это дебаты вокруг сущности, специфики, прошлого и будущего американского опыта.

Современная критика теории фронтира рядом отечественных ученых основана на отрицании универсальности самого концепта в силу принципиальных различий процессов освоения Американского континента и российской колонизации. «Открывшиеся в конце 1980-х годов возможности усвоения ранее не приветствовавшихся идей и их свободного обсуждения с зарубежными специалистами повлияли на внедрение в российскую обществоведческую науку разного рода “импорта”. При оценке сложившейся ситуации следует также учитывать значение открывавшихся при правильной постановке вопросов перспектив получения невиданного ранее блага — зарубежных грантов... Следовательно, в свете современных представлений фронтир может рассматриваться не как универсальный, а всего лишь как один из многих вариантов границ, существовавший преимущественно в прошлом»[2]. Таким образом, политизация концепта «фронтира» ведет к объявлению его «опасным фантомом» в рамках бинарной «культуры отмены».

Тем не менее исследования в рамках фронтирной парадигмы продолжаются и приводят к важным теоретическим результатам. К наиболее значимым из них можно отнести обоснование фронтирного комплекса и типологизацию фронтиров, в том числе новых. И.П. Басалаева выделила критерии отнесения пространства к фронтирному, совокупность которых образует *фронтирный комплекс*. К таким критериям, или маркерам, автором были отнесены следующие: этнокультурная неоднородность групп, неравная численность фронтирующих групп; амбивалентно-конфликтное взаимодействие фронтирующих групп; изначальная гендерная диспропорция в доминантной фронтирующей группе; дальнейшая социокультурная и этническая ассимиляция фронтирных групп; маргинальное геополитическое положение фронтирной территории; отсутствие четких границ — как государственных, так и внутренних, квазиграничность, наличие рубежей, зонирующих пространство фронтира; центрирование фронтирной зоны очагами «городской жизни», де-факто колониальный статус территории; отсутствие теоретически ос-

---

[1] Проект, приуроченный к 400-летию прибытия первых африканских рабов в британскую Вирджинию (отсюда его название), включает в себя исторические эссе, художественные произведения, фоторепортаж и даже поэзию. Первоначально задуманный как специальный выпуск приложения газеты «Нью-Йорк таймс» от 20 августа 2019 г., вскоре он превратился в долговременный проект с постоянным газетным разделом и проведением разного рода акций в американских художественных галереях и СМИ.

[2] *Бостан К.А., Кузнецов А.М.* Идея «фронтира»: выгодное приобретение или опасный «фантом»? // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2018. № 1. С. 73–84. DOI: 10.24866/1998-6785/2018-1/73-84.

мысленной целенаправленной региональной политики; номинальный характер государственной власти; отличие системы управления от таковой в метрополии; компрадорская по своей сути «местная» элита-нерезидент; «административное бесправие» и произвол; более высокая, чем в метрополии, степень горизонтальной и вертикальной мобильности, несформированность постоянного (местного) населения[1].

Набор этих признаков может видоизменяться на фронтирах разных типов. Р. Биллингтон в работе «Экспансия на Запад. История американского фронтира»[2] представил *классификацию фронтиров*, в основу которой было положено не только географическое расположение подвижной линии границы, но и хозяйственная доминанта.

Влияние фронтира на национальную политическую культуру и его роль в формировании субкультур исследовал Д. Элейзер[3], который считал, что американский фронтир с начала заселения континента прошел три стадии:

— сельскохозяйственный фронтир XVII–XIX вв. — классический фронтир, описанный историками: движение на запад в основном аграрного населения, заинтересованного в земле;
— индустриальный фронтир (с начала XX в.) — движение населения в города и превращение городов из обслуживающих село центров в самостоятельные центры возможностей, благосостояния и социальных инноваций;
— технологический (или метрополитенский) фронтир (с середины XX в.), связанный с радикальными преобразованиями индустриального общества и движением к информационному обществу.

Интерпретация Д. Элейзера уходит от понимания пространства как земной «тверди», равно как и сама земля перестает быть основным фактором производства по мере развития общества. Именно создание новых возможностей в обществе, преодоление новых границ, поиск ответов на новые вызовы рассматриваются как продолжающийся фронтир.

Современное сетевое общество порождено новым типом фронтира — сетевым фронтиром. Согласно разработкам российских ученых, это подвижная граница пространства контакта, взаимовлияния и взаимопроникновения социальных и культурных практик сетевого общества и предшествующих цивилизационных социальных и культурных практик. Трансформация информационного общества в сетевое на начальном этапе происходит через образование сетевых фронтирных зон, создающих условия для формирования сетевых структур, которые впоследствии, расширяясь, объединяются и образуют единый сетевой ландшафт[4].

Исследователи используют эвристический потенциал теории фронтира при изучении пространств разных типов.

Цивилизационный фронтир — это взаимопроникновение и противоречивое сочетание различных культурно-цивилизационных практик, территория встречи

---

[1] *Басалаева И.П.* Критерии фронтира: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 2012. № 2.

[2] *Billington R.A.* Westward Expansion: A history of the American Frontier. N.Y., Macmillan, 1960.

[3] *Elazar D.J.* Cities of the Prairie: The Metropolitan Frontier and American Politics. N.Y.: Basic Books, 1970.

[4] *Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А.* Фронтир сетевого общества // Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 2.

и контактов различных культур и цивилизаций. В отличие от межгосударственной или межрегиональной четко выраженной границы, это размытая область, характеризуемая культурной мозаичностью и «неустойчивым равновесием». Выделяя цивилизационный фронтир как тип, необходимо подчеркнуть, что цивилизационный компонент в разной степени присутствует во всех фронтирах. Без сомнения, именно в цивилизационном контексте можно говорить о латиноамериканском фронтире в США или о фронтирном районе Молинбек[1] в Брюсселе. По мнению П.А. Барахвостова, цивилизационный фронтир проходит следующие стадии: формирование зоны пространственного контакта (милитарного фронтира); оформление административно-территориального деления по образцу титульного социума и установление особых военизированных форм управления; трансплантация экономических и социокультурных институтов; эрозия фронтирных признаков и дефронтиризация (либо распад зарождающейся социальной системы). Автор подробно рассмотрел эволюцию цивилизационного фронтира на примере Османской Венгрии[2]. В середине XX в., после окончания Второй мировой войны, два геополитических «фронтира» — фронтир американского влияния и фронтир влияния советского — вошли в соприкосновение и конфронтацию не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Европейско-Атлантическом. Сформировалась геополитическая идентификационная парадигма, в которой американский и российский «фронтиры» проявляются как атлантизм и евразийство[3].

Индустриальный по своей сути арктический фронтир формирует все более привлекательный на российском рынке труда, урбанистический и динамично развивающийся макрорегион, своего рода «северное Эльдорадо», каковым его часто называют в зарубежных СМИ. Высокий миграционный оборот населения в Арктике ведет к тому, что переселенцы несут с собой свои «магистральные» городские культуры, новые социальные нормы и технологии управления, в то время как традиционные северные этносы вынуждены экстренно адаптироваться к дефакто изменившимся внешним условиям своего существования[4].

Многие исследователи используют понятие внутреннего фронтира. Специфика внутреннего фронтира проявляется в его условности: данное понятие применяется в отношении территорий, которые оказались зажатыми между более развитыми метрополиями. Так, исследователи уникального внутреннего целинного фронтира[5] считают, что “целинное братство” строилось посредством совместного преодоления многих трудностей, параллельно с созданием на бескрайних степных просторах островов цивилизации — целинных поселков»[6], участников этого мас-

---

[1] Моленбек-Сен-Жан — одна из коммун Брюссельского столичного региона. Примерно 70% его жителей составляют мигранты из стран Северной Африки, Сирии, Ирака, Сенегала, Конго и Кот-д’Ивуара.

[2] *Барахвостов П.А.* Формирование и эволюция цивилизационных фронтиров (на примере Османской Венгрии) // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки. Минск, 2021. № 20-1.

[3] *Агеев А.Д.* Сибирь и американский Запад: движение фронтиров. М.: Аспект Пресс, 2005.

[4] Российская Арктика в поисках интегральной идентичности / Отв. ред. О.Б. Подвинцев. М.: Новый хронограф, 2016.

[5] Фронтир сетевого общества как пространство политического взаимодействия. Краснодар: Перспективы образования, 2017.

[6] *Пахомова Е.В.* Целинный фронтир: особенности освоения целины в Оренбуржье // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: История России. 2020. Т. 19. № 3. URL: https://doi.org/10.22363/2312-8674-2020-19-3-625-640.

штабного советского проекта объединял образ будущего, важной частью которого была продовольственная безопасность страны.

Политическая роль фронтиров разного типа и уровня проявляется главным образом в трансформации политических институтов, появлении новых типов политического лидерства, легитимизации политических проектов, формировании фронтирной идентичности.

В пространстве фронтира формируется новая *институциональная матрица*. Так, в процессе освоения территорий Сибири и Дальнего Востока проявилась особенность русского подхода — вступление в договорные отношения с автохтонным населением, встраивание российских институтов в их нормы и традиции. При этом укрепленные линии вместе с созданной для их функционирования инфраструктурой имели не только военное, но и политико-культурное назначение, являясь опорными пунктами для утверждения позиций империи в регионе[1].

Институциональные изменения, отвечающие логике нелинейного развития, происходят и на сетевом фронтире. Трансформация институционального дизайна политического порядка имеет три вектора, определяющие формы и содержание современных политических институтов[2].

Первый тренд трансформации политических институтов связан с адаптацией традиционного институционального дизайна современных государств к изменившимся потребностям общества. Сетевизация социальной структуры и механизмов коммуникации потребовала от современных государств движения к интерактивной модернизации системы публичного управления. Так появились институты традиционные по своей природе, функционирование которых обеспечивается сетевыми информационно-коммуникативными технологиями (электронное правительство, электронное правление, электронная демократия, электронные выборы и т.д.).

Второй вектор — институционализация новых акторов публичной политики — сетевых сообществ дискурсивных сетей, сетей социальных движений и гражданских инициатив, краудсорсинговых структур, сетевых элит, сетевых партий и т.д. В ряде случаев неинституционализированные сети мобилизации граждан трансформируются в постоянно действующие общественные/политические структуры в качестве акторов публичной политики.

Третий вектор — формирование гибридных институциональных форм в системе публичного управления. В современной политико-управленческой практике все чаще стали появляться гибридные организационные формы, отличающиеся от типичных иерархических и рыночных структур. Такие формы получили названия «гетерархий». Для гетерархических организационных форм характерна единая система, в которой разнообразные субъекты в рамках динамически изменяющегося баланса коммуникативных отношений взаимодействуют друг с другом. По сути гетерархия представляет собой масштабируемую гибридную организационную форму, структура и функционирование которой определяется распределенным центром управления единой структуры, который является системообразующим.

Значимым фактором политических изменений на фронтире является формирование особого вида пространственной идентичности, характерной для зоны

---

[1] *Барахвостов П.А.* Особенности формирования и эволюции русского фронтира // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки. 2022. № 21-1.

[2] См.: *Мирошниченко И.В., Морозова Е.В.* Трансформация политических институтов в пространстве сетевого фронтира // PolitBook. 2016. № 3.

динамичной, подвижной границы — *фронтирной идентичности*. В процессе ее формирования происходит постепенная конвергенция старых, «материнских» идентификационных признаков и новых, связанных с адаптацией к неизвестному пространству и межкультурной коммуникацией с его обитателями. Результатом эволюции фронтирной идентичности может являться формирование новой социальной общности, обладающей собственной идентичностью[1]. Как показывает опыт изучения фронтиров (американского, канадского, австралийского и новозеландского, сибирского, кавказского и др.), фронтирная идентичность становится системообразующим элементом национальной (идея *Aussie* в Австралии) или региональной (сибирское областничество) идентичности.

Формирование такой идентичности проходит несколько этапов, соотносящихся с периодизацией динамики самого фронтира[2]. На первом этапе (условно назовем его ностальгическим) происходит перенос и трансформация социализационных правил, принятых в «старом» обществе». Возникает зачастую гипертрофированное чувство «особой части целого». На втором этапе (адаптационном) включаются мощные механизмы приспособления и трансгрессии. Под фронтирной трансгрессией понимается заимствование многих норм, которые, не будучи нормативными для культуры объекта, воспринимаются им как более подходящие в новом социальном пространстве. Наконец, на третьем этапе, когда фронтирная зона становится частью общего социального и политического пространства, а сам фронтир уходит вперед, многие трудности самоидентификации остаются в прошлом, завершается формирование особой идентичности, которая становится ключевым элементом общей идентичности освоенной территории (американцы, сибиряки, камчадалы, целинники и т.д.)[3].

Через концепт фронтира ученые-философы новых субъектов РФ, в частности Луганской Народной Республики, интерпретируют происходящие на постсоветской Украине события: «На территории современной Украины непосредственно соприкоснулись два полярных типа ментальности — “доисторическая”, свойственная населению Западной Украины, не прошедшего испытания большой Историей и опытом интенсивного Модерна; и “новороссийская” — наоборот, основанная на столь интенсивном и даже катастрофическом опыте “мобилизационного Модерна”, близкий которому трудно найти даже в Европе[4]». Фронтир Донбасса — это символическое пограничье, граница между двумя борющимися идентичностями. «В условиях рассогласованности политических, социальных и символических границ фронтир становится местом для осуществления “войн памяти” в силу претензий различных сообществ на общие места памяти, но также он выступает и в качестве буферной зоны, способной порождать гибридные формы мемориальных практик»[5].

---

[1] *Морозова Е.В.* Фронтирная идентичность // Идентичность. Личность. Общество. Политика: Энциклопедическое издание. М.: Весь Мир, 2017.

[2] Исследователи, представляющие астраханскую школу изучения фронтира, определили эти этапы как предфронтир, собственно фронтир и постфронтир.

[3] Выше мы писали о целинном фронтире как особом виде внутреннего фронтира. Современные социологические исследования показывают, что в нынешнем Казахстане, в его северных областях, целинная идентичность сохранилась, несмотря на все сложные и противоречивые социально-политические процессы постсоветского периода.

[4] Донбасс: Философия фронтира: Сб. материалов философского монтеневского общества. Луганск, 2021. С. 10.

[5] *Аникин Д.А.* Проблематика фронтира в исследованиях культурной памяти // Журнал фронтирных исследований. 2020. № 2. С. 18.

Идентификационные процессы находят продолжение в изменениях в характере *политического лидерства* и механизмах рекрутирования элит на фронтире. Они связаны в первую очередь с феноменом «фронтирного типа личности», для которого характерны синкретическое видение реальности, нетерпимость к жесткой регламентации и организации жизни, открытость инновациям. Понятие инновационной личности было введено Э. Хагеном в 1962 г. По мнению Э. Хагена, инновационная личность жестко противоположна несамостоятельной авторитарной личности, и ей свойственны следующие важнейшие характеристики: отношение к миру характеризуется любознательностью и стремлением управлять, принятием на себя ответственности за плохие стороны жизни и поиск лучших решений, попытки внести изменения; стиль лидерства отмечен откровенностью и терпимостью к подчиненным, одобрительным отношением к их оригинальности и стремлению к новациям[1]. Важной характеристикой инновационного потенциала личности служит чувствительность к проблемам, самостоятельное обнаружение и формирование, постановка и реализация познавательных целей, приводящих к мыслительной деятельности[2]. Любой фронтир отличается стремительными изменениями во всех сферах жизни. В этих условиях человек должен быть способен к адекватной личностной мобильности, к постоянному творческому обновлению собственной жизни.

Высокая социальная ответственность за выживание и развитие социальной общности в условиях фронтира становится одним из главных критериев рекрутирования лидеров и политических элит. Новые фронтиры изменяют конфигурацию сложившихся политических элит. В условиях сетевого фронтира нетократия становится важным сегментом национальных политических элит. Ее представители — это уже не «обслуживающий персонал», предоставляющий или обсчитывающий данные. «Сетевики» врываются в политические элиты как разработчики стратегий, которые способны привести в победе. Рамки привычных механизмов рекрутирования элит тесны для них, у них практически нет политических биографий, в какой-то мере это самые настоящие фронтирмены сетевого общества.

В процессе политической коммуникации концепт фронтира, а чаще мифологема фронтира выступают средством легитимации политических проектов и программ. В 1930-е годы, во времена «нового курса», президент Франклин Д. Рузвельт применял термин «фронтир» как метафору социальных реформ. И сегодня термину «фронтир» в американском политическом лексиконе придается символический смысл[3].

Фронтир является частью современного российского социально-политического дискурса. Портал «Сибирский фронтир» определяет свою миссию как «продвижение задачи форсированного развития экономики и социокультурной сферы в макрорегионе Сибирь как условия развития России в целом, генерацию новых идей и перспективных решений для запуска и поддержки процессов развития, вос-

---

[1] См.: *Штомпка П.* Социология социальных изменений. М., 1996. С. 302.

[2] *Краснорядцева О.М.* Чувствительность к проблемам как характеристика инновационного потенциала личности // Сибирский психологический журнал. 2009. № 33. С. 14.

[3] Упомянутый выше «проект 1619» фактически стал частью предвыборной кампании в США. Камала Харрис, будучи кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, заявляла о том, что Проект 1619 является мощной и необходимой оценкой нашей истории, и потому мы не можем понять и решить сегодняшние проблемы, не сказав правду о том, как мы сюда попали.

становление образа Сибири как фронтира — территории нового освоения, где разворачивается движение в будущее, где создаются новые возможности для России и мира»[1]. Образовательные и просветительские цели преследует проект «Иркутский фронтир: историческое наследие для молодых лидеров»[2].

Исследования фронтиров сегодня ведутся в рамках различных подходов социально-гуманитарного знания — исторического, экономического, антропологического. Проведенные социологические исследования[3] актуализируют теорию фронтира как объяснительную модель ценностных различий в пограничных регионах. В рамках проблемного поля политической науки используется как сам концепт фронтира, так и метафора фронтира (предметом исследования А.И. Соловьева стали процессы размывания границ публичности, что «неизбежно придает всем ее формам и разновидностям фронтирные свойства, отражающие неопределенность статусной активности институтов»[4]), что несомненно расширяет методологический арсенал политических исследований.

Исследования пограничья привели в гуманитарной области к формированию цикла таких субдисциплин, как погранология, лиминология, *borderstudies*. Это является свидетельством отказа от единообразия и исследования разнообразия имеющихся форм трансграничных и приграничных регионов, с возможностью создания новых классификаций и типологий фронтиров, исследования новых механизмов неизбежного взаимовлияния пространственных и социокультурных характеристик фронтирных социальных общностей.

*Е.В. Морозова*

**Литература**


1. *Аникин Д.А.* Проблематика фронтира в исследованиях культурной памяти // Журнал фронтирных исследований. 2020. № 2. С. 66–72.
2. *Барахвостов П.А.* Особенности формирования и эволюция русского фронтира // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки. 2022. № 21-1. С. 18–25.
3. *Басалаева И.П.* Критерии фронтира: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 2012. № 2. С. 46–49.
4. *Бостан К.А., Кузнецов А.М.* Идея «фронтира»: выгодное приобретение или опасный «фантом»? // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2018. № 1. С. 73–84.
5. *Замятин Д.Н.* Власть пространства и пространство власти: Географические образы в политике и международных отношениях. М.: РОССПЭН, 2004.
6. *Зубков К.И.* Фронтир как исследовательская парадигма // Уральский исторический вестник. 2018. № 4(61). С. 63–71.
7. *Косторниченко В.Н.* Основные тенденции в исследовании проблематики «фронтира» в современной западной историографии // Экономическая история: Ежегодник. М., 2021. С. 489–503.
8. *Мирошниченко И.В., Морозова Е.В.* Трансформация политических институтов в пространстве сетевого фронтира // PolitBook. 2016. № 3. С. 36–49.


---

[1] Официальный сайт «Сибирский фронтир». URL: https://great-altay.ru/ (дата обращения: 04.01.2023).

[2] Глагол: Иркутское обозрение. URL: https://glagol38.ru/story/front (дата обращения: 04.01.2023).

[3] *Немировская А.В., Фоа Р.* Социокультурные особенности фронтира России // Социс. Социологические исследования. 2013. № 4. С. 80–88; *Задорин И.В.* Регионы «рубежа»: территориальная идентичность и восприятие «особости» // Полития. 2018. № 2 (89). С. 102–136.

[4] *Соловьев А.И.* Фронтирные зоны публичной политики // Политическая наука. 2021. № 3. С. 183–204. DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2021.03.08.

9. *Морозова Е.В.* Фронтирная идентичность // Идентичность. Личность. Общество. Политика: Энциклопедическое издание. М.: Весь Мир, 2017. С. 529–535.

10. Фронтир сетевого общества как пространство политического взаимодействия. Краснодар: Перспективы образования, 2017. — 272 с.

11. *Соловьев А.И.* Фронтирные зоны публичной политики // Политическая наука. 2021. № 3. С. 183–204. DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2021.03.08.

12. *Тернер Ф.Дж.* Фронтир в американской истории. М.: ВесьМир, 2009. С. 181.

13. *Billington R.A.* Westward Expansion: A History of the American Frontier. N.Y., Macmillan, 1960. — 933 p.

14. *Elazar D.J.* Cities of the Prairie: The Metropolitan Frontier and American Politics. N.Y.: Basic Books, 1970. — 514 p.

# Цифровое гражданство[1]

Концепция цифрового гражданства стала своего рода ответом на общественно-политические эффекты цифровой эпохи. Понятно, таким образом, что массовое распространение Интернета и поиск путей институционализации гражданского и политического активизма в социально-медийной среде стимулируют постоянное обновление понятийно-категориального аппарата. В этом контексте появилась и относительно новая для отечественной политической науки категория «цифровое гражданство». Одновременно с ней стали употребляться и такие понятия, как «цифровые граждане» и «цифровая гражданственность». При этом динамика технологических достижений и рост национальных цифровых аудиторий предопределили существенную дифференциацию в наполнении как понятия «цифровое гражданство», так и смежных с ним понятий.

В настоящее время категория «цифровой гражданин» (*digital citizen*) чаще всего применяется в трех аспектах. *Во-первых*, она отражает статус индивида, приобретаемый в связи с применением интернет-коммуникации. Иными словами, цифровой гражданин приравнивается к онлайн-пользователю. Данная традиция укоренена, прежде всего, благодаря концепции сетевого клуба Дж. Коэна и Э. Шмидта[2]. *Во-вторых*, к цифровым гражданам причисляют представителей так называемого поколения Z (термин У. Штрауса и Н. Хоува[3]), социализация которых совпала с эпохой распространения массового Интернета. *В-третьих*, данная категория упоминается в связи с планами создания инфраструктуры цифрового профиля российского гражданина[4].

В то же время дискуссионным остается вопрос относительно квалификации принадлежности к цифровым гражданам. Достаточно ли в данном случае онлайн-пользовательской активности, принадлежности к поколению Z или опыта применения государственных интернет-сервисов? Неоднозначность ответа, прежде

---

[1] Англ. — *digital citizenship*.

[2] *Коэн Дж., Шмидт Э.* Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.

[3] *Strauss W., Howe N.* Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069 (1st ed.). N.Y., 1991.

[4] Цифровой профиль гражданина — что известно на сегодняшний день [Электронный ресурс] / Digital Russia // URL: https://d-russia.ru/tsifrovoj-profil-grazhdanina-chto-izvestno-na-segodnyashnij-den.html.

всего, обусловлена дифференцированным влиянием цифровизации на представителей одного и того же поколения, а также тем фактом, что такая трактовка понятия не учитывает многообразия стилей цифрового гражданства.

Применение категории «цифровое гражданство» характеризуется и ее многоаспектностью. Одно из самых распространенных толкований данного термина связано с — реализованной или планируемой — практикой ряда государств, предполагающей обретение индивидом статуса гражданина в онлайн-режиме. В данном аспекте цифровое гражданство понимается как цифровой порядок получения индивидом правового статуса. Помимо этого, цифровое гражданство может трактоваться в качестве культурного феномена, отражающего социализацию новых поколений под влиянием цифровых коммуникаций. В этом смысле цифровое гражданство наполняется ценностным и нормативным содержанием, предполагающим выполнение определенных регулятивных функций. В дополнение к предложенным трактовкам можно указать и на такую грань цифрового гражданства, как совокупность надпрофессиональных и цифровых компетенций, формирование которых является неотъемлемой частью системы образования за рубежом.

Производный от обозначенной категории термин «цифровая гражданственность» (*digital citizenship*) является отражением общемировой и российской тенденции перемещения общественно-политической активности, особенно молодых людей, в онлайн-пространство. Не случайно, кстати, что одной из преобладающих причин оценки онлайн-сетевых практик российской молодежью является их позитивное отношение к сетевому протесту (о чем по-своему свидетельствует и число подписчиков в аккаунтах внесистемных и радикальных политических сил).

Цифровая гражданственность может пониматься и как часть политической субкультуры, целенаправленно формируемой в цифровой среде политическими акторами, осуществляющими продвижение партийных брендов и имиджей политических лидеров, преимущественно онлайн-инструментами. Наконец, в более широком контексте развития цифровой демократии цифровая гражданственность наполняется содержанием, связанным с системными усилиями государства, направленными на преодоление недоверия к институту выборов посредством расширения практик электронного голосования. В данном случае цифровая гражданственность рассматривается и как инструмент, и как результат реализации практик цифровой демократии.

Очевидно, однако, что сам по себе перенос гражданской и политической активности в цифровое пространство не приводит к преодолению дефицита демократических акторов. Иначе говоря, цифровое гражданство, понимаемое как построение цифровой инфраструктуры, не гарантирует автоматического развития цифровой демократии. Для достижения этой цели необходимы системные усилия власти, бизнеса и гражданского общества по формированию, институционализации и укоренению культуры цифрового гражданства.

Базовым теоретическим основанием для столь разнообразных трактовок цифрового гражданства являются работы К. Моссбергера, К. Толберта, Р. Макнила и ряда других ученых. В трудах указанных исследователей цифровое гражданство рассматривается в трех аспектах участия человека в жизни общества: в виде включения в различные формы общения посредством использования цифровых коммуникаций, воздействия Интернета на способность участвовать в качестве граждан в политике и влияния Интернета на равенство возможностей

на рынке труда[1]. В этом контексте авторы концепции исследуют индивидуальные и коллективные издержки исключения из цифрового гражданства, а также преимущества интеграции. Они исходят из положения, что цифровое гражданство дает возможность людям участвовать в жизни современного общества, способствуя социальной интеграции и преодолению социального неравенства. Эти ученые связывают с доступностью Интернета и рост экономического благосостояния, отмечая при этом, что менее образованные, а также работники из числа меньшинств получают наименьшую выгоду.

С одной стороны, основоположники концепции цифрового гражданства демонстрируют максимальный кибероптимизм, сформированный в рамках одной из версий нового институционализма (теории рационального действия), согласно которой для достижения позитивных эффектов интернет-коммуникации основная масса пользователей должна быть предельно прагматичной. С другой — результаты национальных массовых опросов, реализованных под эгидой «Центра цифрового будущего», свидетельствуют о том, что доля прагматиков в цивилизациях незападного типа, в том числе и в РФ, существенно меньше, чем во всех иных сегментах интернет-аудитории[2].

Дальнейшее развитие концепция цифрового гражданства получила в рамках конструктивистского подхода. Так, по мысли М. Риббла, массовое использование технологий создало цифровое общество, которое предоставляет его членам возможности для образования, занятости, развлечений и социального взаимодействия[3]. Как и в любом обществе, ожидается, что цифровые граждане будут действовать определенным образом, а именно, в соответствии с принятыми нормами, правилами и законами. Обучение в школах по национальным стандартам является важным введением в цифровое гражданство. Таким образом, основной акцент в понимании цифрового гражданства переносится на целенаправленное формирование норм и стратегий ответственного поведения в глобальной сети.

Вместе с тем возникает вопрос о том, обеспечивает ли обладание надпрофессиональными цифровыми компетенциями необходимый уровень ответственности в интернет-пространстве? Например, Л. Джонс и К. Митчелл в своих исследованиях зафиксировали то, что онлайн-уважение и гражданское участие отрицательно связаны с преследованиями в цифровой среде и положительно — с полезным поведением[4]. Иначе говоря, тип социализации (гармоничный или конфликтный) и нормы поведения, усвоенные в реальной среде, во многом определяют и характер поведения в цифровом пространстве.

В свою очередь, Л. Эррера рассматривает цифровое гражданство в плоскости политического активизма молодежи. На примере событий так называемой «арабской весны» она приходит к выводу, что молодежь достигла совершеннолетия в эпоху цифровых технологий и использует возможности и интернет-коммуника-

---

[1] *Mossberger K., Tolbert C.J., McNeal R.S.* Digital citizenship: The internet, society, and participation // Journal of Information Technology & Politics. 2008. No. 5 (2).

[2] *Brodovskaya E., Dombrovskaya A., Synyakov A., Batanina I.* Online social activity in Latin America (Mexico, Chile and Uruguay) and Russia: cross-national research // Communications in Computer and Information Science. 2016. Vol. 674.

[3] *Ribble M., Bailey G.* Digital Citizenship in Schools. Washington, 2007.

[4] *Jones L.M., Kimberly J. Mitchell.* Defining and measuring youth digital citizenship // New Media & Society. 2016. No. 8. P. 2063–2079.

ций совершенно другими способами по сравнению с предыдущими поколениями, что и позволило ей организовать коллективные действия[1]. По ее мнению, молодежь фактически создала новые модели гражданской активности, в результате чего, прежде всего, в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, движущей силой государственных переворотов и неконвенциональных протестов стала технически подкованная и политизированная молодежь[2].

Гибридизация медиасферы и возникновение новых поколений сетевых социальных и политических акторов оказывают, с точки зрения А. Вромен, мобилизующее воздействие на граждан. При этом особую роль в рассматриваемом процессе автор отводит правозащитным организациям и НКО[3]. В обозначенных условиях, при учете усиления международной напряженности и информационных войн, вместо формирования ответственного пользователя-гражданина, мы все чаще сталкиваемся с масштабной мобилизацией негативного толка, когда под воздействием внешних потоков информационного давления создаются центры и лидеры общественного мнения, формируются платформы, разрастаются цифровые инфраструктуры неконвенциональной активности. Яркими примерами выступают Украина (2013–2014 гг.), Беларусь (2020 г.), Казахстан (2022 г.), Бразилия (2023 г.), Перу (2023 г.) и др.

Ряд исследователей связывают перспективы развития демократических политических систем и воспитание цифрового гражданина. В своих исследованиях М. Кайго доказывает то, что использование социальных сетей институтами гражданского общества может привести к: (1) расширению политических возможностей для защиты интересов; (2) развитию горизонтальной коммуникации с местным правительством; (3) масштабированию представленности интересов граждан[4]. Данные положения выглядят достаточно идеалистично, тем более что нет жесткой связи между цифровизацией политики и типом политического режима. Л. Джорба и Б. Бимбер на исследовательский вопрос — увеличивает ли использование цифровых средств массовой информации политическое или гражданское участие? — пришли к заключению, что в этих процессах мы, скорее, наблюдаем смещение политической активности в цифровую среду[5]. Следовательно, вместо расширения демократических практик фиксируется перенос офлайн-активности в цифровое пространство, а кликтивизм[6] или слактивизм[7] приходят на смену реальным практикам.

По мнению Н. Клудри и соавторов, критическим фактором для создания прочного контура гражданской культуры и эффективной базы для новых форм

---

[1] *Herrera L.* Youth and citizenship in the digital age: A view from Egypt // Harvard Educational Review. 2012. No. 82 (3). P. 333–352.

[2] *Herrera L., Sakr R.* Wired citizenship: Youth learning and activism in the Middle East 2014.

[3] *Vromen A.* Digital Citizenship and Political Engagement. Palgrave Macmillan UK, 2017.

[4] *Kaigo M.* The Necessity of Digital Citizenship and Participation // Information (Switzerland). 2017. No. 8 (1).

[5] *Jorba L., Bimber B.* The Impact of Digital Media on Citizenship from a Global Perspective // Digital Media and Political Engagement Worldwide: A Comparative Study (Communication, Society and Politics). 2012. P. 16–38.

[6] Термин «кликтивизм» (англ. *clicktivism*) используется для описания активистов, использующих социальные медиа для организации гражданских акций. Это позволяет организациям оценивать их успешность путем подсчета «кликов» по их петиции или другому призыву к действию.

[7] Термин «слактивизм» (англ. *slacktivism*), или «диванный активизм», используется для описания цифровой активности, которая не приводит к реальным эффектам и изменениям.

цифрового гражданства являются масштаб и функциональность цифровой национальной инфраструктуры коммуникаций между пользователями и органами власти[1]. Дефициты в развитии такой инфраструктуры влекут за собой риски усиления роли платформ, берущих на себя функции управления информационными потоками и интернет-контентом в социальных медиа. Показательными примерами в данном случае выступают кейсы пролонгированных протестов в Республике Беларусь в 2020 г. и локальные протесты на фоне частичной мобилизации в Дагестане (2022 г.).

По выражению Л. Оргад, можно построить теоретические модели цифрового гражданства, но существует множество неопределенностей — политических, технологических и психологических, — прежде чем оно станет реальным[2]. Последствия цифровой трансформации остаются неясными, но рано или поздно четвертая промышленная революция, преобразуя социальный дизайн общества наступающего будущего, неминуемо внесет свои коррективы в институт гражданства. Общества и государства цифровой эпохи, столкнувшись с такими масштабными негативными общественно-политическими эффектами, как внешнее информационное давление, мобилизация деструктивной цифровой активности, манипулирование настроениями избирателей («эффект *SEME*»)[3], поляризация и радикализация политических установок и стратегий поведения и др., противопоставляют концепции цифрового гражданства практики цифрового суверенитета. Последние связаны, в первую очередь, с усилением роли государства в процессе развития, регламентирования и контроля цифрового пространства. В условиях «надзорного капитализма» (Ш. Зубофф)[4] государственным институтам приходится конкурировать с интернет-корпорациями и платформами. При этом уже проявляют себя характерные черты форматов, с помощью которых различные государства осуществляют свой выбор в условиях зачастую разнонаправленных процессов формирования цифрового гражданства и сохранения цифрового суверенитета.

Так, североамериканский формат предполагает сочетание нескольких тенденций: декларирования обособленности государства и интернет-корпораций; целенаправленного формирования культуры цифрового гражданства благодаря системе образования; использования функционала интернет-корпораций в интересах определенных политических акторов; распространения практик контроля интернет-корпораций за пользователями.

Противоположный формат практикуется в Китае, где декларируется и реализуется на практике принцип абсолютного превалирования цифрового суверенитета.

Срединный формат постепенно складывается в РФ, где, с одной стороны, нет «теневого» контроля и латентного использования интернет-корпораций в узкогрупповых интересах политических акторов, а с другой — реализуется система мер по открытому противодействию деструктивным практикам в цифровом простран-

---

[1] *Couldry N., Stephansen H., Fotopoulou A., MacDonald R., Clark W., Dickens L.* Digital citizenship? Narrative exchange and the changing terms of civic culture // Citizenship Studies. 2014. No. 18 (6–7).

[2] *Orgad L.* The Future of Citizenship: Global and Digital — A Rejoinder // Debating transformations of national citizenship (Book). 2018.

[3] *Epstein R., Robertson R.E., Lazer D., Wilson C.* Suppressing the search engine manipulation effect (SEME) // Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction. 2017. No. 1 (CSCW). P. 1–22.

[4] *Зубофф Ш.* Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти. М.: Изд-во Института Гайдара, 2022.

стве. Вместе с тем способы и технологии контроля за пользователями не сопоставимы с теми, что практикуются в КНР.

Однако, в отличие от США и КНР, в национальных сегментах Интернета которых господствует контент, созданный преимущественно внутренними социальными и политическими акторами, национальное пространство социальных медиа России наполнено существенными массивами контента, которые привносятся в результате внешнего информационного давления. Таким образом, «мягкий» формат поиска баланса между цифровым гражданством и цифровым суверенитетом и сопряженные с ним риски национальной безопасности способствуют и, вероятно, будут способствовать в будущем усилению составляющей, связанной с цифровым суверенитетом.

Свой вклад в развитие представлений о цифровом гражданстве вносят и отечественные ученые, среди которых можно выделить несколько научных школ и исследовательских групп. Первая из них связана с научными поисками таких исследователей, как Н.Н. Седова, В.В. Петухов, Р.Э. Бараш, Р.В. Петухов и др., направленными на понимание роли информационно-коммуникационных технологий в формировании социально-политических установок россиян и разнообразных практик социального действия[1]. Исследователи зафиксировали постепенное растворение «партии Интернета» в массовой среде жизнедеятельности обывателей, использующих Интернет как средство развлечения, но не поиска объективной информации или особого ресурса при организации коллективного действия. По мнению авторов, несмотря на то, что у активных пользователей социальных сетей действительно несколько выше уровень симпатии к оппозиции и участникам акций протеста, «говорить о социальных сетях как ключевом триггере общественного и политического активизма пока не приходится»[2]. В этом смысле цифровое пространство понимается скорее как «вторая» или дополнительная локация для гражданского и политического активизма, при этом потенциал его влияния во многом определяется сильными связями (идея М. Гранноветера[3]), формирующимися вне социальных медиа.

Вторая исследовательская группа представлена С.В. Володенковым и С.Н. Федорченко, которые в своих работах уделяют существенное внимание проблеме цифровой трансформации института гражданства[4]. Авторы исходят из того, что «традиционный институт гражданства, предполагающий ответственного и политически активного гражданина, серьезно изменяется под влиянием платформенного капитализма цифровых корпораций». Исследователи определяют два основных сценария развития цифрового гражданства: *cybernetic citizenship* (децентрализованные принципы работы с данными, самостоятельный сбор гражданином данных, упор на идеологию либерализма, гражданские инсайты, но не на общий дискурс) и *republican smart citizenship* (где ставка делается на научно аргументиро-

---

[1] *Бараш Р.Э., Петухов В.В., Петухов Р.В.* Информационно-коммуникационные факторы формирования новых практик гражданского активизма // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 4. С. 99–125.

[2] *Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Петухов Р.В.* Гражданский активизм в России: мотивация, ценности и формы участия // Власть. 2015. Т. 22. № 9. С. 11–19.

[3] *Granovetter M.* The Strength of Weak Ties // American Journal of Sociology. 1973. Vol. 78. No. 6. P. 1360–1380.

[4] *Володенков С.В., Федорченко С.Н.* Традиционные политические институты в условиях цифровизации: риски и перспективы трансформации // Дискурс-Пи. 2022. № 1. С. 84–103.

ванные данные, обеспечивающие возможность гражданину участвовать в политической борьбе).

Таким образом, в отличие от первой команды исследователей, усилия которой были направлены, прежде всего, на то, чтобы ответить на вопрос о влиянии цифровых коммуникаций на гражданскую и политическую активность, вторая исследовательская группа выходит на сценирование цифровой трансформации институтов. При этом и для тех, и для других базовым маркером цифрового гражданина является пользовательская активность.Отличие между указанными группами заключается в методологическом фрейме: в первом случае он определяется принципами сетевого подхода, во втором случае — принципами нового институционализма и социального конструктивизма.

Третья исследовательская группа (А.В. Чугунов, Л.В. Видясова и др.) активно исследует электронное гражданское участие, формирующееся на основе государственных сервисов, обеспечивающих обратную связь между властью и обществом[1]. Анализируемую группу отличает наличие многоплановых и разноформатных эмпирических исследований проблемы, преимущественно на основе кейсов мегаполисов. По мнению А.В. Чугунова, «можно констатировать, что методы и технологии электронного участия являются необходимым “механизмом” (или экосистемой) обеспечения реализации принципов и концепции *e-Governance* в сфере государственного и муниципального управления»[2]. Причем в данном контексте технологии и сервисы *e-Government* играют уже вспомогательную роль или роль базовой информационно-технологической платформы, обеспечивающей взаимодействие в режиме *G2G*, *G2C*, *G2B*[3].

Важным выводом исследователей данной группы является то, что цифровое гражданство как совокупность ценностей, норм и стратегий формируется не само по себе, а в условиях коэволюции *e-Government* и *e-Participation*. Следовательно, в процессе формирования культуры электронного участия технологии вторичны, а контексты, институты иакторы первичны. Тем самым исследовательская группа, в отличие от ранее представленных команд, не следует традиции максимально широкого понимания цифрового гражданства, так как, помимо пользовательского статуса, более важными признаются такие параметры активности, как гражданское участие и формирование социального капитала в интернет-пространстве.

Четвертая исследовательская группа (А.С. Ахременко, Д.К. Стукал, А.П. Петров) продуцирует междисциплинарные исследования поведения в социальных медиа на основе преимущественно нереактивных методов. Исследователи концентрируют свои усилия вокруг исследовательского вопроса о факторах, влияющих на распространение тех или иных моделей поведения. Своими эмпирическими исследованиями авторы подтвердили ряд важных выводов о том, что «социальные сети способны аккумулировать и концентрировать протестный потенциал, который может затем выплескиваться на улицу; сетевые связи между индивидами в онлайн-среде родственны связям в физической реальности; цифровые платформы могут выступать центральными площадками формулирования коллективных

---

[1] *Белый В.А., Видясова Л.А., Чугунов А.В.* Электронная среда взаимодействия власти и граждан в современном мегаполисе // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия: Социология. 2022. № 2. С. 105–122.

[2] *Чугунов А.В.* Электронное участие в контексте трансформации концепции демократии // Управленческое консультирование. 2017. № 8 (104). С. 14–20.

[3] Там же.

целей и идентичностей»[1]. Такое понимание природы и потенциала влияния цифровых технологий коммуникаций максимально приближено к пониманию цифрового гражданства родоначальниками одноименной концепции. Крайне важно, что, исходя из логики авторов четвертой группы, можно сделать вывод о многообразии стратегий, направлений и форматов цифрового гражданства в условиях платформизации.

Пятая исследовательская группа (Е.В. Бродовская, Р.В. Пырма, А.Ю. Домбровская, А.А. Азаров, А.С. Огнев, В.А. Лукушин) привнесла в дискурс российских политических исследований дискуссию вокруг понимания основного содержания концепции цифрового гражданства[2]. В этом контексте исследователи работают над проблематикой цифрового гражданства на основе синтеза принципов сетевого и когнитивистского подходов[3], опираясь при этом на гибридные эмпирические стратегии, объединяющие традиционные методы политической социологии и методы социально-медийной предиктивной аналитики[4].

На основе результатов многолетней практики прикладных исследований исследовательской группы можно обозначить ключевые направления цифрового гражданства в политической сфере: развитие цифрового активизма, риски цифровой коммуникации и обеспечение цифрового суверенитета. Представленные результаты объединяют общая методология и методика, базирующиеся на гибридной стратегии исследований и триангуляции методов исследования, включающих массовые онлайн-опросы, когнитивное картирование цифрового контента, а также автоматизированный социально-медийный анализ информационных потоков[5].

Существенное влияние на развитие концепции цифрового гражданства оказало развитие цифровых сервисов и платформ, обозначившее новую веху в развитии гражданского активизма. Именно вопросы киберактивности наиболее часто упоминаются в качестве трансляции цифровой гражданственности в современной политической науке. Данный факт имеет под собой прочные основания, связанные с растущим трендом на расширение форматов и каналов цифровой активности, распространенность и доступность социальных сетей и мессенджеров как основной среды их проявления. Результаты прикладных исследований показали, что именно поколения «миллениалов» и «зумеров», составляющих ядро российской интернет-аудитории, фиксируют наибольший запрос на проявление гражданской активности посредством онлайн-ресурсов. Исследованиями подтверждено, что каждый третий молодой россиянин имеет опыт объединения усилий с другими для реализации гражданских инициатив, а каждый четвертый хотел бы включиться в совместные действия с другими гражданами.

---

[1] *Ахременко А.С., Стукал Д.К., Петров А.П.* Сеть или текст? Факторы распространения протеста в социальных медиа: теория и анализ данных // Полис. Политические исследования. 2020. № 2. С. 73–91.

[2] *Бродовская Е.В.* Цифровые граждане, цифровое гражданство и цифровая гражданственность // Власть. 2019. № 4. С. 65–69.

[3] *Бродовская Е., Домбровская А., Пырма Р., Азаров А., Синяков А.* Цифровая гражданственность в оценках российской молодежи // Политическая экспертиза: Политэкс. 2019. № 15 (3). С. 326–344.

[4] *Бродовская Е.В., Хуанг Т.* Цифровое поколение: гражданская мобилизация и политический протест российской молодежи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 5 (153). С. 3–18.

[5] *Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Карзубов Д.Н., Синяков А.В.* Развитие методологии и методики интеллектуального поиска цифровых маркеров политических процессов в социальных медиа // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 5. С. 79–104.

Социальные сети оказывают существенное влияние на формирование установок гражданского активизма, и на их основе происходит развитие гражданских инфраструктур (платформ, лидеров мнений, партнерских сетей, комьюнити, интернет-культур и т.д.), выполняющих функции рекрутинга, артикулирования и агрегирования интересов, мобилизации ресурсов. При этом базовым противоречием является баланс между декларируемыми и реальными политическими практиками, что выражено в рассмотренных ранее идеях кликтивизма. Для молодых россиян цифровая среда является местом проявления интереса к общественно-политической проблематике при доминировании «зрительского» формата поведения и значительной представленности кликтивистов в общем репертуаре гражданской активности российской молодежи. При этом общая структура ролевых моделей цифровой активности молодежи указывает на преимущественно лояльный характер их деятельности по отношению к политической системе, обладающий довольной высокой устойчивостью (рис. 1).

**Рис. 1.** Соотношение лояльных и оппозиционных акторов как наиболее показательных типов гражданского активизма российской молодежи

Значительные усилия современных исследователей прикованы и к идентификации и осмыслению рисков цифровых коммуникаций. В большинстве случаев речь идет о влиянии на молодежные группы, которые наиболее восприимчивы к манипулятивному и фейковому воздействию и выступают объектом информационного противоборства между отдельными политическими акторами и целыми государствами. Кроме прочего, Интернет и социальные медиа представляют пространства циркуляции деструктивного контента, который включает в себя комплекс общественно опасных идеологий, экстремизм и терроризм, а также иные радикальные идеи, открытое распространение которых подрывает общественно-политическую стабильность и безопасность граждан.

Результаты использования комбинации цифровых и нецифровых методов демонстрируют корреспондирующий набор опасных явлений в сознании российской молодежи (рис. 2). Развитие цифрового гражданства направлено на смягчение негативных эффектов цифровых коммуникаций, идентификацию подобных рисков и выработку мер противодействия им путем внедрения конструктивных форм использования современных цифровых платформ, в первую очередь для созидания, просвещения и проактивной деятельности.

Наиболее масштабные для политической системы риски цифровой коммуникации состоят в регулярном внешнем информационном давлении, проявляемом в самых разных сферах: от вмешательства в избирательный процесс и делегитимизации

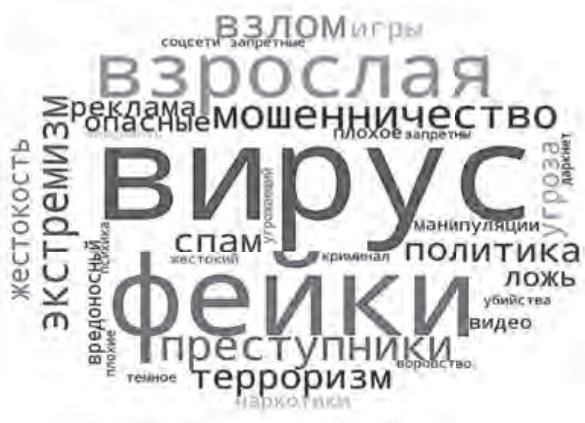


**Рис. 2.** Наиболее опасные явления в цифровом пространстве, влияющие на сознание российской молодежи

основных электоральных процедур и результатов выборов (рис. 3) до разжигания межнациональной (межэтнической розни), попыток массовой протестной мобилизации, искажения истории и распространения в массовом сознании установок, подрывающих территориальную целостность страны. Подобные вопросы особенно остро встают перед государством в период нарастания глобального информационного противоборства, сопровождающего реальные геополитические процессы и перестройку мирового порядка. В подобных условиях приоритетной задачей для государства и гражданского общества является противодействие подобному вмешательству и создание условий для цифрового суверенитета путем выстраивания собственной технологической инфраструктуры, усиления механизмов защиты пользователей от деструктивной информации, лимитирование внешней агрессии и фактов ограничения политической и электоральной субъектности граждан.

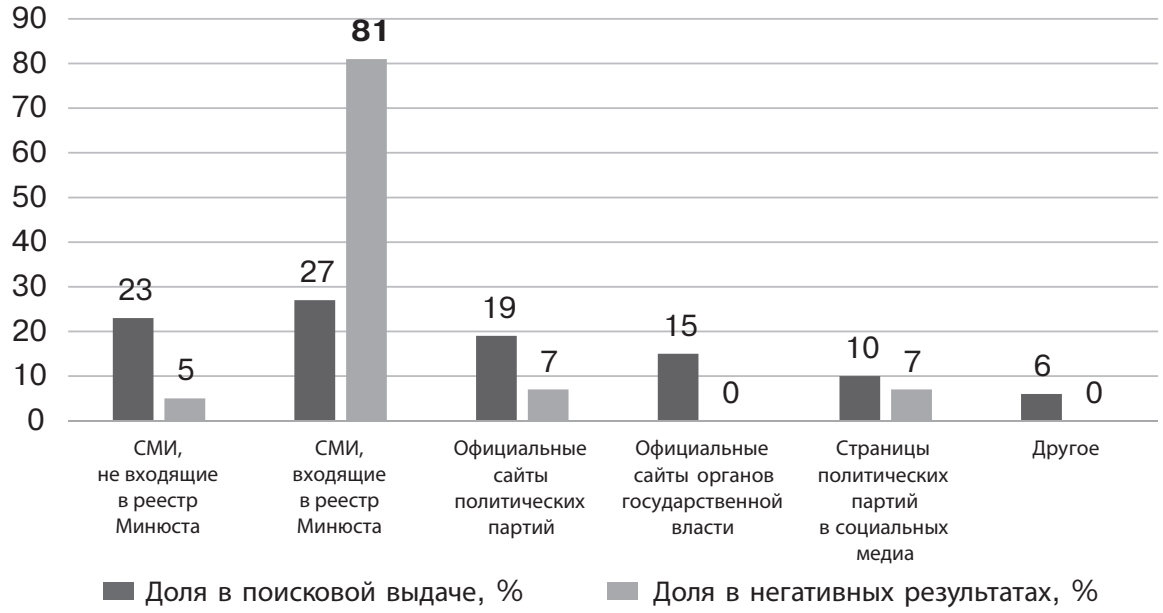


**Рис. 3.** Манипуляции системы *Google* результатами поисковой выдачи, посвященные выборам 2021 г. в России («эффект *SEME*»). Подавление эффекта манипулирования поисковой системой

Итак, как можно видеть, концепция цифрового гражданства, являясь ответом на вызовы цифровой эпохи, претерпела динамичные изменения, эволюционировав от кибероптимизма и универсализма к пониманию сложности и дуалистичности природы, многообразия форм, стратегий и эффектов реализации этого явления на практике. Концепция цифрового гражданства переросла период максимально широкого понимания принципов идентификации цифровых граждан. На смену представлению о том, что цифровыми гражданами являются все пользователи, составляющие интернет-аудиторию, пришли диверсифицированные идеи относительно учета таких параметров, как вовлеченность в определенные типы социального и политического действия, наличие цифровых компетенций и др. Кроме этого, цифровой детерминизм в понимании факторов формирования цифрового гражданства сменился представлениями, согласно которым сильные связи и опыт социализации-офлайн имеют не меньшее значение в рассматриваемом процессе.

С точки зрения методологии политических исследований цифрового гражданства на современном этапе чаще всего применяются различные версии нового институционализма, сетевой подход, социальный конструктивизм и когнитивный подход. Тогда как методика эмпирических политических исследований цифрового гражданства чаще всего опирается на такие методы, как массовый опрос, экспертный опрос, гораздо реже — на методики и инструменты социально-медийной предиктивной аналитики и когнитивной инструментальной диагностики. Перспективным представляется синтезирование принципов обозначенных подходов, усиление позиций социального конструктивизма, а также гибридная стратегия эмпирического исследования, сочетающая разные типы методов, работающих как с цифровым, так и с реальным пространством.

*Е.В. Бродовская, Р.В. Пырма, В.А. Лукушин*

**Литература**

1. *Ахременко А.С., Бродовская Е.В.* Влияние новых информационно-коммуникационных технологий на гражданский и политический активизм: «линии напряжения» дискуссионного поля // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6 (166). С. 4–27.

2. *Бродовская Е.В.* Цифровые граждане, цифровое гражданство и цифровая гражданственность // Власть. 2019. Т. 27. № 4. С. 65–69.

3. *Бродовская Е.В.* Формирование цифрового гражданства в школе: результаты социологического исследования в Ставропольском крае // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2022. № 2. С. 61–70.

4. *Пырма Р.В.* Политические грани цифрового гражданства // Власть. 2019. Т. 27. № 4. С. 69–78.

5. *Mossberger K., Tolbert C.J., McNeal R.S.* Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation. MITPress, 2007. — 234 p.

Раздел III

# Государство и государственная политика

# Антикризисная государственная политика в условиях инфодемии

В современных условиях нарастания рисков и угроз, неопределенности будущего человечество постоянно сталкивается с новыми вызовами. Эти вызовы по-разному воспринимаются на разных уровнях организации пространства и жизни — от глобального до национального и даже индивидуального. Особое внимание и практическая реализация антикризисных мер на старые и новые угрозы требуется от основного традиционного общественно-политического института — государства. В этом смысле пандемия COVID-19 еще раз показала издержки ригидности системы государственного управления, невысокую эффективность институтов власти в социальной сфере и здравоохранении, сочетавшиеся с ограничениями в области прав и свобод гражданина.

Принципиально важным, сопутствующим COVID-19 вызовом для государства стала иинфодемия, которую можно определить как «возникающий во время эпидемии избыток информации, которая может быть как точной, так и недостоверной»[1]. Примечательно, что с начала пандемии в условиях недостатка информации от официальных представителей государства и глобальных МПО за первый месяц на канале *YouTube* экспоненциально возросло количество видео с названием COVID-19 (361 млн роликов!), резко увеличилась публикационная активность авторов, работы которых были посвящены пандемии (19 200 статей были размещены в *GoogleScholar*). Количество запросов по тематике COVID-19 возросло с 50 до 70% во всех возрастных группах[2]. При этом информация, запрашиваемая населением, в большинстве случаев могла быть определена как недостоверная, содержащая дезинформацию не только о сути пандемии и новой инфекции, но и способах борьбы с ней[3].Отсутствие достоверной информации, а главное, акторов, способных сдерживать распространение фейков и лжи, позволило наводнить глобальное информационное пространство разнообразными сообщениями как о виновниках COVID-19 (Китай, США, Россия, тайные общества...), так и о довольно экзотических с медицинской точки зрения антипандемийных мерах, включая лечение народными средствами[4]. С новой силой распространились разнообразные конспирологические теории контроля народонаселения, заговора правительств и отдельных персон против человечества

---

[1] Первая конференция ВОЗ по инфодемиологии 30 июня — 16 июля 2020 г. URL: https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2020/06/30/default-calendar/1st-who-infodemiology-conference (дата обращения: 12.09.2022).

[2] Understanding the infodemic and misinformation in the fight against COVID-19 [Пониманиеинфодемииидезинформациивборьбес COVID-19]. URL: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-infodemic_eng.pdf (дата обращения: 12.09.2022).

[3] *Раренко А.А., Воронцова В.О.* Инфодемия в COVID-19 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология: Реферативный журнал. 2021. № 2. С. 93–103. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/infodemiya-v-usloviyah-pandemii-covid-19 (дата обращения: 14.09.2022).

[4] *Кошкин П.* Коронавирус в умах: как пандемия превратилась в информационную эпидемию и как с ней борроться. Сайт Российского совета по международным делам от 8 апреля. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/koronavirus-v-umakh-kak-pandemiya-prevratilas-v-informatsionnuyu-epidemiyu-i-kak-s-ney-borotsya/ (дата обращения: 14.09.2022).

и т.д. Неудивительно, что действия на основе недостоверной информации спровоцировали и дополнительные жертвы[1].

Безусловно, элементы инфодемии появились значительно раньше COVID-19 и связаны были с информационными войнами, касающимися разных сюжетов современной истории. В этом смысле борьба с фейками составляет основу антиинфодемийной глобальной политики[2], в рамках которой борьба с ложной информацией по статусу равнозначна борьбе с самим вирусом. Негативные последствия инфодемии связаны и со многими рисками. Так, в условиях разнообразия и переизбытка информации лицам, принимающим решения (включая работников системы здравоохранения), сложно найти надежные источники и надежное руководство к действию. В данном случае надежными источниками могут выступать научные организации. При этом количество неблагонадежных источников велико: от веб-сайтов, блогов до отдельных «инфлюэнсеров». Естественной реакцией людей на кризисы, эпидемии и другие вызовы являются тревога, депрессия, подавленность, что препятствует принятию релевантных эффективных решений в условиях недостатка времени для глубокого анализа ситуации. Фейковые новости и подделанные видео являются дополнительными мощными катализаторами разжигания насилия и разделения сообществ, насилия, нарушений прав человека. По мере роста производства и распространения контента распространяется и сама дезинформация, которая никем не контролируется. Таким образом, инфодемия ускоряется и закрепляет дезинформацию[3].

Принципиально важно подчеркнуть, что в современных условиях государственная антиинфодемийная политика неизбежно включает в себя взаимодействие с международными организациями, и прежде всего с ООН, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая определяет основные стратегии противодействия инфодемии на наднациональном уровне[4].

Большим достижением в рамках международной кооперации в борьбе с инфодемией стало развитие под эгидой ВОЗ так называемой инфодемиологии — «научной дисциплины, цель которой состоит в создании устойчивых инструментов, которые органы здравоохранения и сообщества могут использовать для предотвращения и преодоления вредных последствий, вызванных инфодемией». Конкретными инструментами инфодемиологии являются создание *EARS*, инструмента раннего реагирования и социального прослушивания с поддержкой искусственного интеллекта, который помогает органам здравоохранения быстро выявлять

---

[1] Согласно последним исследованиям, за первые три месяца 2020 г. почти 6 тыс. человек по всему миру были госпитализированы из-за дезинформации о коронавирусе. Исследователи говорят, что за этот период по меньшей мере 800 человек могли умереть из-за дезинформации, связанной с COVID-19. URL: https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/4/article-p1621.xml (дата обращения: 14.09.2022).

[2] Борьба с фейковыми новостями о коронавирусе // Новостной портал БГПУ им. М. Акмуллы. 2020. 8 апреля. URL: https://bspu.ru/news/11273 (дата обращения: 05.10.2022).

[3] Understanding the infodemic and misinformation in the fight against COVID-19 [Понимание инфодемии и дезинформации в борьбе с COVID-19]. URL: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-infodemic_eng.pdf (дата обращения: 12.09.2022).

[4] Так, в рамках ВОЗ был запущен специальный портал, посвященный борьбе с инфодемией. 13 государств, представляющих разные мировые регионы, при инициативе ВОЗ подписали Межрегиональное соглашение об «инфодемии» в контексте COVID-19 [Cross-Regional Statementon "Infodemic" in the Context of COVID-19], Всемирным банком при техническом руководстве ВОЗ 8–9 сентября 2022 г. был официально учрежден Новый фонд для предотвращения пандемии, обеспечения готовности и реагирования (*PPR*).

растущие нарративы и «информационные пробелы», мешающие людям получать сведения, необходимые для принятия правильных решений в отношении здоровья. На практике для решения последней задачи ООН создала компанию «Разрушители мифов», сотрудники которой активно работали с основными поисковыми системами, социальными сетями, находили ложную информацию и принимали меры по ее нивелированию. Еще одним удобным инструментом борьбы с инфодемией и дезинформацией ООН стала платформа *Verified*. Наряду с этим ВОЗ определяла, борясь с дезинформацией, выпускала и распространяла собственное руководство, основанное на научных фактах.

В рамках партнерских отношений ВОЗ активно работает с государствами и надгосударственными структурами над укреплением цифровых возможностей и использованием принципов «социальной прививки» для повышения уровня цифровой и медицинской грамотности, повышения устойчивости к дезинформации и предоставления инновационных способов распространения надежной информации о здоровье в локальных сообществах[1].

На практике эти направления конкретизируются в виде сотрудничества ВОЗ с аналитическими структурами. Главной целью является исследование общественных настроений в разных странах мира, общественного мнения путем еженедельного просмотра 1,6 млн единиц информации на различных электронных платформах. Далее при помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ) на базе созданной с начала пандемии системы общественного здравоохранения анализируемая информация классифицируется по таким ключевым категориям, как причина, болезнь, вмешательство и лечение. ИИ позволяет выделить наиболее популярные сюжеты и темы общественного мнения для оперативной и эффективной выработки рекомендаций в сфере здравоохранения. Крайне важным является тот факт, что ИИ, как правило, на основе анализа информации в социальных сетях также исследует эмоциональный контекст сообщений — настроения и классифицирует их на позитивные, негативные и нейтральные. Подобный качественный контент-анализ является отправной точкой для мер по «успокоению» общественности путем выработки дифференцированных стратегий работы с разными сегментами общества. Практика показала, что некоторые темы появляются в информационном глобальном и региональном пространствах с определенной периодичностью, что позволяет ВОЗ предупреждать очередную волну обсуждений.

С учетом того, что информация анализируется и на ее основе определенные рекомендации ВОЗ и партнерских наднациональных структур (ЮНЕСКО и др.) распространяются в разных мировых регионах, некоторые из которых являются развивающимися, ВОЗ учитывает особенности информационного пространства, его акторов на региональном и национальном уровнях. Так, например, осозна-

[1] К таким нововведениям можно отнести разработку программы исследований в области общественного здравоохранения, которая дает рекомендации о том, в какие именно исследования инвестировать, чтобы лучше понять, измерить и отреагировать на инфодемию. Другими инструментами являются еженедельный сбор общедоступных социальных и новостных медиа, данных веб-аналитики и онлайн-поиска для выявления и понимания шаблонов онлайн-разговоров, связанных с инфодемией; проведение визуального сетевого анализа, чтобы лучше понять экосистемы, в которых может процветать дезинформация; создание репозитория из порядка 200 активных групп проверки фактов о COVID-19, которые проверяют утверждения, связанные с COVID-19, на более чем 40 языках; уточнение инфодемической обсерватории на основе искусственного интеллекта для оценки текущего состояния дезинформации и распространения дезинформации.

вая, что не все жители стран имеют доступ к Интернету (африканские страны), но, как и все остальные, являются жертвами инфодемии, ВОЗ сотрудничает со специализированными структурами (ООН *GlobalPulse*), использующими большие данные и технологии ИИ в целях решения проблем развития и гуманитарных вопросов посредством распространения официальной достоверной информации по радио.

Для продвижения прогресса в области инфодемиологии ВОЗ регулярно созывает мировое сообщество на конференции для обсуждения и определения путей продвижения по темам управления инфодемией. ВОЗ также тесно сотрудничает с социальными сетями и технологическими компаниями, чтобы помочь в сдерживании дезинформации, которая распространяется на ее платформах. В феврале 2020 г. высокопоставленные лица агентства здравоохранения встретились в штабквартире *Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России), чтобы договориться о том, как продвигать правильную медицинскую информацию о COVID-19. В настоящее время ВОЗ работает с более чем 50 цифровыми компаниями и платформами социальных сетей, включая *TikTok, Google, Viber, WhatsApp* и *YouTube*. Это позволяет гарантировать, что научно обоснованная информация о здоровье от организации или из других официальных источников появляется первой при поиске информации, связанной с COVID-19. Даже в приложении для знакомств *Tinder* теперь есть напоминания ВОЗ, поскольку социальное дистанцирование все еще важно соблюдать во время свидания. Кстати, следует отметить, что и сами глобальные информационные платформы принимают меры по борьбе с фейками[1].

Об оценке эффективности глобальной антиинфодемийной политики можно судить по отчету института *Reuters* и Оксфордского университета о том, как люди в восьми странах (Аргентина, Бразилия, Германия, Япония, Южная Корея, Испания, Великобритания и США) получали доступ к новостям и информации о COVID-19 и как изменились их предпочтения в отношении источников информации за пандемийный год в период с марта 2020 г. по апрель 2021 г., какие были сделаны выводы[2].

*Во-первых*, почти во всех странах сведения новостных агентств (хотя они охватывали меньше людей в возрасте от 18 до 24 лет и с низким или средним уровнем образования) наиболее широко использовались для получения информации о коронавирусе, и на протяжении года доверие к ним возрастало. Некоторый эффект «сплочения вокруг флага» (доверия информации, распространяемой официальными источниками), наблюдавшийся ранее во время кризиса, рассеивался, хотя и не в равной степени для всех государственных институтов. Доверие к новостным организациям снизилось в среднем на 8 пунктов, но доверие к национальному правительству снизилось в среднем на 13[3]. При этом в большинстве стран национальные органы здравоохранения, глобальные здравоохранительные организации,

---

[1] Так, глобальные площадки *Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Reddit, Twitter* и *YouTube* в марте 2020 г. выпустили совместное заявление об объединении для борьбы с недостоверной информацией о коронавирусе. *Сети Facebook, Twitter и Instagram заблокированы как принадлежащие корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена.*

[2] An on going infodemic: How people in eight countries access news and information about Coronavirus ayear into the pandemic [Непрекращающаяся инфодемия: как люди в восьми странах получают доступ к новостям и информации о коронавирусе за год до начала пандемии]. URL: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/ongoing-infodemic-how-people-eight-countries-access-news-and-information-about-coronavirus-year (дата обращения: 04.10.2022).

[3] Там же.

а также ученые, врачи и другие эксперты в области здравоохранения по-прежнему пользуются большим доверием (хотя в Аргентине и США оно снизилось).

*Во-вторых*, разрыв доверия между информацией о коронавирусе от новостных организаций и информацией на различных платформах остается заметным. В среднем разрыв между новостными организациями и социальными сетями составляет 21 пункт, между новостными и видеосайтами — 22, а между новостями и приложениями для обмена сообщениями — 28. При этом в Японии разрыв статистически незначим, а в Аргентине и Бразилии поисковым системам доверяют больше при поиске новостей и информации о COVID-19.

Опыт показал, что роль политико-административных систем в распространении правил и стандартов поведения в условиях пандемии крайне неоднозначна. С одной стороны, ведущие политики выступают в качестве «гарантов стабильности» и должны воплощать правильные способы поведения, а также быть «рупорами» достоверной информации обо всем, что касается COVID-19, о том, какие меры предпринимаются государством в целом для поддержки граждан и борьбы с пандемией. В то же время граждане исследованных восьми стран, представляющих разные мировые регионы, отметили, что общественное беспокойство в первую очередь сосредоточено на тех сообщениях, которые исходят от политических деятелей. В среднем 35% респондентов в этих странах считают, что отдельные политики своими заявлениями или поведением стали источником распространения вводящей в заблуждение информации.

В целом же во всех странах уровень доверия к дезинформации о вакцинах против коронавируса очень низок. Так, более 90% опрошенных не верят ни одному из пяти ложных утверждений, включенных в опрос. Более половины респондентов опроса отметили, что СМИ помогли им понять пандемию, а большинство говорит, что они уверены в своих знаниях об эффективности вакцин, о том, как они работают, и об их безопасности.

На уровне национального государства рекомендации международных структур приобретают более четкие очертания и являются основой для *антиинфодемийной государственной политики*. Сама она лишь отчасти обладает новизной для государственных институтов, так как борьба с дезинформацией и фейками уже традиционно рассматривается современными государствами как ключевое направление их активности, а и инфовойны как угрозы национальной безопасности. Акцент сделан лишь на содержании контента, посвященного распространению сведений о пандемии, ее последствиях, проявлениях и способах лечения. Так что в этом контексте главными принципами национальной антиинфодемийной политики остаются оперативность, полнота и защита конфиденциальных сведений.

Оперативность является первым ключевым атрибутом, используемым для оценки распространения официальной информации[1]. При этом такая информация должна быть прозрачной, честно сообщая как хорошие, так и плохие новости[2]. В случае быстроразвивающихся кризисов даже небольшие задержки могут

---

[1] *Norris F.H., Stevens S.P., Pfefferbaum B., Wyche K.F., Pfefferbaum R.L.* Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness // American Journal of Community Psychology. 2008. No. 41 (1). P. 127–150. DOI: 10.1007/s10464-007-9156-6. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18157631/ (accessed: 07.10.2022).

[2] *Gray L., MacDonald C., Mackie B., Paton D., Johnston D., Baker M.G.* Community responses to communication campaigns for influenza a (H1N1): A focus group study // BMC Public Health. 2012. No. 12 (1). P. 205. DOI: 10.1186/1471-2458-12-205. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22429559/ (accessed: 07.10.2022).

нанести серьезный ущерб обществу, препятствуя формулировке адекватных ситуации ответов[1]. В кризисных условиях желательно распространять все «то, что известно», это укрепляет общественное доверие[2], а отсутствие такой информации порождает слухи, заполняющие «пробел», вызывая общественное беспокойство[3]. Широкая информированность об эпидемии может обеспечить чувство контроля, поддержать психологическую безопасность населения в целом[4], дать людям возможность понять наиболее важные для них аспекты, привести к поведенческим изменениям, обеспечивающим их безопасность[5].

Полнота информации, будучи ключевым условием идентификации характера эпидемии со стороны правительства, должна быть соотнесена с гарантиями защиты частной жизни. Впрочем, эта ситуация противоречива: так, подробная информация о лицах с подтвержденным инфицированием (такая, как их регион проживания, история поездок и лечения), будучи доступной широкой общественности, помогает определить районы высокого риска и предотвратить новые инфекции[6]. Однако такая информация создает проблемы с конфиденциальностью[7].

В целом же с содержательной и процессуальной точек зрения антикризисная государственная информационная политика противодействия инфодемии комбинирует как мероприятия нормативно-правового (принятие антифейковых законов, установление уголовной ответственности за распространение ложной информации о COVID-19, отслеживание и работа специальных органов с неблагонадежными сайтами), просветительско-информационного характера (создание официальных государственных ресурсов для распространения информации о пандемии), так и дополнительные меры по защите конфиденциальной информации, попыткам ограничивать работу социальных сетей и мессенджеров. Нельзя не от-

---

[1] *Heath R.L., O'Hair H.D.* Handbook of risk and crisis communication. Routledge; 2020. URL: https://www.academia.edu/5217861/Handbook_of_risk_and_crisis_communication_Edited_by_Robert_L_Heath_and_H_Dan_OHair_Eds (accessed: 07.10.2022).

[2] *Moon M.J.* Fighting COVID-19 with agility, transparency, and participation: Wicked policy problems and new governance challenges // Public Administration Review. 2020. No. 80 (4). P. 651–656. DOI: 10.1111/puar.13214. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/puar.13214 (accessed: 05.10.2022).

[3] *Kwon K.H., Bang C.C., Egnoto M., Rao H.R.* Social media rumors as improvised public opinion: Semantic network analyses of twitter discourses during Korean saber rattling 2013 // Asian Journal of Communication. 2016. No. 26 (3). P. 201–222. DOI: 10.1080/01292986.2015.1130157. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01292986.2015.1130157 (accessed: 07.10.2022).

[4] *Gómez-Salgado J., Domínguez-Salas S., Romero-Martín M., Ortega-Moreno M., García-Iglesias J.J., Ruiz-Frutos C.* Sense of coherence and psychological distress among healthcare workers during the COVID-19 pandemic in Spain // Sustainability. 2020. No. 12 (17). P. 6855. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.765169/full (accessed: 07.10.2022).

[5] *Gupta S., Nguyen T.D., Rojas F.L., Raman S., Lee B., Bento A., Simon K.I., Wing C.* Tracking public and private responses to the COVID-19 epidemic: Evidence from state and local government actions // National Bureau of Economic Research. 2020 (w27027). DOI: 10.3386/w27027. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27027/w27027.pdf (accessed: 30.09.2022).

[6] *Hu G., Li P., Yuan C., Tao C., Wen H., Liu Q., Qiu W.* Information disclosure during the COVID-19 epidemic in China: City-level observational study // Journal of Medical Internet Research. 2020. No. 22 (8). DOI: 10.2196/19572. URL: https://www.jmir.org/2020/8/e19572/ (accessed: 07.10.2022).

[7] В Китае, например, было по крайней мере 22 случая, когда раскрытие чрезмерно подробной информации, такой как история поездок, позволило идентифицировать причастных к этому лиц, что привело к издевательствам, нападкам и общественным спорам. В этом смысле вопросы, связанные с обеспечением конфиденциальности информации, являются наиболее проблемными местами антипандемийной политики и разными государствами решаются в соответствии с особой линией и приоритетами национальных политико-административных элит.

метить и ключевую роль местного уровня власти, который также является значимым актором антиинфодемийной политики.

В рамках первого направления многие государства ужесточили ответственность за распространение ложной информации. Примечательно, что страны Юго-Восточной Азии более скоординированно и быстро перестроились для ответа на распространение COVID-19 и инфодемии, расширяя ответственность в виде тюремных сроков за распространение ложной информации (Индонезия, Малайзия), штрафов за недостоверную и заведомо ложную информацию (Вьетнам). Однако некоторые страны из данного региона не пошли на такие жесткие меры, так, Сингапур обязал «виновников», размещавших непроверенную информацию, удалять ее. Сразу же с распространением самой пандемии в 2019 г. страны АТР предприняли усилия по регулированию медийного пространства параллельно с ужесточением законодательства (принятие «Закона о лжи и манипуляциях» в Сингапуре, «Закона о кибербезопасности» во Вьетнаме, Малайзии). Китай принял антифейковые законы еще задолго до появления пандемии в 2015 г., однако за распространение любой ложной информации (включая фейки о COVID-19) можно лишиться свободы сроком до семи лет.

Западноевропейские государства при реализации антиинфодемийных кампаний также работают с онлайн-платформами, блокируя ложную и маркируя достоверную информацию. Отдельные государства ЕС каждое по-своему меняют законодательство в сфере борьбы с дезинформацией[1]. Российский опыт изменения национального законодательства не выглядит уникальным. Пакет законов, запрещающих создание и распространение фейковых новостей, был принят уже в марте 2019 г. Это были принятые Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», а также ФЗ № 31-ФЗ «О внесении изменений в ст. 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», запрещающие распространение в Интернете информации, создающей «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности, угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи»[2]. 1 апреля 2020 г. Президент РФ подписал закон об уголовном наказании за фейки, повлекшие тяж-

---

[1] Например, власти Германии после принятия в 2017 г. закона о сетевой практике обязывают интернет-платформы удалять фейки в течение суток, невыполнение этого требования влечет крупные штрафы. Во Франции в 2018 г. появился закон о борьбе с фейковыми новостями, но он в большей степени касается политических фейков, препятствующих прозрачности выборов. В контексте борьбы с коронавирусом французское правительство создало на своем сайте страницу, где делало подборки журналистских публикаций, которые, по мнению правительства, были достоверными или, наоборот, фейковыми. Позиция британского правительства заключается в том, что важнее информировать граждан о фактах, чем просто опровергать ложную информацию. После того как в Великобритании начали сжигать вышки 5G из-за фейков о том, что они вызывают коронавирус, британский министр по цифровизации и культуре О. Дауден провел переговоры с *Facebook, YouTube, Twitter (Facebook и Twitter признаны экстремистскими и запрещены в России)* по поводу борьбы с распространением таких фейк-ньюс. В Испании фейковые новости включили в стратегию национальной безопасности как одну из угроз, наряду с коронавирусом и изменением климата.

[2] Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», а также ФЗ № 31-ФЗ «О внесении изменений в ст. 15-3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

кие последствия. Ответственность в случае причинения вреда здоровью составила до трех лет лишения свободы, в случае смерти — до пяти лет[1].

Кроме того, федеральные законы ввели части девятую, десятую и одиннадцатую в ст. 13.15 КоАП, а также предусмотрели ограничение доступа к ресурсу (в случае, если СМИ отказывается немедленно удалить размещенную новость) и даже блокировку ресурса, разместившего фейковую новость. Контроль за исполнением данной функции был возложен на Роскомнадзор. Принятые изменения в законодательство определили штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб. для обычных граждан, от 60 тыс. руб. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, а также от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для компаний. Этот диапазон сумм предусмотрен для тех, кто попался на фейковых новостях впервые. Если же публикация привела к чьей-либо смерти или причинила вред здоровью, нанесла ущерб имуществу — штраф вырастает до 400 тыс. руб. для обычных граждан, 900 тыс. руб. для должностных лиц и 1,5 млн руб. для юридических[2].

В рамках второй группы мер вслед за глобальной инициативой по созданию порталов, направленных на распространение достоверной информации об источниках, сущности и способах борьбы с пандемией, национальные государства также запускают государственные информационные ресурсы, содержащие актуальные, научно обоснованные сведения о COVID-19, оспе обезьян и т.п. Информация именно из этих источников должна быть основанием для поведения любых социальных групп в условиях неопределенности и кризиса. Например, в РФ был запущен универсальный портал стопкоронавирус.рф, содержащий как официальную позицию ВОЗ, статистику заболеваемости от ключевых экспертных международных структур (Университет Джонса Хопкинса), так и информацию о распространении пандемии в стране, мерах борьбы с инфекцией, поддержки НКО и бизнеса, информацию об ответственности за нарушение антиковидных мероприятий и т.д.[3]

На официальном сайте Белого дома постоянно обновлялась информация о ключевых направлениях борьбы с пандемией, включая «Защиту от COVID-19 и лечение, подготовку к новым вариантам/штаммам, предотвращение экономических и образовательных сбоев и продолжению лидирующих позиций США по вакцинации мира и спасению жизней»[4]. В Великобритании материалы информационного ресурса *StoptheSpread* транслировались по телевидению, веб-сайту и в приложениях *BBC World* в мае и июне 2020 г. Действия этого ресурса были направлены на повышение осведомленности общественности об объеме дезинформации о COVID-19 и поощрение людей к перепроверке информации, тем самым ограничивая ущерб и распространение ложной информации[5].

---

[1] Закон о фейках, ст. 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 207.2. («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»).

[2] Официальный сайт компании Право.ру. URL: https://pravo.ru/story/222165/ (дата обращения: 25.09.2022).

[3] Официальный сайт стопкоронавирус.рф. URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/about-covid/ (дата обращения: 19.09.2022).

[4] Официальный сайт Белого дома. URL: https://www.whitehouse.gov/covidplan/ (дата обращения: 06.10.2022).

[5] Опыт этой страны интересен еще и тем, что в дополнение к достоверным сообщениям в социальных сетях появилась инновационная онлайн-игра *GoViral!*, созданная на основе того факта, что всего одна игра может снизить воспринимаемую достоверность фейковых новостей в среднем на 21%. Игра была разработана в сотрудничестве между Кембриджским университетом и Кабинетом мини-

Следует отметить сотрудничество государственных и негосударственных акторов в борьбе с распространением дезинформации по поводу коронавирусной инфекции. Частично об этом упоминалось выше. Примерно те же механизмы используются и национальными государствами в практиках выстраивания сотрудничества с негосударственными участниками информационного пространства.

Например, в Китае архитектура структур борьбы с инфодемией включает государственных и частных акторов на уровне провайдеров, которые при обнаружении фейков блокируют их и обязательно информируют об этом компетентные государственные органы. Минимальным наказанием за распространение дезинформации в КНР является предупреждение. Первый прецедент — вынесение предупреждения и требование публичного извинения китайскому врачу Ли Вэньляню, первым сообщившему о распространении COVID-19 в китайской социальной сети *WeChat* еще осенью 2019 г. С марта 2019 г. в КНР было заблокировано более 18 тыс. аккаунтов за распространение фейков о коронавирусе.

В России представители гражданского общества создали «Энциклопедию коронавирусных слухов и фейков», «Лигу безопасного Интернета» для борьбы с дезинформацией. По данным последней организации, к маю 2020 г. был выявлен 3701 фейк о коронавирусе. Чаще всего они исходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской области, Татарстана, Крыма и некоторых регионов Северного Кавказа. Третьего ноября 2021 г. рабочая группа по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Общественной палаты РФ создала горячую линию «АнтиФейкКовид», и только «за первую половину 2021 г. ОП РФ при содействии корпуса киберволонтеров выявила 13 тыс. фейковых информационных материалов по теме коронавируса и 23 тыс. — по теме вакцинации»[1].

Наряду с упомянутыми выше двумя направлениями борьбы с инфодемией особое значение начинают приобретать используемые государством так называемые социальные антикризисные технологии, суть которых сводится к поддержанию постоянных коммуникаций между государством и, прежде всего, представителями лидерской подсистемы и населением[2]. В данном контексте информационная политика государства в сфере противодействия инфодемии должна быть особенно тщательно реализована и нацелена на следующие элементы. *Во-первых*, это раскрытие информации о первых подтвержденных случаях заболевания COVID-19, что явилось одной из наиболее эффективных мер по разубеждению скопления людей и мотивации людей оставаться дома[3]. *Во-вторых*, своевременный выпуск ключевой информации может помочь сдержать заражение вирусом за счет улучшения

---

стров Великобритании. Разоблачая самые распространенные тактики инфодемии, игроки узнают, как настоящие новости дискредитируются за счет использования поддельных врачей и лекарств, а также как распространяются и продвигаются ложные слухи, такие как пресловутый заговор *5G*. Игрокам предоставляется общий счет, и они подключаются к «разрушителям мифов» ВОЗ о COVID-19.

[1] Сайт Российского агентства правовой и судебной информации РАПСИ. ОП РФ запускает горячую онлайн-линию «АнтиФейкКовид» // Новости. 2021. 3 ноября. URL: https://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20211103/307505925.html (дата обращения: 19.09.2022).

[2] *Соловьев А.И.* Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект Пресс, 2014. С. 450–453.

[3] *Gupta S., Nguyen T.D., Rojas F.L., Raman S., Lee B., Bento A., Simon K.I., Wing C.* Tracking public and private responses to the COVID-19 epidemic: Evidence from state and local government actions // National Bureau of Economic Research. 2020 (w27027). DOI: 10.3386/w27027. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27027/w27027.pdf (accessed: 30.09.2022).

отслеживания контактов. Например, раскрытие сведений об отдельных подтвержденных случаях, таких как история их поездок, предпринятые действия и видимые симптомы, может предупредить людей, находящихся в тесном контакте с заболевшими, побудить их пройти тестирование и самоизолироваться[1]. *В-третьих*, распространение такой информации помогает развеять слухи и дезинформацию, которые могут подорвать общественное доверие во время беспрецедентной пандемии[2]. Эффективное распространение такой информации может повысить общественное доверие, что имеет решающее значение в борьбе с пандемией[3].

Однако практика показала, что распространение эпидемической информации значительно различается в разных странах. Обзор национальных порталов 193 государств–членов Организации Объединенных Наций показал, что по состоянию на 25 марта 2020 г., когда было зарегистрировано 438 747 подтвержденных случаев в 208 странах/территориях/районах, 110 стран (57%) публично раскрыли ту или иную информацию о COVID-19, а 83 страны (43%) не предоставили никакой информации. Типы информации, предоставляемой правительствами, также различаются. Некоторые страны предоставляют только базовую информацию, такую как данные о вспышке, ограничениях на поездки, практические рекомендации по защите и ответные меры правительства, в то время как другие публикуют более подробную статистическую информацию о эпидемии. Эти несоответствия существуют, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым государства должны распространять информацию в хорошо структурированных и понятных форматах, чтобы быстро доходить до людей, которые в ней нуждаются[4].

В условиях кризиса присутствие политического руководства государства в национальном информационном пространстве является необходимым для демонстрации того, что граждане не «брошены» властью, вместе преодолевают вызовы на основе постоянных прямых коммуникаций. Представители политико-административной элиты, особенно глава государства, систематически информируют население о текущей ситуации, правилах поведения, включая личный пример (ношение масок и перчаток в период пандемии, соблюдение социальной дистанции и т.д.). Таким образом государство в лице политического лидера/лидеров достраивает и замыкает на себе структуру благонадежных, официальных источников информации[5].

---

[1] *Smith L.E., Potts H.W.W., Amlot R., Fear N.T., Michie S., RubinJ*. MedRxiv; 2020. Adherence to the test, trace and isolate system: Results from a time series of 21 nationally representative surveys in the UK (the COVID-19 Rapid Survey of Adherence to Interventions and Responses [CORSAIR] study) 2020.09.15. URL: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.15.20191957v1 (accessed: 30.09.2022).

[2] *Shaw R., Kim Y., Hua J*. Governance, technology and citizen behavior in pandemic: Lessons from COVID-19 in East Asia // Progress in Disaster Science. 2020. No. 6. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300272 (accessed: 30510.2022).

[3] *Moon M.J*. Fighting COVID-19 with agility, transparency, and participation: Wicked policy problems and new governance challenges // Public Administration Review. 2020. No. 80 (4). P. 651–656. DOI: 10.1111/puar.l3214. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/puar.13214 (accessed: 05.10.2022).

[4] Официальный сайт ВОЗ. WHO Strategic Communications Framework for Effective Communications — Caribbean Policy Development Centre [Стратегическая коммуникационная структура для эффективных коммуникаций — Карибский центр разработки политики WHO]. 2017. URL: https://cpdcngo.org/download/who-strategic-communications-framework-for-effective-communications/ (дата обращения: 05.10.2022).

[5] Для российских практик характерны несколько посланий Президента РФ к россиянам относительно нерабочих дней в связи с пандемией, режима самоизоляции в марте 2020 г. В США стоит упомянуть официальное обращение президента Байдена к нации по поводу разъяснения ситуации в сфере борьбы с пандемией, в которой Байден сфокусировался на статистике заболеваемости, пра-

Короче говоря, инфодемия стала мощным вызовом национальным государствам и их населению, отразив необходимость плотного сотрудничества властей с глобальными межгосударственными структурами. Несмотря на то что усилия межправительственных организаций и стран в борьбе с инфодемией были предприняты своевременно и механизмы выработки стратегических глобальных мер ее противодействию разработаны, налажено сотрудничество МПО, национальных правительств, негосударственных акторов глобального информационного пространства, COVID-19 привел к резкому увеличению числа политических инструментов, используемых для борьбы с пандемией на разных уровнях правительства во всем мире. В то время как большое внимание уделялось борьбе непосредственно с самой пандемией (запретам на поездки, изоляции, социальному дистанцированию и пакетам экономических стимулов), распространению информации об эпидемии правительством как инструменту политики уделялось меньше внимания.

*Е.В. Андрюшина*

**Литература**


1. *Раренко А.А., Воронцова В.О.* Инфодемия в COVID-19 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология: Реферативный журнал. 2021. № 2. С. 93–103.
2. *Соловьев А.И.* Принятие и исполнение государственных решений. М.: АспектПресс, 2014. — 494 с.
3. Fahey R.A., Hino A. COVID-19, digital privacy, and the social limits on data-focused public health responses // International Journal of Information Management.2020. 102181. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102181.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7328565/.
4. *Ge S., Lin Z., Deng H., Wen L., Li Y.* 22 起新冠流调信息泄露事件的警示 Trans. What the 22 incidents of COVID-19 contact tracing information leakage could warn us. 2021. January 23. URL: http://app.myzaker.com/news/article.php?pk=60113789b15ec018d80eead2&f=huangli.
5. *Gómez-Salgado J., Domínguez-Salas S., Romero-Martín M., Ortega-Moreno M., García-Iglesias J.J., Ruiz-Frutos C.* Sense of coherence and psychological distress among healthcare workers during the COVID-19 pandemic in Spain // Sustainability. 2020. No. 12(17). P. 6855.
6. *Gray L., MacDonald C., Mackie B., Paton D., Johnston D., Baker M.G.* Community responses to communication campaigns for influenza a (H1N1): A focus group study // BMC Public Health.2012. No. 12(1). P. 205. DOI: 10.1186/1471-2458-12-205.
7. *Gupta S., Nguyen T.D., Rojas F.L., Raman S., Lee B., Bento A., Simon K.I., Wing C.* Tracking public and private responses to the COVID-19 epidemic: Evidence from state and local government actions // National Bureau of Economic Research. 2020(w27027). DOI: 10.3386/w27027.
8. *Hu G., Li P., Yuan C., Tao C., Wen H., Liu Q., Qiu W.* Information disclosure during the COVID-19 epidemic in China: City-level observational study // Journal of Medical Internet Research. 2020. No. 22(8).DOI: 10.2196/19572.URL: https://www.jmir.org/2020/8/e19572/.
9. Information commissioner's opinion: Apple and Google joint initiative on COVID-19 contact tracing technology. Information Commissioner's Office. 2020. P. 16.URL: https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/2617653/apple-google-api-opinion-final-april-2020.pdf.
10. *Jung G., Lee H., Kim A., Lee U.* Too much information: Assessing privacy risks of contact trace data disclosure on people with COVID-19 in South Korea // Frontiers in Public Health.2020. No. 8. DOI: 10.3389/fpubh.2020.00305.URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00305/full.


---

вилах безопасного поведения (необходимость ношения масок и перчаток), необходимости массовой вакцинации для американцев, потерях от пандемии, а главное — данное сообщение носило ключевой характер в борьбе с инфодемией. Так, Байден заявил: «Вы можете запутаться в том, что правда, а что ложь о COVID-19. Поэтому, прежде чем я расскажу о новых шагах по борьбе с COVID-19, о которых я объявлю сегодня вечером, позвольте мне дать вам четкую информацию о том, на чем мы стоим».

11. *Kwon K.H., Bang C.C., Egnoto M., Rao H.R.* Social media rumors as improvised public opinion: Semantic network analyses of twitter discourses during Korean saber rattling 2013 // Asian Journal of Communication.2016. No. 26(3). P. 201–222. DOI: 10.1080/01292986.2015.1130157.

12. *Moon M.J.* Fighting COVID-19 with agility, transparency, and participation: Wicked policy problems and new governance challenges // Public AdministrationReview.2020. No. 80(4). P. 651–656. DOI: 10.1111/puar.13214.

13. *Shaw R., Kim Y., Hua J.* Governance, technology and citizen behavior in pandemic: Lessons from COVID-19 in East Asia // Progress in Disaster Science. 2020. No. 6.

14. *Smith L.E., Potts H.W.W., Amlot R., Fear N.T., Michie S., Rubin J.* MedRxiv; 2020. Adherence to the test, trace and isolate system: Results from a time series of 21 nationally representative surveys in the UK (the COVID-19 Rapid Survey of Adherence to Interventions and Responses [CORSAIR] study) 2020.09.15.20191957.

15. WHO. WHO; World Health Organization; 2019. June. WHO | Pandemic influenza preparedness. URL: http://www.who.int/influenza/preparedness/en/.

16. *WHO Strategic Communications Framework for Effective Communications—Caribbean Policy Development Centre*//WHO. 2017. URL: https://cpdcngo.org/download/who-strategic-communications-framework-for-effective-communications.

17. *Wu X, Shi L, Lu X, Li X, Ma L.* Government dissemination of epidemic information as a policy instrument during COVID-19 pandemic: Evidence from Chinese cities. Cities. 2022. Jun;125:103658. Epub 2022 Mar 3. PMID: 35264817; PMCID: PMC8891011.

# Государственная политика в области здравоохранения

Охрана здоровья является важнейшей областью деятельности современного государства и занимаает первые места в политической повестке развития современного общества. В русскоязычной литературе можно встретить различные словосочетания со словами «политика» и «здравоохранение», как-то: здравоохранительная политика, политика в сфере здравоохранения, социальная политика государства в здравоохранении[1] и т.д. В то же время в англоязычной литературе есть устоявшееся понятие *health policy* или *health carepolicy*, определяющее соответствующее направление как на практике, так и в политической науке. В России же вопросы политики здравоохранения обсуждаются в основном в рамках самой системы здравоохранения, где исторически ведущую роль играет медицинское сообщество. Однако отсутствие политологического измерения этой формы активности государства в известной мере снижает как качество теоретических исследований, так и разработку практических мер в рассматриваемой области. В этом смысле усиление политического подхода позволит глубже понимать особенности функционирования системы здравоохранения, а равно потенциал государства в части управления этой областью общественной жизни.

В настоящее время в мире сложилось два базовых подхода к пониманию здоровья в его общественном формате — медицинский и социальный. Однако в настоящее время общепризнанной является модель социальная, которая опреде-

[1] *Егоров Е.В.* Политика развития здравоохранения в современной России // Вестник Московского ун-та. Серия 6: Экономика. 2009. № 6.

ляет здоровье как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия»[1]. При таком подходе учитываются не только физиологические возможности человека, но и социальные и личностные ресурсы, которыми он располагает. В этом контексте появилась даже теория «поля здоровья», расширяющая социальный горизонт государств по отношению к проблемам здравоохранения[2].

Эта модель, будучи концептуальным основанием государственного участия в охране и управлении сферой здравоохранения, подчеркивает особую роль государственной политики в этой сфере, демонстрируя не только ценность человеческого здоровья, но и тот факт, что без его определенного уровня все рассуждения о перспективах социально-экономического развития или обеспечения национальной безопасности являются бессмысленными. Одновременно такой подход отражает и то, что граждане хотят и должны быть уверенными в получении гарантированной медицинской помощи[3]. Не случайно известный исследователь М. Моран предложил идею «здравоохранительного государства» (*the health carestate*), подчеркивавшую неразрывную связь системы здравоохранения и государства, отражая тем самым важную роль последнего в обеспечении охраны здоровья населения, а также включение институтов здравоохранения в общую канву социальной, экономической и политической жизни общества[4].

Международное признание права на здоровье каждого человека стало неотъемлемой чертой современной политической жизни, формируя этическую составляющую государственной ответственности за здоровье гражданина. Устав Всемирной организации здравоохранения 1946 г. стал первым международным документом, в котором было сформулировано определение права на здоровье как права на наивысший достижимый стандарт физического, умственного и социального благополучия. При этом предусматривалось, что здоровье не может быть обеспечено исключительно путем оказания медицинских услуг: государства–члены ВОЗ должны защищать и укреплять здоровье населения еще и посредством принятия других здравоохранительных и социальных мер. В дальнейшем положение о праве на здоровье нашло отражение в многочисленных международных и национальных правовых документах.

ВОЗ, рассматривая здравоохранение как некую социальную систему[5], предполагает использование государством любых мер, способствующих обеспечению здоровья населения. В этом смысле система здравоохранения включает все «виды деятельности, главная цель которых состоит в продвижении, восстановлении и поддержании здоровья» населения, что подразумевает как медицинские меры обеспечения здоровья, так и более обширные действия, направленные на поддержание здоровья. Например, в области охраны окружающей среды или образования и жилья, не имеющих первоначальной целью обеспечение здоровья, но оказывающих на него сильное косвенное влияние. Такие действия государ-

---

[1] ВОЗ. Преамбула к Уставу (Концепции) ВОЗ. 1946. С. 3.

[2] *Lalonde M.* A new perspective on the health of Canadians. Ottawa. Government of Canada, 1974.

[3] *Григорьева Н.С., Чубарова Т.В.* Современное здравоохранение: политика, экономика, управление. М.: Авторская академия, 2013.

[4] *Moran M.* Governing the health care state. A comparative study of the United Kingdom, the United States and Germany. Manchester, Manchester University Press, 1999.

[5] В России системное понимание здравоохранения традиционно трактуется как совокупность «множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих определенную целостность единства» (Советский энциклопедический словарь. 1983. С. 1209).

ства социально укрепляют здравоохранение и в его узком значении, как оказании медицинских услуг населению, как действия, направленные на борьбу с болезнями и профилактику. Координация такого рода действия не только предполагает усиление комплексного подхода в здравоохранительной политике, но и помогает перестройке системы здравоохранения, усилению ориентации действий государства на результат, удовлетворение потребностей потребителя и высокое качество обслуживания.

В целом факторы и детерминанты здоровья достаточно хорошо исследованы, поэтому в настоящее время основная проблема заключается в оценке вклада каждого из них в обеспечение здоровья. Влияние этих факторов зависит, с одной стороны, от жизненного контекста, а с другой — от сочетания социально-экономических и культурных показателей (дохода, уровня образования, занятости, социальной поддержки) с особенностями поведения человека (отражающими его образ жизнии, состояние окружающей среды, например курение, питание, физическая активность, доступ к воде, загрязнение воздуха), физиологическими (генетическими) и психологическими характеристиками человека (способность контролировать собственную жизнь), с доступом к медицинскому обслуживанию (профилактика и лечение).

Безусловно, биологические характеристики и генетика, поведение человека играют важную роль в определении состояния его здоровья, однако их эффект опосредован социально-экономическими факторами, провоцирующими как положительные, так и отрицательные последствия. Причем влияние социально-экономических факторов на здоровье признается с эпидемиологической точки зрения как наиболее длительное и универсальное.

В 2005 г. в рамках ВОЗ была создана специальная комиссия по социальным детерминантам здоровья (*Commission on the Social Determinants of Health*), что подчеркнуло важность влияния социально-экономической обстановки на изменения в состоянии здоровья населения, которые в последнее время происходят и на мировом уровне. Концептуальный подход, которым руководствуется комиссия, предполагает учет влияния двух групп факторов: структурных детерминант (социально-экономического и политического контекста, социальной структуры и социально-экономического положения), а также факторов, которые опосредуют влияние последних (включая биологические и поведенческие параметры жизнедеятельности, условия жизни и работы, психологическое состояние и уровень развития системы здравоохранения). В этом плане специалисты ВОЗ исходят из того, что социально-экономические детерминанты здоровья возможно изменить политическими методами. При этом строительство жилья, увеличение доходов и занятости населения, которые являются ключевыми факторами здоровья и благополучия, лежат за пределами сектора здравоохранения (как сферы оказания медицинской помощи) и предполагают включение этих вопросов в перечень вопросов государственной политики, проводимой в других секторах общественной жизни.

При этом следует учитывать специфику здравоохранения как отрасли, где часто невозможно применение стандартных подходов, работающих в других отраслях экономики. Идея инвестиций в этой сфере связана с осознанием того, что здоровье является не побочным продуктом экономического развития страны, а важнейшим фактором экономического развития и снижения бедности. Расходы на здоровье рассматриваются не как затраты, а как вложение, детерминирующее

экономическое развитие страны. Поэтому развитие здравоохранения важно перевести на стратегический уровень, где речь идет не об экономии и сокращении затрат, а о достижении принципиально важных экономических и технологических результатов.

ВОЗ, определяя содержание политики в области здравоохранения, считает, что она «относится к решениям, планам и действиям, которые предпринимаются для достижения конкретных целей в области здравоохранения в обществе. Политика в области здравоохранения может достигать нескольких целей: она определяет видение будущего, которое, в свою очередь, помогает установить цели и ориентиры для краткосрочной и среднесрочной перспективы. Выделяются и такие ключевые элементы национальной политики, как стратегии и планы, анализ ситуации и установление приоритетов; сведение результатов в единый контекст; проработка стратегии от видения до оперативного плана; калькуляция; мониторинг и оценка. Выделяются и ожидаемые роли различных групп в этом процессе, условия формирования консенсуса и информирования людей[1].

Так или иначе отражая такую позицию, специалисты исходят из двух пониманий этой политики, в узком смысле рассматривая ее как правительственные действия, направленные на улучшение состояния здоровья населения путем предоставления соответствующих услуг и медицинского лечения, а в широком как совокупность любых действий правительства, оказывающих влияние на состояние здоровья отдельных людей (а не только действий департамента здравоохранения и государственных учреждений здравоохранения, профессионалов, а также всех тех, кто непосредственно предоставляет медицинские услуги)[2].

Преобладание широкого подхода утверждает, что политика здравоохранения не должна ограничиваться только сектором здравоохранения, учитывая, что состояние здоровья человека опосредовано работой других секторов, в том числе образования, жилищно-коммунального хозяйства и др. В этом смысле государственная политика в области здравоохранения представляет собой «систему принятия коллективных решений для обеспечения здоровья граждан, основанную на определенных ценностях и принципах, обеспечивающую согласование интересов и взаимодействие различных заинтересованных сторон»[3].

Иначе говоря, государство обязано рассматривать здравоохранение как комплексную социальную систему, сфокусированную на человеке, и не может ограничиваться сектором здравоохранения. Она должна быть тесно связана с другими видами государственной политики, предполагая включение соответствующих вопросов «в повестку дня руководителей во всех секторах и на всех уровнях, побуждая их в процессе принятия решений отдавать себе отчет об их возможных последствиях для здоровья и принимать на себя ответственность за здоровье людей»[4]. При этом важно понимать, что в здравоохранительной политике цель не оправдывает средства, а способы ее достижения должны быть социально приемлемы и гарантировать доступность и качество медицинской помощи, а также

---

[1] World Health Organization. Health Policy (accessed: 22.03.2011).

[2] *Blakemore K.* Are Professionals Good for you? Health Policy and Health Professionals // Social Policy: An Introduction. Philadelphia: Open University Press, 1998.

[3] Политика и управление в социальной сфере. Введение в предмет. М: Аргамак-Медиа, 2019.

[4] ВОЗ. Оттавская хартия по укреплению здоровья, 1986 г. (цит. по: *Куликов О.А.* «Укрепление здоровья» как концепция: подходы Всемирной организации здравоохранения и Россия // Управление здравоохранением. 2015. № 3 (45). С. 11–26).

обеспечивать сочетание экономической эффективности и социальной справедливости. В любом случае решение проблем охраны здоровья населения требует межсекторного взаимодействия при разработке и исполнении политических решений (и что, в свою очередь, предполагает междисциплинарный подход в исследовании этого процесса).

Говоря более содержательно, основные задачи политики в области охраны здоровья населения должны включать: определение приоритетов развития системы здравоохранения; выбор модели здравоохранения и медицинского обслуживания; согласование интересов различных групп населения и политических сил при выборе стратегий и конкретных программ, а также разработку соответствующих форм руководства и управления, включая управление политическим процессом. При этом ученые подчеркивают отдельные аспекты и направления политики здравоохранения. О.П. Щепин говорит о постоянном улучшении здоровья каждого гражданина России как стратегической цели политики здравоохранения[1], а А.В. Кузьмин подчеркивает важность развития системы здравоохранения в интересах обеспечения эффективности ее функционирования[2].

В условиях глобализации стали очевидны особенности глобального и национального уровней политики здравоохранения. В итоге появилась специальная дисциплина — глобальное здоровье (*global health*), которая занимается вопросами здравоохранения, имеющими общемировое значение, выходящими за пределы отдельных государств (например, распространение инфекционных заболеваний, развертывание пандемии, передача знаний и политики)[3], и способна помочь совместному накоплению знаний, обмену экспертизой и опытом различных стран (обладающих, как известно, различными подходами к этой группе вопросов)[4].

В федеративных государствах важным аспектом формирования политики в сфере здравоохранения является выстраивание отношений между различными уровнями власти[5]. Одна из основных проблем заключается здесь в распределении ответственности, финансовых ресурсов и административных полномочий между федеральным правительством и субъектами федерации, чья совместная деятельность должна обеспечить равный доступ населению к здравоохранению независимо от места проживания, сохранив при этом возможности территорий осуществлять инновации, которые впоследствии могут стать частью федеральной повестки. Например, федеральные власти устанавливают границы обязательного медицинского страхования, но регионы могут превышать такие ограничения.

Одна из серьезных проблем разработки государственной политики состоит в трудностях определения непосредственной связи между вкладом и результатом в области здравоохранения. Не случайно в здравоохранении нашли широкое применение требования «основанного на доказательствах» медицинского вмешательства (что на уровне государства получило выражение «политики, основанной на доказательствах» (*evidence-based policy*), направленной на обеспечение

---

[1] *Щепин О.П.* О развитии здравоохранения Российской Федерации // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. № 5. М., 2013. С. 3–7.

[2] *Кузьмин А.В., Трифонов Ю.Н.* Государственная политика в сфере здравоохранения и механизмы ее реализации: Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. Тамбов, 2021. С. 158–167.

[3] *Lee D., Moy N., Tritter J., & Paolucci F.* The COVID-19 pandemic: Global health policy and technology responses in the making // Health Policy and Technology. 2020. No. 9 (4). P. 397–398.

[4] About Health Care Policy. 2012.

[5] Comparative Health Care Federalism / Ed. by K. Fierlbeck, H.A. Palley. 1st ed. Routledge, 2015. — 326 p.

мер, способных привести к желаемым результатам). Впрочем, в условиях, с одной стороны, увеличения спроса на услуги здравоохранения со стороны населения, а с другой — повышения стоимости таких услуг, ученые отмечают проблему отбора доказательств, их качества, а также учета особенностей того контекста, в котором они интерпретируются и используются[1].

В разработке государственной политики, как показал опыт, непременно участвует не только правительство, но и «неправительственные организации, гражданское общество, частный сектор, наука и академическая сфера, работники здравоохранения, местные сообщества и все отдельные граждане»[2]. К указанным акторам можно добавить различные институты государства (а не только Минздрав), а также некоммерческий сектор, бизнес, политические партии, местные органы управления; страховщики и другие плательщики, международные организации; медицинское сообщество и пациенты. В демократических государствах под воздействием глобализации, цифровизации и иных ведущих тенденций современного развития усиливается давление на процесс разработки политики со стороны гражданского общества, стремящегося попасть в коалиции принятия решений в секторе здравоохранения. Короче говоря, государство является хоть основным, но не единственным игроком в здравоохранении, и чем больше заинтересованных сторон и чем лучше государство объединяет и координирует их усилия, тем эффективнее политика здравоохранения[3].

Однако такой процесс обладает явно конфликтогенным характером. Особенно в условиях неподготовленности политических акторов к самостоятельным действиям, наличия вето-игроков, блокирующих усилия партнеров, неумения согласовывать различные интересы и достигать консенсуса (особенно учитывая тех акторов, которые объективно заинтересованы в болезни населения). Так что издержки такого целеполагания оказываются подчас чрезвычайно высокими. Причем зачастую эти конфликты носят скрытый характер и чреваты латентной, плохо регулируемой конфронтацией сторон.

Важным инструментом примирения и повышения координации действий участников является активность гражданского общества, которое способно привнести в политику разнообразный опыт, идеи и точки зрения[4]. Многие аналитики отмечают такие последствия активности гражданского общества, как расширение прав и возможностей граждан в принятии политических решений; предоставлении услуг, которые по тем или иным причинам не могут оказать ни государство, ни частный сектор; приверженности людей поставленным целям и задачам; возможность принятия гибких решений; доверие со стороны населения[5]. Структуры гражданского общества способствуют предоставлению новой информации лицам,

---

[1] *Dobrow M.J., Goel V., Upshur R.E.* Evidence-based health policy: context and utilization // Social Science & Medicine. January 2004. Vol. 58. Iss. 1. P. 207–217.

[2] ВОЗ. Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегии для XXI века. Копенгаген: Европейское бюро ВОЗ, 2013. С. 24.

[3] *Contandriopoulos D.* On the Nature and Strategies of Organized Interests in Health Care Policy Making // Administration & Society. 2011. No. 43 (1). P. 45–65. URL: https://doi.org/10.1177/0095399710390641.

[4] *Шекун А.В., Сквирская Г.П., Решетников В.А., Рошаль Л.М.* Роль общественных организаций в формировании государственной социальной политики в Российской Федерации на примере Общероссийского народного фронта // Национальное здравоохранение. 2021. № 2 (3). С. 55–63.

[5] WHO 2017. Civil Society and Health Contributions and Potencial / Ed. by Scott L. Greer, Matthias Wismar, Gabriele Pastorino, Monika Kosinska // Health Policy Series. No. 48.

принимающим решения, расширению межгрупповых контактов, повышению доверия принятым решениям и легитимации правящих кругов. Впрочем, демократическое участие граждан, как правило, мало влияет на глубину общественного участия и достижение устойчивого консенсуса при выработке решений[1].

Особо следует выделить роль медицинского сообщества в решении важнейших проблем здравоохранения. В этой связи часто говорят даже о профессиональном доминировании медицинской профессии при принятии решений в этой сфере. Однако ситуация здесь неоднозначная, ибо, с одной стороны, врачи объективно стремятся к повышению своего дохода, а с другой — общество ждет от них гуманного и профессионального подхода к своим проблемам как пациентам. Однако политика, направленная на усиление позиций пациентов, нередко ведет к изменению положения врачей в системе здравоохранения (появилось даже понятие пациентоцентрированность, означающая, что врач не просто информирует пациента о назначенном лечении, но и пациент принимает самое активное участие в решении вопросов по поводу своего здоровья).

В России вопросами политики здравоохранения традиционно занимаются медики, которые считают свое знание и понимание политики здравоохранения безусловным и безальтернативным. Это приводит к тому, что они, как правило, не прислушиваются к мнениям других специалистов и не всегда стремятся к выстраиванию с ними партнерских отношений (даже в рамках межотраслевых команд). Нередко возникает и другая крайность — эффективные менеджеры нацелены на реализацию целей в поставленные сроки и с минимальными затратами, а специалисты в области здравоохранения предпочитают социальный эффект, который не всегда носит экономоцентристский характер. На этом фоне широко обсуждаются проблемы открытости системы здравоохранения, ее гибкости по отношению к населению, возможности для граждан принимать участие в принятии решений по поводу своего здоровья и вообще быть услышанным специалистами. В любом случае понятно, что пациенты и их доверие к системе здравоохранения, их контакты с медиками в условиях быстрых социальных изменений[2] становятся одним из условий повышения эффективности государственной политики, изменения их роли и задач.

Повышение роли населения и усложнение развития общества обостряет вопрос о роли идей и убеждений обычных граждан и тех, кто принимает политические решения. В этом смысле системы здравоохранения, отражая ценности и нормы того общества, в которое они встроены, рассматривают их как особый источник движения и прогресса.

В этом контексте можно выделить два направления связи между идеологией и здоровьем. *Во-первых*, идеологии на национальном или индивидуальном уровне формируют социальные нормы, влияющие на поведение человека, в том числе и в отношении своего здоровья. *Во-вторых*, доминирующая политическая идеология конкретного правительства влияет на постановку задач и выбор способа их решения, в том числе определения объема и направленности финансовых ресурсов государственной политики[3]. И сегодня в контексте рассмотрения связей политики

---

[1] *Ham C., & Alberti K.G.* The medical profession, the public, and the government // BMJ (Clinical research ed.). 2002. No. 324 (7341). P. 838–842. URL: https://doi.org/10.1136/bmj.324.7341.838.

[2] Ibid.

[3] *Geoffrey B.* Cockerham Ideology and Health. The Blackwell Encyclopedia of Sociology.

государства и здоровья нации происходит активизация дискурса об идейно-психологических и культурных факторах развития общественного здоровья[1]. Впрочем, по большому счету, через призму эволюции общественных представлений о здоровье и его месте в ряду жизненных ценностей можно рассматривать всю историю развития здравоохранения.

В обозначенном аспекте ряд исследований (особенно активизировавшихся в условиях недавней пандемии) направлен на изучение влияния на отношение граждан к здоровью их политических взглядов и партийной принадлежности. И это не случайно, ибо идеология не только определяет политические предпочтения граждан, но в итоге влияет и на образ жизни человека. Например, некоторые работы показывают, что левые правительства (относящие социальные компетенции государства к сфере здравоохранения) склонны увеличивать расходы на здравоохранение, а вот эффективность систем здравоохранения выше при идеологически сбалансированных и/или правых правительствах[2].

Особенно сильно исследования связи здравоохранения с политическими идеями развиты в США и Великобритании, где сложились двухпартийные системы с четкими идеологическими водоразделами. В странах континентальной Европы ситуация более сглаженная в этом плане, поскольку спектр политических идеологий, интерпретирующих роль государства и граждан в обеспечении охраны здоровья населения, соотношение индивидуальной и социальной ответственности, более разнообразен.

Одним словом, представители правой части спектра считают вмешательство государства в решение социальных проблем бременем для экономики. По их мнению, большие налоги, которое оно вынуждено собирать с населения и организаций для того, чтобы финансировать социальные программы, снижают потенциал для развития личной инициативы и, соответственно, роста личного благосостояния и ликвидации бедности. Поэтому расширение социального государства приводит к серьезным социальным последствиям, порождая иждивенчество и психологию зависимости.

Основные идеи левых, основанные на марксистских подходах, состоят в том, что государство благосостояния в капиталистических странах является механизмом поддержки капиталистического строя и служит, прежде всего, инструментом социального контроля. Вместе с тем они признают, что хотя государство благосостояния следует рассматривать как откупные, которые правящий класс возвращает трудящимся, тем не менее оно ведет к улучшению условий жизни людей.

К центристским позициям можно отнести теории, опирающиеся на традиции социал-демократии и сочетающие идеалы свободы, равенства и солидарности. И хотя они критикуют государство благосостояния по ряду вопросов, тем не менее считают социальную политику важным элементом жизни современного общества, ведущим к гражданской гармонии и равенству, нивелирующим отрицательные последствия рыночной экономики. Сторонники этих идей считают, что государство

---

[1] *Ashley M. Fox, Yongjin Choi, WenhuiFeng*. Is Ideology Bad For Health? Why Political Partisanship Should Be Asked on Population Health Surveys // Health Affairs Forefront. 2022. January 19. URL: https://10.1377/forefront.20220118.990519.

[2] *Kokashvili Nino, Youjun Shin*. How political ideology of government affects health system efficiency. Evidence from parliamentary democracies // International Journal of Public Policy. 2020. Vol. 15. No. 5/6. P. 380–410. DOI: 10.1504/IJPP.2020.10036309.

благосостояния должно быть основано на смешанной экономике, либеральной политической системе и специальном секторе по оказанию социальных услуг, включая охрану здоровья.

В настоящее время именно центристские идеологии доминируют в дискурсе политики здравоохранения, в то время как правые и левые подходы следует рассматривать скорее как концентрированное выражение полярных позиций, которые тем не менее прямо не отражаются в политических программах партий. Более того, вопросы охраны здоровья всегда входят в программы, предлагаемые любыми партиями и движениями, отстаивающими права отдельных групп населения современного общества (гендерных групп, национальных меньшинств, движений экологов и др.). Многие из этих групп настаивают, что традиционная социальная политика не может обеспечить равноправное включение различных групп населения в жизнь общества, преодолеть дискриминацию и неравенство в области здравоохранения. Понятно, однако, что заявляемые цели и предлагаемые механизмы ориентированы на разную степень индивидуальной, социальной или политической ответственности государства за здоровье общества.

Отражая подобного рода воззрения, в мире сложилось несколько базовых моделей здравоохранения, где системообразующими факторами выступают способы организации и финансирования здравоохранения. Это модель Бивериджа, Бисмарка, Семашко, каждая из которых имеет свои — сконцентрированные в теории — преимущества и недостатки. Однако, отражая различные подходы к политике в области здравоохранения, на практике большинство стран использует сочетание их отдельных элементов.

Несмотря на страновые различия в сфере управления здравоохранением, эксперты отмечают схожие тенденции в программах реформ и сближение позиций по вопросам здравоохранения. В этом контексте прослеживается одна из важнейших проблем, а именно — поиск государством своего места, новой роли, изменение своих функций. Отмечается и то, что реформы могут представлять собой переход к альтернативным моделям здравоохранения или же способствовать адаптационным схемам в рамках существующей модели.

Как показывает опыт, в конце прошлого века центр тяжести в здравоохранении стал смещаться к усилению роли рыночных механизмов. На первый план стали выходить соображения эффективности использования ресурсов в условиях роста потребностей населения. Роль государства стала «сужаться» за счет целенаправленных мер по структурной перестройке системы здравоохранения, в частности сокращения или замедления роста общественных расходов и расширения участия граждан в разделении бремени финансовой нагрузки в этой сфере. В этом смысле усиление индивидуальной ответственности в здравоохранении можно рассматривать и как способ более рационального использования ограниченных ресурсов, выделяемых обществом на здравоохранение.

Одновременно хорошим примером сложного взаимодействия индивидуальной и социальной ответственности в области здравоохранения является пропаганда здорового образа жизни. Сегодня все популярнее становится идея о том, что человек должен сам отвечать за свое здоровье, прежде всего отказаться от вредных привычек, правильно питаться, заниматься спортом. Это хорошее начинание, так как поддержание здоровья невозможно без усилий самого человека. Не случайно в современной интерпретации источников здоровья на первый план выходят поведенческие факторы, означающие, что изменение личного поведения рассматри-

вается как приоритетный фактор укрепления и сохранения здоровья. Впрочем, это не отрицает, что существенную роль здесь играют и социальные факторы, выраженные в создании в государстве условий для определенного уровня и стиля жизни, образования, обладания достойным жилищем и т.д.

XX век показал, что развитие систем здравоохранения происходило под приоритетом общественного по отношению к индивидуальному. Здоровье человека было важнейшим благом как для индивида, так и для общества, в равной мере и индивидуальной, и общественной ценностью. Сегодня намечаются определенные трансформации в переплетении общественных и индивидуальных параметров в отношении здоровья, изменения условий достижения компромисса между индивидуальными правами и возможностями человека и интересами и возможностями общества. Но роль государства остается здесь, по сути, предопределяющей.

*Н.С. Григорьева, Т.В. Чубарова*

**Литература**


1. ВОЗ. Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегии для XXI века. Копенгаген: Европейское бюро ВОЗ, 2013.
2. *Григорьева Н.С., Чубарова Т.В.* Современное здравоохранение: политика, экономика, управление. М., 2013. — 344 с.
3. *Егоров Е.В.* Политика развития здравоохранения в современной России // Вестник Московского ун-та. Серия 6: Экономика. 2009. № 6. С. 85–95.
4. *Кузьмин А.В., Трифонов Ю.Н.* Государственная политика в сфере здравоохранения и механизмы ее реализации // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. Тамбов, 2021. С. 158–167.
5. Политика и управление в социальной сфере. Введение в предмет / Под ред. А.И. Соловьева, Н.С. Григорьевой. М.: Аргамак-Медиа. 2019. — 286 с.
6. *Садовничий В.А., Григорьева Н.С., Чубарова Т.В.* От традиций к инновациям: реформы здравоохранения в современном мире. М.: Экономика, 2012. — 286 с.
7. *Чубарова Т.В.* Эффективное здравоохранение как условие воспроизводства человеческого потенциала: современные вызовы для социальной политики // Экономическая безопасность. 2021. Т. 4. № 3. С. 607–628.
8. *Шекун А.В., Сквирская Г.П., Решетников В.А., Рошаль Л.М.* Роль общественных организаций в формировании государственной социальной политики в Российской Федерации на примере Общероссийского народного фронта // Национальное здравоохранение. 2021. № 2 (3). С. 55–63.
9. *Щепин О.П.* О развитии здравоохранения Российской Федерации. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. М., 2013. С. 3–7.
10. *Ashley M. Fox, Yongjin Choi, Wenhui Feng.* Is Ideology Bad For Health? Why Political Partisanship Should Be Asked on Population Health Surveys // Health Affairs Forefront. 2022. January 19.
11. Comparative Health Care Federalism / Ed. by Katherine Fierlbeck, Howard A. Palley.1st ed. Routledge, 2015. — 326 p.
12. *Dobrow M.J.,Vivek G., UpshurR.E.G.*Evidence-based health policy: context and utilization // Social Science & Medicine.January 2004. Vol. 58. Iss. 1. P. 207–217.
13. *Ham C., &Alberti K.G.*The medical profession, the public, and the government // BMJ (Clinical research ed.). 2002. No. 324 (7341). P. 838–842. URL: https://doi.org/10.1136/bmj.324.7341.838.
14. *Kokashvili Nino, Youjun Shin*. How political ideology of government affects health system efficiency. Evidence from parliamentary democracies // International Journal of Public Policy. 2020. Vol. 15. No. 5/6. P. 380–410.

15. *Lee D., Moy N., Tritter J., & Paolucci F.* The COVID-19 pandemic: Global health policy and technology responses in the making // Health Policy and Technology. 2020. No. 9 (4). P. 397–398. URL: https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.10.001.

16. Civil Society and Health: Contributions and Potential / Ed. by Scott L. Greer, Matthias Wismar, Gabriele Pastorino, Monika Kosinska // Health Policy Series. No. 48.

# Государственные решения

Концепт «принятия решений» активно используется в различных общественных науках, порождая многочисленные теоретические модели, отражающие организационные, правовые, коммуникативные, психологические и иные грани данного процесса. Однако применительно к властно-управленческой сфере в основном используется понятие «политические решения», которое активно разрабатывается с 60-х годов прошлого столетия, раскрывая стадиальные и морфологические параметры целеполагания, формы кооперации совместных действий участников и другие важные характеристики. При этом специфические параметры этого явления, выделявшие его из общего потока целенаправленных действий, как правило, связывались «с одной из функций и компонентов публичной политики (*public policy*)» или же с отдельной фазой «управленческого процесса» в целом[1]. Помимо практического отождествления политических решений с публичными интеракциями весьма заметно их рассмотрение в плотном смысловом единстве с решениями «государственными». Однако такой подход не только создавал — даже при отсутствии полного отождествления государственных и политических решений — интенцию к усилению формально-юридических и организационно-административных характеристик последних, но и нивелировал специфику политического целеполагания другими общественными акторами.

В конечном счете методологической причиной сближения и даже совмещения этих двух специфических понятий была (и остается) монологическая трактовка социальной власти, недооценивающая (а порой иисключающая) ее диверсифицированный характер и, как следствие, предопределяющая восприятие государства как сугубо политического института.

Однако политическая природа государства, отражая консесуальный характер территориально ограниченных коммуникаций власти и общества, стихийно складывалась по мере выстраивания иерархической структуры управления государством и появления инструментов *символического* регулирования, апеллирующего к основаниям явного или мнимого превосходства верхов. Говоря иначе, исторический генезис политических параметров государственной власти был связан с появлением (а впоследствии и институализацией дополняющих, а нередко и заменяющих иные методы применения власти) неконгруэнтных методов регулирования общественных конфликтов и отношений. Тех методов поддержания коммуникаций, которые содержали скрытую угрозу использования превосходящих возможности конкурентов ресурсов (включая принудительные) в случае отклонения от предложенных им целей урегулирования противоречий. Такое адресное симво-

[1] *Дегтярев А.А.* Принятие политических решений. М.: УКД, 2004. С. 15.

лическое давление на участников *любых* общественных конфликтов и отношений не только олицетворяло безусловный приоритет государства, но и позволяло ему за счет таких «убеждающих» коммуникаций (повсеместно использовавших двойные и тройные стандарты в отношении оппонентов и пропонентов) поддерживать свои властные преимущества.

Впрочем, появление (у любых акторов, участвующих в оспаривании полномочий различных центров власти) возможности символического давления на оппонентов не только закрепило эту инструментальную грань политики в качестве ее субстантивного параметра, но и обнаружило внутреннюю противоречивость данного феномена. Иначе говоря, акторы, конкурирующие за властные полномочия различных центров, стали систематически пренебрегать гуманистическими ценностями политического действа. В результате политика обрела глубинное и одновременно парадоксальное противоречие между своей исторической ориентацией на консесуальный и разумный характер человеческого самоутверждения и прикладными экспликациями неконгруэнтного регулирования, подрывающими принципы морали и справедливости. Так что и сегодня можно видеть наличие этой внутренней амбивалентности политики, ее способности подавлять гуманистические и рациональные ориентиры действия, ставить препоны на пути установления консенсуса.

Следует, однако, иметь в виду, что методы символического господства и управления зародились в рамках локальных сообществ и протогосударственных образований[1], получив в рамках государства лишь особый масштаб, позволивший политике превратиться в системное явление, а впоследствии и в особую сферу человеческой жизни. Так что у государства и политики сложились отнюдь не идентичные, а всего лишь пересекающиеся логики эволюции. Будучи уполномоченным осуществлять «общественное управление», государство превращает эту форму власти в коммуникативное пространство различных центров политического влияния, одним из которых становятся верховные институты. Потому государство хоть и остается важнейшим, однако далеко не единственным «производителем политики», деля это почетное звание с иными общественными игроками, участвующими в борьбе за «курульное кресло» власти и укрепляющих постоянство политического оспаривания властных диспозиций верхов.

Итак, политические методы — это форма символического доминирования тех групп и фигур, которые фактически контролируют центры власти и фактической силы (отражающих преимущество групп и фигур в позициях и ресурсах). Такое положение помещает политику *между* полюсами принудительно-силовых и административно-правовых — инструментов регулирования общественных конфликтов. При этом эффективность такого доминирования определяется скоростью применения этого типа поддержки тех или иных проектов и целей. При этом полураспад и исчезновение политики из арсенала государства начинается за счет изживания консессуальных гуманистических норм поддержания таких договорных конструкций и перехода к использованию силовых ресурсов. Недаром первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк говорил, что сила — это последний аргумент глупца.

Говоря другими словами, исторические преимущества собственно политического регулирования состоят в утверждении в конечном счете гуманисти-

[1] *Штырбул А.* Безгосударственные общества в эпоху государственности. М.: Commonplace, 2018.

ческих методов применения власти. Благодаря своей символической природе и обращению к значимым для человека ценностно-ориентационным, идейным и мифологическим структурам сознания (обусловливающим его идентификационные модели), политические методы предполагают доминирование тех групп, фигур, структур или институтов, которые способны использовать бренд государства для формирования символического давления на различные социальные аудитории. В силу этого когнитивные образы политиков, я-концепции лидеров, различные внутри- и межэлитарные договоренности, формировавшие политические смыслы настоящего и будущего, превратились в решающие источники применения власти и проектирования развития общества. По сути, правящие элиты своими риторическими действиями могли менять характер и направление деятельности институтов, массовые настроения и приоритеты населения, изменять баланс политических сил. Особенно ярко их способности проявлялись в государствах авторитарного толка за счет мобилизации общества на борьбу с оппозицией («врагами народа», «предателями Родины»), побуждая даже институты власти действовать вопреки Конституции и придавая законам обратную силу.

Благодаря статусным позициям правящих кругов, их символические месседжы обладают несравненно большим значением, нежели правовые, административные или экономические регуляторы, что превратило политическое регулирование в форму *попечительской* (коммуникативной, договорной и манипулятивной) власти, обладающей неизменным приоритетом при регулировании общественных отношений.

Как следствие преобладающей роли этого типа регулирования, политика (в виде поддержки тех или иных целей влиятельными структурами и фигурами) способна не только определять характер применения силовых, правовых и иных (легальных и иллегальных) инструментов власти и управления, но и *качественно* проектировать государственные планы, выдвигать и сопровождать наиболее общие цели общественного развития. Иначе говоря, поскольку межэлитарные связи устойчиво опосредуют функции институтов и деловые отношения с обществом, политический профиль деятельности государства получает и еще одну принципиальную нагрузку, а именно — выдвижение качественных, стратегических целей общественного развития. Одновременно в качестве неизбежной грани политического профилирования деятельности государства становится производство (диссиминация, фабрикация) правящим меньшинством идей и ценностей, одновременно рассчитанных на доминирование в публичном дискурсе, контроль над массовым сознанием и общественным мнением и на организацию мобилизации поддержки выдвигаемым проектам и целям (демобилизации проектов и целей конкурентов). В отличие от других методов управления обществом (которые могут иметь дисфункциональный характер при решении отдельных вопросов), политические инструменты всегда сохраняют гибкость и адаптивность к изменяющимся отношениям государства и общества.

Однако, несмотря на фактическую востребованность политического регулирования, эффективность использования потенциала этих инструментов непосредственно зависит как от компетенций и навыков субъектов власти, так и от коммуникативных характеристик объекта влияния, т.е. фактической способности различных слоев населения поддаваться символическому давлению верхов. Не случайно поэтому политику и определяют как форму искусства, т.е. достиже-

ния субъектом своих целей за счет целенаправленного использования коммуникативного потенциала объекта. В целом же историческая конституализация политики в теле государства происходила за счет накопления политических компетенций элитарными и неэлитарными слоями. Первые решали эту задачу за счет укрепления своего паблицитного и репутационного капитала, укрепления внутреннего организационного единства и усиления контроля за публичным дискурсом (национальными массмедиа), в то время как вторые (при помощи различных медиаторов) за счет усвоения знаний, овладения навыками оспаривания планов верхов и точечного проникновения в структуры власти и управления.

В целом профиль государства как собственно политического института (в отличие от государства как института общественного, обладающего правом на легальное насилие, издание законов, сбор налогов и т.д.) отражают его четыре важнейших параметра:

— консессуальная природа регулирования общественных конфликтов и отношений или в конечном счете фактический приоритет гуманистических ценностей в управлении государством и проектировании целей общественного развития. В этом смысле человеконенавистнические (шовинистские, террористические, экстремистские) проекты и принципы являются показателем исторического вырождения политического типа общественного регулирования;
— систематическое и институализированное использование методов символического давления, осуществляемых носителями власти в открытой и латентной формах в целях повышения конкурентоспособности правящего режима и регулирования баланса сил; мобилизации сторонников и демобилизации противников правительственных проектов; избегания кризисов легитимности; популяризации и навязывания официальных моделей гражданской идентичности. Использование неконгруэнтных методов воздействия, предполагая их структурное закрепление в системе государственного управления и организации публичного дискурса, меняет фактический вес органов государственной власти на всех уровнях организации власти, при управлении общественным мнением и т.д.;
— приоритетная роль (внутри) элитарных договоренностей и инвективов правящего режима по отношению к любым административно-правовым, экономическим и иным статусно закрепленным целям и методам управления государством;
— качественное проектирование целей и планов государственного и общественного развития, выдвигаемых на основе регулирования баланса общественных сил, складывающихся в рамках лево-правого спектра.

Вместе с тем инструментальный характер общественной власти превращает в центральный механизм ее применения процесс принятия государственных решений, регулирующий распределение и перераспределение общественных благ и ресурсов. Собственно, контроль за этим процессом является как целью, так и показателем фактического политического господства правящей элиты (различных сочетаний состава «выигрышных коалиций», аттестующих правящие режимы). Однако рутинизированные формы целеполагания (касающиеся, к примеру, осуществления различными институтами своих служебных функций, подразумевающих даже некую алгоритмиизацию действий) самым принципи-

альным образом отличаются от производства тех *ключевых решений*, от которых зависит «ход событий», изменение местоположения социальных групп, важнейшие траектории и пропорции экономического развития, позиции государства и на международной арене, а также иные важнейшие параметры жизнедеятельности государства[1].

Другими словами, принятие решений в государстве обладает *двояким* характером, в силу чего политическим содержанием обладают не все способы разработки и исполнения целей, а только те, которые неразрывно связаны с изменением баланса общественных сил, уровнем поддержки правительственных планов, степенью солидарности гражданского сообщества и легитимацией правящих лидеров, элит и базовых институтов власти.

Содержательно такое сложное взаимодействие государства и общества осуществляется на различных социальных аренах и площадках, предоставляющих различным структурам и институтам, сообществам и отдельным фигурам (обладающим различными интересами и ресурсами при решении тех или иных проблем) определенные возможности для участия в разработке целевых параметров. На этих социальных пространствах устанавливаются организационные и неформальные отношения участников друг с другом, формируются особые механизмы кооперации и координации взаимных действий и в конечном счете выстраиваются особые цепочки целеполагания (со своими «бутылочными горлышками», вето-игроками, рисками и проч.).

Однако участие любых акторов зависит здесь не столько от их статусных позиций, сколько от их *функциональной полезности* или, иными словами, фактического политического влияния и веса при разработке решений. В этом смысле даже представители административного крыла государственной власти выступают как особые политические игроки, использующие в качестве ресурса влияния свою принадлежность к органам исполнительной власти, а также способность легализовывать принимаемые кооперативные решения.

Функциональный принцип отбора участников принятия государственных решений демонстрирует сложное переплетение формальных и неформальных, политических и административных норм и правил, образующих многочисленные и противоречивые взаимодействия и, как следствие, сложные переплетения гражданских, корпоративных и даже частных интересов, которыми может руководствоваться государство. Поэтому конкурентный характер взаимодействия всех этих лиц и группировок (стремящихся в конечном счете к контролю за центрами распределения ресурсов), создавая возможности для их перехода на площадки более высокого уровня, оставляет «в игре» лишь наиболее влиятельных участников.

Главным основанием для отбора привлекаемых участников являются характер решаемого в государстве вопроса, а также нормы публичного и неформального контроля, предъявляемые к используемым ресурсам. В свою очередь, их политический вес обусловлен ресурсами (материальными или финансовыми активами, статусными или неформальными диспозициями, репутационным капиталом и др.), которые одновременно не позволяют игнорировать их позиции при решении

[1] См.: *Zahariadis N.* Setting the agenda on agenda setting: definitions, concepts, and controversies // Handbook of Public Policy Agenda Setting / Ed. by N. Zahariadis. Department of International Studies, Rhodes College, USA, Handbook of research on Public Policy, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2016. P. 1–24.

данного вопроса и также свидетельствуют о заинтересованности государства в их привлечении. Другими словами, принятие ключевых решений демонстрирует взаимоотношения только тех политических акторов, которые имеют *фактическую* возможность переходить на все более высокие площадки целеполагания и встраиваться в разработку конкретных целевых показателей.

Таким образом, принятие ключевых решений обладает как постоянной доступностью для новых участников целеполагания, так и жесткой закрытостью, связанной с наличием устойчивого ядра ключевых политических инвесторов. Но хотя здесь всегда существует некий постоянный набор участников, тем не менее их общий состав — в зависимости от содержания решаемой проблемы — может весьма динамично меняться. При этом в ряде случаев даже статусные администраторы могут не привлекаться к решению их профильных вопросов. Причем чем выше секретный или конфиденциальный круг обсуждаемых вопросов, тем уже состав привлеченных участников. В силу этого, даже несмотря на наличие устойчивой группы участников принятия ключевых решений, в этой зоне применения власти не только не существует однозначного набора игроков с неизменяемыми позициями и интересами, но и постоянно возникают периферийные области, где действуют игроки, предлагающие нестандартные для сложившейся системы отношений цели и методы их достижения. Короче говоря, рекурсивный характер воспроизводства меняющегося состава участников принятия решений каждый раз формирует оригинальную архитектуру их отношений.

Как показывает опыт, общество в целом и даже весомые гражданские структуры (партии, НКО, защищающие интересы граждан СМИ и др.) не обладают здесь достаточным политическим весом и потому, как правило, «играют вторым номером» в этом конкурентном процессе. И такое положение не может подорвать даже использование цифровых технологий, воплощающих новые формы сотрудничества власти и общества на базе использования инструментов процедурной справедливости. Впрочем, нередко даже ответственные госменеджеры тоже проигрывают более весомым политическим игрокам, уступая им право в разработке подходов и определении целевых параметров государственной политики.

Реальное лидерство в принятии ключевых решений чаще всего захватывается неформальными акторами, и прежде всего *сетевыми* коалициями правящего класса, представляющими неоспоримые преимущества доминирующих (монопольных) игроков. Источниками таких преимуществ, как правило, являются контроль за существенными для решаемых государством задач активами, крайне высокая мотивация участников этих ассоциаций (значительно превосходящая мотивы служебной деятельности госбюрократии), отсутствие ответственности в системе управления, а главное — понимание того, как, используя неформальные коммуникации, можно оказывать влияние на конкретные статусные фигуры.Таким образом, в равной степени опережая гражданские структуры (не способные оперативно преодолевать административные барьеры) и бюрократию (с ее рутинизированными подходами и ограничениями, заданными иерархическим строением государственной власти), сетевые ассоциации правящего класса (находящиеся в шаговой доступности от официальных центров принятия решений) превращаются в основных закоперщиков разработки правительственных стратегий.

Не случайно поэтому, как подчеркивают П. Джон и А. Коул, под видом «общественного управления», по сути, кроется политическое влияние диффузных сетей

как производителей решений, которые способны заменить собой понятие «правительство» как способ осуществления институциональной власти[1]. Именно эти структуры, добавляет Н. Хайоз, и провоцируют «предательское поведение» институтов, которые действуют в пространстве, где политики «друг друга знают» и где доминируют «приятельские отношения и знакомства», особые «приятельские сети»[2]. И именно поэтому «некоторые институты и общепринятые ценности могут становиться объектами использования... для осуществления скрытых замыслов»[3], переводя активность государства в латентную сферу.

Другими словами, эти внешние для государства сетевые инвесторы политического капитала, символизируя фактические центры влияния и власти, успешно преодолевают административные барьеры, выстраиваемые вокруг легальных центров принятия решений. Поскольку, как правило, эти сетевые коалиции стейкхолдеров состоят из представителей того же правящего класса (которым просто не хватает места в официальных вертикалях власти), им удается органично встраиваться в реально действующие механизмы разработки целевых показателей государственной политики, которые все чаще и больше обретают сугубо договорный характер.

Доминирующие сетевые агенты на основании присущих им политических и моральных принципов формируют собственное поле деловых коммуникаций, которые противоречат структуре официальных органов, выстраивая тем самым собственные «вертикали» и «горизонтали» власти, складывающиеся вокруг ключевых фигур и устанавливающие новые соотношения между ее ветвями, особые нормы субординации и контроля. Под систематическим давлением этих неформальных ассоциаций в государстве не просто возникают так называемые «переплетенные институты», но и запускается процесс гибридизации органов государственной власти (как правило, снижающий их общегражданский функционал), содержащий мощные интенции сетевой колонизации всего институционального дизайна. Такое положение не просто оказывает «подрывное» воздействие» (В. Гельман) на всю систему государственного правления, но и выводит центры принятия решений за рамки институционального дизайна, превращая их в неформальные «узлы решений», что, в свою очередь, способствует формированию «второго ядра» государственного управления[4], а в логическом пределе создает предпосылки для образования второго, параллельного государства.

Иначе говоря, сетевые игроки выводят из системы государственного управления те нормы и практики, которые могли бы быть использованы в контексте «интерсубъективного согласия» с обществом, той «дискурсивной проверки истины» (Ю. Хабермас), которая превращает рядовых граждан в соучастников разработки политической воли государства. Такое положение показывает, что доминирование игроков, обладающих решающим политическим весом, позволяет механиз-

---

[1] *John P., Cole A.* When Do Institutions, Policy Sectors, and Cities Matter? Comparing Networks of Local Policy Makers in Britain and France // Comparative Political Studies. SAGE Publications. 2000. Vol. 33. No. 2. P. 248–268.

[2] *Хайоз Н.* Управление, коррупция и локальные структуры политического влияния в Швейцарии // Элиты и общество в сравнительном измерении / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН, 2011. С. 200–208.

[3] Там же. С. 201.

[4] *Соловьев А.И.* Политика и управление государством. Очерки теории и методологии. М.: Аспект Пресс, 2021.

мам и институтам представительства гражданских интересов (партийной системе и даже формальным нормам государственного управления, поддерживающим легальные механизмы императивной координации и централизации общественной власти) лишь частично влиять на содержание процесса принятия государственных решений. Это «негласное республиканство», собственно, и заменяет голос общественности при принятии решений мнениями политических тяжеловесов. Так что и сегодня не приходится удивляться тому, что суверенная власть таких игроков обусловливает право руководителей пренебрегать действующими законами[1].

Учитывая разнообразный состав формальных и неформальных акторов (их активов и интересов), фактически участвующих в решении крупных государственных задач, принятие государственных решений можно охарактеризовать как *функционально поведенческий комплекс*, разноуровневые цепочки взаимодействия и механизмы которого преобразуют общественные интересы в легальные показатели деятельности органов государственной власти и управления. Говоря иначе, принятие ключевых государственных решений представляет собой некую гибридную конструкцию, *гетерозис*, совмещающий замыслы и ресурсы разных игроков, но чья окончательная конфигурация выстраивается каждый раз заново в связи с тем или иным управленческим проектом. Тем самым по своему содержанию принятие государственных решений представляет собой результат перманентной *сборки* конкретных и разнородных акторов, предлагающих различные формы активности, регулируемые столь же противоречивыми *нормами и правилами* разработки и исполнения целей. Таким образом, постоянное изменение конфигурации игроков и их интересов в процессе сложносоставной кооперации совместных действий аттестует принятие решений как некий политический ассамбляж[2], с процессуальной точки зрения представляющий саморегулируемый, самоорганизующийся и самокопируемый процесс, который каждый раз демонстрирует новую конфигурацию участников, зачастую снижающий[3] (устраняющий) приоритет официальных структур и институтов власти.

Даже тот факт, что тон в этом процессе задают крупные политические инвесторы и их интересы (в том числе и международные, действующие на национальных площадках), следует видеть, что, связывая воедино различные формы правовой, административной, политической, экономической и иных доступных политическим доминантам средств и методов разработки целей, принятие государственных решений обретает свой *гиперкомплексный и интегративный* характер, сочетающий иерархические и сетевые структуры, различные формы организации и самоорганизации, обусловливающие синтез методов силового принуждения и мягкой власти (*soft power*). В этом разнородном конгломерате сочетание институализированных и свободных практик создает, с одной стороны, зоны «плотных» коммуникаций, нормативно заданных форм поведения политиков и чиновников, а с другой — площадки с постоянно изменяющимся направлением их активности и даже «пустоты», т.е. социальные пространства, не заполняемые активностью го-

---

[1] *Шмитт К.* Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

[2] Ассамбляж — совокупность элементов принципиально разной природы, объединенных их совместным функционированием. При этом каждый элемент этого континуума, будучи необходимым, в принципе не является незаменимым (*Deleuze G., Parnet C.* Dialogues II. L.; N.Y.: Continuum, 2006).

[3] *Каплуненко А.М.* Развитие структуры технологических возможностей как фактор рекурсивности публичной политики // Политическое в условиях цифровых трансформаций / Под ред. Л.В. Сморгунова, А.В. Курочкина, О.А. Игнатьевой. М.: Аспект Пресс, 2022. С. 26–37.

сударственных институтов. Это придает принятию государственных решений относительно высокий уровень внутренней неравновесности и даже *фрактальности* (наличия зон, где не действуют нормы политического порядка, что превращает государство в субъект «управления пустотой»[1]).

Учитывая слабость административно-правового контроля за деятельностью неформальных коалиций, можно констатировать, что принятие ключевых государственных решений в ряде случаев способно превращаться в поле политической импровизации (игры без правил) лидеров и элитарных микрогруппировок, умеющих использовать коммуникативный потенциал партнеров и контрагентов для символического принуждения к реализации собственных позиций. В этом случае, когда используемые «политическими тяжеловесами» инструменты власти и управления подчиняются не нормам и поиску истины, а достижению собственных целей и замыслов, государство утрачивает правовую беспристрастность и морально-этическую ответственность перед обществом. Впрочем, и в иных случаях величина оспариваемых этими игроками ключевых общественных ресурсов делает равновесие и гармонию отношений между ними слабодостижимыми параметрами процесса целеполагания.

Более того, поскольку *кооперативный* характер принятия государственных решений формируется под давлением крупных политических игроков (я-концепций и даже обычных когнитивных конструкций лидеров, временных самообязывающих (*self-enforcing*) отношений членов латентных коалиций и др.), соображения политической целесообразности нередко игнорируют не только поиск консенсуса и компромиссов, но и саму рациональность, разумность доводов при урегулировании конфликтов и определении перспектив развития общества. Так что даже демократические основания организации публичной власти вполне могут сочетаться и с недемократическими практиками, отражающими реально используемые процедуры и инструменты.

Фактическое преобладание воли ключевых политических тяжеловесов обусловливает и возможность постоянной *подмены и замещения общественных потребностей* корпоративными, узкогрупповыми и даже партикулярными интересами различных сегментов правящего класса. Другими словами, принятие решений постоянно сохраняет возможность «соскальзывания» государственных институтов и структур к формам корпоративного управления, минимизации и даже игнорированию интересов гражданских сил.

Важно видеть и то, что локализация влияния политических «тяжеловесов» способна привести к формированию квазиполитических систем, противостоящих официальным нормам и целям государственной политики и играющих самостоятельную роль в управлении и распределении ресурсов (получении ренты, статусов, активов, новых диспозиций и проч.)[2]. В автократиях влияние таких квазисистемных образований не только превращает официальные институты власти и управления в «фикцию, не связанную с реальным принятием решений»[3] (тем самым

---

[1] *Майр П.* Управляя пустотой. Размывание западной демократии / Пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2019.

[2] *Соловьев А.И.* Квазиполитические системы в пространстве современного государства: социальные и политические последствия // Политическое в условиях цифровых трансформаций / Под ред. Л.В. Сморгунова, А.В. Курочкина, О.А. Игнатьевой. М.: Аспект Пресс, 2022. С. 130–144.

[3] *Silke A., Kreisi H.* The Network Approach Theories of the Policy Process // Theories of the Policy Process / Ed. by Paul A. Sabatier. 2nd ed. University of California, Davis, 2007. P. 132.

отказывая «простым» людям в праве на определение целей, ценностей и средств их достижения»)[1], но и растлевает массовое сознание, приучая людей игнорировать официальные нормы и правила даже тогда, когда им доступны общественные ресурсы[2]. Осуществляя функцию культурного насилия (которую впоследствии способно поддерживать и создаваемое ими большинство населения (Й. Галтунг), такие квазиобразования укрепляют в государстве авторитет патрон-клиентских ценностей, превращая государственную власть в источник насилия и произвола, заложницу захвативших власть диктаторов и отправляющих ее от имени народа (Г. Моска).

Итак, как можно видеть, механизм принятия ключевых государственных решений способен выходить за рамки и статусного, и рационального форматов целеполагания. По сути, каждое крупное государственное решение становится полем притяжения тех сил и игроков, которые обладают возможностями использования своего политического давления для изменения конфигурации отношений всех участников этого процесса.

Каждое такое решение предполагает новый состав статусных и неформальных акторов, действующих в соответствии со своими интересами и одновременно приспосабливающхся к интересам и возможностям своих партнеров и оппонентов. Что всегда создает новую, особую конфигурацию (внешних и внутренних участников, выборных политиков и госадминистраторов, национальных и международных) акторов, взаимодействующих на разных аренах государства. Учитывая центральную роль принятия ключевых государственных решений для изменения (сохранения) баланса политических сил (причем как в актуальном, так и в перспективном отношении), можно сказать, что этот процесс способен определять характер всей системы правления и *отношений государства и обществом* в целом. Другими словами, не политические системы оказывают основное влияние на характер принятия государственных решений, а наоборот — базовые параметры политического взаимодействия, складывающиеся в процессе целеполагания, являются *узловым* компонентом формирования высшей государственной власти. Такие зависимости и позволяют понять, какую политическую роль играет при распределении общественных активов, ценностей и ресурсов общество и какие интересы продвигают реальные игроки (нередко пренебрегающие контролем и надзором со стороны институтов и гражданских структур). И хотя в это политическое пространство и попадают сигналы от населения, то происходит это крайне редко, учитываются избирательно, в то время как ответы властей на запросы граждан ограничиваются умиротворяющей риторикой. Иначе говоря, механизм принятия ключевых решений олицетворяет «седалище власти» (Т. Гоббс), которое, попадая в руки разных «хозяев», способен изменять характер и применения власти, и национального государства в целом.

Итак, мы видим, что под термином «государственные решения» кроется двоякая форма целеполагания. Одна из них отражает рутинизированный характер разработки и продвижения целей, основанный на рациональных способах взаимодействия и статусных ролях участников. Здесь политические параметры целеполагания практически не работают, уступая место логике администри-

---

[1] *Кулакова Т.А.* Указ. соч. С. 5.

[2] *Ledeneva A.V.* Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 314 p.

рования. Собственно, эта форма целеполагания и будоражит сознание многих ученых, настаивающих на деполитизации государственного управления, минимизации роли государства и о прогрессирующем «обуправлении» активности государства (Дж. Бессоп)[1]. В любом случае для описания этого тренда в управлении государством и принятия решений можно вполне адекватно использовать схематику менеджмента и организационной теории, модели «управления без правительства» и т.д. Не случайно представители так называемой консервативной революции полагали, что «правительство является проблемой, а не решением», в силу чего следовало бы стремиться к ликвидации государственной власти, которую нужно заменить маркетингом, олицетворяющим рычаги финансовой власти[2].

В то же время ни такие научные подходы, ни аналитический потенциал теории управления не способны раскрыть даже общие принципы принятия ключевых государственных решений, т.е. отобразить другой тип политико-административных взаимодействий, где постоянно меняется конфигурация участников, превращающая их политические замыслы и формы позиционирования в главный движитель процесса развития государства[3]. Здесь основные структурные компоненты принятия государственных решений — это крупные политические игроки (независимо от их административного статуса использующие инструменты символического давления), статусные и сетевые, формальные и неформальные, публичные и латентные. При этом основной потенциал развертывания этой аналитической конструкции предполагает изучение ментальных конструкций, мифомышления и ценностных приоритетов этих игроков, когнитивных нагрузок лидеров, доминирующих у сетевых «феодалов» образов «соперников» и «союзников», многоликие формы соотношения персонального и узкогруппового мышления, влияющие на их позиционирование и степень влияния.

Короче говоря, этот сложносоставной процесс и есть объект политических исследований. Весьма релевантными теоретическими схемами, раскрывающими этот тип складывающихся в государстве политических по своей природе отношений, стоит признать модели, акцентирующие роль поведенческих параметров целеполагания (А. Вилдавски, Дж. Баумгартнер, Дж. Джонс, П. Сабатье и др.), позволяющие рассматривать принятие государственных решений в качестве специфической внутренней подсистемы, отражающей функциональное единство действий государственных и гражданских акторов по принятию решений.

Сложность и одновременно ограниченность исследования этого объекта состоит в том, что политическое содержание государственных решений не просто

---

[1] *Джессоп Б.* Государство: прошлое, настоящее и будущее. М.: Дело, 2019.

[2] *Stiegler B.* States of Shock: Stupidity and Knowledge in the 21st Century. Cambridge: Polity, 2015.

[3] К примеру, в рамках менеджерального подхода для анализа политических решений выдвигаются многоликие *оптимизационные* (характеризующие системные основания действий ЛПР, направленных на достижение оптимальных результатов в различных (региональных, местных и др.) локалитетах), *оценочные* (где центральную роль играют альтернативные версии и информация), *познавательные* (нацеленные на проверку истинности принятых решений в рамках используемых методов рассуждений), *диагностические* (устанавливающие методы систематического поиска в случае нарушения нормальной работы системы управления), а также иные модели, тяготеющие к концептам *актуального управления, аккумулятивного принятия решений*, *командно-административного регулирования, научного управления*, *с разомкнутой связью*, с *обратной связью* и др. (*Рельян Я.Р.* Аналитическая основа принятия управленческих решений. М., 1989).

выводит целеполагание за рамки государственного управления, но и перемещает этот процесс в информационно закрытые пространства политической власти. Таким образом, логико-аналитические приемы и даже использование тех или иных инсайдерских сведений не позволяют с уверенностью определять содержание политической воли, направляющей взаимодействия центральных и локальных, статусных и неформальных центров влияния на ключевые цели государства. Нельзя не сказать и о том, что доминирующие в науке модели не учитывают также и связанного с суммативным эффектом целеполагания структурного разлома в правящих кругах. Этот элитарный разлом обременен целым рядом трансформаций в современных отношениях власти и общества, детерминируя динамику правящего меньшинства и иллюстрируя характер взаимодействия зарубежных и национальных структур государства в условиях глобализации и геополитической турбуленции (которые не дают рассматривать государство даже как форму пространственных ограничений политического целеполагания).

*А.И. Соловьев*

**Литература**


1. *Дегтярев А.А.* Принятие политических решений. М.: Изд-во КДУ, 2004. — 414 с.
2. *Коньков А.Е.* Латентная сфера политики. В поисках теоретической модели. М.: Аргамак-Медиа, 2021. — 224 с.
3. *Мирошниченко И.В.* Сетевая публичная политика и управление. М.: Аргамак-Медиа, 2016. — 296 с.
4. *Михайлова О.В.* Сети в политике и публичном управлении. М.: ИД КДУ, 2013. — 330 с.
5. Политическое в условиях цифровых трансформаций / Под ред. Л.В. Сморгунова, А.В. Курочкина, О.А. Игнатьевой. М.: Аспект Пресс, 2022. — 381 с.
6. *Соловьев А.И.* Политика и управление государством. Очерки теории и методологии. М.: Аспект Пресс, 2021.— 253 с.
7. *Сосунов Д.В.* Процесс принятия политических решений в современной России. Воронеж: Научная книга, 2010. — 227 с.
8. *Allison G.T., Zelikov P.* Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Longman, 1999. P. 40–79.
9. *Bruce Bueno de Mesquita*. The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics. Random House, 2011. — 272 p.
10. *Cairney P.* Understanding Public Policy.Theories and Issues. L.: Palgrave Macmillan, 2012.
11. Handbook of Public Policy. Agenda Setting / Ed. by N. Zahariadis. Department of International Studies, Rhodes College, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2016.
12. *Ledeneva A.V.* Can Russia Modernise?Sistema, Power Networcs and Informal Governance. Cambridge University Press, 2013. — 312 p.
13. *Mitchel A.S. and Mark J.R.* The President's Czars. Undermining congress and the constitution. University Press Kansas, 2012. — 298 p.
14. The Oxford Handbook of Political Networks / Ed. by J.N. Victor, A. Montgomery, M. Lubell. N.Y.: Oxford University Press, 2018. — 824 p.
15. Theories of the Policy Process / Ed. by Paul A. Sabatier. 2nd ed. University of California, Davis, 2007. — 344 p.

# Коммуникативная эффективность в публичной политике и управлении

Термин «эффективность» отражает ключевую цель и высший принцип функционирования системы государственного управления и вместе с тем является собой концептуальную и прикладную проблему для политологов, социологов и экономистов, не одно десятилетие пытающихся дать универсальное определение эффективности, выявить ее критерии и систематизировать индикаторы. Даже беглый анализ зарубежных политологических и государствоведческих источников выявляет множественность значений термина «эффективность» и в некоторых случаях серьезные затруднения с его дословным переводом на русский язык.

В англоязычных источниках можно обнаружить не менее четырех трактовок понятия «эффективность»: *efficiency* (означающего «результативность» или «экономическую эффективность», «соотношение полезного результата (эффекта) и объема использованных или затраченных для этого ресурсов, что в итоге выражает степень целесообразности и рациональности произведенных расходов»); *effectiveness* (делающего акцент на сочетании оценки затратности реализуемых решений и достигнутых с помощью данных решений результатов); *efficiacy* (близкого к экономической эффективности, но при этом отражающего организационно-технический оттенок, а также способности аппарата управления рационально использовать ресурсы для достижения заданных целей в срок и не превышая предписанный лимит ресурсов), а также *performance* (обозначающего комплекс оценочных параметров, по которым следует оценивать качество государственного управления в совокупности социальных, экономических, политических и менеджеральных аспектов, что позволяет определить данный термин как мультикритериальную характеристику политико-административного управления, основанного на высоком качестве услуг, конкурентоспособности административных структур и экономичности процесса управления (принципах эффективности *NPM*)[1].

Такая многозначность термина «эффективность» представляется не случайной, поскольку научные представления об эффективности зависят, с одной стороны, от развития методологии административной и политической наук, а с другой — от объективных изменений социальной, экономической, культурной среды или контекста, в которых это публичное управление осуществляется[2].

Развитие методологии государственного управления в течение XX в. значительно обогатило наши знания о том, какие методы и инструменты управления считать эффективными, как должна быть спроектирована оптимальная управленческая структура и т.д. Если проследить этот процесс в соответствии с развитием и сменяемостью различных научных школ, то можно отметить следующие изменения в трактовке содержания понятия «эффективность» политики и управления. Так, в рамках «классической школы» управления (Ф. Тэйлор, А. Файоль, Д. Гьюлик и др.) эффективность определялась преимущественно как «достижение формаль-

---

[1] *Курочкин А.В.* «Коммуникативная эффективность»: концептуализация понятия и перспективы использования в теории и практике государственного управления // Человек. Сообщество. Управление. 2013. № 4. С. 83–92.

[2] Там же.

ных целей заранее установленными методами в конкретные сроки»[1]. Однако такой механистический подход к концептуализации понятия «эффективность» предполагал, что цели организации четко установлены и измеряемы и для их достижения используются стандартные методы. В силу этого данный подход оказался уместен лишь для анализа эффективности сравнительно простых организаций, персонал которых подчинен конкретным правилам и выполняет простые рутинные операции. Не случайно он получил распространение в условиях расцвета конвейерного производства. Известный представитель американской административной науки Д. Уалдо прямо указывал на детерминацию роста всеобщего интереса к феномену эффективности процессом перехода от условий деятельности организаций XIX в. к условиям деятельности организаций XX в.: «На стыке веков, однако, стало очевидно, что мораль, несмотря на всю желательность, недостаточна. Демократия должна быть состоятельной, активной. Гражданам следует быть активными и бдительными. Государственная машина не должна терять время, деньги и энергию. Расточительное использование наших ресурсов следует исправлять. Если наши благие намерения терпят крах из-за неэффективности, тогда, следовательно, неэффективность и есть главный порок»[2].

В свою очередь, Г. Саймон писал, что эффективность является «*modus operendi* организации» и часто используется как виртуальный синоним понятия «рациональность». Следовательно, основной задачей административной теории становится поиск того, «каким образом организация должна быть сконструирована, чтобы выполнять работу эффективно»[3]. Данный подход предполагал в качестве основных методов достижения эффективного функционирования организации формализованные распоряжения, приказы, инструкции, направленные на рационализацию деятельности персонала. Сужая базу для непредсказуемых, случайных действий индивидов, директивный способ управления, по мнению приверженцев технократического, или механистического, подхода, позволял наилучшим образом производить количественную рационализацию, облегчая тем самым процесс измерения эффективности, который осуществлялся с помощью простых показателей в системе затрат/выпуска[4]. Однако на фоне такого рода исследований социальное качество организационных изменений и их влияние на внутри- и межорганизационные коммуникации практически всегда оставалось за бортом исследований.

«Школа человеческих отношений», ознаменовавшая следующий, бихевиористский этап в развитии административной теории, отвергла механистическое понимание эффективности как слишком упрощенное и не соответствующее практике. Эффективность стала трактоваться здесь как сложное, комплексное явление, оцениваемое по целому ряду критериев: степени удовлетворения персонала организации своей работой и ее результатами, уровню текучести кадров в организации, мотивации персонала и др. В этом случае к условиям эффективности (кроме лояльности, подчинения и четкого знания процедуры выполнения операций) стали относиться и осознанное удовлетворение работой и условиями труда,

---

[1] *Taylor F.* Principles of Scientific Management. N.Y.: Harper, 1911. P. 15.

[2] *Waldo D.* Public Administration, International Encyclopedia of the Social Science. Vol. 13. N.Y., 1968. P. 145.

[3] *Simon H.* The proverbs of administration // Public Administration Review. 1946. No. 6. P. 64.

[4] *Курочкин А.В.* Указ. соч.

межличностными отношениями, сложившимися в коллективе[1]. Таким образом, в исследование феномена эффективности в рамках поведенческого подхода были включены социально-психологические факторы и неформальные связи внутри организации.

Кибернетический, а позже и синергетический подход, составившие основу общесистемной теории управления, сделали это понятие еще более сложным, постаравшись избежать как ориентации на предпосылку максимизации полезности отдельных субъектов, так и структурного детерминизма. Ключевым принципом данных методологий стало признание открытости и сложности современных систем, их активное взаимодействие с внешней средой за счет включения механизмов положительной и отрицательной обратной связи. В рамках данных подходов отвергалась как простота, закрытость и линейность развития систем, присущие механистическим моделям, так и индивидуализм, атомистичность и чрезмерный психологизм, характерные для теоретических разработок представителей школы человеческих отношений. В результате новый системный показатель эффективности стал еще более сложным, поскольку включил в себя исторические (зависимость от условий генезиса системы и дальнейшего хода развития), психологические (мотивационные), рыночные (ориентация на максимизацию собственной полезности) и структурно-институциональные компоненты. Тем самым он приобрел отчетливо мультикритериальный характер, что в целом соответствует сложившейся ситуации в административной науке, где на сегодняшний день отсутствует доминирующий теоретический подход или концепция, а большинство исследований строятся на междисциплинарной основе[2].

Трансформация социокультурной, политической и экономической реальности в течение последних 20–30 лет также значительно скорректировала наши представления об эффективном публичном управлении и политике. В конце 1980-х — 1990-е годы данные изменения чаще всего описывались в рамках методологии постиндустриализма или близких подходов с помощью терминов «технологическая революция», «общество знания», «информационная экономика», «глобализация» и характеризовались ростом нестабильности и дезинтеграцией социальных систем, а также непредсказуемостью и чрезвычайной сложностью развертывания экономических процессов, проблемами социальной идентичности, смешением и исключительным многообразием культурных течений. Ключевым показателем, уже тогда характеризовавшим процессы публичного управления и принятия политических решений, стал рост динамизма во всех сферах общественно-политической жизни. Тридцать лет назад, еще на заре развития Интернета, в значительно более предсказуемых, нежели сегодня, условиях научно-технологического и экономического развития американский экономист П. Вейлл писал: «Перед нами не просто возникают проблемы. Они развиваются в совершенно новых условиях. Двадцать лет назад Эмери и Трист писали, что в изменяющейся окружающей среде “сама почва движется”. В этом образе схвачена сама суть изменчивости окружающего мира, неустойчивого до такой степени, что мы не можем рассчитывать на его стабильность даже на период реализации уже принятых решений»[3].

---

[1] *Курочкин А.В.* Указ. соч.

[2] Там же.

[3] *Вейлл П.* Искусство менеджмента: Новые идеи для мира хаотических перемен / Пер. с англ. М.: Новости, 1993. С. 16.

Очевидно, что в XXI в. острота и актуальность данного тезиса умножились кратно. Политическая, социальная, культурная и экономическая среда испытывает сегодня принципиально новые, невиданные ранее вызовы и риски, чрезвычайно усложняющие содержание и структуру оценки эффективности публичной политики и управления. В кратком перечислении к этим — только ключевым — проблемам можно отнести: истощение мировой ресурсной базы и перманентный рост конкуренции за контроль над природными ресурсами; чрезвычайную турбулентность нового мирового порядка, кризис постялтинской системы международных отношений, повлекший за собой множество локальных и макрорегиональных конфликтов в первой четверти XXI в. и становление новой системы мирового большинства; девальвация ценностных оснований политики, доминирующими принципами которой все чаще становятся новый технократизм, эгоистический рационализм и утилитаризм; значительное изменение структуры занятости и рынка труда, его прекаризация и «уберизация», влекущие за собой снижение спроса на труд любой квалификации, кроме высшей, минимизация присутствия, а в перспективе фактическое отсутствие человека в процессе производства; непредсказуемость и слабая управляемость (в классическом понимании) процесса инновационного развития как со стороны бизнеса, так и государства, а также цифровой разрыв, связанный с недостаточной подготовкой граждан для активного участия в цифровой экономике и неравномерным развитием *IT*-инфраструктуры, исключающий большие социальные группы из числа активных участников экономических отношений, что предопределило дальнейшее и более глубокое, чем прежде, социальное расслоение.

Понятно, что наличие столь значимых перемен требует уточнения понятия «эффективность» применительно к публичному управлению и политике, функционирующих в условиях совершенно новой внешней среды. Следует, однако, отметить, что такие задачи, прежде всего, актуализируют коммуникационный и координационный аспекты управления. В свою очередь, чтобы попытаться отобразить обозначенные явления и предложить концепт эффективности, способный охарактеризовать ее внеэкономические характеристики, обратимся к понятию «коммуникационная эффективность».

В исследованиях ряда отечественных авторов, посвященных коммуникативной эффективности, абсолютной доминантой является анализ маркетинговых коммуникаций[1] (в основном касающийся исследования эффективности сетевых рекламных кампаний — *SMM*), а также оценка принципов эффективности речевой коммуникации, рассматриваемых относительно использования языковых конструкций[2]. В самом общем виде эффективной коммуникацией признается такая коммуникация, которая ведет к достижению целей коммуникатора, которые дифференцируются, по мнению И.А. Стернина, по трем ключевым группам: «информационной (донесения информации до адресата), предметной (получения или изменения поведения адресата) и коммуникативной (формирования определенных отношений с адресатом)»[3].

---

[1] *Ухова Л.В.* Эффективность коммуникаций // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2020. № 1. С. 106–110; *Шевченко Д.А.* Оценка эффективности коммуникационного процесса // Современные технологии управления. 2013. № 2 (26). URL: https://sovman.ru/article/2606 (дата обращения: 10.11.2022).

[2] *Сиротинина О.Б.* Эффективность общения как одна из важнейших проблем современной коммуникативной практики // Экология языка и коммуникативная практика. 2018. № 1. С. 59–71.

[3] *Стернин И.А.* Введение в речевое воздействие. Воронеж: Кварта, 2001.

Маркетинговый, или рыночный, подход к анализу коммуникаций, какая бы подробная система оценки при этом ни применялась, сводится к подсчету конечной прибыли, полученной после использования различных коммуникативных приемов и техник в социальных сетях. Механизмом координации взаимодействий в данном случае выступает рынок. Когда мы имеем дело с общественно-политическими коммуникациями, подобный подход невозможен. Даже если заменить получаемую прибыль, например, голосами избирателей, рыночный механизм координации взаимодействий здесь не работает (во всяком случае, тем же образом, что и в экономике). По этой причине в качестве методологического основания выстраивания системы оценки эффективности сетевых общественно-политических коммуникаций предлагается концепт «коммуникативная эффективность» (теоретическую базу разработки которого составляет концепция экономики соглашений[1] новых французских институционалистов Л. Тевено, Л. Болтянски[2] и др.), понимаемый как *результирующая минимизации транзакционных издержек взаимодействия*.

Использование данного концепта и транзакционного подхода к оценке эффективности общественно-политических коммуникаций позволяет провести качественный анализ распределения коммуникативного воздействия в сетевых сообществах, осуществить оценку возможностей распределенного решения (за счет анализа эффекта синергии и группового опыта), а также вычленить множественность потенциальных сценариев развития информационного поля. К преимуществам данного подхода следует отнести и возможность определения пула участников сетевой коммуникации (обладающих наибольшим потенциалом влияния в контексте формирования повестки) и дифференциации наиболее эффективных способов воздействия. Кроме того, выбор данного методологического фундамента обоснован спецификой самих сетевых политических коммуникаций, ключевой общественно значимой задачей которых является достижение взаимопонимания и согласия акторов — участников политического процесса — посредством делиберации и взаимного диалога.

В условиях чрезвычайно динамичной цифровизации и сетевизации современного общества актуальность проблемы обеспечения эффективной коммуникации и повышения совокупного социального капитала возрастает многократно. С одной стороны, как справедливо отмечал М. Кастельс, «горизонтальные цифровые коммуникационные сети превратились в становой хребет жизни, формирование сетевого общества усилило влияние гражданского общества на власть»[3]. Причем такое влияние, прежде всего, произошло за счет масштабирования эффекта самокоммуникации, превратившегося «в самую подрывную практику из всех возможных, поскольку она бросает вызов властным отношениям, укорененным в общественных институтах и организациях»[4]. Однако, с другой стороны, сетевые

---

[1] *Шаститко А.Е.* Новая институциональная экономическая теория. М.: Экономический факультет МГУ: ТЕИС, 2002. — 591 с.

[2] *Тевено Л.* Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном мире // Вопросы экономики. 1997. № 10; *Болтански Л., Тевено Л.* Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов / Пер. с франц. О.В. Ковеневой; под науч. ред. Н.Е. Копосова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

[3] *Савенков Р.В.* Публичное оспаривание: от дискурса к политической оппозиции. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2021.

[4] *Кастельс М.* Власть коммуникаций. М.: Издательский дом ВШЭ, 2020.

коммуникации оказались крайне подвержены манипулятивному воздействию, ибо «ценность и "заметность" сообщения для простого пользователя формируются не содержанием данного сообщения, а его оценками и социальными маркерами, что, конечно же, позволяет говорить о высоком манипулятивном потенциале цифровых коммуникаций»[1].

Ряд экспертов в начале XXI в. делали пессимистические прогнозы относительно возможности донесения до пользователя правдивой информации и минимизации манипулятивных воздействий. В частности, Ш. Гурли писал о том, что «благодаря искусственному интеллекту и алгоритмам обучения, будет почти невозможно отличить роботов от людей, а настоящие новости от подделки. И мы увидим появление более автоматизированной пропаганды — ботов, использующих сложные структуры искусственного интеллекта, устраняющих необходимость в том, чтобы люди управляли профилями. Алгоритмы будут не только читать новости, но и писать их»[2]. Сегодня же риски и вызовы новой цифровой политической реальности стали для всех еще более очевидными.

Новые коммуникационные вызовы, нацеленные на манипулирование аудиторией, сегодня крайне разнообразны. Среди используемых в данном случае технологий и инструментов можно выделить несколько основных групп или категорий: сознательное умалчивание или частичное изложение фактов; распространение заведомо ложной или искаженной информации, таргетированно распространяемой в Сети (с использованием технологии *Big Data* для обработки данных о пользователе и его цифрового следа)[3]; создание и имплементация киберсимулякров, представляющих «функционирующих в пространстве социальных медиа виртуальных личностей, симулирующих репрезентацию реально существующих сетевых пользователей»[4]. В результате применения таких инструментов создаются ложные впечатления о действиях или сообщениях, производимых якобы от лица реальных политиков.

В условиях сетевой коммуникации существенно меняется и эмоциональный фон коммуникативного взаимодействия, а также механизм социальной самоидентификации его участников. Как отмечают специалисты, «...хотя политическое суждение представляет собой репрезентативное высказывание о предмете обсуждения, основанное на чувстве общности участников коммуникации, тем не менее на основе платформенной организации возникающее чувство общности участников из внутренне присущей коммуникации формы становится внешним условием простой принадлежности к сформированной сетевой структуре»[5].

Отечественный исследователь А. Луков отмечал, описывая изменения информационных обменов, связанных с доминированием электронных средств массовой информации (прежде всего телевидения), что «информация, обретая власть над миром, в то же время утрачивает свою власть в сфере деятельности

---

[1] Аутсорсинг политических суждений: проблемы коммуникаций на цифровых платформах / Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Политическая энциклопедия, 2021.

[2] *Gourley S.* Get ready for the robot propaganda machine // WIRED. 2015. Febraury 5. URL: https://www.wired.co.uk/article/robot-propaganda (дата обращения: 29.11.2022).

[3] *Курочкин А.В.* Проблема оценки эффективности политических коммуникаций в социальных медиа // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2023. Т. 19. № 1. С. 49–57.

[4] Аутсорсинг политических суждений: проблемы коммуникаций на цифровых платформах.

[5] Там же.

человека. На первый план в социологии выходит характеристика механизмов сознания, а в них — малоизученная проблема доверия к информации»[1]. Согласимся, что распространение новых сетевых социальных медиа кратно актуализировало эту вставшую перед человечеством проблему. Современное состояние сетевой политической коммуникации можно описать знаменитой фразой Т. Гоббса из его трактата «Левиафан»: «*Bellum omnium contra omnes*» («Война всех против всех»). Причем сегодня эта война включает в качестве противоборствующих сторон не только, а возможно, и не столько людей, сколько различного рода ботов и другие производные искусственного интеллекта. В этом контексте, как замечает ряд отечественных ученых, «новые параметры механизмов современной государственной политики последовательно включают в себя, с одной стороны, различные сетевые формы делиберации и артикулирования политических интересов и предпочтений, электронного политического участия (форумы, чаты, блоги, мессенджеры, социальные сети), а с другой — особые свойства цифровой среды как нового пространства общественно-политических отношений, которые позволяют вариативно и плюрально одновременно воспроизводить реальные (существующие, действующие, объективные) и конструировать виртуальные (заданные, идеальные, нормативные) социальные связи, равно как и дезавуировать и девальвировать те, что утратили актуальность»[2].

Таким образом, проблема доверия как к контенту, так и к субъекту, этот контент создающему или распространяющему, превращается в центральную проблему сетевой политической коммуникации. В силу этого чрезвычайно важным представляется необходимость отнесения характеристики «доверие» к центральным показателям эффективности политической коммуникации.

*А.В. Курочкин*

**Литература**

1. *Болтански Л., Тевено Л.* Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов / Пер. с франц. О.В. Ковеневой; под науч. ред. Н.Е. Копосова. М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 576 с.

2. *Вейлл П.* Искусство менеджмента: Новые идеи для мира хаотических перемен — Пер. с англ. М.: Новости, 1993. — 220 с.

3. *Кастельс М.* Власть коммуникаций. М.: Издательский дом ВШЭ, 2020. — 592 с.

4. *Курочкин А.В.* «Коммуникативная эффективность»: концептуализация понятия и перспективы использования в теории и практике государственного управления // Человек. Сообщество. Управление. 2013. № 4. С. 83–92.

5. *Савенков Р.В.* Публичное оспаривание: от дискурса к политической оппозиции. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2021. — 244 с.

6. *Сиротинина О.Б.* Эффективность общения как одна из важнейших проблем современной коммуникативной практики // Экология языка и коммуникативная практика. 2018. № 1. С. 59–71.

7. *Ухова Л.В.* Эффективность коммуникаций // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2020. № 1. С. 106–110.

---

[1] *Луков А.* Социология телевидения: становление научной дисциплины // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/3/Lukov_AV2/index. php?sphrase_id=105075 (дата обращения: 10.11.2022).

[2] *Коньков А.Е.* Латентные механизмы формирования современной государственной политики: Дис. ... д-ра полит. наук. 2022. URL: https://dissovet.msu.ru/dissertation/055.1/2248 (дата обращения: 29.11.2022).

8. *Шевченко Д.А.* Оценка эффективности коммуникационного процесса // Современные технологии управления. 2013. № 2 (26). URL: https://sovman.ru/article/2606 (дата обращения: 10.11.2022).

9. *Gourley S.* Get ready for the robot propaganda machine // WIRED. 2015. February 5. URL: https://www.wired.co.uk/article/robot-propaganda (дата обращения: 29.11.2022).

10. *Levshina N.* Communicative Efficiency Language Structure and Use. Cambridge University Press, 2023. — 93 с.

11. *Manzoor A.* A Look at Efficiency in Public Administration: Past and Future // SAGE Open October–December 2014 P. 1–5.

12. *Mertens D.M., Wilson A.T.* Program Evaluation Theory and Practice. A Comprehensive Guide. N.Y.: The Guildford Press, 2012. — 620 p.

13. *Prokofiev S.* et al. Improving the Efficiency of Public Authorities // Journal of Advanced Research in Law and Economics. September 2019. Vol. 10. No. 6. P. 1939–1944.

14. *Simon H.* The proverbs of administration // Public Administration Review. Winter 1946. Vol. 6. No. 1. P. 53–67.

15. *Taylor F.* The principles of scientific management / Ed. by Frederick Winslow Taylor. N.Y.; L: Harper, 1911. — 144 p.

16. *Vedung E.* Public policy and program evaluation. N.Y.: Routledge, 2017. — 336 p.

17. *Waldo D.* Public Administration, International Encyclopedia of the Social Science. 2nd ed. Vol. 13. N.Y., 1968. — 531 p.

# Конвергентные технологии и государственная политика

Любая политическая система всегда опирается на тот или иной технический остов, как предопределяющий основные формы поддержания коммуникаций государства и общества в сфере власти, так и обусловливающий проведение государственной политики в соответствии с основными тенденциями развития науки и технологической инфраструктуры общества. Как показывает практика, одним из основных — принудительных по своей сути — требований при определении векторов государственной политики является неконтролируемое правительством развитие технологий в современном мире. В этом контексте одним из наиболее заметных факторов подобного рода, во многом предопределяющим разработку государством своих стратегических планов, является развитие нано-, био-, информационных и коммуникационных систем, которые оказывают всевозрастающее воздействие на развитие энергетики, урбанизацию (к примеру, в виде роботизации строительства мегаполисов[1]) и промышленную инфраструктуру[2].

В этом смысле, видимо, можно говорить о том, что олицетворением наиболее серьезных вызовов политике современных государств является развитие *NBIC*-технологий, требующих как организацию новой модели научной деятель-

[1] *DotsenkoE.* NBIC-Convergenceasa Paradigm Platform of Sustainable Development. E3S Web of Conferences 2017, 21, 04013. The Second International Innovative Mining Symposium.

[2] *Bainbridge W.S., Roco M.C.* (eds). Managing nano-bioinfo-cogno innovations: converging technologies in society. Springer, 2006, Berlin.

ности (а следовательно, новых идей, определяющих развитие общества)[1], так и перестройку многих базовых элементов формирования государственной инновационной политики. При этом особенно следует учитывать, что развитие био- и нанотехнологий идет быстрее, чем компьютерных технологий. В силу этого представляется вполне убедительным, что именно конвергентные технологии в ближайшем будущем будут определять форму, содержание и интенсивность воздействия человека на окружающую среду[2]. Являясь столь мощным двигателем научно-технического и социально-экономического прогресса, *NBIC*-конвергентные технологии не только способны стать залогом устойчивого развития человечества в XXI в.[3], но и по понятным причинам помещают вопрос о перспективах и стабилизации правящих режимов в русло решения вопроса о сохранении и приумножении этого современного технологического ресурса.

Как показывает мировой опыт, сегодня *NBIC*-технологии вносят изменения не только в традиционную инновационную политику и стратегию развитых стран мира[4], но и в структуру мировой торговли, которая все больше насыщается инновационными товарами и услугами[5].

Вспомним попутно, что не столько термин, сколько сам концептуальный подход к «конвергенции» различных инструментов преобразования технологической среды зародился в ИТ-секторе еще в 1980-х годах, результатом которого стало появление мехатроники (объединяющей ИТ и производственные технологии). Десятилетием позже, после появления Интернета, возникла конвергенция ИТ и коммуникационных технологий[6]. Ярким примером технологической конвергенции между биологией и информационными технологиями в то время стал проект «Геном человека». В начале XXI в. еще более широкий взгляд на технологическую конвергенцию был применен в сфере закрытых военных и космических исследований в США. На их основе было предсказано, что взаимодействие биоматериалов и наноматериалов с информационной технологией вызовут глобальную технологическую революцию[7]. Одним словом, технологическая конвергенция предпо-

---

[1] *Hammond J., Keeney R., Raiffa H.* Smart choices: a practical guide to making better decisions. Harvard Business School Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.

[2] *Dotsenko E.* Op. cit.

[3] *Kushf G.* Systems theory and the ethics of human enhancement // M.C. Roco, C. Montemagno (eds). The coevolution of human potential and converging technologies. New York Academy of Sciences. N.Y., 2004; *Kearnes M., Macnaghten P., Wilsdon J.* Governing at the nanoscale: people, policies and emerging technologies. L.: DEMOS, 2006.

[4] *Руденский О.В., Рыбак О.П.* Инновационная цивилизация XXI века: конвергенция и синергия NBIC-технологий. Тенденции и прогнозы 2015–2030 // Информационно-аналитический бюллетень. 2010. № 3.

[5] *Roco M.C., Williams S., Alivisatos P.* Nanotechnology research directions. Springer, Dordrecht, Netherlands, 1999.

[6] From bio to NBIC — From medical practice to daily life Report written for the Council of Europe, Committee on Bioethics. URL: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/117573709/From_Bio_to_NBIC_convergence_Rathenau.pdf (accessed: 10.03.2023).

[7] *Antón P.S., R. Silberglitt & J. Schneider.* The global technology revolution. Bio/Nano/ Materials trends and their synergies with information technology by 2015. SantaMonica, CA: RAND National Defense Research Institute (NDRI), 2001.

Ярким примером положительных результатов успехов конвергенции могут служить такие факты, как формирование универсальных баз данных, развитие когнитивных и коммуникационных связей, компьютерные «облака», человеко-машинные роботизированные конструкции, кибернетическая система, безлюдная техника и транспорт, телемедицина, новые космические программы, наука об элементарных частицах, «умная» техника, появление новых дисциплин (синтетическая биология, кванто-

лагает порождение синергетического эффекта от сочетания различных подходов (знаний, дисциплин), практических приемов и инструментов преобразующей активности на всех уровнях размерности (атомы — молекулы — наночастицы — макромир — вселенная), времени и сложностей[1]. Что, собственно, и позволяет — на границах между формами активности и промышленными отраслями — появиться на свет прорывным технологиям[2].

Сегодня занимающиеся этой тематикой философы, физики, генетики, математики и другие специалисты пришли к общему пониманию, что конвергенция расширяет свои круги по спирали (дивергенция), восходя на более высокий уровень сплочения с учетом широкого спектра социально-гуманитарных наук и практик. Возможно, и по этой причине некоторые конвергентные технологии все еще находятся на зачаточном этапе развития. Однако ученые рассчитывают, что до 2030 г. они должны занять лидирующие позиции в мировой инновационной экономике, приведя к появлению наноэкономики, биоэкономики, информационной экономики и когномики (экономики с использованием когнитивных технологий). По мнению некоторых ученых, получится, что ученый-когнитивист — думает, ученый-нанотехнолог — делает, ученый-биотехнолог — вооружает, ученый-информационщик — мониторит и контролирует, ученый-социолог — обращает успехи технологий на пользу человека и общества. Конечно, все эти специалисты, а не только когнитивисты думают, и все они, а не только нанотехнологи делают, а все вместе они творят будущее человечества[3].

В последние годы на базе четырех конвергентных технологий к их объединению совершенно обоснованно стали добавлять еще и социальную составляющую или социальные технологии (ставя их обозначение впереди или в конце аббревиатуры — *NBICS*). Это призвано показать, что в XXI в. человек становится главным субъектом и объектом всех инноваций, его социальный статус должен быть тесно связан с развитием науки, знаний, образованием, технологиями и их продуктами. При этом статус человека должен быть защищен в самом широком смысле — и качеством жизни, и образованием, и здравоохранением, и экологией, и стабильным развитием общества[4].

Сегодня под конвергентными технологиями понимается сочетание новых и относительно традиционных технологий. Сближающиеся новые технологии представляют собой сочетание нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и когнитивных наук (*NBIC*). Сегодня каждая из них развивается быстрыми темпами, постоянно подпитываясь результатами математических и экологических исследований.

---

вые коммуникации, нанофотоника, нанофлюидика), биомедицина, медицинская физика и инженерия (*Чаган Н.Г.* От Convergento в образовании к Convergentio в управлении // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях: Материалы II Международной научно-практической конференции. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019).

[1] Научно-публицистический журнал «НБИКС-Наука.Технологии». URL: https://www.nanonewsnet.ru/files/nbics-magazin/nbics-magazin-170608.pdf (дата обращения: 10.03.2023).

[2] From bio to NBIC — From medical practice to daily life Report written for the Council of Europe, Committee on Bioethics. URL: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/117573709/From_Bio_to_NBIC_convergence_Rathenau.pdf (accessed: 10.03.2023).

[3] Научно-публицистический журнал «НБИКС-Наука.Технологии». URL: https://www.nanonewsnet.ru/files/nbics-magazin/nbics-magazin-170608.pdf (дата обращения: 10.03.2023).

[4] Там же.

Концепция конвергенции технологий разрабатывалась экспертами развитых стран, входящих в ЕС и «Большую восьмерку» в начале XXI в. Эта концепция основывалась на материалах четырех конференций, проведенных в США (2001–2005 гг.), и докладах Европейской группы экспертов высокого уровня (*HLEG*). В США эти конференции проходили под эгидой «Национальной технологической инициативы» президента США и *NSF*, а в Европе — под эгидой ЕС. По результатам обсуждений за основу концепции технологической конвергенции был взят принцип «синергетического сочетания четырех научно-технических направлений»:

1) нанонаука и нанотехнология;
2) биотехнология и биомедицина, включая генную инженерию;
3) информационные технологии, в том числе новейшие компьютерные и коммуникационные технологии;
4) когнитивные науки, охватывающие нейронауки и когнитивные технологии. Эти направления обозначили термином «*NBIC*-наука и *NBIC*-технологии».

Собственно концепция технологической конвергенции была предложена в 2003 г. американскими учеными М. Роко и У. Бейнбриджем из Национального научного фонда США[1]. Благодаря разработке нанотехнологий и эффекту *NBIC* термин конвергенции позволил воспринимать конфигурацию явлений на молекулярном уровне. С этой точки зрения нанотехнологии, бывшие раньше отдельными областями биомедицины, информатики, химии, фотоники, электроники, робототехники и материаловедения, теперь объединяются в единую инженерную парадигму. Соответственно, ученые и управленцы стали обоснованно говорить и о возникновении особой системы научных знаний, лежащей в основании этих технологий[2]. Иначе говоря, активный процесс инновационно-технологической конвергенции в конце XIX — начале XX в. привел к появлению междисциплинарных исследований на стыке различных областей науки и техники. Единая научно-техническая область знаний представлена почти всеми уровнями организации вещества от атомно-молекулярной природы (нано) до природы жизни (био), разума (когно) и процессов обмена информацией в материальные конструкции (информация) как метаобласти знаний[3].

Благодаря практическим успехам в области разработки *NBSC* привело к тому, что актуальное использование этого термина употребляется уже не для осмысления в научном мире и общественном сознании этого типа технологий и их дальнейших перспектив, а для развития полемики относительно стимулирования разнообразных механизмов формирования и регулирования соответствующих технологий.

Понятно, однако, что ориентация на использование и развитие *NBSC* может по-разному отражаться в государственной политике, проводимой различными политическими режимами. Так, в ряде демократических государств ориентация на эти цели сопряжена с интенсивным гражданским дискурсом и многогранными общественно-политическими процессами. Например, с усилением консенсу-

---

[1] *Roco M.C., Bainbridge W.S.* (eds). Converging technologies for improving human performance. Springer, Dordrecht, Netherlands, 2003.

[2] *Pielke R.A.* Policy, politics and perspective // Nature. 2002. No. 416. P. 367–368.

[3] *Dotsenko E.* Op. cit.

альных практик (относительно целей государственной политики); повышением роли экономики, основанной на знаниях; созданием благоприятной среды эффективного государственного управления; развитием глобальной коммуникации и расширением участия гражданских структур и международных организаций в развитии конвергентных технологий. Своеобразным антиподом этой политике государств могут считаться страны, не имеющие достаточных ресурсов для практического использования в экономике таких технологий или же проведения релевантных научных исследований.

Да и в целом следует иметь в виду, что фактический выбор этих приоритетов государственной политики сегодня осложняется острыми проявлениями энергетического и климатического кризисов, сложными миграционными процессами и геополитическими конфликтами, неминуемо накладывающими отпечаток на выбор перспективных направлений и характер распределения общественных ресурсов, хотя бы по причине иного перераспределения ресурсов на более неотложные задачи, решаемые национальными правительствами. Ведь даже в тех странах, где ведется активная работа по разработке таких технологий, сложность их внедрения в экономические и управленческие процессы, а также высокая стоимость применения заранее предопределяет их недоступность для всех членов общества. Нельзя сбрасывать со счетов и политическое давление на центры принятия решений экономических игроков, чьи позиции и интересы жестко связаны с малоперспективными для общества технологическими укладами и которые слабо заинтересованы в изменении государственных приоритетов.

Так, к примеру, в экономике США доля шестого технологического уклада составляет 5%, пятого — 60, четвертого — 20 (в России — более 50%), третьего — менее 15 (в российской экономике — 33%), второго технологического уклада — 1% (в России — 10%)[1]. При этом на долю цифрового сектора в ВВП США приходится 7,4%, в то время как в России всего 2,8%. Заметим попутно, что в конце 2018 г. в России удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в их общем объеме составил 6,5%, что является самым низким значением с 2012 г. Подчеркнем для сравнения и то, что доля аналогичного показателя в ВВП развитых стран составляет не менее 35%.

Короче говоря, характер динамических характеристик структурных параметров российской экономики (или, другими словами, нарастания циклической неустойчивости и снижения возможностей роста в рамках экспортно-сырьевой модели) позволяет констатировать их несоответствие современным технологическим детерминантам, что вызывает снижение темпов роста ВВП, застой общественного производства и даже определенную технологическую деградацию промышленности. Дополнительным фактором отсталости технологического уровня инаучного потенциала в стране является и несовершенство инвестиционного механизма, предопределяющего финансирование НИОКР по остаточному принципу.

Понятно, что в таких условиях необходимым условием экономического рывка является преобладание наукоемких секторов производства в структуре экономики и проникновение в сложные производственные системы технологий конвер-

[1] *Бодрунов С.Д.* Конвергенция технологий — новая основа для интеграции производства, науки и образования // Экономическая наука современной России. 2018. № 1. С. 17.

гентного типа[1]. Однако для России это «задача на вырост», ибо в настоящее время 59,26% отраслей промышленного производства пока не готово к освоению конвергентных технологий и соответствующей организации национального производства на конвергентно-технологической основе. Дополнительными факторами, снижающими такие возможности в настоящее время, является институциональная среда, закрепляющая сырьевую направленность российской экономики и сокращающими возможности ее структурной модернизации, а также санкционная политика западных стран.

Следует иметь в виду и то, что решение подобной задачи, предусматривающее прогресс в использовании современных технологических инструментов, качественно повышает роль изучения малоизученных факторов[2], увеличивающих риски и снижающих эффективность государственной политики. А это, в свою очередь, требует повышения внимания к научным и особенно фундаментальным исследованиям, перестройке взаимоотношений научных структур и производства.

Как можно видеть, в таких весьма неблагоприятных условиях государство обязано предпринимать дополнительные усилия по радикальному изменению своих инновационных приоритетов. В этом контексте весьма обнадеживающим является обозначенная в Указе Президента РФ установка на «Обеспечение к 2030 г. реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 г.», что по замыслам властей должно привести к включению Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок[3].

Одним из инструментов современной государственной политики в РФ является и определение перечня базовых направлений развития науки и техники РФ, утвержденного Указом Президента РФ еще в 2011 г. № 899 от 7 июля 2011 г. и получившего новую редакцию 16.12.2015 г. № 623. В настоящее время он включает более 50 критически важных технологий. При этом российское правительство, помимо определения перечня критических технологий, выработало и соответствующие нормы и правила развития науки и техники. Иначе говоря, правительство, создавая перечень критически важных технологий для российской экономики, рассматривало его как важный инструмент научно-технологического развития страны, аттестующий не только проработанную на обозримую перспективу стратегию, но и предполагающую соответствующие изменения в организации научных исследований[4].

Впрочем, такой подход, помимо четкого понимания принципиальных ориентиров экономического и технологического развития страны, так или иначе отражал и те ограничения, которые обусловлены достигнутым уровнем развития экономической инфраструктуры. Не случайно более экономически продвинутые страны в контексте своего стратегического планирования значительно меньше ориентируются на развитие критических технологий. Например, США, Франция, Япония и другие страны к началу этого века, по существу, отказались от идеи создания

---

[1] *Климович М.А.* Конвергентные технологии в системе структурных сдвигов нового типа: Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. М., 2021.

[2] *Winner L.* Autonomous technology: technics-out-ofcontrol as a theme in political thought. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1977.

[3] Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

[4] *DotsenkoE.* Op. cit.

такого рода перечня, так как посчитали, что выбор конкретных приоритетных технологий может служить определенным сдерживающим фактором как для экономического развития, так и для поддержания деловых взаимоотношений государства и бизнеса[1].

По линии Европейской группы экспертов высокого уровня (*HLEG*) основное внимание в разработке инновационной политики ЕС направлено не на области возможной конвергенции обозначенных технологий, а на конкретные НИОКР. В контексте такого подхода эта группа экспертов определила пять основных направлений исследований, в которых осуществляется развитие конкретных конвергентных технологий и сопутствующих устройств и других перспективных инновационных продуктов. Так, например, направление «Здравоохранение» (№ 1) включает в себя создание объектов, способных кардинально изменить среду обитания и образ жизни людей. К таким направлениям европейцы относят разработку технологий и так называемых «лабораторий», вмонтированных в чипы с целью проведения быстрого сканирования состояния здоровья и определения диагноза пациента (в том числе и за счет удаленного положения пациента от медицинского учреждения). К этому же направлению относится и разработка «умных протезов», способных реагировать на сигналы человеческого мозга и передавать соответствующую сенсорную информацию на двигательный аппарат[2]. В свою очередь, в рамках направлений «Экология» и «Электроэнергетика» предполагается разработка и создание новых энергоносителей, имитирующих природные системы и технологии их хранения; возобновляемых источников энергии, автономных «умных домов» и «умных энергосистем»; биомиметических технологий и т.д.[3]

В целом основной акцент в инновационной политике в экономически развитых европейских странах делается на НИОКР, направленных на укрепление нейросистем и расширение возможностей человеческого мозга, а также на развитии когнитивных и компьютерных инструментов нейробиологии, наномедицины, искусственного интеллекта, наноэлектроники, биомедицины, усилении физических возможностей человека[4]. Главное, однако, в том, что под влиянием этих инструментов ожидается переход к новым формам общественного развития, направленным на гармонию интересов человечества и охраны окружающей среды. Такой переход будет сопровождаться изменением экологической культуры, ценностей в обществе, новой психологией общественного развития, появлением новых морально-этических норм[5]. Сегодня чем дальше, тем больше развитие комплекса *NBIC* тесно связывается с разработками на границе между органической и искусственной жизнью, человеком и машиной, человеческим и искусственным интеллектом.

Впрочем, на практике формирование в том или ином государстве единого научно-технологического комплекса *NBICS* всегда подразумевает не только конкуренцию подходов и идей (правительственных и гражданских приоритетов общественного развития), но и неуклонное сближение физических и биологических наук, формирующих биоинженерный мегатренд, который можно обозначить

---

[1] *Руденский О.В., Рыбак О.П.* Указ. соч.

[2] Там же.

[3] *Dotsenko E.* Op. cit.

[4] *Руденский О.В., Рыбак О.П.* Указ. соч.

[5] Там же.

крылатыми фразами «биология становится технологией» и «технология становится биологией»[1].

В рамках этих тенденций государства не только по-своему реагируют на разные аспекты утверждения этой конвергентной парадигмы, но и демонстрируют собственные приоритеты в этой сложносоставной деятельности. Так, власти США большой акцент делают на технологиях (не забывая, впрочем, и про социальные аспекты), в то время как европейцы больше обращают внимание на социальную сторону технологического развития. При этом в обоих случаях в разработке программ развития активное участие наряду с государством принимают бизнес и общество[2].

С одной стороны, формирование комплекса *NBIC* привлекает внимание к новым аспектам хорошо известных этических и социальных проблем, таких как безопасность, конфиденциальность, автономия, ответственность, физическая и психическая неприкосновенность, информированное согласие и доступ к технологиям. Однако, с другой — существуют и менее известные вопросы, связанные с оценкой возможностей и перспектив развития конвергентных технологий с учетом признания несовершенства человека (способного использовать технические новшества во вред ближнему), права собственности граждан на свои биологические данные, свободы информации и т.д. Возникают и такие интригующие вопросы, как, например: должны ли люди иметь право улучшать себя с помощью технологий; как им избежать манипулирования человекоподобными технологиями; какие социальные задачи могут быть гуманно делегированы машинам? Как знания, навыки и финансовые средства, индивидуальные потребности могут адекватно реализовываться с использованием определенных биомедицинских технологий в повседневной жизни? Центральный вопрос, однако, состоит все же в том, как могут и должны государство и общество решать эти проблемы. Как им установить необходимый баланс между техническим прогрессом и сохранением человеческого достоинства?[3]

Пытаясь ответить на эти вопросы, американцы ориентируются на формат *NBICS*, а европейцы (под эгидой ЕС) выдвигают концепцию «расширения кругов конвергенции» (*NICBSAGEUMM* — Нано-Инфо-Когно-Био-Социо-Ауто-Гео-Эко-Урбо-Макро-Микро-конвергенции)[4]. Между этими двумя концепциями нет никаких принципиальных различий. Однако эти программы показывают особенности в трактовке первостепенных задач, а равно отражают разные ресурсные возможности и потенциал междисциплинарного сотрудничества (между университетами, бизнесом, культурой и другими областями деятельности человека) при их реализации[5].

Подводя итог, можно сказать, что, благодаря растущей конвергенции *NBICS*-технологий, государство сталкивается как с новыми типами вмешательства в че-

---

[1] *Arthur W.B.* The nature of technology: What it is and how it evolves. L.: Allen Lane, 2009.

[2] Научно-публицистический журнал «НБИКС-Наука.Технологии». URL: https://www.nanonewsnet.ru/files/nbics-magazin/nbics-magazin-170608.pdf (дата обращения: 10.03.2023).

[3] From bio to NBIC — From medical practice to daily life Report written for the Council of Europe, Committee on Bioethics. URL: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/117573709/From_Bio_to_NBIC_convergence_Rathenau.pdf (accessed: 10.03.2023).

[4] Научно-публицистический журнал «НБИКС-Наука.Технологии». URL: https://www.nanonewsnet.ru/files/nbics-magazin/nbics-magazin-170608.pdf (дата обращения: 10.03.2023).

[5] *Кричевский Г.Е.* Введение в НБИКС-технологии. URL: http://nbiks-nt.ru/2019/12/02/266/ (дата обращения: 10.03.2023).

ловеческую физиологию, так и с новыми переплетениями научных исследований, проблематизирующих вопросы повседневного применения биомедицинских технологий, корректировки нормативного обеспечения человеко-машинных коммуникаций и др. Сложность такого типа проблем оставляет открытыми последствия регулирования государствами этих процессов.

В России вопросами конвергентного развития будущего занимаются отдельные ученые и организации, но государство системно, институционально не проявляет активности в этих вопросах[1]. В качестве особенностей технологической конвергенции в стране пока можно назвать структурную конвергенцию экономического воспроизводства, нацеленную на структурные сдвиги и формирование новой системы экономических отношений в рамках сетевого взаимодействия (в том числе и переход на новые виды энергоносителей позволит снизить энергоемкость и материалоемкость производства)[2]. Институциональная поддержка этого процесса включает в себя совершенствование законодательной базы; установление единых правил и принципов поведения участников рынка; совершенствование механизмов государственно-частного партнерства; повышение эффективности государственного аппарата; создание благоприятного инвестиционного климата; организацию инфраструктуры, способствующей трансферу и диффузии научных результатов и технологий в производственные процессы реального сектора экономики; развитие культуры инвестиций в обществе[3].

Понятно, что такие формы активности государства являются важными, но тем не менее предпосылочными для диффузии конвергентных технологий и ускоренного развития рынков наукоемкой продукции. В этих условиях движущей силой структурного развития и технологической конвергенции становится сетевизация инноваций. Сетевая промышленная политика предполагает стратегическое сотрудничество частного и государственного секторов в сфере промышленного производства, отсутствие отраслей ориентации и ориентации на конкретные предприятия, минимизацию барьеров для технологического трансфера, вовлечение потребителей в производственный процесс, отказ от крупного производства основанного на эффекте масштаба. Между тем анализ российских документов в сфере научно-технологического развития позволил выявить ряд отсутствия системного подхода и преемственности в разработке этой документации, несогласованность положений отдельных документов, несовпадение целевых ориентиров, зачастую описательный характер без конкретных нормативов и индикаторов и др.[4]

Для России особенно ценным должно стать осознание того факта, что успехи и потенциальные возможности конвергентных технологий связаны не только с техническими преобразованиями, а прежде всего с институциональными и социокультурными преобразованиями, т.е. с развитием человеческого капитала, изменением логики организации научно-технических работ, государственной политики, формирования новой культуры и этики, с НИОКР, системным

---

[1] Научно-публицистический журнал «НБИКС-Наука.Технологии». URL: https://www.nanonewsnet.ru/files/nbics-magazin/nbics-magazin-170608.pdf (дата обращения: 10.03.2023).

[2] *Климович М.А.* Указ. соч.

[3] *Климович М.А.* Указ. соч.

[4] Там же.

совершенствованием национальных инновационных систем[1]. Идеи концепции конвергентных технологий выступают психологическим условием интенсивного общественного развития. Успешная реализация *NBIC*-технологий требует акцента на институциональных и структурных факторах, внимания к «большим вызовам», учета сложных природных и внесистемных аспектов.

*Н.С. Малышева*

**Литература**


1. *Ефременко Д.В., Гиряева В.Н., Евсеева Я.В.* NBIC-конвергенция как проблема социально-гуманитарного знания // Эпистемология и философия науки. 2012. Т. XXXIV. № 4. С. 112–128.
2. *Ковальчук М.В.* Конвергенция наук и технологий — прорыв в будущее // Российские нанотехнологии. 2011. Т. 6. № 1–2. С. 13–23.
3. *Ковальчук М., Нарайкин О.* Природоподобные технологии — новые возможности и новые угрозы // Индекс безопасности. 2016. Т. 22. № 3–4 (118–119). С. 103–108.
4. *Фролов А.В.* NBIC-технологии и направления их развития в США // Инновации. 2013. № 7 (177). С. 63–73.
5. *Anton P.S., Silberglitt R., Howell D.R.* et al. The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses. Bio/Nano/Materials/Information Trends, Drivers, Barriers, and Social Implications. Document # MR-1307-NIC. RAND Corporation. 2006. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf (accessed: 15.01.2023).
6. *Bond P.J.* Vision for Converging Technologies and Future Society // Annals of New York Academy of Sciences. 2004. No. 1013. P. 17–24. DOI: 10.1196/annals.1305.002.
7. *Ferrari A.* Is it all about human nature? Ethical challenges of converging technologies beyond a polarized debate // Innovation: the European Journal of Social Science Research. 2008. Vol. 21. Iss. 1. P. 1–24. DOI: 10.1080/13511610802002171.
8. *Fuller S.* Knowledge politics and new converging technologies: a social epistemological perspective // Innovation: the European Journal of Social Science Research. 2009. Vol. 22. Iss. 1. P. 7–34. DOI: 10.1080/13511610902770552.
9. *Giorgi L.* Converging technologies — what future? The views of the science and policy communities // Innovation: The European Journal of Social Science Research. 2009. Vol. 22. No. 4. P. 427–442. DOI: 10.2139/ssrn.1783642.
10. *Ito Y.* Trends in Policies for Promoting Converging Technologies Expected to Bring Innovation. Science & Technology Trends // NISTEP Science and Technology Foresight Center. Quarterly Review. 2007. No. 24. P. 81–90.
11. *Nordmann A.* Converging Technologies — Shaping the Future of European Societies. Report. High Level Expert Group «Foresighting the New Technology Wave». Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.
12. *Roco M.C., Bainbridge W.S.* (eds). Converging Technologies for Improving Human Performance. NSF/DOC-sponsored report. National Science Foundation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
13. *Roco M.C., Bainbridge W.S., Tonn B., Whitesiedes G.* (eds). Convergence of Knowledge, Technology, and Society: Beyond Convergence of Nano- Bio- Info- Cognitive Technologies. World Technology Evaluation Center. Dordrecht, Heidelberg, N.Y., L.: Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-319-02204-8.
14. Towards 2030. UNESCO Science Report. Second revised edition. UNESCO Publishing, 2016. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406 (accessed: 15.01.2023).


[1] *Данилин И.В.* Конвергентные (НБИК) технологии: проблемы развития и трансформационный потенциал // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2017. Т. 17. № 3.

# Международная передача знаний

В последние годы в области политологии и международных исследований возрастает интерес к темам, которые прямо или косвенно обращаются к анализу процессов, связанных с извлечением уроков реформ в странах, изменивших свои политические режимы, что во многом было опосредовано трансформацией знаний и передачей политики. Хотя терминология и фокусы исследований часто варьируются, все эти исследования касаются аналогичных процессов, в которых знания и идеи, сформированные в одном политическом контексте, трансформируются в другой.

Как правило, вопрос трансформации знаний и передачи политики актуализируется в период смены режимов и реформ, когда возникает настоятельная необходимость найти иные модели и механизмы будущего развития или воспользоваться уже существующими в других странах, с тем чтобы в дальнейшем они были адаптированы к национальным условиям, стали частью нового режима, укоренились в нем. Смена институтов собственности, политическая дестабилизация, коренные изменения в социальной и духовной сферах, как правило, влекут за собой «сложнейшие транзиции во всей системе общественных отношений...»[1].

Новые условия требуют новых знаний (идей) в обстоятельствах порой очень быстрых изменений. Это возможно только при условии передачи (заимствования) знания и, как правило, в условиях, которые можно назвать «благодатными» с точки зрения продвижения любых инноваций. Как это ни покажется странным, но зачастую кризис, риски, революции и т.д. являются благодатным временем с точки зрения запроса на все новое (иное), в том числе и на новое знание.

Распространение знаний способствует передаче политических паттернов и идей. В рекурсивном процессе передача политики прокладывает пути для непрерывной циркуляции знаний. В силу этого важным представляется понимание роли «силы» идей и знаний в процессе передачи/распространения политики, а также потому, как эта роль меняется или модифицируется в контексте развития, в отличие, например, от научной политики, которая, как правило, сосредоточена на передаче и распространении результатов своих исследований. «Мягкая» передача идей и политических знаний кажется относительно простой, но постоянная рециркуляция идей во многих контекстах усложняет сначала картографирование таких идей, а затем и способы структуризации мышления и реформирования правительственных программ, путей их воплощения на практике.

Все же два основных вопроса остаются открытыми, а именно: какие конкретные знания востребованы и почему в некоторых случаях передача знаний была успешной, а в других — неудачной. Это определенно зависит как от международных условий влияния идей и знаний, так и от их восприятия институтами, разрабатывающими внутреннюю политику.

В научной литературе существует большое количество работ, в которых прослеживается взаимосвязь между знанием и последующими политическими из-

[1] *Силласте Г.* Социальные транзиции и формирование нового гендерного порядка // Женщина в российском обществе. 2019. № 2. С. 3–17.

менениями[1]. Так, по мнению Д. Доловица и Д. Марша, передача политики (*policy transfer*) представляет собой процесс, в котором знания о политике, административных механизмах, институтах и идеях в одной политической среде (прошлой или настоящей) используются для разработки актуальной политики, административных механизмов, институтов и идей в другой политической среде[2]. После публикации этой, уже ставшей канонической, статьи современники и последующие исследователи этих процессов сосредоточили свое внимание главным образом на вопросах о том, кто участвует в передаче политики, что передается, откуда и куда, какие возникают ограничения в ходе передачи и, наконец, наблюдаем ли мы в итоге успешные или неуспешные результаты такой передачи.

Передача политики — это подмножество более широкого термина «распространение политики», который представляет собой распространение политики между «единицами» независимо от того, является ли это распространение результатом передачи знаний или зависит от других факторов, таких как, например, конвергенция. Поэтому необходимо подчеркнуть, что передача политики всегда требует «политического обучения», в ходе которого и происходит передача знания (*knowledge transfer*). В этом смысле надо признать: передача знаний более обширна, чем передача политики[3].

В отечественной научной литературе нет устоявшегося перевода термина *knowledge transfer*. В одних работах используют термин «инновационное знание»[4], а процессы генерации, синтеза, распространения и применения знаний описываются по-разному[5]. При этом ученые подчеркивают, что политические процессы могут быть поняты только с учетом передачи знаний[6]. Она же может стать стимулом для последующего принятия решений и прояснения их характера[7], а также лучшего оценивания их реализации и эффективности[8]. Собственно, по этой причине и возрастает интерес к пониманию взаимодействия между передачей знаний и изменением политики.

---

[1] *Lindberg H.* (ed.). Knowledge and Policy Change, Cambridge Scholars Publishing, 2013; *Mokhtar Kh.S., Rahman N.A.* Understanding the Concept of Policy Transfer: a Systematic Literature Review Approach // International Journal of Politics, Public Policy and Social Works (IJPPSW). 2020. Vol. 2. Iss. 5. June 2020.

[2] *Dolowitz D., Marsh D.* Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making // Governance. 2000. No. 13 (1).

[3] *Stone D.* Transfer and Translation of Policy // Policy Studies. 2012. No. 33 (6).

[4] *Сунгуров А.Ю.* Как возникают политические инновации: «фабрики мысли» и другие институты-медиаторы. М.: Политическая энциклопедия, 2015; В других работах употребляется термин «трансфер знания» (МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр перспект. методологий социал. и гуманит. исслед. / Ред. кол. М.В. Ильин (гл. ред.) и др. М., 2018. Вып. 8: Образ и образность. От образования Вселенной до образования ее исследователя / Ред.-сост. вып. Ильин М.В. и др.

[5] *Graham I.D., Logan J., Harrison M.B., Straus S.E., Tetroe J., & Caswell W.* Lost in translation: Time for a map? // Journal of Continuing Education in the Health Professions. 2006. No. 26 (1); *Greenhalgh T., Wieringa S.* Is it time to drop the 'knowledge translation' metaphor? A critical literature review // Journal of the Royal Society of Medicine. 2012. No. 104 (12).

[6] *Blyth M.* Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Cambridge University Press, 2002; *Béland D.* Ideas and social policy: An institutional perspective // Social Policy & Administration. 2005. Vol. 39. No. 1.

[7] *Allison Graham T.* Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Little, Brown & Co., Boston, 1971.

[8] *Bardach Eugene*. The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes A Law, MIT Press, Cambridge, 1977.

Но что же обеспечивает взаимодействие между идеей, ее принятием/неприятием, знанием, политикой и практикой, как выстраиваются цепочки их взаимодействия? Параметр, который должен быть учтен при объяснении этих взаимосвязей (и который способен вести от объяснения к объяснениям), — это причинный механизм (*casual mechanism*), устанавливающий последовательность событий или условий, регулируемых определенными закономерностями. По мнению У. Сэлмона: «Причинные процессы, причинные взаимодействия и причинные законы обеспечивают механизмы, с помощью которых работает мир. Чтобы понять, почему происходят определенные вещи, нам нужно посмотреть, как они создаются этими механизмами»[1]. Подобные каузальные механизмы находятся и в фокусе работы Н. Картрайт, которая исследует реальные причинно-следственные механизмы. В совместной публикации с Дж. Дюпре отмечается: «вещи и события имеют причинно-следственные связи: благодаря своим свойствам они способны вызывать другие события или состояния»[2].

Общая природа механизмов, лежащих в основе социальных причин, была предметом широких дискуссий в конце 1970-х — начале 1990-х годов. Можно выделить несколько подходов, которые были выявлены в то время. Прежде всего — это агентные, структурные модели и модели социального влияния. Агентные модели исследуют стратегии агрегирования последствий индивидуального выбора в результаты макроуровня; структурные модели пытаются продемонстрировать причинное влияние данных социальных структур или институтов (например, системы сбора налогов) на социальные результаты (уровни соответствия), а модели социального влияния пытаются идентифицировать факторы, которые работают как бы «за спиной» агентов, подталкивая их к тому или иному выбору.

В рамках этих идей Т. Шеллинга показывает логику первого подхода, а также иллюстрирует зачастую весьма непредсказуемые результаты взаимодействий локально рационально-интенционального поведения[3]. Дж. Эльстер исследовал, как инструменты теории рационального выбора поддерживают построение крупномасштабных социологических объяснений[4]. М. Эмирбайер и А. Миш представили обширный обзор текущего состояния дискуссии о концепции агентств[5]. Модели, раскрывающие особенности структурного и социального влияния, характеризуют такие социально значимые факторы этого воздействия, как институт, государство, раса, пол, образовательный статус. Изучение таких структур и явлений позволяет зафиксировать характер поддержки или ограничений отдельных траекторий влияния, получения тех или иных социальных результатов.

В то же время причинные механизмы раскрывают основные социальные процессы, которые соединяют входы и результаты[6]. Причинные механизмы могут ра-

---

[1] *Salmon M.* Error correction mechanisms // The Economic Journal. 1982. No. 92.

[2] *Dupré John, and Nancy Cartwright.* Probability and Causality: Why Hume and Indeterminism Don't Mix // Nous. 1988. No. 22.

[3] *Schelling T C.* Micromotives and Macrobehavior. N.Y.: Norton. Encyclopedia of Social Science Research Methods / Ed. by Michael Lewis-Beck, Alan Bryman and Tim Futing Liao. Sage Publications, 1978.

[4] *Elster J.* The Cement of Society: A Study of Social Order. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

[5] *Emirbayer M., and Mische A.* What Is Agency? // American Journal of Sociology 1998. No. 103 (4).

[6] *Tulia G.F., Lynch F.*. Context and Causal Mechanisms in Political Analysis // Comparative Political Studies OnlineFirst. 2009. April. No. 21.

ботать в различных контекстах, но в зависимости от условий, в которых происходит передача знаний, результаты могут быть неидентичными.

Необходимо признать, что, несмотря на растущий интерес к причинным механизмам в социальных науках, в литературе нет единого мнения о том, что есть причинные механизмы. Дж. Махони идентифицирует 24 определения причинных механизмов, предложенных социологами, политологами и философами за последние 35 лет[1]. Но чаще всего причинные механизмы концептуализируются как связи между входами (независимыми переменными) и результатом (зависимыми переменными). Иначе говоря, конфигурация этих явлений такова: «вход» (*Input*) и через механизм — «выход» (*Output*).

Система передачи знаний важна не только для их распространения, но и для сокращения времени, которое обычно требуется для того, чтобы освоить это знание самостоятельно. При этом передача знаний базируется на принципах добровольности, наличия контактов/коммуникации, заинтересованности и мотивированности. В качестве основных способов переноса знаний в контексте передачи политики следует выделить: обучение (переобучение), совместные научные проекты, международные конференции (рабочие группы, семинары и т.д.), личные контакты.

Международный обмен научными знаниями осуществляется различными способами: через миграцию научных кадров; научные конференции и другие формы профессиональных контактов и международного научного сотрудничества, включая совместную исследовательскую деятельность; привлечение иностранных ученых к реализации национальных и международных исследовательских программ; а также стажировки в зарубежных научных коллективах; создание зарубежных исследовательских центров. Однако в каждом из этих способов знания могут быть реализованы через своих носителей.

При этом необходимо сделать два уточнения. *Во-первых*, технологии и «носители знания» помогают идеям распространяться на международном уровне через различные каналы воздействия, а разработчики внутренней политики могут использовать эти знания для того, чтобы быть более информированными о глобальных политических тенденциях. *Во-вторых*, перенос знаний может иметь серьезные непредвиденные последствия, такие как принятие политических решений с плохо доказанным успехом или неудачная транспортировка, вызванная, например, такими факторами, как несоответствие между целями экспортера и «принимающей» стороны. Сложности возникают и тогда, когда существует несколько способов обучения, например если обучение принимает форму совещательных процессов, которые включают больше точек зрения и форм существования знаний.

Безусловно, знания играют важную роль в изменении политики, и, более того, политические процессы и политические изменения не могут быть поняты, если этих знаний не будет, поскольку идеи и знания имеют значение в отношении понимания того, как меняется политика[2]. Именно поэтому в период преобразований возникает повышенный интерес к взаимодействию между знанием — обучением и изменением политики. И это достаточно устоявшееся взаимодействие. Отноше-

---

[1] *Mahoney J.* Beyond correlational analysis: Recent innovations in theory and method // Sociological Forum. 2001. No. 16 (3).

[2] *Blyth M.* Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Cambridge University Press, 2002; Change Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization 8 (4); *Béland D.* Ideas and social policy: An institutional perspective // Social Policy & Administration. 2005. Vol. 39. No. 1.

ния между знаниями и политикой являются линейными и кумулятивными. Важно понять, как знания будут в дальнейшем использоваться при разработке политики (и будут ли) и какие механизмы определяют то знание, которое будет в итоге выбрано из всех возможных вариантов. Это особенно важно в условиях, когда происходит формирование политики.

Несмотря на продолжающиеся дебаты о степени и глубине идейного воздействия, агенты знаний обладают некоторыми внутренними способностями управления, а именно способностью определять проблемы, формировать климат дебатов или же участвовать в установлении стандартов, нормотворчестве, а также в иной деятельности, например консультативной. Однако литература по использованию знаний нередко подвергалась критике за предположения о том, что парадигматические сдвиги или изучение политики происходят по мере того, как идеи «просеиваются» в политическую атмосферу, а механизмы и агенты, посредством которых происходят изменения, недостаточно объяснены[1]. Следует признать, однако, что центральную роль в понимании скорости и направлений распространения политических идей играет деятельность команд, отдельных лиц, организаций и сетей. Ведь знания — это не просто нейтральные «доказательства» или данные, функционирующие как технический вклад в управление глобальным порядком. Кроме всего прочего, они представляют собой форму «технократической» власти, работающей над формированием политики и результатов по принципу «кто что получает».

Передача знаний является сложным движением еще и потому, что экспертные акторы и государственные органы создают «кодифицированное знание», т.е. конкретный интеллектуальный и научный продукт, содержащийся в публикациях, материалах конференций, веб-сайтах и декларациях консультативных групп. Агентства знаний также производят «молчаливое знание», т.е. формируют общее понимание, знания на местах и общие идентичности, которые формируются и поддерживаются в «эпистатических» или «интерпретационных» сообществах.

Однако первоначальный вопрос заключается в том, что подразумевается под «политикой» и что такого в «политике», что можно было бы передавать. Правительственная «политика» включает в себя, среди прочего, широкие цели правительства, различные виды его деятельности (например, предоставляемые услуги, введенные правила), правомочные бенефициары услуги или цели регулирования, средства финансирования деятельности или же услуги, дизайн программ (включая процессы, посредством которых производятся услуги и/или поставляемые и используемые для этого инструменты), внутренние структуры и организации, государственные учреждения, через которые предоставляются услуги, стратегии достижения цели (способствующие «структурированию» деятельности) и другие параметры[2], используемые для более общего обсуждения различных типов инноваций. Все они могут стать предметом изучения политики и передачи. В более широком смысле Д. Доловиц и Д. Марш определяют семь объектов передачи политики: «цели политики, структура и содержание; политические инструменты или административные методы; идеология, взгляды и концепции; негативные уроки»[3].

---

[1] *Campbell O. & Pedersen T.* Birding in the United Arab Emirates // Birding World. 2011. No. 24.

[2] *Zaltman G., Duncan R., and Holbek J.* Innovations and Organizations. N.Y.: John Wiley and Sons Zaltman, 1973. P. 14–15.

[3] *Dolowitz D. and Marsh D.* Who Learns from Whom: A Review of the Policy Transfer Literature // Political Studies. 1996. Vol. 44 (2). P. 349–350.

В современных условиях предполагается, что страны все в большей степени вырабатывают схожий дизайн политики для достижения своих целей. Это может быть результатом распространения политик, которые можно определить как «образец последовательного принятия практики, политики или программ в разных странах...»[1]. В этом русле исследователи предлагают четыре теории, которые указывают на четкие механизмы, объясняющие распространение политики по различным странам. Это — конкуренция, принуждение, эмуляция (имитация работы одной системы средствами другой без потери функциональных возможностей и искажений результатов, выполняемой аппаратными средствами) и обучение[2]. В свою очередь, обучение основано на изменении убеждений в процессе передачи знаний с целью достижения результатов, основанных на новых доказательствах.

Динамика передачи знания (идей) лучше всего объясняет, как политики (другие участники политического процесса) трансформируют цели и средства политики в соответствии с прошлым опытом и той новой информацией, которая появляется в результате проникновения нового знания.

Для того чтобы посмотреть, как продвигались знания (идеи), можно исходить из трех переменных:

1. Какие именно знания оказались востребованы. Предполагается, что это «идея, практика или объект, которые воспринимаются как новые...»[3]. Роджерс определяет их как инновации, которые касаются государственной политики и тех элементов системы, посредством которых происходит распространение такого рода инноваций. Он обсуждает пять атрибутов предполагаемых нововведений, которые могут повлиять на принятие/непринятие инновации (идеи):
   - относительное преимущество: воспринимается ли новая идея лучше, чем та, которую она должна заменить?
   - совместимость: воспринимается ли она как соответствующая существующим ценностям, прошлому опыту, институциональной среде и другим соответствующим контекстуальным проблемам?
   - сложность: насколько сложна для понимания? Чем сложнее идея, тем меньше шансов, что она будет принята в качестве политики;
   - тестируемость: степень, в которой можно экспериментировать с инновацией (возможность проб), а не требовать полной реализации с самого начала;
   - наблюдаемость: степень доступности результатов продвижения этой инновации (идеи), например, в результате ее реализации в другом месте (стране), что важно для принятия решения о ее применимости.
2. Субъекты (акторы), которые явились носителями нового знания (под ними понимаются разные участники, начиная с преподавателей и научных работников до политических игроков в определенный период времени). Это могут быть как физические лица, так и организации. В первом

---

[1] *Freeman R.* Learning in public policy // M. Moran, M. Rein and R. E. Goodin (eds). The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 367.

[2] *Dobbin F., Simmons B., Garrett G.* The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning? // Annu. Rev. Sociol. 2007. P. 33.

[3] *Rogers E.* Diffusion of Innovations. N.Y.: Free Press, 2003. P. 5.

случае — это люди, чьи теории оказали существенное влияние на социальное развитие. Наиболее яркий пример — Дж. Кейнс, который был одним из тех, кто в равной степени представлял и научный, и политический мир. Его заявление о влиянии идей известно и регулярно повторяется: «Идеи экономистов и политических философов... более могущественны, чем это принято считать. В самом деле, миром правит мало кто другой»[1]. Другие известные примеры ученых, которые распространяли идеи политики в других странах и сообществах, — это, например, Дж. Роулз (автор теории справедливости), М. Юнус (предложивший практики микрокредитования), Дж. Стиглиц (автор исследований в области микро- и макроэкономики) и др.

Что касается организаций, то главным образом это международные организации (Европейский союз), Всемирный банк, ОЭСР и агентства Организации Объединенных Наций, в последние годы АСЕАН и БРИКС. Есть также неофициальные глобальные диалоги и элитные встречи, такие как Всемирный экономический форум в Давосе, которые транслируют политические идеи вместе с различными глобальными рабочими группами, как, например, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, и др. Проведение регулярных глобальных конференций, а также образование специальных глобальных целевых групп, объединяющих множество участников из бизнеса и неправительственных организаций, могут играть значительную роль в выборе определенных знаний, которые должны быть переданы с помощью определенных механизмов. Таким образом, спрос на новое (иное знание) находился в прямой зависимости от грантовой поддержки тех или иных научных направлений, практических знаний (что особенно активно развивалось в 1990-е годы).

В современном обществе к этим акторам добавились сети, представляющие и средство распространения знаний и передачи политики, и новую социальную технологию для распространения и ускорения глобальных норм, лучших практик и моделей политики, которую некоторые называют «быстрой политикой»[2]. Если рассматривать политические сети как транснациональную структуру, то следует признать, что они могут объединять агентов передачи, разделяющих сходные цели и объединяющих большое количество разнородных людей с разным политическим культурным опытом и политическими интересами.

3. Институциональная среда, в рамках которой осуществлялась передача знаний и которая характеризовала системы права, морали, этики и соответствующих им формальных и неформальных институтов. Иными словами, это фундаментальные политические, социальные и юридические правила, в рамках которых протекают процессы передачи знаний[3].

---

[1] *Keynes J.M.* The General Theory of Employment (англ.) // The Quarterly Journal of Economics. 1937. Русский перевод: *Кейнс Дж.М.* Общая теория занятости // Вопросы экономики / Пер. А. Лаптева. 1997. № 5. Архивировано 9 декабря 2014 г.

[2] *Peck J., Nik T.N.* Fast Policy: Experimental Statecraft at the Thresholds of Neoliberalism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015. Published online by Cambridge University Press: 17 October 2016.

[3] *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997.

Возможно, на первый взгляд кажется, что в обретении новых знаний участвуют организации. На самом деле это не так, поскольку обучаться могут только люди. Иными словами, передача знаний происходит только тогда, когда люди, действующие от имени организаций и взаимодействующие с другими людьми в организации, приобретают знания таким образом, что убеждения, отношения или ценности этих людей меняются, а в случае передачи политики меняется и организационное поведение. Таким образом, обучение включает в себя приобретение знаний, результатом которого является изменение убеждений и поведенческих паттернов.

Тем не менее приобретение знаний — это только один этап процесса обучения. Есть и другие, такие как: распространение приобретенного знания[1], совместное использование этого знания (возможно, через определенное время и пространство) или интерпретация информации, т.е. присвоение ей нового смысла. Обучение — это результат осуществления ряда коммуникаций, а не просто его ввод; в этом процессе вывод как бы генерируется, а не распространяется.

В дальнейшем применять знание можно по-разному[2], когда, например, использование можно рассматривать как инструментальное/конкретное (прямое использование), концептуальное/просветительское (влияющее на понимание людей или общую интеллектуальную направленность политиков) или символическое/убеждающее (как средство мобилизации поддержки политики). Политический трансферт описывает также импорт и экспорт политики. Эти процессы могут варьироваться от широкого охвата различных знаний и умений до импорта программы политики в виде полного пакета рекомендаций.

Что касается новых направлений передачи знаний в современном мире, то следует вспомнить, что первоначально передача политики осуществлялась в направлении от развитых стран в страны развивающегося мира. Но в последние годы исследователи обращают все большее внимание на тот факт, что можно наблюдать и обратный процесс — в развивающихся странах создаются инновации, знания о которых включаются в политическую повестку других стран, включая и развитые. Кроме того, в последние годы усилился интерес «к судьбе» переданных знаний в страны Центральной и Восточной Европы, что предполагает понимание успешности или неуспешности этой передачи с точки зрения принятия политических решений в интересах развития всего общества[3] или отдельных секторов социальной сферы[4].

В 2018 г. в Сан-Паулу (Бразилия) состоялась Международная конференции по распространению политики и сотрудничеству в целях развития. Она была посвящена изучению того, как в процессы передачи политики вовлечены институты сотрудничества в области развития и международной помощи. Основная идея

---

[1] *Young R.* (ed.), The Effectiveness of International Environmental Regimes: Causal Connections and Behavioral Mechanisms, MIT Press, Cambridge, 1999.

[2] *Greenberg D.H., Linksz D. Mandell M.* Social Experimentation and Public Policy Making Washington, DC: Urban Institute Press, 2003. URL: http://hdl.handle.net/10822/1004083.

[3] *An S., Chubarova T., Deacon B., Stubbs P.* (eds). Social Policy, Poverty, and Inequality in Central and Eastern Europe and Former Soviet Union. Ibidem CROP, 2019.

[4] *Садовничий В.А., Григорьева Н.С., Чубарова Т.В.* От традиции к инновации: реформы здравоохранения в современном мире. М.: Экономика, 2012; *Khmelnitskaya M.* The policy-making process and social learning in Russia: The case of housing policy. Palgrave Macmillan UK, 2015; *Chubarova T., Grigorieva N.* International knowledge transfer and Russian social policy: The case of gender mainstreaming // Global Social Policy. SAGE Publications, 2021. Vol. 21. No. 1.

результатов конференции состояла в том, чтобы отразить наличие большого потенциала в части актуального понимания ключевых вопросов распространения и передачи политики. Особенно если анализировать этот процесс через «призму развития». Эмпирический сценарий передачи/распространения политики изменился с подъемом южных стран и их присутствием на международной арене, а также с появлением новых сил, направляющих поток политики между странами. Практика обмена знаниями между Югом-Севером и Югом-Югом стала более частой. И даже если в процессе передачи знаний оказывались определенные «универсальные» элементы (такие, как агенты передачи, переводы и инструменты, подробно описанные в работах Доловица и Марша, Стоуна, Эванса), расширение эмпирического контекста и использование известных аналитических инструментов все равно сохраняют свою позитивную роль[1]. В то же время, по мнению авторов, эти классические концепции, чтобы быть более полезными и доступными в плане понимания и объяснения современной динамики передачи/распространения политики, нуждаются в пересмотре в контексте развития различных мировых территорий. Для подтверждения они приводят примеры политики, разработанной на Юге и получившей в дальнейшем международное распространение (например, транспортная система Куритибы в Бразилии, реформы в пенсионном секторе, проведенные Чили во время режима Пиночета в 1980-х годах, и др.)[2]. Так что появление новых научных парадигм и теорий всегда вызывается необходимостью переосмысления изменившейся действительности, когда старые категории и методы изучения общественных явлений оказываются уже малопригодными.

*Н.С. Григорьева, Т.В. Чубарова*

**Литература**


1. *Садовничий В.А., Григорьева Н.С., Чубарова Т.В.* От традиции к инновации: реформы здравоохранения в современном мире. М.: Экономика, 2012.
2. *Силласте Г.* Социальные транзиции и формирование нового гендерного порядка // Женщина в российском обществе. 2019. № 2. С. 3–17.
3. *An S., Chubarova T., Deacon B., Stubbs P.* (eds). Social Policy, Poverty, and Inequality in Central and Eastern Europe and Former Soviet Union / Ibidem CROP, 2019.
4. *Chubarova T., Grigorieva N.* International knowledge transfer and Russian social policy: The case of gender mainstreaming // Global Social Policy. SAGE Publications, 2021. Vol. 21. No. 1. P. 96–116.
5. *Draude A.* The agency of the governed in transfer and diffusion studies. Third World Thematics // A TWQ Journal, Taylor & Francis Online.2017. No. 2(5). P. 577–587.
6. *Evans M.* (ed.).New directions in the study of policy transfer. Oxfordshire: Routledge, 2010.
7. *Greenhalgh T., & Wieringa S.*Is it time to drop the 'knowledge translation' metaphor? A critical literature review // Journal of the Royal Society of Medicine. 2012. No. 104 (12). P. 501–509.
8. *Hare T.* Policy Transfer in International Development: Whose Security in Central America? // Reconsidering Development. 2017. No. 5(1).
9. *Khmelnitskaya M.* The policy-making process and social learning in Russia: The case of housing policy. Palgrave Macmillan UK, 2015.
10. *Lindberg H.* (ed.). Knowledge and Policy Change. Cambridge Scholars Publishing, 2013.


[1] *Stone D., Osmany Porto de Oliveira Osmany, Palc Leslie A.* Transnational policy transfer: the circulation of ideas, power and development models // Policy and Society. 2020. Vol. 39. Iss. 1: Transnational Policy Transfer: Mobilities and Methods.

[2] *Draude A.* The agency of the governed in transfer and diffusion studies. Third World Thematics // A TWQ Journal. 2017. No. 2 (5).

11. *Mokhtar Kh.S., Rahman N.A.* Understanding the Concept of Policy Transfer: a Systematic Literature Review Approach //International Journal of Politics, Public Policy and Social Works (IJPPSW). 2020. Vol. 2. Issue 5. June. P. 01–13. DOI: 10.35631/IJPPSW.2500.

12. *Peck J., Nik Theodore N.* Fast Policy: Experimental Statecraft at the Thresholds of Neoliberalism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015. Published online by Cambridge University Press, 17 October 2016. — 336 p.

13. *Stone D., Osmany Porto de Oliveira Osmany, Palc Leslie A.* Transnational policy transfer: the circulation of ideas, power and development models // Policy and Society. 2020. Vol. 39. Iss. 1: Transnational Policy Transfer: Mobilities and Methods.

14. *Stone D.* Understanding the transfer of policy failure: Bricolage, experimentalism and translation // Policy & Politics. 2017. No. 45 (1). P. 55–70.

# Патриотизм versus национализм

Как утверждают историки, в большинстве европейских языков, включая русский, термин «патриотизм» появился только в XVIII в. Он был образован от слова «патриот», заимствованного в XV–XVI вв. из поздней латыни (*patriotes*), где оно означало «соотечественник, земляк». Ну а древние римляне, в свою очередь, заимствовали его из греческого, где имелось слово с тем же значением[1]. С момента своего появления в качестве элемента общественного дискурса понятие «патриотизм» обретает самые разные значения и толкования в силу процессов «демократизации, темпорализации, идеологизации и политизации» понятий» (Р. Козеллек).[2]

Начиная с XVI столетия содержание этого понятия во многом определяется противостоянием принципу легитимизма. Так, сторонники независимости Нидерландов во время восстания 1570-х годов против испанского владычества называли себя «добрыми патриотами», причем этот случай показателен в силу того, что впервые в политической истории патриотами именовали себя не приверженцы существующей государственной власти, а ее противники, по сути — бунтовщики. В конце XVII столетия партия вигов, сыгравшая важнейшую роль в так называемой «славной революции» 1688 г. (а по сути — в государственном перевороте), объявила патриотами борцов за свободу Англии против королевской тирании. К этому нужно добавить, что в английских колониях в Северной Америке (будущих Соединенных Штатах) патриотами в 70-х годах XVIII в. стали называть себя сторонники независимости от английской короны. При этом несомненно, что для многих британцев-колонистов борьба за независимость подразумевала мучительный выбор между лояльностью метрополии (британскостью) и политическим принципом самоопределения. К слову сказать, именно в этом историческом контексте английский поэт и литературный критик С. Джонсон в 1775 г.

---

[1] *Кром М.* Патриотизм или Дым отечества. СПб., 2020. С. 10.

[2] Как отмечает известный немецкий историк Р. Козеллек, такие политизированные и идеологизированные понятия, как «национализм», «патриотизм» (как, впрочем, и «демократия», «равенство», «свобода» и т.д.), «прекрасно подходят для формул-пустышек или формул с неясным содержанием, которые могут применяться по-разному, даже в противоположных смыслах, в зависимости от классовой принадлежности и интересов говорящих» (*Козеллек Р.* Введение // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи: В 2 т. Т. 1. М., 2014. С. 30).

произнес известный афоризм: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя», имея в виду именно американских колонистов-патриотов, борющихся за независимость от метрополии.[1]

На рубеже XVIII и XIX столетий в политическом обиходе появляется понятие «национализм» (оно появилось во французском языке в 1798 г.), содержание которого исторически было не менее изменчивым и во многих случаях совпадало с содержанием понятия «патриотизм». Однако именно с этого времени начинается то, что российский историк М. Кром назвал «национализацией патриотизма». В результате понятие «национализм» постепенно вытесняет из политического и научного дискурса понятие «патриотизм» либо эти понятия все чаще употребляются как тождественные.

Так, считается, что первыми националистами Нового времени, которые сами называли себя патриотами, были французские революционеры, а одним из результатов Великой французской революции стало рождение первой националистической диктатуры современного мира — бонапартизма (1799 г.), который представлял собой первую в истории Нового времени попытку введения единоличного правления на основе народного волеизъявления.

Но в эпоху Великой французской революции «принцип национальности» был еще недостаточно авторитетен и «абсолютен», недостаточно интериоризирован элитарным и тем более массовым политическим сознанием. В ту пору ему было еще рано претендовать на место главного принципа легитимации государства. Поскольку национализм и легитимизм практически были несовместимы, постольку для «Священного союза» национальный принцип являлся совершенно неприемлемым. В результате «к 1830-м годам ситуацию с национальными государствами в Европе можно суммировать следующим образом. Два ведущих государства, Британия и Франция, стали консолидированными национальными государствами благодаря ... устойчивой эволюции и провалу контрреволюционной Реставрации. Олигархическая конфедерация Нидерландов стала национальной монархией, то же самое случилось в результате революции 1830 г. с Бельгией. На этом список национальных государств завершается» — утверждает Й. Терборн[2].

Однако позднее и чем дальше, тем больше «принцип национальности» рассматривался как новый принцип легитимации государственной власти, основанной на согласии суверенного народа. Этот принцип фиксировал внешний аспект идеи «народного суверенитета». Династическому «праву королей» его сторонники противопоставляли «естественный» принцип национальности как некой «очевидной» для них данности. В результате складывался гражданский национализм как комплекс идеологических представлений и политических практик, в которых центральное место занимало стремление к установлению народного суверенитета (Э. Паин).

Тезис, впервые сформулированный американцем Т. Пейном еще в XVIII в. и гласивший, что нация и демократическое правление составляют неразрывное единство, долгое время был популярен, особенно в англосаксонском мире. Однако его не подтверждает уже опыт Великой французской революции, где из идеи национального самоопределения («принципа национальности») вырос агрессивный массовый антидемократический национализм. «Со времени Х. Кона... рас-

[1] *Кром М.* Патриотизм или Дым отечества. С. 36–39.

[2] *Терборн Й.* Города власти. Город, нация, народ, глобальность. М., 2020. С. 71.

пространено мнение, будто национализм — родной брат либерализма и демократии, поначалу шедший с ними рука об руку, а впоследствии от них отдалившийся и утративший свой эмансипаторский потенциал...». Такой взгляд имеет под собой определенные основания, поскольку одна из первых проблем, возникающих в условиях становления либеральной демократии, — это определение границ демоса как сообщества граждан, участвующих в политическом процессе, то есть проблема самоопределения и формирования ценностного базиса консолидации демократического национального государства[1]. Однако после «весны народов» 1848 г. целый ряд европейских монархий продемонстрировали, что националистическая повестка может быть перехвачена у либералов. Это вполне убедительно показали датская монархия, Бисмарк и деятели итальянского «Рисорджименто». Таким образом, выяснилось, что авторитарные режимы не только могут противостоять националистической повестке, но и находить в национализме ресурс, обеспечивающий им новый источник легитимности.

Трансформации, пережитые национальными движениями во второй половине XIX в., показали, что национализм/этнонационализм способен стать органической частью и консервативной идеологии. В свою очередь, XX в. продемонстрировал полную совместимость национализма с право- и леворадикальными идеологиями. Таким образом, выяснилось, что национализм постоянно меняется во времени и по политической направленности акцентируемых доктрин, а также по своему характеру и по мере интенсивности. Он может иметь отличающиеся содержательные доминанты у разных народов и изменяться у одного и того же народа.

Сегодня содержание понятия «патриотизм» зачастую сводится к чувству осознанной и активной любви к своей родине. Так, согласно Большой российской энциклопедии, патриотизм — «это осознанная любовь к родине, к своему народу, его традициям». Подобные определения этого понятия можно найти в толковых словарях многих европейских стран. Доминируют подобные определения патриотизма и в российском научном дискурсе. Так, социолог С.А. Магарил пишет: «Патриотизм в наиболее употребительном смысле понимается как нравственный принцип — любовь человека к своей стране. Он охватывает сложнейший комплекс общественного сознания: чувства, знания, ценностные ориентации, убеждения, коллективные установки и действия. ... Из этого следует: патриотизм — это не только гордость за героическое прошлое и готовность защищать Россию от внешних угроз. Значимая его компонента — образ достойного общенационального будущего; способность воплощать его в действительность»[2].

Как представляется, во многом это объясняется тем обстоятельством, что научные дебаты о содержании понятия «патриотизм», как и поиск инструментария его исследования, становятся подлинно активными лишь в конце XX в. Многонациональный авторский коллектив монографии «Патриотизм. Философские и политические перспективы» отмечает, что вплоть до конца 1980-х годов к этому понятию в философии относились скептически. Только в последние десятиле-

---

[1] А. Виммер пишет: «Национализм дал ответ на классический вопрос демократии: кто те люди, во имя которых правительство должно править? Упорядочив избирательное право представителей нации и не допуская к голосованию чужеземцев, демократия и национализм заключили длительный брак» (*Виммер А.* Почему национализм работает и почему он не исчезает // Россия в глобальной политике. 2019. № 2. С. 102).

[2] *Магарил С.А.* Смыслы патриотизма — исторические трансформации // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 143.

тия сначала за рубежом, а позже в России появился достаточно большой массив работ, в которых ставится вопрос: чем различаются патриотизм и национализм, патриотизм и легитимизм, патриотизм и лоялизм. С тех пор немало исследователей пыталось найти видимые различия между двумя этими понятиями, в чем мало преуспели, во многом потому, что участники дискуссий о национализме и патриотизме не могут абстрагироваться от социального и политического контекста этих дискуссий. В то же время следует помнить, что все, кто пишет о национализме и патриотизме, неизбежно занимают определенную мировоззренческую позицию, и в этом смысле их исследования не свободны от идеологических интенций.

По результатам анализа этой литературы можно попытаться вычленить представленные в научном и публичном дискурсе подходы к определению содержания и соотношения этих двух понятий.

*Первый* традиционный и наиболее распространенный поход к определению соотношения этих понятий сводится к тому, что «национализм» противопоставляется «патриотизму», при этом в первое понятие закладывается исключительно негативный, а во второе противоположный — позитивный смысл. Так, уже для Ф. Ницше национализм — это особая форма оглупления, поскольку он отсекает от себя широкий и плодотворный поток европейской культуры, от ее, несмотря на весь декаданс, поразительного и очаровывающего богатства[1]. В свою очередь К. Поппер писал, что национализм — это «смесь злобности и глупости. Всякий националист — трус. И ему, как трусу, нужна всегда поддержка толпы. Он боится остаться один. И он дурак, потому что верит, что он и ему подобные выше, чем другие»[2].

В нашем отечестве Толковый словарь В.И. Даля определяет патриота как «любителя отечества, ревнителя о благе его...», т.е. страстного поборника государственных интересов, национализм же определяется в словаре как «узкий патриотизм, шовинизм»[3]. Патриотизм в современном российском научном дискурсе также обычно рассматривается как «совокупность положительных ценностных и аффективных установок в отношении своей страны, ее народа, не совпадающая с какой-либо конкретной политической организацией... Объектом патриотических чувств, ценностей, политических предпочтений является именно эта общность как таковая, национализм же обращен вовне, в нем главное — противопоставление своей нации другой или другим национально-этническим или национально-государственным общностям, синдром “чужого”, “врага”»[4].. В свою очередь западный автор пишет: «Патриотизм защищает, национализм агрессивен. Патриотизм — это любовь к определенной стране, с ее особыми традициями; национализм — это любовь к мифу о “народе”, оправдывающему многие вещи, поэтому он является политической и идеологической заменой религии»[5]. В этом же стиле провел различие между патриотизмом и национализмом в своем эссе «Заметки о национализме» и Дж. Оруэлл.

---

[1] Цит. по: *Хюбнер К.* Нация: от забвения к возрождению. М., 2001. С. 220.

[2] Цит. по: *Мертес М.* Немецкие вопросы — европейские ответы. М., 2001. С. 25.

[3] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М., 1994. С. 1284.

[4] *Дилигенский Г.Г.* Социально-политическая психология. М., 1996. С. 330.
Однако крайне характерна оговорка Г.Г. Дилигенского: «Во многих ситуациях грань между патриотизмом и национализмом трудноуловима. Но главным критерием их различения всегда остается наличие или отсутствие враждебного, конфронтационного восприятия других наций» (там же. С. 330).

[5] *Lukacs J.* Democracy and Populism: Fear and Hatred. New Haven: Yale University Press, *2005.* P. 31.

Доминирование этой «традиции» определения патриотизма и национализма в нашем отечестве объясняется также тем, что она была закреплена в «советском политическом языке», в котором любое понятие имело жестко определенную, позитивную или негативную привязку. «Происходило это за счет создания парных оппозиций. Интернационализм мог быть только пролетарским и хорошим, а космополитизм только буржуазным, “безродным” и плохим. Патриотизм был советский и хороший, а национализм буржуазный и плохой»[1]. Более того, получить в определенный период советской истории ярлык националиста было опасно для жизни.

Как представляется, противопоставление патриотизма и национализма по принципу добра и зла не выдерживает критики. Так, М. Биллиг замечает: «Нельзя просто спросить у потенциальных патриотов, любят ли они свою страну или ненавидят иностранцев. Даже самые крайние националисты будут настаивать на своей патриотической мотивации»[2]. Поэтому на практике действует фактически универсальная формула «Наш патриотизм — их национализм». Как резонно указывал З. Бауман: «Патриотизм, в большей степени постулированный, чем эмпирически данный, — это то, чем мог бы быть национализм (если его укротить, придать ему цивилизованную форму и этически облагородить), но чем он не является. Патриотизм описывают через отрицание наиболее неприятных и позорных черт известных форм национализма». В этой связи он приводит афористичную формулу Б. Яка: «Национализм — это вызывающий неприязнь патриотизм, а патриотизм — это вызывающий приязнь национализм»[3].

Можно напомнить и то, что на протяжении большей части XIX в. в Европе национализм ассоциировался не только с национальным освобождением, но и с прогрессивными и даже радикальными идеологиями. И во второй половине XX в. представители левых политических сил в странах третьего мира по-прежнему считали национализм движущей силой борьбы за освобождение не только от мирового империализма, но и от других форм социального угнетения. Как заявлял первый президент Индонезии Сукарно: «Новые государства Азии и Африки — это их национализм и сопутствующее ему освобождение от колониализма. Для того чтобы понять Азию и Африку, мы должны понять национализм. Для нас это главная движущая сила наших действий»[4].

Приверженцы *второго* подхода считают, что патриотизм от национализма отличает, прежде всего, объект, которому они поклоняются. Так, по мнению И. Приораца, в случае с патриотизмом объектом поклонения выступает государство, а в случае с национализмом — нация, причем в этнокультурном смысле этого слова[5]. Придерживающиеся этого подхода современные российские исследователи утверждают: «Патриотизм же — явление сугубо политического мира, и его концепт описывает отношения между гражданами и государством как основным полити-

---

[1] *Миллер А.И.* Нация, или могущество мифа. СПб., 2016. С. 12.

Любопытное исключение из правила «Настольный энциклопедический словарь-справочник» (1926 г.), в котором, в частности, утверждалось, что «в основе идеологии фашизма лежит националистический патриотизм, резко противопоставляемый социалистическому космополитизму» (Настольный энциклопедический словарь-справочник / Под ред. П.И. Стучки. М., 1926. С. 425).

[2] *Billig M.* Banal Nationalism. L.: Sage, 1995. P. 57.

[3] *Бауман З.* Текучая современность. СПб., 2008. С. 187, 188.

[4] Цит. по: *Сукарно.* Политик и личность. М., 2001. С. 116.

[5] *Primoratz I.* Patriotism and Morality: Mapping the Terrain // Patriotism: Philosophical and Political Perspectives / Ed. by I. Primoratz, A. Pavkovic, Aldershot. Hampshire: Ashgate, 2008. P. 18.

ческим институтом. ... основой возникновения патриотического сознания и поведения становится преодоление отчуждения гражданина от государства, доверие государству, а также формирование общенациональной идентичности — "корпоративного духа" (Гегель), — о чем совершенно недвусмысленно пишут классики политической мысли от Платона до Гегеля. В самом общем смысле, гражданский патриотизм можно определить, как общественное отношение в виде особой ценностной установки политического сознания и поведения на выполнение обязательств (гражданского долга) гражданина перед государством, действительно представляющим, по мнению гражданина, его интересы. Поскольку одновременно это — ценностная установка людей на самоидентификацию себя в качестве граждан государства, то патриотизм выступает основой формирования гражданской (национально-государственной) идентичности. Это коррелирует с подходом, что патриотизм предполагает действие, а не только чувство и в этом плане является манифестацией лояльности по отношению к государству[1].

Думается, однако, что подобное деление «объектов поклонения» весьма произвольно. В частности, не ясно, почему из понятия «национализм» исключается политическая составляющая (идентификация со страной, «со своим» национальным государством, реально существующим или желаемым). Национализм же, вне всякого сомнения, представляет собой политико-идеологическое явление. Непонятно также, почему патриотизм отождествляется с одной из его исторических манифестаций — гражданским патриотизмом? Скажем, советский патриотизм вряд ли можно определить как гражданский.

*Третий* подход к различению содержания этих понятий, предложенный, в частности, итальянским исследователем М. Вироли, также не выдерживает критики, поскольку он считает смешение патриотизма с национализмом антиисторичным, сформировавшимся в силу различия их языков. Язык патриотизма, по его мнению, в течение столетий использовался для усиления любви к политическим институтам и образу жизни, которые поддерживают свободу народов, т.е. любовь к республике, а язык национализма был создан в Европе конца XVIII в. для защиты или укрепления культурного, лингвистического и этнического единства и однородности народа. Однако американцы Х. Герт и К. Милс вполне обоснованно называли национализм «идеологией, оправдывающей национальное государство»[2].

Кроме того, «высокие принципы» не всегда лежали в основе патриотических заявлений — любовью к родине нередко в политической истории прикрывали далеко не патриотические личные и групповые цели и интересы. Как представляется, именно эти обстоятельства имел ввиду Л.Н. Толстой, когда писал в 1895 г.: «Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм»[3].

В силу этого, как замечает А. Виммер, «те, кто пытается четко разграничить хороший гражданский патриотизм и плохой этнический национализм, игнориру-

---

[1] *Мартынов М., Габеркорн А.* Как измерить патриотизм? К вопросу о концептуализации понятия // Вестник Пермского ун-та. Политология. Т. 13. № 4. 2019. С. 35.

[2] *Gerth H., Mills C.* Character and Social Structure. L.: Routledge und Kegan Paul, 1954. P. 198.

[3] См.: Л.Н. Толстой: «Патриотизм есть рабство». URL: https://dzen.ru/a/XkFZNNZ6YngQ_r2A.

ют общие корни обоих явлений. Патриотизм — это разновидность национализма, потому что они идейные братья, а не дальняя родня»[1].

*Четвертый* подход, редко встречающийся за пределами России, предполагает прямо противоположные оценки патриотизма и национализма. Так, В. Соловей считает, что «Национализм — это идеология, которая провозглашает нацию, как бы эта нация ни понималась, высшей ценностью. Таким образом, националисты — это те, кто говорят, что благо моего народа, мой народ, точнее, являются высшей ценностью, и все действия должны соизмеряться с этим критерием. Более того, национализм — это не только политическая идеология; более важно, что национализм — это психическая культурная норма. Быть националистом — это значит быть нормальным человеком ... В свою очередь, патриотизм чаще всего требует лояльности и даже преданности существующему государству (со всем его аппаратом управления, принуждения и т.д.), национализм же будет настаивать на трансформации государства в национальных интересах. Для националиста первичен народ, нация, а патриот-государственник, ведомый этатизмом, оправдывает зачастую преступления, совершенные своим государством»[2]. Или как бесхитростно пишет на интернет ресурсе pikabu.ru безымянный автор: «Патриот — человек, который любит свою страну. Националист — это человек, который любит свой народ. Не каждый патриот готов встретить неугодные ему перемены в стране, но каждый националист готов это сделать».

Указанная позиция объясняется тем, что В. Соловей (как и его немногочисленные соратники) считает, что «Российская империя существовала только за счет эксплуатации русской этнической субстанции, русские могли получить свободу для национального развития, лишь пожертвовав империей. Реальный выбор состоял в сохранении антирусской империи или же отказе от нее в пользу русского национального государства...»[3]. Из контекста ясно, что русская нация понимается как этнокультурная общность. Однако надо заметить, что идея создания русского этнонационального государства/русской республики возникала в истории нашего отечества неоднократно, даже в первые годы существования Советского государства, и также неоднократно подтверждала утопичность этого проекта. Сегодня этот проект убедительно критикует Е. Холмогоров: «Если мы отрицаем историю государственного строительства России как русскую историю, то никакой территории для “русского национального государства” не останется. Да и самих русских не останется. Тезис: русские испокон веков были жертвами неправильного антирусского государства, которое их только эксплуатировало, и нужно с ним покончить, чтобы создать наше правильное РНГ — это рецепт национального самоубийства»[4].

Но как хорошо известно — «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». В силу этого наделение национализма позитивными коннотациями, а патриотизма — негативными по принципу добра и зла также не выдерживает критики.

---

[1] *Виммер А.* Почему национализм работает и почему он не исчезает // Россия в глобальной политике. 2019. № 2. С. 97.

[2] *Соловей В.* Русский национализм вчера, сегодня, завтра... 02.07.2011. URL: http://pn14.info/?p=71448. (*Соловей Валерий Дмитриевич выполняет функции иноагента*.)

[3] *Соловей Т., Соловей В.* Несостоявшаяся революция: Исторические смыслы русского национализма. М., 2011. С. 445. (*Соловей Валерий Дмитриевич выполняет функции иноагента*.)

[4] *Холмогоров Е.* Русское Национальное Государство. URL: https://dzen.ru/a/ZbY7oPc9s0NbMJiJ.

Характерно, что такие известные исследователи национализма, как Б. Андерсен, К. Калхун, Э. Кедури, Х. Кон, Э. Хобсбаум, Э. Геллнер, Б. Як и др., в своих книгах практически не делали различий между национализмом и патриотизмом. В частности, Геллнер писал: «...национализм является очень специфической разновидностью патриотизма, которая распространяется и начинает доминировать только при определенных социальных условиях...»[1], и таковыми условиями являются процессы социальной и политической модернизации. Правда, исторически появление национализма часто предшествовало процессам экономической и социальной модернизации, а не следовало за ними. В частности, в Восточной Европе «западные идеи распространялись куда стремительнее, чем западные политические и экономические реалии, восточноевропейские националистические течения возникли еще до индустриализации. Соответственно, в этой части мира национализм был скорее причиной (субъективной потребностью "догонять"), чем следствием функционального императива индустриализации»[2].

Можно выявить и другие важные факторы роста лояльности к нации, появления и распространения национализма и национальных движений в обществе. К ним относятся: воздействие политической централизации и конкуренции территориальных государств; действия династических правителей по консолидации подвластного населения; прославление романтизмом народной культуры и национального характера; серьезная социальная нагрузка на массовые категории населения, порожденная социальной модернизацией, особенно запаздывающей; потребность светского общества в новом неумирающем межпоколенном субъекте «мы», с которым можно себя отождествлять, и т.д.

Своего рода «примиряющую позицию» по поводу соотношения обсуждаемых понятий предложил Р. Брубейкер. Отказавшись от выяснения различий между патриотизмом и национализмом, он справедливо отметил, что попытки отличить хороший патриотизм от плохого национализма игнорируют неотъемлемо присущую обоим понятиям двойственность и многоликость ... Патриотизм и национализм — не сущности, чья природа установлена раз и навсегда, они представляют собой чрезвычайно гибкий политический язык, способ выражения политических аргументов при помощи апелляции к родине (*patria*), отечеству (*fatherland*), стране, нации. Эти понятия имеют несколько различные коннотации и вызывают разные ассоциации, и потому политические языки патриотизма и национализма полностью не совпадают. Однако они в значительной мере пересекаются и могут выполнять необычайное множество задач»[3].

Уместно сослаться и на позицию Э. Кедури, который писал, что «Патриотизм, любовь к своей стране или к своей группе, верность ее обычаям, лояльность ее институтам и ревностная готовность ее защищать — чувство, известное всем людям. То же самое можно сказать о ксенофобии, которая есть неприязнь к чужим, к посторонним, нежелание принимать их в свою группу. Оба чувства не определяются какой-либо конкретной антропологией и, равным образом, каким-либо учением о государстве или об отношении к нему. Национализм со-

---

[1] *Геллнер Э.* Нации и национализм. М., 1991. С. 280.

[2] *Вуячич В.* Национализм, миф и государство в России и Сербии: Предпосылки распада СССР и Югославии. СПб., 2019. С. 102.

[3] *Брубейкер Р.* Именем нации: размышления о национализме и патриотизме // Мифы и заблуждения в изучении империй и национализма. М., 2010 С. 120.

держит и то и другое; это всеобъемлющая доктрина, порождающая особый вид политики»[1].

Как можно видеть, сегодня в публичном политическом дискурсе доминирует слово «патриотизм». Отмечая это обстоятельство, британский политолог М. Маколи пишет: «В сегодняшнем мире, где государства являются суверенными сущностями, необходимость защищать территорию своей страны никем не подвергается сомнению. Это означает, что политики, или государство, всегда будут прибегать к патриотической риторике, отдавать предпочтение патриотической версии истории, в которой главная роль уделяется позитивному образу страны, а не чему-то, за что нужно извиняться»[2]. Таким образом, дискурс национальных и этнических элит, как правило, оказывается направленным на реализацию стратегии положительной самопрезентации своей общности и негативной презентации «значимых Других», что необходимо для укрепления легитимности власти элит и достижения позитивной самооценки группы. Иначе говоря, в этом дискурсе работает правило «Наш патриотизм — их национализм».

Кроме того, привязанность человека к родным местам, любовь к своей малой и большой родине, видимо, имеет универсальный характер. Приведем в связи с этим одно из немногих нестандартных определений патриотизма: «Патриотизм можно определить как сеть солидарных коммуникаций и политических ожиданий, проявляющихся в политической активности граждан национального сообщества, их готовности к ограничению ранее сложившихся ожиданий (вплоть до готовности в экстремальных условиях пожертвовать жизнью) в целях обеспечения существования и развития этого сообщества»[3].

В свою очередь, в современном научном дискурсе доминирует понятие «национализм» в своем нейтральном смысле. Не случайно на протяжении уже более трех десятилетий существует междисциплинарное течение "*nationalism studies*", объединяющее представителей различных областей научного знания. При этом в научном сообществе сложился консенсус по поводу того, что национализм невозможно определить однозначно. В связи с этим Х. Сетон-Уотсон, хотя и пришел к выводу, что нет и не может быть никакой научной дефиниции национализма, все же коварно добавляет, что этот «Феномен ... существует издавна и будет существовать также и в будущем»[4]. Поэтому, по мнению канадского историка А. Мотыля, «Перед исследователями (национализма. — *Авт.*) стоит задача не навязывать единообразное толкование своим коллегам — что невозможно как практически, так и гносеологически, — а гарантировать единообразное употребление термина "национализм" в собственном тексте. Внутренняя непротиворечивость — вот искомая цель»[5].

Несомненно, однако, что нужно разграничивать национализм как массовое не вполне артикулированное настроение общества («банальный национализм»)

---

[1] *Кедури Э.* Национализм. СПб., 2010. С. 68.

[2] *Маколи М.* Историческая память и общество сограждан // Pro et Contra. 2011. № 1–2 (51). Январь–апрель. С. 139.

[3] *Завершинский К.Ф.* «Патриотизм элит» как дискурсивное измерение символических структур национальной памяти // Власть и элиты. Т. 7. СПб., 2020. С. 92.

[4] *Seton-Watson H.* Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Boulder, 1977. P. 5.

[5] *Motyl A.* The modernity of nationalism: Nation, Sates and Nation-States in the cotemporary world // Journal of International Affairs. Winter 1992. Vol. 45. No. 2.

и национализм как притязающее на участие в политике и власти идеологическое, институализированное течение. «Банальный национализм, — пишет, в частности, М. Биллиг, — оперирует прозаичными, обыденными словами, благодаря которым нации начинают казаться само собой разумеющимися. Короткие слова, а не громкие и пафосные фразы постоянно, но редко осознанно, напоминают о Родине, не позволяя забыть о “нашей” национальной идентичности». Таким образом, «нация лежит на поверхности современной жизни», и своим актуальным существованием национализм обязан практике постоянных «естественных взаимодействий с теми, которые считаются “нашими”, “своими”, в отличие от “чужих”, “других”»[1]. Не случайно социальный психолог С. Московичи относит к укорененным социальным представлениям не любые идеи, теории или взгляды, транслируемые элитами, а лишь те, которые входят в сферу обыденного сознания, становятся продуктом «здравого смысла», формируют «практическое сознание», регулируют повседневную жизнь людей[2].

В то же время «банальный национализм» приобретает свою форму благодаря осуществляемым элитами мифологизации и символизации сообщества и структурного закрепления правил принадлежности. В этом контексте Э. Смит следующим образом суммировал «картину мира», утверждаемую национализмом, в пяти кратких тезисах: 1) мир естественным образом разделен на нации, каждая из которых имеет свой особый характер и судьбу; 2) нация — источник всей политической власти, и лояльность к ней выше всех остальных видов лояльностей; 3) если люди хотят быть свободными и самореализоваться, они должны идентифицировать себя с нацией и осознавать свою принадлежность к ней; 4) глобальные свобода и мир — это следствие освобождения и стабильности всех наций; 5) нации по-настоящему могут стать свободными и выразить себя наиболее полно только в собственных суверенных государствах[3].

В свою очередь К. Калхун также выделяет некоторые, на его взгляд, наиболее важные элементы националистического дискурса («риторики нации»). К ним он относит: границы территории и население; представления о целостности нации; суверенитет/стремление к суверенитету; правление справедливо, когда оно отражает «волю народа»; народная мобилизация; прямое членство (когда каждый осознает себя членом нации); культура (сочетание языка, общих убеждений и ценностей); глубина во времени (нация существовала в прошлом и будет существовать в будущем, она исторична); общее происхождение/расовые черты; историческая/сакральная связь с определенной территорией[4]. При этом американский исследователь особо подчеркивает, то, что те, кто используют национализм как дискурсивную формацию и взывают к исторической природе нации, отказываются понимать ее как социальный конструкт.

По мнению К. Калхуна, у национализма можно вычленить два основных вектора. «Один из них указывает в сторону обретения и сохранения общественного единства. Это национализм, исходящий, как правило, от государства. Второй — направлен против государства. Это национализм, исходящий от культурно-этни-

---

[1] *Биллиг М.* Повседневное напоминание о Родине // Логос. 2007. № 1 (58). С. 34.

[2] *Московичи С.* От коллективных представлений к социальным // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 2. С. 83–95.

[3] См.: *Смит Э.* Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004. С. 342.

[4] *Калхун К.* Национализм. М., 2006. С. 31.

ческих групп, стремящихся к обретению политического суверенитета. ...Таким образом, национализм — идеология, легитимирующая усилия по интеграции или по дезинтеграции государства. ...Однако этим функции национализма не исчерпываются. Национализм далеко не всегда непосредственно связан с действиями по укреплению или подрыву национальных государств. Он подпитывается чувствами и ожиданиями людей, которые в условиях социального кризиса ищут решение острых проблем собственного существования в национальной солидарности — в консолидации на основе общей истории, языка или культуры. Таким образом, национализм может быть определен как идеология политизированной идентичности»[1].

В силу сказанного все национализмы развиваются в противостоянии другому, а иногда и другим национализмам (поскольку это формула идентификации), стремящимся утвердить свои иерархии идентичностей и ценностей. В то же время Э. Смит подчеркивает, что национализм представляет собой главный легитимизирующий принцип политики и создания государств, никакой другой принцип не пользуется сопоставимой лояльностью у человечества. Таким образом, национализм оказывается несводимым к одному из нескольких существующих в каждом обществе политических движений и идеологий. В подавляющем большинстве случаев все политические акторы, хотят они того или нет, вынуждены вступать в борьбу за право утвердить в обществе свою интерпретацию символа нации, который играет ключевую роль в современном политическом мировосприятии, в силу чего они становятся участниками националистического дискурса.

По словам Б. Андерсона, «...теоретиков национализма часто ставили в тупик следующие три парадокса:

(1) Объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, — и их субъективная древность в глазах националиста — с другой. Не случайно К. Поппер говорил, что “нация являет собой общность людей, объединенных не своим происхождением, а общим ошибочным взглядом на свое происхождение”.

(2) С одной стороны, формальная универсальность национальности как социокультурного понятия (в современном мире каждый человек может, должен и будет “иметь” национальность так же как он “имеет” пол) и, с другой стороны, непоправимая партикулярность ее конкретных проявлений..., поскольку пределы национальных сообществ задаются посредством демаркации границ и титуализации (официального закрепления названия демаркированного пространства). Действительно, символом суверенности нации является национальное государство. Наличие границ нации является необходимым требованием самого национализма, так как связано с признанием существования других наций и признанием одной нации другими.

(3) С одной стороны, “политическое” могущество национализмов и, с другой — их философская нищета и даже внутренняя несогласованность»[2].

Следуя этой логике, можно добавить еще один, четвертый парадокс: с одной стороны, национализм стремится уничтожить различия внутри нации, добиваясь ее культурной однородности, с другой — способствует умножению числа суверенных национальных сущностей.

---

[1] *Малахов В.С.* Национализм как политическая идеология: Учеб. пособие. М., 2005. С. 5.

[2] *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 30.

В связи с этим Э. Смит выделяет три основных националистических лейтмотива: требования национальной автономии, национального единства и национальной идентичности. Причем один из них может играть в конкретных национализмах приоритетную роль (к примеру, в России, по его мнению, это национальная идентичность). В то же время концепция идентичности каждой националистической идеологии обычно содержит три принципиальных аспекта. *Во-первых,* в ней определено, кто является членом нации (понимаемой либо как сограждансто или этнонация). *Во-вторых,* идеологи национализма стремятся определить «исконные» территориальные границы нации либо по принципу «одно государство — одна нация» (а значит, без включения регионов, где члены других наций составляют большинство), либо, согласно имперскому видению нации, с включением земель, населенных иными народами. *В-третьих,* националистическая идеология указывает, какие именно политические, социальные, экономические и культурные институты больше всего подходят конкретной нации. Комбинация этих трех видов установок и определяет характер данной националистической идеологии: она может быть имперской и неимперской, демократической или авторитарной, либеральной или консервативной, радикально левой или радикально правой[1].

В силу этого важно помнить, что национализм является частичной, а не тотальной идеологией, каковыми являются «большие идеологии» XIX–XX вв. — либерализм, консерватизм, социализм и фашизм. Он имеет довольно узкую семантическую и политическую повестку и не представляет альтернативного им идеологического проекта. «Националистические принципы говорят нам, за кем должно сохраняться окончательное слово относительно контроля инструментов власти в государстве, а не то, какие мелодии на них надо играть. Это одна из причин, почему национализм так легко сочетается с другими идеологиями, от либерализма и консерватизма до фашизма и даже социализма. От нас он требует не оставления других наших идеологических ориентиров, а их подстройки»[2]. Поэтому, как резонно отмечает А. Миллер, «невозможно, например, представить себе либерала-социалиста, если иметь в виду либерализм не как стиль поведения, но как систему ценностей. Между тем либералов-националистов, равно как и социалистов-националистов, история представляет в неограниченном количестве»[3].

Итак, как можно видеть, национализм имеет множество «лиц», зачастую выполняя прямо противоположные задачи разных «хозяев». Он может быть задействован и для утверждения, и оспаривания легитимности государств, для обоснования дискриминации и даже необходимости физического истребления этнических меньшинств и народов (национал-социализм), и для многого другого. Национализм может быть одновременно современен и предсовременен, демократичен и эксклюзивен, гражданственен и «этничен», он может быть не только антикоммунистическим, но и коммунистическим. В то же время «...ничто в современной истории не может сравниться с национализмом в качестве источника коллективных действий, добровольных жертв и, конечно, государственного строительства»[4].

---

[1] *Смит Э.* Указ. соч. С. 343.

[2] *Як Б.* Национализм и моральная психология сообщества. М., 2017. С. 216–217.

[3] *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вт. пол. XIX в.). СПб., 2000. С. 15.

[4] *Ливен А.* Прогрессивный национализм // Россия в глобальной политике. 2020. № 5 (105). С. 26.

Одним словом, национализм (как, впрочем, и патриотизм) может быть полезен и может быть очень опасен, ибо все зависит от исторической ситуации, от того, кто и как его формирует и каким содержанием наполняет, для чего использует и насколько уверенно держит под контролем инициированные им массовые настроения. В то же время сегодня нет ни одной теории национализма или патриотизма, которая была бы целиком «не права» или целиком «права», как нет и всеобъемлющего, радикально «нового» истинного подхода к современным проявлениям этих феноменов.

*В.А. Ачкасов*

**Литература**


1. *Брубейкер Р.* Именем нации: размышления о национализме и патриотизме // Мифы и заблуждения в изучении империй и национализма. М., 2010. — 224 с.
2. *Вуячич В.* Национализм, миф и государство в России и Сербии: Предпосылки распада СССР и Югославии. СПб., 2019. — 430 с.
3. *Завершинский К.Ф.* «Патриотизм элит» как дискурсивное измерение символических структур национальной памяти // Власть и элиты. СПб., 2020. Т. 7. С. 77–96.
4. *Кром М.* Патриотизм, или Дым отечества. СПб., 2020. — 160 с.
5. *Магарил С.А.* Смыслы патриотизма — исторические трансформации // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 142–151.
6. *Мартынов М.Ю., Фадеева Л.А., Габеркорн А.И.* Патриотизм как политический дискурс современной России // Полис. Политические исследования. 2020 Т. 29. № 2. С. 109–121.
7. *Миллер А.И.* Нация, или могущество мифа. СПб., 2016. — 145 с.
8. *Смит Э.* Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004. С. 244–263.
9. *Як Б.* Национализм и моральная психология сообщества. М., 2017. — 520 с.
10. Patriotism in Philosophical and Political Perspectives / Ed. by I. Primoratz, A. Pavkovic. L., N.Y.: Routledge. 2016. — 250 p.


# Политика и образование*

Характерное для современной мировой культуры представление о глубинной связи политики и образования уходит корнями в глубину тысячелетий к истокам формирования философских школ, внутри которых зарождаются ранние направления рационалистической рефлексии о природе общества, государства и способов управления. Так, Л.С. Переломов отмечает зарождение философской концепции образования в древнем Китае на основании конфуцианских идей, предопределивших возникновение устойчивого понятия «*сян фу, хоу цзяо*» — «сначала обогатить, потом воспитывать...», означавшего, что «Тот, кто стремится к созданию процветающего государства, должен постоянно помнить, что, прежде чем заниматься воспитанием народа, его необходимо как следует накормить, создать хорошие условия жизни, тогда и поучения, исходящие сверху, будут восприниматься и народ станет “воспитанным”»[1].


* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01601, https://rscf.ru/project/23-28-01601/.


[1] *Переломов Л.С.* Конфуций: жизнь, учение, судьба. М.: Наука, 1993. С. 119.

В философии Аристотеля понятия «природный» и «политический» в сфере общественных отношений совпадают с точки зрения конечного идеала. Людям как «существам политическим» свойственно безотчетное стремление к совместной жизни, реализуемое через ряд ступеней «естественного развития», то есть через организацию в семьи (ойкосы) и селения вплоть до завершающего момента — объединения в государственное сообщество (Arist. Pol., I, 1, 7–9; III, 4, 2)[1]. В начале «Никомаховой этики» «высшее благо» отождествляется с конечной целью всех человеческих стремлений и относится поэтому к ведению науки о государстве или политике, определяющей при помощи законов, «какие поступки следует совершать и от каких воздерживаться», и пользуемой всеми остальными науками по своему усмотрению[2] (Arist, E.N., I, 1, 1094a 19 sqq. — 1094b 12; ср.: Pol., III, 7, 1).

В «Политике», вводя в свою конструкцию элемент развития, Аристотель также последовательно рассматривает «высшее благо» как «благую жизнь» в государстве, сущность которой составляет автаркия. Именно в ней проявляется «природа» полиса, тождественная его цели, то есть «завершенному состоянию» общественного организма (Arist. Pol., I, 1, 8). В третьей книге «Политики», отвечая на вопрос о цели возникновения государства, Стагирит вполне допускает возможность существования политического сообщества ради самой жизни как таковой. Из-за привязанности к жизни «большинство людей готово претерпевать множество страданий», поскольку она заключает в себе «некое благоденствие» и «частицу прекрасного» (Arist. Pol., III, 4, 2–3). Вполне естественно, что при таких ценностных установках в пренебрежении оказывается забота о воспитании и совершенствовании в добродетели, и «каждый живет, как желает, подобно киклопу, “право творя над детьми и супругой”» (Arist., E.N., X, 10, 1180a 25 sqq.)

В этой связи необходимо отметить, что настроения скептицизма и пессимистического отношения к человеческой природе не могли поколебать твердой веры Аристотеля в необходимость и возможность изменения существующего положения вещей при помощи справедливых законов и образования. Естественно, изменение вообще возможно только при условии, если политик не рассматривает любую систему законов как окончательное воплощение «благой жизни», но исходит из следующих положений: «Государство является неким сообществом равных друг другу людей, существующим ради достижения *возможно* (курсив мой. — *Авт.*) лучшей жизни», на осуществление которой «могут с полным правом притязать ... лишь воспитание и добродетель» (Arist. Pol., VII, 7, 2 sqq.; III, 7, 6; ср.: VIII, 1, 2)[3].

В древнегреческом языке — языке первой в историческом ряду великих европейских культур — чрезвычайно вариативный смысл идеи образования уже содержится в слове *παιδεία*, что всегда создавало большие трудности для переводчиков. Например, в редакторском предисловии к британскому изданию труда В. Йегера «Пайдейя. Формирование греческого человека» отмечалось, что, подобно другим объемным понятиям, таким как «философия», «культура», *пайдейя* противостоит попыткам ограничить его рамками какой-либо одной абстрактной формулы. Поэтому «невозможно избежать привнесения в него таких современных выраже-

[1] См.: *Aristotle*. Politics. With the English / Translation by H. Rackham. L.: William Heinemann Ltd; Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1959.

[2] См.: *Aristotle.* Nicomachean Ethics / Translated with Introduction and Notes by C.D.C. Reeve. Indianapolis; Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc., 2014.

[3] Подробнее см.: *Гуторов В.А.* Античная социальная утопия: вопросы истории и теории. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989.

ний, как *цивилизация*, *культура*, *литература* или *образование*»[1]. Сам Йегер в общем Введении и в Предисловии к первому изданию своего труда весьма категорично и справедливо подчеркивал: «Образование является тем принципом, который человеческое сообщество использует для того, чтобы сохранять и передавать по наследству свойственный ему физический и духовный характер. В неизбежном изменении вещей индивиды уходят, тогда как характер пребывает тождественным самому себе»; в этом плане «сущностное понимание феномена греческого образования является неотъемлемой основой для любого современного образовательного знания и устремления»[2].

Философское рассуждение Йегера легко может претендовать на статус пророчества. В речи, произнесенной в 1954 г. в Американской ассоциации политической науки, Х. Арендт справедливо отмечала, что «большая часть аутентичной современной философии содержится в интерпретациях великих текстов прошлого»[3]. В определенном смысле можно утверждать, что и сегодня в области философии образования, несмотря на огромное количество гипотез и теорий, классическая образовательная традиция, зародившаяся в Древней Греции, является тем «интеллектуальным ядром», которое лежит в основе большинства современных интерпретаций. Потерян счет трудам, посвященным феномену античного (раннеполисного, эллинистического и римского) образования. Новейшие работы свидетельствуют о том, что и в наши дни споры, например, о роли Сократа и Платона в формировании современной модели образования являются столь же острыми и бескомпромиссными, как и в начале XX в.[4]

Один из наиболее ярких примеров творческой интерпретации античной образовательной традиции и ее значения для европейской культуры представлен в книге Дж. Обера «Демополис: демократия до либерализма в теории и практике», в которой подводятся итоги предшествующих исследований, представленные в том числе и в других монографиях и журнальных статьях крупнейшего современного антиковеда: «Теперешние граждане Демополиса... — отмечает Обер, — должны были быть готовы предложить будущим гражданам убедительные доводы, чтобы они дорожили нетиранническим режимом. Они должны были это делать в форме гражданского образования, которое предлагает аргументы для в высшей степени существенной и инструментальной оценки коллективного самоуправления. Короче говоря, гражданское образование Демополиса в полном соответствии с образовательными нормами любого режима, который относится к своим гражданам как к рациональным и (в равной степени) эмоциональным индивидам, является ясно выраженным доводом в пользу его легитимности. Такое образование должно частично реализовываться в рамках структурированного школьного учебного плана. Но оно не должно ограничиваться формальным школьным обучением. Для того чтобы возвыситься до уровня психологически мотивированных граждан, обладающих способностью убеждать и брать на себя все виды ответственности, связанные с политическим участием, образование граждан должно деятельно продолжаться на протяжении всей их жизни. Его цель заключается в усвоении и интериоризации

---

[1] *Jaeger W.* Paideia: The Ideals of Greek Culture. Vol. I. Archaic Greece. The Mind of Athens. Oxford: Basil Blackwell, 1946. P. V.

[2] *Jaeger W.* Paideia. Die Formung des griechischen Menschen. Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter, 1973. S. 1.

[3] *Keedus L.* The Crisis of German Historicism. The Early Political Thought of Hannah Arendt and Leo Strauss. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. P. 431.

[4] См.: *Magrini J.* M. Plato's Socrates, Philosophy and Education. Cham, Switzerland: Springer, 2018.

логики базовых правил и ассоциированных политических норм, в развитии соответствующих характерных черт гражданского поведения»[1].

Концептуальная формула Обера предельно ясно дает понять, что без зародившейся в Древней Греции демократической полисной культуры с характерной для нее интеллектуальной эмансипацией и аутентичной системой гражданского образования не было бы ни ренессансной политики, ни Реформации, ни феноменов Жан-Жака Руссо и Жозефа Жакото, ни многих других образовательных экспериментов эпохи Модерна[2]. Не случайно французский философ Ж. Рансьер, развивая аристотелевское представление о человеке как «существе политическом», рассматривает «учащегося в качестве политического субъекта, чья [уже] существующая эмансипация нуждается только в верификации»[3]. И сам философ, и его многочисленные комментаторы постоянно подчеркивают, что демократическая концепция образования вполне естественно включает в себя эгалитарную составляющую[4].

Невольно напрашивается вывод о том, что философия образования и изначально, и в процессе ее формирования как исторической традиции до известной степени нивелировала не только дихотомию Восток/Запад, но и теоретическую дискуссию о преимуществах той или иной формы правления в том смысле, что *любое государство*, устремленное к общественному благу, не может игнорировать необходимость заботиться о благосостоянии и просвещении граждан или подданных. Именно по этой причине Дж. Дьюи в начале XX в. не только трансформирует, но и спонтанно доводит в области демократической теории до логического конца весьма далекие от апологии демократии идеи Платона, Аристотеля, Э. Роттердамского, Т. Мора, Дж.С. Милля и К. Маркса о приоритете публичной образовательной политики[5]. Элементарное сравнение «*Summaria*» — средневекового

---

[1] *Ober J.* Demopolis: Democracy before Liberalism in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. P. 71.

[2] См.: *Rancière J.* The Ignorant Schoolmaster. Five Lessons in Intellectual Emancipation. Stanford, California: Stanford University Press, 1991.

[3] *Lewis T.E.* The Aesthetics of Education: Theatre, Curiosity, and Politics in the Work of Jacques Rancière and Paulo Freire. N.Y.; L.: Continuum, 2012. P. 13.

[4] См.: *Rancière.* Public Education and the Taming of Democracy / Ed. by M. Simons, J. Maschelein. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011; *Wetzel D.J., Claviez Th.* Zur Aktualität von Jacques Rancière: Einleitung in sein Werk. Wiesbaden: Springer VS, 2016; Gleichheit, Politik und Polizei: Jacques Rancière und die Sozialwissenschaften. Th. Linpinsel, Il-Tschung Lim (Hrsg.). Wiesbaden: Springer VS, 2018.

Следует, однако, отметить, что многим современным теоретикам образования позиция Рансьера представляется слишком радикальной. «Среди так называемых радикалов в образовании, — отмечает Б. Криттенден, — автономия — это не просто достижение, которое следует поощрять, но условие, которое следует уважать даже у детей, и, таким образом, основной критерий того, какие образовательные процедуры могут быть законно использованы. Какие бы иные аргументы ни предлагались в защиту таких практик, как открытый класс, демократия участия в принятии решений относительно школьного обучения, самостоятельное и индивидуализированное обучение, акцент на творчестве и обучении через открытия, их часто считают оправданными во имя автономии... С другой стороны, если мы строго верим в примат социализирующей роли образования, то кажется, что личная автономия вряд ли может быть серьезным кандидатом в качестве цели образования. В случае гуманитарного образования этот процесс определяется не функцией автономии, а публичными символическими структурами, составляющими культуру» (*Crittenden B.* Autonomy as an Aim of Education // Ethics and Educational Policy / Ed. by Kenneth A. Strike, Kieran Egan. L.; N.Y.: Routledge, 2010. P. 72–73).

[5] См.: John Dewey and Our Educational Prospect. A Critical Engagement with Dewey's Democracy and Education / Ed. by David T. Hansen. Albany: State University of New York Press, 2006. P. 12–13, 28, 68, 72–75, 178.

памфлета П. Дюбуа (1304) с эссе Ж. Бодена «Метод легкого постижения истории» или со статьей «Политическая экономия», написанной Ж.-Ж. Руссо для «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера, свидетельствует об аналогичной последовательной защите принципа государственного образования, восходящего к античной традиции. Попытка Макиавелли декларативно бросить этой традиции вызов в конечном итоге привела лишь к тому, что в «Государе» и «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» Платон, Исократ и Аристотель уступили место Цицерону и его непосредственным эллинистическим и римским источникам — Дикеарху, Сферу из Боспора, Посидонию, Полибию, Панетию, Карнеаду, Ксенократу, Арату, Эннию и Марку Блоссию.[1]

Итак, в европейской культуре обозначенные типы аргументации очень рано приобрели силу традиции: их можно обнаружить не только в средневековых комментариях[2], но и практически в любом политико-философском трактате эпохи Модерна, например в знаменитом эссе В. фон Гумбольдта «Идеи к попытке определить границы действенности государства» (1792). Основная идея этой работы — необходимость создания публичного образования как важнейшего гаранта безопасности государства и общества[3].

Великая французская революция может рассматриваться как важнейший исторический рубеж. Конечным результатом этого грандиозного политического переворота является создание основных предпосылок реализации гумбольдтовского образовательного проекта сначала на европейском континенте, а в дальнейшем — во всемирном масштабе. Но именно в этот период формируется комплекс скептических идей и настроений, свидетельствующих о том, что формировавшаяся на протяжении столетий классическая парадигма образовательной политики вступила в полосу своеобразного интеллектуального кризиса и нуждается в значительной корректировке или даже радикальном пересмотре. «Когда Академия наук, искусств и изящной словесности в Шалон-сюр-Марн, — отмечает А. О'Коннор, — объявила тему своего конкурса эссе 1779 года, включавшую, казалось бы, простой вопрос: "Каков наилучший план образования для народа?" — он вызвал споры, выходящие далеко за рамки учебных программ, институциональной организации и педагогики. В конце концов, для какого народа? И у кого именно они должны получать образование? Какие знания и навыки важно или желательно иметь этим людям? Для какой цели их нужно было воспитывать и к какому будущему это образование их подготовит? Предлагать планы по образованию людей означало поднимать все эти и многие другие вопросы и тем самым спровоцировать дебаты и споры о природе и основах французского общества, культуры и политики. Через четырнадцать лет после объявления конкурса в Шалон-сюр-Марн автор

---

[1] См.: *Bellamy R.* Rethinking Liberalism. L.; N.Y.: PINTER, 2005. P. XI–XII; Political Approaches to Educational Administration and Leadership / Ed. by Eugenie A. Samier with Adam G. Stanley. N.Y.; L.: Routledge, 2008. P. 23–36; см. также: Isocrates and Civic Education / Ed. by Takis Poulakos, David Depew. Austin: University of Texas Press, 2004.

[2] См., напр.: *Aquinas Th.* Commentary on Aristotle's Politics / Transl. by Richard J. Regan. Indianapolis; Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc., 2007; *Roest B.* A History of Franciscan Education. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2000. P. 1210–1517.

[3] *Humboldt W. von.* Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Leipzig: Verlag Philipp Reclam Jun., 1960; ср.: *Russell B.* Education and the Social Order. L.; N.Y.: Routledge, 2009; *Berlin I.* Vico and Herder. Two Studies in the History of Ideas. L.: Chatto & Windus, 1980; Interpreting Modern Political Philosophy. From Machiavelli to Marx / Ed. by Alistair Edwards, Jules Townshend. N.Y.: Palgrave Macmillan Ltd., 2002.

брошюры 1791 года, озаглавленной “Воззвание к общественному мнению относительно национального образования”, предлагает нам взглянуть на то, что стало с такими вопросами во времена Французской революции. Автор утверждает: “Для каждого человека, живущего в условиях представительного правления... искусство [чтения и письма] должно считаться основным источником его морального существования и поэтому поистине незаменимым”.

Образование, закрепленное в конституции 1791 года как право гражданина и обязанность государства, было признано необходимым для легитимности и устойчивости представительного правления. Но данный вопрос оставался предметом интенсивных дискуссий и разногласий. Во всяком случае, дебаты становились более острыми по мере того, как были выявлены пределы и деформации политики участия, а одновременные поиски педагогического и политического будущего привели к тому, что они лишь усиливали взаимную путаницу. Попытки заново спроектировать институты политического управления, представить себе новые формы гражданской жизни и “возродить” французское общество практически вынудили академических ученых включиться в повестку дня революционеров»[1].

Обозначенная О’Коннором тенденция политических дебатов о принципах «новой политики образования» фактически никогда не прекращалась и продолжает интенсивно развиваться вплоть до наших дней. Речь идет, прежде всего, о специфических особенностях современных трансформаций французской «революционной образовательной матрицы» в идеологии многочисленных современных радикальных движений. По справедливому замечанию Р. Лернера, А.К. Нагаи и С. Ротмана, «Политические теоретики, начиная с Платона и Аристотеля, подчеркивали важность образования для воспитания хороших граждан. Сегодня большинство стран мира рассматривают образование как средство формирования взрослых, которые будут способствовать развитию общества и содействовать его сплочению. В Соединенных Штатах отцы-основатели намеревались сделать образование инструментом на службе республиканских добродетелей. Более поздние активисты довоенного периода и “прогрессивной эры” желали, чтобы государственное образование сыграло решающую роль в создании хороших демократических политиков. Начиная с 1960-х годов новые общественные движения — организации за гражданские права чернокожих, феминистки, группы за мир и защитники окружающей среды — стремились изменить школы конкретными способами, чтобы установить новый социальный порядок»[2].

Подобно французским интеллектуалам революционной и постреволюционной эпохи, современные ученые вынуждены постоянно ввязываться в дискуссии о строгом определении самого понятия «образование». Роль «разделительной линии» в этом плане играет все та же, обозначенная Конфуцием и Аристотелем, концепция государственного образования, против которой выступают сторонники тенденции к его предельной формализации, тщетно пытающиеся снизить накал политических страстей и умерить амбиции левых и правых радикалов. К последним вот уже несколько десятилетий примыкают адепты различных версий неолиберализма.

---

[1] *O’Connor A.* In Pursuit of Politics: Education and Revolution in Eighteenth-Century France. Manchester: Manchester University Press, 2017. P. 1–2.

[2] *Lerner R., Nagai A.K., Rothman S.* Molding the Good Citizen: The Politics of High School History Texts. Westport, Connecticut; L.: Praeger, 1995. P. 1.

«Формалисты» поставили перед собой цель достичь невозможного, а именно — отделить чисто формальные дефиниции от их ценностного содержания. «Понятия образования и развития, — утверждает Т. Маккауан, британский специалист в области международного образования, — весьма неуловимы и избегают точных определений. Определяя, что они *собой представляют, мы часто тайно вносим в них свои взгляды относительно того, какими они должны быть; описательное становится колонией нормативного. Более того, они являются полем битвы за смыслы и ценности. Эти понятия спорны и неопределенны не только с точки зрения наилучших стратегий их реализации* (*скажем, научатся ли дети лучше читать посредством технического обучения фонетике или благодаря реальному опыту чтения детских книг*), *но и с точки зрения самого желаемого результата* (*состоит ли цель образования в том, чтобы научиться хорошо читать, или в том, чтобы стать хорошим человеком*?)»[1]. По мнению Маккауана, «самая главная особенность» понятия “образование” заключается в том, что оно обозначает «целенаправленный процесс обучения». Таким образом, это понятие используется «только для тех видов деятельности, которые были целенаправленно предназначены для обучения. Наиболее очевидными из этих видов деятельности являются те, которые проектируются в учреждениях, предназначенных для этой цели. В наше время это школы, университеты, колледжи, детские сады и т.д. (т.е. все то, что мы можем воспринимать как *формальное образование*). Но понятие «образование» вполне состоятельно и в отношении организованной деятельности за пределами этих учреждений — например, для структурированных видов деятельности, связанных с обучением стажеров-автомехаников в гараже (то, что мы могли бы назвать *неформальным образованием*). Если мы обратимся к высшему образованию, то мы увидим, что это понятие используется почти исключительно в формальном смысле — редко можно говорить о неформальном высшем образовании, хотя... по всему миру развиваются новые формы высшего образования — в общинах коренных народов, социальных движениях и кооперативах, которые бросают вызов нашим традиционным представлениям»[2].

Диаметрально противоположный взгляд превосходно и лаконично представлен в работе английского философа Р.С. Питерза «Этика и образование», пронизанной аристотелевскими интенциями: «Существует еще один аспект, в котором “образование” тождественно “преобразованию” (reform). В оба концепта встроен критерий, согласно которому все чего-либо стоящее должно быть достигнуто. “Образование” не подразумевает, подобно “реформе”, что человека следует вернуть обратно из порочного состояния, в которое он впал. Но оно имеет нормативное значение, хотя и в несколько ином измерении. Оно подразумевает, что нечто стоящее передается по наследству — спонтанно или намеренно — морально приемлемым способом. Было бы логическим противоречием утверждать, что человек получил образование, но никоим образом не изменился к лучшему, или что, воспитывая своего сына, человек не предпринимал ничего стоящего. Это чисто концептуальный момент. Такая связь между “образованием” и тем, что представляет ценность, не предполагает какой-либо особой приверженности к содержанию последней. Каковы конкретные стандарты, в соответствии с которыми различные виды деятельности считаются ценными, и какие могут быть основания утверж-

[1] *McCowan T.* Higher Education for and beyond the Sustainable Development Goals. Cham; Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019. P. 28.

[2] Ibid. P. 28–29.

дать, что они являются правильными — это уже следующий вопрос. Можно просто предположить, что сама приверженность чему-либо считается ценной со всеми вытекающими последствиями»[1].

Определения Маккауана и Питерза представляют собой две крайние точки понятийного континуума, между которыми располагаются многочисленные дефиниции «смешанного типа», тяготеющие в том или ином смысле к чистой прагматике или, наоборот, — к различным теоретическим версиям нормативности[2].

В конечном итоге обозначенные выше теоретические споры имеют тенденцию к движению по кругу и постоянно возвращаются к исходному вопросу о «политической составляющей» образования. Так, например, характеризуя некоторые тенденции, связанные с «экспансией гуманитарных наук» в США, Б.Х. Смит отмечает: «Что, наконец, представляет собой “политика гуманитарного образования” и должна ли вообще существовать какая-либо ее разновидность?... Сам факт, что взгляды людей по вопросам образования являются результатом влияния разнообразных и определенно выраженных ценностей, забот и привязанностей — должен учитываться в их ответах [на данный вопрос]. По этой причине неизбежный ответ на обвинение в “политизации” гуманитарного образования состоит в том, *что оно всегда было политическим* [курсив мой. — *В.Г.*]. Это не означает, что образование — это “индоктринация” или что пропаганда в школьном классе никогда не является злоупотреблением властью. Однако это означает, что ни одно сообщество не может передавать навыки и информацию — своим детям или кому-либо еще — без передачи, сознательно или иным образом, к лучшему или к худшему, своих собственных преобладающих убеждений и взглядов (или “идеологии”, если использовать термин, которым часто злоупотребляют). Что нового в американском образовании в этом отношении, так это не его политический характер как таковой. Новым является широкий диапазон интересов и перспектив, возросшая острота их расхождения друг с другом, а следовательно, и более многочисленные поводы для столкновений между ними. “Политика” или “идеология” всегда являются частью образования, но невидимой частью до тех пор, пока все с этим согласны или кажутся таковыми»[3].

---

[1] *Peters R.S.* Ethics and Education. N.Y.: Routledge, 2015. P. 25; ср.: *Peters R.S.* Ambiguities in Liberal Education and the Problem of Its Content // Ethics and Educational Policy / Ed. by Kenneth A. Strike, Kieran Egan. L.; N.Y.: Routledge, 2010. P. 2–14; *Peters R.S.* What is an Educational Process // The Concept of Education / Ed. by Richard S. Peters. L.; N.Y.: Routledge, 2010; *Hooks B.* Teaching Community: A Pedagogy of Hope. L.; N.Y.: Routledge, 2003. P. XIV; *Freire P.* Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed. L.; New Delhi; N.Y.; Sydney: Bloomsbury 2014; *Bailey M., Clarke B., Walton J.K.* Understanding Richard Hoggart: A Pedagogy of Hope. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011; *Jonas M.E., Yacek D.W.* Nietzsche's Philosophy of Education: Rethinking Ethics, Equality and the Good Life in a Democratic Age. L.; N.Y.: Routledge, 2018.

[2] См., напр.: *Crittenden B.* Autonomy as an Aim of Education // Ethics and Educational Policy / Ed. by Kenneth A. Strike, Kieran Egan. L.; N.Y.: Routledge, 2010; ср.: Macmillan Student Encyclopedia of Sociology / Ed. by Michael Mann. L.: Macmillan Press, 1983; *Monk D.H.* Efficiency in Education // Encyclopedia of Education / Ed. by James W. Guthrie. 2nd ed. N.Y.: Macmillan Reference Library, 2003; *Zajda J.* Globalisation and the Politics of Education Reform // The Politics of Education Reforms / Ed. by Joseph Zajda, Macleans A. Geo-JaJa. Dordrecht; Heidelberg; L.; N.Y.: Springer, 2010; Education and the State: International Perspectives on a Changing Relationship / Ed. by Carla Aubry, Michael Geiss, Veronika Magyar-Haas, Jürgen Oelkers. L.; N.Y.: Routledge, 2014.

[3] The Politics of Liberal Education / Ed. by Darryl Gless, Barbara Herrnstein Smith. Durham; L.: Duke University Press, 1991; ср.: *MacKinnon F.* The Politics of Education: A Study of the Political Administration of the Public Schools. Toronto: University of Toronto Press, 1960; *Giroux H.* The Politics of Public Pedagogy // If Classrooms Matter: Progressive Visions of Educational Environments / Ed. by Jeffrey R. Di Leo, Walter R. Jacobs. L.; N.Y.: Routledge, 2004; *Gunter H.M.* The Politics of Public Education: Reform Ideas and Issues. Bristol:

Обозначенные выше акценты внутренней связи политики, идеологии и образования можно вполне рассматривать как один из многочисленных комментариев к следующей лапидарной формуле бразильского социального философа и теоретика образования П. Фрейре: «Не впадая в идеалистический взгляд или механическое объяснение истории, я думаю, что образование (которое не является инструментом трансформации) во многом связано с переосмыслением власти»[1]. В работе К. Солтмана «Политика образования: критическое введение» также подчеркивается, что и либералы, и консерваторы повсеместно сходятся на том, что школьное образование играет решающую роль в передаче превалирующих в обществе доминирующих ценностей, знаний и склонностей (хотя они могут и не полностью соглашаться относительно того, в чем заключаются эти ценности), стимулируя будущих граждан к участию в существующей экономической и политической системе[2].

В контексте теоретической интерпретации образовательной политики отправной точкой нередко становится соотношение (нередко переходящее в противопоставление) понятий «элита» и «высокое качество», которые требуют дальнейшего определения, неизбежно имеют оценочный характер и по существу оспариваются. По мнению У. Деппе и Х.-Х. Крюгера, концепции элит обычно акцентируют внимание на аналитике социальной иерархии и социального статуса; понятие «высокое качество» связано с «выдающимися достижениями». Элитное образование относится, *во-первых,* к «моделям обоснования», узаконивающим вертикальные различия в системе образования; *во-вторых,* к практикам, которые приводят к этим различиям; и, *в-третьих,* к индивидуальным и институциональным представлениям о себе, которые соотносятся с последними. Данная модель опирается на «процессы различия, открытые для иерархической интерпретации в верхнем сегменте системы образования».[3]

Исследователи уже давно утверждают, что школьные результаты, будь то успеваемость или достижения, в значительной степени связаны с социальной принадлежностью учащихся. Например, несмотря на массовость системы образования в США, формировавшиеся на протяжении всего XX в. социально-классовые различия тем не менее сохранялись на постоянном уровне. В частности, в научной литературе довольно часто подчеркивается тот факт, что классовая и расовая стратификация в семьях и учебных заведениях влияет на успеваемость, модели поступления в колледж (уровни посещаемости высших учебных заведений, количество выпускников и др.) и связанные с ними социальные и экономические результаты. К ним, среди прочего, относятся: семейный социальный и культурный капитал; иерархический характер доступа к академическим знаниям в начальной школе и к углубленным курсам математики и естественных наук в средней школе; усиление сегрегации и гиперсегрегации в результате отмены судебных постановлений о десегрегации и др. Факторы, более конкретно связанные с колледжами и универ-

---

Policy Press, 2018; *Di Leo J.R., Jacobs W.R.* Place, Pedagogy, Politics: Reflections on Contemporary Classroom Reconfigurations // If Classrooms Matter: Progressive Visions of Educational Environments / Ed. by Jeffrey R. Di Leo, Walter R. Jacobs. L.; N.Y.: Routledge, 2004.

[1] *Freire P.* The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation. N.Y.: Bergin & Garvey, 1985. P. 179.

[2] См.: *Saltman K.J.* The Politics of Education: A Critical Introduction. 2nd ed. L.; N.Y.: Routledge, 2018. P. XV; The Politics of Education and Technology: Conflicts, Controversies, and Connections / Ed. by Neil Selwyn, Keri Facer. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013.

[3] *Deppe U., Krüger H.-H.* Elite Education in Germany? Trends, Developments and Challenges // Elite Education: International Perspectives / Ed. by Claire Maxwell, Peter Aggleton. L.; N.Y.: Routledge, 2016. P. 107.

ситетами, дополнительно также способствуют возникновению социального и экономического неравенства. Например, изменения в политике и процессах финансовой помощи затрудняют для бедных, рабочих и студентов с уровнем дохода ниже среднего посещать и продолжать обучение в высших учебных заведениях. Это означает, что бедные студенты и студенты из семей рабочих все чаще не допускаются в флагманские государственные университеты, которые ранее обеспечивали гарантии социальной мобильности для целых поколений студентов — выходцев из низших слоев[1].

Вместе с тем, как отмечают А. Хауард и Р. Хастамбиде-Фернандес, «Отсутствие внимания к привилегиям и преимуществам элитарных групп особенно заметно в образовательной науке. Взгляд исследователей в области образования традиционно был обращен “вниз” на опыт сообществ, считающихся подверженными риску, предположительно с намерением улучшить их положение. Действительно, теоретизирование по поводу отношений между образованием, культурой и обществом, как правило, возникало в результате изучения бедных и маргинализированных групп в государственных школах. Редко исследователи в области образования учитывали классовые привилегии и образовательные преимущества в своих попытках понять неравенство и способствовать социальной справедливости посредством образования. Несоразмерный провал государственных школ, особенно тех, которые обслуживают расовые меньшинства, недавних иммигрантов и работающую бедноту, с энтузиазмом изучался и объяснялся многими критиками. Тем не менее критические линзы редко применяются к системам, практикам и политике, которые работают на укрепление социальных, политических, культурных и экономических привилегий доминирующих групп. На самом деле элитное образование осталось практически нетронутой территорией и остается в значительной степени вне поля зрения общественности и ученых»[2].

Именно в данном контексте М. Бёрьессон, Д. Броди, Т. Дальберг и И. Лидегран разрабатывают концепцию элитного образования, выделяя три фундаментальные характеристики последнего: «Во-первых, это *меритократическое* определение, предполагающее набор студентов на основе академических заслуг. В некоторых случаях могут быть действительными заслуги, отличные от академических достижений, например, при поступлении в художественные школы. Кроме того, те программы и учреждения, которые являются наиболее избирательными, также следуют этому принципу при наборе учителей и директоров, тем самым умножая эффект отбора: “лучшие” студенты получают “лучших” учителей. Наиболее значительным эффектом процесса меритократического отбора, вероятно, является эффект сверстников, когда амбиции, высокие достижения и постоянные усилия рассматриваются как норма.

Второе определение элитарного образования — *социальное*, которое обозначает элитные школы или программы как те, которые способствуют воспроизводству доминирующих групп внутри следующих друг за другом поколений. ... Третье определение — *функциональное*, согласно которому элитные институты понимаются как места формирования завтрашних доминирующих акторов. Элитное образование в этом функциональном смысле также действует на более

---

[1] См.: Educating Elites: Class Privilege and Educational Advantage / Ed. by A. Howard, R. Gaztambide-Fernandez. Lanham; N.Y.; Toronto; Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Education, 2010. P. V–VII.

[2] Educating Elites: Class Privilege and Educational Advantage / Ed. by A. Howard, R. Gaztambide-Fernandez. Lanham; N.Y.; Toronto; Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Education, 2010. P. 2.

низких уровнях образовательной системы, посредством чего определенные престижные школы и программы готовят своих учеников к поступлению на востребованные и эксклюзивные программы на более высоких уровнях системы. Здесь мы можем различать элитные школы и программы более общей направленности и более специализированные школы и программы. Эти три определения, конечно, взаимосвязаны. Таким образом, программы, которые очень избирательны с точки зрения учебных способностей, как правило, набирают своих учеников из семей, принадлежащих к социальной элите и/или высшим классам, и часто предлагают эффективную подготовку к будущему успеху в системе образования и за ее пределами»[1].

Исходным моментом сравнительного анализа интерпретаций понятия «элитное образование» для понимания процесса формирования элитарного статуса в частных и государственных школах является тот факт, что приобретение данного статуса не ограничивается простым присвоением сертификатов или степеней. Согласно гипотезе Хастамбиде-Фернандеса, элитный статус и его «производство» требует «пяти взаимосвязанных и совместно производящих процессов» элитного образования: *исключение*, *участие*, *высокое качество*, *право* и *предвидение*. Поскольку элитный статус по определению является исключительным, возможности для его достижения должны быть ограничены путем разграничения тех, кто имеет доступ, а кто — нет. Иногда исключение институализируется через процессы приема, которые могут включать в себя тестирование или другие демонстрации заслуг, а в других случаях оно действует тонкими способами, выдвигая к участникам требования, которые невыполнимы из-за таких барьеров, как язык, отсутствие транспорта или даже элементарное отсутствие информации.

Элитные образовательные программы также должны иметь ограниченное определение того, что делает их элитными и что устанавливает условия участия для тех, кто способен добиться последнего. Хотя иногда условия участия могут быть общими, например академическая успеваемость, в большинстве случаев элитарные образовательные программы каким-то образом сужают свою область знаний, например математику и естественные науки или искусство, в случае некоторых специализированных школ. Затем ожидается, что учащиеся продемонстрируют высокое качество, чтобы подтвердить свою принадлежность, что они всегда делают под угрозой потенциального исключения, когда высокие стандарты не соблюдаются. Таким образом, исключение — это не просто этап процесса, а постоянная часть производства элитарного статуса, и его следует избегать любой ценой. Постоянная демонстрация высокого качества посредством участия в условиях постоянной угрозы исключения является ключом к созданию чувства права, которое интегрируется в аффективные структуры вовлеченных лиц. Это чувство права затем проецируется в будущее через способность представлять элитное будущее, процесс, который обозначается тогда, когда студенты начали задумываться о присоединении к элитным программам.

Основываясь на этих пяти принципах, Р. Хастамбиде-Фернандес предложил рабочее определение элитных образовательных программ как институциональных схем, функционирующих в том или ином режиме механизма исключения, основанного на дискурсивно релевантных критериях, которые обеспечивают до-

[1] *Börjesson M., Broady D., Dalberg T., Lidegran I.* Elite Education in Sweden: A Contradiction in Terms? // Elite Education: International Perspectives / Ed. by C. Maxwell, P. Aggleton. L.; N.Y.: Routledge, 2016. P. 93–94.

ступ к образовательному участию, открывая тем самым возможности, которые определенные группы с высоким статусом считают важными, или аудитории, в которых избранные должны продемонстрировать превосходство и заслуги. Все эти моменты, в свою очередь, порождают ощущение «права на возможности», а также определенные виды на будущее, которые также считаются желательными в рамках доминирующих ориентаций и концепций экономического и социального успеха[1].

Повышение уровня общего и технического образования долгое время представлялось лекарством от растущего экономического неравенства с дополнительными социальными преимуществами. Некоторые политики и публицисты поддерживали глобализацию и технические изменения как движущие силы прогрессивных социальных реформ, призывая правительства расширять возможности получения образования и повышать профессиональные навыки во имя «эффективной конкуренции». Однако экспансия образования привела к тому, что затраты на его получение стали перекладываться на молодых получателей дипломов без каких-либо гарантий соразмерных выгод. Данная тенденция способствовала падению доверия к современным элитам, несмотря на то, что они выглядят более компетентными и подотчетными. Как утверждает ряд западных ученых, «Во всем мире у тех, кто принимает “решения с серьезными последствиями”, есть один общий элемент. Они учились в элитных школах и университетах, как правило, в стране, которой они правят сейчас, или в стране, которая управляла ею раньше»[2]. В США это «Лига плюща» (the Ivy League) — восьмерка самых обеспеченных и самых дорогих университетов, основанных между 1636 и 1865 гг.; в Англии — Оксфорд или Кембридж; во Франции — «Большие школы», не входящие в систему государственных университетов.

Без элитного высшего образования альтернативные пути успешной карьеры, такие как платная школа или унаследованное состояние, больше не являются достаточными для получения престижной работы. Элитные учебные заведения (лучшие университеты, бизнес-школы и военные академии) стали обязательным путем к вершине власти даже для тех молодых людей, социальное происхождение которых раньше было вполне достаточной гарантией. Эти учебные заведения пересмотрели свои учебные программы и изменили систему отбора, чтобы обеспечить набор «лучших» и расширить свое преимущество перед остальными. Выпускники университетов с самым жестким отбором в настоящее время доминируют на самых влиятельных и высокооплачиваемых должностях, особенно в государственном секторе. В 2015 г. в Великобритании почти три четверти высших судей, более половины высокопоставленных государственных служащих и журналистов, 47% членов кабинета министров, 40% главврачей и более 30% топ-менеджеров 100 компаний были выпускниками «Оксбриджа». В последние годы в ответ на давление правительства входящие в него колледжи увеличили долю мест, предоставляемых учащимся государственных школ, с целью более справедливого доступа. В США «Лига плюща» использует крупные пожертвования для предоставления большего количества стипендий для способных студентов из неблагополучных семей, одно-

[1] *Gaztambide-Fernandez R., Maudlin J.G.* Private Schools in the Public System: School Choice and the Production of Elite Status in the USA and Canada // Elite Education: International Perspectives / Ed. by C. Maxwell, P. Aggleton. L.; N.Y.: Routledge, 2016.

[2] *Shipman A., Turner B., Edmunds J.* The New Power Elite: Inequality, Politics and Greed. L.; N.Y.: Anthem Press, 2018. P. 167.

временно сохраняя «унаследованные предпочтения» для менее способных студентов, чьи богатые родители делали пожертвования в прошлом[1].

В своей недавно опубликованной работе «Геритократия: элиты, большие школы и злоключения заслуг» социолог П. Паскали следующим образом комментирует нынешнюю ситуацию, сложившуюся в сфере французского высшего образования: «Повторяющиеся дебаты вокруг социальной замкнутости элит и их "школьных прихожих" не обошлись без последствий для этих кризисов веры. Высшие школы настолько привыкли представлять себя образцами меритократической добродетели, что нередко в ответ на официальные речи некоторые из их бывших студентов проболтались, или плюнули в суп. В этом плане в заявлениях, сделанных после кризиса "желтых жилетов" о диверсификации элит, есть что-то парадоксальное, поскольку волюнтаризм, проявленный "великими школами" посредством реформ, представленных в качестве беспрецедентных (отмена конкурсных экзаменов, считающихся дискриминационными, введение бонусных баллов для стипендиатов, увеличение количества подготовительных работ, предназначенных для "достойных" студентов из рабочих семей), также может косвенно рассматриваться как признание неудачи. Несмотря на два десятилетия мобилизации, цель которой — социальная открытость, а также арсенал целенаправленных мер (особая подготовка, зарезервированные пути поступления, параллельный прием, репетиторство, наставничество, стипендии и т.д.), большинство школ, особенно самые популярные, все еще пытаются открыть свои двери для детей из рабочего класса... Любопытно, что эта оценка очень похожа на оценку, которую тридцать лет назад уже давал П. Бурдье в книге *La Noblesse d'Etat*. Однако в то время школьная аристократия была еще далека от того, чтобы с таким энтузиазмом перекраивать границы своих республиканских королевств. Со своей стороны, университеты по-прежнему обладали обширной территорией, конечно, пересеченной тысячей барьеров, но куда любой бакалавр мог войти и выйти, не будучи пораженным унижением»[2].

В Германии демонтаж школьной системы, ранее считавшейся равноправной, начался еще в 1810 г., когда В. фон Гумбольдт основал *Гуманистическую гимназию*. Это привело к дальнейшим реформам, когда на уровне средней школы были введены три типа школ — «народные школы» (*Volksschule*), «реальные школы» (*Realschule*) и гимназии (*Gymnasium*). Это изменение привело к тому, что только *Abitur* — аттестат об окончании гимназии стал единственным правовым документом для поступления в университет. Таким образом, в большинстве немецких федеральных земель (*Bundesländer*) академическая сегрегация осуществлялась, начиная с десятилетнего возраста[3]. В начале XIX в. в Германии также были созданы первые современные исследовательские университеты, финансируемые государством. Созданные по образцу Берлинского университета, также основанного Гум-

---

[1] Ibid; *Tobolowsky B.F.* Cultivating Anti-intellectualism in the Fictional University // Anti-Intellectual Representations of American Colleges and Universities: Fictional Higher Education / Ed. by B.F. Tobolowsky, P.J. Reynolds. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2017.

[2] *Pasquali P.* Héritocratie: Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1870–2020). Paris: La Découverte, 2021. P. 9–10.

[3] См.: *Zymek B.* Ausleseverfahren und Institutionen der nationalen Elitebildung und ihre internationalen Herausforderungen. Eine historisch-vergleichende Skizze zu Frankreich, England und Deutschland // Elite und Exzellenz im Bildungssystem — Nationale und internationale Perspektiven. H.-H. Krüger and W. Helsper (Hrsg.). Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Supplement 17. Wiesbaden: Springer VS, 2014.

больдтом в 1810 г., эти высшие учебные заведения сочетали исследования и преподавание, а не сосредотачивались исключительно на обучении, как это было раньше. Ожидалось, что окончание одного из этих новых исследовательских университетов приведет к карьерному росту в государственных учреждениях и других профессиях, таких как юриспруденция, медицина, инженерное дело и т.д.[1]

Анализ процессов эволюции образовательных стратегий, их адаптации к изменениям в социальной структуре, политике и новой институциональной среде, а также изучение влияния этих стратегий на системы образования на национальном и глобальном уровнях по-прежнему остается одной из главных задач социальных наук, решение которых возможно только на междисциплинарном уровне. Многочисленные проблемы, связанные с интерпретацией новой глобальной динамики, следствием которой, безусловно, является зарождение международных структур, формирующих идентичность, статус, траектории и методы политики образования еще долго будут привлекать внимание ученых.

*В.А. Гуторов*

**Литература**


1. *Bailey M., Clarke B., Walton J.K.* Understanding Richard Hoggart: A Pedagogy of Hope. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. — 219 p.
2. Education and the State: International Perspectives on a Changing Relationship / Ed. by Carla Aubry, Michael Geiss, Veronika Magyar-Haas, Jürgen Oelkers. L.; N.Y.: Routledge, 2014. — 263 p.
3. *Freire P.* Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed. L.; New Delhi; N.Y.; Sydney: Bloomsbury 2014. — 229 p.
4. *Gaztambide-Fernandez R., Maudlin J.G.* Private Schools in the Public System: School Choice and the Production of Elite Status in the USA and Canada // Elite Education: International Perspectives. Ed. by C. Maxwell, P. Aggleton. L.; N.Y.: Routledge, 2016. P. 55–68.
5. *Gunter H.M.* The Politics of Public Education: Reform Ideas and Issues. Bristol: Policy Press, 2018. — 223 p.
6. *Jonas M.E., Yacek D.W.* Nietzsche's Philosophy of Education: Rethinking Ethics, Equality and the Good Life in a Democratic Age. L.; N.Y.: Routledge, 2018. — 195 p.
7. *Lewis T.E.* The Aesthetics of Education: Theatre, Curiosity, and Politics in the Work of Jacques Rancière and Paulo Freire. N.Y.; L.: Continuum, 2012. — 192 p.
8. *Magrini J.M.* Plato's Socrates, Philosophy and Education. Cham, Switzerland: Springer, 2018. — 121 p.
9. *McCowan T.* Higher Education for and beyond the Sustainable Development Goals. Cham; Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019. — 359 p.
10. *Ober J.* Demopolis: Democracy before Liberalism in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. — 204 p.
11. *O'Connor A.* In Pursuit of Politics: Education and Revolution in Eighteenth-Century France. Manchester: Manchester University Press, 2017. — 262 p.
12. *Pasquali P.* Héritocratie: Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1870–2020). Paris: La Découverte, 2021. — 311 p.
13. *Peters R.S.* Ambiguities in Liberal Education and the Problem of Its Content // Ethics and Educational Policy / Ed. by Kenneth A. Strike, Kieran Egan. L.; N.Y.: Routledge, 2010. P. 2–14.
14. *Peters R. S.* What is an Educational Process // The Concept of Education / Ed. by Richard S. Peters. L.; N.Y.: Routledge, 2010 — P. 1–16.


[1] См.: *Deppe U., Kastner H.* Exklusive Bildungseinrichtungen in Deutschland. Entwicklungstendenzen und Identifizierungshurden // Elite und Exzellenz im Bildungssystem — Nationale und internationale Perspektiven. H.-H. Krüger, W. Helsper (Hrsg.). Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Supplement 17. Wiesbaden: Springer VS, 2014.

15. *Peters R.S.* Ethics and Education. N.Y.: Routledge, 2015. — 333 p.
16. *Saltman K.J.* The Politics of Education: A Critical Introduction. Second Edition. N.Y.; L.: Routledge, 2018. — 126 p.
17. *Shipman A., Turner B., Edmunds J.* The New Power Elite: Inequality, Politics and Greed. L.; N.Y.: Anthem Press, 2018. — 260 p.
18. *Zajda J.* Globalisation and the Politics of Education Reform // The Politics of Education Reforms / Ed. by Joseph Zajda, Macleans A. Geo-JaJa. Dordrecht; Heidelberg; L.; N.Y.: Springer, 2010. P. XIII–XXI.

# Политика национальной идентичности

Понятие «политика национальной идентичности» отражает деятельность государства или иных политических акторов, направленную на формирование у граждан чувства общности со своей страной, со своим народом. Внимание ученых к политике национальной идентичности связано с осознанием важности процессов нациестроительства, стремлением не только понять механизмы национальной консолидации, но и предложить адекватные реалиям глобализирующегося мира способы решения задач обеспечения национального суверенитета и национального развития. Как писал Ф. Фукуяма, «вопреки утверждениям о том, что концепции национальной идентичности и государственного суверенитета устарели, всеобъемлющее чувство национальной идентичности остается критически важным для поддержания успешного современного политического порядка»[1].

В мире, разделенном государственными границами, человек неизбежно находится в ситуации, требующей от него самоопределения по отношению к тем общностям, которые живут на территориях, определяемых этими границами. Нормативное закрепление этой связи осуществляется институтом гражданства, устанавливающим формальные основания принадлежности индивида к определенному государству, их взаимные права и обязанности. Однако реальная связь индивида со своей страной не может устанавливаться формальными нормами, должно возникнуть духовное единство, формирующее ощущение общности судьбы, неразрывности существования, любви к родине. Политика национальной идентичности должна способствовать формированию такого духовного единства, делающего каждого гражданина чувствительным ко всему тому, что касается его государства, его страны.

Термин «политика идентичности» (*politics of identity*) был предложен в конце XX в. для обозначения процессов самоопределения и саморепрезентации новых социальных движений, которым для самоутверждения на политической арене необходимо было предложить особые механизмы позиционирования, найти привлекательные образы, показать специфику выдвигаемых целей и способов их достижения[2]. В отечественной литературе этот термин используется как самостоятельно, для обозначения «совокупности практических и символических действий,

[1] *Fukuyama F.* Why National Identity Matters // Journal of Democracy. 2018. Vol. 29. No. 4. P. 5.

[2] *Aronwitz S.* The politics of identity: Class, culture and social movements. L.: Routledge, 1992; *Kenny M.* Politics of identity: Liberal political theory and the dilemmas of difference. Cambridge: Polity Press, 2004.

направленных на формирование, поддержание и публичное признание конкретной идентичности»[1], так и с предикатами, указывающими на специфический вид формируемой идентичности (национальная, гражданская, партийная, территориальная, гендерная и др.).

Процесс теоретической концептуализации политики национальной идентичности столкнулся с рядом методологических трудностей. Речь идет, прежде всего, о различных подходах к определению понятия «национальная идентичность». Ученые не только расходятся в интерпретации содержания идентичности, но и дискутируют об уместности использования в данном случае предиката «национальная». Возникающая в этой связи размытость предметного поля затрудняет определение специфики политики национальной идентичности, поскольку цели, задачи, механизмы и технологии такой управленческой деятельности начинают формулироваться противоречиво, ориентировать на получение разноплановых результатов, что, в свою очередь, порождает сомнения в целесообразности как самого теоретического конструкта, так и проводимой в соответствии с заданными им параметрами политики.

Камнем преткновения стало определение идентичности. В науке сложилось два подхода к интерпретации данного термина, каждый из которых задает свою логику политики идентичности, т.е. ее целенаправленного формирования. Первый — философский — отличает понимание идентичности как самости, как совокупности представлений о себе, о своих отличительных качествах, об особой судьбе, о специфике жизненного пути и обретенных свойствах, как «процесса конструирования смысла»[2]. Для такого подхода характерно определение национальной идентичности как национального самосознания, как исторически сложившихся представлений нации о самой себе[3]. М.К. Горшков определяет национальную идентичность как «заданную национальным видением мира и национальной историей основную идею, которой живет социум в конкретно-историческую эпоху и потому приемлемую для его большинства. Тем самым идентичность несет в себе ответ на вопрос о сущности своего народа, его месте, роли и задачах в мировой истории и идеальных формах его существования»[4].

Второй подход — социально-психологический, рассматривающий идентичность как особый вид связи индивида с общностью, группой[5]. Если в первом случае проблема формирования идентичности трактуется как проблема обретения

---

[1] *Малинова О.Ю.* Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. по лит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова, гл. ред., и др. М., 2017. Вып. 5: Политика идентичности. С. 10.

[2] *Castells M.* The power of identity. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1997. P. 6.

[3] *Кортунов С.В.* Национальная идентичность: Постижение смысла. М.: Аспект Пресс, 2009. С. 8.

[4] *Горшков М.К.* Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики): В 2 т. М.: Новый хронограф, 2016. Т. 1. С. 297.

[5] *Ядов В.А.* Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России. 1995. № 3–4. С. 158–181; *Дробижева Л. М.* Этническая солидарность, гражданская консолидация и перспективы межэтнического согласия в Российской Федерации // Общественные науки и современность. 2014. № 1. С. 119–129; *Пушкарева Г.В.* Механизмы формирования политических идентичностей в политическом пространстве современного общества // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XX веке / Отв. ред. И.С.Семененко. М.: РОССПЭН, 2012. С. 99–113; *Huddy L., Khatib N.* American Patriotism, National Identity, and Political Involvement // American Journal of Political Science. 2007. Vol. 51. No.1. P. 63–77.

общностью своих уникальных свойств и в фокус внимания попадают вопросы культуры общности, особенности ее саморепрезентации (кто мы?, чем отличаемся от других?, что нас объединяет?, какие ценности нас сплачивают? и т.п.), то во втором — центральным становится вопрос: как и почему возникает связь индивида с общностью?

Неоднозначным является также отношение ученых к предикату «национальная», определяющему в данном понятии специфику той общности, в отношении которой формируется идентичность. В рамках примордиальной традиции нация рассматривается как этническая общность, обладающая общим самосознанием и психическими свойствами[1], возникающая на основе общего языка, культуры[2] и представляющая собой высшую стадию развития этноса[3]. В рамках конструктивистского подхода нация рассматривается как политико-территориальная общность[4], как «нация-государство»[5], как «политическая нация»[6]. В таком понимании нацией являются все граждане, проживающие на территории определенного государства, независимо от этнической принадлежности. Неизбежно возникающую двусмысленность предиката «национальная» некоторые авторы предлагают снимать путем использования таких терминов, как: макрополитическая общенациональная идентичность[7], идентичность с национально-государственной общностью[8], гражданская идентичность[9].

Научное обсуждение, состоявшееся в ходе разработки Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. и последующих внесений в нее изменений в 2018 г., привело к принятию компромиссного термина «общероссийская гражданская идентичность», которая определялась как «осознание гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям российского общества»[10]. В этом определении понятие «нация» было

---

[1] *Бромлей Ю.В.* Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. С. 57.

[2] *Хейвуд Э.* Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 132.

[3] *Скворцов Н.Г.* Формирование национальной идентичности в современной России // Гуманитарий Юга России. 2016. Т. 20. № 4. С. 55.

[4] *Тишков В.А.* Стройка наций. Российская полиэтничность в мировом контексте // Россия в глобальной политике. 2013. № 5. С. 160–174.

[5] Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. М.: Наука, 2007. С. 558.

[6] *Каспэ С.И.* Политическая нация и ценностный выбор: общие положения, российский случай (1) //Полития. 2009. № 2. С. 5.

[7] *Малинова О.Ю.* Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. 2010. № 2. С. 90–105.

[8] *Семененко И.С.* Дилеммы национальной идентичности: политические риски и социальные приобретения // Полис. Политические исследования. 2009. № 6. С. 11.

[9] *Дробижева Л.М., Рыжова С.В.* Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России // Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 9–24; *Дробижева Л.М.* Динамика гражданской идентичности и ее ресурс в позитивных интеграционных процессах российского общества // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 4. С. 7–22.

[10] Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с изм. и доп.). URL: https://base.garant.ru/70284810/?ysclid=lauy85wd21365518993 (дата обращения: 08.01.2023).

заменено на «государство, народ, общество», создавая еще большую терминологическую путаницу.

Дискуссия о содержании понятия «национальная идентичность» далека от своего завершения. Некоторые авторы даже говорят об этом понятии как о «клишированном элементе публичного дискурса»[1]. Но вместе с тем можно отметить и сближение позиций в интерпретации национальной идентичности. Большинство ученых считают допустимым использование термина «нация» для обозначения политико-территориальной общности, существующей в границах государства. Привлекательность конструктивистского подхода росла по мере осознания того, что под влиянием миграционных процессов практически все государства становились полиэтничными, а любые иные термины, используемые для обозначения находящейся под его юрисдикцией общности, были еще менее приемлемы, поскольку либо носили конкретный характер (советская, российская, французская и т.д.), либо обладали избыточными коннотациями (народ, страна, государство, граждане).

Приходило также понимание, что философская и социально-психологическая интерпретации идентичности не полярны, а взаимодополняемы, поскольку чувство тождественности с нацией не может формироваться без представлений о самой общности, ее исторической судьбе, ее особых свойствах и качествах. В определение национальной идентичности стали органично включаться как «общеразделяемое представление граждан о своей стране, ее народе», так и «чувство принадлежности к ним»[2]. Важным является выделение в национальной идентичности когнитивных, эмоциональных и регулятивных компонентов[3], что позволило, в отличие от национальной культуры, национального сознания, определить ее как личностный конструкт, как особую психологическую установку, в которой знание индивида о своей формальной принадлежности к нации как государственно-территориальной общности субъективно переживается, эмоционально окрашивается, делает его чувствительным к тому, что касается его государства, его страны[4]. С уточнением базовой категории цели и задачи политики национальной идентичности превращались из абстрактных ориентиров во вполне конкретные, поддающиеся операционализации и инструментализации.

На определение содержания политики национальной идентичности оказала влияние также многоаспектность трактовок в отечественной литературе понятия «политика», которая в английском языке преодолевается за счет терминов *politics* и *policy*. В первом случае речь идет о политике как пространстве влияния и конкуренции политических акторов, во втором — о целенаправленно выстраиваемых стратегиях достижения политических целей. Политика идентичности может интерпретироваться и как *identity politics*, и как *identity policy*[5], и выбранный исследо-

---

[1] *Телин К., Филимонов К.* Пробелы идентичности: как и почему нация ускользает от государства // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 1. С. 36.

[2] *Тишков В.А.* Национальная идентичность (о смысле дебатов) // Вестник российской нации. 2009. № 1 (3). С. 109.

[3] *Дробижева Л.М., Рыжова С.В.* Указ. соч. С. 9–24.

[4] *Пушкарева Г.В.* Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной идентичности // Полис. Политические исследования. 2017. № 5. С. 157.

[5] *Цумарова Е.Ю.* Политика идентичности: politics или policy? // Вестник Пермского ун-та. Серия: Политология. 2012. № 2. С. 5–16.

вательский ракурс существенным образом влияет на определение ее предметного поля. Авторы, которые придерживаются первого подхода, обращают внимание на противоречивость политического поля, в котором формируется национальная идентичность, на борьбу политических акторов за право определять ценностные ориентиры развития общества[1], на многообразие участвующих в этом процессе агентов политической социализации[2]. Сама политика идентичности определяется как «совокупность ценностных ориентиров, практик и инструментов формирования и поддержания национальной (национально-государственной), гражданской и иных форм макрополитической идентичности»[3]. В рамках второго подхода осмысливаются задачи, механизмы и технологии формирования национальной идентичности.

Политика национальной идентичности основывается на методологических принципах феноменологии, социального конструктивизма, социальной психологии, когнитивной теории личности и символической политики, позволяющих, с одной стороны, понять особенности конструирования образа нации, а с другой — вскрыть механизмы возникновения особой психологической связи индивида со своей национальной общностью. Исходным положением, задающим общую направленность политики национальной идентичности, является утверждение о том, что нация — это «воображаемое политическое сообщество», существующее только потому, что в умах каждого из его членов «живет образ их общности»[4]. Иными словами, как целостность, как субъект, как социальный организм нация возникает, функционирует и развивается в результате формирования совместно разделяемого знания о ее исторической судьбе, о присущих ей ценностях, о ее достижениях и неудачах, об особенностях культуры и самовыражения, о нормах внутренних взаимодействий и способах реагирования на внешние угрозы. Это совместно разделяемое знание существует, в свою очередь, в символической форме, обеспечивающей экстернализацию и объективацию этого знания. И если формирование нации как общности осуществляется посредством создания символических форм, в которых воплощаются совместно создаваемые репрезентации, образ коллективного Мы, то национальная идентичность складывается в процессе интериоризации этих символических форм, их отображения в психике людей. В этой связи не случайно политику национальной идентичности рассматривают как вид символической политики, представляющей собой борьбу «за утверждение определенных представлений, образов, нарративов, символов, составляющих “коллективный автопортрет” сообщества и указывающих на ценностные основания его солидарности»[5].

В конструировании национальной идентичности есть элементы стихийности, поскольку в этот процесс вовлекаются практически все представители нации.

---

[1] *Семененко И.С.* Политика идентичности: Меняющаяся повестка дня // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова, гл. ред., и др. М., 2017. Вып. 5: Политика идентичности. С. 26.

[2] *Дробижева Л.М., Рыжова С.В.* Указ. соч. С. 9–24.

[3] *Семененко И.С.* Политика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XX веке / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: РОССПЭН, 2011. С. 165.

[4] *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.:КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.С. 28, 29.

[5] *Малинова О.Ю.* Указ. соч. С. 99.

Как писал С. Хантингтон, «люди конструируют собственные идентичности, занимаясь этим кто по желанию, кто по необходимости или по принуждению»[1]. Политика национальной идентичности предполагает сознательно организованную деятельность по конструированию и внесению в массовое сознание представлений, символов, позволяющих гражданам, с одной стороны, идентифицировать свою нацию, страну, видеть присущие ей качества и отличительные черты, а с другой — понимать свою неразрывную связь с этой общностью, воплощать себя в коллективном *Мы*-образе, сопереживать ей, испытывать патриотические чувства.

Политика национальной идентичности многогранна[2] и реализуется средствами образовательной, культурной, языковой, информационной, национальной политики. Ее значение для общества состоит в том, что она помогает нации сохранять свою целостность, обеспечивать единство и сплоченность, консолидированно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Как отмечает В.А. Тишков, «национальная идентичность не менее, а даже более важна для государства, чем охраняемые границы, конституция, армия и другие институты»[3]. Формирующаяся в результате такой политики национальная идентичность помогает каждому гражданину самоопределяться в мире, разделенном государственными границами, а чувство связи со своей нацией умножает силы индивида, ощущающего свою принадлежность к общности, обладающей значительными ресурсами. Ф. Фукуяма считает, что национальная идентичность способствует также экономическому развитию. «Если люди не будут гордиться своей страной, — пишет он, — они не станут работать на ее благо»[4].

Политика национальной идентичности начинается с конструирования символов, обозначающих нацию как данность. К ним относятся: вербальные структуры, принятые для номинации страны и живущего на ее территории народа, государственная атрибутика, а также неофициальные символы, возникшие в результате стереотипизации представлений о соответствующей национальной общности как собирательные образы, обобщающие складывающиеся в массовом сознании представления. Благодаря этим символам фиксируется сам факт присутствия нации в мировом пространстве, создается удобный инструмент для ее выделения среди других аналогичных государственно-территориальных образований. Задача политики национальной идентичности состоит в том, чтобы эти символы, *во-первых*, были усвоены, а *во-вторых*, вызывали позитивные эмоции. Иными словами, важно добиться того, чтобы при восприятии национальной, государственной символики гражданин не только понимал ее значение, но и испытывал определенный эмоциональный настрой. Чтобы исполнение государственного гимна вызывало у него воодушевление, надругательство над национальным флагом — возмущение, название страны — чувство гордости.

---

[1] *Хантингтон С.* Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ; Транзиткнига, 2004. С. 50–51.

[2] *MansbachR., Rhodes E.* The National State and Identity Politics: State Institutionalisation and “Markers” of National Identity // Geopolitics. 2007. No. 12 (3). P. 426–458. URL: https://doi.org/10.1080/14650040701305633.

[3] *Тишков В.А.* Что есть Россия и российский народ // Pro et Contra. 2007. Т. 11. № . 3 (37). С. 28. *(Учредитель журнала Pro et Contra Фонд Карнеги признан нежелательной организацией).*

[4] *Фукуяма Ф.* Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия. 2019. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/17623-s-chego-nachinaetsya-rodina-kak-formiruetsya-natsionalnaya-identichnost-i-zachem-ona-nuzhna (дата обращения: 08.01.2023).

Позитивное восприятие национальной символики не может быть достигнуто исключительно путем требования уважительного к ней отношения и пресечения попыток ее дискредитации. Национальный символ должен обладать внутренней мотивирующей силой, выполнять в структуре личности функцию побуждения к определенным моделям поведения. Решению такой задачи помогает понимание того, что символ «всегда есть обобщение»[1]. Он не просто устанавливает связь между обозначаемым и обозначающим, а способен развертываться в комплекс интерпретаций, суждений, вести, как писал К. Юнг, «в области, лежащие за пределами здравого рассудка»[2]. Политика национальной идентичности призвана направить процесс конструирования связанных с нацией символов в русло формирования у каждого гражданина ощущения особой важности их смыслового содержания. Для этого в форме мифологем и идеологем генерируются смыслы, являющиеся источником легитимации нации. В них отражаются представления об историческом пути нации, об особенностях ее культуры, о тех преимуществах, которые дает каждому индивиду его связь со своей политико-территориальной общностью.

Мифологемы и идеологемы образуют своеобразный символический универсум нации, призванный не столько зафиксировать факт существования нации, обозначить ее присутствие в современном мире, сколько придать ее бытию некий высший смысл, воплощенный в мифологических образах особого пути развития и раскрывающийся в миссии нации как концентрированном выражении ее ценностных установок. Значение символического универсума для формирования национальной идентичности заключается не только в его особой роли в конструировании образа нации, своеобразного коллективного *Мы*, но и в заложенной в нем способности воссоздавать, актуализировать в психике человека эмоциональное отношение к этому образу, обозначаемое как патриотизм, любовь к родине[3].

Конструирование мифологем — это перманентный процесс, в ходе которого человек удовлетворяет свою потребность в прояснении ситуации, когда у него не хватает знаний для всестороннего и объективного ее описания, когда ему необходимо понять, какие силы несут добро, а какие зло, когда ему важно понять, на кого можно опереться. Задача политики национальной идентичности заключается в том, чтобы предложить гражданам мифологемы, раскрывающие позитивные качества нации, вызывающие чувство гордости за свою страну и свой народ, помогающие увидеть в нации точку опоры.

Эта задача решается путем целенаправленного формирования четырех видов мифологем. *Во-первых*, осуществляется мифологизация исторических событий, рассказывающих о важных вехах в развитии нации, о ее успехах, способности консолидироваться перед лицом угроз и преодолевать невзгоды.

В истории любого народа есть события трагические, а есть героические, способные вызывать как чувство стыда, так и чувство гордости за свою страну. Задача политики национальной идентичности — акцентировать внимание на событиях, способных вызывать чувство гордости за свою нацию, народ, который смог в сложных условиях проявить свои лучшие качества, добиться успеха, выстоять в борьбе с врагами, укрепить свои позиции. Мифологизация таких событий означает не подмену реальных фактов вымышленными, а такую расстановку акцентов,

---

[1] *Лосев А.Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. С. 44.

[2] *Юнг К.Г.* Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. С. 12.

[3] *Пушкарева Г.В.* Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной идентичности // Полис. Политические исследования. 2017. № 5. С. 163.

которая позволит высветить те грани событий, которые однозначно будут восприниматься как заслуживающие признания. Это направление можно рассматривать как составную часть политики памяти[1], направленной на формирование в массовом сознании определенных образов прошлого.

*Во-вторых*, должны поддерживаться и получать новое звучание мифы-легенды, отраженные в сказках и сказаниях, балладах, фольклоре. В таких повествованиях, предназначенных прежде всего детям, всегда есть место для рассказов о силе духа народа, о его смекалке, смелости в борьбе с врагами. Мифы-легенды, являясь вымыслом, не только формируют представления о качествах и свойствах нации, но побуждают сопереживать героям таких повествований, закладывая тем самым свои кирпичики в основание национальной идентичности.

*В-третьих*, используются и конструируются героические мифы в виде представлений об особой роли либо вымышленных персонажей, пришедших из мифов-легенд, либо реальных политических фигур, обретших харизму и ставших на определенном историческом этапе объектом народного поклонения. Героические фигуры в историческом прошлом и настоящем выполняют роль своеобразных аттракторов, формирующих поле эмоционального притяжения людей, сопереживающих своим героям.

Важнейшей функцией перечисленных мифологем является создание позитивного эмоционального фона восприятия нации как коллективного *Мы*. Человек может забыть содержание конкретных мифов, но его память способна хранить следы эмоциональных состояний, возникших у него при знакомстве с национальными героями, национальными победами и достижениями, обеспечивая формирование устойчивого позитивного эмоционального подкрепления национальных символических форм, веры в призвание своей нации, ее особое назначение. Возникающая позитивная эмоциональная связь индивида с нацией, в свою очередь, влияет на его восприятие окружающего мира, повышает его личностную самооценку, вместе с нацией он ощущает себя сильнее, значимее, влиятельнее.

*В-четвертых*, в политике национальной идентичности существуют мифы-угрозы, мифы о врагах, несущих беды стране, народу. Такие конструкции способны создавать настолько мощные эмоциональные скрепы, что некоторые авторы склоняются к мысли об их основополагающей роли в формировании национальной идентичности. Изучая американское общество, С. Хантингтон писал: «до тех пор, пока американцы считают, что их стране угрожает опасность, национальная идентичность остается весьма высокой. Если же чувство опасности притупляется, прочие идентичности вновь берут верх над идентичностью национальной»[2]. Однако, признавая важную роль мифов-угроз в формировании национальной идентичности, тем не менее хотелось бы отметить, что связь индивида с нацией не может быть прочной, если она подпитывается только страхами и опасениями. Образ нации должен обладать притягательными чертами, вызывать позитивные чувства, только в этом случае гражданин будет искать защиту от опасностей в объединении со своей страной.

Еще одним вектором политики национальной идентичности является конструирование идеологем. Если мифологемы расставляют акценты в историче-

---

[1] Методологические вопросы изучения политики памяти: Сб. науч. трудов / Отв. ред. А. И. Миллер, Д.В. Ефременко. М.; СПб.: Нестор-История, 2018.

[2] *Хантингтон С.* Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. С. 16–17.

ской памяти нации, то идеологемы предлагают ценностные ориентиры, зовут в будущее, помогают найти ответы на вопросы, на каких политических принципах должна основываться жизнь нации, во имя каких целей следует осуществлять мобилизацию национальных ресурсов, решению каких задач необходимо отдавать приоритет, вокруг каких ценностей предпочтительно объединять усилия. Общие ценности сплачивают людей, поэтому достижение ценностного консенсуса, выработка так называемой национальной идеи является ядром политики национальной идентичности.

Основным актором политики национальной идентичности является государство. Оно обладает возможностями поддерживать тех мыслителей, которые вносят лепту в конструирование общенациональных мифологем и идеологем, оно способно создавать условия, обеспечивающие такую направленность процессов политической социализации, которая задает необходимый вектор формирования национального самосознания, оно обладает ресурсами, позволяющими контролировать процессы коммуникации и сдерживать разрушающее воздействие мифов, подрывающее единство нации. Как отмечают Р. Брубейкер и Ф. Купер, «государство является важным "идентификатором" не потому, что создает "идентичности" в "сильном" значении — в общем, оно этого делать не может, — но потому, что у него имеются материальные и символические ресурсы, чтобы навязать категории и классификационные схемы»[1].

Проблематичность реализации данной роли состоит в том, что политика национальной идентичности реализуется конкретными людьми, получившими в определенное время и в силу сложившихся обстоятельств властные полномочия и право принимать государственные решения. Государство неизбежно становится проводником политики правящих кругов, использующих потенциал государственной машины для внедрения в массовое сознание мифологем и идеологем, легитимирующих такой образ нации, который отвечает их ценностным приоритетам и видению будущего страны. В этой связи государственную политику идентичности предлагается определять «как определенный набор чаще всего закрепленных в юридических актах, но имеющих символическое и идеологическое наполнение политических проектов, практик и инструментов формирования и развития заданной системы политических взглядов, идеологических и политических ценностных ориентиров основной массы населения, направленных на создание строго регламентированных образов «мы — граждане» и «мое государство»[2].

Проводимая государством политика национальной идентичности не может не вызывать критическую реакцию сил, обладающих иным представлением о ценностных ориентирах национального развития. Ключевой вопрос, вокруг каких ценностей должна консолидироваться нация, становится предметом острой полемики, в которую вовлекаются представители различных идеологических течений. В итоге пространство формирования политики национальной идентичности наполняется противоречивым дискурсом по вопросам политического будущего нации и оценки ее исторического прошлого, а также взаимными обвинениями,

---

[1] *Брубейкер Р., Купер Ф.* Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма / Под ред. И. Герасимова, М. Могильнер, А. Семенова. М.: Новое издательство, 2010. С. 152.

[2] *Попова О.В.* О нерешенных проблемах теории государственной политики идентичности в российской политологии // Политическая наука. 2020. № 4. С. 93.

с одной стороны, в ренегатстве, отступничестве, предательстве интересов, а с другой — в косности, тоталитарности мышления, неспособности встраиваться в мировые тренды и т.п. Острота ценностного дискурса связана с тем, что тот неизбежно разворачивается вокруг политических основ нации, сложившейся системы государственной власти, в отношении которой всегда присутствуют полярные оценки, проецируемые на политику национальной идентичности. Оппоненты власти в попытках создания ею национальной идеи, в проводимой политике памяти видят не столько стремление к упрочению национального единства, сколько желание укрепить правящий режим, «сохранить контроль над поведением большинства участников политического процесса и представлениями граждан о том, что их объединяет»[1]. В итоге происходит сегментация пространства политики национальной идентичности, возникают так называемые девиантные версии национального символического универсума, ориентирующие граждан на противоречащие официальному курсу ценностные принципы.

Политика национальной идентичности в этом случае может описываться как «борьба за идентичность»[2], когда разные политические силы предлагают свои идеологемы и мифологемы, призванные сплотить граждан и обеспечить национальное единство. Такая борьба способствует обновлению национального символического универсума, его адаптации к новым историческим условиям, но в случае резкого обострения может спровоцировать и дезинтеграционные процессы. Граждане, оказавшиеся под влиянием противоречивых информационных потоков, начинают утрачивать веру в недавно объединявшие их национальные символы, а с разрушением веры происходит ослабление позитивной эмоциональной связи индивида со своей нацией. В таких условиях может формироваться негативная политическая идентичность, когда знание о формальной принадлежности к нации окрашивается в негативные эмоциональные тона, когда появляется чувство стыда за свою страну, когда индивид начинает тяготиться своим гражданством.

Негативная идентичность разъедает нацию изнутри, она генерирует психологическую энергию, поглощающую чувства, рождающие сопереживание отдельного индивида судьбе своей общности. Отдельные носители негативной идентичности способны переходить от молчаливого переживания негативных эмоций к выражению своих чувств и выплескивать в информационное пространство уничижительные интерпретации национальных символов, сеять сомнения в успехах страны, глумиться над ее достижениями, злорадствовать по поводу неудач и искать факты, подкрепляющие их отрицательные оценки. Политика национальной идентичности должна включать механизмы сдерживания пагубного для нации развития ее негативной формы.

Значение политики национальной идентичности состоит в том, что сформированное в системе личности чувство тождественности со своей страной способно оказывать сильное воздействие на ее мировосприятие, на ее отношение к представителям своей и чужих политико-территориальных общностей, на мотивацию поведения в ситуациях, оцениваемых как несущие угрозы нации. Люди с сильной идентичностью болезненно воспринимают любые нападки на свою национальную

---

[1] *Телин К., Филимонов* К. Пробелы идентичности: как и почему нация ускользает от государства // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 1. С. 36.

[2] *Фадеева Л.А.* Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность. М.: Новый хронограф, 2012.

общность, сопереживают ее лидерам, демонстрируют последовательность в отстаивании позиций страны на международной арене и готовность защищать ее интересы. В свою очередь, нация-государство как социальный организм существует только потому, что в каждый конкретный исторический момент есть люди, ощущающие себя частичкой этого организма, чувствующие его проблемы, готовые поддержать его в трудную минуту. Возникающая психологическая связь является своеобразной энергетической системой, питающей нацию как государственно-территориальную общность. Усиление этой связи ведет к росту пассионарности нации, напротив, ослабление может спровоцировать разрушительные для нации процессы, ее распад на отдельные сегменты.

*Г.В. Пушкарева*

**Литература**


1. *Дробижева Л.М.* Динамика гражданской идентичности и ее ресурс в позитивных интеграционных процессах российского общества // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 4. С. 7–22.
2. *Малинова О.Ю.* Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. 2010. № 2. С. 90–105.
3. *Попова О.В.* О нерешенных проблемах теории государственной политики идентичности в российской политологии // Политическая наука. 2020. № 4. С. 86–110.
4. *Пушкарева Г.В.* Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной идентичности // Полис. Политические исследования. 2017. № 5. С. 156–173.
5. *Семененко И.С.* Дилеммы национальной идентичности: политические риски и социальные приобретения // Полис. Политические исследования. 2009. № 6. С. 8–23.
6. *Семененко И.С.* Политика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности: В 2 т. Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XX веке / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: РОССПЭН, 2011. С. 162–168.
7. *Телин К., Филимонов К.* Пробелы идентичности: как и почему нация ускользает от государства // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 1. С. 35–73.
8. *Тишков В.А.* Стройка наций. Российская полиэтничность в мировом контексте // Россия в глобальной политике. 2013. № 5. С. 160–174.
9. *Фадеева Л.А.* Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность. М.: Новый хронограф, 2012.
10. *Хантингтон С.* Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. М.: Изд-во АСТ: ООО «Транзиткнига», 2004.
11. *Цумарова Е.Ю.* Политика идентичности: politics или policy? // Вестник Пермского ун-та. Серия: Политология. 2012. № 2.С. 5–16.
12. *Fukuyama F.* Why National Identity Matters // Journal of Democracy. 2018.Vol. 29. No. 4. P. 5–15.
13. *Kenny M.* Politics of identity: Liberal political theory and the dilemmas of difference. Cambridge: Polity Press, 2004.
14. *Mader M., Scotto T.J., Reifler J., Gries P.H., Isernia P., Schoen H.* How political are national identities? A comparison of the United States, the United Kingdom, and Germany in the 2010s // Research & Politics. 2018. No. 5(3). URL: https://doi.org/10.1177/2053168018801469.
15. *Mansbach R., Rhodes E.* The National State and Identity Politics: State Institutionalisation and "Markers" of National Identity // Geopolitics. 2007. No. 12 (3). P. 426–458.

# Политизация религии и атеизм в политике

Неопределенность социально-политических конструкций современности, непрогнозируемость изменений и параметров будущего позволяет с уверенностью сказать только, что «определенность погрузилась в неопределенность». Для всего остального самым подходящим термином будет растерянность: познавательная, аксиологическая, политическая. Порождаемая растерянностью глобальная тревожность имплицирует тревогу политики за настоящее и будущее, а крушение «знакомых» картин перерастает в телеологию. Потеря познавательной императивности, предписывавшей нормативные или желательные политические онтологию и акцеденции в виде образцов, заставили обратиться к поиску соотношения между Верой и Разумом. Является ли современный статус выбором Фомы Аквинского «Вера или Разум» либо качественно новым принципом современности «и Вера, и Разум»? Последний предполагает симультанное существование множества взаимоисключающих возможностей и реальностей, не поддающихся определению в параметрах дихотомий, дизъюнкций и единственной истинности. Фундаментальный кризис классической политической эпистемы Запада, основанной на дихотомиях: субъект–объект, цивилизованность — варварство, сознательное — бессознательное или светское–религиозное, проявляется как в когнитивных поисках, так и в реальности. «Сомневающаяся современность» (С. Моглен) переосмысливает формы социальности, политики, человечности и предполагает поиск пути: либо возможного, либо правильного, либо сразу нескольких. Однако говорить о реальной внятной альтернативе, сопоставимой хотя бы с проектом Модерна, очень преждевременно и самонадеянно.

Обращение к религии как варианту онтологического и аксиологического структурирования политики более чем понятно, но не более ясно: нелинейное и не сводимое к единому пониманию присутствие религии приводит к тому, что «на арене современного мира различные грани “религии” конкурируют друг с другом за свое место в этой новой структуре» (Ш. Эйзенштадт). Конкуренция различных проявлений религии в современном мире порождает и конкурирующие дискурсивные практики и оценки всему многообразию форм присутствия, дескрипции и констатации современных трансформаций и переформатирование привычных координат взаимоотношений религии и политики, религии и общества. Это порождает исследовательский вопрос: как возможно сведение столь разнородного проявление религиозных интенций в современном политическом и социальном пространстве к понятной каузальной схеме, как возможны четкие ориентиры для академических интерпретаций и политической прагматики?

Отчетливо прослеживающийся тренд политизации ценностно-символических структур коррелирует с инкорпорацией в концептуальный и идейный арсенал политических теорий и инструментальных практик внеположенных им понятий и их референтов: идентичность, религия, традиция, цивилизация. Две сферы — религия и политика рассматриваются даже как смыслообразующие в современном мире, они проникают в социальную ткань и структурируют поведение, образ мысли и способы рефлексии[1]. Приобретающие новое референтное звучание в полити-

[1] *Norris P., Inglehart R.* Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

ко-эпистемологической проекции понятия религии и религиозного фактора определяют выбор критерия истинности как вектора политического, экономического и социокультурного развития общества: истинно то, во что люди верят.

Несомненно, тренд политизации применим сегодня к любой сфере жизни человека или общества, однако именно религия, долгое время интерпретировавшаяся исключительно в методологических координатах секулярной парадигмы, вообще была из нее исключена. При этом политическая теология настаивала на том, что многие понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия. Политикой становится все, что раньше в эту сферу не попадало. Соответственно имманентно присущий политике потенциал конфликтности распространяется на всю структуру человеческой социальности и аксиологии.

Политизация и акцентация социокультурной онтологии современных политических конструкций привели к выполнению отмеченными понятиями роли семантического узла в условиях изменения референциальных значений традиционных философско-политических универсалий в качестве несущих конструкций политического бытия, рефлексивных схем и идеологических интенций. С одной стороны, это указывает на исчерпание монополии на описание реальности западным глобальным проектом, с другой — на запрос на новые, ценностно понятные, формы политической картины мира и политической реальности, формирующие новые властные конструкции и политический нарратив. Религия становится одним из семантических узлов новой политической картины мира.

Широкая палитра прецедентов и «образов» отражает многомерность и разноформатность присутствия религиозных акцентов в публичном пространстве — от персональных проекций Веры до целенаправленной политической деятельности глобального масштаба. Восприятие в индивидуальном и массовом сознании религии и религиозных организаций вариативно и несводимо к понятной иерархии или классификации: для одних это Вера и общение с Богом, для других главный акцент — это политическая и социальная активность религиозных институтов, для третьих — квинтэссенция морали, для очень многих — критерий культурно-цивилизационной идентичности или поиск цели и образа будущего.

Как полагал Ю. Хабермас, «Кроме всего прочего, существуют три взаимопересекающиеся феномена, создающие впечатление повсеместного “возрождения религии”: миссионерская экспансия (a), фундаменталистская радикализация (b) и политическая инструментализация, присущая религиям потенциала насилия (c)»[1]. Более того, многовалентность проявления религиозного фактора признается во внешней политике как способная перестроить всю систему международных отношений современности, ибо религиозные убеждения выступают как средство примирения, а следование религиозным догматам ведет к общественной справедливости, однако религиозная вовлеченность в сферу международных отношений ведет к конкуренции и конфликтам. При этом само религиозное мировоззрение, казалось бы, ключевой познавательный компонент, формирующий социальную ткань и социальную эпистемологию, отодвигается на периферию «созвездия» (констелляций — по выражению Ш. Эйзенштадта) религиозных смыслов в публичных, прежде всего политических сферах. Все су-

[1] *Хабермас Ю.* Против «воинствующего атеизма». «Постсекулярное» общество — что это такое? 23.07.08. URL: http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma (дата обращения: 24.04.2024).

ществующие проявления религии, по заявлению Ш. Эйзенштадта[1], не только существуют одномоментно и синхронно, но и конкурируют друг с другом за свое место в новой структуре мира и, соответственно, рефлексии. Данное многообразие форм присутствия религии не позволяет предложить даже консенсусную логику объяснения всей совокупности появлений религиозного фактора, поэтому основным методом выступает набор референтной базы, описание событийного ряда с целью попыток выявления закономерностей и предложения возможных вариантов развития.

Подобная несводимость к единой причинности или хотя бы классификации заставляет скорее объединять в определенный конгломерат — теоретический и практический — наиболее значимые для теоретического поиска и политической прагматики смыслы, институты и практики, возникающие на пересечении религии, общества и политики. Еще одной эпистемологической тенденцией в политической сфере выступает существование религиозных интенций и их интерпретаций не столько в теории, сколько в дискурсе, из-за чего происходит смешение концептуализации и мнения, а также фреймирование как формирование определенных познавательных и оценочных значений.

Наглядным примером выступает фреймирование в восприятии экстремизма как обязательно исламского, предполагающее наличие устойчивых негативных коннотаций предиката «исламский» — «исламский терроризм», «исламская литература». Террористы-исламисты и экстремисты в информационном пространстве постправды рассматриваются в параметрах социально-политического конфликта, совпадающим с межрелигиозным, что доказывает отсутствие разграничения в дискурсе понятий: веры и политической идеологии, ислама и исламизма, исламского джихада и исламистского джихадизма. Одновременно, политизация религии имплицирует перенос единства в вере на политическое единство, что позволяет сформулировать утопический образ будущего — глобальное исламское государство во главе с единым Повелителем — Халифом. В этом контексте телеологической инстанцией выступает создание клерикального государства в форме всемирной империи — «халифата», а онтологическим и дискурсивным источником — параллельное политическое пространство, альтернативное существующим государствам. Таким образом, политическим идеалом предстает политическая организация времен Пророка Мухаммеда и четырех Праведных Халифов, а утопическим идеалом — «рай». Однако «рай» в кораническом понимании и «рай» в современных политико-религиозных дискурсах — это разные метафизические и ценностные реальности, что, однако, не замечают идеологи, не собирающиеся заниматься «исправлением имен».

Доминировавшая линейная парадигма секуляризации, настаивавшая (при интерпретации соотношения религии, общества и политики) на том, что «религиозное мышление, практика и религиозные институты утрачивают свое значение»[2] — и вследствие этого вытесняются на периферию публичной сферы вплоть до обретения статуса личного дела каждого конкретного человека (как это происходило в случае европейской локальной истории) — перестает удовлетворять эпистемологическим запросам современности. Более того, «сама по себе совре-

[1] *Eisenstadt S.* The new religious constellations in the frameworks of contemporary globalization and civilizational transformation // Brill Academic Publishers. 2012. No. 1 (30).

[2] *Wilson B.* Religion in secular society: a sociological comment. L.: Watts, 1966. P. 14.

менность (*modernity*) не порождает секуляризацию».[1] Исчезновение религии может и было целью западноевропейского пути развития, «специфический рационализм которого признавался некогда моделью для всего остального мира»,[2] но тем не менее так и не стало реальностью: «большая часть мира сегодня не является светской. Она очень даже религиозна»[3]. При этом для современности характерно не отсутствие Бога, а присутствие множества богов. Однако в этой общей картине яростно религиозного мира имеется два исключения: географическое, демонстрирующее особенности Западной Европы, и культурное, отражающее расширение просвещенческой европейской интеллигенции до мирового масштаба в лице международной культурной элиты[4].

Признание потери теорией секуляризации абсолютной или конвенциональной истинности стало первым шагом в возникновении современной дискуссии об общезначимости политико-правового принципа светскости и, как следствие, — переопределение институциональных статус-кво в политико-правовом поле внутренней и внешней политики современных государств. Заложенный в политический метанарратив современности принцип светскости, который не только структурирует модели государственно-конфессиональных отношений, но и выстраивает логику и структуру взаимоотношений между религиозными институтами, обществом и государством, сегодня подвергается существенной реинтерпретации вплоть до деконструкции.

Так, Конституция Европейского Союза не имеет никаких упоминаний о христианских корнях Европы, поскольку европейский проект основан на светской в своем основании концепции прав человека. Однако повышение значимости религиозного фактора как политического, а также секьюритизирующая логика в качестве атрибута современного общества и его дискурсивных практик, подталкивают религиозные основания к инкорпорации в политическую метафизику и реальные государственные стратегии. Точкой отсчета можно считать 2011 год, когда драма в Коптской церкви 1 января 2011 г. в Египте вызвала изменения в политических императивах Евросоюза, ранее избегавшего публичного включения религиозной проблематики в свои смыслополагающие акты, но-таки принявшего резолюцию «О положении христиан в свете защиты свободы религии»[5]. Сегодня проблематика защиты христиан в мире становится четко артикулированной политической повесткой во внешней и внутренней политике многих государств. Защита христиан в разных регионах мира, а также отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей в международном пространстве является ключевым пунктом взаимодействия государства и Русской Православной Церкви в России в контексте формирования внешней политики и решения глобальных проблем.

---

[1] *Бергер П.* Фальсифицированная секуляризация // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2012. № 2 (30). С. 9.

[2] *Хабермас Ю.* Против «воинствующего атеизма». «Постсекулярное» общество — что это такое? 23.07.08. URL: http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma.

[3] *Berger P.L.* Epistemological modesty: an interview with Peter Berger // The Christian Century. 1997. October 29. P. 974.

[4] *Бергер П.* Указ соч. С. 10.

[5] Заявление председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата в связи с принятием Европейским Парламентом резолюции «О положении христиан в свете защиты свободы религии» 24.01.2011 // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1392480.html (дата обращения: 24.04.2024).

Это также является одним из направлений деятельности Рабочей группы по взаимодействию Русской Православной Церкви и Министерства иностранных дел России под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова.[1] Что еще раз показывает современную равноположенность религиозных и государственных институтов, оказавшуюся весьма далекой от политических конфигураций этих структур, предлагаемых секулярной парадигмой.

Эта же тенденция развернулась в политике и дискурсе о сохранении христианской сущности Европы и, прежде всего, отразилась на логике секьюритизации ислама: «....алармистская картина образа иммигранта, исповедующего ислам и "захватившего" Францию, формирует угрожающий и враждебный образ ислама, якобы чуждого стране и виновного в назревающей гражданской войне, что маркирует дефицит безопасности — социальной, политической, культурной, ценностной»[2]. Более того, конкурент Э. Макрона на последних президентских выборах во Франции 2022 г. Э. Земмур, автор книги «Самоубийство Франции», смог мобилизовать значительную часть электората Франции (очень разнообразного спектра — от ультра-правых до католиков) на фоне антиисламской повестки алармистской окрашенности, констатируя что французы — народ, «маргинальный в собственной стране», а «прогрессистская» политическая элита, не улавливая опасности для европейских стран быстро растущего влияния ислама и больших миграционных потоков, ведет страну к «дезинтеграции», «декультуризации» и потере «национальной памяти»[3]. Убийство во Франции в 2020 г. 47-летнего школьного учителя С. Пати за демонстрацию карикатур на Пророка Мухаммеда стало поводом к шокирующему ужесточению государственной политики, перечеркивающему европейские ценностно-политические принципы. В частности, было заявлено, что стратегической целью является создание европейской формы ислама, а тактической — введение аккредитационного контроля за деятельностью исламских лидеров и содержанием проповедей посредством созданной Национальной ассоциации имамов. Тем самым последним предписывалось обязательное подписание Хартии республиканских ценностей, включающей запрет на домашнее обучение, признание французских законов выше шариата, запрет на получение финансирования из третьих стран и проч. Примером из современной публичной политики может служить успешная электоральная тактика М. Сальвини, лидера правой итальянской «Лиги», которая инкорпорировала в тактику формирования повестки различные религиозные символы и темы, исключающие нападки на Церковь и противопоставление христианской идентичности исламу, а также утверждающие защиту религиозных чувств людей[4].

Провозглашенный П. Бергером тезис о «десекуляризации мира» произвел эффект разорвавшейся бомбы: «если ранее мы говорили о процессе секуляризации

---

[1] Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в разных регионах мира // Российская газета. 26.01.2024. URL: https://rg.ru/2024/01/26/patriarh-kirill-i-sergej-lavrov-obsudili-zashchitu-hristian-v-raznyh-regionah-mira.html (дата обращения: 24.04.2024).

[2] *Сарайкин Я.И.* Дискурс секьюритизации миграции во Франции: от республиканской интеграции к алармизму // Современная Европа. 2021. № 7 (107). С. 141.

[3] *Eric Zemmour*: "L'immigrationesttrèsdangereuse pour les pays occidentaux". Face à l'info. 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XY-5kl0dxBE (дата обращения: 24.04.2024).

[4] *Marchetti R., Righetti N., Pagiotti S., Stanziano A.* Right-Wing Populism and Political Instrumentalization of Religion // Journal of Religion in Europe. 2022. No. 16 (2). P. 144.

и утрате иллюзий социума как тенденции долговременной и неизбежной, то сейчас ей на смену приходит тенденция десекуляризации, основанная, в частности, на переоценке социальной значимости религии»[1]. «Десекуляризация» подразумевает возрождение религии и ее социетального влияния как ответ на секуляризацию, т.е. на уровне общества это процесс, обратный секуляризации, в политическом плане — отказ от светскости как структурообразующего политико-правового принципа, не исключающего сращивание институтов государства с институтами церкви.

Является ли десекуляризация синонимом клерикализации? Это один из центральных вопросов, имеющих множество аргументов за и против: если клерикализация — это борьба церкви за усиление своих позиций в обществе, в том числе и с государством, то это предполагает самостоятельную субъектность церкви (религиозного института). «Однако применительно к постсоветской России ...пространство маневра церкви полностью определено рамками, заданными государством»[2]. В метафизической проекции рассматривая десекуляризацию как возвращение религии в общество, прошедшее секуляризацию, можно обратиться к переосмыслению классической политической теологии: «...проект Шмитта можно было бы озаглавить как “Рождение политического — государственно-правового — из духа теологии”», что в свою очередь позволяет трактовать современные тенденции как «рождение религии из духа политического»[3].

Отмеченная потеря секулярным проектом монополии на описание реальности, возвращение религии в публичное пространство, ее политизация способствовали укреплению религиозных институтов, повышению и диверсификации их активности как субъектов политического целеполагания. Исчерпание эффективности традиционных институциональных и властных границ привело к переопределению статус-кво светских и религиозных акторов, что обусловило экспансию религиозного в общественную и политическую сферу, а также их включение в политическую и идеологическую конкуренцию на равных правах с другими субъектами политического целеполагания. При этом речь идет не только о выходе религиозных организаций из «церковной ограды», но и о вторжении политики в «церковную ограду». Отсутствие эпистемологического консенсуса или хотя бы общего теоретического знаменателя, связанного в том числе с отсутствием универсальной объяснительной схемы после потери секулярной парадигмой монополии на описание реальности, заставляет обращаться прежде всего к набору референтной базы, т.е. фиксировать событийный ряд, дискурсивные особенности и изменение практик. В возникающих новых референтах уже улавливается логика возможных трансформаций, расщепление возможностей будущего, а также потребность в новом инструментарии. Иначе говоря, высветившаяся внутри церковная гетерогенность, затронувшая также и ее сторонников, ставит под сомнение традиционную социологию религии, настойчиво предлагая обратить внимание на приобретающие актуальность подходы из других областей гуманитарного знания.

Проблема политизации религии может быть рассмотрена в различных контекстах. Например, в виде конфликта, в котором религия оказывается конфликтогенным фактором; или в виде политизации религии в дискурсивных практиках

---

[1] *Berger P.* Le réenchantement du monde. Paris: Fayard, 2001. — 190 p.

[2] *Малахов В.С., Летняков Д.Э.* Мерцающий секуляризм: религия в российском публичном пространстве // Полис. Политические исследования. 2020. № 1. С. 137.

[3] *Ассман Я.* Политическая теология между Египтом и Израилем. М.: Изд-во Владимир Даль, 2022. С. 68.

политических лидеров; или в виде взаимодействия религиозных и политических институтов (взаимодействие которых подразумевает формирование таких институциональных практик, в которых конституируется связь между религией и государством). Если пересечение религиозного и политического полей усиливается, конфликтность, присущая политической сфере, может начать наполняться религиозным содержанием.

С другой стороны, политическое становится политическим за счет приписывания ему религиозных значений, причем, прежде всего, в информационно-коммуникативной среде. Именно оттуда могут исходить импульсы, моментально переходящие в сферу публичного, и раскалывать общество, что как раз и станет наглядным проявлением политизации религии. Политизация религии предполагает активные целенаправленные стратегии различных заинтересованных групп, каждая из которых исходит из собственных интересов. Институционное взаимодействие между государством и религиозными организациями строилось в РФ в рамках сепарационной конституционной модели, обозначившей позитивную сущность и деятельность традиционных институционализированных конфессий. В рамках тренда политизации начинается изменение институционального баланса в русле налаживания социального партнерства с доминирующим религиозным институтом (особенно в условиях тренда национализации религиозных институтов), что породило политические шаги иного рода по отношению к другим религиозным организациям, спровоцировав диверсифицированную политическую конфликтность.

Религия и религиозные институты вновь попали в центр пристального внимания гуманитарного знания и общественных дискуссий. Религиозные организации сегодня выступают все явственнее как субъекты политического целеполагания. Они частично участвуют в формировании политических целей посредством создания идеологических установок (этнический и гражданский патриотизм, лояльность, недопустимость насильственной смены власти и Конституции, формулирование образов будущего и ценностно-политических проектов), принятия политических решений, реализации поставленных политических целей. Активность религиозных организаций в общественно-политической сфере имеет как амортизирующий эффект, так и несет риски дестабилизации политической системы, что отражается в исследованиях общественного мнения. В России, несмотря на активное возвращение религии в публичную сферу, присутствие религиозных смыслов, контекстов и лидеров в общественно значимых сферах, данные мониторинга ИС ФНИСЦ РАН фиксируют, что российское массовое сознание остается в большей мере секулярным, а религиозный проект не представляется доминирующим при оценке будущего. Более того, если различные аспекты политизации религии вызывают сугубо отрицательную реакцию россиян вплоть до полного нежелания видеть религию и религиозные институты в политической сфере, то историко-культурные, морально-нравственные смыслы так же, как и контексты милосердия и благотворительности, поддержки семей и детей, сохранения культурного населения, патриотическая деятельность, воспринимаются массовым сознанием как глубоко позитивные[1].

[1] Информационно-аналитическое резюме по итогам общероссийского социологического исследования «Российское общество осенью 2018-го: тревоги и надежды» // Официальный портал Института социологии ФНИСЦ РАН. URL: https://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_osen_2018 (дата обращения: 24.04.2024).

По мере распространения деятельности религиозных организаций и расширения сферы их активности — от отправления религиозного культа и социального служения (позитивно оцениваемых подавляющим большинством) и до участия в формировании политических смыслов в публичной сфере — вызывает напряжение как в общественном дискурсе, так и в оценках «лидеров мнений».

Фиксируемое разнообразие субъектов, порождающих религиозно окрашенные нарративы, приводит к ситуации, когда религиозная тематика, религиозные идеологии, а также религиозные институты и религиозные лидеры превращаются в параметры дискурсивной конкуренции, маркирующие логику изменения доминирующих парадигм и политико-правовых конструкций. Одним из политических сюжетов современности становится поиск новой телеологии, формируемой в русле трех логик: утопической, алармистской и политически целесообразной. Однако универсальных, всеобъемлющих политических проектов предлагается только два — «Братство или вражда» Папы Франциска и проект Халифата, формулируемый политическим исламом. Причем заложенные в них смыслы пронизывают все социальные конструкции, получая артикуляцию в религиозно окрашенных проектах, использующих всеобщность смыслового пространства религии в целом. Можно предположить, что именно религиозные смыслы кластеризуют возможные варианты будущего: либо центрирование вокруг высших смыслов — Добра, Истины, Блага, Величия Человека, либо — вокруг эсхатологических и апокалиптических предвосхищений, включая будущее в духе К. Шваба. В этом когнитивном коридоре выстраивается и концептуальная логика интерпретации политики, пересекающаяся с христианским пониманием онтологии истории: «без глобальной угрозы нет глобальной солидарности» и «нам нужна катастрофа», чтобы переосмыслить «грехи мира» и создать новый мир.

Соответственно, встает вопрос и о границах проникновения религиозных смыслов и религиозных организаций в политическое пространство. Точкой пересечения дискуссий выступают оформляющаяся диверсификация подходов к пониманию принципа светскости и ослабление его непоколебимости в качестве политико-правового принципа, институция свободы совести и размывание казавшихся непреодолимыми институциональных и мировоззренческих границ.

Вызов пандемии 2020 г. породил дальнейшее взаимопроникновение религиозной и политической сфер, привел к отсутствию конвенциональных смыслов, фиксирующих институциональную и нормативную трансформацию частной и публичной жизни. Легальная отмена ограничений и запретов сакральных традиций или непосредственное вторжение политики в ранее закрытую и охраняемую сферу «церковной ограды» создала внутренние вызовы легитимности религиозных институтов, показав проницаемость для политического воздействия границ собственно религиозной сферы. В России это особенно ярко проявилось в острой и эмоционально окрашенной дискуссии о способах принятия Святых Даров (что вылилось в широкомасштабную дискуссию «философии лжицы»). Более того, столкновение между традицией и современностью в условиях пандемии поставило вопрос и об изменении легитимации религии и религиозных институтов. В этом плане в российском общественном дискурсе наиболее ожесточенные дискуссии велись вокруг непреложности коллективных обрядовых практик, как подтверждающих абсолютную истинность и становящихся самодостаточными. Это привело к появлению разнообразных ответов, сложивших-

ся в рамках весьма широкого спектра: от жесткого фундаменталистского ответа в виде церковного ковид-диссидентства, специфической фронды извергнутого из сана и осужденного впоследствии Сергия Романова — до изменения алгоритмов деятельности церковной иерархии, вылившихся в политическую сферу. Суждения о «конце симфонии» четко акцентировали до этого публично не акцентируемые вопросы переопределения государственно-церковных отношений, свойства субъектности формирующих данный институциональный дизайн участников, императивы политической метафизики, а также границы и формы присутствия религиозных смыслов.

Это стало колоссальным вызовом уже не столько традиционным интерпретативным секулярным схемам, сколько традиционной социологии религии. Обозначившейся тенденцией выступило возникновение нового, политически и социально неоднозначного соотношения универсальности и множественности «малых форм» и групп, несущего в себе риски дестабилизации и пересмотра внутреннего единства. Так, слова, сказанные фарисеями про Христа: «Не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы» (Ин 9:16), стали реальным смыслом дробления рассматривавшейся в качестве гомогенной среды верующих со своим особым пониманием истины. Высветившаяся внутренняя неоднородность групп верующих и последователей конфессий поставила и познавательные вопросы, поскольку различия между группами не позволяли, как раньше, выносить генерализующие суждения. Особо следует отметить и поляризацию отношений религиозных институтов и верующих, сказавшуюся на вовлеченности, диффузии, разделении (в зависимости от характера лидера), отторжении и падении доверия. Произошедшее жесткое вторжение политической сферы в области религии породило феномены «ковид-диссидентства», «ковид-солидарности» и «ограничения свобод», ставших ключевыми аттракторами дискурсов, активировавших и еще одну тенденцию, а именно, обращение людей к иным формам религиозности — внеконфессиональным, архаичным (например, в виде всплеска интереса к амулетам и проч.), синкретическим, шаманизму.

Можно ставить вопрос об актуализации различных тенденций, приводящих к возможностям диверсификации баланса между религией, обществом и политикой, верой и институтами, аксиологией и прагматикой современности. Разнонаправленность новых и возможных конфигураций между религией, политикой и обществом предлагает различные варианты неактуализировавшегося развития. При этом высвечивается их политическая окрашенность: от тенденции политизации религии (как ключевой на современном этапе) к постепенному дрейфу исследований в сторону параметров национальной безопасности, от проекции идентичности в политике к секьюритизации. Смещение познавательных акцентов в сторону рисков и угроз устоявшимся ценностным и политико-институциональным структурам приводит к тому, что призма национальной безопасности становится одной из наиболее востребованных оптик, объясняющих присутствие религии в современном пространстве политики.

При этом можно выделить две тенденции инструментального характера, связанного с религиозными смыслами в поле политики. Это: 1) усиливающаяся радикализация и 2) национализация религиозных институтов. Первый тренд акцентирует параметры национальной безопасности в различных проекциях и актуализацию конфликтности и «войны» как способов взаимодействия между

разнородными политическими субъектами и образованиями, включая ресурсы политической мобилизации[1]. Вторая тенденция представляется уже глубинным трендом, связанным с политической логикой перераспределения ролей и баланса между государственными и религиозными институтами. Тенденция к национализации религиозных институтов, позиционирование Церквей (религиозных институтов) как защитников национальных интересов, государственной и национальной идентичности, ставит вопрос о соотношении уже не столько традиционного и современного, сколько общего и частного, тем самым переопределяя универсализм мировых религий. Политическая целесообразность ставит дилеммы, выбор вариантов которых все чаще делается в сторону частного: государство *vs* умма, государство *vs* Вселенскость Православия, высвечивая таким образом тенденции дискурсивного и политического смещения от общего к частному, от универсальности к идентичности, в результате чего церкви или иные религиозные институты маркируются под партикулярные единицы, защитников национальных интересов и приоритетов «своего» народа. Политическая инструментализация религии (яркий пример тому — разыгрывание религиозно-политической карты православия на Украине, что привело к внутреннему расколу общества, повышению конфликтности и дефициту безопасности государства) вызвала цепную реакцию аналогичных процессов, актуализировав вопрос о полноте православия, а также о более прагматических демаркациях традиционных канонических территорий различных Патриархатов. Показателен и кейс учреждения в Литве Константинопольского экзархата, являющийся прямым свидетельством переопределения незыблемости канонического принципа «двум епископам в одном городе не бывать» в политическое целеполагание.

Однако политизируемые религиозные сюжеты аккумулируют и варианты поисков Высших смыслов, понимание «святого и ценного», собственно человеческого. Эти сюжеты могут принимать партикулярные формы фундаменталистских доктрин, а могут и противостоять «расчеловечеванию», предлагая возможности позитивного проектирования. Например, в виде мира «истинной веры» в отличие от мира религий, несущего перманентный конфликт, или фиксируя в политической плоскости варианты расхождения Веры и Церкви вплоть до выбора неинституциональной религиозности[2] или их противопоставления в понятийном и политическом планах.

Такое масштабное и многосоставное возвращение религии в публичные сферы и, прежде всего, в политическое поле вызвало ощущение ее полного доминирования и вытеснения политических стратегий, основанных на противоположной, атеистической картине мире, в которой все настойчивее укореняются интерпретации различной окрашенности: алармисткая, оптимистическая и прагматическая. Однако можно ли с уверенностью сказать, что противоположные, атеистические картины мира и политические стратегии уже замещены религиозными смыслами или вытесняются из пространства политики? Правильно ли вводить квантор всеобщности для новой логики институционального взаимоотношения религии и политики?

---

[1] Ярко проявляющиеся тенденции радикализма в исламе связаны с политизацией религиозных понятий и соответствующих значений, например таких, как такфир, джихад и мн. др.

[2] Группа внеконфессиональных верующих, т.е. верящих в Высшие силы, но ни к какой конфессии не принадлежащих, по всему миру, включая России, постоянно растет, составляя около 15% от верующего населения.

Атеистический подход, если его не рассматривать как институциализированную политику СССР в прошлом и политику Китая в настоящем[1], стал распространяться после длительного периода религиозных войн в Европе, приведшим к крайним формам развития публичной политики вплоть до Аугсбургского соглашения (с его принципом — чья земля, того и вера), которое предвещало трагичный конец европейской истории, отражавшей бесконечные, раздирающие эту территорию конфликты. Предложенная Г. Гроцием элиминация Бога (религиозных смыслов и оснований) из политического регулирования и внешней политики (закрепленная в принципах Вестфальского мира и включавшая право подданных больше не следовать вере своего правителя), предоставляла правителям право выбора между основными христианскими конфессиями, а христианам, живущим в княжествах (где их деноминация не была официальной церковью), было гарантировано право исповедовать свою веру как в частном порядке, так и свидетельствовать о ней. Это не только способствовало становлению национальных государств как обособленных политических единиц, но и достаточно спокойным столетиям последовавшего развития. Это время позволило развернуться проекту Модерна, сформулировавшему нормативный политический метанарратив, который и сегодня остается, если и не незыблемым, то доминирующим.

Несомненно, этот нарратив связан с принципом политико-правовой светскости, непосредственно повлиявшим на модернизационные стратегии и политические институты и институции, обеспечивающие рациональность и фундаментальность ценностной триады — свободы, равенства и братства. Достижение равенства невозможно без элиминации различий и установления единообразия, поэтому дифференциация по этническим, религиозным критериям признается архаичной и обреченной на отмирание. Идея универсализма отвечала сложившимся запросам в западноевропейском обществе и оказалась способной к переструктурированию всего социокультурного пространства, что, казалось, навсегда вычеркнуло из публичного пространства этно-религиозный компонент.

Однако идея универсализма, вышедшая на мировой уровень под лозунгами глобализации, встретила яростное сопротивление как внутри самого Запада, так и в незападных обществах, вновь выдвинув на первый план религиозные сюжеты как в экзистенциальных, так и идентификационных, как в цивилизационных, так и в политических проекциях. Пафос эпохи Просвещения — «Свобода и равенство каждого» — натолкнулся в современности сначала на проблему Другого, а затем — в ответ на глобалистские стратегии — на проблемы отстаивания своей самобытности, а в конце концов — на «бунт против Запада».

Политико-правовой принцип светскости стал критерием социального и политического прогресса. Порожденная декартовой причинностью и духом Просвещения светскость записана в законодательстве большинства европейских стран, концентрированно выражая модернистскую политическую картину мира. Принято выделять две основные модели светскости — жесткий французский лаицизм

[1] Данная политика зачастую приобретает крайние формы, в частности нормативного закрепления контроля КПК над закономерностями «тулку» — перерождениями тибетского Далай-ламы. Коммунистическая партия Китая в русле и духе проводимой атеистической политики сначала запретила признавать перерождения, потом, осознав некоторую бессмысленность запрета, предложила компромиссный вариант — возможность перерождения только под жестким контролем и согласно решению КПК.

(как вытеснение Разумом церкви и религии из публичного сферы) и более мягкий англо-саксонский секуляризм (как гармонизацию отношений между различными конфессиональными группами). Некоторые исследователи добавляют еще третью модель светскости — атеизм (конкретно — советскую модель светскости), но это не общезначимо. Сегодня в пространстве мировой политики проявляются и французская, и американская модели.

В новых условиях современного мира, с одной стороны, светскость все чаще становится объектом критики, а часто и презрения (крушение ценностных оснований человеческой жизни во многом связывается с потерей Веры в Бога). С другой стороны, она является едва ли не единственным механизмом сдерживания «взрывоопасного потенциала», вытекающего из смешения религиозного с политическим. Конечно, светскость ни в коей мере не тождественна атеизму (атеистичности), однако в критике, да и в общественном сознании, они неявно сливаются и подразумевают друг друга[1]. Причем восприятие светскости в различных культурных традициях совершенно различно: так, в России светскость рассматривается скорее не как политико-правовой принцип, а как залог мирного и равноправного существования всех религиозных течений, и свобода вероисповедания воспринимается не как гражданская институция, а как условие межконфессионального согласия и межрелигиозного мира. Со всей очевидностью это выражается в полном отторжении возможности оскорбления любых религиозных символов и религиозных чувств представителей любых конфессий.

Концептуально десекуляризация является одним из возможных (наряду с другими) вариантов объяснения присутствия религиозных интенций в публичной сфере. Однако в настоящее время она не может претендовать на статус универсальной модели интерпретации. Для религиозных институтов постсовременная эпоха характеризуется необходимостью выбора между различными стратегиями господства в политическом и социокультурном пространствах. Одной из попыток объяснения является концепция постсекулярности[2] (Ю. Хабермас) и связанная с ней вариация постсекулярного общества, старающаяся примирить религиозную и атеистическую альтернативы. Приставка «пост» характеризует неопределенность сложившийся ситуации и кажущуюся спонтанность развития.

Однако концепция постсекулярности не стала мейнстримом, и даже сложно говорить о ее конвенциональном характере. Скорее это конгломерат возможных концептуальных подходов, каждый из которых требует постоянного определения, поскольку даже самого консенсусного определения постсекулярности так

---

[1] Ст. 14 Основного закона Российской Федерации (Конституция РФ 2020) определяет что, *во-первых*, Российская Федерация — это светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной и, *во-вторых*, религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» является основным нормативным актом в сфере регулирования религиозных вопросов и регламентации правового положения религиозных организаций. Иначе говоря, российское государство на правовом законодательном уровне позиционирует себя как светское. Однако в сфере реальной политики данная проблема приобретает иные очертания. Наиболее пессимистичные оценки сводятся к утверждению, что светский проект потерпел решающее поражение: он утратил монополию на описание реальности. Новую ситуацию нередко характеризуют как «кризис светскости», «истощение светских идеологий», «реванш» религий, «религиозное возрождение».

[2] *Хабермас Ю.* Против «воинствующего атеизма». «Постсекулярное» общество — что это такое. URL: http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma#1 (дата обращения: 24.04.2024).

и не сложилось. Среди современных исследователей пока нет единого мнения относительно характеристик и специфики феномена постсекуляризма. Так, одни ученые утверждают, что данное явление еще не установилось в полном смысле этого слова (Дж. Милбанк), в то время как другие утверждают о наступлении эпохи «постсекулярного» как эры духовности, способной примирить веру и разум, науку и религию и т.д. (М. Кинг).

В российском академическом дискурсе постсекулярность имеет неоднозначную репутацию. Например, есть мнение, что для использования этого термина в качестве научного концепта необходимо «ввести убедительную аргументацию существования постсекулярного общества, но не как умозрительной конструкции, обосновывающейся ссылками на авторитетные имена»[1]. Иная позиция, когда термин «постсекулярность» подразумевает такой взгляд на общество и культуру, при котором секулярно-либеральная аксиология еще признается, но при этом лишается идейной монополии на фоне других, несекулярных ценностно-нормативных систем. Вероятно, правильнее было бы говорить о «постсекулярности» как об одной из множества объяснительных схем.

Становление постсекулярной эпохи подразумевает наличие сложного и противоречивого процесса взаимовлияния и диалога религиозного и светского, а оценку результатов возвращения религии следует проводить с учетом «генерального фактора светской культуры». С другой стороны, возрождающаяся роль религии в ряде случаев кажется весьма конструктивной, являясь способной актуализировать, дополнять и в дальнейшем развивать многие ставшие неэффективными светские концепции общественного развития. Таким образом, апогеем развития эпохи постсекуляризма является ситуация, когда сферы религиозного и нерелигиозного взаимо пересекаются, дополняют друг друга, смешиваются и, как результат, становятся трудно различимыми. Однако такое суждение в большей степени отражает утопическую позицию. Ибо в реальности сегодня идут драматические (подчас, кровопролитные) столкновения между светским и религиозным, маркирующие социальные и политические разломы, способные переструктурировать основы политического порядка, укоренив мировоззренчески непримиримые картины мира и оценки будущих государственных стратегий.

Как бы то ни было, но причинная логика актуального присутствия религии в политике неявна и вариативна. Поэтому сегодня невозможно выстроить и соответствующую последовательность познавательных действий. Зачастую аргументы и выводы меняются местами, демонстрируя неприменимость картезианской причинности. Современность не позволяет с уверенностью ответить на вопрос, как влияют религиозные интенции, смыслы и феномены на политическую реальность: являются они причиной изменений, следствием, катализатором или их побочным эффектом; могут ли они стать координатами структурных изменений или же превратиться в механизмы стабилизации, определив единственно правильный вектор дальнейшего развития.

Однако предостережение «Если Бога нет, то все позволено» звучит все громче и громче.

*М.М. Мчедлова*

---

[1] *Антонов К.М.* Секуляризация и постсекулярность (к дискуссии о современном научном аппарате исследования религий) / К.М. Антонов, К.О. Польсков, М.Ю. Смирнов // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. 2023. № 105. С. 139.

**Литература**

1. *Кузнецов В.А.* Проблема светскости в странах «арабского пробуждения»: тунисская версия// Вестник Московского ун-та. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2013. № 4. С. 39–74.

2. *Малахов В.С., Летняков Д.Э.* Мерцающий секуляризм: религия в российском публичном пространстве // Полис. Политические исследования. 2020. № 1.

3. *Моглен С.* Скорбя о современности / Пер. с англ. Д. Гаричева. СПб.: Библиороссика, 2024. — 404 с.

4. *Мчедлова М.М.* Религия в проектах современности: между алармизмом, политической целесообразностью и утопией // Полис. Политические исследования. 2024. № 2. С. 50–64.

5. Религия в современной России: события и дискурсы пандемии / Под ред. М.М. Мчедловой. РУДН, ФНИСЦ РАН. М.: РУДН, 2021.

6. Российское общество и вызовы времени. Книга третья / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2016. — 424 с.

7. Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая. / Под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2016. — 400 с.

8. Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / Под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2017. — 427 с.

9. *Щипков В.А.* Постсекулярная речь. Ценностное измерение современных культурных и политических процессов. М.: МГИМО-Университет, 2019. — 302 с.

10. *Eisenstadt S.* The new religious constellations in the frameworks of contemporary globalization and civilizational transformation // Brill Academic Publishers. 2012. No. 1 (30).

11. *Gopin M.* Between Eden and Armageddon: the Future of World Religions, Violence and Peacemakin. N.Y.; L., 2000.

12. *Marchetti R., Righetti N., Pagiotti S., Stanziano A.* Right-Wing Populism and Political Instrumentalization of Religion // Journal of Religion in Europe. 2022. No. 16 (2). P. 144.

13. *Worth R.F.* Clash of the Patriarchs. A hard-line Russian bishop backed by the political might of the Kremlin could split the Orthodox Church in two // The Atlantic MAY 2024/ URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2024/05/russia-ukraine-orthodox-christian-church-bartholomew-kirill/677837/ (дата обращения: 24.04. 2024).

# Секьюритизация политики идентичности

Секьюритизация политики идентичности представляет собой категорию, которая может использоваться для понимания как самой идентичности, так и политики идентичности в ее разных смысловых понятиях. Российские ученые активно работают над концептуализацией данных понятий[1]. Высокая конкурентность дискурса, формирующегося вокруг понятия «политика идентичности», объясняется как научными, так и вненаучными факторами. Отечественные исследователи вступают в конкуренцию с остающимся в мейнстриме западной науки пониманием политики идентичности исключительно как курса, направленного на защиту интересов меньшинств и их «самости». Предложенное И.С. Семененко определение политики идентичности как целенаправленного курса «по поддержанию общих ценностных оснований принад-

[1] *Мчедлова М.М., Казаринова Д.Б.* Политика идентичности: конкуренция новых теоретических смыслов и политических стратегий // Политическая наука. 2020. № 4.

лежности к политическому сообществу»[1] получило распространение в российских идентитарных исследованиях в качестве аналитической категории[2]. В этом контексте под *политикой идентичности* понимается деятельность вовлеченных в политический процесс субъектов по формированию и поддержанию национальной (национально-государственной), гражданской и иных форм идентичности больших сообществ[3].

Факторы вненаучного характера включают возросшую актуальность проблематики идентичности и политики идентичности, которые рассматриваются политическими акторами в контексте межпартийной борьбы (США, Франция, ФРГ) и в международном соперничестве (ЕС–Россия, США–Китай и др.). Так, Си Цзиньпин в докладе на XX съезде КПК не только 26 раз упомянул понятие «национальная безопасность», увязывая его с перспективой мирного воссоединения КНР и Тайваня (правда, без обязательства «отказаться от применения силы»), но и сделал акцент на необходимости «мобилизовать всех сынов и дочерей китайской нации, чтобы они единодушно и совместными усилиями стремились к достижению китайской мечты»[4]. Китайская мечта по строительству «богатого, мощного, демократического, цивилизованного, гармоничного, социалистического и модернизированного государства» представляет собой один из ярких примеров выстраивания политической идентичности.

Эти усилия по продвижению Китая вызывают опасения по поводу безопасности западных стран. Уже в инаугурационной речи президента Байдена «Америка вернулась» тот сделал заявление: «Американское лидерство сталкивается с новой фазой надвигающегося авторитаризма, включая растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, а также решимость России нанести ущерб нашей демократии». Настаивая на американском лидерстве, Байден провозгласил также: «Мы не будем стесняться увеличивать давление на Россию, защищая наши ценности и наш народ»[5].

В этом контексте хорошо понятно, что секьюритизация идентичности — начиная с копенгагенской школы — трактуется в научных исследованиях как дискурсивный процесс, в котором актор делает заявление об угрозе по отношению к идентичности (системе ценностей, традиций) со стороны Значимого Другого. Концептуализированная в конце 1990-х годов категория «секьюритизации» оказалась востребованной и аналитиками политических как международных, так и внутренних процессов, и политиками[6]. Секьюритизация подразумевает возможность экстремальной политизации, в том числе и того, что относится к социетальной сфере, включая идентичность. Впрочем, как известно, в теории

---

[1] Идентичность. Личность. Общество. Политика: Энциклопедическое издание / Под ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2017.

[2] *Фадеева Л.А.* Современные вызовы политики идентичности в ЕС // Современная Европа. 2021. № 7.

[3] Идентичность. Личность. Общество. Политика: Энциклопедическое издание.

[4] Доклад Председателя КПК Си Цзиньпина на XX Всекитайском съезде КПК. URL: https://www.kt.kz/rus/press-materialy/doklad_si_tszinpina_na_xx_vsekitayskom_s_ezde_1377941866.html.

[5] «Америка вернулась» // Коммерсантъ. 2021. 5 февраля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4674129.

[6] *Кочетков А.П.* Идентичность в международных отношениях: теоретические основы и роль в мировой политике // Вестник Московского ун-та. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2010. № 1

международных отношений с середины прошлого века популярна концепция Р. Арона, который связывал идентичность и стремление государств к безопасности[1]. В случае секьюритизации политический актор применяет особое речевое высказывание, в котором заявляет о наличии угрозы, требует применить меры для ее устранения, вплоть до чрезвычайных, т.е. лежащих за пределами установленных политических процедур.

Российские историки и политологи успешно осуществляют концептуализацию категории «секьюритизация политики памяти». В коллективной монографии «Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы» авторы, историки и политологи, используют понятия конфликтов памятей, войн памятников, клинча идентичностей, объясняя это тем, что произошла секьюритизация политики памяти, т.е. ее концептуализация как сферы, связанной с вопросами безопасности. Это распространилось как на общее понимание и интерпретацию событий и феноменов, так и на язык, терминологию, которые стали использовать в данной сфере. Определение *mnemonicwarriors* (бойцы, воители в сфере политики памяти) используется для описания того, что акторы такой политики глубоко убеждены в правоте своей интерпретации и попытки ее оспорить воспринимают как акт агрессии.

О.Ю. Малинова в определении секьюритизации памяти ссылается на дефиницию, предложенную эстонским социологом М. Мальксоо, как нераспространение «представления, что определенное понимание прошлого должно быть зафиксировано в общественной памяти и сознании, дабы защитить идентичность как основу дееспособности политического актора»[2]. Американский историк с литовскими корнями Д. Будрайте объясняет, что «в секьюритизированном контексте историческая память становится проблемой безопасности, когда и государственные, и негосударственные субъекты участвуют в “защите памяти”. Это относится к ситуации, в которой “наше” прошлое рассматривается как неправильно понятое “другими”, и защита “нашего” становится критически важной... для выживания “нашего” государства»[3]. Будрайте и ее соавторы рассматривают «защиту памяти» применительно к кризисным явлениям в международных отношениях: «Государства считают, что их собственная идентичность заслуживает защиты, и лидеры государств стремятся согласовать свою политику безопасности со своим восприятием самих себя»[4].

В англоязычной литературе по международным отношениям последних десятилетий широко обсуждается и подвергается концептуализации понятие «онтологической безопасности», которое связано с убежденностью в особом предназначении страны; в том, что деятельность государства обусловлена не только национальными интересами, но и более высокими причинами, значимыми для сообщества»[5]. Онтологическая безопасность определяет миссию сообщества, а также присущие ему характеристики и ценности; связывает ценности, безопас-

---

[1] *Арон Р.* Мир и война между народами. М.: Nota Bene, 2000.

[2] Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы / Под ред. А.И. Миллера и Д.В. Ефременко. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2020. С. 32.

[3] *Budrite D., Resende E., Becker D.* “Defending Memory”: Exploring the Relationship between Mnemonic InSecurity in Global Politics // Interdisciplinary Political Studies. 2020. Iss. 6 (1).

[4] Ibid.

[5] *Curanovic A., Szymanski P.* Mission saves us all: Great Russia and Global Britain dealing with ontological insecurity // International Relations. 2022.

ность и стабильность; обеспечивает преемственность прошлого, настоящего и будущего.

В этом контексте А. Цуранович и П. Шимански объясняют, что после распада СССР и поиска новой идентичности «прозападный поворот во внешней политике был интерпретирован значительной частью населения как отрицание истинной российской идентичности в качестве крупной державы, суверенной в своих решениях и уважаемой другими»[1]. Таким образом, в данной интерпретации онтологическая безопасность относится к потребности индивидов и сообществ в поддержании «связного повествования о Самости (*the Self*)». Соответственно, понимание мировой политики как сотканной «из смыслов, символов, норм и интерпретаций»[2] требует глубокого знания истории и культуры страны/региона и понимания присущих ему социокультурных особенностей, включая идентичность и политику по ее выстраиванию.

Использование западными исследователями понятий «онтологическая безопасность» и «политика принадлежности» (*politics of belonging*) в значительной степени объясняется тем, что мейнстрим интерпретации категории «политика идентичности» (*identity policy* как сфера, *identity politics* как курс) не просто остается прежним, относящимся к защите меньшинств, но и приобретает новые формы и новую актуальность. В категорию безопасности в современном мире попадает традиционная политика идентичности, прежде всего, как защита прав сексуальных меньшинств, организованных в *LGBTIQ+* сообщество (здесь и далее: признано экстремистским и запрещено в России), включены в политические стратегии многих западных стран и всего Европейского союза (при наличии меж- и внутристрановых различий по данному вопросу).

Одно из первых распоряжений Д. Байдена на посту президента предполагало «восстановить наше лидерство в вопросах, касающихся *LGBTIQ+*-сообщества, и сделать это на международном уровне». Это подтверждается и кадровыми решениями президента: половина членов администрации президента — женщины, вице-президент — женщина с индийскими и афроазиатскими корнями, все сотрудники департамента коммуникации — женщины, пресс-секретарь — первая афроамериканка и первый представитель ЛГБТ-сообщества на этом посту. Однако республиканские обозреватели сразу же раскритиковали первое выступление Жан-Пьер на посту пресс-секретаря, поскольку она сфокусировала свою речь на своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу, а не на профессиональных задачах.

Подписание федерального Закона об уважении брака в декабре 2022 г. Байден сопроводил заявлением, что в этот день «Америка делает жизненно важный шаг к равенству, к свободе и справедливости не только для некоторых, но для всех — именно для всех. Шаг к созданию нации, в которой порядочность, достоинство и любовь признаются, почитаются и защищаются»[3].

Секьюритизация такой политики идентичности проявляется в том, что важным ее направлением стала борьба против тех, кто придерживается других ценностей. В ЕС это относится к венгерским и польским политическим лидерам,

---

[1] Ibid.

[2] *Сергеев В.М., Казанцев А.А., Медведева С.М.* Кризис конструктивизма и методологические проблемы изучения международных отношений // Полис. Политические исследования. 2019. № 5.

[3] URL: https://inosmi.ru/20221215/rech-258866226.html.

которые ссылаются на значимость традиционных ценностей для сохранения национальной идентичности их стран и проводят политику, ограничивающую права *LGBTIQ+*, в особенности пропаганду их идентичности. И Польша, и Венгрия представляют себя в качестве своего рода крестоносцев, которые отстаивают христианские ценности в борьбе против нехристианских паттернов поведения *LGBTIQ+* европейцев, как и массового наплыва мигрантов, грозящих уничтожить европейскую идентичность[1]. Отметая упреки в том, что он тащит страну в темное средневековье, Орбан после триумфальной победы на парламентских выборах в апреле 2022 г. торжествующе заявил: «Мы одержали крупную победу. Ее видно даже с Луны и точно — из Брюсселя. Христианские демократы, буржуазные консерваторы, патриотическая политика победили. Мы посылаем сообщение Европе, что это не прошлое, это будущее»[2].

На международной арене основные обвинения в нарушении прав *LGBTIQ+* направлены в адрес российских властей. В России с 2013 г. действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», 21 октября 2022 г. в первом чтении принят законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России, а 30 ноября 2023 г. Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила защиту прав *LGBTIQ+* одной из фундаментальных ценностей ЕС, которым Россия «бросает вызов».

Таким образом, классическая версия политики идентичности перенесена на уровень политических сообществ и секьюритизирована. Россия в такой ситуации считает себя вправе претендовать на миссию защитника христианской веры и традиционных ценностей. Российские лидеры утверждают, что «бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других — по сравнению с западными — форм организации общества, принять как данность, уважать их»[3].

Исследователи указывают на важность обеспечения в обществе «ценностного и мировоззренческого консенсуса как основы его духовной и информационной безопасности в качестве составных частей комплексной национальной безопасности государства»[4]. В.Ш. Сургуладзе обосновывает понятие ценностного суверенитета, под которым он понимает выработанные обществом в течение длительного исторического отрезка нормы, традиции, правовые обычаи, которые не должны оцениваться с точки зрения внешних эталонов, претендующих на универсальность[5]. Из этого определения вытекают конкретные практические рекомендации по поводу того, как можно защитить национально-государственное мировоззрение и традиционные ценности российского общества.

---

[1] Традиционные ценности в меняющемся мире: Северная Америка, Западная и Восточная Европа / Гл. ред. Д.Б. Вершинина. СПб.: Маматов, 2021.

[2] URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/04/04/916519-kak-viktor-orban-pobedil.

[3] *Лавров С.* О праве, правах и правилах. URL: https://www.mid.ru/ru/nota-bene/1766768/.

[4] *Блохин К.В.* Политика идентичности как фактор обеспечения национальной безопасности государства // Власть. 2019. № 4. С. 286.

[5] *Сургуладзе В.Ш.* Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности: Стратегия, теория, практика. М.: Аналитическая группа «С.ТАК КАК», 2019.

В других странах секьюритизация политики идентичности предполагает выстраивание внешнеполитического курса, обоснование претензий на изменение роли в мировой политике, которое происходит за счет обращения к идентичности: новая китайская идентичность и китайская мечта Си Цзиньпина, новая пантюркистская идентичность Турции Эрдогана, формула Трампа *MAGA* (*Make America Great Again*). Обвинения со стороны Байдена, что «Дональд Трамп и его сторонники — республиканцы-*MAGA*, это экстремисты, которые несут угрозу основам нашей страны», усиливают эффект секьюритизации политики идентичности в США в преддверии новой избирательной кампании.

*Л.А. Фадеева*

**Литература**


1. Европа XXI века. Новые вызовы и риски / Под общ. ред. Ал.А. Громыко, В.П. Федорова. М.: ИЕ РАН; СПБ.: Нестор-История, 2017. — 544 с.
2. *Касьянов Г.* Единый учебник истории ЕС и своя правда Восточной Европы. URL: http:/www.eedialogue.org/ru/2019/06/22/edinyj-uchebnik-istorii-es-i-svoya-pravda-vostochnoj-evropy.
3. *Кочетков А.П.* Идентичность в международных отношениях: теоретические основы и роль в мировой политике // Вестник Московского ун-та. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2010. № 1. С. 5–26.
4. Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы / Под ред. А.И. Миллера и Д.В. Ефременко. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2020. 632 с.
5. *Семененко И.* Прошлое на переднем крае политики идентичности // Мировая экономика и международные отношения. 2018. Т. 62. № 11. С. 65–76.
6. *Сергеев В.М., Казанцев А.А., Медведева С.М.* Кризис конструктивизма и методологические проблемы изучения международных отношений // Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 56–70.
7. Традиционные ценности в меняющемся мире: Северная Америка, Западная и Восточная Европа / Гл. ред. Д.Б. Вершинина. СПб.: Маматов, 2021. — 272 с.
8. *Фадеева Л.А.* Политика памяти и идентичности в Европейском союзе: сопряженные понятия, рассогласованные практики // Международная аналитика. 2022. № 2. С. 79–93.
9. *Фадеева Л.А., Плотников Д.С.* Опыт мировых войн в политике идентичности и выстраивании стратегии безопасности // Региональные стратегии международной безопасности: Россия, ЕС и Ближний Восток. М.: Научный консультант, 2019. С. 23–48.
10. *Budrite D., Resende E., Becker D.* “Defending Memory”: Exploring the Relationship between Mnemonic In/Security in Global Politics // Interdisciplinary Political Studies. 2020. Iss. 6 (1). P. 5–19.
11. *Mälksoo M.* The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe // European Journal of International Relations. 2009. No. 15 (4).
12. *Stephen Klose*. Interactionist Role Theory Meets Ontological Security Studies: Exploration of Synergies Between Socio-Psychological Approaches to the Study of IR //European Journal of International Relations. 2020. No. 26(3). P. 851–874.
13. *Hellberg U.* Securitization as a modern strategy of constructing identity: Negative proof identity’ in the European Union. URL: https://mau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1408014&dswid=-7813.
14. *Chen X., Gao X.* Analysing the EU’s collective securitisation moves towards China // Asia Europe Journal. 2022. No. 20. P. 195–216.

# Современные миротворческие операции

Конфликты, их урегулирование и разрешение составляют важнейшее измерение как внутренней, так и международной политики. Известную емкую формулу, гласящую, что политика есть отношения по поводу власти, можно перефразировать, сказав, что политика есть отношения по поводу конфликтов вокруг власти и ресурсов. Вся сфера политического может быть понята и интерпретирована как многообразие сталкивающихся и противодействующих интересов, ожиданий, действий, поведенческих актов разнотипных политических акторов (как внутри государств, так и на мировой арене) в отношении господства и подчинения, распределения ресурсов и влияния. В этой связи конфликт целесообразно рассматривать как противопоставление и столкновение интересов индивидуальных или групповых акторов, протекающие в формах от латентного (скрытого, потенциального) противостояния до прямого насильственного противодействия и нацеленные на реализацию каждой из сторон своих интересов.

Дихотомия «международные — немеждународные конфликты» не исчерпывает всего разнообразия конфликтных точек на карте мира. Международно-политические конфликты в современном мире редко ограничиваются изолированным силовым взаимодействием двух противостоящих государств. Ежегодно 30–40 конфликтов разной интенсивности на карте мира находятся в стадии вооруженного противостояния. «Классические» межгосударственые войны все еще периодически происходят (достаточно упомянуть войну Великобритании и Аргентины из-за Фолклендских/Мальвинских островов, войну Ирана и Ирака в 1988 г., войну России–Грузии в 2008 г., военные действия Армении и Азербайджана в 1991–2020 гг.), однако в современном мире гораздо чаще войны и конфликты имеют одной (или обеими/несколькими) из своих сторон негосударственных акторов. Таковыми выступают внутригосударственные сепаратистские, этнические/националистические или иные политические движения, непризнанные государства и пр. Примерами таких конфликтов стали международное противостояние с псевдогосударственным объединением ИГИЛ[1], политические миссии ООН в ходе гражданской войны в Ливии, ряд этапов и форм арабо-израильского конфликта, военные действия вокруг таких новообразований на постсоветском пространстве, как Южная Осетия, Абхазия, и др.

В этом контексте уместно говорить о возникшем и распространенном типе *немеждународных, но интернационализированных конфликтов,* т.е. территориальных, сепаратистских, межэтнических, внутриполитических и прочих конфликтов между политическими акторами, которые изначально формировались как изолированные или локальные конфликты, но в которые вмешиваются внешние международные организации или мировые державы, придавая этим столкновениям международно-политическое измерение.

Организация Объединенных Наций несколько отступает от принципов собственного Устава, когда втягивается в урегулирование конфликтов не между одним государством и другим государством (как это предусматривалось самой кон-

[1] Запрещенная организация в РФ.

цепцией создания ООН), а в конфликты внутри государств, гражданские войны, борьбу центральных властей и сепаратистских движений, проблемы непризнанных государств, действия псевдогосударственных образований. Однако без такого вмешательства поддерживать международный мир и безопасность в современных условиях вряд ли возможно.

Конфликты в политике неизбежны. Один из классиков политической теории, Р. Дарендорф, создал «конфликтную модель общества», которая предполагает, что конфликты являются рядовой, вечной, а потому «нормальной» формой общественного развития в любой данный исторический момент[1]. Они лишь проходят разные стадии существования (латентного, «спящего», обострения, урегулирования и др.), переплетаются друг с другом, порождая дополнительные конфликты. Французский политолог Л. Козер придерживается близкой точки зрения в своей теории позитивно-функционального конфликта. Он утверждает, что большинство конфликтов не столько прерывает, сколько порождает историю, что в каждом конфликте создаются новые социально-политические реалии, становящиеся «кирпичиками» дальнейшего социального строительства.

Война в самом общем плане трактуется политологами как критическая стадия реализации противоречий между политическими субъектами (прежде всего государствами и союзами государств) в форме насильственной вооруженной борьбы[2]. В этой связи можно предложить и более развернутое определение войны как *конфликта коллективных акторов (государств и их коалиций, политических и социальных движений и др.), протекающего в форме вооруженного насилия и направленного на перераспределение ресурсов и/или реализацию конфликтующими сторонами комплекса собственных территориальных, социальных, политических, экономических, инфраструктурных, религиозных, гуманитарных и иных интересов за счет уничтожения, притеснения или подчинения других сторон.*

В соответствии с пониманием К. фон Клаузевицем войны как «продолжения политики иными средствами» следует не только подчеркнуть ее взаимоувязанность с противостоящими социально-политическими (а нередко экономическими и идеологическими) интересами сторон, но и обратить внимание на то, что начало любой войны следует искать в более ранней политике сторон, а также в направляющих такие действия идеологических основаниях.

На состоявшемся в 2010 г. Гаагском конгрессе Всемирной ассоциации международного права возобладала точка зрения (хотя и не разделявшаяся всеми участниками), что в современных условиях всякое употребление понятия «война» в отношении современных ситуаций следовало бы заменить более широким и более универсальным понятием «вооруженный конфликт». Такое понимание, прежде

---

[1] *Дарендорф Р.* Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. № 5.

[2] Известный военный стратег К. фон Клаузевиц в своем классическом произведении «О войне» дает несколько «простых» определений войны. «Война, — пишет он, — является столкновением существенных интересов, которое разрешается в результате кровопролития — и только этим она отличается от других конфликтов» (цит. по: *Handel M.I.* Masters of War: Classical Strategic Thought. L.: Routledge, 2005. P. 25). Наряду с этим американские политологи М. Хардт и А. Негри отмечают, что «традиционно под войной понимался вооруженный конфликт между суверенными политическими акторами, т.е. для современного периода, национальными государствами (*nation-states*)» (*Hardt M., Negri A.* Vultitude: War and Democracy in the Age of Empire. N.Y.: Penguin, 2005. P. 3).

всего, было важно с точки зрения международного права, позволяя применить к ситуации основные положения международного гуманитарного права (МГП), в котором к понятию «вооруженный конфликт» оказалось привязано много кодифицированных положений[1].

Опираясь на обозначенные принципы и положения, целесообразно рассматривать миротворчество как собирательное понятие, сочетающее теорию и практику смены войны миром. Оно охватывает разные виды действий, связанных двумя общими характеристиками: *во-первых*, протекающих в связи с развертыванием разнообразных конфликтов, а *во-вторых*, являющихся формой систематизированного внешнего воздействия, нацеленного на урегулирование или снижение интенсивности конфликта. В этом контексте понятие «*миротворческая деятельность*» характеризует весь комплекс разнотипных действий, осуществляемых мировым сообществом (в лице ООН и региональных межгосударственных организаций), группами государств, а также отдельными государствами, государственными и неправительственными организациями (НПО) в конфликтных регионах для предотвращения, разрешения, урегулирования как международных, так и немеждународных конфликтов и ликвидации их последствий.

При этом понятие «*миротворческие операции*» (МТО) целесообразно использовать для характеристики лишь той части миротворческой деятельности, которая представляет собой регулируемую международным политическим мандатом ООН или региональных организаций (в контексте главы VIII Устава ООН), систематизированную и организованную деятельность государств и межгосударственных объединений по вмешательству в конфликты с целью их прекращения и урегулирования.

Меры по предотвращению назревающих конфликтов (превентивная дипломатия, предупредительные дипломатические демарши и экономические меры, наблюдательные миссии и пр.), как и меры по ликвидации последствий уже прекращенных или стабилизированных конфликтов (в форме восстановления политической, экономической, социальной инфраструктуры, проведения выборов под международным контролем и пр.), целесообразно рассматривать как самостоятельные виды миротворческой деятельности (характеризующие доконфликтное и постконфликтное миротворчество).

Операции в рамках миротворческой деятельности различают по следующим критериям:

*По правовому статусу:*

— операции по поддержанию мира (ОПМ), проводимые международным сообществом с согласия конфликтующих сторон, а в случае немеждународного конфликта с согласия политического руководства государства, на территории которого происходит конфликт. Как правило, ОПМ явля-

[1] В частности, это положения, утверждающие освобождение участников вооруженной борьбы от некоторых обязательств в области защиты прав человека и возникновения обязательств в отношении прав военнопленных; наличие у государств обязанности по части обеспечения убежищ для беженцев и жертв вооруженных конфликтов; возможности провозглашения государств, не желающих вступать в конфликт, своего нейтрального статуса; особые права и обязанности ООН, возникающие в случае вооруженного конфликта. В настоящее время основные положения «законов и обычаев войны» изложены и закреплены в Женевских конвенциях, Протоколах к ним и связанных с ними международных соглашениях.

ются операциями по поддержанию еще не нарушенного или уже достигнутого мира, т.е. проводятся до или после завершения силовой стадии конфликта;
— операции по установлению мира (ОУМ), содержащие определенные принудительные действия, проводимые по мандату ООН без согласия (вопреки позициям) конфликтующих сторон или легитимного политического руководства государства, на территории которого происходит конфликт.

Как можно видеть, разделение МТО на ОПМ и ОУМ нельзя осуществлять по критерию отсутствия или присутствия силовых элементов в операции, привлечения или непривлечения военной силы. Силовые, в частности военные, средства могут применяться как в том, так и в другом типе операций. Главный критерий различия этих форм МТО — международно-правовой, означающий, что операции проводятся при наличии или отсутствии согласия на международное вмешательство со стороны легитимного политического руководства государства, на чьей территории разворачивается конфликт.

*По функциям и средствам:*

— международные (гражданские, военные или смешанные наблюдательные МТО) миссии наблюдателей или миссии по установлению фактов;
— международные миротворческие операции с привлечением вооруженных сил (военные МТО или МТО с элементами военных действий);
— международные миротворческие полицейские операции (полицейские МТО);
— международные миротворческие операции по оказанию гуманитарной помощи в регионах конфликтов (которые следует отличать от оказания помощи жертвам природных бедствий и катастроф).

При этом следует понимать, что на практике речь идет о выделении преимущественного типа действий, и потому военные, полицейские, экономические или дипломатические меры могут — в разных пропорциях — применяться в каждом типе миротворческих операций.

В военном и организационном отношении следующие акции близки по духу к миротворчеству, но все же отличаются от него:

— принудительные действия международного сообщества для коллективного пресечения агрессии или действий, угрожающих международному миру и безопасности (например, операции по мандату ООН для пресечения агрессии Ирака в отношении Кувейта в 1991 г., а также по ликвидации режима талибов в Афганистане в 2001 г.);
— вмешательство мирового сообщества во внутренние дела одного или нескольких государств для предотвращения гуманитарной катастрофы[1];
— легитимное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого на основании межгосударственных договоров и соглашений с целью содействия в разрешении немеждународных конфликтов.

[1] В этой связи следует подчеркнуть, что употребляемое в литературе понятие «гуманитарная интервенция» следует признать неудачной калькой англоязычного термина. В этом смысле точнее говорить о «международном вмешательстве для предотвращения гуманитарной катастрофы».

Целесообразно провести разграничение миротворческих действий и *по субъекту*. В данном случае можно выделить:

— миротворческие операции и политические миссии ООН (операции от имени мирового сообщества по мандату ООН);
— региональные операции региональных межгосударственных организаций по мандату ОБСЕ, ЕС, НАТО, АС, ОАГ, СНГ, ОДКБ и других региональных организаций, действующих на основании главы VIII Устава ООН[1].

Многие из вооруженных международных и интернализированных внутренних конфликтов продолжаются годами и десятилетиями. В протекании и урегулировании этих конфликтов участвуют мировые державы, включая Россию, США, крупные страны–члены Евросоюза, а также международные организации. Вмешательство в конфликты, влияние государства на политику ООН и других международных организаций в отношении конфликтов представляют собой серьезный внешнеполитический ресурс претендующих на глобальную роль мировых держав, в том числе России. Однако он требует адекватной расстановки приоритетов и умелого взаимодействия с международными организациями и другими государствами, вовлеченными в конфликты.

ООН в последние годы ведет полтора десятка параллельных миротворческих операций и еще два десятка так называемых «политических миссий» в конфликтных регионах. В настоящее время параллельно проводится 12 операций ООН, в которых принимают участие более 75 тыс. человек, в том числе около 65 тыс. военнослужащих и более 7 тыс. полицейских[2]. Наряду с операциями собственно силами ООН, в последние десятилетия постепенно сложилась практика вмешательства в конфликты со стороны региональных межгосударственных организаций. Среди них находятся ОБСЕ, Европейский союз, НАТО, СНГ, Африканский союз и другие африканские субрегиональные организации, Организация американских государств (ОАГ). В прошедшем десятилетии Коллективные миротворческие силы (КМС) создала и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая подписала рамочные соглашения с ООН о возможности использования ее миротворческого потенциала в операциях по мандатам ООН и провела в 2022 г. собственную МТО в Казахстане по просьбе его правительства.

С 2010 по 2020 г. во всех операциях по поддержанию мира и политических миссиях в конфликтных регионах (как ООН, так и иных организаций и коалиций) ежегодно принимали участие в разные годы от 100 до 250 тыс. военных, полицейских и представителей гражданского персонала. При этом только около половины из них курировал Департамент миротворческих операций ООН. Вторая половина операций осуществлялась участниками региональных организаций и разнотипных политических не-ооновских миссий (количество которых исчисляется уже десятками в год). Кроме того, периодически осуществляются операции с использованием вооруженных сил со стороны отдельных мировых держав и созданных ими коалиций (причем нередко без мандата ООН или иной международной ор-

[1] В этой связи правомерно использовать понятия «миротворческая операция ОБСЕ», «миротворческая операция СНГ» и пр.

[2] Данные Департамента миротворческих операций ООН на конец 2022 г. См.: URL: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/01_contributions_to_un_peacekeeping_operations_by_country_and_post_55_october_22.pdf.

ганизации). Таким образом, масштаб участия региональных межгосударственных организаций и отдельных держав в конфликтном урегулировании по размеру участвующих контингентов оказывается вполне сопоставимым с миротворческими операциями ООН.

В кругах ООН с начала 2000-х годов преобладает линия на наделение операций все большими силовыми возможностями. Призывы проводить операции ООН «быстрее, раньше, сильнее» содержатся во всех основных обзорных докладах по миротворчеству[1]. 1990-е годы открылись мощной силовой операцией коалиции 35 государств по мандату СБ ООН с целью выдворения Ирака из Кувейта, совершившего, как официально признал СБ ООН, акт агрессии. При этом операция «Буря в пустыне» проходила не по категории «миротворческих», а по категории политических миссий ООН в соответствии с принципами главы VII Устава, т.е. представляла собой фактически «войну» мирового сообщества против государства-агрессора. Катализаторами пересмотра прежнего осторожного отношения к силовым компонентам операций ООН стали операции в Боснии и Руанде в середине 1990-х годов.

Серьезное столкновение политических позиций мировых держав произошло в 1999 г., когда Россия и Китай заблокировали начало операции по мандату ООН в Союзной Республике Югославия (относительно Косово), а НАТО с марта по июнь этого года все равно вела жесткие бомбардировки СРЮ. Однако уже с июня 1999 г. Россия изменила подход и активно (в виде ночного рейда десантников из Боснии в Косово) подключилась к операции, сняв «вето» на использование силы.

Объектами серьезной критики со стороны России, именно в связи с формами и целями применения силовых средств, стали операции (по мандатам ООН, но при лидирующей роли НАТО или США) в Косово (1999), Ираке (2003) и Ливии (2011). Последовавшая вслед за операциями дестабилизация в Ираке и Ливии не прекращается по сей день, приобретя в Ливии характер затяжной гражданской войны. При этом одна из наиболее жестких силовых операций — свержение режима талибов в Афганистане (2001) и последующие пятнадцатилетние попытки стабилизации афганской ситуации остались в основном за пределами критики со стороны России. Прежде всего, в силу политической приемлемости для РФ оттеснения от власти режима «Талибан»[2] и за-

---

[1] См.: Обзорный доклад по миротворческим операциям 1990-х годов Комиссии под председательством Л. Брахими (2000) (доклад Группы ООН по вопросам мирных операций ООН. Документ ООН A/55/305-S/2000/809 от 21 августа 2000 г. (Report of the Panel on United Nations Peace Operations (Brahimi Report), 21 August 2000, UN Document A/55/305-S/2000/809). URL: https://www.un.org/ruleoflaw/files/brahimi%20report%20peacekeeping.pdf); доклад Комиссии по проблемам суверенитета и вмешательства «Обязанность защитить» (Responsibilityto Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Ottawa: International Development Research Centre, 2001. — 91 p.); доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам 2 декабря 2004 г. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/59/565; доклад Генерального секретаря ООН «Новый горизонт миротворчества» (2009). URL: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/newhorizon_0.pdf); доклад Независимой группы высокого уровня по операциям в пользу мира «Объединяя наши силы во имя мира: политика, партнерство, люди» (Uniting Our Strengths — Police, Partnerships, People. Report of the High-Level Independent Panelon Peace Operations. N.Y.: UN Document, 2015. — 103 p.); доклад Специального комитета ООН по миротворческим операциям по поддержанию мира на Семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 2018, документ ООН A/72/19. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/72/19 и др.

[2] Запрещенная террористическая организация в РФ.

интересованности Москвы хотя бы в частичной стабилизации южных границ стран ОДКБ.

Резкое усиление «силового» характера действий ООН в конфликтных регионах произошло с принятием в 2013 г. резолюции СБ ООН № 2098[1], разрешившей формирование *UN Intervention Brigade* («бригад оперативного вмешательства (БОВ)», «бригад силового вторжения»). Последствия их боевого применения в Демократической Республике Конго (причем без согласования в СБ ООН пределов и принципов ее применения) вызвали серьезные политические разногласия в Совете Безопасности.

Спорным остается вопрос: относятся ли к «силовым» мандатам полицейские операции ООН или полицейские компоненты операций ООН, в отличие от использования вооруженных (армейских) сил в тех же или смежных операциях? Масштабы задействования вооруженной полиции в операциях ООН постоянно возрастали последние два десятилетия и составили в 2020-х годах до 15 тыс. полицейских в двух десятках операций.

Усиление силовых элементов в практике деятельности ООН в конфликтных регионах спрятано внутри некоторых новых моделей, норм и практик ООН, таких как «обязанность защитить» (*Responsibility to Protect*), «гуманитарная интервенция», «защита гражданского населения всеми доступными средствами», «защита посредством проецирования силы» и др.[2] Москва после 2000 г. сформировала (в отличие от позиции 1990-х годов) по преимуществу отрицательное отношение к силовым вмешательствам под видом МТО в дела суверенных государств. При этом Россия сама провела четыре операции на постсоветском пространстве с масштабным использованием военной силы[3].

Как показал опыт, ряд государств, включая западные страны и Россию, стали применять понятие «миротворчество», даже если эти действия не были подкреплены мандатом ООН или региональной международной организации. В частности, ни одна из операций 1990-х годов в новых независимых государствах с участием российских вооруженных сил (Таджикистан, Молдавия/Приднестровье, Грузия/Южная Осетия, Грузия/Абхазия) не имела мандата ООН, и только две (в Таджикистане и Абхазии) имели мандат региональной организации СНГ. Что же касается операций в Молдове/Приднестровье (1992 г. — н/вр.) и Грузии/Южной Осетии (1992–2008 гг.), то их основанием послужили межпрезидентские соглашения, а их статус можно описать как легитимное вмешательство во внутренние дела другого государства по его просьбе при документированном согласии обеих сторон конфликта.

---

[1] URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/273/83/PDF/N1327383.pdf?OpenElement.

[2] An Institutional Approach to the Responsibility to Protect / Ed. by G. Ziberi. Cambridge: Cambridge University Press, 2013; *Mytchell C.* The Nature of Intractable Conflict Resolution in the Twenty-First Century. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2014; United Nations Interventionism, 1991–2004 / Ed. by M. Berdal, S. Economides. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[3] В этих операциях в совокупности участвовало более 10 тыс. российских военных в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье и Таджикистане; в последнем случае было задействовано 145 танков, 18 боевых вертолетов, более 7 тыс. российских солдат и офицеров, что превышало на тот момент масштабы большинства ведущихся операций ООН), а также четыре внутренних (в правовом отношении «полицейских», проходивших на собственной территории) применения вооруженных сил (две чеченские кампании, урегулирование в Дагестане и «разнимание» конфликта Северной Осетии/Ингушетии). Параллельно Россия задействовала в дальнем зарубежье 1600 военных в операции ООН в Боснии и 3600 военных (по ротации) в операции в Косово в бывшей Югославии.

Критикуя (после операций в Косово, Ираке, Ливии) сам принцип силового вмешательства в дела других государств вопреки позиции легитимных властей государства, Москва фактически также применяла логику «обязанности защитить» (хотя и не в такой формулировке) в мотивировке и объяснении своих действий в операциях 1990-х годов на постсоветском пространстве (в российско-грузинской войне 2008 г.), а также в обосновании в 2022 г. СВО на Украине.

Российская сторона не относит терминологию «миротворческих операций» к силовым действиям на собственной территории (Чечня, Дагестан, Северная Осетия — Ингушетия), считая эти действия восстановлением правопорядка в формате «внутренних полицейских операций». Введение российских войск в Грузию (2008) и Восточную Украину (2022) легитимизируется с российской точки зрения, прежде всего, 51-й статьей Устава ООН (самообороной), в связи с необходимостью защиты сотен тысяч проживающих в этих регионах людей, получивших российские паспорта и принявших российское гражданство[1]. В случае украинской операции компонентами легитимизации стали также соглашения о военной помощи, заключенные Россией с новопризнанными ею (хотя и не признанными большинством других стран) государствами ЛНР и ДНР.

Короче говоря, в методологических целях можно выделить, по крайней мере, шесть международно-правовых оснований для легитимного использования вооруженных сил одного государства на территории другого (хотя не все из них являются общепринятыми и универсальными): право каждого государства на самооборону на основании статьи 51 Устава ООН; коллективное противодействие мирового сообщества агрессии одного государства против другого (коллективное применение сил международной коалиции по мандату ООН на основании главы VII Устава); коллективное противодействие мирового сообщества государству или политической силе, несущим угрозу международному миру и безопасности[2]; договоры (соглашения) о военном сотрудничестве, военных базах, совместных операциях или учениях; обращение легитимных властей одного государства к властям другого с документированной просьбой о военной помощи; формирующаяся, но универсально непризнанная норма, утверждающая «обязанность мирового сообщества защитить» (*Responsibility to Protect*) гражданское население, социальные и этнические группы от геноцида со стороны других групп или от преступной политики властей их собственного государства.

Примечательно, что Россия голосовала в СБ ООН против «обязанности защитить» в 1999 г. в отношении Союзной Республики Югославия, а в 2003 г. против применения формулы «противодействие режиму, составляющему угрозу миру и безопасности» в отношении введения международных сил в Ирак. Россия также воздержалась в 2011 г. при голосовании в СБ ООН по применению этой формулы в отношении Ливии.

Силовое вмешательство в ряд конфликтов со стороны США, НАТО и государств Запада, с одной стороны, и вовлечение в иные конфликты со стороны

---

[1] На момент введения российских войск российские паспорта получили и в российское гражданство вступили до 300 тыс. граждан в Южной Осетии и Абхазии и 770 тыс. граждан в ЛНР и ДНР соответственно.

[2] Несмотря на соответствие мандату ООН на основании принципов главы VII Устава, данная позиция остается объектом противоречивых политических интерпретаций.

России, а ранее и СНГ, с другой стороны, все дальше расходятся друг с другом и взаимно не признаются «настоящим миротворчеством». Запад не признает легитимным миротворчеством, особенно после введения российских войск в Грузию в августе 2008 г., предшествующие действия в 1990-х годах по мандатам СНГ в Таджикистане и Абхазии, а также действия России по двусторонним соглашениям в Молдавии и Южной Осетии/Грузии. В свою очередь, Россия не признает правомерными действия Запада, и особенно НАТО, в отношении Союзной Республики Югославия в 1999 г. и действия США и Великобритании с союзниками против Ирака без мандата ООН в 2003 г. (до получения мандата СБ ООН).

У России в последнее десятилетие накопились претензии и к ООН, и к ОБСЕ относительно использования миротворческого вмешательства в конфликты в политических целях. Мандат на операцию ООН в Ливии, который был сформулирован как «создание воздушной бесполетной зоны в целях защиты мирного населения», привел на практике к поддержке контингентами под знаменами ООН ливийской оппозиции, устранению президента и смене политического режима. Собственно, смена политического режима, которая никогда не фигурировала в мандатах операций, стала результатом операций под флагами ООН также в Афганистане (2001) и в Ираке (2003). Если бы не твердая позиция России, то смена политического режима под флагом ооновской операции могла бы произойти в середине 2010-х годов в Сирии, однако позиция России в СБ ООН и операция ВС РФ в Сирии на основе межгосударственного соглашения о военной помощи предотвратили такую перспективу.

В современных условиях (проведения СВО и защиты вошедших в состав России новых территорий в рамках конфликта с Украиной, закрепления результатов российской операция в Сирии, оказания военной помощи признанным Россией государствам Южной Осетии и Абхазии, наращивания военного потенциала ОДКБ и др.) Россия проявляет заинтересованность в том, чтобы мировое сообщество признало приемлемым применение ею силовых средств для защиты своих национальных интересов в международном пространстве. В силу этого растет и целесообразность избирательного характера оценки силовых мандатов и операций других держав и организаций. Поскольку Россия строит систему межгосударственных альянсов «незападного типа» (ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, Союз Россия–Белоруссия и др., за которыми она хочет закрепить признание самостоятельного урегулирования ими региональных конфликтов, включая применение силовых средств), то ею видится вполне целесообразным и точечное признание легитимности операций иных региональных межгосударственных организаций (по результатам прагматической оценки операций НАТО, ЕС, ОБСЕ, Африканского союза и др.).

Одной из тенденций двух последних десятилетий стало образование коалиций государств, которые от имени международных организаций (или по собственному коллективному решению) реализовали международный мандат на посредничество, урегулирование или вмешательство. Разные державы и континенты демонстрируют сегодня различную динамику участия в операциях ООН. В настоящее время в предоставлении контингентов (как, собственно, и в последние десятилетия) большую роль играют Индия, Пакистан, Бангладеш, Эфиопия (предоставляющих по 8–10 тыс. человек в год в контингенты ООН), ряд африканских стран (Гана, Руанда, Сенегал, Чад и др.), а также такие страны, как Бразилия, ЮАР,

Иордания, Индонезия и др. При этом СБ ООН вынужден реагировать на обвинения со стороны третьих стран в несправедливости ситуации, когда одни (развитые) страны принимают все политические решения об операциях, а другие (развивающиеся) государства лишь поставляют солдат, участвующих и погибающих в них.

В кругах ООН зреет понимание, что ООН пора занять гораздо более активную позицию лидерства в политическом урегулировании мировых конфликтов. Не столько «поддерживать» возникшие слабые искры примирения, сколько последовательно и сознательно брать на себя лидерство в ведении переговоров, разработке компромиссов, достижении политического решения. Другими словами, ООН не следует тратить силы и средства на конфликты, в которых конфликтующие стороны не дают ей занять место ведущей силы в урегулировании[1]. Если этой роли ведущего посредника у ООН нет, тогда и созданные условия перемирия могут быть легко нарушены. Неопределенность и нерешенность конфликта тянутся годами и десятилетиями, а ООН, затратив огромные усилия и средства, не сможет ни дождаться урегулирования от самих конфликтующих сторон, ни достойно свернуть операцию.

«Зонтичное» понятие «мирные операции ООН» (*UN Peace Operations*) целесообразно рассматривать как общее для десятков различных форм международного вмешательства в конфликты. В частности, спектр этих операций включает направление в конфликтные регионы специальных посланников Организации Объединенных Наций, посредничество в переговорах, региональные миссии превентивно-дипломатического характера. Далее к этому же спектру операций можно отнести наблюдательные миссии (наблюдение за прекращением огня или политическими выборами и пр.), миссии технических специалистов (например, специалистов по организации выборов). В тот же ряд можно поставить операции поддержки мирного процесса (операции по поддержанию мира), которые помогают сторонам претворить в жизнь уже подписанные или наметившиеся мирные соглашения. К тому же спектру целесообразно отнести и такую группу операций, которая ранее выносилась в особую категорию «политических миссий» в виде вмешательства в конфликты по решению СБ ООН и с участием военного, полицейского и гражданского персоналов (причем даже в те конфликты, в которых отсутствует или даже не намечается мирного решения).

По сути, речь идет о том, чтобы рассматривать весь арсенал мер со стороны ООН (от посреднических и предупредительных до силовых) как единый инструментарий миротворчества. При этом следует считать нормой быструю смену характера операций с учетом меняющейся обстановки. Например, если ООН вмешалась на стадии помощи в реализации соглашения о прекращении огня, а перемирие было сорвано какой-то из сторон и возобновились военные действия, ООН не должна сворачивать операцию по поддержанию «исчезнувшего» мира, а должна привлечь новые силовые средства и «навязать» сторонам новое примирение.

В последнем десятилетии произошла определенная модернизация как ООН, так и инфраструктуры миротворческих операций. Были, например, сформированы

---

[1] Подробнее см.: Объединяя наши силы во имя мира — политика, партнерство, люди: Доклад Независимой группы высокого уровня по миротворческим операциям (Uniting Our Strengths — Policy, Partnerships, People. Report of the High-Level Independent Panelon Peace Operations. N.Y.: UN Document, 2015. —103 p.).

постоянные резервные полицейские силы для использования в миротворческих операциях; созданы региональные инфраструктурные «хабы» (центры комплектации и подготовки в Центральной Африке и Западной Африке, с промежуточными центрами комплектования в Европе) для операций на разных континентах; обновилась и техническая сторона проведения операций (начато использование беспилотных летательных аппаратов в целях сбора информации и разведки, появились оснащенные современным коммуникационным оборудованием комплексные центры сбора и обработки информации и т.д.).

Однако, несмотря на технологические усовершенствования, основные проблемы в сфере миротворчества продолжают носить политический и инфраструктурный характер. Страны, предоставляющие военные и полицейские контингенты, часто недостаточно проинформированы о реальных требованиях мандата конкретной операции (и особенно о его обновлениях). Нередко происходит направление контингентов в эпицентр боевых действий без должного вооружения, оборудования, тылового снабжения, коммуникационных средств. С политической же точки зрения продолжает нарастать напряженность, вызванная попытками отдельных мировых держав реализовать в форме миротворческих операций свои специфические геополитические и идеологические интересы.

Современная миротворческая деятельность многообразна и является важной составляющей мировой политики. Возможности миротворческих операций не безграничны, а сами операции не лишены проблем и проявляющихся противоречий между мировыми державами. И все-таки человечество, даже разделенное политическими, экономическими и идеологическими интересами, должно пытаться снять остроту хотя бы части конфликтов и войн с помощью проведения коллективных миротворческих операций во всех их формах и проявлениях.

*А.И. Никитин*

**Литература**

1. *Дарендорф Р.* Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 115–127.

2. *Дмитриев А.В., Залысин И.Ю.* Насильственные политические конфликты. М.: Современная гуманитарная академия, 2007. — 364 с.

3. *Никитин А.И.* Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование. М.: Аспект Пресс, 2017. — 384 с.

4. *Никитин А.И.* Конфликтологический анализ международной политики // Современная политическая наука. Методология. 2-е изд. / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. М.: Аспект Пресс, 2019. С. 629–658.

5. *Салмин А.М.* Изнанка внешней политики // Российская политическая наука / Под общ. ред. А.И. Соловьева; отв. ред. А.Ю. Мельвиль, А.И. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2008. Т. 5. С. 701–734.

6. An Institutional Approach to the Responsibility to Protect / Ed. by G. Ziberi. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 554 p.

7. *Handel M.I.* Masters of War: Classical Strategic Thought. L.: Routledge, 2005.

8. *Hardt M., Negri A.* Vultitude: War and Democracy in the Age of Empire. N.Y.: Penguin, 2005.

9. *Mytchell C.* The Nature of Intractable Conflict Resolution in the Twenty-First Century. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2014. — 353 p.

10. United Nations Interventionism, 1991–2004 / Ed. by M. Berdal, S. Economides. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — 274 p.

# Цифровое государственное управление

Цифровое государственное управление (ЦГУ), выступая в качестве не только современного подхода к организации и технологическому обеспечению государственного управления, но и как одноименный российский федеральный проект, вобравший в себя наиболее востребованные в административной практике разработки (типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего, платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными и др.), несет в себе качественно новый уровень взаимодействия органов государственной власти и управления, с одной стороны, и физических и юридических лиц, с другой стороны. Причем точкой соприкосновения становятся интерфейсы онлайн-порталов и мобильных приложений, позволяющих государству и индивидам взаимодействовать друг с другом через пространство данных, все большее количество которых с различной степенью автоматизации и структурированности перманентно производится при помощи цифровых технологий на инфраструктурной основе сети Интернет. Информация и способность ее интеллектуальной обработки выступают основой ЦГУ, двигателем которого, помимо обратной связи и пользовательского опыта, выступает поэтапное производство и внедрение инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий, адаптации государственного механизма к быстро меняющейся цифровой среде. В результате многие или даже большинство правительств и правительственных учреждений уже оснащены автоматизированными информационными системами, демонстрируют высокую степень цифрового участия, выстраивая в цифровом пространстве двустороннее взаимодействие с потребителями государственных услуг.

Государству приходится поддерживать сложную систему коммуникаций и циклов обратной связи с гражданами, используя потенциал информационно-коммуникационных технологий как в практике принятия государственных решений, так и в процессе оказания государственных услуг. При этом органы государственной власти и управления могут отставать от актуальных тенденций в сфере развития цифровых технологий, а общество может недооценивать проблемы защиты цифрового суверенитета, связанные с кибератаками на информационную инфраструктуру и получением несанкционированного доступа к персональных данных.

Переход к цифровому государственному управлению в 2000-е и 2010-е годы — цифровая трансформация[1] — стал не просто одним из многочисленных технологических изменений в работе органов государственной власти и управления, а характеризовал новое видение административной практики, которая менялась вместе с распространением сети Интернет и качественным погружением социально-экономических процессов в интернет-пространство. Первая волна перехода к цифровому государственному управлению[2] касалась таких тем, как:

1) интеграция бюрократических структур с выстраиванием горизонтальных связей как внутри государственных институтов и уровней управления, так

[1] Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.А. Ефремов, Е.Н. Клочкова, Э.В. Талапина, Я.Ю. Старцев. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 114 с.

[2] *Dunleavy P., Margetts H.* The second wave of digital era governance // URL: https://goo.su/qPok0l (accessed: 10.01.2023).

и с окружающей их внешней средой. Подобная реинтеграция происходила на новом технологическом уровне путем создания центральным правительством цифровых механизмов, снижающих затраты и сокращающих избыточные и дублирующие функции тех или иных административных институтов, а также путем упрощения организации государственного управления на основе унификации и стандартизации работы его структурных элементов;

2) организация государственного управления в духе цифровизации, ориентированной на потребности населения и практику оказания государственных услуг, стала попыткой сквозного редизайна услуг с точки зрения потребителя, создания таких интегрированных инструментов, как службы «одного окна» или электронной очереди, модернизации и повышения оперативной гибкости правительственных структур, способных в режиме реального времени решать поставленные задачи и реагировать на отклонения от заданных показателей;
3) оцифровка государственного управления с точки зрения полного охвата административных институтов, проведения госзакупок онлайн, повсеместного внедрения электронной доставки услуг, а также развития современных форм автоматизации на базе технологий с нулевым касанием, не требующих вмешательства человека, стала ключевым стимулом для радикальной «разгрузки» государственного управления и оптимизации избыточных функций.

Распространение цифровых технологий в государственном управлении в ходе первой волны ЦГУ привело к информационной централизации. Возможность сбора информации из все большего количества источников и анализа ее в режиме реального времени привела к увеличению возможностей по контролю над нижестоящими уровнями управления. Характерной особенностью данных изменений стало «размывание» роли и значения чиновников среднего административного уровня, способствующего формированию более плоской и широкой управленческой иерархии. Однако развитие современных баз данных, необходимых для перехода к цифровому государственному управлению, в ходе первой волны отражало процесс коммуникационной децентрализации. Государственные служащие получили доступ к большему объему информации, чем их предшественники. Это привело к тому, что исполнители с помощью информационного инструментария получили возможность решать большее количество задач при меньшем количестве обращений к своим непосредственным руководителям.

Говоря о переходе ко второй волне цифрового государственного управления[1], следует отметить сложный и многоуровневый характер данного процесса, рассмотрение которого выходит за рамки сугубо технологического аспекта. Данная волна становится возможной благодаря цифровизации общества как культурной адаптации к ключевым технологическим достижениям, цифровизации государственного аппарата и его реинтеграции на организационном и финансово-бюджетном уровнях, сближению процессов производства и потребления

[1] *Margetts H., Dunleavy P.* The second wave of digital-era governance: a quasi-paradigm for government on the Web // Philosophical Transactions of the Royal Society A. 2013. February 18. DOI: 10.1098/rsta.2012.0382.

государственных услуг в цепочке «государство-гражданин», где производитель осуществляет постоянную обратную связь с клиентом-потребителем. В результате перехода ко второй волне ЦГУ в настоящее время происходит формирование новой системы взаимодействия общества и государства, во многом смещенной в интернет-среду, где «облачные» вычисления и технологии больших данных способствуют появлению новых организационных форм и способов государственного управления.

В рамках ЦГУ все большее количество государственных услуг становится более доступными или полностью бесплатными как за счет цифровой модернизации государственного управления, так и за счет увеличения количества оказываемых услуг. При этом многие государственные учреждения уже сейчас добиваются существенного увеличения спроса на свои услуги, оказывая базовые услуги на безвозмездной основе и стимулируя увеличение спроса на смежные сферы. Государство готово использовать возможности ЦГУ для замены более дорогостоящих административных операций при обработке обращений за государственными услугами менее затратными онлайн-операциями. В результате в рамках того же самого объема финансирования можно добиться увеличения абсолютного количества оказанных государством услуг в десятки раз. Если в рамках электронного правительства многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг брали на себя функцию предоставления услуг отдельным группам населения, не имеющим доступа к электронным порталам, то цифровое государственное управление стремится преодолеть цифровое неравенство, охватывая своими услугами все население за счет мобильных приложений или посредством службы коротких сообщений. Переход к ЦГУ означает создание не только услуг, которые граждане хотят получать посредством цифровых каналов связи, но и условий для цифровой инклюзии граждан.

В рамках цифрового государственного управления становится актуальным принцип проектирования государственных услуг с ориентацией на нужды реального пользователя, а не сложившийся шаблон административной процедуры, в связи с чем проводятся тестирования и корректировка проектных решений в соответствии с потребностями реальных пользователей, устраняется дублирование услуг на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления. Учет не только нужд, но и технических возможностей пользователей дополняет вышеописанный принцип ЦГУ в условиях роста популярности мобильных устройств для работы в сети Интернет, разработки единых порталов государственных и муниципальных услуг, позволяющих пользователю при работе с ними осуществлять «бесшовный» переход с одного принадлежащего ему электронно-вычислительного устройства на другое и с одной операционной системы на другую. ЦГУ создает полностью оцифрованный административный процесс, начиная с подачи и отслеживания заявления, постоянного информирования пользователя об этапах работы с ним и заканчивая автоматизированной проверкой заявления по межведомственным базам данных.

Создание единых баз данных для совместного использования государственными ведомствами выступает одним из важных условий построения ЦГУ. Так, собранная одним государственным ведомством информация о физических лицах, предприятиях, объектах недвижимости, адресах и т.д. многократно используется в рамках всего государственного сектора не только центрального, но и регионального и муниципального уровней. При этом практически любая

информация, использующаяся в работе государственных ведомств и не содержащая персональных данных, закрытых служебных сведений или государственной тайны, может быть опубликована в форме открытых данных (картографические данные, данные финансового, страхового и строительного секторов экономики, метеорологические данные и др.). В результате не функции и полномочия государственных ведомств, а данные становятся ключевыми административными активами. При этом ведущие правительства подключают к совместной работе со своими наборами данных частные компании и гражданские организации (например, с геопространственными наборами данных, интегрирующими информацию о местоположении конкретного объекта из разных источников), расширяя возможности оказания государственных и муниципальных услуг.

ЦГУ уходит от практики разработки специальных приложений для каждого конкретного ведомства и предлагает им использовать цифровую правительственную инфраструктуру для совместного использования (например, облачные сервисы для хранения и обработки данных), возможности которой позволяют адаптировать ее инструментарий под особенности каждого из ведомств вне зависимости от уровня управления. Необходимость совместного использования и анализа все большего количества данных связана со стремительным ростом числа видеокамер, производящих данные в сфере видеонаблюдения, многочисленных датчиков и сенсоров, их широкого применения в целях мониторинга и управления городской инфраструктурой. Инфраструктура совместного использования становится все более актуальной в условиях развития интернета вещей, в пространстве которого нарастают объем и качество информационных обменов. В этой связи повышается роль и значение механизмов и методов защиты собираемых данных, включая персональные данные, уязвимость которых по отношению к кибератакам подрывает веру граждан в цифровые услуги.

Одной из задач, на решение которых нацелено цифровое государственное управление, является проблема недостаточного качества «повторного использования» данных в государственном управлении. В качестве примера «повторного использования» данных можно привести Портал открытых данных Российской Федерации, на котором представлены многочисленные наборы открытых данных в сфере образования и культуры, ЖКХ, транспорта, энергетики, городского управления и др. Однако находят свое повторное применение только незначительная часть из них: в сфере государственного управления только 10% наборов данных используются повторно, а в сфере здравоохранения — лишь 5%. Повышение эффективности использования открытых данных вытекает из того, что они могут способствовать более широкой практике оказания услуг с помощью веб-приложений: получая доступ к архивам правительственных данных, активные граждане и предприниматели могут использовать необработанные информационные массивы в качестве ресурса для создания новых наборов данных и разработки мобильных и веб-приложений, в частности веб-приложений «*mash-ups*» (объединяющих данные из ряда источников и создающих уникальные веб-инструменты, например, при наложении данных об аренде, покупке и продаже объектов недвижимости на картографический сервис Яндекс). Открывая публичный доступ к правительственным базам данных в рамках стратегии открытых данных, государство способствует привлечению большого количества гражданских аналитиков, востребован-

ных в рамках различных краудсорсинговых проектов, которые могут существенно расширить аналитические возможности государства. Предоставление исследователям доступа к необработанным правительственным данным позволяет при помощи сервисов визуализации данных и геолокации разрабатывать новые подходы к решению широкого спектра социально-экономических проблем, повышать прозрачность и подотчетность государственных закупок: чем больше людей знают о том, как они организованы, на что направляются бюджетные средства, тем меньше остается пространства для совершения коррупционных действий, связанных с лоббированием интересов тех или иных поставщиков. В эпоху цифрового государственного управления правительству необходимо обмениваться открытыми данными как между правительственными органами, так и между государственным, корпоративным и гражданским секторами, выстраивая сеть взаимосвязанных наборов данных, выступающих источником активизации нераскрытого экономического потенциала[1].

Важным элементом дальнейшего развития цифрового государственного управления выступают большие данные как совокупность информационных массивов различной степени статистической обработки и структурированности, которые дают возможность повышать эффективность управленческих решений на различных уровнях государственного управления[2]. На современном этапе большие данные формируются на основе огромного количества активных и пассивных источников, включая клики в сети Интернет, мобильные звонки и *SMS*, пользовательский контент и социальные сети, а также бизнес-транзакции. Более того, инновации в сфере машинного обучения, касающиеся производства, сбора, хранения и анализа огромных объемов данных, позволяют на новой технологической основе пересмотреть содержание и повысить эффективность каждого из этапов принятия государственных решений. Ценность создания больших данных заключается в комбинировании наборов открытых данных государства с геопространственными данными, такими как спутниковые данные и *GPS*-данные от операторов сотовой связи, с данными об экономических транзакциях, данными интернет-браузеров и приложений, включая социальные сети и мессенджеры, данными по экстренным вызовам 112, данными по финансово-кредитным историям работников и хозяйствующих субъектов и т.д. В результате исследователи получают возможность с помощью применения того или иного метода или алгоритма структурирования больших данных сопоставлять их с имеющимися открытыми данными и получать прирост информации относительно определенной социально значимой проблемы, а также находить более оптимальные пути ее решения.

Осознавая ценность многочисленных наборов больших данных для системы государственного управления, правительства стремятся контролировать процессы их сбора, хранения и практического применения. Так, в Российской Федерации уже действуют поправки в федеральное законодательство, согласно которому все персональные данные о российских гражданах, которые входят в наборы больших данных, должны храниться на серверах, размещенных

---

[1] Introduction to Linked Data — European Data Portal // URL: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.2_introduction_to_linked_data_en_edp.pdf (accessed: 10.01.2023).

[2] Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity // McKinsey Global Institute. June 2011 // URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation (accessed: 10.01.2023).

на территории Российской Федерации. При этом немаловажной особенностью ЦГУ выступает этический аспект сбора, хранения и использования больших данных. Так, государство и крупные корпорации, составляя наборы больших данных из различных источников, получают доступ к персональным данным, делая это без явного согласия граждан или в обход несовершенных законов в данной сфере деятельности.

Технологическому аспекту развития больших данных посвящен значительный объем исследований в области цифрового государственного управления, которые могут привести к пересмотру сложившейся практики управления городскими агломерациями и переходу к практике «умного управления». Благодаря развитию интернета вещей здания могут автоматически передавать любую информацию, необходимую коммунальным службам для их качественного обслуживания, промышленная инфраструктура может передавать информацию об уровнях загрязнения воды или воздуха, автомобили могут передавать информацию о погодных условиях на дороге. Данные об общественной инфраструктуре, собранные благодаря активности самих граждан либо собранные датчиками пассивно, могут помочь государственным служащим проводить социально-экономический анализ развития города и выделять необходимые ресурсы в режиме реального времени, моделировать общественную мобильность и принимать более выверенные инвестиционные решения, улучшать качество и производительность городских служб, практику оказания государственных услуг. Внедрение больших данных в практику государственного управления способствует построению более эффективной модели государственного управления или соуправления, в рамках которой государство пытается расширить каналы гражданского участия. Более того, большие данные становятся важным элементом мониторинга эффективности работы государства и предупреждения о возможных ошибках и отклонениях от поставленных целей, не только обеспечивают аналитическую поддержку принимаемых решений, но и поддерживают работу механизма обратной связи, позволяя обнаруживать проблемы и корректировать ошибки в режиме реального времени.

Россия накопила достаточно положительный опыт в сфере создания цифрового государственного управления, включая системы межведомственного обмена информацией, которые способствуют переходу на более совершенный уровень информационного обмена между системами различных государственных ведомств. Однако построение полноценного цифрового государственного управления требует перехода к государственной инфраструктуре совместного использования, запуска единой государственной облачной платформы для предоставления услуг, которая позволит повысить качество и защищенность взаимодействия между ведомствами, обеспечить финансовую экономию за счет отказа от создания дублирующих инфраструктур в отдельных ведомствах или регионах. Правительство также может поддерживать разработку и внедрение наиболее востребованных приложений совместного использования различными ведомствами на основе облачных технологий, поддерживающих виртуализацию рабочих мест, цифровую почту и документооборот, управление процессами прохождения дел, мониторинг инфраструктуры и др. Вместо создания собственных систем следует предоставить региональным органам государственной власти и органам местного самоуправления возможность получения необходимых им цифровых услуг высокого качества из федеральных облачных ресурсов. Такая система предоста-

вит стандартизированные и масштабируемые платформы для создания новых цифровых услуг и со временем позволит интегрировать существующие государственные информационные системы в общий государственный ресурс для проведения вычислений и хранения данных[1].

В результате построения и дальнейшей модернизации российской инфраструктуры цифрового государственного управления, включая Единую систему идентификации и аутентификации, Федеральный реестр государственных услуг, Систему межведомственного электронного взаимодействия, Единую систему нормативно-справочной информации, ввода в эксплуатацию Национальной системы управления данными, повышения качества, верификации и гармонизации данных, в перспективе 2023–2024 гг. станет возможным системное внедрение типового автоматизированного рабочего места госслужащего (ТАРМ) в органах государственной власти всех уровней на базе отечественного программного обеспечения. Под ТАРМ понимают настраиваемый под каждого государственного служащего на его рабочем месте типовой интерфейс на базе технических и программных средств, предназначенный для автоматизации его профессиональной деятельности и позволяющий осуществлять поиск, редактирование и обмен необходимыми ему данными, выводить информацию на экран или периферийные устройства, обмениваться данными по защищенным каналам связи.

Выступая эффективным планировщиком рабочего времени государственного служащего, ТАРМ позволяет ему лучше контролировать свое время, осуществлять постановку задач, контролировать внешних и внутренних исполнителей, управлять проектами, объединяя в них связные задачи, использовать удаленное защищенное файловое пространство, обмениваться сообщениями и файлами с другими государственными служащими и подразделениями, вести календарь, создавать события и встречи, быстро находить тот или иной документ, оперативно формировать отчеты по задачам и проектам. Интерфейс ТАРМ объединяет в себе как возможности Национальной системы управления данными, так и многочисленных государственных информационных систем, реестров и баз данных, дает возможность государственным служащим при решении профессиональных задач использовать данные об оказании государственных услуг, об эксплуатации объектов материальной инфраструктуры, о движении бюджетных средств, отраслевом развитии экономики региона и др. ТАРМ становится необходимым элементом поддержки процесса принятия государственных решений, позволяя государственным служащим сосредоточиться на решении наиболее сложных задач, избавляя их от административной рутины и необходимости тратить временной ресурс на поиск и обработку стандартных блоков информации. За счет масштабирования ТАРМ по категориям должностей государственной службы, его адаптации к ведомственной или региональной структуре управления процесс принятия государственных решений приобретет большую степень скоординированности и подотчетности, соответствуя современным требованиям цифрового государственного управления.

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 733 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе “Единая информационная платформа национальной системы управления данными” и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180005#:~:text=Постановление%20Правительства%20Российской%20Федерации%20от,некоторые%20акты%20Правительства%20Российской%20Федерации%22 (дата обращения: 10.01.2023).

Ведомственная разобщенность осложняет внедрение ТАРМ и замедляет построение цифрового государственного управления на современном этапе. Более того, каждая из ведомственных ГИС собирает значительный и постоянно растущий объем государственных данных, обработка и структурирование которых постепенно становится непосильной задачей для отдельного ведомства, что негативно отражается на достоверности статистических отчетов и качестве принимаемых государственных решений. К 2024 г. в государственных информационных системах будет накоплено более 160 тыс. терабайт информации, при этом СМЭВ не способна обеспечить необходимый уровень обмена и тем более связности государственных данных. Эффективная работа с государственными данными требует достоверных, обновляемых и качественно собираемых данных, для чего необходимо оперативно обновлять права доступа к информации отдельным государственным служащим или ведомствам, регулировать их не отдельными межведомственными договорами, а соглашениями и правилами, принятыми на уровне Правительства РФ. Предварительный и в перспективе постоянный аудит государственных данных позволит получить достоверную информацию относительно собранных и собираемых данных, их структуры и практической полезности в различных ведомствах. В противном случае работа с некачественно собранными и неструктурированными данными, отсутствие механизма их межведомственной верификации и гармонизации не только несут в себе риски принятия неэффективных государственных решений и оказания некачественных государственных услуг, но и повышают риски информационной безопасности, связанные с невозможностью точного сбора и сохранности эталонных данных, использующихся в «ядре» государственных информационных систем.

*А.А. Косоруков*

**Литература**

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 733 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе “Единая информационная платформа национальной системы управления данными” и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180005#:~:text=Постановление%20Правительства%20Российской%20Федерации%20от,некоторые%20акты%20Правительства%20Российской%20Федерации%22 (дата обращения: 10.01.2023).

2. Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.А. Ефремов, Е.Н. Клочкова, Э.В. Талапина, Я.Ю. Старцев. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 114 с.

3. Bigdata: Thenextfrontierforinnovation, competition, andproductivity //McKinseyGlobalInstitute. June 2011 // URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation (accessed: 10.01.2023).

*4. Dunleavy P., Margetts H.* The second wave of digital era governance // URL: https://goo.su/qPok0l (accessed: 10.01.2023).

5. Introduction to Linked Data — European Data Portal // URL: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.2_introduction_to_linked_data_en_edp.pdf (accessed: 10.01.2023).

*6. Margetts H., Dunleavy P.* The second wave of digital era governance: aquasi-paradigm for government on the Web // Philosophical Transactions of the Royal Society A. 2013. February 18. DOI: 10.1098/rsta.2012.0382.

# Этнополитика в глобальном измерении

Под этнополитикой (национальной или этнонациональной политикой) понимается система мер, реализуемых органами власти с целью координации и продвижения интересов различных этнических групп, обеспечения их гармоничного сосуществования в рамках единого государства. Данное направление деятельности властных структур имеет огромное значение в жизни культурно неоднородных обществ. Опыт всей истории человечества, — а в особенности последних 30 лет, ознаменовавшихся «взрывом этничности» после крушения мировой коммунистической системы, — показывает, насколько притягательными оказываются лозунги, призывающие к единству на основе общности культуры, языка, духовно-психологического склада, исторического опыта, т.е. всех тех компонентов, которые во многом определяют своеобразие этнических групп. Использование апелляций к этим началам может стать основой консолидации населения, а может привести и к развитию сепаратизма, распаду полиэтнических государств — как это и произошло в конце 1980-х — начале 1990-х годов в Советском Союзе, Югославии, Чехословакии.

В современном мире используются различные модели этнополитики, выбор которых зависит от многих переменных — политических традиций того или иного сообщества, уровня материального благосостояния и развития демократии, геополитического положения государства, конкретных параметров этнического состава его населения. В течение последних столетий формы и механизмы этнополитики в западных государствах, а затем и в испытывавших их влияние странах Азии, Африки и Америки неоднократно менялись, претерпевая эволюцию. Если говорить об исходной точке формирования современной этнополитики, то таковой можно считать Великую французскую революцию, с событиями которой связано утверждение современного понимания нации[1]. В соответствии с этим пониманием жители государства стали рассматриваться как самостоятельная, единая и нераздельная общность, как совокупность граждан, наделенных равными правами и обязанностями. Данная общность провозглашалась носителем суверенитета и источником власти. Божественное право королей, получение власти по наследству решительно отвергались. Формирование органов управления в национальном государстве должно было осуществляться демократическим путем, на основе выборов, охватывающих основную массу (в идеале — всех) самостоятельных граждан. Данное положение со всей остротой ставило вопрос об обеспечениии деологического, духовного и культурного единства нации. Решение этой проблемы во многом определяло и продолжает определять динамику развития этнополитики с конца XVIII в. вплоть до наших дней.

Утверждение демократических принципов формирования системы управления предполагало, что в обществе, которое наделялось данными правами, все его сочлены должны были четко и по возможности без «разночтений» понимать, в чем суть этой системы, на основе каких принципов она функционирует, проявлять преданность этой системе — иначе механизмы демократии просто не за-

[1] См.: *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 г. СПб.: Алетейя, 1998. С. 25–73; *Гринфельд Л.* Национализм: пять путей к современности. М.: ПЕРСЭ, 2008. С. 152–184.

работали бы. В связи с этим важнейшим направлением деятельности правящей верхушки стало насаждение единства в понимании базовых принципов устройства государства, которое осуществлялось путем пропаганды, массовых изданий, системы образования. Целостность нации, провозглашенная и во многом достигнутая Французской республикой, стала идеалом для многих сообществ, формирующихся национальных государств. Однако если во Франции эта целостность достигалась путем насаждения приверженности населения определенным политико-правовым принципам (республика, демократия, права человека), то в странах, расположенных к востоку от нее (в Германии, Италии, Центральной и Восточной Европе), как правило, действовали иные механизмы. Здесь основой единства провозглашались такие факторы, как кровное родство, общность исторических традиций, происхождения, общие черты психического склада, т.е. все то, что относится к сфере собственно этнического. Этнополитологи в связи с этим различают нации, формировавшиеся преимущественно на этнических началах (Германия и страны к востоку от нее) и нации гражданские (Франция, Великобритания, Нидерланды, США и ряд других государств).

Как этническое, так и гражданское нациестроительство предполагало утверждение максимальной гомогенности нации, причем эта цель (преимущественно во втором случае) достигалась путем ассимиляции, часто принудительной, этнокультурных меньшинств, проживавших на территории государства. Со стороны последних такая политика вызывала протест, выражавшийся в развитии разного рода автономистских и сепаратистских движений. В целом XIX и первая половина XX в. стали временем широкого распространения идей национализма — учения и движений, ставивших на первый план интересы национальной общности, понимаемой, как правило, в этническом плане. Гомогенность нации в этот период зачастую достигалась с помощью таких экстремальных инструментов этнополитики, как депортация и геноцид этнических меньшинств. Впервые опробованные в широком масштабе в годы Первой мировой войны, они получили самое широкое развитие в период следующего мирового конфликта.

Идеал целостности национального сообщества, которому следовало в описываемый период большинство государств, породил и такую форму этнополитики, как сегрегация. Подобный подход предполагал, что этнические, этноконфессиональные, расовые общины, не входящие в состав нации и, как считалось, не способные в нее войти по каким-либо причинам, должны подвергаться изоляции и ограничению в правах. Примером политики сегрегации может служить положение лиц иудейского исповедания в Российской империи в XVIII — начале XX в. (до середины XIX в. — и в ряде других европейских стран), а также статус «цветных» общин, преимущественно чернокожих, в значительной части штатов США до 1960-х годов. Все подобные меры, как отмечалось выше, были вызваны к жизни стремлением обеспечить гомогенность нации — безусловно доминировавшим в течение долгого времени представлением о том, что жизнеспособным может быть лишь то государство, которое опирается на идеологическое и духовно-культурное единство его населения. В ряде случаев такой подход обосновывался либеральными аргументами — тезисом о необходимости утверждения равенства всех граждан, призванных (если говорить о меньшинствах) забыть о различиях в своем этническом происхождении и влиться в состав большинства. Подобные постулаты считались незыблемыми, однако с середины XX в. в этой сфере начали происходить серьезные изменения.

Непосредственной причиной трансформаций были сдвиги в геополитической ситуации, социально-экономическом развитии большинства западных государств. Экономический подъем после завершения Второй мировой войны обусловил постепенно растущий запрос на рабочую силу, который трудно было удовлетворить за счет местных ресурсов. Выходом стало обращение к колоссальным запасам рабочих рук из стран третьего мира — в большинстве своем бывших колоний европейских государств, добившихся независимости в 1950–1960-е годы. В результате в страны Запада хлынул поток переселенцев из Азии, Африки, Латинской Америки — главным образом, трудовых мигрантов, отчасти беженцев, резко отличавшихся от принимающих сообществ по своим этнокультурным характеристикам. Поддержание гомогенности общества в сложившихся условиях уже не представлялось возможным, что влекло за собой изменение курса этнополитики.

К подобному итогу подталкивали и факторы идеологического характера — развитие концепции гражданских прав, основополагающей для западного общества. Постепенно утверждалось представление о том, что носителями этих прав могут быть не только индивидуумы, объединяющиеся в нацию, но и общины, к которым люди относятся в силу своей этнической, расовой принадлежности (сообщества происхождения). Подоснову для такого пересмотра взглядов создавала развернувшаяся с 1960-х годов в США борьба за равноправие исторически угнетенных меньшинств, прежде всего «цветного» населения, движение за изменение статуса аборигенного населения в тех же США, Канаде и Австралии. К осознанию изменений в сфере этнополитики подталкивали и размышления о судьбах трудовых мигрантов из стран третьего мира, значительная часть которых существенно уступала по социальному положению и уровню благосостояния принимающему населению, что создавало ситуацию социальной напряженности.

Свою роль в наметившемся идеологическом повороте сыграл и своеобразный комплекс вины, распространенный, прежде всего, в среде либеральной интеллигенции стран Запада. Наблюдалось стремление искупить различные формы несправедливости, в свое время допущенные по отношению к представителям этнических и расовых меньшинств (истребление аборигенов, колониальная эксплуатация, расовая дискриминация и др.). Одной из форм подобного искупления, наряду с утверждением равноправия меньшинств, стала введенная в США и ряде других стран политика позитивной дискриминации, или положительного действия (*affirmativeaction*). Она включала в себя предоставление лицам, принадлежащим к числу меньшинств, преимуществ при поступлении в высшие учебные заведения, устройстве на работу и др. Внедрение в жизнь начал позитивной дискриминации стимулировало складывание системы мультикультурализма, которая сменила курс на достижение гомогенности общества и стала в 1970–1980-е годы ведущей формой этнополитики в большинстве западных государств[1].

Политика мультикультурализма допускала, а в некоторых случаях даже поощряла сосуществование в обществе самых разных этнонациональных, этнокуль-

[1] Анализ основных вариантов политики мультикультурализма см.: *Тишков В.А., Шабаев Ю.П.* Этнополитология: Политические функции этничности: Учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Московского ун-та, 2019. С. 207–219.

турных, этноконфессиональных групп с сохранением и развитием самобытности каждой из них. На практике этот курс выражался в создании и финансировании государством школ с обучением на языках меньшинств, поощрении развития этнокультуры (зачастую вне связи с культурой принимающего социума), терпимом отношении к публичной демонстрации обычаев и норм поведения различных этнических групп, беспрепятственном развитии религиозных институтов различных этнических сообществ. Разумеется, в ходе реализации подобных мер неизбежно вставал вопрос о том, не скажется ли это негативно на сохранении целостности принимающего общества. Первоначально казалось, что причин для опасений нет. Сторонники мультикультурализма утверждали, что терпимое отношение к нормам поведения меньшинств постепенно сгладит их отличия от большей части общества, поможет мягко и безболезненно интегрироваться в принимающий социум. Так или иначе, политика мультикультурализма получила широкое распространение в странах Запада и одно время рассматривалась как основная форма регулирования межэтнических отношений. Вместе с тем уже в 1990-е годы видные политики и общественные деятели начали высказывать сомнения в ее эффективности.

Проблема заключалась не только в том, что значительные ассигнования на поддержание культурной самобытности меньшинств ложились заметным бременем на государственный бюджет (хотя и этот фактор вызывал серьезное недовольство местного населения). Важнейшее противоречие было связано с тем, что носителем прав (соответственно, и субъектом получения разных льгот и ассигнований) провозглашались в большинстве случаев не индивидуумы, а общины, сообщества происхождения, что неизбежно вело к их самозамыканию. На практике это вело к складыванию в крупных городах стран Запада мигрантских анклавов, обитатели которых почти не участвовали в жизни окружающих сообществ. Так, комиссия Т. Кантла, изучавшая положение мигрантских сообществ в Великобритании, констатировала в 2001 г. не просто физическое разделение разных групп населения по различным кварталам и жилым комплексам, но и наличие у отдельных сообществ своих образовательных институтов, общинных и благотворительных учреждений, систем трудоустройства, мест отправления культа, языковых, социальных и культурных связей. По словам авторов доклада, это говорило о том, что общины живут параллельно друг с другом, практически не соприкасаясь[1].

Самозамыкание мигрантских общин нередко вело к установлению в них жестких отношений господства-подчинения, укреплению архаичных общественных институтов, которые, как считалось, помогали поддержать единство сообщества. У европейской же общественности наличие таких институтов (в частности, неравенство мужчин и женщин в мусульманских общинах) вызывало резкий протест[2]. Начались попытки вмешательства в жизнь этнических анклавов, что, в свою очередь, вызывало недовольство со стороны меньшинств. Это неизбежно должно было привести к эксцессам. Симптомом неблагополучия стали террористические акты в западных городах, в частности в Лондоне и Мадриде в 2005 г., в организации

---

[1] *Joppke C.* The Retreat of Multiculturalism in the Liberal State: Theory and Policy // British Journal of Sociology. July 2004. Vol. 55. No. 2. P. 250.

[2] *Наумкин В.* Мусульмане на Западе // Международные процессы. Сентябрь–декабрь 2010. Т. 8. № 3 (24). С. 31–39.

которых участвовали представители мигрантских общин. В 2005 г. в Париже произошли массовые погромы, вызванные протестом меньшинств против полицейского насилия, а в 2011 г. подобные беспорядки охватили и Лондон.

Местное население, встревоженное ростом социальной напряженности, все более скептически относилось к продолжению курса на обеспечение широкого доступа мигрантов в страны Европы[1]. Это отразилось в данных социологических опросов, выразилось в усилении влияния правонационалистических партий — «Австрийская партия свободы», «Датская народная партия», «Национальный фронт» («Национальное объединение») во Франции и др., которые в ряде случаев смогли завоевать достаточно большое количество голосов на выборах, войти в парламент и даже в состав правительства[2]. Будучи вынужденными реагировать на изменение настроений избирателей, ряд ведущих политиков Запада выступил с заявлениями о кризисе политики мультикультурализма и необходимости изменения системы регулирования межэтнических отношений. Так, широкий резонанс вызвали выступления на эту тему канцлера Германии А. Меркель, премьер-министра Великобритании Д. Кэмерона и президента Франции Н. Саркози (конец 2010 — начало 2011 г.).

Результатом деклараций европейских лидеров стали определенные сдвиги в сфере этнополитики — так, заметно ужесточилась система допуска мигрантов в страны Запада. Потенциальный член национального сообщества теперь должен был продемонстрировать знакомство с ценностями и нормами жизни принимающей нации, а в ряде случаев и согласие с ними. Значительно расширилась практика сдачи обязательных тестов на всех стадиях допуска в национальное сообщество — от получения въездной визы до натурализации. С помощью этих тестов выявлялось знание языка, права и правил повседневной жизни в принимающей стране, нередко — ее истории и культуры. Для тех, кто уже находился на территории страны, вводились так называемые курсы интеграции, посещение которых в ряде стран стало обязательным[3].

Проявлением курса на отход от мультикультурализма в некоторых странах стал и запрет на демонстрацию этнокультурными общинами своей «особости». К числу таких мер относились, прежде всего, запреты на ношение религиозных символов в государственных школах Франции (2004), строительство минаретов в Швейцарии (2009), появление в публичных местах в парандже во Франции и в Бельгии (2010 и 2011 гг. соответственно). В целом начиная с 2010-х годов в этнополитике западных государств усилились меры, нацеленные на укрепление духовного, идеологического и культурного единства общества, в какой-то степени являющиеся возвращением к политике ассимиляции. Разумеется, сам этот термин не употребляется, говорится о политике «интеграционизма». Пропагандируется также система «интеркультурализма» (сохранение этнокультурного

---

[1] *Mudde C.* The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy // West European Politics. November 2010. Vol. 33. No. 6. P. 1176; *Alexander J.* Struggling over the Mode of Incorporation: Backlash against Multiculturalism in Europe // Ethnic and Racial Studies. 2013. Vol. 36. No. 4. P. 543.

[2] *Mudde C.* The Relationship between Immigration and Nativism in Europe and North America. Washington DC, 2012. P. 5, 16–17.

[3] *Triadafilopoulos T.* Illiberal Means to Liberal Ends? Immigrant Integration Policies in Europe // Journal of Ethnic and Migration Studies. July 2011. Vol. 37. No. 6. P. 862–870; *Hampshire J.* Liberalism and Citizenship Acquisition: How Easy Should Naturalization Be? // Journal of Ethnic and Migration Studies. July 2011. Vol. 37. No. 6. P. 956–957, 963–967.

своеобразия отдельных общин при одновременном преодолении изоляции, усилении взаимодействия между ними)[1]. Так или иначе, к серьезным позитивным сдвигам данные поиски пока не привели. Напряженность, связанная с нерешенными проблемами в сфере межэтнических, расовых, этноконфессиональных отношений, сохраняется. Ее проявлением стали крупные теракты, совершенные исламистами в 2015 г. в столице Франции, а также массовые волнения 2014 и 2020 гг. на расовой почве в США, вызванные убийством чернокожих белыми полицейскими.

Основные тенденции развития этнополитики, характерные для зарубежных (прежде всего, западных) стран, своеобразно проявились в жизни нашей страны. Процессы трансформации Российской империи в национальное государство, ставшие особенно заметными во второй половине XIX в., сопровождались попытками ассимиляции меньшинств (в форме русификации). Применялась и политика сегрегации. Ее объектом, как отмечалось выше, в первую очередь стали лица иудейского исповедания. Начало Первой мировой войны было отмечено широким применением депортаций — прежде всего, евреев и немцев из прифронтовой полосы. Данные меры во многом явились реакцией на развитие в Российской империи местных национализмов и, в свою очередь, стимулировали их рост. В итоге для России начала XX в. был характерен высокий уровень политизации этничности, выразившийся в широком распространении национальных движений. В условиях кризиса, а затем падения монархии, начавшейся Гражданской войны эти движения выдвинули лозунг автономизации в составе российского государства, а впоследствии — и выхода своих национальных единиц из состава России и образовании независимых государств[2].

В сложившейся ситуации большевики, утвердившие свою власть после окончания Гражданской войны на территории большей части бывшей Российской империи, оказались перед лицом серьезной проблемы. Столкнувшись с высоким уровнем национальной мобилизации на подвластных им землях, новые правители России решили не подавлять, а «оседлать» национальные движения, придать им приемлемую для себя форму, ввести их в рамки официальной коммунистической идеологии. «Пролетарская по своему содержанию, национальная по форме»[3] — эта характеристика социалистической культуры, построить которую намеревались большевики, в принципе описывала их отношение ко всем проявлениям национального самосознания. Предполагалось, что, пройдя через все этапы развития данного самосознания, народы бывшей Российской империи разовьют в своей среде классовую сознательность, сблизятся, а в перспективе сольются на базе коммунистической идеологии.

Будучи вынужденными действовать в условиях вызванного Первой мировой войной распада многонациональных империй (прежде всего Австро-Венгерской и Османской), широкой популярности лозунга о праве наций на самоопределе-

---

[1] *Паин Э.А.* Управление культурным разнообразием: исторические модели и современная практика в сфере регулирования этнополитических отношений // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. № 4. С. 78–84.

[2] См.: Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства. М.: Новый хронограф, 2012. С. 138–150.

[3] *Сталин И.В.* О политических задачах университета народов Востока. Речь на собрании студентов КУТВ. 18 мая 1925 г. // Сталин И.В. Сочинения. М.: Государственное изд-во политической лит-ры, 1952. Т. 7. С. 138.

ние, большевики должны были подчеркнуть принципиальное отличие своей объединительной политики от имперских механизмов властвования. В связи с этим новое единое государство — Союз Советских Социалистических Республик — формировалось в начале 1920-х годов на существенно иных началах, нежели Российская империя. В основу его формирования официально был положен принцип свободного союза крупнейших народов бывшей империи, каждый из которых создавал так называемые союзные республики (в момент образования СССР их было 4, к концу его существования — 15). Кроме того, в составе некоторых союзных республик для менее крупных этнических групп создавались внутренние структурные единицы — автономные республики, области и округа. К концу своего существования СССР включал в себя 19 автономных республик (из них 15 — на территории России), 8 автономных областей (5 — в России) и 10 автономных (национальных) округов (все — в России).

Создание автономий для этнических групп бывшей Российской империи сопровождалось мерами по развитию их национальных культур и самосознания, которые должны были вписать эти явления в рамки коммунистической идеологии (политика коренизации). В ходе реализации данного курса в союзных республиках и автономиях создавались научно-образовательные учреждения и институты культуры, развернулась подготовка кадров национальной интеллигенции и управленческого персонала. Было организовано обучение, издание литературы и периодики на местных языках. Как отмечает ряд исследователей, некоторыми своими аспектами политика коренизации сильно напоминала систему позитивной дискриминации и мультикультурализма, которые будут практиковаться странами Запада с 1960-х годов[1].

Разумеется, создание автономий для этнических групп и развитие национальных культур должно было уравновешиваться в СССР введением определенных механизмов, обеспечивающих целостность государства. Главными из них стали структуры господствующей политической силы — коммунистической партии, строившейся на централистских началах и пронизывавшей все этажи управления. Авторитаризм данной системы нередко вступал в противоречие с официально декларируемыми правами союзных республик и автономий. Политика коренизации, внесшая значительный вклад в развитие национальных культур, отличалась в то же время заметной идеологической однобокостью. В соответствии с официальными установками в классических произведениях данных культур следовало в первую очередь отыскивать описания «классовой борьбы», «восстаний народных масс против угнетателей». Роль религиозного компонента в становлении национальных традиций существенно искажалась, а зачастую просто замалчивалась.

Крутые повороты официальной политики нередко сопровождались для этнических групп трагическими последствиями. Так, в результате репрессий конца 1930-х годов была уничтожена значительная часть национальной интеллигенции и управленческой верхушки, сформировавшихся в ходе политики коренизации. Накануне и в годы Великой Отечественной войны многие этнические группы СССР подверглись депортации на основе обвинений в сотрудничестве с агрессором (или из-за подозрений в возможности такого сотрудничества). Подобные

[1] См.: *Мартин Т.* Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М.: РОССПЭН, 2011.

явления способствовали тому, что советская этнополитика все в большей степени стала восприниматься как один из инструментов угнетения общества в рамках системы «тоталитаризма» (этим термином стала обозначаться вся совокупность общественных отношений и принципов управления в СССР). Когда во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов советская система вступила в полосу кризиса, в контексте общих требований отказа от коммунистического наследия стали громко звучать и требования пересмотра принципов регулирования межэтнических отношений, характерных для этой эпохи.

Задача подобного пересмотра выпала на долю руководства суверенной России (Российской Федерации), образовавшейся после распада СССР в 1991 г. Новые власти во главе с Президентом Б.Н. Ельциным придерживались восходившей к советским временам установки на то, что каждая этническая группа должна обладать в рамках государства значительным объемом культурной, административной, а в некоторых случаях и политической автономии. Однако этот принцип, по мнению руководства, следовало очистить от искажений, допущенных в эпоху «тоталитаризма». Предоставление максимальной самостоятельности этническим группам, организованным в автономии, должно было устранить допущенную по отношению к ним несправедливость и стать залогом утверждения в России демократических порядков.

Именно этот смысл, как представляется, и был заложен в знаменитый призыв Ельцина, с которым он обратился к российским автономиям во время посещения Казани в 1990 г.: «Берите суверенитета столько, сколько унесете». Однако действительность не оправдала оптимистических ожиданий нового руководства. Вскоре выяснилось, что основными получателями выгоды от новых прав стали не столько этнические группы России как таковые, сколько выступавшие от их лица правящие элиты (чаще всего — представители старого партийно-государственного чиновничества), во многих случаях устанавливавшие на подвластных территориях авторитарные системы правления. Стремясь консолидировать власть, руководители автономных республик и областей заявили о повышении статуса возглавляемых ими единиц до уровня республик (в результате на территории Российской Федерации осталась одна автономная область — Еврейская), объявляли эти республики суверенными государствами.

В конституции многих республик вносились положения, противоречившие Основному Закону Российской Федерации, — верховенство республиканских законов над федеральными, право вести самостоятельную международную деятельность, не посылать призывников для прохождения военной службы за пределы республики и др. Это вело к стремительному распаду единого правового, административного, политического пространства России. Страдало и экономическое единство. В условиях хаоса, вызванного радикальными рыночными реформами 1992 г., республики (как и другие регионы) стремились отгородиться от непредсказуемого федерального центра — вводили таможенные барьеры на своих границах, ограничивали вывоз отдельных видов продукции за пределы региона, ограничивали или прекращали перечисление налогов в федеральный бюджет[1].

Столкнувшись с набиравшими силу дезинтеграционными тенденциями, руководство России попыталось принять меры по их пресечению. В марте 1992 г.

[1] *Ачкасов В.А.* Этнополитология. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. С. 308.

было организовано подписание Федеративного договора между центром и регионами, а в 1993 г. принята новая Конституция, в которой пересматривались некоторые постулаты этнополитики и федеративного устройства государства советского времени. Новый Основной Закон, в частности, не предусматривал за автономиями права выхода из состава Федерации (согласно Конституции СССР, союзные республики такое право имели). определение этничности (национальности) — также вразрез с советской практикой — провозглашалось делом свободного выбора граждан. Фиксировалось равенство всех субъектов Федерации (при этом республики в составе России все же признавались «государствами»). Однако новые законодательные нормы и декларации, не подкрепленные реальным административно-политическим обеспечением, не могли существенно изменить ситуацию в стране. Кризис в сфере межэтнических и федеративных отношений продолжал нарастать, выразившись, в частности, в вооруженном конфликте на территории Чечни. Апогеем кризисных явлений стали события лета 1999 г., когда по стране прокатилась серия террористических актов, а с территории ставшей де-факто независимой Чечни началось вторжение в соседний Дагестан.

Новое руководство страны во главе с В.В. Путиным, избранным Президентом в марте 2000 г., столкнувшись с необходимостью ликвидации кризиса, закономерно выбрало путь централизации власти с целью пресечения дезинтеграционных тенденций. Важнейшей мерой в рамках данного направления стало введение в мае 2000 г. на территории страны федеральных округов (семи, затем восьми), каждый из которых включил в свой состав от 6 до 18 субъектов Федерации. Полномочные представители Президента в федеральных округах наблюдали за ситуацией на местах, разворачивали деятельность по изъятию из уставов и конституций регионов норм, противоречащих Основному Закону государства. В августе последовала реформа верхней палаты российского парламента — Совета Федерации. Ранее входившие в нее по должности президенты республик, губернаторы краев и областей, главы местных законодательных собраний были заменены значительно менее влиятельными представителями регионов[1].

Закономерным продолжением избранного курса стала отмена в 2004 г. выборности региональных лидеров (восстановлена с ограничениями в 2012 г.). В 2010 г., уже при Президенте Д.А. Медведеве, последовал запрет главам республик именоваться президентами. Предпринимались попытки отойти от важнейшей советской традиции в сфере этнополитики — привязки этничности к определенной территории. С 2003 г. началась ликвидация национально-территориальных автономий низшего уровня — автономных округов, и к 2008 г. было ликвидировано 6 из 10 данных единиц, существовавших в России[2].

В 2002 г. последовал окончательный запрет на формирование политических партий по этническому и региональному принципу. Закон «О противодействии

---

[1] Анализ этнополитики, осуществлявшейся российским руководством в первое десятилетие XXI в., см. в статьях: *Тишков В.А.* Этнический фактор и новейшая история государственной этнополитики в России // Вестник российской нации. 2009. № 6; *Федосов П.А.* Государственное регулирование этнополитических и этносоциальных процессов в Российской Федерации // Политическая наука. 2010. № 1; *Ратленд П.* Присутствие отсутствия: об этнической политике в России // Полис.Политические исследования. 2011. № 2.

[2] *Савинов Л.В.* Объединение субъектов Российской Федерации: результаты и перспективы // Вестник российской нации. 2014. № 1.

экстремистской деятельности» (2002) существенно ограничил возможность использования этнического ресурса в политических целях. В целом принятые в первое десятилетие XXI в. меры довольно серьезно расходились как с правительственным курсом 1990-х годов, так и с советскими традициями этнополитики. Некоторые эксперты в связи с этим говорили о принципиальной враждебности руководства страны к ее этнокультурному и региональному многообразию, стремлении стереть элементы этого многообразия путем административной централизации. Но замысел властей, как представляется, все же заключался в другом.

Не отрицая различий в культурном облике российских этнических групп и регионов, руководство страны, как представляется, стремилось вывести этничность из сферы политики, переместить ее в область духовной культуры, традиций, повседневной жизни. В политике же должны были утвердиться гражданско-правовые начала — общероссийская идентичность, принцип единства всех граждан России независимо от этнической принадлежности, укрепление целостности общества на путях формирования гражданской нации. Не случайно, видимо, из числа европейских лидеров в качестве образца для подражания В.В. Путин выделил генерала де Голля — одного из наиболее известных руководителей Франции, страны, национальное единство которой базируется в первую очередь на гражданских началах[1]. В данном контексте следует понимать и характеристику, данную в 2008 г. Президентом своему преемнику Д.А. Медведеву, — «он не менее в хорошем смысле слова русский националист, чем я»[2]. Под «хорошим национализмом» здесь, скорее всего, имелась в виду приверженность принципам гражданской нации, а не этнонационализму с его деструктивными началами.

В принципе, курс на формирование общероссийского гражданского единства как основы целостности страны в качестве стратегической установки был вполне оправдан. Однако в конкретных условиях 2000-х годов он оказался недостаточно эффективен — в частности, потому что связанные с ним меры по деполитизации этничности не нашли достаточной поддержки в обществе. Выяснилось, что, несмотря на все попытки «стерилизовать» этнический компонент, это начало все равно будет проявляться в политической жизни (может быть, из-за отсутствия других ярко выраженных разделительных знаков, маркеров). Так, достаточно широкое распространение в 2000-е годы получили идеи русского национализма, отражавшие, по мнению сторонников этих взглядов, факт недостаточно полного учета властями интересов основной массы населения. Отражением этой тенденции стало ежегодное проведение с 2005 г. в День народного единства 4 ноября так называемых Русских маршей, а также деятельность националистического Движения против нелегальной миграции (с 2002 г.), запрещенного по решению суда в 2011 г.

Дополнительным фактором роста социальной напряженности в России, как и в странах Запада, стал приток на территорию страны трудовых мигрантов (прежде всего, из государств Центральной Азии), значительно отличающихся

---

[1] *Медведев Р.* Владимир Путин: продолжение следует. М.: Время, 2009. С. 186.

[2] Меркель не намерена прощаться с Владимиром Путиным. URL: https://ria.ru/20080308/100982205.html (дата обращения: 23.01.2023). По мнению американского исследователя П. Ратленда, в основу политики В.В. Путина был положен «государственнический национализм, во многом движимый великодержавной повесткой дня» (*Ратленд П.* Указ. соч. С. 181).

от принимающего населения внешним обликом, обычаями, языком, манерами поведения. Конфликты с мигрантами — как внешними, так и внутренними (из республик Северного Кавказа) — стали причиной массовых акций протеста, самая крупная из которых состоялась в 2010 г. на Манежной площади, в непосредственной близости от Кремля. Все это побудило руководство страны существенно скорректировать курс этнополитики. В реализации этого направления государственной деятельности начался новый этап, который продолжается по настоящее время.

Сигналом для изменений стала статья В.В. Путина «Россия: национальный вопрос», которую он опубликовал в 2012 г., выдвинув свою кандидатуру на пост Президента Российской Федерации[1]. По замечанию экспертов, из всех предвыборных статей претендента на пост главы государства именно она вызвала наибольший интерес. В своей публикации Путин, подтвердив верность курсу на укрепление гражданской нации, в то же время несколько сдвинул акценты в понимании основ национального единства, подчеркнув значение этнокультурных начал. Россия в статье определялась как «полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром». Русский народ провозглашался «государствообразующим» («по факту существования России»). Таким образом, по замечанию политолога О.Ю. Малиновой, в официальную риторику вводилась терминология русского национализма, чего ранее власти старались избегать[2]. В статье содержались требования усилить преподавание в школах истории, русского языка и русской литературы, ввести специальные экзамены для лиц, желающих получить или продлить миграционный статус в России.

Практическим воплощением нового курса этнополитики стало учреждение в 2012 г. консультативного и координирующего органа — Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, утверждение в том же году основополагающего государственного документа — Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. Новая редакция документа принята в 2018 г. Пути, способы и механизмы реализации установок Стратегии определены в государственной программе «Реализация государственной национальной политики» (2016). В 2015 г. после долгого перерыва в структуре федеральных органов исполнительной власти восстановлено учреждение, отвечающее за реализацию этнополитики, — Федеральное агентство по делам национальностей. Ведется разработка федерального закона «Об основах государственной национальной политики».

В целом, подводя итог, следует отметить, что этнополитика как направление регулирующей активности государства пережила и продолжает переживать в разных странах мира сложную эволюцию, вызванную комплексным, многосоставным характером данной области деятельности. Затрагивая сферы культуры, образования, социальной, демографической, трудовой и миграционной политики, этнополитика так или иначе реагирует на изменения в каждой из этих областей. Многие аспекты межэтнических отношений, связанные

---

[1] *Путин В.* Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 23.01.2023).

[2] *Малинова О.Ю.* Символическое единство нации? Репрезентация макрополитического сообщества в предвыборной риторике Владимира Путина // Pro et Contra. Май–июнь 2012. С. 85. *(Учредитель журнала Pro et Contra Фонд Карнеги признан нежелательной организацией).*

с историческими традициями, особенностями духовной культуры различных общественных групп, требуют применения особо тонких методов воздействия для достижения положительного результата. В многосоставных, культурно сложных обществах применение этих методов в конечном счете подчинено задаче поддержания целостности политического организма. При этом в различных странах и на разных этапах истории каждый раз по-новому приходится решать вопрос о соотношении принципов единства и культурного многообразия. Россия в целом развивается в русле общемировых этнополитических тенденций, демонстрируя при этом значительную специфику. В настоящее время как в России, так и на Западе усиливается внимание к национальной идентичности, этнокультурным основам нации. Конкретные формы воплощения этих явлений в жизни разных стран будут зависеть от особенностей их исторических традиций, политической культуры.

*А.Ю. Полунов*

**Литература**

1. Государственная национальная политика России. Экспертное мнение / Под ред. В.В. Степанова, А.В. Черных. М.: ИЭА РАН, 2018.

2. *Дробижева Л.М.* Российская идентичность: поиски определения и динамика распространения // Социологические исследования. 2020. № 8.

3. Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики / Под ред. М.Б. Погребинского, Л.К. Толпыго. М.: Весь Мир, 2013.

4. Культурная сложность современных наций / Под ред. В.А. Тишкова, Е.И. Филипповой. М.: РОССПЭН, 2016.

5. *Лейпхарт А.* Демократия в многосоставных обществах. М.: Аспект Пресс, 1997.

6. *Малахов В.С.* Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005.

7. *Савинов Л.В.* Национальная политика в современной России: концептуальная модель и ее реализация // Вестник российской нации. 2020. № 2.

8. Этническое и религиозное многообразие в России / Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2018.

9. *Nasar Meer, Tariq Modood, Ricard Zapata-Barrero* (eds). Multiculturalism and Interculturalism: Debating the Dividing Lines. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.

10. *Kymlicka W.* Politics in Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. N.Y.: Oxford University Press, 2001.

11. *Matsuzato K.* The Rise and Fall of Ethnoterritorial Federalism: A Comparison of the Soviet Union (Russia), China and India // Europe-Asia Studies. 2017. Vol. 69. No. 7.

# Экологический патриотизм

Экологический дискурс в современном мире является масштабным, всеохватным, развитым и высококонкурентным. Экология оценивается в современной науке как универсальная терминальная ценность, которая может консолидировать общество, способна политизировать практики и выступить инструментом политической борьбы, обладает развитыми цифровыми инфраструктурами[1].

[1] *Батанина И.А., Бродовская И.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В.* Экологическая повестка в российском сегменте социальных медиа: результаты анализа больших данных // Известия ТулГУ. Науки о земле. 2021. Вып. 2. С. 409.

В России в 2016 г. лидеры экологических сообществ подготовили и подписали такие декларации, как «Патриотический акт экологических организаций» и «Меморандум о приоритетах развития экологического патриотизма», в которых была провозглашена важность экологического патриотизма для формирования экологической повестки, консолидации лидеров и организаций, разделяющих ценности экологического патриотизма[1]. Сопредседатель Экологической палаты В. Семенов даже заявил, что экологический патриотизм должен стать основой национальной идеи. Однако эти предложения не стали основанием программы, в которой экологический патриотизм мог бы выступить в качестве ресурса устойчивого развития. Подтвердилась закономерность, отмеченная аналитиками, что при реализации модели ответственного развития очевидной трудностью является переход от формулировки этических принципов к их реализации, продвижению на политико-управленческий уровень.

Возникли значительные трудности и с концептуализацией понятия «экологический патриотизм». Экологический патриотизм как понятие широко используется в российском медийном пространстве и в учебно-методическом плане, отражая *понимание значимости бережного отношения к окружающей среде, привязанности к тем или иным ее достопримечательностям, готовности приложить усилия для их сохранения и защиты*. При этом патриотизм в целом понимается как консолидирующее основание коллективной (гражданской) идентичности, которое обращено к чувству сопричастности каждого гражданина к делам своего общества (В. Тишков, Э. Смит). Однако в нашем случае нельзя провести простое арифметическое действие, добавив определение «экологический» к понятию «патриотизм».

Существует широкий спектр категорий, относящихся к сознанию и поведению человека (сообщества) в окружающей среде. Так, от английского слова *environmentalism*, которое означает «относящийся к окружающей среде, обстановке, окружению, экзогенный», возникла русскоязычная калька инвайронментализм или энвайронментализм, а в качестве синонимов — экологизм, «зеленое» и природоохранное движение. В использовании понятий применительно к сознанию *ecologicalconsciousness* подразумевается ответственное потребление и природопользование, т.е. данный термин ориентирован на «сберегающие» практики, в то время как *environmentalconsciousness* имеет философское наполнение. Впрочем, само это наполнение далеко не однозначно, ибо, пытаясь расположить ценности на классической шкале, энвайронменталистское сознание наделяют такой же важностью для концепта жизни, как «свобода» для либерализма, «справедливость» — для социализма и «порядок» — для консерватизма. Когда же речь идет об экологических партиях и движениях, распространившихся в мире с 1970-х годов, акцент делается на их близости «левой» идеологии в период становления ценностей справедливости и равенства на современном этапе.

Разнообразны попытки определить экологическое сознание: как «сформированное в результате специализированного образования в сфере экологии»[2] или как «совокупность экологических и природоохранных представлений, мировоззренческих позиций и отношения к природе, стратегий практической деятельности, направленной на природные объекты»[3], или «очень сложная, само-

---

[1] Патриотический Акт экологических организаций. URL: http://genyborka.ru/6794.

[2] *Глебов В.В.* Экологическая психология. М.: РУДН, 2008.

[3] *Ясвин В.А.* Формирование экологической культуры: пособие по региональной экологической политике /Центр. экол. политики России. М.: Акропол, 2004.

регулирующаяся система, сформированная для решения задач установления, стабилизации или изменения взаимоотношений с природой и ее объектами, возникающих в процессе удовлетворения потребностей человека»[1]. В то же время все эти авторы сходятся в том, что экологическое сознание включает в себя как антропоцентричный, так и экоцентричный компонент. Однако надо заметить, что их сочетание может быть различным, особенно если речь идет о группе или сообществе в конкретной экологической и политической ситуации.

Ученые нередко обращаются к категориям, отражающим субъективный уровень восприятия человеком окружающей среды, затрагивающим те или иные аспекты экологической идентичности, такие как экологическое сознание, экологическая озабоченность, экологическая культура (хотя очевидно, что соответствующие понятия являются далеко не синонимичными). Экологическая сознательность предполагает осведомленность об окружающей среде и важности ее сохранения, а экологическая культура определяется как «этические основания отношения общества и среды, в которой оно живет и которую оно формирует»[2]. Экологическая культура включает «соответствующие идеалы и ценности, нормы поведения, экологическую ответственность, чувство «Гражданина Земли» (У. Урсул), «нормы нравственного отношения к природе, ставшие внутренней потребностью»[3].

Экологическое сознание определяет экологическое поведение, понимаемое как «совокупность конкретных действий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окружение, использованием природных ресурсов»[4]. В свою очередь, проэкологическое поведение, развитие экологических привычек потребления, участие в дебатах о повестке экологической политики, включение в деятельность экологических НПО, экологический активизм в цифровой среде и в реальном режиме представляют собой разные формы активности. На глобальном уровне они вызваны такими психологическими феноменами, как экологическое беспокойство (*eco-anxiety*) и экологическая скорбь (*ecological grief*) для обозначения «негативных эмоций, связанных с последствиями изменения климата и экологическими катастрофами»[5].

Такого рода чувства могут перерастать в экологический алармизм, который быстро распространяется в сетевом пространстве. Экологические сети развиты, мобильны, они используют широкий спектр методов и средств, а в экологическом сетевом пространстве сложился вполне распределенный функционал: там есть имфомодуляторы — ученые, взрывающие информационное пространство своими открытиями; трансформаторы — просветители, журналисты, доводящие информацию до людей; проводники — преподаватели, дикторы ТВ[6].

---

[1] *Хайнацкая Т.И.* Формирование экологической идентичности в Германии и Италии: акторы и практики // Современная Европа. 2021. № 6.

[2] *Яницкий О.Н.* Фазы развития российского экологического движения // История и современность. 2007. № 2.

[3] *Ульянова Н.В.* Экологическое сознание и экологическая культура: проблемы и перспективы // Вестник ТГПУ. 2007. Вып. 6 (69). Серия: Естественные и точные науки. С. 60.

[4] *Глебов В.В.* Указ. соч.

[5] *Хайнацкая Т.И.* Указ. соч. С. 60.

[6] *Чуйкова Л.Ю.* Экологическое информационное пространство и его влияние на экологическое сознание // Астраханский вестник экологического образования. 2012. С. 38.

Российские исследователи провели анализ *big data* социальных медиа и представили эмпирические доказательства высокого протестного потенциала экологического дискурса. В частности, они указывают на «распространенность в структуре экологического потока постов с риторикой пассивного и активного нигилизма», на наличие «критических по отношению к решениям власти дискурсивных практик экологической направленности», подчеркивая одновременно значительный мобилизационный потенциал социально-медийных сообществ экологической направленности. Их выводы лежат в основании рекомендации усиления альтернативных потоков экологической тематики, «противостоящих мобилизации неконструктивных аттитюдов пользователей Рунета»[1].

Именно в таком ключе можно рассматривать формирование дискурса экологического патриотизма. Важность экологического патриотизма для формирования экологической повестки, сообщества лидеров и организаций, разделяющих ценности экологического патриотизма, была провозглашена в 2016 г., когда активизировался патриотический дискурс и патриотизм был признан ключевым элементом государственной политики идентичности. Экологический патриотизм должен был противопоставить свои ценности и сформировать модели поведения в русле понимания России как державы-цивилизации: «Любить природу и любить Родину — для нас неразрывные понятия. Нам не по пути с теми, кто пытается ее разделить... Российский патриотизм — реальный фактор, направленный на преодоление вызовов и угроз современности... в контексте культурно-исторического пути России, которое окружено плотным информационным слоем глобалистской риторики»[2].

В настоящее время Экологическая палата России предложила «импортозаместить» иностранные экологические организации *WWF* России (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и «Гринпис России» (признана нежелательной организацией в РФ). Эта идея получила продолжение в новой инициативе палаты — объединении отечественных патриотически настроенных экологов[3]. Писатель и телеведущий З. Прилепин представил на форуме «Экология ДА» свой волонтерский проект «Заповедник. Открытая экспедиция». Форум рассматривался как площадка для формирования доминирующей альтернативы западным экопроектам в стране»[4]. Короче говоря, такие предложения предполагали превращение экологического патриотизма в составную часть национальной стратегии.

Однако на данный момент существует разрыв между отсутствием сформированности концепта экологического патриотизма и потребностью и запросами российского общества. Запрос в Интернете на «экологический патриотизм» дает более 4 120 000 результатов. Это статьи, методические пособия, сторителлинг, рассказы об опыте работы с молодежью, например, такого типа: «Одним из проявлений патриотизма является любовь к природе, поэтому всю свою работу я провожу через экологическое образование, сущность которого заключается в сформированности человека с новым экологическим мышлением, способного осознать последствия своих действий по отношению к окружающей

---

[1] *Батанина И.А., Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Парма Р.В.* Указ. соч.

[2] Патриотический Акт экологических организаций. URL: http://genyborka.ru/6794.

[3] Там же.

[4] Экологический патриотизм пока еще зеленый. URL: https://infolom.su/ekologicheskij-patriotizm-poka-eshhe-zelenyj/.

среде, умеющего жить в гармонии с природой. Именно природа играет важную роль в привитии любви к Родине. Начиная работу по пробуждению любви к родному краю, я отбираю, систематизирую знания о ней, продумываю и рассказываю то, что характерно для нашего села, города, показываю связь родного края со всей страной»[1]. Преподаватели и ученые подчеркивают: «Сейчас эта тема актуальна в нашей стране. Одной из первостепенных задач считается пробуждение и усиление чувства патриотизма, как правило, через искусство, через нашу уникальную культуру. Я считаю, что чувство патриотизма нужно воспитывать и пробуждать через любовь к нашей родной природе, которая нам близка»[2].

В научном плане серьезные усилия предприняты молодым исследователем Т. Хайнацкой по концептуализации экологической идентичности, которую она определяет «как связь индивида/группы людей с природной средой, идентификация себя как ее неотъемлемой части, которая отражается на восприятии проблем окружающей среды и индивидуальном/групповом поведении, стимулирует природозащитную деятельность и другие формы экологической активности»[3]. Сравнительный анализ, проведенный Т. Хайнацкой, позволяет понять основания экологической идентичности, влияние на ее становление и развитие политико-культурных особенностей, различия в установках и идентичностях в отношении экологических проблем между экоалармистами и экоскептиками.

Представляется, что понятия «экологический патриотизм» и «экологическая идентичность» имеют общие черты, например, включают в себя когнитивные компоненты — осведомленность, систему знаний об окружающей среде, а также ценностные и этические характеристики, отражающие понимание важности сохранения этой среды. Однако экологический патриотизм не обязательно включает экологическую идентичность «как связь индивида/группы людей с природной средой, идентификация себя как ее неотъемлемой части, которая отражается на восприятии проблем окружающей среды»[4]. При этом экологический патриотизм может быть свойственен сторонникам как экоцентричного, так и антропоцентричного подхода. Вместе с тем экологический патриотизм обязательно сопряжен с активистской позицией, по меньшей мере, с готовностью проявить проэкологическое поведение, а также с возможностью участия в экологических инициативах и акциях, поддержки экологической политики, форм протеста против разрушения природных объектов, значимых для данного региона.

Одним из ярких примеров экологического патриотизма является индийское движение Чипко — обхватывателей деревьев, начатое со спонтанной акции 1973 г., когда женщины не дали вырубить лес в Гархвале, закрыв деревья своими телами. В 1970–1972 гг. активистки С. Мандал организовали срыв проведения коммерческих аукционов по продаже властями лесозаготовительным компаниям права на вырубку леса в Гархвале. В июне 1977 г. прошел съезд активистов

---

[1] URL: https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/patriotichieskoie-vospitaniie-chieriez-ekologhichieskoie-obrazovaniie.

[2] URL: https://riafan.ru/22028526-zoolog_glazkov_rossii_neobhodim_ekologicheskii_patriotizm.

[3] *Хайнацкая Т.И.* Указ. соч.; *Хайнацкая Т.И.* Экологический алармизм как политический дискурс // Южнороссийский журнал социальных наук. 2021. № 2.

[4] *Хайнацкая Т.И.* Указ. соч.

Чипко в долине Хенвала, боровшихся за сохранение лесов, поскольку они являются основой выживания населения Гималаев. Обращение к премьер-министру Индии Индире Ганди привело к запрету коммерческой вырубки лесов севера на 15 лет.

Движение Чипко — это впечатляющий пример экологического активизма, вдохновивший многих людей в разных странах мира. Защищая свою «малую родину», они защищали экологию в целом, но это можно сказать обо всех «светло-зеленых» (не радикальных) экологических активистских движениях. «Как бы ни подчеркивалось значение глобальных проблем экологии планеты, истинная забота о природе начинается обычно с локальных мест, где каждый человек может (если хочет) внести свою лепту в защиту и облагораживание окружающей среды», — справедливо замечают авторы исследования «подталкивания» к экологическому патриотизму для защиты Байкала[1].

Формы активности зависят от политико-культурных компонентов, традиций, однако экологическая политика представляет собой сферу, применительно к которой общественное сознание особенно чувствительно. Экологическое беспокойство проявляет более 77% респондентов в странах как с развитой, так и с развивающейся экономикой, во всех регионах мира и во всех возрастных группах, независимо от уровня образования, пола и ценностной ориентации. Все больше людей склонно демонстрировать проэкологические действия, такие как раздельный сбор отходов, ответственное потребление, экотуризм и т.п. Исследования показывают, что молодежь в большей степени восприимчива к проблемам сохранения окружающей среды и критикует поколение бумеров за их безразличие к экономическим проблемам[2].

Анализ экологического патриотизма и его концептуализация могут быть проведены на основе исследования научного и общественно-политического дискурса, при сравнительном анализе «экологизации» университетов. Такая экологизация подразумевает деятельность вузов по продвижению экологического сознания, включение экологической работы в третью миссию университетов, анализ экологической политики для устойчивого развития. В этом смысле университеты курируют экологические программы, направленные на практическое преобразование некоторых сфер производства (внедрение принципов устойчивости в сельское хозяйство) и потребления (организация раздельного сбора отходов и даже в некоторых случаях их переработка на территории кампуса). Вузы могут влиять на экологическую осведомленность студентов и преподавателей, используя как традиционные образовательные средства, так и социальные сети. Они участвуют в разработке практических рекомендаций по продвижению экологического патриотизма в университетской среде; развивают научные, ценностные и практико-ориентированные основания публичной экологии; изучают влияние экологической повестки на продвижение и поддержку модели «ответственного развития».

Потребность в концептуализации понятия «экологический патриотизм» объясняется еще и тем, что экологический патриотизм может стать консолидирующей

---

[1] *Карнышев А.Д., Иванова Е.А., Карнышева О.А.* Байкал и психологические ресурсы подталкивания к экологическому патриотизму // Сибирский психологический журнал. 2020. № 77. С. 199.

[2] Выражение «*O.K., boomer!*», ставшее вирусным мемом, впервые было использовано в ходе дискуссии по экологическим проблемам в парламенте Новой Зеландии, когда 25-летний член парламента так оборвала ворчание старшего коллеги, не желавшего внять ее аргументам.

силой, объединяющей людей с разными идейно-политическими предпочтениями на основе ценностных ориентаций ответственного развития, помогая тем самым преодолеть противостояние разных дискурсов патриотизма на базе общей ответственности за среду обитания человечества в широком смысле слова и за судьбу своей страны и своей «малой Родины».

*Л.А. Фадеева*

**Литература**


1. *Бардин А.Л., Сигачев М.И.* Зеленый дискурс как разновидность нового левого популизма //Мировая экономика и международные отношения. 2020. № 11 (64). С. 96–105.
2. *Дорошин Б.А.* Экологический алармизм как продукт эсхатологического мышления // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. 2021. № 64 (32). С. 124–131.
3. *Карнышев А.Д., Иванова Е.А., Карнышева О.А.* Байкал и психологические ресурсы подталкивания к экологическому патриотизму // Сибирский психологический журнал. 2020. № 77. С. 196–214.
4. *Конашев М.Б.* Эволюционная теория, экологический кризис и экономика / Институт им. Вавилова РАН. СПб., 2019. С. 113–118.
5. *Платонов К.А.* Восприятие экологических рисков: экспертные оценки и общественное мнение //Вестник СПбГУ. 2016. № 17 (1). С. 102–110.
6. *Чуйкова Л.Ю.* Экологическое информационное пространство и его влияние на экологическое сознание // Астраханский вестник экологического образования. 2012.
7. *Яницкий О.Н.* Фазы развития российского экологического движения // История и современность. 2007. № 2.
8. *Ясвин В.А.* Формирование экологической культуры: пособие по региональной экологической политике / Центр. экол. политики России. М.: Акропол, 2004.
9. *Bruckmann S., Rosa M.J., Nazaré L.* Third mission activities in quality assurance systems: do theory and practice match? // 2019 European Quality Assurance Forum. Supporting societal engagement of higher education. 2019.
10. A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: results from a worldwide survey // Journal of cleaner production. 2015. No. 108. P. 1–18.
11. *Hornung Johanna*. Social identities in climate action // Hornung Climate Action. 2022. No. 1. P. 4.

# Авторы

**Ачкасов В.А.** — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой этнополитологии факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета.

**Ачкасова В.А.** — доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой связей с общественностью в политике и государственном управлении Института Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.

**Андрюшина Е.В**. — кандидат политических наук, доцент кафедры политической социологии факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Бродовская Е.В.** — доктор политических наук, профессор Департамента политологии, главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

**Вилисов М.В.** — кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН, доцент кафедры государственной политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России.

**Гаман-Голутвина О.В.** — доктор политических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД Росии, Президент РАПН.

**Гельман В.Я.** — кандидат политических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета Хельсинки.

**Глинчикова А.Г.** — доктор политических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.

**Глухова А.В**. — доктор политических наук, профессор кафедры политологии и социологии Воронежского государственного университета.

**Григорьева Н.С. —** доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой политической социологии факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Гуторов В.А.** — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета.

**Дука А.В.** — кандидат исторических наук, заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук доцент кафедры теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета.

**Ильичева Л.Е.** — доктор политических наук, профессор, директор Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ.

**Коньков А.Е. —** кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Косоруков А.А. —** кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Кузнецов И.И.** — доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Купряшин Г.Л. —** доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории государственного и муниципального управления факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Курочкин А.В.** — доктор политических наук, профессор, декан факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета.

**Лукушин В.А** — лаборант-исследователь Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

**Малинова О.Ю**. — доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ, профессор кафедры НИУ ВШЭ.

**Малышева Н.С.** — кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Мельвиль А.Ю.** — доктор философских наук, профессор, научный руководитель и декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ, заслуженный деятель науки РФ.

**Мирошниченко И.В.** — доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой политики и государственного управления Кубанского государственного университета.

**Михайлова О.В.** — доктор политических наук, профессор кафедры политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Морозова Е.В.** — доктор философских наук, профессор кафедры политики и государственного управления Кубанского государственного университета.

**Мухарямов Н.М.** — доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета.

**Мчедлова М.М.** — доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой политологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Института Социологии Российской академии наук Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

**Никитин А.И.** — доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник НИИ мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).

**Пырма Р.В.** — кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ.

**Патрушев С.В.** — кандидат исторических наук, заведующий отделом сравнительных политических исследований Института социологии РАН Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, профессор Всероссийской академии внешней торговли.

**Полунов А.Ю.** — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Пушкарева Г.В.** — доктор политических наук, профессор кафедры политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Савенков Р.В.** — доктор политических наук, доцент кафедры политологии и социологии Воронежского государственного университета.

**Селезнева А.В.** — доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Семененко И.С.** — доктор политических наук, член-корреспондент РАН, руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований НИИ мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).

**Сморгунов Л.В.** — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой политического управления Санкт-Петербургского государственного университета.

**Соловьев А.И.** — доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Сунгуров А.Ю.** — доктор философских наук, профессор, заведующий отделением и кафедрой прикладных политологических исследований НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург).

**Телин К.О.** — кандидат политических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Тимофеева Л.Н.** — доктор политических наук, профессор кафедры политологии и политического управления, научный руководитель факультета политических исследований Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ.

**Туронок С.Г.** — кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Фадеева Л.А.** — доктор исторических наук, профессор кафедры политических наук Пермского государственного университета.

**Чубарова Т.В. —** доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН.

**Щербинина Н.Г.** — доктор политических наук, профессор кафедры политологии Томского государственного университета.

*Научное издание*

**ПОЛИТОЛОГИЯ**
НОВЫЙ ЛЕКСИКОН

Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 42,6.

ООО Издательство «Аспект Пресс».
111141, Москва, Зеленый проспект, д. 3/10, стр. 15.
E-mail: info@aspectpress.ru; www.aspectpress.ru.
Тел.: (495) 306-78-01, 306-83-71

Отпечатано: АО «Т 8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.
Тел.: 8 (495) 221-89-80